Евгений Шварц

Предчувствие счастья





Евгений Шварц

Предчувствие счастья.

Дневники.

Произведения 20-х — 30-х годов.

Стихи. Письма.



Е.Л. Шварц. Портрет работы Е.И. Чарушина. 30-е гг.

Евгений Шварц

Предчувствие счастья

Дневники

Произведения 20-х — 30-х годов

Стихи и письма

Корона-принт. Москва. 1999.

Составители:
М.О. Крыжановская, И.Л. Шершнева
Примечания:
Дневники: К.М. Кириленко, И.Л. Шершневой
Письма: Е.М. Биневич
Художник: Е.В. Войцеховская

От составителей

"Едва я начинаю пробовать говорить о себе, пропадает всякое подобие голоса", — записывает Евгений Львович Шварц в дневнике 2 января 1954 года. К этому дню, однако, им было заполнено уже пятнадцать толстых тетрадей — "счетных книг", которые он начал вести с 9 апреля 1942 года. Дневник, который Шварц вел в 30-х годах, он сжег, уезжая из блокадного Ленинграда. Возможно, что многие страницы дневников 1942 — 1958 годов являются повторением утраченных записей — именно потому столь живо и ярко написаны воспоминания о детстве и юности. Они вошли в первую из четырех книг произведений и дневников писателя, выпускаемых издательством "Корона-принт" (Е. Шварц. "... я буду писателем". — М.: Корона-принт, 1999). Детство и юность Евгений Львович Шварц (1896 — 1958) провел в южном городе Майкопе, который его отец, врач Л. Б. Шварц, выбрал местом жительства, когда ему за революционную деятельность было запрещено проживание в столицах и крупных городах. Воспоминания о детстве пронизаны любовью к Майкопу, столь много давшему Шварцу и в человеческом, и в творческом измерении: сохранившуюся до конца жизни дружбу, горькую, жгучую первую любовь, твердое решение стать писателем. На 1916 годе мемуары прерываются и о событиях 1917 — 1918 годов в жизни Евгения Шварца мы можем судить лишь по его письмам, адресованным подруге юности Варе Соловьевой. В апреле 1917 года в Царицыне Шварц был призван в армию рядовым студенческого полка, а в августе он уже в военном училище в Москве. В марте 1918 года Шварц сообщает В.Соловьевой из Екатеринодара: "Теперь я прикомандирован к автомобильному батальону до начала занятий в автомобильной школе". В дневниках Шварца нет воспоминаний о революции 1917 года и о гражданской войне. Шварц был лишен тоталитарного мышления, которое не признает нейтралитета, и занял сторону тех, кому нечего было терять и не за что бороться. Они просто жили в своем времени, и не было для них ничего важнее самой жизни. "Мне почему-то невесело рассказывать об этих днях. Получается от этого неверно. Я не могу описать отчетливо, как звон в церкви, все заполняющее чувство радости. С женой я живу не то что плохо, ужасно. Я нищ и вечно голоден. Халайджиева [жена Е.Шварца. — Ред.] *... перессорилась со всем театром, и я, конечно, впутался в эти ссоры. Но за всеми этими событиями звенело, как колокол, то тише, то громче, предчувствие счастья". Так описывает Евгений Шварц себя двадцатипятилетнего в дневнике 1952 года.*

Предчувствием счастья для Шварца были окрашены все годы — гражданской войны, коллективизации, индустриалиазации — долгого периода социалистического строительства. Жизнелюбие, юмор и доброта спасли его от драконов и теней сталинского режима.

Театр и сказка в творческой судьбе Е.Шварца были предопределены перипетия-

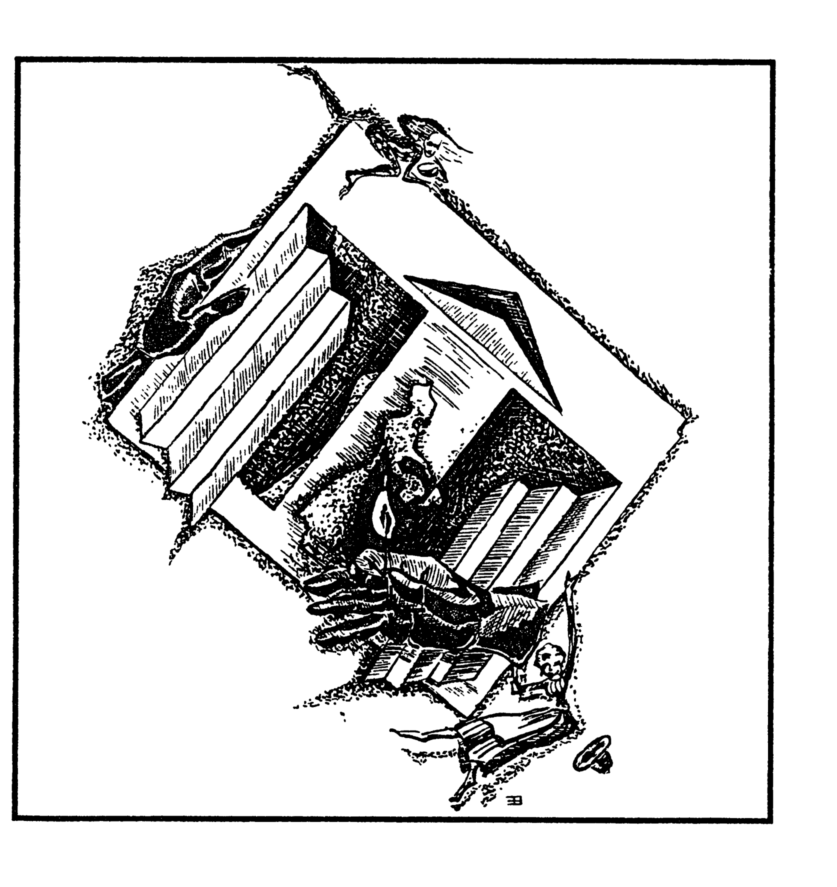
ми его человеческой судьбы. Первые и не самые удачные пьесы Шварца ("Ундервуд", "Приключения Гогенштауфена", "Клад") пронизаны духом нового, советского быта, и понятно, что без него в те годы пьесы просто не увидели бы свет. Но не будь в этих пьесах духа сказки, волшебства, чуда — не появился бы и любимый нами автор мудрого и веселого "Голого короля", лучшего из написанного Шварцем до 1937 года.

Закончился период ученичества, Шварц стал единственным и непревзойденным мастером нового жанра "сказки для всех".

Евгений Шварц известен в первую очередь как драматург, но именно из дневниковых записей-воспоминаний сложились мастерски написанные отрывки прозы — портреты Корнея Чуковского и Бориса Житкова, мемуары о детстве, зарисовка "Печатный двор". Будь отпущена Евгению Шварцу более долгая жизнь, мы, возможно, читали бы увлекательные "театральные романы" о Театральной мастерской и приключениях самого Шварца в недрах ТЮЗа, повесть о дочери, "физиологический" очерк о нравах коммунальных квартир или сатирический сценарий фильма о братьях-писателях. К некоторым впечатлениям прошедших лет Шварц возвращался не однажды, словно отбирал, отделывал, обрабатывал наиболее интересныеиз них для печати. Приступая к публикации дневников Е. Шварца, составители попытались объединить мемуарные записи тематически и, по возможности, хронологически.

В эту книгу вошли произведения Шварца, написанные им в 1924 — 1937 годах, — сказки, пьесы, шуточные стихи. Отобранные для этого издания письма писателя адресованы тем, о ком упоминается в дневниках. Письма и стихи, а так же комментарии к ним печатаются по сборнику "Житие сказочника. Евгений Шварц. Из автобиографической прозы. Письма. О Евгении Шварце". — М.: Кн. палата, 1991. Комментарии к произведениям составлены Е. М. Биневичем. В этом издании также использованы примечания к книге "Е. Шварц. Живу беспокойно...: Из дневников". — Л.: Сов.писатель, 1990. Составители искренне благодарны Е. М. Биневичу и К. Н. Кириленко за разрешение использовать опубликованные ими материалы.

Дневники



1953
30
августа

Особняк Черновых на бывшей Садовой улице, ныне улица Энгельса в Ростове-на-Дону. Двадцатый год. Театр Театральная мастерская захватил особняк, не без участия хозяев. Дочка их, ее муж, брат мужа — все артисты театра. Старики Черновы забились в одну комнату в глубинах особняка. Изредка покажется в коридоре маленький седой армянин с изумленными, осуждающими глазами и скроется. Зал черновского особняка, большой для богатого дома, превращен был в крошечную театральную залу. А мы, случайно встретившиеся, едва вышедшие из юношеского бесплодного, несамостоятельного бытия, стали профессиональными актерами. И не верили этому. Быт в те дни был сложен.

1953
31
августа

Ростовские мальчики и девочки, знакомые еще с гимназических времен, разных характеров, разных дарований, полные одним и тем же духом — духом своего времени. Сначала собирались они и обсуждали книги и читали рефераты о литературных событиях двух-трехлетней давности. Назвали они свою компанию (это была, конечно, компания вроде тех, что вертелись этим летом вокруг нашего дома) “Зеленое кольцо”. Тогда только что прошла пьеса Гиппиус под этим названием о молодежи, которая жаловалась, что “попала в щель истории” и не находит себе места в жизни. И эта компания пыталась от избытка сил найти подобие веры, но пышная и мутная символически-религиозно-философская культура тех дней только манила их, импонировала, но оставалась им в сущности чуждой. Оставались они теми же юношами-подростками, только язык у них был богаче и лучше подвешен. Впрочем, кто знает, как разговаривают они, оставшись одни. Компания эта так и разошлась бы, но в ядре ее подобралось несколько людей, по-настоящему любящих, нет, влюбленных в театр. В 17-м году поставили они “Незнакомку” Блока. В 18-м — уже при нашем участии — “Вечер сценических опытов”. Мы — это краснодарская компания, переехавшая в Ростов учиться: Тоня, Лида Фельдман и я. Ставил все спектакли Павлик Вейсбрем, которому только что исполнилось 19 лет. Во второй спектакль, в “Вечер сценических опытов”, входили “Пир во время чумы”, отрывок из “Маскарада” и отрывок из какой-то пьесы Уайльда, не вошедшей в собрание его сочинений, совсем не помню какой. Вроде мистерии. Вейсбрем говорил вступительное слово, переполненный зал слушал внимательно. Он гово-

рил о счастье действовать и объединять людей. Вот по нашей воле сошлись тут люди, забыли о своих интересах, подчинились искусству. Второй спектакль еще более объединил компанию. Это уже был кружок.



Но и кружок этот, вероятно, распался бы, не сойдись так исторические события. Наиболее определившиеся из молодежи и раньше держались крепко за это дело. Самым любопытным из всех них был Павлик Боратынский, о котором Вейсбрем говорил, что он “человек трагический”. Он, как все герои своего времени, был временем порожден и нарушал его законы как хотел. Впрочем, время как раз поощряло к этому роду нигилизма. Он необыкновенно спокойно, весело и бескорыстно лгал, чем восхищал и ужасал меня. Красивый, стройный, спокойный, почти мальчик, с женщинами он был безжалостен, за что они и не слишком обижались. Он и не обещал им ничего другого. Помню, как брезгливо говорил он об одной из наших подруг — артистке, что у нее отвратительно холодные руки. Он подарил ей пятирублевую бумажку с надписью: “На память о безумно проведенной ночи”. И она смеялась, и мы тоже. Впрочем, в данном случае я не уверен, что такая ночь была. Но только потому, что холодные руки прекратили его домогательства. Актер он был не просто плохой, а ужасный. Вейсбрем совершил с ним чудо — он очень сильно сыграл Вальсингама в “Пире во время чумы”, но и только. И, несмотря на это (или именно поэтому), он страстно любил театр. Еще до того, как Театральная мастерская стала государственным театром, он совершил преступление. Не было денег на декорации и на оплату зала. И Павлик украл шубу у богатого клиента, пришедшего к его отцу, адвокату. И театр был спасен. Боратынский был решителен, насмешлив, умен. Восхищался Андреем Белым — “Серебряный голубь” и “Петербург” были его любимыми книгами. Но вместе с тем был и хорошим организатором, и это ему во многом были мы обязаны тем, что театр не распался, пока обстоятельства не объединили нас крепче, чем было до сих пор. Жизнь не то что изменилась или усложнилась, а начисто заменилась. И в этой новой жизни нам нашлось вдруг место и как раз потому, что существовал театр. И вот мы реквизировали особняк Черновых, к изумлению хозяина.



Черновы славились в Ростове своим богатством. Рассказывали, что происхождение их состояния темно, что предки Черновых были фальшивомонетчиками, что одного из них возили по Нахичевани на телеге, привязанным к столбу, и на груди его

висела доска с надписью: “Фальшивомонетчик”. Но в наши дни это забылось. У маленького, изумленного, седого Чернова была единственная дочь Беллочка, знаменитая своей красотой. Держали ее строго, без гувернанток и родителей она никуда не выходила, и только однажды отпустили ее с теткой в Анапу. И там она встретила студента Макса Литвака и влюбилась в него. Родители скоро узнали ужасную новость. Студент. Небогатый. И что хуже всего — еврей. Надзор за Беллочкой усилили. Отец перехватил букет цветов, присланный Максом, растоптал его ногами, а потом сам рухнул на эти белые розы без чувств. Но вот Беллочка, охраняемая гувернанткой, ушла в парикмахерскую — и не вернулась! Как выяснилось впоследствии, она надела на себя несколько платьев и через черный ход юркнула из парикмахерской во двор, а там ждал ее Макс. И они бежали. И родители получили через две недели телеграмму из Харькова о том, что дети обвенчались и ждут благословения. И их простили. Когда мы приехали в Ростов, об этом все только и рассказывали. В Театральной мастерской эта история приобрела особую остроту — Вейсбрем был страстно, безумно влюблен в Беллочку. (Мне казалось, так же, как я в Милочку.) И он помогал их побегу. И прочел, завладев им хитростью, письмо Беллочки к Варе Черкесовой с описанием первых дней супружества. Вся компания (тогда еще компания) с замиранием сердца обсуждала эти события, и вот театр (теперь уже театр) занял тот дом, о котором основатель Театральной мастерской столько думал и передумывал. И мы часто говорили об этом.

1953
3 сентября

Да, теперь мы были настоящим театром, хотя не слишком-то верили этому. И зарплата, которую мы получали, была столь призрачна, и люди столь по-другому знакомы, что думалось: “Да, мы, конечно, театр, но все же и не вполне”. И театральные критики, в новых условиях растерявшиеся, не могли нас уверить, и хваля и браня, что мы существуем. Самым значительным подтверждением факта нашего существования был хлеб. Внизу, в высокой сводчатой комнате черновского особняка, нам раздавали наш хлебный паек. Нагловатый венгр, бывший пленный, со своей русской женой занимался этим делом без весов, на глазок. Он и привозил хлеб на ручной тележке. Он работал в нашем театре дворником. Театр давал нам крошечную зарплату, право обедать в столовой Рабис и этот хлеб. И постепенно, постепенно реальность его существования утвердилась именно этими фактами. Во всем остальном было куда меньше основательности. Вряд ли у нас были какие-нибудь театральные вкусы и верования. Мы были эклектичны по-про-

винциальному, и потому, что сорок лет назад в театре все дрогнуло, перемешалось и еще неясно было, кто победил. В Художественном театре ставили “Синюю птицу”. “Гамлета” ставил у них Гордон Крэг. Начался период стилизаций. Появились режиссеры-“эрудиты”. О маленьких театрах вроде театра Комиссаржевского говорили и писали больше, чем о больших. Возрождали, насилуя себя всячески, комедию дель арте, о чем недавно я прочел прелестную запись в дневнике Блока о знакомых, которые лежат под столом и бегают на четвереньках, и о том, как не соответствует это умной и печальной русской жизни. Но сам он был связан как-то с театром Мейерхольда, который репетировал в Териоках Стриндберга. Обрывки всего этого доходили до нас, и мы во все это верили и не верили. И у нас было два режиссера — Любимов и Надеждов...* На редкость разными людьми были наши режиссеры. Любимов, вышедший из недр Передвижного театра, был нервен до болезненности, замкнут, неуживчив, молчалив и упрям. Тощенький, большелобый, в очках, смертельно бледный, сидел он на репетициях в большом черновском кресле, сжавшись, заложив ногу за ногу. По нервности он все ежился, все складывался, как перочинный ножик. Добивался он от актеров того, чего хотел, неотступно, упорно, безжалостно. Только не всегда ясно, по своему путаному существу понимал он, чего хотел. Второй режиссер — открытый, живой красавец Аркадий Борисович Надеждов. Этот играл и в провинции, и с Далматовым, и у Марджанова, от которого подхватил словечко “статуарно”. Работал Надеждов и у нас, и в полухалтурном театре (кажется, называли его “Свободный”) , и ставил массовые зрелища в первомайские или октябрьские дни. Он внес в Театральную мастерскую веселый, легкий дух профессионального театра. На так называемых режиссерских экспозициях был он смел и совершенно беспомощен. Нес невесть что. А ставил талантливо. Не было у него никакой системы, нахватал он отовсюду понемногу — это сказывалось в его речах. Но вот он приступал к делу. Его красивое лицо умнело, становилось внимательным. Любовь к театру, талант и чутье помогали ему, а темперамент заражал актеров. Как это ни странно, но столь непохожие друг на друга режиссеры наши никогда не ссорились. Впрочем, Надеждов был уживчив, да и вряд ли считал Мастерскую основным своим делом. Чего же тут было делить ему с Любимовым? Надеждов поставил у нас “Гондлу” Гумилева и “Иуда — принц искариотский” Ремизова. А Любимов — “Гибель “Надежды” Гейерманса и “Адвокат Пателен”.

**В подлиннике ошибочно — Надеждин.*



Пятым, а вместе с тем и первым по времени выпуска (по-моему, с него и начал наш театр свою жизнь в качестве государственного) был “Пушкинский спектакль”. Туда вошел без изменения перенесенный из “Вечера сценических опытов” “Пир во время чумы”, “Моцарт и Сальери” был поставлен заново. Между двумя этими пьесами Антон Шварц и Холодова читали стихи. Второй постановкой была “Гибель “Надежды”. Третьей — “Гондла”, затем “Адвокат Пателен” и “Иуда — принц искариотский”. От постановки к постановке привыкали мы к тому, что Театральная мастерская — настоящий театр. Директор наш, Горелик, был вместе с тем и секретарем Наробраза. Он принадлежал к виду молчаливых и властных людей. Несмотря на свой возраст (ему было 22-23 года), он заставлял себя слушаться как старший. Он вел театр со свирепой и молчаливой энергией. Так же свирепо и молчаливо был он влюблен в очень красивую, несколько мрачную, полную и крупную женщину. Сразу угадывалось — для такой любовь не шутка. Она была замужем. Развивалась запутанная и мрачная любовная история. И Горелик, почти мальчик, жил напряженнейшей жизнью. Он в сущности нес на себе все функции завнаробраза. Он вел наш театр. И был влюблен страстно. Сквозь туман моей жизни я взглядывал на него в ясные минуты с удивлением и завистью. Идеологом театра являлся сам заведующий Наробразом К. Суховых. Я знал его как фельетониста “Кубанского края”, где подписывался он — “Народин”. Это был высокий, постноватый на взгляд человек, с длинными прямыми волосами и морщинистым лицом. Было ему, вероятно, под сорок.



Он был женат на молоденькой женщине с загадочным выражением лица. Загадка, впрочем, была довольно проста и заключалась в ней самой. Она удивлялась себе, вспоминала пережитое и надеялась пережить еще более захватывающие вещи. К нам они были добры. Суховых перед каждым спектаклем выступал перед занавесом, говорил вступительное слово, увязывая пьесу с сегодняшним днем. Одна была близка ему как трагедия, другая — как широкое историческое полотно, третья — как продукт народного творчества, — Луначарский приучал широко мыслить. Такова была верхушка театра. К ней примыкал Павлик Боратынский. Он входил во все мелочи. Однажды, когда он проверял реостат, с прибором что-то произошло, и ему страшно обожгло руку, прорезало кожу током. Он встревоженно, но не больше, поглядел на страшную, багровевшую свою руку, перерезанную зловещим поре-

зом, и молча вышел из зала. “Роковой человек”, — вспомнил я. Он входил и в художественный совет театра, и во всех серьезных случаях Горелик советовался именно с ним. Теперь мне кажется, что Чабров уезжал в Воронеж в какую-то студию и работал там после ухода из Камерного, до того как мы побывали у него в Москве. Во всяком случае Павлик ездил зачем-то в командировку в Воронеж. И, отчитываясь, в графе расходов написал: “Нищему — 2 миллиона”. И мне кажется, что он ездил приглашать Чаброва. У нас была страстная жажда веры, а пророка все не находилось. Художники у нас были случайные, из проезжих. “Гибель “Надежды” делал Николай Лансере, “Гондлу” — Арапов, “Иуду”— Лодыгин. Как я тосковал в театре! Как не верил, что дело это имеет какое-то отношение ко мне. Николай Лансере написал задник — море.



Я ждал своего выхода в “Гибели “Надежды” возле самого этого задника. И, несмотря на близость к холсту, цвет моря вызывал у меня тоску по временам, вдруг ушедшим в туман, — по беспечным временам, когда шли мы пешком по шоссе, приближаясь к Адлеру. А теперь я женат, я артист, я ненавижу свое дело. Я не пишу, как в те дни, когда шли мы с Юркой по морю, а главное, не знаю, как писать. Спасительное чувство, что все это “пока”, и мечты утешали меня, особенно возле этого задника, изображающего море. Таковы были наши декорации. Думаю, что были они профессиональнее, чем постановки наши и игра. Попробую рассказать об актерах. Самой заметной фигурой был Марк Эго. Он успел побывать в настоящем театре, да еще в каком — в Художественном. И более того, во Второй студии, той самой, где Мчеделов поставил “Зеленое кольцо”. Если Художественный в те дни начинал утрачивать былое обаяние, то студии в наших глазах стояли необыкновенно высоко, — и вот Марк Эго пришел прямо оттуда. Шумной, простоватой, но сильной своей натурой завоевал он заметное место на незримом, но вечно волнующемся актерском форуме. Небольшого, нет, среднего роста, густоволосый, черноволосый, румяный, он не очень походил на актера в старом представлении. МХТ любил принимать в студию именно таких: интеллигентных, темпераментных, недовольных... Но Марк был еще и простоват. Не в смысле разума. Никак! В смысле вкуса. Сказывалось это прежде всего в псевдониме: Эго! И в отсутствии чувства юмора: он брал у времени всерьез его случайные, шумные, третьесортные признаки (Марк Эго). Так он и играл, и жил, и обсуждал театральные дела. Так же откры-

то, простовато и откровенно был он влюблен в Сусанну Чалхушьян и даже отравился после какой-то ссоры. Отравился на спектакле.



Мы играли “Гондлу”. Марк Эго в роли одного из волков — не помню, Лаге или Ахти, — говорил монолог, стоя на невысоком деревянном театральном камне рыже-красного цвета. Все декорации были выдержаны в этом тоне. Высокая колонна стояла посреди сцены, во дворце конунга. Была она того же цвета. В дальнейшем она изображала ствол сосны и не убиралась до конца спектакля, чтобы сохранилось основное цветовое пятно, как говорил нам художник. Итак, Марк стоял на камне со скандинавским рогатым шлемом на светлом парике. Его глаза, всегда несколько растерянные, когда он снимал очки, тут глядели еще беспомощнее. И вдруг посреди монолога он стал пошатываться, пошатываться и рухнул с камня на помост. Закрыли занавес. Мы подняли Марка Эго, отнесли в актерское фойе — не знаю, как иначе назвать эту комнату, не имеющую определенного назначения. В нее мы и внесли Марка и положили почему-то на стол. Он хрипел и вздрагивал, и грим на его побелевшем лице выглядел непристойно, даже оскорбительно. Скорая помощь увезла его, а дня через два он снова играл и репетировал и не вступал ни в какие разговоры по поводу своего самоубийства. Любопытным существом была и Наташа Макбалиева. Она принадлежала к тому виду людей, которые лишены дара держаться просто. Нервная до крайности, пережившая тяжелое детство, учившаяся в институте, потом ушедшая или убежавшая на сцену, она впитала из своего времени все, что лежало на поверхности. “Если бы ко мне пришел Уайльд, — сказала она восторженно, когда мы гуляли в Солнцедаре по берегу моря, — то я угостила бы его пирожками с розовыми листьями”.



Она же восхищалась дьяволом, который в стихах того времени выглядел мрачным и бледным красавцем в высшей степени гордого нрава. И я довел ее до слез, доказывая, что он по самой сути своей бесплоден. Заметную, не менее большую роль, чем Павлик, играл в театре Антон Шварц. Он был образованнее, да и умнее всех нас. Говорил на заседаниях художественного совета всегда ясно и убедительно. Спокойствием своим действовал умиротворяюще на бессмысленные театральные междоусобицы. Читал он великолепно. Играл холодновато. Он и Марк Эго были героями, а на амплуа героини — Холодова, играющая тогда под фамилией своей настоящей — Халайджиева. Она была

талантливее всех, но именно о ней можно было сказать, что она человек трагический. По роковой своей сущности она только и делала что разрушала свою судьбу — театральную, личную, любую. Она была девять лет моей женой. Вот входит в репетиционную комнату Костомолоцкий, костлявый и старообразный, и на пороге колеблется, выбирая, с какой ноги войти. Ему года двадцать два-двадцать три, но он родился от старых родителей, и его лицо коричневое, обтянутое сухой с мелкими морщинками кожей, выдает это. Это молодой старичок. Он все дирижирует невидимым оркестром, восклицая "дзан" — так изображает он удар барабана и тарелок. Или отбивает чечетку. Или подсаживается к какой-нибудь из актрис — он был влюбчив, точнее, женолюбив, и поглаживает, точнее, поскребывает своими костлявыми пальцами по плечу. Голос у него был жестковатый, неподатливый, но владел своим тощим телом он удивительно. Это был прирожденный эксцентрический артист.



Этот новый вид актерского мастерства чрезвычайно ценился в те дни. Через несколько лет Костомолоцкий прославился в постановке "Трест Д.Е." у Мейерхольда в бессловесной роли дирижера джаза. Более традиционным комиком являлся армянин, адвокат Тусузов, осторожный, неслышный, косо поглядывающий из-под очков своими маленькими глазками. И все-то он приглядывался, и все-то он прислушивался, выбирая дорожку побезопаснее. Одинокий, он и в театре держался бобылем, не вызывая, впрочем, враждебных чувств в труппе. Уж очень он был понятен и безвреден со всеми своими хитростями. И актер был хороший — он до сих пор играет в Театре сатиры. Рафа Холодов, рослый, красивый, играл любовников, что давалось ему худо. Он мгновенно глупел и дурнел на сцене и все злился — явные признаки того, что человек заблудился. И только в дни наших капустников, играя комические и характерные роли, он преображался. Исчезал недавно кончивший гимназию мальчик из солидной семьи, которому ужасно неловко на сцене. Угадывался вдруг талант — человек оживал. И в конце концов он так и перешел на характерные роли и стал заметным актером в Москве с тридцатых годов. Фрима Бунимович, или Бунина, тогда жена Антона Шварца, преданнейше в него влюбленная, огромноглазая, большелобая, маленькая, худенькая, была одарена разнообразно. Она все светилась, светилась, никогда не была спокойна, и черные глазища ее все мерцали, как от жара. Иногда бывали у нее припадки, когда ее сгибало, она поднималась, как мостик, от пяток к затылку, дугой. Она и рассказы пробовала

писать, и стихи. И томилась без ролей, и все обхаживала в вечной тревоге Тоню.



Вероятно, весной [19]21 года был у нас объявлен набор в труппу. За столом против сцены сидел, сложившись перочинным ножичком, положив подбородок на колено, уставившись исподлобья на экзаменующихся, Любимов. Рядом рассеянный, развалившийся по-царски в мягком кресле Надеждов. Сосредоточенный, бледный Горелик думал, не глядя на сцену, о своем. Тоня был спокоен и внимателен. Набор, как всегда, тянулся долго, в три тура. Молодые люди бледнели и терялись, выходя на сцену, или наоборот, впадали в крайнюю развязность. Черненький юноша болезненного вида, учившийся, по его словам, в какой-то балетной с школе, которому Любимов предложил поднять и опустить руку, стал вытворять с нею такое, что актеры, перешептывающиеся по углам, затихли от удивления. Юноша вращал кистью, крутил локтем, потратил на простое физическое движение более минуты. "Да вы просто опустите и поднимите руку", — приказал Любимов. "Иначе я не умею", — ответил несчастный и был изгнан. Он что-то, видимо, слышал о законах пластики и думал, что его ловят, хотят заставить их нарушить. Как всегда, отобранные на конкурсе оказались при ближайшем рассмотрении ничем не примечательными, кроме одного — пожилого коротышки, настоящего характерного актера. Этот чудаковатый, по-своему все обдумывающий и ненужно в самых простых случаях лавирующий человек, был в прошлом агентом по морскому страхованию. Он недавно потерял жену, остался с двумя маленькими дочками, которых по сложным соображениям никому в театре не показал ни разу. Ходила за ними свояченица, но и ее мы не видали, хотя, по сложностям быта, все мы жили на глазах друг у друга.



И скоро Николаев занял в труппе такое прочное и видное место, как будто давно работал у нас. О каждом из нас держал он в большой своей башке особое мнение и соответственно поступал, но его тонкая лавировка пропадала незамеченной. Коротенький, широкий, играл он с Тусузовым стариков в "Иуде — принце искариотском". Он сердился, не понимал роль, мудрил над каждым словом, а все-таки играл хорошо. Вспоминаю его так подробно, потому что жалею его. Он как-то боком прошел по жизни. После закрытия театра ушел он опять в страховые агенты. И вскоре умер. Конунга в "Гондле" играл молодой адвокат Нюма Швейдель. Он же играл судью в "Пателе-

не". Высокий, полнеющий, со щеками синеватыми даже при самом тщательном бритье, с небольшой головой, наивный, он не был лишен дарования. Но при самом тщательном гриме из-за седых косм конунга или парика судьи вдруг обнаженно выступал полнеющий, молодой, наивный Нюма Швейдель. Но был он хороший товарищ. И наивно удивлялся он собственной впечатлительности. Он рассказывал, как стоял в Таганроге у забора тетиного дома. "И сказал тихонько: "Тетя, расскажите, [как] умер Моня. Ее сын. Мой двоюродный брат. Она стала рассказывать. Я слушаю. Вечер. Все так спокойно. А потом я пошел к дому — и упал в обморок!" И еще рассказывал Нюма, как две недели просидел в тюрьме. В корпусе напротив сидел буденновский комдив Думенко. Он сошел с ума после смертного приговора, все подходил к стене, звонил по несуществующему телефону, вызывал свою дивизию на выручку. А в камере Нюмы журналист рассказывал свою повесть: "И мы так плакали! Я не помню, про что. Помню только: речка, а у речки береза. Но мы так плакали!" И он вздыха́л.



Артеньев, он же Артюшка, производивший свою фамилию от слова "артист", "искусство", и так далее, наружностью никак не походил на представителя этой профессии. А походил на деревенского парня, сильно запившего в городе. Его простецкая, одутловатая физиономия выражала недоумение и застарелое раскаяние. Он не то чтобы был всегда пьян, но всегда несколько одурманен. Он ухитрялся кокаин добывать на нищенское свое жалованье и эфир. Читал много, собирал книжки, а все выглядел простоватым парнем, сбившимся с пути. Сходство подчеркивалось его немыслимой одеждой. Зловещая куртка послевоенного образца, штаны в заплатах, солдатские английские пудовые рыжие бутсы. Все мы были одеты не бог весть как в те дни, но Артюшка ходил уж совсем босяк босяком. И не мылся, от грехов своих махнув рукой на это хлопотливое дело. В театре его любили за простоту и виноватую кротость. Он единственный из нас был с давних времен актером. С самой ранней молодости. Он много рассказывал о своей актерской жизни, и казалось, что это уже древняя история, хотя было ему лет тридцать, я думаю. Вот, например, что случилось с ним в [19]13-м году во время парадного спектакля, посвященного трехсотлетию дома Романовых, в Новочеркасске. По случаю праздника были они пьяны с утра, молодые актеры. И Артюшка с таким жаром дрался с поляком на сцене, что шпага его завилась штопором, к общему восторгу публики. Это обошлось бы ему, но в последнем действии он спросил своего соседа в боярской думе:

"Когда кончится эта ерунда, ведь нас на блины ждут". Казалось ему, что спрашивает он тихо, а спросил во весь голос, да еще в паузе. "Зал так и покатился, — рассказывал Артюшка. — Прибежала антрепренерша и выгнала меня из труппы. И еще сказала, что меня вышлют".

1953 13 сентября

"Начальство, — продолжал Артюшка, — разгневалось. В ложе был сам губернатор, или наказный атаман, или как его там называют, и заявил, что вышлет меня из области в двадцать четыре часа. Что тут делать? Пошел я в уборную и повесился: вишу, вишу и хоть бы что! Слышу, зовет меня первый любовник: "Артюша, где ты, идем на блины". Я молчу. Вошел он в нашу уборную — "А-а-а!" — и в обморок. Он был у нас нервный. На его крик сбежалась вся труппа, вынули меня из петли, оказывается, она как-то не так захлестнулась. Антрепренерша меня простила и губернатора упросила. И пошли мы всей компанией на блины к купцу, который очень любил актеров". Артюшка, мне кажется, и до сих пор играет где-то, кажется, на Урале. В тридцатых годах приезжал он в Ленинград. Одет был много аккуратнее, но тем не менее, когда я пытался устроить его в Мюзик-холл к Акимову, шубу Артюшка брал у Тони, когда шел договариваться. Акимову он понравился, но ничего из их переговоров не получилось. Артюшка уехал и не написал, как было условленно, или не подтвердил свое решение поступить в труппу, не помню, словом — не доделал дела. Беллочка Чернова вступила к нам в труппу. И более того — играла не хуже других. В "Иуде — принце искариотском" дали ей большую роль. Я смотрел на нее почтительно и меланхолично, как на проявление могущества Божьего, смутно подозревая, что отвечаем мы на его дар кощунственно или беспомощно. Вот сидит она на подоконнике в длинном коридоре, и словно сияние окружает ее. И Рафка Холодов, ухаживающий в те дни за нею, надувшись, сидит возле. Ссорится. Муж Беллочки, добродушный, смешливый Макс Литвак, здоровенный, простой, в те дни числился в нашей труппе. Младший его брат Толя был хитрее, разбитнее.

1953 14 сентября

Очевидно, то, что старшему доставалось само собой, как первенцу и красавцу (Макс был грубовато и простовато красив), младшему, рыжему и конопатому, доставалось непросто. Но до жизни Натолин — такой псевдоним взял себе Толя Литвак — был жаден куда больше брата. Играл он на редкость беспомощно. Но он и в Наробразе служил и все бегал по каким-то таинственным делам. Когда

на одном из наших капустников пели песенку: “Это было в Донобнаробразе, где сидит почему-то Натолин, где Горелик в каком-то экстазе и всегда чем-нибудь недоволен”, Толя попросил слово “почему-то” заменить словами “как известно”. Я в бездеятельности своей испытывал к нему чувство, похожее на ревность. И все-то он молчаливо и таинственно суетился. В Петрограде он так же таинственно и тихо устроился на кинофабрику или в Межрабиомфильм и уехал в Германию, оттуда в Голливуд, где и стал режиссером. И я увидел картину “Сестры”, где играл, нет, где режиссером был Анатолий Литвак. Было это году в сорок седьмом в Доме кино. Я не мог отнестись с доверием к Натолину, ставшему голливудским режиссером, и картина не понравилась мне. Впрочем, некоторые хвалили ее. Как попала Зина Болдырева в труппу? Не могу сейчас припомнить. Тоненькая, белокурая, добрая, она заняла свое место так естественно и просто, что теперь мне кажется, будто она в труппе нашей была всегда. Пользовалась она необыкновенным успехом у мужчин, но это ее в те дни никак не портило и скорее забавляло, чем волновало. Щетинина появилась возле Театральной мастерской еще в те дни допрофессиональные. Стройная, высокая, что-то пережившая и оскорбившаяся, как заметил Вейсбрем, она садилась на диван и подбирала ноги и куталась в платок, пряталась. Считалась она и актрисой, нет, собиралась она на сцену и рисовала.

1953
15
сентября

В Ростове в те дни была студия, в которой преподавал Саарян. И меня однажды рисовали там, кажется, Щетинина попросила меня. Ее карандашный набросок, сильно поправленный Сааряном, долго хранился у меня. Но это было все в доисторические времена. И вот Щетинина и ее муж стали нашими актерами. Муж — начисто забыл его фамилию — маленький, сердитый, самолюбивый, упрямый, как черт. В “Гибели “Надежды” играл он конторщика, разработав роль до ужаса подробно, каждый шаг, каждое слово, от чего она развалилась на составные части. Говорили, что любила Щетинина другого, а за него вышла замуж, уступив непрерывной, упрямой его осаде. Актерская судьба ее сложилась у нас нескладно, как и вся ее жизнь. Дальский, человек совсем новый, да так и не сжившийся с театром, полный, горбоносый, подозрительный и обидчивый, мучил нас своей смешливостью. Смех нападал на него всегда на сцене в самые неожиданные мгновения и, как это бывает вечно, заражал остальных. Гриша Кагальницкий, длинный-длинный, вялый, узкогрудый, добродушный, гримировал нас и играл маленькие роли. Бутафор, выродок, шепелявый, с огромными щеками, все обижался, все бормотал у себя за перегородкой: “Мозейко сесьць цисящ полу-

цает, а я ...” Можейко заведовал бутафорией в городском театре и по совместительству у нас, так что наш выродок считался его помощником. И обижался. Яша Решимов, вечно веселый, длиннолицый светлоглазый блондин, был у нас администратором. И все кричал: “На камстроли!” — когда у нас случался выездной спектакль, или: “Мосолы получать!” — в тех случаях, когда выдавали мясо. Как же забыл я Мару Воловикову, характерную актрису нашу, здоровую, жизнестойкую.



Она была из многодетной, здоровеннейшей семьи, была небездарна, неглупа, но здоровенная баба умирала в ней. Она не путалась с мужчинами, она все выходила замуж. По превратностям случая вышла она замуж за Марка Эго и сразу же поверила: вот она, наконец, прочная семья. Без всяких там хитростей ходила она следом за капризным Марком, как верная жена, и забеременела, а когда родила, то Марк, пресыщенный семейной жизнью, ушел от нее. А она уже в это время веровала, что нашла свою судьбу, нашла нового мужа — безумного нашего Любимова. У него была жена, Мара еще не родила, но уже ходила рядышком с новым своим. Театр трещит по всем швам. Холодные комнаты палкинских номеров. Ноябрь 21-го года. Я сижу в тоске, жду, когда позовут обедать, а на диванчике бледная Мара, с огромным животом, расплывшимися губами, коричневыми пятнами под глазами, спит сидя. И рядом, тоже сидя, тоже мертвенно бледный Любимов. Но и этот брак оказался непрочным. Мара воспитывала мужественно своих детей, работала, как вол, и нашла наконец прочную семью. И работает где-то, но сцену оставила. Вот теперь я как будто рассказал обо всех. Разные то утешительные, то враждебные мне люди собрались и образовали театр. Вечер. Дежурный режиссер сегодня Надеждов — по очереди присутствуют они на спектаклях, то он, то Любимов. Насмешливо щурясь, по-актерски элегантный, любо-дорого смотреть, бродит он возле актерских уборных, торопит актеров, называя их именами знаменитостей: “Василий Иванович, на сцену! Мариус Мариусович! Николай Хрисанфыч!” Но вот Суховых придает спокойное, даже безразличное выражение своему длинному лицу.



И выходит на просцениум. Свет в зрительном зале гаснет. Начинается. Мы собираемся у дверей единственного входа на крошечную нашу сцену. Глухо доносятся из-за занавеса слова Суховых. Он говорит об эпохе реакции, о борьбе темных и светлых сил. О победе пролетариата, которому нужно искусство масштабное,

искусство больших страстей. Вежливые аплодисменты. Насмешливое лицо Надеждова становится строгим и внимательным. Суховых торопливо проходит через сцену. “Занавес”, — шепотом приказывает Надеждов, и начинается спектакль, и только катастрофа — пожар, смерть, землетрясение — может его прервать. Так мы служили в театре в 20/21 году. И все события, которые разыгрывались за его стенами, занимали нас смутно, только врываясь к нам через его стены. Так, во время врангелевского наступления предложили нам идти в Красную Армию добровольцами. Многие записались, но тут же ночью мобилизация была отменена. Во время изъятия излишков у буржуазии ночью дали вдруг свет. В нашу комнату вошли рабочие с винтовками, спросили добродушно: “Артисты?”, посмотрели удостоверения и вышли, ни на что и не взглянув. Впрочем, с первого взгляда можно было догадаться, что излишков у нас нет. Обновился крест на соборе, и все бегали его смотреть. И в самом деле, один из крестов сиял золотом, как новый. Есть хотелось всегда, особенно когда по дороге домой приходилось идти через рынок, богатый и пышный, но необыкновенно дорогой. Тут я впервые научился продавать вещи, точнее, впервые осмелился это делать. Я вспомнил сейчас акации, ростовскую жару, медленно двигающуюся толпу с продающимися рубахами, платьями, башмаками, стаканами, пирожками, пирожными. Как только пишу о вещах близких, теряю всякое умение.



Иногда мы зарабатывали в “Подвале поэтов”. Длинный, синий от табачного дыма подвал этот заполнялся каждый вечер, и мы там за тысячу-другую читали стихи, или участвовали в постановках, или сопровождали чьи-нибудь лекции. А лекции там читались часто, то вдруг о немецких романтиках, то о Горьком (и тут мы ставили “Девушку и смерть”), то о новой музыке. Однажды на длинной эстраде появился Хлебников. Говорили, что он возвращается из Персии. Был он в ватнике. Читал, сидя за столом, едва слышно, странно улыбаясь, свою статью о цифрах. На другой день Халайджиева видела его на рынке, где он пытался обменять свои ватник на фунт винограда. Очевидно, Рюрик Рок не заплатил Хлебникову за вчерашнее выступление. Рюрик Рок был как будто председателем Союза поэтов — во всяком случае, все дела “Подвала” сосредоточены были в его руках и он платил нам за участие в их вечерах. Рюрик Рок, настоящая его фамилия была Геринг, являлся полной противоположностью Хлебникову. Нет, он никогда не улыбался стран-

но, был румян, черноволос, спокоен, деловит. Одет он был далеко-далеко не в ватник. Примыкал к школе ничевоков, а может быть, стоял во главе ее. Школа эпатировала буржуа, но эти последние были уж до того эпатированы, что сидели смирно в уголках и только радовались. Ничевоки не угрожали их жизни и излишкам. Вскоре поступил я в политотдел Кавфронта. Об этом театре рассказывать долго, да и приглушенные, тлеющие впечатления тех упадочных лет до сих пор неприятны мне. Я ненавидел актерское ремесло и с ужасом чувствовал, что меня занесло не туда.



Вчера я получал деньги на Ленфильме, а возле, у кассы, стоял редактор, в прошлом актер Гамелло. И вдруг он спросил меня: "Вы не знаете, где сейчас Дмитрий Петрович Любимов?" Я столько вспоминал Любимова за последние дни, что вопрос этот показался мне почти чудом. Оказывается, Гамелло встречал Любимова после того, как [Театральная] мастерская закрылась. Любимов вернулся в Ростов, пробовал работать, привиться там, но это ему не удалось. И он сошел с ума. И Гамелло видел его, как он сидел на шкафу, крича, что он обезьяна, а близкие уговаривали его успокоиться. Где он теперь? С год назад позвонила мне его жена, сестра актера Мгеброва, спросила, как устроить иллюстрации к Андерсену, сделанные каким-то художником, ее приятелем. И я не посмел задать ей вопрос: "А где Дмитрий Петрович?" Хорошего не ждал. Надеждов умер внезапно. До самого конца оставался тем же. Имел звание заслуженного актера, стоял во главе какого-то театра. Как жаль, что воображаемый мир так далек от этого действительно существовавшего. И как жаль, что до сих пор, через тридцать лет, он так жив в моей душе. Я не чувствую себя тут хозяином, и все боюсь нарушить точность, и рассказываю бледней, чем хотелось бы. Но записи эти как будто не напрасны. Пока что я выжал из них страниц 50 настоящей прозы. Переписал на машинке, и это малая часть того, что можно выжать еще.



Театральная мастерская верила в то, что где-то есть настоящие режиссеры и настоящие театры. Другой веры у мастерской не было, но готова она была верить во всю силу свою, которую ощущала, хоть и довольно смутно. И еще до того, как решился наш переезд в Петроград, почему-то именно я с Гореликом поехал за режиссером в Москву. В это время отношения в театре уже запутались — жить ему было нечем, а своим постоянным режиссерам верил он недостаточно. Кроме того, полуголодное существование артистов и процветание

администрации — вечные ножницы трудных времен — усложняли обстановку. А обычные бабьи ссоры разрастались у нас до безумия — такие подобрались характеры. И я был с Гореликом, директором театра и одновременно секретарем Обнаробраза, в отношениях скверных. Раздраженные бабьими ссорами мужчины в театре склонны были молчаливо вцепляться друг другу в глотку. Я в это был замешан поневоле, ужасаясь и понимая, что дело плохо. Если я не кусался, то лишь из нездоровой брезгливости. Я брезговал брать чужое горло в рот. А то кусался бы. И Горелик понимал это. И мы ехали в Москву в мягком вагоне Обнаробраза недружелюбно. На станциях было голодно. Идя за чем-то по путям, увидел я вагоны с дизентерийными, а может быть, и холерными. Тощие зады, выставленные из теплушек на свет божий, и зловещие лужи у колес. Москва, начинающая торговать. На каждом углу лотки с ягодами, пирожками, вафлями. Я шагаю мимо и мечтаю найти бумажник. Нет, это, пожалуй, жалко, хорошо бы так — был налет на банк, и, убегая, бандиты уронили множество пачек с деньгами. А я нашел. И никого не обидел. Другого способа поправить денежные дела я не видел. Ошеломленный недавно перенесенным тифом, женитьбой, ужасами чужой души, нелюбовью к актерскому ремеслу, всей жизнью, — я был очень слаб в те дни. И хотел есть. Чужая, как во сне, Москва.

1953 *8 августа*

Я иду в Лаврушинский переулок, где живет дядя Холодовой, несу ему письмо и чувствую, что сплю, что я почти без чувств. Почти без мыслей. Без чувств — и поэтому без мыслей. Связанные с нескладными, но сильными мучениями первых лет в Москве улицы не вызывают воспоминаний. Кто-то играет на рояле, окно открыто, слышно хорошо, музыка прекрасна, а я глух и пуст, что и в те дни ужасало меня. Даже музыка утратила смысл. Я пуст. На мне толстовка из серой материи, вроде мешковины, сандалии, одет я не хуже встречных, но мне кажется, что примут меня в Лаврушинском как бедного родственника. Жена Галуста — дяди, к которому я иду, — женщина добрая и гостеприимная, сгорела недавно. Наливала керосин в горящую керосинку, и бидон взорвался, и никто не догадался повалить несчастную женщину и накрыть одеялом, шубой, опрокинуть на нее корыто с мокрым бельем, стоящее возле. И она металась по двору, а потом стала в угол в прихожей и стояла покорно, пока не свалилась. Вот и забор, и замоскворецкий домик, где случилось недавно это страшное несчастье. Галуст-дядя очень красивый,

рослый, тяжелый армянин, славящийся молчаливостью и угрюмостью, — так меня и встречает. Строго оглядев меня огромными глазищами своими, пригласив сесть, принялся он шагать, заложив руки назад, по маленькому зальцу с плюшевой мебелью. Коротко, с сильным акцентом, спрашивал он о родных и выслушивал ответы мои явно неодобрительно. Мне казалось, что его раздражает в моих ответах полное отсутствие армянского акцента. На стене висел портрет Налбандяна в узенькой черной деревянной рамке и портрет католикоса в том же обрамлении. Вскоре появилась дядина дочь, тоже очень красивая. Отцовские черты лица, не по-армянски мягкие, перешли к ней и еще смягчились. Была она высока и тонка.



И очень нежна. Слишком. Эта нежность, переходящая в вялость, скорее пугала, чем трогала. Еще чуть-чуть, и заболеет. И поэтичность ее скрадывалась прозаичностью болезненности. Тем не менее, когда пришел круглоголовый Артюша, тогда, помнится, жених, а может быть, и муж, я почувствовал легкий укол в сердце. Что-то в этом чудилось неправильное, даже через туман, в котором я тогда пребывал. Артюша показался мне слишком уж угловатым. Они с дядей работали в артели, производящей алюминиевую посуду. Точнее, владели маленькой кустарной фабричкой против их домика, в том же Лаврушинском переулке, в полуподвальном этаже. Побыв примерно час в этом знакомом с детства и чужом мире, который видал я до сих пор за прилавками бакалейных лавочек, в армянской церкви, на благотворительных концертах, и не испытав от этого ни малейшей радости, вернулся я домой. Куда? Кажется, в вагон? На другой день пошли мы с Гореликом к Чаброву. За этим и приехали в Москву. Звать его в режиссеры. О нем говорилось у нас следующее: он известный пианист, друг Скрябина. Настоящая его фамилия Подгаецкий. Когда Камерный театр ставил “Покрывало Пьеретты”, Подгаецкий, под фамилией Чабров, так сыграл Пьеро — мимическую роль, что прославился на всю Москву. После этого помогал он Таирову ставить танцы. Успех “Принцессы Брамбиллы” приписывали ему. С Таировым Чабров поссорился, собирался уходить, о чем заговорили в театральных кругах. Многие утверждали, что он режиссер не слабее Таирова. Жил Чабров в квартире-музее Скрябина. В большой комнате окнами в переулок встретил нас человек с широкой грудной клеткой, плешивый, с медвежьими хитрыми глазками. Мне показалось вдруг, что он бабник, а не Пьеро.



Чем-то напомнил он мне нашего училищного сторожа Захара, баптиста, человека, ошеломившего меня в детстве разговором о девках. Но в дальнейшем показался мне Чабров простым и ясным. К нам он вряд ли собирался ехать, но и не отказывал решительно. Увидев, что я разглядываю гравюру в углу кабинета: тело юноши выброшено волнами на скалу, — он привел слова Скрябина: "Вот юноша, которому мне нечего желать". Сюжет гравюры, видимо, беспокоил Скрябина, он часто возвращался к этой теме, а после смерти композитора сын его утонул, купаясь. Не помню, на этот ли раз или во время предыдущих разговоров Чабров спросил: "А какие у вас актеры — темпераментноглупые или застенчиво-умные? Я умею работать только с темпераментно-глупыми". Возвращался я в вагон живее, чем всегда. Жизнь, казалось, продолжается. Разнообразие ее, сказавшееся в неожиданной простонародной внешности Пьеро — режиссера и музыканта, ощущение настоящего искусства, пробивающегося через любую почву, утешили меня, но ненадолго. По дороге домой у нас едва не случилось пожара, когда ставили мы самовар в вагоне. Комендант поезда грозил и ругался. На станциях с бранью и кликушескими воплями ломились к нам мешочники. Говорили на станциях все о холере. И я снова погрузился как бы в туман, из которого театральные заклинания о конструкциях вместо декораций, циркачах вместо актеров, о комедии дель арте в новой трактовке не в силах были вывести. Чабров к нам не приехал. Он удалился за границу, где, по слухам, снова стал пианистом. Говорили, что он особенный успех имеет в Испании. А мы осенью всем театром поехали в Ленинград, чтобы там и закрыться и разойтись.

1953
20
сентября

По моему особому счастью, когда переезд Театральной мастерской в Петроград был решен и подписан, денег у меня не оказалось У меня тут был особый дар — работал я как все, но деньги не шли ко мне, а придя, не задерживались И я пошел в последний раз на рынок. Называю его так по ленинградской привычке. Я пошел на базар продавать студенческую тужурку. Базар начинался длинной человеческой рекой, тянущейся вдоль бульваров, под акациями. Впадала эта река в огромное человеческое озеро, над которым виднелись островки — мажара с арбузами или клетками, из которых высовывались длинные гусиные шеи, или кадками со сметаной и маслом. На циновках прямо на земле горою вздымались помидоры, и капуста, и синенькие, и на таких же циновках разложены были целые комиссионные магазины тут: и фар-

фор, и старые ботинки, и винты, и гвозди, и книжки. Вещи обычно удавалось продать еще на бульваре. Если дойдешь до самого базара, — худой признак. Значит, нет спроса на твой сегодняшний товар. Студенческую тужурку купили скоро, и сердце у меня вдруг сжалось, когда увидел я, как парень с маленькой головой уносит ее. Мне почудилось, что это моя молодость уходит от меня. Было мне двадцать четыре, почти двадцать пять лет, и я все как-то не верил, что мы уедем в Петроград и я как-нибудь выберусь из колеи, которую ненавидел. Но вот уже поданы вагоны — две теплушки, с нарами для актеров в одной и театральным имуществом в другой. Стоят они вправо от вокзала, вход через ворота. Вот вагоны и погружены. Осенний, почти летний вечер — засушливое, жаркое лето 21 года все тянется. Я измучен не столько сборами, сколько слезами и истериками близких. Вагоны стоят.



Памятнее всего за последние дни перед отъездом из Ростова было унылое и позорное путешествие на вокзал. Мы ехали на извозчике, и по его спине понимал я, что и его ужасает поведение пассажирки, которую он везет. Ехали мы медленно, и мне чудилось, что меня везут на позорной колеснице. Подсолнечное масло стояло на ступеньке, и я придерживал его и молчал, а безумная и несчастная Холодова ругала меня позорно, бессмысленно и так заразительно, что кротчайшая ее мать присоединилась к ней. За последнее время успела Холодова перессориться со всем театром — по каким причинам? Не понять. Была она внекатегорной, единственной в театре актрисой, получавшей зарплату выше существующих ставок. Ее уважали и готовы были любить, но она не допускала этого. Вечно накаленная, вечно недовольная, хоть и играла все роли, всех героинь, точнее. Если меня губила роковая, словно наговоренная, насланная бездеятельность, то ее убивала бессмысленная, самоубийственная, полная беспредметной злобы и до ужаса нечеловеческая, воистину нечеловеческая энергия. Объяснить ей что бы то ни было никто не мог. Беда, когда такое существо заведется в деле. Покоя, нужного для работы, не жди. Нечеловеческая, неукротимая, неумолимая злоба! И вот я ехал на своей позорной колеснице через весь город и думал: “Вот во что обратилась моя жизнь”. Мы погрузились в вагоны, провожатые ушли, а поезд все не двигался. И я все боялся, что не уедем мы, да и только. Горелик в последние дни еще более побледнел и замкнулся в себе. Женщина, которую он любил, ревновала его к театру и не хотела, чтобы уезжал Горелик из Ростова. Тоня и Фрима уехали в Москву, и неясно было, присое-

динятся ли они к нам по пути. Надеждов оставался в Ростове. Уехали вперед Литваки и Беллочка Чернова. Казалось, что театр вот-вот распадется. Куда ж мы едем? И едем ли? Но вот нас прицепили к какому-то составу.



И мы так долго маневрировали, что я не поверил себе, когда началось движение вперед, без остановки у стрелок, без свистков, без помахивании флажками. В высоких, метра в полтора, бидонах плескалось подсолнечное масло — весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бидоны и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали, утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бидоны. Один — с превратившейся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, подъемными, зарплатой за месяц. Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бидон, покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество. По тогдашним ценам этого могло хватить месяца на два жизни, что меня глубоко утешало. Ни разу я не был так богат. И вот мы все удалялись от Ростова, и я все оживал. Это был непривычный путь — теплушки наши останавливались вдали от вокзалов, где-нибудь на пятом пути, и поэтому все остановки выглядели одинаковыми. Пробираясь под колесами, обходя бесконечные составы, бежали мы к рынку, или к водокачке умываться, или за кипятком, или к уборным. А Павлик Боратынский и Львов — администратор наш и Барсов — второй администратор мчались к дежурному по станции, чтобы нас не отцепили или перецепили к новому составу. Однажды и я от нечего делать присоединился к ним. Дежурный в гимнастерке, бледный и словно опьяненный всеми трудностями, что окружали его, то начинал слушать, то вскакивал и бросался к телефону, то снова говорил нашим: “Слушаю вас, товарищи”, — и, получив сверток с колбасой и салом, исполнил нашу просьбу, успокоившись.



Трудно было, возвращаясь, узнать свои вагоны. Пока мы ходили, вагонный пейзаж вокруг нас успевал измениться. Исчез вагон с углем, появился воинский, с трехдюймовками и красноармейцами, или выстроились напротив цистерны с надписью “Огнеопасно”. Пассажирские вагоны словно исчезли, вымерли. Изредка попадался в пути единственный скорый поезд, сохранившийся в природе:

"Москва — Минеральные Воды". И мы любовались на него. На каждой узловой станции нас задерживали, и население вагонов нервничало. Особенно сердилась мать Павлика Боратынского, ехавшая с нами. Во всем обвиняла она Павлика, а он терпеливо слушал. Ехали мы по тогдашним временам быстро. Только одного и боялись: легендарной станции Кочетки, где вагоны задерживались неделями. О железнодорожниках этой станции рассказывали целые истории как о разбойниках. С нами ехала от Ростова тихая женщина с мальчиком, жена какого-то служаіщего управления Владикавказской дороги. И она подтверждала, что страшнее Кочетков станции нет. Мама Павлика ругала Павлика так заразительно и убедительно, что тихая жена служащего, покачав головой, признала однажды: "Правда, Мария Федоровна — ваш Павлик идиот". Мария Федоровна умолкла на миг и вдруг бросилась на несчастную со всей своей силой, изругала за сына. Чем дальше ползли мы, тем холоднее становилось, лил дождь. В Кочетки прибыли мы глубокой ночью. Львов и Барсов с мешками выскочили из вагона, понесли разбойникам дань. Минут через двадцать они вернулись, сопровождаемые тремя мрачными фигурами в железнодорожных фуражках. Они заглянули зачем-то в теплушку. Один из них, с перевязанной щекой, попросил еще и спиртику: зубы болят. После чего разбойники удалились, обещав отправить.



И через двадцать минут мы тронулись в путь — дань оказалась достаточной. Так мы ползли и ползли. Все чаще приходилось закрывать дверь теплушки, потому что хлестали дожди, так что видели мы одни вагоны на станциях. Но вот дней через пятнадцать в нашей железнодорожной жизни, вошедшей в колею, стало медленно-медленно назревать настоящее событие. Более мелкие события — Курск, Орел, Серпухов — ничего не изменили в нашей жизни, хотя их мы ждали тоже с нетерпением. Но тут мы приближались к Москве! Тут предстояло нам прожить дня три-четыре — таков был срок пребывания на этой станции, узловой из узловых. Думали мы, что прибудем туда вечером, но и ночью не увидели Москвы. И только на рассвете остановились мы среди путей и составов, которым не было конца. Москва-сортировочная. Мы вышли к виадуку. И я сквозь утренний и душевный туман увидел с моста огромный золотой купол храма Христа Спасителя. И вспомнил, что с самой первой встречи город принял меня холодно, враждебно, да так и сохранил этот обычай навсегда. И напрасно ждал я от Москвы прояснения моей жизни, поворота к лучшему. Ничего хорошего тут с нами не случит-

ся. Но вот мы перешли виадук, увидели мощенную булыжником дорогу, услышали цоканье подков — ломовики везли какие-то ящики к станции. И мне вдруг захотелось, так захотелось в Москву. Несколько возчиков курили у лестницы, ждали нанимателя. “Сколько возьмете до Москвы?” — “Десять рубликов”. Это значило десять тысяч. Но тем не менее, установив, где будут наши вагоны, к вечеру мы были в Москве. Она была озабочена, нездорова, слаба, но меня встретила непримиримо. Куда хуже, чем летом, когда приезжал я к Чаброву. Мы думали оторваться от театра, остаться тут, в Москве.

1953
25
сентября

В те дни в Москве еще можно было найти комнату, но страшно показалось в эти осенние дни оставаться там в одиночестве, без театра. Не устроился в Москве и Тоня, решил ехать с нами. Жили мы в Москве, пока шли хлопоты о прицепке наших вагонов. Побывали в Камерном театре, посмотрели “Саломею”. В Ростове успел я забыть, что московские театры, дома и улицы не абсолютны. У Театральной мастерской был друг, связанный с основным ее ядром еще со времени “Зеленого кольца”. Был он молодым врачом, только что кончил университет в те дни, и страстным любителем театра, в особенности левого. Он создал крайне левый условный театр Санпросвета, который, впрочем, скоро закрылся. Он не порывал связи с мастерской и присылал некоторое подобие стенной газеты раз в два, в три месяца, которую клеил он своими руками, составлял из газетных вырезок и дополнял своими разъяснениями. Аэцай Ранов (так звал себя Шура Рысс) в своей газете называл Камерный театр едва ли не первым в стране. К моему огорчению, “Саломея” ужаснула меня. Кроме Ирода — Аркадина, все остальное не походило, не подходило к той простоте и пустоте, в которой очутился мир. Это выглядело оскорбительно, бестактно, провинциально. Вчерашний обед. В высшей степени черствые именины. Не помню, тогда или чуть позже увидел я “Мистерию-Буфф” у Мейерхольда и тоже огорчился. Я так любил влюбляться. Тут я увидел отказ от всех законов, возмущающих в Камерном. Но радости от этого не ощутил. Оголенная сцена не была использована — слишком большая свобода не вызывала сочувствия, уважения. При такой свободе — все можно и ничем не убедишь. Только года через два, увидав “Великодушного рогоносца”, я был потрясен и убежден — родились новые законы Сильное впечатление, наиболее унылое, произвело кафе “Стойло Пегаса”.



Я ненавидел актерскую работу и, как влюбленный, мечтал о литературе, а она все поворачивалась ко мне враждебным, незнакомым лицом. “Стойло Пегаса” мало чем отличалось от ростовского “Подвала поэтов”. То же эпатирование буржуа, в высшей степени для них утешительное. Та же безграничная свобода, при которой все можно и ничем не удивишь, но еще более обескураживающая. За несколько дней до нашего приезда в “Стойле Пегаса” состоялся вечер, посвященный памяти Блока, с кощунственным, и лихим, и наглым, и ничего не стоящим названием. Кафе в тот день было переполнено. Имажинисты позволяли себе все, но никто не удивлялся. Тем не менее ощущение скандала, и скандала невеселого, возле могилы, нарастало. И вдруг Тоня поднялся и прочел стихотворение “Рожденные в года глухие”. Когда закончил, полная тишина воцарилась в “Стойле”, и председатель, не то Кусиков, не то Мариенгоф, только и нашелся сказать что “Ца-а!” В тот вечер, что были мы, выступал с речью об имажинистах Брюсов. Я увидел его в первый и последний раз в жизни. Высокий, узкоплечий, он походил на свои портреты и зловеще вместе с тем отошел от них. Как он стар! Взгляд особенно тусклый, даже оловянный. Вся значительность, словно штукатурка, обвалилась со всего его существа. Говорил он убедительно, холодновато и безразлично. Он доказывал, что новая поэтическая школа прежде всего определяется языком. Маяковский создал новую форму, а вместе с тем и школу. А имажинисты — эпигоны. Попадаются у них красивые строчки — например, у Кусикова: “Радуга — дуга тугая” — и только. Слушали Брюсова терпеливо и вяло. Оживились, когда на кафедре появился сутулый, черный, бледный, неряшливо одетый москвич и стал возражать.



Широко расставив руки, и опираясь на кафедру, и низко наклоняясь, он почти касался ее своей черной, редкой, кустистой бородкой. Он как бы хвалил Брюсова, но все смеялись — очевидно, этот сутулый считался в кафе человеком острым. Я не понимал его намеков. Он все издевался над академизмом Брюсова, но еще что-то местное было в его словах, понятное только местным. Уж слишком они оживились. А Брюсов сидел за своим столиком неколебимо, как олимпиец, и поглядывал бесстрастно. Оловянность глаз его повергала меня в отчаяние. Еще раз увидел я, что Москва — не бог весть что. И чужда, так чужда, что я готов был в ножки ей поклониться, только бы приняла она меня. Но понимал, что это не помогло бы. Что мне эти рисуночки на стенах, дым, жестокость испитых морд, девицы, перепуганные до извраще-

ния. Ад. За столиками оживились. Взгляды устремились в угол. Пронесся как бы ветерок: “Есенин пришел!” — “Где?” — “Вон, с Мариенгофом за столиком”. Я к этому времени оцепенел, впал от ужаса в безразличное состояние. Нет, не уйти мне из театра. Некуда. Со страхом, как бы сквозь сон, взглянул я в указанном направлении и увидел два цилиндра и два лица: одно — круглое и даже детское, другое — длинное и самоуверенное. Нет, из театра бежать некуда. Тоня куда более цельный и спокойный — и тот не остается тут, несмотря на московские знакомства. А меня Москва, как всегда, и подавно не примет. Пока жили мы в Москве и ждали отправки, с вагонами случилось следующее происшествие. На Сортировочной маневрировали просто: пускали вагоны под уклон, а стрелочник переводил их на требуемый путь. Паровозов не хватало. При такой системе толчки получались значительные. В день происшествия в вагоне ночевало человек пять.

1953
28
сентября

Вагоны наши пустили под уклон, и толчок получился столь значительный, что декорации выехали из-под нар, на которых мы спали, на середину теплушки. Чудом устояли бидоны с постным маслом. Чемоданы полетели с верхних нар. Марию Федоровну ушибло — ей повредило ребра, и ей пришлось прекратить путешествие с нами. Она поехала от Москвы скорым. И наши теплушки от Москвы не обычно отправились, а были прицеплены к товарно-пассажирскому поезду с одним пассажирским вагоном, так называемым штабным, и с несколькими делегатскими — такими же, как наши, и обычными, в которые набивались остальные пассажиры. Тут уже не приходилось бегать и хлопотать к дежурному по станции, состав шел по расписанию. Садились мы на старом, столь памятном Николаевском вокзале. Огромный состав подали к пассажирской платформе. Приехали Тоня и Фрима со всем своим багажом. Тоненькую ее фигурку, согнувшуюся над чемоданами, запомнил я почему-то до сих пор. Она бегала и беспокоилась, а мы помогали погрузке, и шел дождь, и все спешили через несколько минут состав должен был по расписанию отойти. И отошел, к нашему величайшему удовольствию, даже гордости, — вот как мы теперь едем. И всюду останавливались мы на станциях и стояли по расписанию, хоть и подолгу. И уж мы не пропустили ни одной станции, ни одного самого крошечного разъезда. На одной маленькой станции Фрима едва не отстала. На грязной осенней базарной площади купила она мешок картошки, и продавец понес его, торопясь, к поезду. И тут прозвонил второй звонок. Что делать? Тоне оставать-

ся нельзя было. Он по решению нашего совета должен был представительствовать при переговорах с петроградцами.

1953
29
сентября

Фрима и спутник ее бежали медленно, как во сне, а прозвонил уже третий звонок, и поезд тронулся. В самый, самый последний момент обрушил продавец в теплушку тяжелый мешок, а Фриму втянули мы за руки. Она виновато глядела на всех нас огромными своими черными мерцающими глазищами, а прежде всего на Тоню — доволен ли он, не сердится ли? Но он был ровен, как всегда, и принимал Фримины заботы без малейшего раздражения. Ведь для их хозяйства, в сущности для Тони, бегала Фрима на рынок. Одна она неделями не обедала бы. Больше происшествий за всю дорогу не случилось, и мы прибыли в Петроград. Мы прибыли в Петроград очень быстро, к исходу третьих суток 5 октября 1921 года. Теплушки наши поставили на товарном дворе у покатых, мощенных булыжником платформ, построенных так, чтобы ломовики могли подъезжать к самым дверям вагонов. Впрочем, может быть, построены были они для погрузки артиллерии и грузовых машин. Утром пришли к нам Макс и Толя Литваки. Какие-то вещи их прибыли с нами. Удостоверившись в их целости, отправились они домой, а я от нечего делать — с ними. Мы свернули на Суворовский проспект. Маленький, тесный, не по-ростовски угрюмый, темнел рынок в самом его начале. И Ленинград казался мне темным, как после тифа, еще в лазаретном халате. Я шел по улице, где через восемь лет предстояло мне, переломив свою жизнь, начать ее заново, и ничего не предчувствовал.

1953
30
сентября

До сих пор приезжал я в Ленинград — нет, в Петроград — ненадолго и ехал быстро: усну в Клину, а проснусь в Любани. А в октябре 21 года я успел разглядеть города, и леса, и поля, мимо которых прежде пролетал во сне. Мы ехали на север, переселялись в чужой край. Исчезли выбеленные глиняные хаты, города белые и кирпичные, все в садах. Тут дома пошли бревенчатые, темно-серые, почти черные. Деревянные улицы. И продавали на станциях картофельные лепешки, пироги из ржаной муки с морковью. Все казалось чужим, хоть и не враждебным, как в Москве, но безразличным. Этому бревенчатому северу не до нас, самому живется туго. И, шагая по Суворовскому, испытывал я не тоску, как несколько дней назад в Москве, а смутное разочарование. Мечты сбылись, Ростов — позади, мы в Петрограде, но, конечно, тут житься будет не так легко и просто, как чудилось. Петрограду, потемнев-

шему и притихшему, самому туго. Навстречу нам то и дело попадались красноармейцы, связисты — тянули провода: ночью сгорела телефонная станция. Вот и Таврический сад. Вот знаменитый дом — “башня”, как называли его символисты, — где жил Вячеслав Иванов. И в самом деле с угла похож его фасад на башню. Башня опустела так основательно, что не тревожит воображения. Литваки живут где-то возле или даже в том самом доме, я захожу зачем-то к ним, знакомлюсь с маленьким, не по сыновьям, седым, с цветом лица рыжего человека Литваком-старшим и возвращаюсь на товарный двор. Я узнаю, что играть мы будем на Владимирской, 12, а жить на углу Владимирской и Невского в номерах палкинской гостиницы, позади бывшего ресторана Палкина. Комнаты отличные, огромные, светлые, но холодные. К вечеру должны мы переехать.



Все мы несколько побаивались одного: как вывезем мы наш багаж с вокзала? Вдруг примут нас за спекулянтов? Да, у нас есть соответствующие справки, но, хоть нэп и начался, милиционеры петроградские строги и придирчивы. Конечно, можно было бы и подождать и вывезти наши вещи с театральными, но это значило бы прожить в теплушке лишние два-три дня. Это казалось невыносимым. Приехали. Есть комнаты. Нет, надо выбираться с товарного двора. И вот к вечеру поднялась на нашу скошенную булыжную платформу тележка, и ее высоко нагрузили всем нашим багажом, и укрепили его веревками. И мы двинулись к выходу. Я несколько поотстал. Фрима самоотверженно шагала у покачивающегося груза нашего, а Тоня тут и не присутствовал — не мужское дело. Вот высочайшие сводчатые бетонные ворота в уровень зданию вправо от вокзала; они сохранились до наших дней. И, о счастье, милиционер и не взглядывает на нашего возницу с его грузом. Мы на свободе. И тревога за багаж исчезает мгновенно и кажется просто смешной. Основная, главная тревога стоит ничем не заслоненная передо мною: как жить будем. Незнакомый, не враждебный, но потемневший и обедневший Невский. Трамваи по нему не ходят. Крошечные робкие частные магазинчики с одинаковыми названиями “Продукты питания”. Наше тележка покачивается впереди, худенькая, озабоченная Фрима шагает рядом. Вот и Владимирский проспект. Темно-шоколадный домина на углу. За широкими магазинными витринами первого этажа недоступные и непривлекательные ковры, китайские вазы, бронза, мебель красного дерева. Магазин Помгола — помощи голодающим Поволжья. Тележка въезжает в ворота с Владимирского. Приехали.

1953
2
октября

По темной лестнице попадаем мы в просторную кухню с соответствующей плитой. Из нее в коридор. В одной комнате, большой и высокой, с прекрасной, почти помголовской мебелью, помещаются Тоня и Фрима, рядом — в такой же — мы. В следующей — Зина Болдырева, за нею, в самой большой — Николаев, Холодов, Тусузов. В угловой комнате рядом с Тониной стоит пишущая машинка, ночуют Боратынский и Решимов Юля, брат Яшки. Это друг первого ядра мастерской, поступивший в Москве в театр бывший Корша, где и прижился. Он хотел поступить в Ростове к нам, но это не вышло тоже. Он женился на Варе Черкесовой, нашей актрисе, которую я забыл назвать, говоря о труппе. Она в труппе была с любительских времен. Молоденькая, ладная армянка, смуглая до странности, почти как мулатка, внешностью обладала она благодарной, сценической. Губила ее дикция. Варя как бы скользила над словами, словно англичанка. Юля, молодой, светлый, начинал уже плешиветь и весь кипел от сценических обид и неудач, все задумывался свирепо. Женившись на Варе, он увез ее в Москву. Там дела у него все не ладились, и он, оставив жену в Москве, присоединился к нам и жил теперь в угловой комнате, надеясь попасть в труппу. Горелик не отвечал ему ни да ни нет, и он жил в угловой комнате и ершился, и фыркал, и умолкал осуждающе, по уши закутавшись в кашне, усевшись в уголке, уставившись в одну точку. Заполнились, как я теперь вижу, не все комнаты, а только угловая, Тонина и моя. Труппа съезжалась понемногу. Большая часть задержалась в Москве. Горелик жил отдельно.

1953
3
октября

Любимов и Мгеброва поселились у Мгебровых, Беллочка и Литваки — у родителей в башне, словом, два-три дня прожили мы во втором этаже палкинского дома вдесятером, вшестером. И — о, чудо! — вели совместное хозяйство, и я был уверен, что завтра тоже удастся пообедать Фрима свою влюбленность в Тоню переносила и на близких его — она жалела меня, была со мной ласкова, я светился отраженным светом для нее. И мы вместе пошли на Кузнечный рынок — вот как я его увидел в первый раз. Он был богаче того, что огорчил меня в начале Суворовского, но все же темен, особенно сейчас, в осенние дни На тротуаре перед рынком продавали репу — и ее увидел я в первый раз в жизни, и показалось мне, что она соответствует рынку. Но мы купили ячневой крупы и картошки и сварили обед, причем Фрима ела совсем немного, утверждала, что не может есть того, что готовит сама. Купили мы с помощью дворника сажень дров и свалили в чулане или бывшей ванной

возле угловой. Подобных дров не встречал я потом ни разу. Они были березовые, каждое полено — в пуд, и огнеупорны полностью. На мой ростовский взгляд, топить дровами было расточительством. Они нужны, чтобы разжечь каменный уголь. Но тут нам пришлось встретиться с дровами, и вот какой печальной оказалась встреча. Наш палкинский дом был переполнен крысами. Ночью дрались они за витринами Помгола на коврах, и бюро, и штучных столиках, бегали по нашим большим комнатам, стучали в коридоре. Мрачный Юля Решимов строил для крыс ловушки из наших пудовых дров. Закутавшись до ушей в кашне, сидел он в кресле, держа в руках веревочку, не сводя глаз с чулана Раз! Готово, одной нет. Труппа съехалась.



Утром, осторожно перелив масло в бутылку, шел я продавать его в один из магазинчиков "Продукты питания". Ближе всего, через два дома от Палкина, на Владимирском торговала коренастая жестковолосая брюнетка с рассеянным, ошеломленным выражением. Глядя в пространство, не спеша, взвешивала она мо́й товар, вздыхая, расплачивалась и жаловалась. Зачем бросила она службу! Конечно, с дочкой не прожить на жалованье акушерки, но и торговать так страшно, и так ненадежно ее положение! А дочка, маленькая, апатичная, бледная, подбородок — в уровень прилавку, не бегала, не играла, а все жалась к матери, как будто грелась. Днем шли мы на репетицию. Дом на Владимирской, 12, холодный и огромный, с нелепым фойе, как бы вылепленным из грязи, изображающим грот, и с целым рядом фойе, ничего не изображающих, с небольшим театральным залом и такой же сценой. Впрочем, и сцена и зал нам показались достаточно просторными. В этом же доме помещалась когда-то редакция или контора "Петербургской газеты". Над переходом посреди здания, тоннелем, ведущим с улицы во двор, сохранилась вывеска, а в одной из зал — переплетенные за много лет комплекты газеты. Тут мы и репетировали. Я в ожидании выхода просматривал "Петербургскую газету" за [18]81 год. Поразила меня статья Лескова. В конце марта или раньше был открыт подкоп через Садовую, и Лесков жаловался отчаянно, что теперь никто, никто не может быть спокоен за свою жизнь. Репетировал Любимов. Он переставлял роль Холодовой. Нет, о свалке, которая все нарастала в театре, нет сил писать и сегодня, через тридцать два года.



Говоря коротко — театр готовился к открытию сезона, а внутри было неблагополучно. Бытовая сторона наладилась проще и легче, чем в Ростове: мы вели общее хозяйство, во главе которо-

го стоял Николаев. Наняли кухарку — шепелявую, словно ушибленную Машу. Готовила она старательно, но понимала то, что ей говорят, словно бы через туман, замедленно. Ее как-то спросили: "Маша, вы были замужем?" Она промолчала. И уже к вечеру, когда вопрос был забыт, получился ответ: "Нет, я десять лет так жила". Однажды за обедом Тусузов по какому-то поводу воскликнул: "Дело в шляпе!" Маша на этот раз реагировала, быстро подошла к столу и прошепелявила едва слышно, как бы сонно: "Шляпу вам нужно? Одна подруга моя продает. Ей объяснили недоразумение, и тем не менее, к общему восторгу, принесла она утром старую пожелтевшую панаму: "Вы шляпу спрашивали". Мариэтта Шагинян относилась к нашему театру доброжелательно еще с ростовских времен. В журнале "Жизнь искусства" (а может быть, "Искусство и жизнь") появилась ее статья о нашем театре под названием "Прекрасная отвага". Мы с Тоней однажды пошли к ней в Дом искусств, где она жила. Он помещался в елисеевском особняке на углу Мойки и Невского. Увидев деревья вдоль набережной, высокие, с пышной и свежей зеленью, несмотря на осень, я испытал внезапную радость, похожую на предчувствие. Длинными переходами попали мы в большую комнату со следами былой роскоши, с колоннами и времянкой. И тут я впервые увидел Ольгу Форш, которая была у Шагинян в гостях. Мариэтта Сергеевна принадлежала к тем глухим, которые говорят нарочито негромко. Выражение она имела разумное, тихое, тоже несколько нарочитое, но мне всегда приятное. Приняла она нас ласково.

1953
6 октября

Зато Ольга Дмитриевна пленила меня и поразила с первой встречи. Она принадлежит к тем писателям, которые в очень малой степени выражают себя в книжках, но поражают силой и талантливостью при личном общении. Форш, смеясь от удовольствия, нападала на Льва Васильевича Пумпянского, которого я тогда вовсе не знал. Смеялась она тому, что сама чувствовала, как славно у нее это получается. Говорить приходилось громко, чтобы слышала Шагинян. Казалось, что говорит Форш с трибуны, и это усиливало еще значительность ее слов. И прелестно, особенно после идиотских театральных наших свар, было то, что нападала она на Пумпянского с высочайших символистско-философских точек зрения. Бой шел на небесных пространствах, но для обличении своих пользовалась Ольга Дмитриевна, когда ей нужно было, земными, вполне увесистыми образами. И мы смеялись и понимали многое, понятия не имея о предмете спора. Обвиняла Ольга Дмитриевна

Пумпянского в том, что он, сам того не желая, служит дьяволу и тянет за собой молодежь. Откидывая голову, важно, как важная дама, и весело, как всякое существо, играющее от избытка силы, описывала она спину этого служителя сатаны, которая выдавала его полностью, и цитировала его, и изображала. Домой мы шли по Гороховой, проводив куда-то Шагинян и думая, по незнанию города, что улица эта так же близка к углу Невского и Владимирской, как и к углу Невского и Мойки. И уж мы шли, и шли, и шли. И я совсем затосковал. Конечно, эта литературная атмосфера казалась мне куда более человеческой, чем в "Стойле Пегаса". Но я не посмел и слова сказать у Шагинян.



Я был влюблен во всех почти без разбора людей, ставших писателями. И это, вместо здорового профессионального отношения к ним и к литературной работе, погружало меня в робкое и почтительное оцепенение. И вместе с тем, в наивной, провинциальной требовательности своей, я их разглядывал и выносил им беспощадные приговоры. Я ждал большего. От них, от Москвы, в свое время. А писатели стали бывать у нас в гостях. Взял нас под покровительство Кузмин, жеманный, но вместе с тем готовый ужалить. Он все жался к времянке. Рассказывал, что в былые времена обожал тепло, так топил печь, что она даже лопнула у него однажды. С ним приходил Оцуп, поэт столь положительного вида, что Чуковский прозвал его по начальным буквам фамилии Отдел целесообразного употребления пайка. Появился однажды Георгий Иванов, чуть менее жеманный, но куда более способный к ядовитым укусам, чем Кузмин. В труппе к этим дням произошло некоторое расслоение: существовала комната миллиардеров — Тусузов, Николаев, Холодов. Они жарили картошку в масле под названием пом-де-терр — миллиардер, пекли пирожки. Однажды к доброй и прелестной Зине Болдыревой собрались писатели, и она была в отчаянии, что нечем их угостить. И она попросила миллиардеров, чтобы уступили они ей пирожков. Они решительно отказали. Тогда Зина, едва вышли они зачем-то, схватила тарелку с пирожками и унесла.



Гости ели пирожки, ничего не зная, а миллиардеры, к ужасу бедной Зины, шипели у двери. Нет, вспомнил — шипел один Тусузов — пирожки-то были его. Но войти в Зинину комнату он не посмел. Настоящими миллиардерами были, собственно, Ту-

сузов и Николаев. С утра у них начинались препирательства о завтраке, который устраивался в складчину. Чей примус употребляется на это, чей керосин, кто дает на заварку чай. Чтобы поправить наши дела, мы халтурили. На Владимирской, 12, помещался до нашего приезда Дом политпросвета, если я не путаю названия учреждения. Стоял во главе его седой и доброжелательный человек Гольдербайтер. Он пригласил нас читать на вечере Некрасова, и мы согласились, и я в первый раз выступил в Петрограде, читал стихи: "Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман". И — вот чудо! — имел успех. Флит — один из писателей, с которыми познакомились мы еще до открытия сезона, устроил нас играть в живой газете Роста. А Юлька Решимов нашел работу в новом театре миниатюр, который собирались открыть на Петроградской стороне, и меня устроил туда же. И вот вышли мы на репетицию. По Садовой трамваи ходили. Мы доехали до Большого проспекта, добрались до кинотеатра "Молния". Он казался необитаемым, деревянная белая молния на стене почернела, а от лампочек, что некогда судорожно вспыхивали на ней, сохранились одни патроны. Мы вошли в боковую дверцу, с переулка. Репетицию вел Раппопорт, один из авторов "Иванова Павла", крошечное белолицее существо с черной бородкой. Рядом с ним сидела застенчивая крупная женщина, седьмая, кажется, жена его.



Ставили какую-то крошечную пьеску Андреева, в которой я играл. Остальные пьесы забыл. Репетировали в пальто — так было холодно. Вышли на полумертвый Большой проспект. Темнело. Я вспомнил, как увидел проспект этот впервые, как бегала, вздрагивая, красная молния по стене кинотеатра, и тоска охватила меня. Унылый театр, унылая роль, пустая душа, даже музыка для меня как бы распалась на составные части, не затрагивала, как чужая. И даже мучения мои прошлых лет показались прекрасными рядом с сегодняшней пустотой. Мы втиснулись в переполненный трамвай и отправились домой, где было уныло, как в бреду. И на другой день, сам понимая, что это безнадежно, отправился я в адресный стол и запросил адрес Соколова Юрия Васильевича. И я получил их целых шесть — и ни одного настоящего. На репетиции в бывшую "Молнию" съездили мы всего раза три. На последней репетиции Юлька Решимов сидел, закутавшись в кашне, реплики подавал угрюмо, в четверть тона, и в заключение заявил, что он не мальчик и не может работать, не зная, на каких условиях его пригласили. Рапопорт поддержал его. Нам обещали все выяснить, но больше мы не репети-

ровали. Театрик погиб, не успев открыться, как это часто случалось в те дни. В живой газете РОСТа выступали мы часто, почти каждый день. Вдруг ударили морозы, да еще какие. За нами приезжал грузовик. Флит много лет вспоминал, как Холодова сидела, прижавшись, съежившись в уголке, в летних своих туфельках. Ездили мы все по заводским клубам, там в актерских уборных отогревались у буржуек. В одном клубе буржуйку топили банковским архивом, толстыми бухгалтерскими книжищами. Провели мы концертов тридцать, но и тут нам не заплатили.



А в Театральной мастерской премьера неотвратимо приближалась. Со своей верностью договорам я, понимая разумом все безумие поведения Холодовой (в те дни Халайджиевой еще), жалел ее и сочувствовал ее бессмысленным, но отчаянным мучениям. Она до такой степени восстановила против себя коллектив и вместе с ним друзей театра, что я ждал от первого спектакля, чем бы он ни кончился для остальных, только гибели для нас. Беда усиливалась тем, что Холодова, несомненно, самый талантливый в труппе человек, что-то потеряла, вывихнула в своем мастерстве. Играла она гораздо хуже, чем в первые дни. Учитель ее, Владимир Карпов, с которым познакомился я в Ростове (он когда-то преподавал в студии Московского драматического театра, где училась Холодова), сказал: "Она артистка с норовом, того и гляди станет на дыбы и понесет в сторону". И в самом деле — она была из тех артисток, что переигрывают, когда чувствуют неуверенность. И, сидя на репетициях и перелистывая с тоской комплекты "Петербургской газеты", я видел, что ничего не сделает Любимов. Невозможно переставить роль, сыгранную чуть ли не сто раз. Да и он был не в форме, влюбился в Мару Воловикову, которая со дня на день должна была родить. Жена его, бледная, тощая, с резким профилем, страдала возле. А Любимов уже и ежиться и корежиться не был в силах, все засыпал возле Мары на диванчике, и она дремала в неудержимой сонливости беременных. А отец будущего ребенка, бывший муж ее, Марк Эго, и не смотрел в ее сторону. А я все поглядывал на них, и ощущение страшного сна, развала театра и предстоящих бедствий томило меня. И мечты, такие нелепые, как вся моя тогдашняя жизнь, преследовали меня. Например, мечтал я, чтобы театр сгорел и премьера не состоялась. Да еще как мечтал!



Я подолгу обдумывал, как поджечь это многокомнатное и ненавистное здание. Обеды наши перенесли в самый театр, в полуподвальное помещение, и это место казалось мне наиболее подходящим для моей цели. Чем яснее представлял я себе пожар театра, тем больше утешался. И тем дальше отходил от какого бы то ни было действия. Я не делал и того, что следовало бы делать, — не пытался смягчить или локализовать пожар, бушевавший в коллективе театра. И я потерял влияние, которое имел в руководстве. Происходили какие-то совещания, на которые меня не звали. Приходил Кузмин, тощий тощий, совсем без щек, с орлиным носом, с огромными утомленными глазами, с зализанными на лысину черными, острыми, плоскими прядями, маленький-маленький — странное, больное и чем-то сильное существо. Его сопровождал Юркун — желтый, темный. Рот — зеркало души — хранил порочное и слабое выражение. В недрах руководства происходили обычные совещания: как провести открытие, кого звать на спектакль, кто будет писать рецензии, но меня на эти совещания не приглашали. В оркестровой яме появились музыканты — репетиции шли уже с музыкой. Эти наши новые работники были шумны, безразличны, насмешливы и, как все оркестранты, прекрасно организованы. Платить им приходилось каждый день — точнее, за каждую репетицию, иначе собирались они в коридоре и шумели Среди них был человек, на которого все показывали: сын Римского-Корсакова. Высокий-высокий, с маленькой головой, с маленькими светлыми усиками, с растерянным взглядом, румяный. Играл он, кажется, на кларнете. Премьера приближалась. А Дом политпросвета все еще жил своей жизнью, не сдавался. В какой-нибудь из многочисленных комнат непременно читалась лекция.



Кони, тяжело опираясь на две свои палки с резиновыми наконечниками, медленно двигался по бесконечным пустым, полутемным залам, отыскивая отведенную для его лекции. Он казался очень старым в те дни, но выступал повсюду, на множестве вечеров и собраний, посвященных столетию со дня рождения Некрасова. И рядом с этой цифрой странно было слышать, как встретил он, Кони, Некрасова возле сквера Александрийского театра, как бывал Кони у него дома на углу Литейного и Бассейной. Однажды, увидев Кони среди театральных зал, я поплелся за ним следом послушать его. На этот раз говорил

он не о Некрасове, лекция была на какую-то юридическо этическую тему. И со старомодным красноречием рассказал Кони о Монте-Карло. “Позвольте повести вас за собой по аллее роскошного сада” — и так далее. Теперь мне кажется, что рассказ, который я ни с того ни с сего отправился слушать, был рассказан недаром. В нем заключалось пророчество. Скоро эти бесконечные залы осветились роскошно, и в них открылись и рулетка, и столы для девятки — словом, заработал в полную силу настоящий игорный дом. А мы неуклонно приближались к премьере, и вот она состоялась. И нас приняли отлично. И рецензии в журналах и в какой-то из газет оказались доброжелательными, а Халайджиеву изругали — и потому, что она “встала на дыбы и пошла не в ту сторону”, и потому, что рецензенты, хорошо относясь к театру, угадывали, что, обругав Халайджиеву, никого они там не огорчат. Мои дурные предчувствия сбылись полностью.



К этому времени мы уже переехали в дом на Невском. Комната длинная, угнетающая, выходила окном, точнее, стеклянной балконной дверью на проспект. Балкон помещался на крыше длинного выступа, или фонаря, идущего поперек всего дома от пятого до второго этажа. Да, кажется, эта затея называется в архитектуре фонарь. Закуток с тремя окнами: прямо, налево, направо. А наш балкон с бетонными перилами помещался на крыше этого фонаря. Когда мы переехали, двери на балкон были закрыты (их было две — наподобие двойных рам), и между ними были насыпаны опилки. Буржуйка стояла у стены. Хозяйка всей квартиры, разбитная и в то же время строгая старуха, полная, в серебряных очках, держала жильцов более от страха уплотнения, чем из выгоды. Брала она с нас что-то очень немного. Думаю, что по тогдашним временам ей приходилось держать жильцов, чтобы создать себе некое социальное положение: живу, мол, от жильцов. Воспоминание об этой унылой комнате заставляет язык мой заплетаться. Канализация в доме не работала. Одна из комнат была отведена для ведер, заменяющих уборную. Бидон из-под масла заменял у нас таковое. Крышка была срезана. Когда я брал его за веревочную ручку, то верх его овальный суживался, как бы смыкался — бидон был из листового железа. Я по черной лестнице спускался с пятого этажа, нес его во второй двор. Здесь в углу помещалась обледеневшая общественная уборная, куда я его и выливал. Здесь же в стороне был кран, к которому ходил я за водой.



Так мы жили, а зима становилась все холоднее, а нэп — все последовательнее. Мы уж не получали дотации и не могли никак отопить все наше многозальное помещение. Политпросвет уже выбрался, мы занимали его одни. Вода в пожарной бочке на сцене превратилась в глыбу льда. Холодов в роли Иуды — принца искариотского отморозил себе палец на сцене — роль его была слишком уж велика, он не успевал бегать наверх, в актерские уборные, отогреваться у времянки. Впрочем, слово “времянка” появилось как будто только во вторую мировую войну. Тогда же, в двадцатых годах, все называли эти печурки буржуйками. Отопление в нашем театральном зале было старинное, так называемое амосовское. По новым экономическим законам, мы должны были перейти на самоокупаемость, а даже полных сборов не хватило бы на отопление. А мы собирали публику только первое время. Кассовая, так называемая, публика, уходила теперь после первого акта и говорила билетерам: “Летом досмотрим”. А отношения внутри театра все запутывались. Дошли до того, что я подрался с Марком Эго, вступившись за Халайджиеву, которую считал при этом кругом неправой. Конец Театральной мастерской из-за всего этого вижу я теперь как бы сквозь туман. Совещания у Горелика, где на столе почему-то лежали комплекты “Солнца России”, оперетки и водевили, которые ставили мы наскоро, чтобы собрать хоть немножко денег. Но, так или иначе, к весне 22 года наш театр развалился, погиб и никто из нас не огорчился этому.



Отношения в Театральной мастерской так запутались, денег давала она так мало, критиковали мы друг друга так искренне, с таким презрением, что с концом дела почувствовали только некоторое облегчение. Теперь я понимаю, что мы могли бы сохранить театр. Актеры наши оказались гораздо сильнее, чем казалось нам в те дни. Тусузов и сейчас играет в Театре Сатиры, прекрасным характерным артистом оказался Холодов, Антон Шварц завоевал себе имя художественным чтением, Халайджиева несколько раз занимала в разных театрах заметное положение, и ее уже хвалили, а не поносили в газетах. Достаточно сильное ядро было в Театральной мастерской, но не было веры. А веры не было за отсутствием диктатора. Театральному коллективу необходим убежденный и сильный человек, который говорит решительно: вот это хорошо, а это плохо. Даже в случае споров с ним, неизбежных в жен-

ственной актерской среде, коллектив сохраняется. Такого человека у нас не было. И вот мы остались в длинной комнате с буржуйкой, без копейки денег, без театра и при этом еще Халайджиева рыдала ночи напролет, но не жалобно, а свирепо. У нее был великолепный дар мучить близких. Опилки были удалены из промежутка между балконными дверями. Я часто теперь стоял на нашем балконе, глядел на Невский, все еще темный и как будто ошеломленный. Однажды у райкома партии на углу Фонтанки я заметил небольшую кучку людей.



Люди разглядывали нечто блестящее, лакированное, прямоугольное, черневшее на уровне торцов. Что? С балкона я не мог разглядеть, что именно. И только присоединившись к кучке людей у штакеншнейдеровского дворца, понял, что это верх автомобиля. Шофер понес в райком какие-то пакеты, а вернувшись, увидел, что машина его провалилась. Куда? Да просто в Невский проспект. Канализационные трубы давно лопнули, размытый грунт не выдержал тяжести. Но тем не менее Невский оживал с каждым днем. Я мог жить, мог питаться только радостью, зато уж и находил ее повсюду. Хоть каплю, а выпью. Едва отходил я от тоски, вызванной тяжелым положением, в которое попал, я просто не верил, что оно тяжелое, с жалобами и плачем, как я веселел. Я уходил из дому в тоске, а возвращался словно воскресший. Однажды шли мы — я, Тоня, Фрима и Павлик Боратынский от Пушкинской улицы, где Тоня тогда жил, по солнечной стороне Невского. Вымытые витрины сияли. Из-под ворот еще несло холодом и запахом снега, а у домов, у нагретых стен уже было совсем тепло. Одурманенные весной шли мы и смеялись. И эта радость так жадно схвачена была моей душой, что на всю жизнь вспоминалась, как подарок. Уходил я иногда на Васильевский остров, чтобы поглядеть на тот дом, на окна во дворе, за которыми жила за шесть лет до этого Милочка. И это паломничество, предпринятое в отчаянье, отводило душу, утешало в конце концов. Я мечтал.



Мечтательность тех дней, конечно, мешала, но и помогала. Я растерял веру — да, впрочем, ее и не было. Всю жизнь была потребность веры. И мечтая, я находился все-таки в чистой среде. Вторым наркотиком были книги. А впрочем, сегодня я до того утомлен своей пьесой и Шкловским, что и о себе и о 22-м годе рассказывать не в силах. Да я уже рассказывал однажды о времени, к которому подошел вплотную. Надо сказать, что в труднейшее то время помогло

нам, а может быть и спасло знакомство с Михаилом Борисовичем Капланом и женой его по прозвищу Алеша. Она же Александра Тимофеевна Шакол. Увидел я их в первый раз так: комната директора помещалась у нас во втором этаже, позади немногочисленных кресел бельэтажа (ложи в нашем театральном зале отсутствовали). Я вошел туда после какого-то спектакля. Было накурено до синевы, тепло. Недалеко от буржуйки сидел человек в белых фетровых валенках выше колен, в коротком пальто. Рядом с ним круглолицая стриженая маленькая женщина с энергичным и вместе рассеянным лицом. "Где я его видел?" — подумал я . "Брат Аркадия Борисовича Надеждова", — сообщили мне. Так вот кого он мне напомнил! Он показался мне неприветливым и молчаливым, что, как выяснилось, было неверно.



Это было трудное время, очень трудное, но я переносил его легко. От страха литературности забываю я иной раз просты, несколько стершиеся, но очень точные определения. У меня была счастливая натура — вот и все. Беспечность заменяла храбрость, мечтательность — веру. И я был весел. Однажды я получил записку от Капланов — Алеша звала по делу. Какое же дело? Приближался день рождения Михаила Борисовича. И полная энергии организаторская душа Алеши сказалась во всю ширь. Ей захотелось отпраздновать праздник этот особенно с нашей помощью. И вот я, Тоня, Фрима и еще кто-то из наших актеров поставили у них, с их участием твеновский рассказ, средневековый, не имеющий конца. Получилось весело, текст мы импровизировали. Так началась дружба с Капланами. Подобные спектакли ставили мы не раз и у Капланов, и у адвоката Шустера, и у Рахмиловичей — Тоня декламировал, а потом мы импровизировали спектакли на темы из публики, весело, отчаянно. Нет, время было голодное, но, как я вижу сейчас, здоровое. Силы бродили в нас во всех и, казалось, вот-вот найдем мы им применение. И Капланы возились с нами, подкармливали, искали нам работу. И я заходил иной раз к нему в Зимний дворец. Он был директором Музея Революции. К голодному веселому быту примешивались дворцовые ощущения.



К директору Музея Революции надо было идти по Фрейлинскому коридору — длинному, широкому и необыкновенно, воистину по-дворцовому высокому. Казался он мрачноватым и темноватым, и недоброжелательным. Руководство музея помеща-

лось в Нарышкинских комнатах, где жила, по рассказам дворцовых лакеев, старая фрейлина Нарышкина, а после нее комнаты отделаны были для эмира бухарского, когда он приезжал с визитом. Теперь выглядели эти странно просторные и неслыханно высокие комнаты, словно обычное советское учреждение. Бывшие дворцовые лакеи с достойными, бородатыми лицами одни только вносили нечто незнакомое в общую обстановку, нечто связанное с мрачными коридорами и высокими стенами. Впрочем, самый главный из них, по фамилии Золотов, рыжий и разбитной, бороду уже побрил и утратил всякую степенность. Он был единственным и незаменимым знатоком проводки Зимнего дворца, а это было делом нелегким. Первое электричество провели чуть ли не при Александре втором. Сеть росла, перепутывалась за шестьдесят лет своего существования. Кроме того ведал он и хозяйством Зимнего дворца — отоплением буржуек в служебных помещениях, добывал дрова. Во дворце работал он до самой войны — перевелся в Эрмитаж. Умер в блокаду. Он охотно рассказывал мне о царях, стараясь, впрочем, подчеркнуть свое отрицательное к ним отношение, прибавляя в конце рассказа фразы, вроде: "Тут бы мне и пальнуть им, гадам, в спину". Полной противоположностью этим старикам являлись другие — уверенные, спокойные, многие в ореоле седых волос, с белыми бородами. Встречали их почтительно, и они принимали это просто. Это были народовольцы, представители мира, враждебного этим неестественно высоким комнатам, а вместе с тем и связанного с ними. Эти старики ходили по дворцу как победители. И все ссорились на принципиальной почве. Вера Фигнер пеняла Алеше на Николая Морозова строго, неумолимо, а потом вдруг задумалась просветлела и сказала: "Вы не поверите, какой это был чистый юноша!" Правдивы они были до аскетизма. Кропоткин потерял зубы от цинги, и в Лондоне ему вставили новые. И так отлично, что многие, не замечая, что это протез, хвалили Кропоткину зубы его. И он вынул челюсть. Перестал ее носить: "Не хочу обманывать людей".

1953
22
октября

Вера Фигнер жила в то время в Москве, но о ней часто рассказывала Алеша. Она единственная из шлиссельбуржцев ни разу после революции не побывала на месте своего заключения. Поехала, но по дороге на какой-то станции хлынула у нее кровь носом, и Алеша вывела ее из вагона. И отлежавшись, поехала Фигнер обратно в Ленинград. Место, где прошла ее молодость, вся жизнь, ее ужасало. Так она и сказала Алеше. Однажды, было это, впрочем, в более поздние времена, прибежала Алеша к нам, чтобы проводил я ее в музей —

там пожар. Было около двенадцати. Фрейлинский коридор был тускло освещен. На повороте в стеклянном футляре восседала кукла в человеческий рост. Одета она была в парадное платье одной из дочерей Николая I. В зале — не помню названия — у Иорданского подъезда толпились сотрудники, чуть пахло дымом. Сгорел на глазах у дежурного тюлевый футляр люстры под самым потолком. Этим дело и ограничилось. Алеша со своей строгой и энергичной манерой спросила у какого-то сурового человека: "А вы кто такой? Как вы сюда попали?" "А вы кто?" "Я сотрудница музея!" "А я сотрудник ГПУ". Все разговаривали о перекрытиях, о проводке, пожарные ходили по чердаку. Искали Золотова. Мы с Алешей отправились к нему домой. Жил он на улице Халтурина у самого дворца. Маленькие комнаты с перегородками, не доходящими до потолка, оклеенные обоями. Золотов возбужденно и радостно побежал с нами. Алеша была энергична, говорила, что хороший организатор должен уметь заставлять людей работать, но по резкости своей все обижала людей.

1953 23 октября

В музее Алешу любили далеко не все. Но как у людей сильных были и у нее приверженцы страстные, горой за нее стоящие. И ссорились они, и музей то и дело разделялся на враждующие стороны. И каждая тянула Каплана на свою сторону. А он, спокойный, а главное, обезоруживающе обаятельный, чуть ленивый, чуть беспечный, стоял над сражающимися сторонами. При всей отуманенности моей я замечал, что меня занесло на участок, где сдвиги пластов особенно наглядны. И трудно было не заметить, когда рассказывали о приеме во дворце двух американских анархистов, приговоренных на родине к двадцати годам тюрьмы и высланных в обмен на кого-то в РСФСР. Случилось это все до нашего приезда. Голод в Петрограде был еще очень силен. Тем не менее анархистам решили устроить прием в Музее Революции. И вот в этот высокоторжественный день в Михаилу Борисовичу прибежал самый старый из дворцовых лакеев. "Михаил Борисович! Что они делают! На приемах столы покоем накрывают, а они — глаголем! Разрешите мне распорядиться!" И, получив разрешение, распорядился. Добыл у коменданта хрусталь и фарфор, и белоснежные салфетки, и скатерти и священнодействовал — разносил, сияя, морковный чай с леденцами. Прислуживал старым народовольцам, анархистам, наслаждался. Самый музей занимал комнаты, выходящие окнами в сад. Производил он впечатление не слишком сильное, казался суховатым. Не хватало вещей, а было слишком много фотографий и плакатов. Впрочем, экспозиция музея все время менялась,

из-за чего и происходили главные бои среди сотрудников. И я поглядывал и любовался. А жизнь несла и несла.



Я решил начать учиться заново и пошел да и поступил в Институт восточных языков — дело по тогдашним временам простое. Со мною сердито, даже несколько брезгливо поговорил сидевший за письменным столом человек с седыми висками. Он спросил, на какие части разделяется Коран, и тут я впервые услышал, что на суры. Но в общем мои ответы удовлетворили его, и он велел мне идти в мандатную комиссию. Но я не пошел. Я почувствовал, что не овладеть мне и этой наукой. Но тут же устроился в студенческие артели грузить уголь. Грузили мы в порту, и я был поражен, почувствовав, как худо слушается тачка — как велосипед, когда едешь в первый раз. На деревянную высокую эстакаду уголь подавался краном, и мы в тачках по доске везли его к железнодорожным путям. И вот колесо тачки упорно съезжало с доски, и мы учились править тачкой. И научились. Четыре часа работали мы на эстакаде, четыре — в трюме, а потом шли домой, ночью, впрочем, совсем светлой, пешком. Уголь долго не отмывался. Глаза казались подведенными. Работали мы и в депо Варшавского вокзала, подавали колеса под ремонтируемые вагоны. Вернее, в мастерских дороги. И мы там обнаружили в траве поворотный круг и починили его — точнее, выпололи вокруг него траву и смазали его маслом, — и так перевыполнили норму, что бригадир пришел в некоторое смятение.



Для заработка стали мы играть в Загородном театре, где когда-то были казармы. Саша Кроль, режиссер молодой, с шапкой белых волос, худым лицом, светлыми глазами, полными губами вел это дело, или само оно ползло, да ползло — трудно сказать. Публика шла туго, хотя выступали в программе все тогдашние эстрадные имена — и Матов, и Светлин, и Гибшман. Петров и Горбачев напудренные, в черкесках или кафтанах, пели злободневные куплеты своего сочинения. Выступали еще четыре еврея. Прежнее название их номера “Еврейский квартет” запретила цензура. Теперь это был “Квартет американских джентльменов”. Начиналась программа с коротенького спектакля, с водевиля или скетча — кажется тогда это американское слово вытеснило слово “миниатюра”. Вот тут мы и играли. По роковому совпадению тех дней работать-то мы работали, а заработков не было. За работу в порту платили тогда, когда причитающиеся деньги совсем обесценивались, то есть с

двухнедельным, примерно опозданием. Загородный театр просто горел. Публики становилось все меньше и меньше. Вся кассовая выручка шла знаменитостям. Однажды я даже устроил скандал и так кричал, что мне выделили причитающиеся мне полтора миллиона.

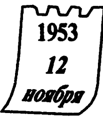


Играли мы в Загородном театре, а Холодова стремилась попасть в театр настоящий. И стремилась добыть квартиру. Нищета была полная. Туфель у нее не было. На улице она только и занималась тем, что смотрела на ноги встречным женщинам и стонала от зависти и отчаяния. Но тем не менее отыскала она во дворе дома, где мы жили, квартиру. Номер семьдесят один. Крошечную, во втором этаже, полусгоревшую. И договорились в жакте, и получили разрешение ремонтировать ее. И мы продали обручальные кольца и тещину нитку жемчуга, и нашелся подрядчик, который квартиру отремонтировал. Приехала Искуги Романовна и Федя. И мы поселились в квартире 71, в которой было четыре комнаты — две окнами в стену дома 72, две окнами во двор. Такой крошечной квартиры никогда я не видывал, в самой большой комнате было метров двенадцать. Пока не нашлись жильцы и не отремонтировали сгоревшей квартиры второго этажа, на полу мокрая тряпка зимой в несколько минут покрывалась инеем. Но когда жильцы поселились внизу, квартира стала еще и теплой. А до тех пор в самой большой комнате лежал во весь пол ковер из Театральной мастерской. Кто-то из администраторов, либо Львов, либо Горшков, когда ликвидировался театр, оставил ковер у нас на время. А когда пришел срок его возвращать, то Холодова припомнила все обиды, нанесенные ей, и вернуть ковер отказалась. И Львов посмотрел на нее печально и строго, как смотрят разочаровавшиеся в человеке. Но это не помогло ему. Итак, квартира была добыта. Оставалось устроиться в театре.



Театр новой драмы объединял молодых режиссеров: Грипича, Тверского, Константина Державина, Владимира Соловьева. Актеры подобрались все молодые, так же мало похожие на профессиональных, как мы в свое время. Были тут и люди, любящие театр, и просто так называемые интересные люди, не знающие, куда себя приспособить. Художниками были Володя Дмитриев, Моисей Левин и Якунина, тогда его жена. Близко к театру стояли Александра Яковлевна Бруштейн и Адриан Пиотровский — авторы. После долгих волнений Халайджиеву — она переменила фамилию на Холодову — приняли в Театр

новой драмы, да и меня заодно не то зачислили в труппу, не то я сам зачислился, часто бывая в театре, — трудно установить. Я стал близко к театру в числе любопытных людей и несколько раз играл, хотя считалось, что собираюсь я стать писателем, играю уж так, заодно, пока. Да и выяснилось вскоре, что быть в штате или не в штате труппы, в сущности, все равно. Театр был на подъеме, не умер и не рассыпался, как многие, возникавшие в те дни. Получил театр постоянное помещение в центре города, в первом этаже бывшего Тенишевского училища на Моховой. В большом лекционном зале играл ТЮЗ, а в первом, вход прямо с Моховой, — мы и, несмотря на все эти признаки своего существования, театр не имел одного: никому жалования не платили. Точнее, платили от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра. И мы терпели. Вряд ли в театре было хоть подобие штатного расписания.



Помесь любительского кружка и левого, ищущего новых путей театра — вот что такое был Театр новой драмы. Количество режиссеров в нем показывало на полную веротерпимость в этой области. Соловьев ставил “Восстание ангелов” в инсценировке Бруштейн, Тверской — пьесу Стриндберга, Грипич — “Смерть Тарелкина” и Державин — ”Приключение Гофмана” по рассказу Дюма, где призрак обезглавленной балерины приходит к Гофману на свидание. Черная бархотка на шее скрывает след гильотины... И все эти разные пьесы поразному и решались. Стриндберг — со всем арсеналом молодых театров символического толка, а Дюма — Державин — приемами романтического театра. Интереснее всех был Грипич, по-настоящему талантливый человек. “Смерть Тарелкина”, поставленная самостоятельно, до Мейерхольда, не в декорациях, а в конструкциях, произвела на меня сильное впечатление. Но вот Адриан Пиотровский написал пьесу “Падение Елены Лей”. Человек это был любопытнейший, — так я и не понял, в чем суть его существа, пока вихрь не унес его неведомо куда. Хорошего роста, с большой головой, странными белыми глазами, носил он в те дни прозвище “райский мальчик”, мало что определяющее в нем и скоро исчезнувшее. Был он сыном знаменитого эллиниста профессора Зелинского, и отец, по слухам, считал Адриана Ивановича одним из лучших эллинистов в Европе. Владел Пиотровский и латынью и отлично переводил античных классиков. С таким даром и знаниями, казалось бы, у него один путь — кафедра и академия.



Но нет, он увлекся театром, пришел к нему туманными каки-ми-то путями. Отец, любивший его и отличавший от других подобных сыновей своих, был, как рассказывали, глубоко огорчен этой изменой науке и написал единственную, вероятно, в своей жизни дилетантскую статью, весьма неясно утверждающую, что современный театр погиб и несет гибель всем причастным ему. Но Адриан Иванович все писал о театре и для театра и служил где-то по театральной части. Большая голова его со светлыми редеющими волосами то узнавалась в ложе Большого драматического театра, то в балете, то у нас, в Новой драме, и всем он был столь же мало понятен, как мне, и все за ним не то подозревали что-то по линии политической и над чем-то подсмеивались по линии личной его жизни. Но считались с ним. Я любил разговаривать с этим несомненно непростым человеком, и в его белых глазах чудилось мне что-то похожее на слепые глаза статуй. И вот он принес пьесу "Падение Елены Лей", где ощущение историчности переживаемых нами событий переплеталось с античным эпосом. Елена Лей была, хоть дело и происходило в наши дни, вместе с тем и троянской Еленой. Ее уход предопределял гибель некоей капиталистической столицы. Женщина — носительница жизненной силы уходила к рабочему, влюбившись в него. И Театр новой драмы поставил эту пьесу, и принята она была как событие. Ее понимали и те, которые в искусстве жили вчерашним днем, и те, которые отказались от него.

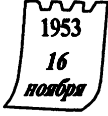


И в самом деле. Главный отрицательный герой понимал историчность, величественность всех происходящих событий, писал на мраморном столике в кафе некие таинственные слова. "Это по-гречески?" — спрашивал его собеседник. "Нет, по-арамейски", — отвечал миллиардер, родной дядя Елены Лей. Рабочие поднимались из своих трущоб чуть ли не к колосникам по перекладинам веревочной клетки — так оформил эту сцену Левин. Великие события — восстание, свержение правительства капиталистов, победа молодого класса — все, о чем ежедневно читали мы в газетах, тут приобрело эпический, поэтический характер, переплелось с Гомером и чуть ли не с Библией. И это как бы уясняло многим сегодняшний день, и зал ежедневно был полон. Тут помогло успеху и оформление Левина, и постановка Грипича, и, наконец, актеры. Появился в труппе Володя Чернявский, худой, стройный, с лицом поэта, вскормленного — точнее, истомленного — временем между двумя революциями, между пятым и семнадцатым. Среди разношерстной люби-

тельской труппы оказался настоящий артист, вполне угадывающий все сложности пьесы, живущий ими. И значительный, таинственный, обреченный на гибель миллиардер у Володи ожил и приобрел нужное количество плоти и крови. Хорошо играла Холодова — Елена Лей. Прекрасно, как тогда говорили, эксцентрично, играл Алеша Волков сыщика. (С гибелью условного театра не находит себе применения его совсем особое дарование). Словом, с пьесой нашлись и актеры, и все ободрились.



Александру Яковлевну Бруштейн нужно видеть, для того чтобы понять. Только тогда постигаешь силу ее любви к театру, к литературе, наслаждаешься темпераментом и веселостью этой любви. Честность, порядочность ее натуры угадываешь сразу. Она в театре была не столько автором, сколько другом, само присутствие которого как бы утверждало, объясняло существование нашего случайного коллектива. Она и тогда плохо слышала, а вместе с тем более чуткого собеседника трудно было найти. Всегда подтянутая, собранная, вглядываясь в собеседника своими карими быстрыми глазами через очки, появлялась она в театре — и сразу ее окружали. И насмешливый и веселый картавый говор ее сразу оживлял и освежал. И она болела всеми горестями театра. Чтобы помочь нашей нищете, придумала она “гримированный вечер”. Гости платили за вход, и их за особую плату еще и гримировали. И нэпманы вели себя, как замаскированные, необыкновенно оживлялись. Таких вечеров было два. Я конферировал. На первом имел успех, а на втором провалился так позорно, что вызвали с какого-то концерта Бонди и уж он довел программу до конца. Я по глупости и беспечности своей и не подозревал, что конферансье как-то готовят свои выступления, а выходил и нес, что бог на душу положит. Но в театре не рассердились на меня. Без всяких на то оснований они любили меня, верили. Когда два года спустя были напечатаны первые мои детские книжки, Александра Яковлевна сказала радостно: “Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить-то и нечего”. Среди артистов Новой драмы оказался Зайцев.



Едва увидел я простое, здоровенное лицо его, и показал он, улыбаясь простодушно, сплошные свои зубы, как я узнал его. Да ведь это тот самый Зайцев, что в доисторические времена, в последние мирные дни четырнадцатого года подошел ко мне и Юрке на краснополянском шоссе и попросил кружку, чтобы набрать воды

в роднике. И он припомнил то время. Он возобновил свои летние путешествия, и я взглянул на него с завистью. И встречу нашу принял как добрый знак, как весть из того мира, что считал для себя потерянным. Зайцев оставил оперетку и работал на вторых ролях где придется. Разнообразные актеры собрались в Новой драме. Кондратев с безумными глазами, одетый почти в лохмотья, играл он странно, но о нем говорили глухо, что он интересный человек, мистик. Эберлинг, сын художника, красивый безрадостной красотой, которой вот-вот придет конец — он пил и жил, как в тумане, как обреченный, по слабости своей. Брат художника Дмитриева, женственный и полный, несмотря на молодость свою. И многие другие, фамилии которых я забыл, но лица вижу. Здоровенный, добродушный парень, сын мясника, как рассказывали, в старых труппах таких молодцов называли рубашечниками. Высокая плечистая еврейка, добрая, верная, застенчивая — вижу, как подымается она из тьмы по веревочным перекладинам и условным голосом выкрикивает доверчиво и добросовестно условные слова восставших рабочих. Все мы были дружны. Театр был на подъеме. И все мы не верили смутно в прочность нашего дела.



Старые театры считались разрушенными, новые побеждали, но как уверенно занимал свое место считавшийся мертвым Александрийский театр и как призрачны были победители. Привычные формы существования уважались бессознательно даже людьми, считавшими себя врагами этих форм. Новое искусство кричало о своей победе, но и в самом шуме было нечто, внушающее подозрение. На одном из спектаклей “Елены Лей” появился Мейерхольд. Вот он во втором ряду, хищная птица, скорее всего орел, резко, по-царски отличный от всех и обликом и судьбой. И спектакль понравился ему. Глава школы утвердил работу. Но в те же дни открылся в том же помещении ТЮЗ. И Брянцев оказался куда более воплощенным в жизнь, чем все режиссеры Театра новой драмы. Грипич, рослый, румяный, черноволосый, отлично ставил и худо говорил. Когда он выступал, все вытирая левый глаз с набегающей слезой (он у него болел что-то), то трудно было поверить, что этот же человек отлично ставит. И Брянцев сумел доказать вкрадчиво и вместе с тем уверенно, что он — существует, а Театр новой драмы — явление призрачное. Привело это к тому, что Брянцев отобрал помещение Новой драмы для декоративных мастерских ТЮЗа. И театр в том виде, как я рассказываю, исчез. Переименовался, переехал в помещение Пролеткульта, получил там театральную залу, ставил пьесы Толлера, — но утратил

свежесть и удачливость. Смерть и новое воплощение не пошли ему впрок. И он скоро захирел окончательно. “Елена Лей” многим принесла счастье.



Левин стал одним из самых известных театральных художников. Володю Чернявского упорно звал к себе Мейерхольд, и тому пришлось напрячь всю свою робкую, хрупкую, обреченную поэтическую душу, чтобы отбиться от славы, которая шла к нему. Его бледное, измятое личико и стройная тощая фигура остались принадлежностью ленинградских театральных кругов, но как-то вне театров. Он считался хорошим чтецом, выступал по радио, но, как и театры его молодости, так и не воплотился полностью в жизнь, пока смерть не пришла за ним. “Елену Лей” напечатали в “Красной нови”. Казалось, что Адриан Пиотровский нашел свой путь, выбрался на свет. Написал он еще одну пьесу: “Смерть командарма”, которая без особенного успеха прошла в Большом драматическом. И либо этот полууспех, либо его сумеречная душа привели к тому, что в ленинградском искусстве снова занял он заметное, но трудноопределимое место — не то театроведа, не то руководителя чего-то там. Воплотился он в несколько неожиданном месте — на кинофабрике. Он стал тут заведующим сценарным отделом, фактически художественным руководителем. И, глядя на его не то слепые, не то античные глаза, я удивлялся, что ему этот кабинет с большим директорским столом. Что ему Гекуба — я понимал, а что ему полудиректорская должность — никак не мог осмыслить. А он себя чувствовал тут как дома. Однажды позвонил телефон в противоположном углу его кабинета, и он, выйдя из-за стола, пошел по ковру через комнату. И все увидели, что он в носках. Он преспокойно разулся под столом, пока шло совещание. В 35 году встретился я с ним в Тбилиси.



Он путешествовал с женой. И попал в автомобильную катастрофу. Я зашел к нему в больницу, и в разговоре он упомянул о том, что врач сказал ему: “Впервые встречаю человека со столь развитым комплексом неполноценности”. Но я до сих пор не вполне ясно понимаю, почему этот человек променял научную или литературную деятельность на административную? Неужели тут виною “комплекс неполноценности”? Умер Моисей Левин, высокий, седой с молодости, умер Володя Чернявский, исчез Тверской, исчез Пиотровский — нет никого почти, кто помнит Театр новой драмы. Нет, впрочем, — жив Грипич. Он все так же румян и черен, считается одним из лучших режиссеров,

работает, кажется, в Саратове. Его очень старались перевести в Ленинград, главным режиссером в Комедию, но дело почему-то разладилось. Впрочем, суть не в том, кто жив, кто умер. Исчезла среда, питавшая наивные, туманные, призрачные новые театры начала двадцатых годов. И с этой средой бесследно, не успев породить традиций и наследников, растаяли в жестком суровом воздухе тридцатых годов эти невоплотившиеся до конца организмы. Не знаю, стоит ли их жалеть. В их конструкциях вместо декораций, в их экспрессионистических пьесах, в их системе игры уже начинали прорезываться штампы, которые утвердились бы, вероятно, если бы молодые театры окрепли. Но если их не жалко, то жалко самого духа, беспокойного и производительного, который их порождал. Сейчас царит степенный и солидный дух, занимающий штатную и нормально оплачиваемую должность. И когда говорят об оживлении театра, то без всякой веры в необходимость этого дела.

1952 7 *июня*

В июне 1923 года мы с Мишей Слонимским поехали гостить на соляной рудник имени Либкнехта, под Бахмутом. В те дни папой овладел дух предприимчивости, жажда перемен, как это с ним случалось. Он решил перебраться из Майкопа (или Краснодара? Забыл!) в Туапсе, старшим врачом какого-то санатория. Мы договорились с ним в письмах, что я приеду к нему на лето подкормиться. В Туапсе он не остался, помнится, ему не понравился непосредственный начальник. В Бахмуте в это время в Облздравотделе (или тогда это был Губздрав?) работал мой крестный отец, Иван Петрович Покровский, папин товарищ по университету. Он и уговорил отца переехать в Донбасс, на место хирурга в больницу при рудниках. Папа так и сделал. Ему дали квартирку (две комнаты и кухня), и он позвал меня на лето к себе, что и определило поворот в моей судьбе. В те дни я стоял на распутье. Театр я возненавидел. Кончать университет, как сделал это Антон, не мог. Юриспруденцию ненавидел еще больше. Я обожал, в полном смысле этого слова, литературу, и это обожание не давало мне покоя. Но я был опустошен, как рассказывал уже однажды. Я никогда не любил самую форму, я находил ее, если было что рассказывать. И я был просто неграмотен до невинности при всей своей любви к литературе. Но единственное, чего я хотел, — это писать. Я попробовал через Зощенко устроить две-три мелочи в юмористических журналах тех дней. Точнее, он дал мне два или три письма для обработки. Я сдал их ему, он одобрил и снес в редакцию. И они, как я узнал потом, были напечатаны. Но я к тому времени был уже в Донбассе. Кроме того, я попробовал писать для детей.

1952
8
июня

Я написал очерк о Свен Хедине для журнала “Воробей”, который собирались издавать при “Ленинградской (тогда Петроградской) правде”. Этот очерк не понравился Маршаку и напечатан не был, что меня очень огорчило. Заказал мне очерк Сергей Семенов, но ко времени моего отъезда власть уже перешла от него к Маршаку. Итак, в июне 1923 года, нищий, без всяких планов, веселый, легкий, полный уверенности, что вот-вот счастье улыбнется мне, переставший писать даже для себя, но твердо уверенный, что вот-вот стану писателем, вместе с Мишей Слонимским, который тогда уже напечатал несколько рассказов, выехал я в Донбасс. Весна была поздняя. Несмотря на июнь, в Ленинграде (тогда Петрограде) листья на деревьях были совсем еще маленькие. Пропуска тогда были уже отменены, но, покупая билет, надо было назвать свою фамилию, ее ставили на билете или на бумажке при нем. В Москве было уже теплее. Выехали мы, помнится, из Москвы в тот же день к вечеру, что было, очевидно, просто. Только Слонимский зашел по какому-то делу к писателю Вашенцеву. Каждый раз, слыша его фамилию или встречая его, я вспоминаю летний день, один из переулков возле Тверской, где я жду, пока Миша спустится от Вашенцева. И вот мы уехали и из Москвы. Дорогу не помню. Помню только, как наш поезд остановился на крошечной степной станции Соль, в двенадцати верстах от Бахмута. Мы вылезли. Нас встретил папа, которому в те дни было сорок восемь лет. Его густые волосы были подернуты сединой. Бороду он брил, так как она и вовсе поседела, но усы носил — их седина пощадила. Я с удовольствием издали еще, высунувшись в окно, узнал стройную, высокую, совсем не тронутую старостью отцовскую фигуру. Мы не виделись с ним с осени 1921 года. Он мне очень обрадовался. Приезд Слонимского, о котором я не предупредил его, несколько удивил, но даже скорее обрадовал — писатель!

1952
9
июня

Папа был доволен, что я приблизился к таинственному, высокому миру — к писателям, к искусству. Я играл, и обо мне хорошо отзывались в рецензиях Кузмин и не помню еще кто. Правда, первое имя смущало отца. Он спросил меня как-то, скороговоркой: “Позволь, но ведь Кузмин, кажется, из порнографов?”, вспомнив соответствующие статьи в толстых журналах. Но так или иначе — все-таки обо мне отзывались в печати. А когда театр закрылся, я работал секретарем у Корнея Чуковского, что тоже радовало отца. Поэтому Миша Слонимский, сын одного из редакторов “Вестника Европы”, племянник

известного профессора Венгерова, представитель религиозно-уважаемого мира людей, “из которых что-то вышло”, тоже обрадовал папу своим появлением у нас в доме. И вот мы сели на больничную тачанку и поехали на рудник. Папа жил в белом кирпичном полутораэтажном домике, очень длинном, далеко уходящем в негустой сад. Такой же длинный кирпичный выбеленный дом тянулся по ту сторону двора напротив нас. Там помещались какие-то амбары и кладовые, а в нашем корпусе — рудничные служащие. Рядом расположился довольно известный в прошлом партизан, ныне какой-то крупный работник Рудоуправления по фамилии Чаплин. Дальше черная и высокая фельдшерица с сестренкой лет шестнадцати по имени Лина. Остальных жильцов забыл. Минуя негустой садик и пройдя пустырь, заросший тогда еще свежей травой, мы попадали в больницу — одноэтажную, в несколько корпусов, похожую на майкопскую. Не доходя больницы, в маленьком домике жил молодой доктор Иванов, а, минуя ее, в большом саду стоял просторный дом с мезонином, где жил старший врач больницы тоже Иванов Сергей Николаевич (с отчеством я, наверное, соврал). Вот этот дом я ужасно полюбил и вспоминаю его с нежностью. Полюбил из-за дочки доктора Натальи Сергеевны, в которую влюбился.

1952
10
июня

Влюблялся я в те дни с величайшим удовольствием — это мгновенно заменяло отсутствующее содержание жизни и заполняло душевную пустоту. А Наталья Сергеевна и в самом деле была необыкновенно привлекательна. Она только что кончила школу, было ей, вероятно, лет семнадцать или восемнадцать, но все мы ее звали по имени-отчеству — так достойно она держалась. Лицо у нее было очень русское, большелобое. Большие серые глаза. Разумное, внимательное выражение. Красили ее две длиннейшие косы. Застенчивой и молчаливой она не была. Напротив. Рассказывала хорошо, с юмором, была наблюдательна и оценивала новых знакомых трезво, даже холодновато. Доктор Иванов родом был из Рязанской губернии. Мамин земляк. Из помещичьей, известной свободомыслием семьи. Мама с детства слышала о его сестрах, одна из которых чуть ли не была выслана. Доктор Иванов прожил под Бахмутом всю жизнь. Дом его походил на помещичий — просторный, многокомнатный. Стены кабинета — в книжных полках. Доктор всю жизнь читал шахтерам лекции на самые разные темы. Я застал дом уже на ущербе. Иванов потерял во время войны двух сыновей. Один умер от тифа, другой пропал без вести. Начал глохнуть, что для терапевта было ужасно. Административная работа, связанная с положением старшего вра-

ча, ему была чужда. Но он был легок, высок, тонок и изящен. Сед и седоус. Писал стихи, шуточные, наивные, но очень смешные. Каждое воскресенье уезжал в деревню Серебрянку на Донец, на рыбную ловлю, верст за пятнадцать, но рыбы не привозил ни разу, хоть и ездил в лодке по Донцу и плавням целый день. После страшных ударов, нанесенных войной, он выпрямился, сохранив природную легкость и изящество.

1952
11
июня

Зато жена его (кажется, Наталья Владимировна?), сестра известного в свое время политического защитника Жданова, была совсем стара, понимала, что стряслось с их семьей, как это свойственно женщинам. Она и разговаривала с гостями, и вела хозяйство, и выглядела не худо, но ни легкости, ни жизнерадостности, как в муже, — не было. Она не жаловалась, но каждый угадывал, что жизнь этой женщины кончена, сломлена. Когда она после чая, возле самовара, в сильных очках, склонив свою большую, седую, голову, читала газету или вязала, сидя на балконе, я понимал, как далека она от нас и как мало спокойствия в ее покое. Усталость, а не спокойствие. Сад вокруг дома был запущен. Забор сожгли в голодные годы и не восстановили. По саду бегала прекрасная охотничья собака, не пригодная для охоты. Ее выдрали, когда она была щенком, за то, что поймала цыпленка. С тех пор она дрожала и удирала при виде любой птицы. Народу у Ивановых жило порядочно. Кроме Натальи Сергеевны и Ивановых жила Анечка Круковская, о которой доктор говорил, полушутя, что она потомок венгерских королей династии Корвин. Она приходилась Ивановым племянницей. Жила там и родная племянница Натальи Владимировны (кажется, Нина?) с двумя детьми. Это была дочка адвоката. А зимой Наталья Сергеевна жила у них, у Ждановых, в Москве. Каждый вечер у Ивановых собирались гости. Здоровенный студент-медик, работавший на практике где-то верстах в пяти, на медпункте. Известно было, что он безнадежно влюблен в Наталью Сергеевну. Бывал высокий, крепкий, с наголо выбритой головой, черноглазый, мрачный инженер (кажется). Что-то о нем, как мне сейчас чудится, печальное и темное. Что? Не вспомню.

1952
12
июня

То ли он тяжело болел, чуть не умирал от какой-то мозговой болезни, то ли... Нет, не могу вспомнить, что. (Но зато, кажется, вспомнил: доктора Иванова звали не Сергей Николаевич, а Сергей Константинович.) Мрачный инженер считался когда-то женихом Анечки Круковской. Это все была наша компания, молодых. К

старшим примыкал старый (как мне тогда казалось) длиннобородый фельдшер, о котором папа отзывался всегда с большой похвалой. С величайшим уважением. Он утверждал, что Василий Филиппович (совсем не уверен, что его так звали) — настоящий врач, несмотря на отсутствие диплома, знающий, чуткий, прекрасный диагност. Жена его, в прошлом акушерка, добродушная, молчаливая старуха с трясущейся головой и трясущимися руками часто бывала у Ивановых, и всякий раз ее встречал Сергей Константинович ласково, называл бабкой по-старинному. Повивальная бабка принимала у Ивановых всех детей. К ужасу моему, я узнал, что Василий Филиппович влюблен в молоденькую фельдшерицу, а она в него. Мне казалось, это противоестественно. Толстый студент, влюбленный в Наталью Сергеевну, был, как мне кажется, племянником Василия Филипповича. Кроме этого человеческого, нового для меня окружения, вокруг шумел Донбасс. Брянцевка — вот как называлась деревня, возле которой стоял шахтерский поселок и раскинулся под землей соляной рудник. Донбасский дух, говор, шахтерка, деревня — все это было знакомо по-южному, по-майкопски. Я как будто домой вернулся. Запах полыни, степь, балки. Жизнь наладилась быстро. Домашний покой, детская безответственность за сегодняшний день, я уже забыл, что на свете существует такое счастье. И я стал медленно выпрямляться.



Когда Театральная мастерская распалась, я брался за все. Грузил в порту со студенческими артелями уголь, работал с ними же в депо на Варшавской железной дороге, играл в Загородном театре и пел в хоре тети Моти. Первый куплет был такой:

С семейством тетя Мотя
Приехала сюда,
Певцов всех озаботя,
Своим фасоном, да.

Кроме того, я выступал конферансье. Один раз по просьбе Иеронима Ясинского в ресторане бывший "Доминик", который ему поручили превратить в литературный. Затея эта не состоялась, но я выступал перед столиками однажды. В этот вечер там были Тынянов, Эйхенбаум, еще кто-то, не помню, — они занимали два больших стола, составив их вместе. Поэтому я имел успех — они относились ко мне с доверием. Я был наивный конферансье. Я, по своей идиотской беспечности, и не думал, что люди как-то готовятся к выступлению. Я выходил да импровизировал, почему и

провалился с шумом на одном из вечеров-кабаре, в Театре новой драмы. (Там устраивались эти вечера, чтобы собрать хоть немного денег на зарплату актерам.) Однажды меня позвали на какой-то банкет во вновь открываемом нэповском предприятии. Я должен был "внести оживление" за сколько-то миллионов. Веселить. Что я сделал весьма охотно. Я уже тогда умел не смотреть в глаза фактам. Но все это вместе и страшно напряженная семейная жизнь тех дней привело к полному душевному опустошению. [...] И вот в Донбассе, в Брянцевке, под Бахмутом, когда мне было уже 26 лет, — душа моя стала распрямляться и оживать. Я вернулся к тому состоянию, которое способствовало росту, к полной свободе. Да еще на юге. Да еще летом.



Мама, как я говорил, еще не приехала. День проходил так: папа рано утром уходил в больницу, а мы пробовали писать. У Слонимского были тогда уже свои навыки в работе, и он знал, чего хочет. Так что к нему слово "пробовали" не подходило. Мы в первые же дни наслышались о гражданской войне, о Махно, о местных зеленых, которые долго скрывались в соляных рудниках и были обнаружены, когда у рабочих стали пропадать приносимые из дома завтраки. Слонимский стал писать рассказ — забыл его название, в котором сочетались элементы отдельных этих историй и при этом преломлялись так, что делались совсем непохожи на себя. Ничему не соответствовали в действительности. В первых своих рассказах — "Варшава" и "Дикий" — он своей полубезумной манерой что-то рассказал, но к данному времени он искал путь к полной простоте и терял свои изобразительные средства. Притворялся нормальным. Он начинал, потом переиначивал и перекраивал, ходил по нашим двум комнатам длинными своими ногами и смотрел огромными черными своими глазищами, ничего перед собой не видя. Едва мы приехали, как ему стало казаться, что там, в Москве и Ленинграде, его обижают, пользуясь его отсутствием, или в лучшем случае — забыли. Смеясь беспомощно, он сам себя ругал за неврастению, но тем не менее часто ходил на почту, которая помещалась на станции, но не Соль, а на противоположной стороне, на другой ветке. Там помещалось наше почтовое отделение, оттуда мы ездили в город. Но приходило письмо или денежный перевод, и Мишка успокаивался. Рассказ он написал довольно скоро.

1952
16
июня

Он работал. А я притворялся, что работаю. В полной невинности и беспечности своей, ожидая, что вот что-то пойдет само собой, я начал писать сказку для детей в прозе. После первой же страницы я понял, что ничего у меня не выходит. Напряженный тон, неумение рассказывать, неясность замысла. Я поступил просто — взял да и бросил работать. Не сразу. По старой памяти, как в те дни, когда вечерами в доме Бударного притворялся, что работаю над несчастным моим рефератом, так поступил я и здесь. Я, сидя за тетрадью, читал книжку, положенную рядом, хотя никто уже не проверял, работаю я или нет. Так проходило время до трех часов. К этому времени мы шли за папой в больницу и обедать к Васильевне. В шахтерских домиках, в двух шагах от больницы, жили подсобные рабочие, и среди них занимал домик тихий печник с длинными усами. За все время нашего знакомства я не услышал его голоса. За него говорила здоровенная и лихая баба, жена его, Васильевна. Кормила она нас обедами дешевыми и обильными. Папа однажды серьезно испугался, увидев, сколько съел я плова. Пока мы сидели за столом, Васильевна говорила без умолку, к нашему удовольствию: она была красноречива. Самые рассказы забыл, но сила была не в них, а в ее манере. “Смотрю и вижу идет ячейка и ячейкин отец” (“ячейка” — председатель комячейки). “Поругалась я с ней, выбежала, упала на скамейку, и у меня от волнения сделался такой аборт!”.”У нас два страха — поп и доктор”. “Она говорит — ты со всей медициной живешь”. “Ваша жена кто?” — “Артистка”. (Пауза). “Простите, по-нашему, это нехорошее слово”. “Я им говорю: “По обычаю на первый обед с новой плиты зовут печника с женой”. А они мне: “Теперь время тяжелое”. “Ах, так? Приходите тогда ко мне, я всех вас накормлю, всех, будьте вы прокляты”.

1952
17
июня

После обеда нам полагалось лежать — и я, и Слонимский были худы до крайности в те времена. (Впрочем, он сохранил эту особенность.) Он отдыхает сейчас в Доме творчества. Вчера зашел к нам. Я напомнил ему о Брянцевке и о его тревогах. Он засмеялся беспомощно и сказал: “Ты врешь! Неужели я и тогда был такой?” Но потом вспомнил, что его книжка должна была выйти в издательстве “Атеней”, и ему почудилось, что, пока он тут живет, там все гибнет. Как это бывает с людьми слабыми, но самолюбивыми, он, вспоминая Наталью Сергеевну, принял несколько фатоватый и нагловатый тон, что меня

оскорбило. Уж очень это не шло ему и тому времени, которое мы вспоминали. На ужасные грубости способна слабость. Впрочем, он быстро сдался и засмеялся своим беспомощным смехом. Он тощ по-прежнему. Но виски поседели. Воротник расстегнут, у него что-то со щитовидной железой. Огромные глаза. Огромный тонкогубый рот. (Но основа — все та же.) Я в те дни перечитывал письма Чехова все с той же свежестью восприятия, что и в первый раз. Нет, с большей. Я был другим человеком, когда читал их в первый раз, студентом, за века до 1923 года. Иногда я выходил в садик у дома и шел мимо долгой нашей постройки по дороге вверх, в степь, засеянной вдоль дороги подсолнухом. Степь начинала уже сохнуть, глядела невесело, но запах полыни, и цикады, и даже пыль радовали, опьяняли меня. И пустая моя мечта наполнялась мечтами о славе. Но вот время приближалось к вечеру. Было уже прилично идти к Ивановым. И мы шли садом, потом через заросший травой пустырь, потом мимо домика Иванова-младшего, потом мимо больницы со всеми ее службами, потом через сад Ивановых настоящих. Еще издали узнавал я на террасе знакомые косы. Всегда кто-нибудь еще был в гостях.

1952
18
июня

После чая мы шли гулять в степь. Я не припомню за все лето ни одного дождливого вечера. Уходили мы версты за три. Курган, балочка, черное небо в звездах, особенно поразительное для Миши Слонимского, который еще ни разу не бывал на юге. Мы его убеждали, что на горизонте Южный Крест, и он готов был этому верить. О чем говорили мы? Смутно помню, что больше всего смеялись. Старались рассмешить и старались смеяться, и это удавалось. Кончались смехом и те рассказы, которые были вовсе не смешны поначалу. Наталья Сергеевна рассказывала, как болел тифом отец. Было это и грустно и страшно. Но ведь он осилил болезнь! И Наталья Сергеевна закончила рассказ весело, очень выразительно нарисовав, как Сергей Константинович капризничал после кризиса. Как маленький. Как однажды даже пытался “сухеньким кулачком своим” ударить дочь за какую-то провинность. Не так подала простоквашу, кажется. Кто бывал еще, кроме нас, Натальи Сергеевны и Анечки, на этих прогулках? Ну, Жданова (как же ее звали?). Муж ее? Мрачный студент? Во всяком случае, на кургане и у балочки сидели и лежали на траве, как я вижу сейчас, человек шесть. Но кто? Вероятно, нескладный студент, влюбленный в Наташу. И еще кто? Влюбился я скоро, едва только стал приходить в себя, и вспыхнуло ощущение: жизнь продолжается. Как все запутавшиеся люди, я не слишком верил своим

чувствам. От стольких из них я отказывался, отмахивался, отворачивался как от слишком страшных. Но влюбленность все разгоралась, освещала все таким праздничным блеском, так отогревала, что я в нее поверил. Тут не надо было отворачиваться как от страшного чувства: “Пропал ты”. Или: “Твоя семейная жизнь ужасна”. Или: “Ты превращаешься в шута”. Или: “Ты не умеешь писать”. Тут все радовало.

1952
19
июня

Чего я ждал от этой любви? А ничего. Несмотря на свои двадцать шесть, почти двадцать семь лет, я легко вошел на школьный старый путь — влюбленности без ясно выраженного желания. Точнее, без названного желания. Я и себе не признавался в желании. И отходил, и воскресал в тепле, а потом и в огне своей любви. И все. Да и что было делать иначе? Я был женат. Жену, как бы это назвать точнее, не мог обидеть. Жалел. Болел за нее душой. А впрочем, все это неточно. Чем дальше, тем яснее становилось мне, что Наталья Сергеевна видит, что я влюблен, и ей нравится игра, в которую мы втянулись. Так и шли эти летние дни один за другим, и похожие друг на друга и разные. Однажды мы шли от Ивановых. Папа был с нами. Было совсем темно. Что-то живое пробежало из темноты, закружилось вокруг, как бы играя. Все́ ближе и ближе. Что это? Кошка? Собака? Я приостановился, стал звать это существо, то как собаку, то как кошку. И вот оно прилегло у моих ног и далось мне в руки. “Щенок!” — крикнул я нашим. Но когда мы подошли к освещенному окну, оказалось, что это лисенок. Почему побежал он к людям? Одни рассказывали, что в балочке недалеко убили мать и лисенята побежали к людям с голоду. Другие — что у кого-то из шахтеров был ручной лисенок, который убежал и приблудился к нам. Но никто не заявлял на зверя своих прав, и он поселился у нас. Когда я выпустил его, он спрятался под шкаф. Я поставил ему блюдечко с молоком посреди комнаты. Лисенок выбежал, сделал три глотка и скрылся под шкаф, и немедленно выбежал обратно к блюдечку. Эти пробежки он повторял до тех пор, пока не вылакал все молоко.

1952
20
июня

Лисенок рос быстро и жил под шкафом. По-прежнему он скрывался туда при малейшей тревоге, но теперь он каждый раз ушибал голову — башка не сразу протискивалась в проход. Это был не шкаф. Это был больничный столик с дверцами, белый, вроде кухонного. Мне опять стало тесно в тех повествовательных формах, которыми владею, или, говоря точнее, которыми не владею. Очень хочется

передать следующее: лето двадцать девять лет назад. Я гляжу на лисенка, который на моих глазах стал нескладным подростком. Слонимский шагает взад и вперед по комнате, глядит встревоженно неведомо куда своими огромными глазищами. Папа играет на скрипке. И на зверя это действует таинственно — расслабляет. Он, обычно недоверчивый, лежит на этот раз в полной неподвижности на моей постели. Его можно взять за шиворот, за задние лапы — он висит в воздухе обессиленный. Ну вот, ничего не рассказано, а только названо. Лисенка я не любил. Он играл со мной, как щенок, позволял брать себя на руки, но, когда я кормил его, зверь мгновенно забывал, что корм дан мной. Схватив кость, он забивался в угол и оттуда кашлял на меня. Таков был его способ лаять. И встречал он меня равнодушно. Он меня не боялся, но и не радовался мне. Но довольно ему было увидеть детей, особенно босых, чтобы равнодушие его как рукой снимало. Он бросался к ним, виляя хвостом, как настоящий щенок, лизал им ноги, валился на спину, скулил. Привязав его на длинную бельевую веревку, я выпускал его бегать с детьми, не спуская глаз с веревочного конца. И он бегал под деревьями и пищал так, что однажды мне почудилось, что он поймал цыпленка.

1952
21
июня

Доктор Иванов-младший, однофамилец старшего, был высок, бел, молод и мало похож на врача, а скорее на дорожного техника или механика. Говорил все об охоте, на меня и Слонимского поглядывал сначала с недоверием, потом привык. Оказался он человеком, читающим мало, на интеллигента непохожим, что не понравилось папе. Но когда мы познакомились несколько ближе, то перестали замечать те его качества, которые не принимали сначала. Жену его, здоровую, налитую, горластую, осуждали за неуживчивость и склонность к сплетням. Но и ее мы простили. Мне даже льстило, что эти грубоватые и тем самым более сильные, чем я, люди со мной держатся дружелюбно. Миша Слонимский даже обиделся, когда я сказал как-то Ивановым, куда меня позвали выпить рюмочку, что Слонимский не ахти какой выпивоха. Ему поспешила сообщить об этом жена Иванова. В те времена сухой закон не был полностью отменен. Обиженного Мишу позвали на следующую выпивку. Самогону оказалось мало. Тогда папа с Ивановым вспомнили, что в больничной аптеке есть лекарство, не употребляемое чуть ли не с 90-х годов: старинное средство от малярии. Спиртовая настойка на подсолнухах и от ангины — тоже какая-то настойка. Их выписали по двести грамм, разбавили водой, и оказалось, что ничего. Врачи смеялись, представляя

себе, как некогда больные осторожно капали прописанные двадцать капель в рюмочку. У Иванова был великолепный сеттер-лавирак, обожающий хозяина. Он провожал его в больницу и замирал в раздевалке, возле хозяйского пальто. Так и сидел до конца службы. Был этот пес бел, как и вся семья, задумчив и сосредоточен.



В 24 году в подвальчике на Троицкой открылся театр-кабаре под названием "Карусель". Успех "Летучей мыши" и "Бродячей собаки" еще не был забыт, и подобные театрики, по преимуществу в подвалах, открывались и закрывались достаточно часто. Играя в живой газете РОСТа, познакомился я с сутуловатым до горбатости, длиннoруким Флитом. Он был доброжелателен. Горловым тенорком, закидывая назад голову, словно настоящий горбун, остроносый, с большим кадыком, расспрашивал он, встречаясь, как идут мои дела, и пригласил написать что-нибудь для нового кабаре. Я почтительно согласился. И сочинил пьесу под названием "Три кита уголовного розыска". В ней действовали Ник Картер, Нат Пинкертон и Шерлок Холмс. Выслушали пьесу в кабаре угрюмо и стали говорить, что в "Балаганчике" у Петрова шла уже пьеса на подобную же тему, сочиненная Тимошенкой. Я сразу ужаснулся. Как я смел думать, что могу сделать что-нибудь для этих избранников. Я объяснил только, что программу с подобной пьесой в "Балаганчике" не видел, и удалился. Но пьесу все-таки решили они ставить. Странное дело, отказ ужаснул меня, а согласие — не обрадовало. И я стал бывать на репетициях с полной уверенностью, что меня это все не касается. В "Карусели" работали Курихин и жена его, Неверова, молоденькая, стройная, казавшаяся мне красавицей. Казалась мне красавицей больше, чем красавица Казико, и я робко и почтительно был в нее влюблен. Был там молодой артист с белыми глазами, вечно пьяный и не веселый и не грустный от этого, а ошеломленный.



Когда смотрел он на меня своими белыми глазами, я не был уверен, что он меня узнает или даже видит. Заметной, а может быть, и определяющей фигурой "Карусели" являлся Агнивцев, высокий-высокий, со слабой, как бы виноватой улыбкой, то ли вечно с похмелья, то ли одурманенный кокаином, полуресторанное, полутеатральное экзотическое растение, погибающее в прокуренном полуподвале. Флит писал легко, но всю жизнь, до наших дней, как начинающий. Агнивцев — гораздо более ловко, с красивостью ресторанной, туманной,

соответствующей полуподвальному воздуху, которым дышал. Актер с белыми глазами, Флит и Агнивцев были основными авторами программы. Наибольший авторский успех имел белоглазый актер. Он написал пародию на пьесу Евреинова “Самое главное”, шедшую у Петрова. В евреиновской пьесе актеры вмешиваются в жизнь и делают людей счастливыми. У белоглазого все изображено гораздо реалистичнее. Из агнивцевских пьесок помню две: “Снежинка” и “Лампочка Светлана”. В первой из них играла Женя Гидони, молодая актриса Александринки. Считалась она восходящей звездой, крепко стояла на почве, которая казалась мне столь призрачной. Красивая, несколько большеголовая, черноглазая, обладавшая низким, сильным голосом, она имела все данные, чтобы стать героиней — амплуа, считавшееся редким. В “Снежинке” выходила она в белом капоре, в костюме, отделанном белым мехом, освещенная лиловым светом. Черные ее глаза строго смотрели на ресторанные столики зала. С колосников сыпался снег. Играла негромкая музыка. Официанты переставали подавать, и Гидони низким своим голосом читала агнивцевские стихи.

“И залетая в авантаже
Во времена Елисавет
За слишком низкие корсажи,
Дам, выходящих из карет”.

1953 22 августа

И так далее. Большая голова Гидони от капора казалась еще больше, лиловый свет мертвил лицо, но все слушали с уважением, и ножи и вилки переставали звякать. И ей долго аплодировали. Однако номер, где участвовали Гибшман и Неверова, нравился мне больше. Неверова пела: “Для рекламы иль медали целый день трясут меня, неужели не видали, как трясусь в витрине я”. А Гибшман, круглый, легкий, как мячик, прижав подбородок к груди, подпрыгнув, строго спрашивал: “Кто вы?” “Лампочка Светлана!” — отвечала она. “А я счетчик Петроток!” Как часто бывало, у виновато улыбающегося Агнивцева трудно было свести концы с концами и понять, для чего и о чем написана пьеска. Он и в свое время был второстепенным мастером, уж слишком одурманенным. А теперь, увядая под осенним солнцем, бедняга совсем уж не старался. Но Гибшман играл так смешно, так артистично, Неверова была так красива, что никто и не замечал текста. Неверова была так хороша собой, что даже полное отсутствие дарования показалось бы случайностью. Это, мол, она только сегодня. Или — эта роль ей не подходит. Так же казалось, что она должна быть и умна, и тонка, и добра.

Я любовался на нее удивленно и робко, стараясь, впрочем, не подходить слишком близко, как не подходят к картинам на выставке. Она была, вроде Агнивцева, пропитана беззлобным, бессознательным, но все же грехом. Во всяком случае так казалось моей интеллигентски-аскетической, майкопской душе. И следует признаться, что вызывало это у меня не осуждение, а чувство, похожее на ревность. Как уверенно, легко и с каким наслаждением они живут. Как невинно грешат! В их порочности угадывалась правдивость. Гибшман в некоторых отношениях являлся им полной противоположностью.

1953
23
августа

Этот человек жил своим делом. Вероятно, он и грешил, как все, большой толстогубый рот показывал, что он жаден до жизни, а толстые, рыхлые, бледные щеки — что он и пожил. Маленькие глазки, вьющиеся, редеющие волосы копной. Но стоило ему выйти на просцениум, как все приобретало смысл: и кабачок, и маленькая сцена. Все угадывали с наслаждением: "Вот оно, чудеса начинаются". Это был талант, и для него главное в заведении, куда свела нас судьба, была возможность показывать свое искусство. Вышел он из театра, породившего все бесчисленные кабаре тогдашней Руси, — из "Летучей мыши". Играл он там в пьеске "Блэк энд вайт". И однажды, когда заболел Балиев, согласился за него конферировать. Он нашел единственный возможный способ усмирить и утешить раздраженную и огорченную публику: надел маску человека, растерявшегося от такой чести до крайности. Он бормотал растерянно свой текст, обрывал фразу на середине, на запятой и, полный ужаса, удалялся, шевеля губами, глядя прямо перед собой, не смея оглянуться на зрителей. Эту маску он сохранил навсегда. Вот зрители хлопают ему. "Благодарю вас! — растерянно, горловым своим говорком отвечает на это Гибшман. — Благодарю вас... Ваши аплодисменты ... лягут...на мою репутацию ...неизгладимым...пятном..." И с лицом человека, непоправимо запутавшегося, удаляется он с просцениума. Прелестно пел он немецкую песенку, состоящую всего лишь из перечисления выпитых бутылок пива. "Айн бутль бир, цвай бутль бир, драй бутль бир" — и так далее. Он толстел, и пьянел, и багровел с каждой бутылкой. Прелестно пел он "Стрелочку". Глядя на Гибшмана-актера, мы понимали, как образовывались театры-кабаре. Для известного вида дарования они были органичны. Остальные же в "Карусели" могли бы и не играть. Одним легко дышалось возле сцены, за кулисами и за столиками.

1953
24 августа

Другие работали в этом несерьезном театре потому, что в настоящих мало платили, не давали работать. Третьи от избытка сил, вроде Казико. И один Гибшман потому, что имел прирожденный дар именно к этому виду искусства. Он сразу внушал уважение ко всему, что творилось в полуподвальном полутеатре-полукабачке. Оправдывал это. Да и что, собственно, творилось-то? Что приходилось оправдывать? Чего стоили бескорыстные полутеатральные, полуресторанные грешки рядом с преступлениями войны, которыми еще дышало все вокруг, которыми разило из каждой подворотни, из любой коммунальной квартиры. А нэп вступал в свои права. Кончился счет на миллиарды. Кто-то из актеров, приехав в театр, сказал: "Поздравьте, братцы! Я заплатил извозчику тридцать копеек". И показал серебряную мелочь, и мы, как дикари, подивились на нее. В ресторанном зале все чаще стали появляться люди в визитках, со следами важности на лице. Ресторан каждый вечер заполнялся до отказа. Но вот на Садовой, в подобном же заведении, не то "Ша-Нуар", не то "Летучая мышь", проверили документы у посетителей и некоторых задержали. В "Карусели" встревожились: как бы это не отразилось на сборах. И в самом деле, люди в визитках со следами важности исчезали, как призраки. Владельцем полуподвальчика являлся грузин с полуприличной фамилией Мачабели. Он скрывался в своем кабинетике возле кухни, и я тщетно пытался выжать из него причитающиеся мне деньги. Я и сам не был уверен, что они причитаются мне. А толстый Мачабели, фигура вполне подходящая для шашлычной, чувствовал, что такого рода поставщику его заведения отказать проще простого. Флит дал мне совет обратиться в Общество драматических писателей, где-то на Пушкинской.

1953
25 августа

Кажется, на Пушкинской. И там за столом восседал плотный человек с остатками былой важности, которая сразу расцвела, когда появился я. Он долго не понимал, чего я хочу, что за театр, какая пьеса, словом, отводил душу. И это посещение не заставило Мачабели раскошелиться. Тем не менее я к масленице написал для "Карусели" еще одну пьесу. Первая прошла благополучно, потому что ее лихо оформил Акимов. Я так старательно держался в тени, что даже и не познакомился с ним. А на вторую — "Бланш у миллиардера" — я даже и смотреть не пошел. И в самом деле, успеха она не имела. А вскоре и театр закрылся — не то Мачабели сбежал, не то сборы сильно упали — не знаю. Я к этому времени во второй раз уехал в Донбасс на заработки. Правда,

"Рассказ старой балалайки" был уже принят Маршаком в журнал "Воробей", но это не спасало от нищеты. Я впервые в жизни так много и так легко работал, как в Артемовске в то лето. И театр-кабаре "Карусель" скоро исчез из моей памяти настолько, что, проходя по Троицкой в последующие годы, я ни разу о нем и не вспомнил.

1953 26 августа

Я многое понял, но ничему не научился. Я ни разу не делал выводов из того, что понимал, а жил, как придется. [...] Когда я вернулся из Артемовска, то недели две испытывал страх: я был без места. Но вот Слонимскому поручили редактировать журнал "Ленинград" при "Ленинградской правде", и я пошел по его рекомендации туда же в секретари. А в "Радуге" поручили мне подписи, стихотворные подписи к двум книгам. Издательство "Радуга" процветало в те дни. Первые, а возможно, и лучшие книги Маршака и Чуковского расходились отлично. Налогами частников еще не душили, и во всех книжных магазинах продавались книжки издательств "Мысль", "Время". И еще многих других, главным образом — переводы. Известные переводчики нанимали белых арапов — людей, просто знающих язык, и только редактировали, а иной раз и не редактировали переводы своих подручных. И "Радуга" оставила мало следов в моей душе. Где помещалось издательство? На Стремянной, в квартире владельца, Льва Моисеевича Клячко. И теперь, проходя мимо по улице, не вспоминаю ничего. В издательствах дела шли хорошо, и наш Клячко появлялся в издательстве из недр своего дома, сияя, с цветком в петлице, живой, по-еврейски скептический, знаменитый, в свое время король репортеров, статьи которого некогда вызывали запросы в Государственной думе. Он оставил книжку воспоминаний, написанных суховато, как учили его в солидной газете "Речь". Рассказывал он куда живей. Его легкая, щегольская, чуть слишком щегольская фигурка, седые виски, темные глаза, упрямая вера в самого себя и свое дело — все его живучее естество было в "Радуге" самым привлекательным явлением. Редактор, долговязый, придирчивый старик, которого Клячко уважал по неким доисторическим причинам, роли в редакции не играл. Все финансовые переговоры вел хромой человек, компаньон Клячко. Деньги тогда были дороги.

1953 27 августа

Несмотря на процветание издательства, деньги получить было в высшей степени трудно. Платили они мне, по-моему, 250 рублей за книжку. Но по частям. Один раз заплатили талонами на

магазины Пассажа. Целый лист, похожий на листы почтовых марок, с талонами разной ценности. Я купил себе костюм. В ожидании денег сидели мы в проходной комнате. В глубине, за тремя комнатами редакции, ощущалась семья Клячко. Появлялась и исчезала жена с несколько обиженным выражением. Дочка. Часто сидел со мною Коля Чуковский. Тощий, добродушный, чахлый, вечно выпивший Андреев, иногда с женой, тоненькой, молоденькой еврейкой, беспокойной, ласковой, с глазами газели, как говорили в редакции. Она все улыбалась, заглядывая в глаза. Появлялся Яков Годин. Жил он где-то в деревне, ходил в сапогах. Он приводил Ауслендера, седого, рыхлого, едва передвигающего ногами. Раза два видел я там Мандельштама — озабоченный, худенький, как цыпленок, все вздергивающий голову в ответ своим мыслям, внушающий уважение. Корней Иванович и Маршак, словно короли, показывались не так часто, и денег, разумеется, ждать им не приходилось. Но и с нами расплачивались в конце концов. И впервые с приезда жить нам в Ленинграде стало полегче. "Рассказ старой балалайки", написанный до "Радуги", все лежал в Госиздате и был напечатан в 25 году, уже после того, как вышли "Вороненок" и "Война Петрушки и Степки Растрепки". На книги свои я смотрел с тем же странным чувством, как на работу в "Карусели". Я начинал, едва начинал, приходить в себя после падения всех сил и всех чувств, после актерской полосы моей жизни. Но я был как в тумане. Сегодня я вижу то время яснее, чем тогда, в те дни.

1953 *28 августа*

То, что в "Радуге" напечатал я несколько книжек, то, что Мандельштам похвалил "Рассказ старой балалайки", сказав, что это не стилизация, подействовало на меня странно — я почти перестал работать. Мне слава ни к чему. Мне надо было доказать, что я равен другим. Нет, не точно. Слава была нужна мне, чтобы уравновеситься. Опять не то, голова не работает сегодня. Слава нужна мне была не для того, чтобы почувствовать себя выше других, а чтобы почувствовать себя равным другим. Я, сделав то, что сделал, успокоился настолько, что опустил руки. Маршак удивлялся: "Я думал, что ты начнешь писать книжку за книжкой". И предостерегал: "Нельзя останавливаться! Ты начнешь удивляться собственным успехам, подражать самому себе". Но я писал теперь только в крайнем случае.

1953 *8 января*

Когда в 1922 году наш театр закрылся, я, после нескольких приключений, попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому. Человек этот был окружен как бы вихрями, делающими

жизнь вблизи него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественной позе было невозможно, — как ураган в пустыне. Кроме того, был он в отдаленном родстве с анчаром, так что поднимаемые им вихри не лишены были яда. Я, цепляясь за землю, стараясь не щуриться и не показывать, что песок скрипит у меня на зубах, скрывая от себя трудность и неестественность своего положения, пытался привиться там, где ничего не могло расти. У Корнея Ивановича не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве без настоящего пути, без настоящего языка, без любви, с силой, не находящей настоящего, равного себе выражения, и поэтому — недоброй. По трудоспособности трудно было найти ему равного. Но какой это был мучительный труд! На столе у него лежало не менее двух-трех-четырех работ — вот статья для "Всемирной литературы"', вот перевод пьесы Синга, вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой, вот начало детской книжки. Он страдал бессонницей. Спал урывками. Отделившись от семьи проходной комнатой, он часов с трех ночи бросался из одной работы в другую с одинаковой силой и с отчаянием и восторгом.

1953
9
января

Иногда выбегал он из дома своего на углу Манежного и обегал квартал — по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно тонет, своими особенными серыми глазами. И весь он был особенный — нос большой, рот маленький, но толстогубый, все неправильно, а красиво. Лицо должно бы казаться грубоватым, а выглядит миловидным, молодым, несмотря на седые волосы. На улице на него оглядывались, но без осуждения. Он скорее нравился ростом, свободой движения, и в его беспокойстве было что угодно, но не слабость, не страх. Он людей ненавидел, но не боялся, и это не вызывало осуждения и желания укусить у встречных и окружающих. Я приходил по его приказу рано, часов в восемь. Я в своем обожании литературы угадывал каждое выражение его томных глаз. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, он глядел на меня, прищурив один свой серый прекрасный глаз, надув свои грубые губы, — с ненавистью. Я не слишком обижался, точнее, не обижался совсем. Ненависть этого рода вдруг вспыхивала в нем и к Коле — первенцу его, и к Лиде, и изредка к Бобе, и никогда к Муре, к младшей. По отношению к Марии Борисовне не могу ее припомнить. Она часто спорила на равных правах, тут шли счеты, в которые я боялся вникать. Но нас он часто обдавал этой неприязнью. И он спешил дать мне поручение, чтоб избавиться от меня. В те дни занимался он Панаевой. Я

шел то в Публичную библиотеку, то к кому-нибудь из историков литературы.



А однажды ходил я доказывать, что ему, Корнею Ивановичу, неправильно назначили налог. И я в гор- или губфинотделе на канале Грибоедова, в великолепном кваренгиевском здании против мостика со львами, доказывал кому-то, что произошла ошибка, и, помнится, сбросили Корнею Ивановичу миллионов шестьдесят. Он поклонился мне в пояс и закричал своим особенным тенором, что я не секретарь, а благодетель. Научил он меня править корректуру в гранках, помечать ошибки на полях и в строчках. Иногда у нас завязывались разговоры, но среди них он вдруг явно уходил в себя, прищурив один глаз, но и до этого знака невнимания, говоря, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно трудной. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, которое послал он за границу Алексею Толстому, который тогда редактировал в Берлине сменовеховский журнал "Накануне". В письме этом он приветствовал разрыв Толстого с эмиграцией, рассказывал, в каком унылом окружении живет, звал Толстого в Петроград. Письмо Толстой напечатал, и все оскорбленные, названные в письме, подняли шум. В Доме искусств, в Доме литераторов начались бурные собрания, на которых Чуковский отсутствовал по болезни. Говорили, что он близок к сумасшествию. Не знаю. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно обижал кого-нибудь. И Андреев жаловался, и Арцыбашев вызывал его на дуэль, и всегда он приходил в отчаянье и был близок к сумасшествию, но оживал. Но проходили эти бои не бесследно. Иногда мне казалось, что измучен он нешуточно и все глядит внутрь, на ушибленные в драке части души. Вряд ли он был душевно болен, но мне казалось, что душа у него болит все время.



Однако, когда требовали дела, Корней Иванович выбегал — именно выбегал — из дому и мчался огромными шагами к трамвайной остановке. Он требовал, чтобы и я так делал всегда. "Если трамвай уйдет из-под носа, так вы не будете виноваты". И, приехав, примчавшись, куда ему нужно, он спокойно и при этом весело и шумно проникал к человеку, главному в учреждении. "Вы думаете, он начальник, а он человек!" — восклицал он своим насмешливым, особенным, показным манером, указывая при слове "начальник" в небо, а при слове "человек" — в пол. "Идите всегда к самому главному!" Он добивал-

ся того, чего хотел, и дела его шли средне — обычная история с людьми подозрительными и мнительными. Дела могли бы идти отлично, если бы Корней Иванович понимал, что у него меньше врагов, чем это ему чудится. И, защищаясь от подозреваемого противника, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило путаницу и ранило в тысячный раз нежного, нечаянно завязавшего драку Чуковского. Впрочем, иной раз мне казалось, что он уже и без всякого повода испытывает часто непреодолимое желание укусить и обидеть — и при этом вполне бескорыстное, ненужное, не объяснимое самозащитой. Ненависть схватывала его, как судорога, и он кусался. Кого он уважал и любил в те времена? Может быть, Блока. Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все. Однажды он стал читать, улыбаясь, Сашу Черного — стихи "Корней Белинский". Я их не очень помню. Кончаются они тем, что Чуковский силен, только когда громит бездарных людей, а в остальном — ничто. Начал Корней Иванович читать улыбаясь, а кончил мрачно. Думая о своем. И, прищурив один глаз, сказал: "Все это верно". Маршак не раз говорил: "Что за критик, не открывший ни одного писателя".

1953
12
января

И вместе с тем какая-то сила, внушающая уважение, все время угадывалась в нем. Маршак сказал однажды: "Он не комнатный человек". Стихи он запоминал и читал, как это свойственно настоящим поэтам. Любил, вероятно, и некоторых прозаиков, но не так, как Некрасова, например. Одна черта, необходимая для критиков, у него была: он ненавидел то, что другому только не нравилось бы. Но любил с такою же силой — редко. Мешало ему то, что настоящего дара к прозе у него не было. Во многих детских стихах язык у него обнаруживался (конец "Мойдодыра", например), а в прозе в его развязанности чувствовалась скованность, ограниченность. В прозе проявлялась та сила, которая так легко сгибала и выпрямляла длинную его фигуру, играла его высоким голосом, жестикулировала ручищами. Актерская сила, с фейерверками, конфетти и серпантином. Когда начинал он рассказывать о писателях, часто не вспоминал, а сочинял. А прозаик без памяти — невозможен. Однажды он рассказал, как приехал на какой-то вечер Скиталец, пьяный, хотел прочесть свое стихотворение: "Мне вместо головы дала природа молот" и прочел "Дала природа ноги". Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки вовсе и не Скитальца, а пародия на него Измайлова. Значит, вся история сочинена. Не было у него памяти, чтобы запомнить, и языка, чтобы рассказать. Та сила, внутренняя, которая угадывалась, зас-

тавлявшая его уходить в себя посреди разговора или бегать вокруг дома посреди работы, была нема и слепа и только изредка сказывалась в стихах. Не радовала она его, а грызла и бродила, отчего он и кусался. Вот я возвращаюсь, выполнив поручения. И докладываю: я побывал у Лернера. В Публичной библиотеке.



Попытался достучаться к Замирайло, но напрасно. Все поручения выполнены. Я докладываю об этом Корнею Ивановичу. Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем ходил я к Лернеру, в Публичную библиотеку, к Замирайло? Нужно ли было Корнею Ивановичу, чтобы я выполнял все эти поручения, или он просто хотел от меня избавиться? И нужен ли ему вообще секретарь? Да и сам Корней Иванович — тот ли, которого я столь почитал издали в студенческие времена за то, что он был в самом центре литературы, представлял ее и выражал. Что он такое на новой почве, в новой жизни? Существует ли он? Мысли подобного склада часто овладевали мною в те дни: существует ли Давыдов, или в старые времена он был совсем другой артист? Таков ли был Радаков, когда "Новый сатирикон" существовал? Что умерло, что уцелело, что растет, а где искусственные цветы? В те дни появились магазины "приказчиков Елисеева", "приказчиков Соловьева". Мне казалось, что люди, уцелевшие от старой жизни, делятся на два вида "приказчики быв[шего] Елисеева" и "бывший Казанский собор, ныне Антирелигиозный музей". Корней Иванович не подходил ни к тому, ни к другому виду, и я часто не понимал, существуем ли мы — и патрон, и секретарь. Для меня это были самые трудные дни: переход от актерской работы к литературной. В те дни я дружил с Колей Чуковским и все советовался с ним, расспрашивал, — выйдет ли из меня писатель. И Коля отвечал уклончиво. Однажды он сказал: "Не знаю. Писателя все время тянет писать. Посмотри — отец все пишет, все записывает, а ты нет". И в самом деле я никак не осмеливался писать.



У Корнея Ивановича была толстая, переплетенная в черный переплет тетрадь знаменитая "Чукоккала", альбом, которым дорожил он необыкновенно. Там были и рисунки Репина, и стихи Сологуба, Блока, автографы Горького, Куприна — всех, в сущности, поэтов, писателей, журналистов, живших в Петербурге, Пет-

badграде, Ленинграде. Молодой Лева Лунц, в сущности мальчик, веселый, легкий, хрупкий, как многие одаренные еврейские дети его склада, уезжал к родным за границу. "Серапионовы братья" собрались проводить его. Были и гости. Среди них — Замятин. Я тоже был зван, и Корней Иванович дал мне "Чукоккалу", чтобы я попросил участников прощального вечера написать что-нибудь. Вечер был так шумен и весел, что альбом пролежал на окошке в хозяйкиной комнате весь вечер, и никому я его не подсунул. Вечер, повторяю, был веселый, только главный его виновник грустил. Он недавно перенес суставной ревматизм. И в тот вечер ему нездоровилось — он с трудом открывал рот — болела челюсть в суставе, и это его тревожило. Мы не верили в дурное и не предчувствовали, что Лева Лунц уезжал умирать. Мы подсмеивались над его челюстью "слегка испорченной", а это был симптом возврата болезни. Он уехал к родным, но с парохода его уже вынесли на руках, и он до самой смерти не вставал с постели. Но тогда мы в это не поверили бы. На другой день после веселых проводов я у Чуковского не был. Вечером зашел Коля и сообщил, что папа очень беспокоится, — где "Чукоккала". Утром я Корнея Ивановича не застал — он унесся по своим делам. Но на промокательной бумаге письменного стола в нескольких местах было написано: "Шварц — где "Чукоккала"?" И я понял, что и в самом деле первое его движение, первое выражение чувства — запись.

1953
15
января

Корней Иванович неоднократно горевал о дневниках своих, которые вел всю жизнь. Они остались на даче в Куоккале. Полагаю, что дневники его и в самом деле — клад, да еще и загадка. Это будет неслыханная смесь искренности и той непонятной для постороннего читателя лжи, что вызывалась мнительностью, подозрительностью и судорожным желанием укусить. Я работал, или считалось, что работаю, и, несмотря на мгновенья растерянности, о которых рассказывал, несмотря на неестественное положение в полосе отчуждения, в пустынных вихрях, временами все же бывал счастлив. Так или иначе, я все дальше и дальше уходил от театра, и вокруг меня все жило интересами литературы. Я слышал имена современников Чуковского. Говорил он о них недостоверно, с усмешечкой, без настоящего интереса, но я наслаждался. Смеясь, глядит он на портрет Мережковского, приложенный к какой-то книге. Писатель сидит в кресле у себя в кабинете. На стене распятие и непосредственно под ним кнопка звонка. Заметив эту подробность, Корней Иванович хохочет весело и нарочито громко. "Весь Митя в этом!" —

восклицает он. Мне не вполне ясно, почему весь Митя в этом, но и я смеюсь, я доволен — разговор повел меня в литературу, в самую ее середину. А Корней Иванович, оборвав смех и потемневши, рассказывает, как Мережковский и Гиппиус, уже решив бежать, ходили по издательствам и собирали авансы. До отъезда были они с Корнеем Ивановичем ласковы, все просили советов и помощи, подписывая договоры в непривычных обстоятельствах, а бежав, стали обливать грязью. Гиппиус посвятила ему стихи, где говорила, как радует ее всегда приход "седого мальчика с душою нежной", а за границей ругала его, как торговка. Улыбаясь довольной улыбкой, вспоминает Корней Иванович: "Брюсов говорит: "Мне сегодня исполнилось сорок лет", а я отвечаю: "Пушкин в эти годы умереть успел!" (Впрочем, речь, возможно, шла о тридцати годах и о Лермонтове.)

1953 *16 января*

Больше всего мне понравился и меньше всего вызвал сомнений рассказ Корнея Ивановича о Короленко. Чуковский сказал ему однажды: "Как хорош у вас, Владимир Галактионович, слесарь в рассказе "На богомолье". Сразу видно, что он списан с натуры". Надо знать Корнея Ивановича, чтобы почувствовать своеобразную ядовитость этого заявления. Оно было построено по любимому его образцу. Сначала похвала, а потом удар ножичком в спинку. Я так и слышу, как невинно и вкрадчиво звучит тенор Чуковского: "Списан с натуры". И Короленко ответил спокойно: "Еще бы не с натуры — ведь это Ангел Иванович Богданович". Корней Иванович восхищался этим ответом. А для меня в нем было целое откровение. Вот он, настоящий реализм. Взять характер интеллигента, редактора толстого журнала, со всеми особенностями ("Черт Иванович" — называли Богдановича наборщики) — и перенести в другую среду, да так, что он стал еще яснее и выразительнее. Вот тебе и с натуры. Работа у Чуковского сошла постепенно на нет к весне 23 года. К моему отъезду в Донбасс. Расстались мы друзьями. Только перед самым уже отъездом заспорили мы с ним по поводу статьи его о Блоке. Мне казалось, что поэт, узнавший, что крестьяне сожгли его имение и сказавший на это просто: "Туда ему и дорога", заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Он, уже когда я уехал, говорил Коле, что гонорар за статью, вызвавшую такой спор, он переведет мне. Но не перевел. На этом и кончилась моя служба, но встречаться нам приходилось часто. И он всегда был добр ко мне. Но и тут сказывались особенности его натуры. Кончая редактировать одно из изданий "От двух до пяти", он сказал мне однажды, что я буду приятно удивлен: он обо

мне написал в своей книжке. Случайно увидел я корректуру ее и прочел: "В детскую литературу бросились все — от Саши Черного до Евгения Шварца".

1953
17
января

Я не обрадовался. Фраза показалась мне неопределенно оскорбительной, на что она и рассчитывала. Но я и не огорчился и не удивился. Я ждал чего-нибудь в этом роде. И вот вышла книжка. Фраза "...от Саши Черного до и т. д." исчезла. Вместо этого было сказано: "Даровитый Евг. Шварц наиболее удален от экикик" и добавлено, что я внес в детскую литературу стариковский сказ вместо — забыл чего. Этим отзывом я был польщен. Слово "даровитый" для меня все освещало. Я себя и за человека не считал. Именно в то время стало мне казаться, что я открыл особый вид привидений, к которым причислял и себя. Не вполне воплотившиеся, не нашедшие себе формы существа, сила которых останется невидимой. Таким казался мне иной раз и Корней Иванович, и именно этим объяснял я себе его смутную нелюбовь к людям и пустыню вокруг. Осталось мне рассказать немногое, да я и не знаю, стоит ли рассказывать. Относится эта история к его пресловутой вражде с Маршаком. Все охотно рассказывали эти анекдоты, потому что каждому данная вражда представлялась понятной. А ее как таковой — не было. Во всяком случае, по сравнению с татарской, бешеной, убийственной для обеих сторон житковской или олейниковской ненавистью, о ней и говорить-то не стоит. Чуковский не любил Маршака, как и всех прочих. Не больше, чем родного сына. Может быть, более откровенно. Во время [Первого] съезда [писателей], узнав, что Маршак был на приеме, куда Чуковского не позвали, этот последний, построив фразу по любимому своему образцу, сказал: "Да, да, Самуил Яковлевич, я так был рад за вас, вы так этого добивались!" И это заявление все весело повторяли. А для Чуковского оно было попросту добродушно. Любопытный разговор имел Корней Иванович с Хармсом о "Мистере Твистере".

1953
18
января

Встретивши Хармса в трамвае, Корней Иванович спросил: "Вы читали "Мистера Твистера?" — "Нет!" — ответил Хармс осторожно. "Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть такие куски, где ни мастерства, ни таланта — "сверху над вами индус, снизу под вами зулус" — и все-таки замечательно!" Так говорил он о Маршаке. Зло? Несомненно. Но вот во время войны я привез письмо Марины Чуковской. Она просила передать

его срочно Корнею Ивановичу. Она узнала случайно, что Коля находится в месте, где газеты нет, где сидит он без работы под огнем, рискует жизнью без всякой пользы. Она просила Корнея Ивановича срочно через Союз добиваться Колиного перевода. С вокзала я завез письмо Корнею Ивановичу и, не застав его, просил передать, что зайду вечером. Встретились мы раньше в столовой Дома писателей. Было это во втором этаже, где кормили ведущих и нас, приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме, и лицо его исказилось от ненависти. Прищурив один глаз, он возопил своим тенором, обращаясь к сидящему за нашим столом какому-то старику. Забыл — чуть ли не к Гладкову. "Вот они, герои. Мой Николай напел супруге, что находится на волосок от смерти, — и она пишет: "Спасите его, помогите ему". А он там в тылу наслаждается жизнью!" — "Ай-ай! — пробормотал старик растерянно. — Зачем же это он?" Вот как ответил Корней Иванович на письмо о первенце, находящемся в смертельной опасности. Нет, я считаю, что Маршака он скорее ласкал, чем кусал. В апреле прошлого года встретил я Корнея Ивановича на совещании по детской литературе. Незадолго до этого исполнилось Чуковскому семьдесят лет. Оглянувшись, я увидел стоящего позади кресел Чуковского, стройного, седого, все с тем же свежим, особенным топорным и нежным лицом.

1953
19
января

Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами тем самым сохранилась прежняя. Он не казался мне стариком. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в зале, пожимая правую левой, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сначала на меня так и дохнуло воздухом двадцатых годов. Чуковский был весел. Но прошло пять минут, и я угадал, что он встревожен, все у него в душе напряжено, что он один, как всегда, как белый волк. Сурков в это время делал свой вступительный доклад — читал его, и аудитория слушала вяло. Чувствуя это, Сурков иной раз отрывался от рукописи, говорил от себя, повысив тон, на нерве, выражаясь по-актерски. Обратившись к Маршаку и Михалкову, сидящим в президиуме, Сурков воскликнул, грозя пальцем: "А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры для детей". Чуковский, услышав это, сделал томное лицо, закивал головой и продекламировал подчеркнуто грустно: "Да, да, да, это национальное бедствие". И снова на меня пахнуло веселым духом первых дней детской литературы. Вот и кончен рассказ мой о Чуковском.

1953
20
января

Осенью 22 года, уже чувствуя себя петроградским жителем и забывая постепенно Ростов, я увидел объявление о том, что в Доме искусств открывается прием в забыл что. То ли в студию, то ли в литературный университет. Читают — Замятин, Чуковский, Шкловский и так далее. Я записался туда. На лекции Корнея Ивановича была такая толпа, что он едва пробрался к своему столу, влез на него в валенках и спрыгнул по другую сторону к величайшему удовольствию аудитории. Разбирали Бунина. Прочел доклад слушатель старшего курса студии с деревянным лицом и голосом из того же материала — Николай Тихонов. В докладе он доказывал, что Бунин — провинциал, старающийся показать свою образованность. Я обожал Бунина, и Буратино с дурно обработанной чуркой на том месте, где у людей обычно находится лицо, с пепельным париком над чуркой — ужаснул меня. Года через два, уже зная, что он не так осиноподобен, как почудилось мне при первой встрече, я спросил его, зачем сочинил он доклад подобного рода. “Ты не понял! — воскликнул он — Я пародировал Чуковского. Неужели ты не заметил, как он был недоволен!” Я заметил, но отнес это к сути доклада.

1953
22
января

Возвращаюсь к 21 году. Я чувствовал себя смутно, ни к чему не прижившимся. Театр, несмотря на статью Шагинян “Прекрасная отвага” и похвалы Кузмина, — шатался. Морозы напали вдруг на нас — и какие. В нашей комнате лопнул графин с водой. Времянки обогревали на час-другой. Попав с улицы в тепло, я вдруг чувствовал, что вот-вот заплачу. Холодова была в ссоре со всей труппой и неистовствовала, что я не следую ее примеру. И в такие вот смутные дни я стал слушать лекции среди людей непонятных и чуждых, как бы несуществующих. Скоро я убедился, что не слышу ни Чуковского, ни Шкловского, не понимаю, не верю их науке, как не верил некогда юридическим, и философским, и прочим дисциплинам. Весь литературный опыт мой, накопленный до сих пор, был противоположен тому, что читалось в Доме искусств. Я допускал, что роман есть совокупность стилистических приемов, но не мог поверить, что можно сесть за стол и выбирать, каким приемом работать мне сегодня. Я не мог поверить, что форма не органична, не связана со мной и с тем, что пережито. То, что я слышал, не ободряло, а пугало, расхолаживало. Но не верил я в прием, в нанизывание, остранение, обрамляющие новеллы, мотивировки, оксюморон и прочее — тайно. Себе я не верил еще больше. Словом, так или иначе я перестал ходить на

лекции. А театр погибал, его вымораживало из Владимирской, 12, разъедало, разбивало. Директор наш, Горелик, влюбился. Он уводил жену от мужа тяжело, мучительно, ему было не до нас. Он хотел, чтобы театр закрылся. Я шагал по улице и увидел афишу: "Вечер "Серапионовых братьев". Я знал, что это студийцы той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое.



Дом искусств помещался в бывшем елисеевском особняке, мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных. Пневматические, а не пружинные. На скульптуры Родена — мраморные. Подлинные. На атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой Михаил Слонимский, я подумал: "Ну вот, сейчас начнется стилизация". К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва попав в категорию искусства. Он показался познаваемым, в его хаосе почувствовалась правильность. Равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к тому, о чем я тосковал и чего не чувствовал на лекциях, путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный не по выражению, вопреки суровому выражению лица да и всего существа, человек, я подумал: "Ну вот, теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске "Серапионовы братья". И снова ошибся, был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ "Рыбья самка" почти наизусть.



Так впервые в жизни услышал я и увидел Зощенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встре-

тила его аудитория, и соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел "Бертрана де Борна" и "Вне закона" и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось: "Моисей бесноватый", что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин, еще в гимназической форме, с поясом с бляхой. И он действительно прочел нечто стилизованное. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем "Серапионовых братьев" объединились писатели и люди мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло их, оправдывало их объединение. Среди умерших, но продолжавших считать себя живыми, и пролеткультовскими искусственными цветами они ощущались как люди живые и здоровые. Экспрессионизм, казавшийся самым подлинным видом современного искусства. Впрочем, меня занесло вдруг в ту область, которую ненавижу. Говоря яснее: на этом вечере я вдруг почувствовал, что не все так далеко от меня в тогдашней литературе, как немецкий экспрессионизм, например. Делается нечто, доказывающее, что я не урод, не один. Есть кто-то, думающий, как я.

1953 25 января

Нет, я записал вчера неточно. Дело было не в том, что нашлись люди, думающие так, как я. Я ничего еще не думал. Думать можно, когда работаешь. Просто я почувствовал атмосферу менее враждебную, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде. Более живую. Вскоре я познакомился с ними ближе. И в самом деле они оказались разными людьми. Что общего было у Лунца с Никитиным, у Каверина — со Всеволодом Ивановым? Ближе всего сошелся я со Слонимским. Он в те дни просыпался поздно, часов в одиннадцать, но и тогда не вставал, все курил и думал, глядя рассеянно огромными своими глазами в неприбранную свою душу. Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных, таких, например, как офицер со справкой: "Ранен, контужен и за действия свои не отвечает" (герой его "Варшавы"). И фамилии он любил странные, и форму чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал за годы нашего долгого знакомства, — прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто, занял место, стал в

позицию нормального. Только какие-то железы у него на шее гипертрофировались, а исхудал он еще больше, чем в первые годы нашего знакомства. И чувство формы начальное потерял, а нового не приобрел. У него всегда была ясная голова, он умел играть в шахматы вслепую, был грамотнее всех товарищей в точных науках, и рассудок помог ему наступить на шею своей теме. Да иначе и не могло получиться. Он все думал и думал в те дни, в 22 году, но рассеянный его вид тем не менее внушал уважение.

1953
26
января

В те годы он еще не был отравлен до такой степени мыслями: не травят ли, не обижают ли, не снимают ли, не убивают ли его. Они вспыхивали изредка, но разрослись еще, все заслоняя, как теперь. Слонимский был еще мальчик, который мог и влюбиться, и напиться, и играть в жмурки и в свои соседи. Но он уже хотел занимать место и боялся безумия, к которому тянулась его неприбранная, но зато и не опустошенная еще душа. Он рассказал однажды, что боится сойти с ума. У него был брат, погодок, кажется, помешавшийся и умерший. Мише пришлось ухаживать за ним. Были они дружны, и наблюдать, как разлагается рассудок близкого человека, было ужасно. Вот они играют в шахматы, игра идет разумно и спокойно, но вдруг без всякого повода, с шипеньем и фырканьем брат начинает сбивать фигуры с доски на пол. И лезет драться. И я знаю за собой подобные свойства. И когда Миша рассказывал это, то глазища его глядели так многозначительно, но слова он подбирал все попроще, как бы смягчая важность рассказываемого. Он был еще мальчиком и стыдился уж очень глубоких чувств. А кроме того строго литературная среда не давала воли. Все было отчетливо: нанизывание, обрамление, оксюморон. Мишино безумие пригодилось бы лет за десять до описываемых дней, а тут оно было к чему? Разве только для остранения. Мишина мама, Фаина Афанасьевна, сестра профессора Венгерова, славилась на весь город своим нравом, точнее — норовом. Жила она тут же, в Доме искусств, только Миша — в третьем этаже, где будто бы в прошлом размещалась елисеевская прислуга, а мама в большой комнате где-то в глубине здания, в сложных коридорах и переходах, в которых я так и не разобрался. Миша был младший, но взыскивала мама именно с него. Старший, Александр Леонидович, ее любимец, был всегда прав. И вот Миша, тощий, огромноглазый, еще мальчик, являлся, несмотря на свои странности, главой семьи, отвечал перед мамой.

1953 27 января

И справлялся с этой задачей Миша наилучшим образом. Он имел все обязанности, но ни одного преимущества главы семейства, он молча выносил мамины упреки. Несмотря на рассеянный свой вид, внушал он доверие старшим. Его часто приглашали на секретарскую работу, то он был секретарем у Гржебина, то секретарем совета Дома искусств. Вот идет заседание совета Дома, все чинно, торжественно, парламентарно. Председательствует Аким Волынский. И вдруг свет гаснет. И через несколько мгновений раздается из коридоров и переходов дома вопль Фаины Афанасьевны. В полной тьме вопит она: "Миша! Аким Волынский негодяй! Обрезали! Обрезали! Миша!" Все понимают, в чем дело. Тут же, в Доме искусств, помещалась балетная школа Волынского, не оплатившего счет за свет. Фаина Афанасьевна, крича "Обрезали!" подразумевала провода. Но вот свет вспыхивает, и тут же на полуслове обрываются вопли Мишиной мамы. Так вот он жил, работал, ища себе дорогу, учась пользоваться без ущерба для службы и жизни неприбранной своей душой. В этом же этаже проживал Ходасевич с головой, похожей на череп. Отдельную комнату занимала жена Ходасевича с очень красивым сыном. Впрочем, с Ходасевичем она была в разводе, а сын был от первого брака. Зощенко жил в комнате окнами во двор. Комната Ольги Форш помещалась тут же, недалеко. Когда она работала, то кричала так громко, что слышно было в коридоре. Мариэтта Шагинян таилась в глубине особняка. По коридорам и переходам бродил недавно выпущенный из сумасшедшего дома друг Блока, потомок литовских королей, поэт Пяст. Заболевание его заметили так: он стоял в темном углу Дома искусств возле какой-то лестницы на одной ноге в течение нескольких часов. Говорил Пяст рыдающим голосом.



Рассказывали, что он преподает декламацию в Камерном театре. От Елисеевых остался бывший их слуга, похожий на Николая II, с бородкой; он считался не то управхозом, не то старшим дворником. Через два-три года он покончил с собой. Долго бродил он по крышам елисеевского дома от Мойки до Морской, кричал вниз, чтобы люди расступились, что он сейчас бросится. Вызвали пожарных, и когда они двигались к нему, он бросился с крыши, спиной, закинув голову назад. Говорят, что если падающего с большой высоты сильно толкнуть перед самой землей, то он не расшибется. Какой-то сту-

дент попробовал сделать это и, по одним сведениям, сам был убит каблуком самоубийцы, ударившим его в висок, а по другим — тяжело ранен. Причина самоубийства была темная. Говорили, что его должны были судить за растление малолетних. Почему же в таком случае он был на свободе? Возвращаюсь в комнату Миши Слонимского в Дом искусств начала двадцатых годов. Итак, я заходил к нему чаще всего по утрам. Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им предоставляется бесплатно для случки черный козел. Являться только от 7 до 8 утра — и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен все объявления. Но он не обижался. Он держался с достоинством не сразу заметным, но несомненным. И не стал бы он обижаться на дружескую шутку. История в те дни шагала быстро.

1953
29
января

И "Серапионовы братья", хоть и возникли всего за год до моего с ними знакомства, уже имели предания и исторические рассказы. Уже успела уехать на юг Муся Алонкина, которую все очень любили, даже старики. Вова Познер, тоже ушедший в мои дни в историю, или, проще говоря, уехавший в Париж, написал Мусе Алонкиной стихи, где говорилось — "...Волынский, Кони, тысячелетия у ног твоих лежат" А кончались они так "...Вы кажетесь мне, Мусенька, отделом охраны памятников старины". И Миша Слонимский был в нее влюблен и даже считался ее женихом. А. Грин, удалившийся к 22 году в Старый Крым, в 20-21 г. тоже влюбился в Мусю. И существовало предание, что однажды утром Миша проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Первое, что он увидел, — руки у самого своего горла. Это А. Грин пришел, чтобы задушить Мишу из ревности, но не довел дело до конца. А вот и исторический факт. Миша и Грин в шашлычной выясняли отношения и, не выяснив их до конца, обнаружили, что денег у них больше нет. Тут Грина осенила идея: самый простой выход — это поехать и выиграть в лото. Нэп уже был в действии. На Невском, 72, работало электрическое лото. Грин и Слонимский отправились туда, не сомневаясь, что выиграют, и, о чудо, и в самом деле выиграли. Удивились они этому только на другой день, увидев, как много у них денег, и припомнив, как они их добыли. В мое время Дом искусств шел уже к своему концу и чудес там больше не случалось. Старые грешники и подвижники считали наивно, что Советс-

кая власть не такова, как об этом пишут газеты и что вожди у себя дома и сами понимают это. Какова же она? В это не вникалось. Во всяком случае слова "твердокаменный большевик" были ругательством. А Советская власть шла своим путем, и Дом искусств закрылся постепенно, когда перестал быть нужным. Но мои друзья ко времени закрытия Дома окрепли.



Но я вспоминаю те дни, когда Дом искусств существовал еще, а Миша Слонимский только начинал крепнуть. Вот он лежит на кровати, а забежавшая откуда-[то] из глубин Дома искусств Мариэтта Шагинян, огражденная глухотой своей от возражений, громит молодых в Мишином лице. За что? Понять трудно. С какой-то очень высокой точки зрения молодые неправы. Мишу Мариэтта Сергеевна выбрала потому, что он достаточно тих и внимателен, а с другой стороны держится не без достоинства, таких ругать интереснее. "Heilige Ernst!"* — вот что у вас отсутствует. "Heilige Ernst!" И не слушая, вернее, не слыша Мишиных попыток возразить, она с беспощадной прямотой требует, чтобы он бросил писать. И беспомощно хохоча и напрягая голос до того, что жилы набухают на тонкой шее, Миша кричит: "Как я могу бросить писать? Мариэтта! Я не могу бросить писать. Я тогда, ха-ха-ха умру!" Обсуждали друг друга молодые большей частью у Миши в комнате, причем он по привычке слушал чтение почти всегда лежа. Обсуждалось прочитанное пристально. Если рассказ нравился мне, я, тогда совсем потерявший дорогу и всякое подобие голоса, испытывал некоторое желание писать. Но всегда желание это вытравлялось начисто последующим обсуждением. Друзья мои с непостижимой для меня уверенностью пользовались тогдашним лексиконом своих недавних учителей. Я не отрицал этого вида познания литературы, я его не мог принять, органически не мог. Мариэтта Шагинян со своим "Heilige Ernst" была далека, но насколько все-таки ближе, чем "обрамляющая новелла". Утешала меня идиотская уверенность, что все будет хорошо. Отсутствие языка имело для меня и утешительную сторону — я в силу этого не мог думать. В 25 лет без образования, профессии, места, я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы.



Я впитывал каждое слово, каждую мысль, но не все принимал, нет, далеко не все, — органически не мог. Я вырос иначе, в маленьком городе. Но вместе с тем, благодаря огромному расстоянию между знанием и выводами из него, действием, — я ува-

*"Heilige Ernst!" — святая серьезность (нем.)

жал, почти религиозно, своих новых друзей. Они были там, в раю, среди избранных! В литературе. Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения, орудуя своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда через очки водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: "Какая там погода?" И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: "Снега в Москве великие". Я отлично понимал Никитина — но готов был преклоняться перед ним: старшие его хвалили, считалось, что он чуть ли не самый талантливый из молодых. А я? В те дни, помогая Чуковскому составлять комментарии к Панаевой, я спросил его однажды с тоской: "Неужели я и в примечания никогда не попаду?" И Корней Иванович ответил со странной и недоброй усмешкой: "Не беспокойтесь, попадете!" Я смотрел на них, на молодых, суеверно, снизу вверх, из них уже "что-то вышло", их сам Горький хвалит, а вместе с тем и сверху вниз: учиться ни у них, ни у старших я не мог. Мне все казалось, что писать надо не так. А как? И тут я был бессилен. Федин — красивый, очень худой, так что большие глаза его казались излишне выпуклыми, напоминал мне московского студента — из тех немногих, что нравились мне. Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя.

1953
1
февраля

Нельзя было осуждать его за это. Его самочувствие напоминало особое удовольствие славного, простого парня, который надел новый костюм. Да еще знает, что он идет ему. При всей своей простоте — Федин всегда чуть видел себя со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа "Города и годы" с величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса его, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри. Казался ложноклассическим. "Трансвааль" слушал я в квартире Федина за славным, просторным его столом с самоваром. Славная беленькая дочь его Ниночка, бегая, ушиблась и не заплакала, а вся покраснела из желания скрыть боль. Выдержать. И выдержала. Дора Сергеевна говорила с нами с улыбкой несколько как бы примерзшей к ее губам: она подозревала, что мы ее не

любим, но ничем этого не показывала. Хозяин был Федин, и дом велся просто, гостеприимно, доброжелательно, по его, по-хозяйски. И опять "Трансвааль", когда читал его хозяин, показался драгоценнее, чем когда я прочел его в книге. Но я не смел или почти не смел говорить о том даже самому себе. Я с радостью все старался рассмешить, развеселить моих новых друзей, не ощущая странности, а может быть, и унизительности моей позиции. Впрочем, нет. Все они, кроме, может быть, Никитина, принимали меня как равного. Лева Лунц жил в глубинах дома в маленькой, полутемной и сырой комнате. Он был умный мальчик, более всех умный и более всех мальчик. Он с блеском кончал университет и еще не решил окончательно, кем быть — ученым или писателем.

1953 2 февраля

Он, как все мои новые друзья, нет, я ошибся, как Миша Слонимский и Коля Чуковский, о женщинах говорил еще несколько боязливо и с глубоким интересом. Лунц недавно только познал эту сторону жизни и с презрением и хохотом говорил, что, по всем видимостям, Миша еще невинен. Однажды, собираясь на свидание, он сказал: "Самое главное — это быть спокойным". Да, о женщинах говорил он с некоторым страхом. Это был совсем еще мальчик. И никак не теоретик группы. У группы не было теории. То, что Лева Лунц говорил, выслушивалось не без интереса и только. Да и Лева, настаивая на необходимости сюжета и прочих тогда модных стилистических приемов, больше с азартом убеждал, чем сам был убежден. Это пока что была игра. А его рассказы, написанные по правилам игры, отличались столь редкой тканью, жидкой фактурой, что не нравились ему самому. Зато в драматургии, где у Лунца теория вытекала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже настоящий опыт. Одно правило, найденное им, я запомнил. "Не следует выбирать место действия, не ограниченное стенами или еще чем-нибудь. Слишком легки выходы". Спорить с этим правилом можно сколько угодно, но оно живое и родилось из опыта. И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его пьес казалась в те дни драгоценной. В мальчике живом и веселом бродила, играла сила. Любили в те дни такую игру: Лева Лунц садился посреди, остальные вокруг. И все должны были повторять его движения. И тут он был воистину вдохновенен и вдохновлял всех, доходил до шаманского состояния. И при этом весело, легко, играя, не выходя за пределы игры. У него была ясная, здоровая голова, но слабенькое, еще мальчишеское, хрупкое тело. И сырая его комната, и недоедание сломили мальчика.

1953 3 февраля

И кончилась игра, которая отличает настоящие драгоценные камни от поддельных. Лунц уехал совсем больным, с парохода вынесли его на руках, и до самой смерти он, такой живой и быстрый, не вставал. Он писал друзьям. Получил письмо и я, коротенькое, веселое, но последние слова были такие: "И я был свободным волком, как сказал Акела, умирая". В 24 году, уже написав свою первую книжку, я приехал во второй раз в Артемовск. Работал в газете. И однажды утром, развернув номер сменовеховской газеты "Накануне", с ужасом прочел, что Лева Лунц умер. В заметке было строк пять-шесть. Я оглядел новых своих друзей и понял, как трудно объяснить, какое случилось несчастье, какого чудесного юноши больше нет на свете. Он радовал чистотой и благородством силы, весело игравшей в ею душе. Как это объяснить и рассказать? Это были самые близкие мои друзья: Лунц и Слонимский. Всеволод Иванов и Никитин совсем не были близки. Первый держался в стороне и скоро уехал в Москву, второй — просто недолюбливал, хотел сказать, меня. Нет — всех. Ласков со мной был и Зощенко, но я побаивался его, как и все, впрочем. В те дни был он суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался. Однажды утром, сидя у него в комнате, я наблюдал благоговейно, как представитель какого-то московского издательства вел переговоры с ним и Никитиным. Он просил рассказы для журнала или альманаха, это было еще для молодых редкостью, новостью в те дни. Никитин спросил о гонораре и стал требовать прибавки. Это показалось мне как бы кощунственным. И Зощенко потемнел и встал, и заявил строго. "А я отдаю вам рассказ за пять червонцев".



Издатель предлагал семь, Никитин требовал — десять. (Цифры называю приблизительно. Возможно речь шла о миллионах, миллиардах или даже рублях. Время было переходное, и золотой рубль стоял высоко.) Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его, но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами: бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить,

давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. При молчаливости своей — словоохотлив. Какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне, при всей почтительной любви моей, иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это шло ему. Ведь и рассказы его, в сущности, поучали, указывали, проповедовали, только создавались они куда более мощной, могучей стороной его существа. "Heilige Ernst", о которой говорила Мариэтта Шагинян, сопутствовала всей его работе, всей жизни. Вот он с женщинами был совсем не мальчик, но муж. И его любили, и он любил. Но всегда — любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные. Однажды при нем стал читать свою непристойную поэму один молодой поэт. И Зощенко так потемнел, что молодой поэт прекратил чтение и стал просить прощения у Михаила Михайловича, как будто провинился перед ним лично.



В стороне держался Илья Груздев, неестественно румяный, крупный, сырой, беловолосый, белоглазый, чуть заикающийся. Молчаливо улыбаясь, он охотно поглядывал на женщин черных, суховатых, крайне энергических, восполняющих, как я думал, нечто, отсутствующее в его рыхлом существе. Но с течением времени я убедился, что молчаливый и смирный этот человек самолюбив и властолюбив до потери сознания. Его брак с Татьяной Кирилловной Гранат был вызван не противоположностью, а сходством натур. Злоба в душе Татьяны Гранат никогда, ни на миг не исчезала. Менялся только накал — от белого каления и выше. Любопытно, что пудель их кусался. А Брем утверждает, что эта порода — самая добрая на земле. Если добрую собачью душу переплавила Татьяна Кирилловна, то понятно, что она сделала с Ильей при его природных данных. Некоторые виды бабьей злобы вызывают подобие сочувствия и уважения как низшая, но все же стихия, страсть. Но в данном случае баба безумствовала, не забывая своей пользы. Теряя рассудок, сохраняла она практичность и, пожалуй, излишек практичности и повредил этой супружеской чете в конце концов. Вырос Груздев в тяжелых условиях. Не помню уже, отец или мачеха притесняли его, и притесняли сверх всякой меры. Страшно. Он этим объяснял болезнь свою, повышенное кровяное давление, сказавшееся у него еще в молодости, и многие стороны своего характера. В серапионовских кругах считался он критиком средним. Уже тогда начинал он писать о Горьком осторожным языком человека застенчивого и самолюбивого. Но какой-то дар у него

был. Однажды я зашел в Госиздат, где он тогда работал в "Звезде" или "Ковше", и Груздев рассказал о Самозванце, заикаясь чуть, но вдохновенно и так ясно, что целая эпоха осветилась мне.



Он был историком и в этой области чувствовал себя, очевидно, свободнее, чем в той, в которой работал. И не только свободнее — он говорил, как художник, и Шуйские, которым бояре дали кличку "Шубины" за романовские полушубки, и Басманов, не по времени чистый, умирающий на пороге спальни царевича, — всех с того памятного разговора я почувствовал, как живых. Я кончаю говорить о Груздеве. Мы были некоторое время в ссоре — выяснилось, что поддразниванье мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжко, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа. Словно клапан вышибло из котла с азотной кислотой. Затем восстановились отношения, осторожные с обеих сторон. Но кухня, не кухня — фабрика, кухня ведьмы гудела за стенами его обиталища и угрожала, и отравляла воздух. И всю силу этой фабрики испытал на себе наш Союз и наш дом 9 по каналу Грибоедова, когда началась война. Говорить об этом тоскливо, не время — я рассказываю о другом. Но я пугаюсь, встретив на лестнице или во дворе тощую, рослую, сожженную адским пламенем, с голосом, как их преисподней, черную хозяйку квартиры №13. Она неудовлетворена, она не доела, не догрызла, не дорезала жалких своих соседей и хилых товарищей Ильи по работе. В ее рассказах эти злодеи заслуживают самых страшных мук. Послушать только, как терзает она всем своим костяным существом бедного тощего Мишу Слонимского, которого лечить надо да хвалить, чтобы он оправился. И я спешу скрыться, пряча свой ужас за вежливыми поклонами и чувствуя всей спиной тяжелую голодную бабью ненависть.



Я так долго занимался детской литературой, что испытываю некоторое удовольствие новизны, стараясь описать такое страшное явление, как изуверская несправедливость стареющей женщины. Сначала мне было как будто и неудобно ругаться, но я понял, что другими словами об этой стихии не расскажешь. Думаю, что разрушенных жизней, несчастных семей, сломанных душ они оставляют за собой больше, чем догадываются. Наш несчастный управхоз из старших дворников, распределяя светящиеся значки для работников ПВХО, обошел Татьяну Кирилловну. Ненависть ее взвихрилась, и я убежден, что

бедняга поплатился за это жизнью. Его судили и расстреляли, обвинив в том, что он не сдал карточки умершей старухи, пользовался ими до конца месяца. Во всяком случае Илья сказал в Москве мне, что приложил к этому делу руку и очень этим доволен. Вот до чего доводит дело при соответствующих обстоятельствах. Где уж тут выбирать слова, если хочешь быть точным. Возвращаюсь в 20-е годы. Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца, кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Он только что кончил арабское отделение Института восточных языков, писал книгу о бароне Брамбеусе, писал повести — принципиально сюжетные, вне быта. И все — одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Он и не вспоминает сейчас, например, об арабском языке и литературе. Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Очень трудно добиться от него связного рассказа после долгой работы.

1953
8
февраля

Приехав откуда-нибудь, он искренне старается вспомнить, как живут наши общие друзья, и не может. События их жизни прошли через его ясную душу, не шевельнув ни частицы, не оставив следа. Особенно раздражало это во время войны: “Как живут такие-то?” — “Да ничего!” Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссейную дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Зощенко как-то, желая утешить Маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал: “В хороших условиях люди хороши, в плохих — плохи, а в ужасных — ужасны”. Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы, и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у Вирты жизнь сложилась еще удачней, а кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, от-

казаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли — жизнь показала, время подтвердило: Каверин благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Лидочка, его жена, заслуживает отдельного рассказа, так же, как Юрий Николаевич Тынянов, брат ее, которого я любил так осторожно и бережно, как того требовало хрупкое его удивительное существо. Поэтому вряд ли я осмелюсь рассказывать о нем. А жалко.



Юрий Николаевич Тынянов был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина — тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось. Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадежная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного собственного знания. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. В начале двадцатых годов молодые писатели, мои друзья, почти все были холосты, Веня Каверин женился едва ли не первым. Я увидел Лидочку на одном из серапионовских вечеров, бледную, темноволосую, маленькую, похожую и не похожую на брата. Очень тихая, она ничем не выдавала своей силы. Только с течением времени я увидел, как на плечах несла она свой дом и все несчастья, что выпали на долю ее брата. Маршак полушутя говорил, что Лидочка пишет лучше Вени. Во всяком случае, она могла бы писать. Я знаю это не по книгам ее, а по ней самой. Она умеет заметить, запомнить и передать все то, что проходит через Веню, не изменив, не пошевелив и

частицы его души. Брак с Лидочкой с самых первых дней не усложнил, а облегчил жизнь этого счастливца. Софья Борисовна пришла на помощь.



Мать Юрия Николаевича Тынянова имела все радости и горести, какие дают большие, но несчастливые дети. Правда, Лидочка скорее утешала ее, но и Лидочкину семью, пока Веня не стал на ноги, опекала и поддерживала она. В 39 году, уже умирающая, с помраченным сознанием, летом в Луге, на Вениной даче, говорила она только об одном: а Наташа поела? А Лидочка поела? А Коля поел? Пока сознание теплилось в ней, она все беспокоилась, все заботилась о близких, до самой смерти. И Лидочка унаследовала ее душу, еще украшенную тыняновской талантливостью, прелестью.

Полонская жила тихо, сохраняя встревоженное и вопросительное выражение лица. Мне нравилась ее робкая, глубоко спрятанная ласковость обиженной и одинокой женщины. Но ласковость эта проявлялась далеко не всегда. Большинство видело некрасивую, несчастливую, немолодую, сердитую, молчаливую женщину и сторонилось от нее. И писала она, как жила. Не всегда, далеко не всегда складно. Она жила на Загородном в большой квартире с матерью, братом и сынишкой, отец которого был нам неизвестен. Иной раз собирались у нее. Помню, как Шкловский нападал у нее в кабинете с книжными полками до потолка на “Конец хазы” Каверина, а Каверин сердито отругивался. Елизавета Полонская, единственная сестра среди “серапионовых братьев”, Елисавет Воробей, жила в сторонке. И отошла совсем в сторону от них уже много лет назад. Стихов не печатала. Больше переводила и занималась медицинской практикой, служила где-то в поликлинике. Ведь она была еще и врачом, а не только писателем. Вот я и поговорил о всех “серапионах”, чтобы доказать себе, что не глухонемой. Интересно было бы для ясности сказать о каждом в теперешнем, сегодняшнем его виде. Интересно то, что они не изменились. Только одни их свойства развились, а другие ослабели. Мишина мнительность приобрела совсем уже невозможные размеры. Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Никитин совсем не изменился. Так же значительно орудует губами, только над беззубым уже ртом.



[...] Рассказывая, я ни разу ничего не придумал, не сочинил, а если и ошибался, то нечаянно. Это наслаждение — писать с натуры, но не равнодушно, а свободно — вероятно, могло открыться мне и раньше, но я слишком уж боялся какого бы то ни было

усилия. Неужели у меня не хватит времени воспользоваться новым умением? Надо начать работать, а не только наслаждаться работой. Я все избегаю черного труда, без которого не построишь ничего значительного. Хочется построить что-нибудь значительное. Возвращаюсь к старым моим знакомым, некогда молодым писателям. Федин совсем тот же. Может быть, чуть-чуть окрепло чувство: "Значит, все, что я о себе думал, правда!" Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Полонская с месяц назад приехала отдохнуть в Дом творчества. Недоумевающее, вопросительное выражение дошло у нее до крайности. Она захворала. Врач сказал, что с таким давлением нельзя ей оставаться тут, и ее увезли в Ленинград. До болезни гуляла она медленно-медленно и все просила меня раздобыть ей палку. Каверин уже дедушка. Лидочка приезжает сюда из Москвы нянчиться с внучкой, а Веня поглядывает на нее и не верит, что он дед. Да и в самом деле — во времена нашей юности, когда мужчины носили бороды, деды выглядели иначе. Вот и все. Не знаю, о ком писать. После двух с половиной лет этих ежедневных записей убедился, что с аппетитом я пишу о себе, вопреки тургеневскому утверждению, а о других.

1953 *13 февраля*

Вероятно, в начале двадцатых годов, а может быть, и ближе к середине, увидел я безобразное, а вместе с тем привлекательное, безразлично-брезгливое, а может быть, глубоко сосредоточенное лицо Эренбурга. Он зашел к кому-то из "серапионовых братьев". Сохраняя не то брезгливое, не то горестное выражение рта, рассказывал он, сонно глядя мимо собеседников, что пишет сейчас "Жанну Ней", поставив себе простую задачу: сделать книгу, над которой плакали бы. Он достал из портфеля и показал готовый план книги, похожий на генеалогическое дерево или штатное расписание. Разноцветные кружки или квадратики, соединенные прямыми линиями, занимали длинный лист бумаги. Меня этот план почему-то рассердил и напугал, но Федин, у которого я отозвался с насмешкой о такого рода планировании, спросил удивленно: "А как же иначе?" — и достал из стола лист, весьма похожий на эренбурговский, со схемой будущего своего романа. Кажется, "Братьев". В те дни я прочел "Хулио Хуренито", лучшую, вероятно, из эренбурговских вещей. Книжка задевала, но скорее отрезвляла, чем опьяняла. Схему придумывать можно, но настоящая работа опрокидывает ее. Бог располагает. В романах же Эренбурга уж очень отчетливо просвечивало, как человек предполагает. Дурного в этом я не видел. Скорее испытывал зависть к его трудоспособности и рассудку. Но успех его тех лет, неистовый,

массовый, казался мне необъяснимым. Я шутя уверял, что он продал душу черту. Толпа забила Большой зал Консерватории, где он выступал. Студенты прорывали наряды милиции и мчались наверх по лестнице. Потом, позже, угадал я его дар: жить искренне, жить теми интересами, что выдвинуты сегодняшним днем, и писать о них приемами искусства сегодняшнего дня.

1953
14
февраля

Так иной раз появлялись и исчезали люди из другой, из московской или еще более далекой жизни. Появился Толстой, но литературную среду, близкую мне, не поколебал. Он встал в стороне, завел знакомство только с Фединым и Никитиным. Он поставил себя в положение более независимое, чем кто-либо, — независимое в отношении своих собственных дел. Писал он, как в то время требовалось. Разве только иногда позволял себе слишком уж откровенно делать вещи для большого заработка вроде "Заговора императрицы". Зато жил весело, не по времени широко, словно помещик, и выходило у него это естественно, как будто иначе и не полагалось людям, подобным ему. И все у него получалось. В книжках, даже наименее удачных, — вдруг, как подарок, — страница, другая, целая глава. А "Ибикус", хотя Миша Слонимский бранил его за умышленную традиционность, обрадовал в те дни от начала до конца. А "Детство Никиты". По традиции дуря и чудачествуя, жил он в своем имении в Детском широко и свободно, как писал. Он ни в чем не стеснял себя, был телесен во всем. Вот он вышел на станции, по дороге на юг. Цыганка — сидит на перроне и ни на кого не глядит, перекладывает в мешки, что набрала. И Толстой, вышедший из вагона, стоит над ней и откровенно, нельзя сказать, наблюдает — всасывает, как насос, впитывает то, что видит. Так он смотрел, писал, ел, и пил, и любил. А чудачество — тоже непритворное — помогало ему по традиции. Он не притворялся, но пользовался по традиции этой своей особенностью, как пользовался талантом, здоровьем, впечатлительностью. Ругали его скорее беззлобно: уж очень он весь был понятен и живописен. О нем не то что сплетничали, а любили поговорить — о его заработках, обедах, приемах. А он шагал себе, как бы не замечая шума и разговоров, радуясь себе.

1953
15
февраля

Жил, как хотел, и Павел Елисеевич Щеголев, огромный, большеголовый, седой, с внимательным лицом и жадными губами. И Щеголев разрешал себе больше, чем другие. Однажды ему позвонила домой знакомая и стала отчитывать за то, что не платит

он гонорар одной молодой своей сотруднице за статью в "Былом". Щеголев стал жаловаться на дела. "Хорошо, я дам вам взаймы три рубля", — сказала знакомая, желая уязвить прибедняющегося. "Вот спасибо!" — ответил Щеголев спокойно. Он зарабатывал ухватисто, не стесняясь тем, что ученый и профессор. И Корней Иванович говорил о нем, хохоча: "Он бывает просто счастлив, когда поймает какого-нибудь декабриста на слабости или позе. По-человечески счастлив". Но и Щеголеву прощалось многое за талант, за классическую "Дуэль и смерть Пушкина", за монументальность фигуры, за смелость. Рассказывали с восторгом, как за ужином, раздраженный площадной бранью одного писателя, он встал и обрушился на скандалиста всем своим ростом и дородством, подмял под себя, как медведь, и основательно поучил. Года два назад попалась мне фотография двадцатых годов: правление Модпика. Я увидел забытое и характерное выражение, свойственное в те времена людям, завоевавшим положение, создавшим себе имя. Особенно заметно это выражение у Павла Елисеевича, он смотрел с карточки через плечо. Перевести на слова это выражение можно так: сознание своего веса. С "серапионами" отношения у него были сложные, он, рассчитываясь за книжки их, которые издал у себя, учел ужины, которыми угощал их в шашлычной. Они хохотали, но обижались.

1953
18
февраля

Возвращаюсь в двадцатые годы. Владимир Васильевич Лебедев считался в то время лучшим советским графиком. Один художник сказал при мне, что Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто следующий. Кроме того, в свое время он был чемпионом по какому-то разряду бокса. И в наше время он на матчах сидел у ринга на особых местах, судил. У него дома висел мешок с песком, на каком тренируются боксеры. И он тренировался. Но, несмотря на ладную его фигуру, впечатления человека в форме, тренированного, он не производил. Мешала большая, во всю голову лысина и несколько одутловатое лицо с дряблой кожей. Брови у него были густые, щеткой, волосы вокруг лысины — тоже густые, что увеличивало ощущение беспорядка, неприбранности, неспортивности. И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не утешал, как человек хорошо одетый. Что-то не вполне ладное, как и в соединении нездорового лица и здоровой фигуры, чувствовалось в его матерчатом картузе с козырьком, вроде кепи французских солдат, в коротеньком клетчатом пальто, нет, полупальто, в каких-то особенных полувоенных ботин-

ках до колен, со шнуровкой. Глаз на нем не отдыхал, а уставал. Он держался просто — как бы просто, одевался как бы просто, но был сноб. Особого рода сноб. Ему импонировала не знатность, а сила. Как и Шкловский и Маяковский, он веровал, что время всегда право. Все носили тогда кепки и толстовки, и лебедевская одежа была его данью времени.



Он примирял то, что ему было органично, с тем, что требовалось. Не по расчету, а по внутреннему влечению: время всегда право. Он любил сегодняшний день, то, что в этом дне светит, дает наслаждение, питает. И носителей этой силы узнавал, угадывал и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто титулы их не подразумевались, а назывались вслух, как в обществе, уже устоявшемся. Повторяю и подчеркиваю: никакого подхалимства или расчета тут не было. И следа. Говорила его любовь к силе. И судил он, кто силен, а кто нет, — с той же тщательностью, знанием и опытом, как и сидя на ринге. Он любил сегодняшний день и натуру, натуру. Натурщица приходила к нему ежедневно, и несколько часов он писал и рисовал непременно, без пропуска. Так же любил он кожаные вещи, у него была целая коллекция ботинок, полуботинок, сапог. Полувоенные чудища со шнуровкой до колен были из его богатого собрания. Собирал он и ремни. Обширная его мастерская ничем не походила на помещение человека, коллекционирующего вещи. Как можно! Мольберт, подрамники, папки, скромная койка, мешок с песком для тренировки. Но в шкафах скрывались редкие книги, коллекция русского лубка. Сами шкафы были отличны. Он любил вещи, так любил, что в Кирове сказал однажды в припадке отчаяния, боясь за свои ленинградские сокровища, что вещи больше заслуживают жалости, чем люди. В них — лучшее, что может человек сделать. Да, людей он не слишком любил. Он любил в них силу. А если они слабели, то слабела и исчезала сама собой и его дружба. Его религия не признавала греха, чувства вины.

1953
20
февраля

Он спокойно обладал, наслаждался натурой, сапогами, чемоданами, женщинами — точнее, должен был бы спокойно обладать и наслаждаться по его вере. Но кто не грешен богу своему! Спокойствие-то у него отсутствовало. При первом знакомстве об этом не догадывались. Кто держался увереннее и мужественнее? Но вот Маршак сказал мне однажды, что близкий Лебедеву человек жаловался, пробыв с ним месяц на даче. На что? На беспокойный, каприз-

ный, женственный характер Владимира Васильевича. Я был очень удивлен по незнанию, по тогдашней неопытности своей. Впоследствии я привык к этому явлению — к нервности и женственности мужественных здоровяков этой веры или, что в данном случае все равно, этой конституции. Относясь с религиозным уважением к желаниям своим, они капризничают, тиранствуют, устают. И не любят людей. Ох, не любят. С какой беспощадностью говорит он о знакомых своих, когда не в духе. Хуже завистника! Они мешали Лебедеву самым фактом своего существования. Раздражали, стесняли, как сожитель по комнате. Кроме тех случаев, о которых я говорил выше. Когда безошибочное чутье сноба не подсказывало ему, что некто сегодня аристократ. В разговорах своих Лебедев резко двойственен. Иногда он точен и умен. Он сказал, например, Маршаку: "Если я рисую понятно — это моя вежливость". Но иной раз, сохраняя спокойствие, только изредка похохатывая, неудержимо несет он такое, что ни понять, ни объяснить невозможно. Вот одно его выступление, правда не двадцатых, а сороковых годов. Было это в Москве, в Детгизе, на совещании с представителями ЦК комсомола. Речь шла о воспитании. И Лебедев, попросив слова, заговорил о воспитанности.

1953
21
февраля

Заговорил вторым, ущербным своим способом выражаться, который у него проявлялся чаще всего, когда он произносил речи. С хохотком, быстро-быстро. Нес он нечто приблизительное, пока вдруг не выступила у него ясная, несколько всех ошеломившая мысль. Лебедев привел свой речевой ручеек к следующему неожиданному болотцу: воспитание необходимо, иначе наши юноши не сумеют вести разведывательную работу за рубежом. Их манеры выдадут их. Одна любимая лебедевская фраза часто цитировалась среди его учеников и молодых друзей. Он говорил часто с религиозным уважением: "У меня есть такое свойство". "У меня есть такое свойство — я терпеть не могу винегрета". Маршак считал, что этому причиной — повышенное чувство формы. Винегрет — явное смешение стилей. "У меня есть такое свойство — я не ем селедки". Этому свойству непочтительные ученики Лебедева давали непристойное объяснение. Увы, несмотря на его снобизм, дендизм, некоторую замкнутость, окружающие вечно подсмеивались над ним. То, что он великолепный художник, ничего не оправдывало, это было до такой степени давно известно, что не принималось во внимание, не замечалось. Да и к большому таланту его применялись соответственно высокие требования. Петр Иванович Соколов говорил: "Карандашом можно передать

мягкость пуха и такую грубость, перед которой грубость дерева, грубость камня ничего не стоят. А Лебедев знает, что мягкость пуха приятна, — и пользуется". К другим художникам относились снисходительнее. Но и Лебедев был беспощаден к окружающим и шагал своей дорогой, вдумчиво и почтительно слушаясь себя самого.

Старый Союз писателей помещался на Фонтанке, в чьей-то небольшой квартире — кажется, Фидлера. На стенах висели фотографии старых писателей — например, Пыпина. Рояль был покрыт чехлом, на котором расписались писатели тех дней, а потом подписи их вышили мулине. Нет, скучно мне писать об этой квартирке, где, дымясь, дотлевали старые писатели и прививались довольно вяло новые. Самыми людными бывали собрания секции поэтов. Небольшой зал, как у средней руки адвоката, до отказа набивался народом я прокуривался до синевы еще прежде, чем начинали читать стихи. А читалось их необыкновенное количество, отчего, как мне казалось, воздух затуманивался еще больше. В этой туманной, дымной и вместе с тем недружной, недоверчивой среде поэтические волны замирали быстро, ни одного слушателя не затронув. Я не мог себе представить стихотворения, которое хоть чуть шевельнуло бы это болото. Царствовали две интонации: есенинская и блоковская. Изредка выступали заумники, которые тоже никого не удивляли и не задевали. Однажды только было нарушено холодное завывание и вялое внимание. Да и то скорее своеобразием фигуры читающего и первой строчкой прочитанного. У дверей в разгаре одного из вечеров появился председатель Союза Федор Кузьмич Сологуб. Был он в тяжелой шубе с бобровым воротником, вроде поповской, тяжело дышал после крутой лестницы. Ему закричали с разных сторон: "Федор Кузьмич! Прочтите что-нибудь!" И он сразу, без паузы, пробираясь вдоль стены от передней к двери в комнату налево, начал, тяжело дыша: "Когда я был собакой..." Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой.

В старом Союзе писателей, на Фонтанке, бывал я редко. Все то же, появившееся со дня приезда в Петроград, чувство, что эти люди сегодня как бы не существуют, скорее укреплялось с годами. Маршака я считал за человека, Житкова тоже, а вот Сологуб казался привидением, больше пугал, чем привлекал. Никто из моих новых друзей, молодых писателей, не был знаком с Сологубом. То есть знакомы-то были все, но не больше, чем я. Дома у него никто из моих друзей не побывал ни разу. Поэт Симеон

Полоцкий, в те дни молодой и смелый, рассказывал, как носил ему свои стихи. Войдя, он представился: “Симеон Полоцкий”. Сологуб оглядел его и отвечал сурово: “Не похож”. Так же сурово отнесся старик к его стихам. Однако, когда Полоцкий уходил, он проводил его в переднюю и подал ему пальто. Полоцкий воспротивился было. Тогда старик топнул ногой и крикнул свирепо: “Это не лакейство, это вежливость”. Мне все кажется, что я уже писал о Сологубе однажды. Я дал зарок не перечитывать то, что пишу, да и где найдешь то, что затерялось в одиннадцати тетрадях. Но помню, что о юбилее его — ничего не писал. Праздновался он широко, в Александринке, но смутно чувствовалось, что он не по-настоящему широк и так же несолиден, как весь нэп. В газетах о нем почти не писали. Вивьен прочел в концертном отделении стихи Цензора, напечатанные в “Чтеце-декламаторе” по ошибке под фамилией Сологуба. В заключение юбиляра забыли, никто не потрудился отвезти его домой. Думаю, что каждый побаивался это сделать. Чувствовал ли Сологуб свою призрачность? Едва ли! Вернее, все, что делалось вокруг, казалось ему временным, ненастоящим, как мне его юбилей. В гробу он лежал сильно изменившимся, с бородой. Замятин говорил речь на гражданской панихиде, и мне казалось, что нет на свете речи, которая не показалась бы кощунственной и суетной над открытым гробом. Союз писателей после смерти Сологуба возглавлялся молодыми. Я был вне его интересов и смутно теперь вспоминаю то Федина, то Тихонова, то Слонимского в маленькой комнатке президиума и неизменного казначея и секретаря — седую, румяную, маленькую, аккуратнейшую Анну Васильевну Ганзен.

1953
22
февраля

Когда работа в детском отделе Госиздата более или менее наладилась, мы часто ездили в типографию “Печатный Двор” то на верстку журнала, то на верстку какой-нибудь книги. И хотя был я от своей вечной зависимости от близких то обижен, то озабочен, поездки эти вспоминаются как бы светящимися, словно картонажиками со свечкой внутри. Они полны воображаемого счастья — игрушечного, но все-таки счастья. В дни, когда ездил я на “Печатный Двор”, я ощущал себя свободным — непрочно, ненадолго, но свободным от служебной колеи, домашнего гнета. Причем по инертности моей я с неохотой пускался в путь. И только на новом пути, на двенадцатом номере, у Геслеровского переулка, среди непривычных домов Петроградской стороны, на плохо знакомых улицах меня вдруг радостно поражала свобода от огорчений и забот. Конец трамвайного пути. Я иду по переулку, напоминающему мне неведомо что — какую-то прогулку по Екатеринодару в самом

раннем детстве. “Печатный Двор” никогда не встречает одинаково. То он выше, то ниже, чем казался, то не того цвета, чем я представлял себе. И знакомое со времен “Всероссийской кочегарки” обаяние типографии охватывает меня. Впервые увидел я на “Печатном Дворе”, как работает офсет, показавшийся мне чудом, — я не мог уловить машинность, повторяемость движений многочисленных его рычагов. И в блеске его никелированных частей, в мостиках и лесенках я вдруг ощутил однажды что-то, напоминающее пароход. Вместо желания уяснить — углубить ощущение — я испытал страх. Я побоялся спугнуть воспоминание, испугался напряжения. И я поспешил в литографию, где на камнях работали наши художники.

1953
23
февраля

В литографии при входе оглушала машина, моющая камни. Огромное квадратное корыто тряслось как в лихорадке, и стеклянные шарики с грохотом перекатывались по сероватой поверхности. Знакомые художники работали в комнатах дальше. Работал там Пахомов, простой, просто, по-крестьянски смотрящий на урожай и на то, как бы его прибрать тихонько к рукам, светлый, похожий на крестьянского парня. Работал там Цехановский — широколицый, с черными усиками, черноволосый, похожий на Лермонтова, с которым находился, по слухам, в родстве. Этот был не прост, туговат, много и упрямо думал, имел склонность к теориям. Работал там Успенский, деликатный, мнительный, очень вежливый. Через двенадцать-тринадцать лет он погиб при первых бомбежках Ленинграда. Работал там Юдин, по прозвищу Муравьед, тоже вежливый, маленький, долгоносый, внутренне крепкий, как камушек. В вопросах искусства крепкий, как камушек. И он погиб через двенадцать-тринадцать лет в боях под Ленинградом. И работал там Курдов, потомок курда, попавшего в плен в войну 1877 года, широкогрудый, с разбойничьими лапищами, густоволосый, с чубом на лбу, страстный охотник в те годы — понятный, веселый. И работал там Васнецов, краснолицый, с выпученными светлыми глазами, казалось, что он вспылил да так и остался. И работал там Чарушин, в те годы ладный и складный, и, не в пример Пахомову, уж до того простой, что это вызывало внутренний протест и заставляло подозревать нечто темное в его душе. Лебедев сердился на него за то, что он стал писать рассказы, видя в этом измену, подозревая, что ему не хватает дарования, чтобы выразить себя с помощью изобразительного искусства. Рассказы Чарушин писал уж до того просто, до того открыто, будто говорил доктору: “А”. Конечно, не все они работали зараз.

1953
24
февраля

Но кого-нибудь из них я непременно встречал в литографии. Лебедев требовал, чтобы художник делал обложку и рисунки непременно собственноручно на камне. Это был золотой век книжки-картинки для дошкольников. Фамилия художника не пряталась, как теперь, где-то среди выходных данных, а красовалась на обложке, иной раз наравне с фамилией автора книги (Лебедев — Маршак, например). Художники были даже несколько надменны; трудно иной раз было догадаться, кто кого иллюстрирует. От презрения к литературности в живописи всего шаг был до некоторого презрения к литературе вообще. Именно этим чувством вызвано было раздражение Лебедева против Чарушина, пишущего рассказы. Именно поэтому, иллюстрируя стихи Маршака о том, что там, где жили рыбы, человек взрывает глыбы, Лебедев изобразил не взрыв, не водолаза, а двух спокойно плавающих рыб. Все тогдашние собранные Лебедевым художники были талантливы в разной степени, каждый по-своему, но, конечно, было у них и общее, обусловленное временем. Все они пытались разрешить рисунок на плоскости; например, Лебедева очень легко было узнать и в Цехановском той поры, и в Пахомове, хотя они были очень мало похожи друг на друга. А в Самохвалове — большом, застенчиво ухмыляющемся, беззубом, самолюбивом — можно было узнать всех понемногу, а больше всего Пахомова. Время сказывалось, а поскольку Лебедев был его главным жрецом — то сказывался и он лично. Хотя следует признать, что он очень считался с существом каждого: с любовью к морю — у Тамби, к животным — у Чарушина, к лошадкам — у Курдова. Он понимал почерк каждого.

1953
25
февраля

И требовал знания, знания, помимо разрешения на плоскости, знания, прежде всего знания натуры. “Мирискуснический” — было ругательством. Бакст вызывал гримасу отвращения, Сомов — снисходительную усмешку. Как это часто бывает, расцвет школы лебедевской группы сопровождался нетерпимостью — признаком горячей веры. Отрицался целый разряд художников, о которых впоследствии говорилось снисходительно или добродушно, — признак упадка школы. Лошадь на скачках — прекрасна. И после скачек исчезает из глаз толпы. Я видел много людей прекрасных в работе своей, но не исчезающих в минуты бездействия. И многие из них, когда просто жили, а не мчались изо всех сил к цели, были в общежитии так же неудобны, как лошади, позови ты их после скачек домой — поужинать, поболтать. Уп-

ражняясь в письме с натуры, я боюсь все время, что нарушаю пропорции, особенно когда рассказываю о людях, к которым равнодушен. Но все мы обречены видеть то, что видимо, и только смутно угадывать то, что составляет в человеке главную его суть. И для первого легче найти слова. Но я все же повторю, чтобы назвать то, что невидимо: Лебедев был талантлив, талантлив, талантлив, и школа его — тоже. Итак, посмотрев на офсет и отложив на то время, когда начну жить по-настоящему, определение тех чувств, что он вызвал во мне, я мимо грохочущей машины переходил в литографию к художникам, которых вижу сейчас куда отчетливее, чем в те дни. С тех пор я успел рассмотреть их ближе, да и зрение улучшилось. Тогда я их видел и не видел, они были фоном, той обстановкой, в которую меня занесло.

1953
26
февраля

Я был в хороших отношениях с ними по тем же причинам, о которых рассказывал как-то: от счастья или от ожидания счастья. И от желания нравиться. Я относился к ним с искренней приязнью: я любил нравиться, а без партнера эта игра невозможна. Я знал их во имя этого, был к ним внимателен во имя этого и теперь не нахожу в этом ничего дурного. Игра шла не на деньги. Желание нравиться было моей болезнью — слабостью, возможно. Так я думал тогда. А теперь считаю, что это было здоровой стороной моего существа. Я не умел жить один. Так ли это худо? Из литографии я возвращался туда, где мне и надлежало быть: на верстку. Здесь у меня были знакомые наборщики, но не друзья, как в “Кочегарке” или “Ленинградской правде” . Там я в типографии бывал много чаще, чуть не каждый день, а сюда приезжал раз в месяц. Но и тут завязывались интересные разговоры. Больше всего раздражала ленинградских наборщиков вошедшая в моду московская верстка. В те годы нарушены были все традиции верстки, и как раз в Москве началось это движение. Делались типографским способом обложки с такой игрой шрифтов, что иной раз читалось не совсем то, что хотелось автору. Заголовок книги, выпущенной к столетию Малого театра, издали звучал излишне развязно: “Сто лет малому”. Отсутствие прописных букв и распределение слов создавало этот фокус. Слово “театру” глаз находил не сразу. И внутри книг, с точки зрения старых наборщиков, нарушались все законы приличия. Не туда ставились колонцифры, клише, отбивались невозможно толстой чертой начала и концы глав, а иной раз и каждой полосы. Об этом чаще всего и беседовали мы с наборщиками.



Один из них (в “Ленинградской правде”) прочел мне целую лекцию о том, что такое ленинградские наборщики и чем отличаются они от московских. Итак, уйдя из литографии, я отправлялся на верстку. Шрифты назывались по номерам и по именам. На рукописи чаще всего писалось: “рубленым”. Этим шрифтом набирались книги для дошкольников. Иногда — “цыганом”. Никогда — ”елизаветинским”. Этот шрифт с завитками у “щ” и “ц” считался манерным, мирискусническим. На верстке, особенно журнальной, необходимо было присутствовать, потому что никакая наша наклейка не оказывалась достаточно предусматривающей все случайности. При оборке клише обычно выяснялось, что уместилось меньше текста, чем предполагалось. Две-три строчки рассказа не влезали в предназначенную им полосу. И вот тут я принимался сокращать, выгадывать на переносах, абзацах, одном-двух словах, убирать лишние строчки. Это не требовало постоянного моего присутствия возле наборщиков, поэтому я и бродил по всему “Печатному Двору”, так как от праздничного моего состояния мне на месте не сиделось. В стеклянной загородке посреди большого цеха помещался Герасимов, директор типографии, или его заместитель по производственной части. Проделал он этот путь от простого наборщика. Умер в должности директора Гослитиздата года три назад. До самых последних дней мы встречались с ним дружелюбно. Мне казалось, что вспоминает он при виде меня стеклянную свою контору и простые заботы тех лет. Он не менялся, сколько ни встречал я его, от двадцатых до сороковых годов: крупный, крупноголовый, лысый, бритый, степенный, внимательный, в блузе с пояском. Заходил я и в машинное отделение.

1953
28
февраля

Здесь на ручном станке делали первый оттиск сверстанной страницы. Возле ротационной машины мастера, строгие и сосредоточенные, словно доктора, занимались приправкой клише — что переносило меня к первым дням знакомства с типографией и версткой, к осени 1923 года. Если клише задерживалось, я отправлялся в цинкографию. (Чтобы не зачеркивать — оговариваюсь: мастера у ротационной приправляли клише в полосах, подписанных к печати, не имеющих ко мне отношения. Но и полосы только верстались. На огромном “Печатном Дворе” печаталось, набиралось, верстало́сь множество книг.) В наборных цехах было тихо, а в цинкографии — еще тише. Сильный химический запах поражал при входе. В ваннах с кислотой безмолвно доспевали клише. Штриховые — легче, тоновые — труднее. Здесь я не задержи-

вался. Клише — либо готово, либо нет. Кислоту не поторопишь, а острая химическая среда не располагала к разговорам. В обеденный перерыв на конторках наборщиков появлялись бутылки с молоком, они его получали на вредность. К воротам “Печатного Двора” подъезжали тележки с колбасой, бутербродами. Я стою в большой комнате — корректорской или для технических редакторов. Мне очень нравится одна из редакторш — большеротая, большая и смешливая, нравится безнадежно — я никогда с ней не заговорю об этом: я влюблен в другую. Домой иду я пешком, чтобы подольше не расставаться с чувством свободы, усиленным еще тем, что я сбросил с плеч одну обязанность, которая тяготила меня уже несколько дней: номер сверстан. Прохожу мимо рынка с вывеской “Дерябкинский рынок открыт целый день”, — получается, что вывеска в стихах и размер этот идет к темному, тесному рынку.

1953
1
марта

Как всегда, у ворот рынка стоят неподвижно среди потока домохозяек некие люди, ожидающие, что счастье без всякого старания с их стороны свалится им в руки. Одни ждут счастья сурово и требовательно — это инвалиды тогда еще гражданской или германской войны. Они сделали, что могли, совесть их чиста, все обязанности сняты с них судьбой. Но ничто их еще не вознаградило за несчастья. И они страдают осуждающе. Впрочем, к вечеру, когда я возвращался домой, они находились в большинстве в состоянии хоть и грозном, но вдохновенном, все понимающем. Иные делились своим пониманием мира, обращаясь прямо к нему, в пространство, другие сообщали свои открытия друг другу, что не меняло дела, так как они не слушали собеседника. Они дождались своего игрушечного оловянного воображаемого счастья. Кроме инвалидов возле ворот и в закоулках между ларьками терлись мордастые, обрюзглые, тихие парни, махнувшие рукой решительно на все. И с одним желанием: урвать, украсть, выпросить свою долю радости. И Дерябкинский рынок одарял их к вечеру милостиво от серых и темных щедрот своих, и они даже выкрикивали не то ругательства, не то жалобы, полные восторга, прямо в толпу озабоченных домохозяек, думающих не о счастье, куда там, но о доме, детях, муже, не замечающих отекших счастливцев. А я шагал не спеша, чтобы не попасть слишком скоро домой, полный моего непрочного счастья, в мечтах, не вызывающих желания писать, а находящих удовлетворение в самих себе. И страх стать похожим или на суетливых домохозяек или на невесть что проповедующих распухших поэтоподобных чудовищ ни разу не овладел мной. Я медленно, очень медлен-

но приходил в себя и работал не для того, чтобы стать выше других, а только для того, чтобы стать с ними наравне. Работал очень редко.



Брань и нетерпимость, сопровождавшая подъем детской литературы (точнее — расцвет книжки для детей), — многих свихнула. Вера с годами поблекла, а недоверие — расцвело. Я, при тогдашней неустроенности своей, склонен был отравляться, заражаться резко выраженным отрицанием. Из-за этого я не понял как следует Николая Федоровича Лапшина. В данном случае ученики были строже учителя. Лебедев относился к Николаю Федоровичу с уважением, считался с его мнением о своих работах, но ученики совсем его не признавали. Чуть больше признавали Тырсу. В суждениях своих молодые исходили из предположения, что старшие уже определились, проявились полностью. А в середине тридцатых годов с удивлением многие из молодых признали, что Тырса, как умная лошадка на скачках, приберег силы и теперь обогнал всех фаворитов. А к сороковым годам с уважением заговорили о Лапшине — его акварели, совсем для него неожиданные, оказались прекрасными, своеобразными, и его строгие хулители только руками разводили. Лапшин, с длинным, спокойным, очень русским лицом, знал много, много читал, но все помалкивал. В комнате художников в детском отделе Госиздата, в витрине, где выставлялись выпущенные книжки, устроили как-то выставку карикатур. Точнее, устроилась она сама собой — Лебедев нарисовал Курдова с засученными рукавами, разбойничьими ручищами, вьющимся чубом на низком лбу. Карикатуру повесили за стеклом в витрине. Время было урожайное — скоро вся витрина заполнилась карикатурами, но никому не удалась карикатура на Лапшина. Его спокойное, достойное, длинное лицо не поддавалось. Зато карикатур на Тырсу было множество. Его высокая фигура, борода, жесты были характерны, схватывались. Он тоже много читал и знал, но говорил, высказывался охотнее Лапшина.

1953
3
марта

Я помню разговор его с Тыняновым, где Тырса заступался за Боткина, цитируя “Испанские письма”. Говорил Тырса горячо, убежденно. Его несколько узкоплечая, легкая, узкогрудая фигура сверх меры выросшего мальчишки с неожиданно бородатой головой вполне взрослого человека часто появлялась в отделе. То он приносил иллюстрации (причем Лебедев очень одобрял его лошадок), то приходил за гонораром. Этот последний, бывало, задерживался, и в таких случаях Тырса, как говорили художники, пел. Он возмущался, и в голосе

его появлялись певучие, негодующие и вместе с тем жалобные ноты. Он охотно вступал в споры, и тут обнаруживалась особенность, сильно отличающая всех трех художников старшего поколения от младших — Лебедев, Лапшин, Тырса, особенно двое последних, были много образованнее младших. Лебедев это свойство прятал. Подчеркнутая, элегантная образованность "мирискусников" была ненавистна. "Эрудиты" только что доказали свое бессилие в разных областях искусства. Поэтому в закрытых шкафах скрывались у Лебедева редкие и ценные книжки по искусству и его коллекции. Он подчеркивал свою осведомленность в боксе, в спорте, но помалкивал о фресках Боттичелли. Он скрывал свои знания, а молодые художники весело и открыто и в самом деле не знали ничего. При некоторых поворотах вдруг казались они похожими на гвардейских подпоручиков. Аристократичность заменялась причастностью к высочайшему из искусств, а обеспеченность — беспечностью. Они были аристократически щедры, не зная цены деньгам. Лебедева чаще всего ругали они за скупость (Пахомова — тоже). Это было не по-гвардейски. Чарушин обвинялся в мещанской робости.

1953
4 марта

Он, Чарушин, нарушал правила хорошего тона. В первые дни своего становления любили они выпить при случае. В дальнейшем начались кутежи ежедневные: художники заскучали. Жизнь без общего наркоза представлялась им немыслимой. А старшие обходились без этого. И работали. Закваска у них оказалась здоровой. В особенности у Лапшина и Тырсы. Не только художники, и писатели были мало образованы по сравнению с писателями предыдущего поколения: те знали языки, читали Данте и Шекспира в подлиннике. Символисты отлично разбирались в философии. Все "серапионы" были свободны от этого (кроме Лунца и, может быть, Полонской). "Серапионы" знали больше, чем молодые художники детского отдела Госиздата, как люди с гуманитарным направлением ума. Но немногим. То, что делалось в живописи и музыке, проходило мимо, запоминались только отдельные имена, без настоящего представления о том, что ими сделано. Леня Арнштам, в те дни начинающий музыкант, грубоватый мальчик, обращаясь со вступительным словом к писателям, собравшимся в Доме искусств послушать его игру на рояле, начал так: "Писатели свински необразованны в музыке". И это было справедливо. Я не делаю никаких выводов. Видимо, для того чтобы работать в искусстве, нужны знания особого качества, а не количества. Полная невинность в области общего образования как будто

бы шла художникам на пользу больше, чем “серапионам” их полузнания. Отказываюсь говорить об этом. Тут опять из области зрительной удаляешься в умозрительную. Поэты, например, при одинаковых знаниях пили не в пример больше прозаиков — столько же, сколько вполне необразованные художники. Пойди тут пойми.



Итак, то, что Лебедеву и старшему поколению художников досталось с бою, молодые получили даром как несомненную истину. И, повторяя, — преувеличили. Не повторили, а как бы передразнили. Темное дело — преемственность в искусстве. На учениках направление кончается, а на противниках — начинается новое, и всякий раз на одно поколение, кроме тех случаев, которые это утверждение опровергают. Двадцатые годы, боевые, переходили в тридцатые. Как будто более спокойные. Но я тут отошел от Госиздата, “Печатного Двора”, художников книжки. Я стал писать пьесы и вернулся к театру, но в другом уже качестве: писал пьесы и, оцепенев от удивления, смотрел, как их ставят. На первой своей премьере я, едва заговорили артисты, засмеялся — до того это было странно, непохоже на мое представление о пьесе. Пришел в себя, услышав, что говорят зрители.



Возвращаюсь в двадцатые годы. В конце их я сблизился от тоски и душевной пустоты с некоторыми тюзовскими актерами и стал своим человеком в театре. Я переживал кризис своей дружбы-вражды с Олейниковым, не сойдясь с Житковым, отошел от Маршака и, как случается с людьми вполне недеятельными, занял столь же самостоятельную и независимую позицию, как люди сильные. С одной разницей. У меня не было уверенности в моей правоте, и я верил каждому осуждающему, какое там осуждающему — убивающему слову Олейникова обо мне. Но поступить так, как он проповедовал, то есть порвать с Маршаком, я органически не мог. Хотя открытые столкновения с ним в тот период имел только я. И так как распад состоялся и я отошел в сторону один, испытывая с детства невыносимые для меня мучения — страх одиночества. Вот тут, весной 27 года, я познакомился с тюзовскими актерами — Макарьевым и Зандберг, его женой. Они жили тогда на углу Аптекарского переулка и улицы Желябова.



Я, страдая своей вечной болезнью — манией ничтожества, смотрел на новую среду театральную, точнее тюзовскую, с уважением. Ослаблялось это чувство двумя едва осознаваемыми,

но неотвратимыми ощущениями: воспоминанием о своем театральном опыте и здравым смыслом. Макарьев, с несколько жеманным и томным выражением, обожал разговоры о высоких, но крайне туманных вещах. После беспощадной ясности, царившей в мыслях и чувствах моих друзей, в этом тумане чудилось мне что-то утешительное. Но вскоре я обнаружил в Макарьеве недоброго и бесплодного чиновника от искусства, вечно обиженного первого ученика, не понимающего, почему пятерки, едва вышел он из школы, как сквозь землю провалились. И он, Макарьев, средний актер и никакой драматург, выслуживал, выканючивал свое место в искусстве, тепленькое местечко. В ТЮЗе называли его автоматический оратор. Сохраняя жеманное, томное, обиженное и просительное выражение, говорил он обо всем, как бы добиваясь последней глубины, едва определимой, прикрываясь вечной формулой "в каком-то смысле". Эта фраза, доползшая до ТЮЗа из студий Художественного театра, давала большой простор тепловатым туманам. Со своими большими выпуклыми темными глазами, нечистым, землистым цветом лица, жестами актера-реалиста, но в каком-то смысле человека утонченного, Макарьев в каком-то смысле шаманствовал, но всегда в результате в каком-то смысле в свою пользу. Судьба его в искусстве оказалась исключительно благополучной и столь же бесплодной. Правда, педагогом он, говорят, стал ничего себе. Но поди проверь!

1953
9
марта

Во главе ТЮЗа стоял Брянцев. Он вышел из самых глубин Передвижного театра под руководством Гайдебурова. Этот идейный, средний театр имел великую способность ко внутренним идейным расколам. Вечно из него кто-нибудь уходил с негромким интеллектуальным взрывом. Видимо, режим в театре был таков, что Гайдебурова не боялись. Ушедшие затевали свое дело, обычно не слишком прочное. Из таких, если не ошибаюсь, уцелели всего два: Новый театр, неузнаваемо изменившийся со времен отпочкования, и ТЮЗ. С Гайдебуровым ушедшие сохраняли отношения достойные. Во всяком случае, Александр Александрович, упоминая его имя, делал лицо вежливое и строгое. И Гайдебуров с таким же лицом сидел на премьерах Брянцева. Александр Александрович был прост и крайне-крайне идеен. У иных это вызывало нечестивые подозрения, праведники в чистом-чистом виде раздражают бедных земных людей. Многим казалось, что Брянцев со своей бородкой похож на сельского попика, склонного говорить проповеди, и весьма хозяйственного. Но Маршак с этим решительно не соглашался. Он утверждал, что Брянцев похож на банщика. Так или иначе Брянцев при всем при

том был много живее и ближе к искусству, чем Макарьев. Правда, идейность гайдебуровского театра была не театрального порядка, а умозрительного, литературного. Поэтому по форме спектакли его были, вопреки проблемности и принципиальности своей, эклектичны. ТЮЗ оказался в чисто театральном отношении сильнее своего предка.

1953 *10 марта*

Причины были следующие: особенности зрительного зала Тенишевского училища и особенности зрителей. Брянцеву пришлось решать чисто формальные задачи с первых же шагов. В бывшем лекционном зале сцена, как таковая, отсутствовала. Ряды шли полукругом, поднимаясь амфитеатром. Брянцев посадил оркестр в глубокую оркестровую яму перед первым рядом. Позади того места, где некогда возвышались кафедра лектора и эстрада, в стене была сделана просторная четырехугольная выемка, соединившая бывший лекционный зал с соседним помещением. Этот неглубокий, но высокий и широкий проем был видимостью, подобием традиционной сцены. Настоящая сценическая площадка, где и разыгрывалось действие, строилась перед проемом. Между площадкой и оркестром было свободное место, обыкновенный пол, — и туда сбегали в случае надобности актеры. Для уходов и выходов пользовались проемом в стене и боковыми проходами, ведущими за кулисы. Актер в ТЮЗе по причинам конструктивным, связанным с особенностями тенишевского зала, таким образом был придвинут, приближен к зрителю. Был он ближе к зрителю, чем во взрослом театре, и по причинам внутреннего порядка: зритель уж очень щедро и открыто отвечал на все происходящее на сцене. ТЮЗ открылся в 22 году. В театрах ломали традиционную форму. Мастера — смело, имея свою задачу, а все прочие — думая, что так надо. Удивить своеобразием формы трудно было. Но ТЮЗ с первого спектакля расположил к себе и архаистов, и новаторов.

1953 *11 марта*

Классики понимали, что в таком зрительном зале спектакль иначе не решишь, а снобы находили все, что требовала мода: и конструкции вместо декораций, и своеобразную сценическую площадку, и все другое прочее — забыл номенклатуру тех лет. Да и вообще к ТЮЗу в те годы относились благожелательно люди, от которых зависела репутация театров на тогдашний день. С Брянцевым не могло быть серьезных счетов: его участок, его хутор лежал в стороне. И успех спектаклей у тюзовского взрослого зрителя был единодушное и чище, чем в других театрах. Театральных деятелей не расхолаживала зловещая

мысль: "И я так мог бы" в тех случаях, когда восторженные вопли юных зрителей доказывали, что постановка имеет успех. Этот успех не пробуждал ревности в недобрых душах театральных деятелей: хутор Брянцева лежал в стороне. И он со своей блузой, бородкой, брюшком, речами о воспитании, о необходимости большого искусства для маленьких, сознательно или бессознательно держался за свой отделенный от всех участок. И в благоприятных этих условиях театр расцветал в отпущенных ему рамках. Правда, самые сильные из актеров стремились туда, туда, в менее добродетельные, но более известные театры. У них не было чувства радости от того, что служишь высокому делу и ничего тебе за это дурного не делают. Ты в безопасности. Тут не дерутся. Они лезли туда, туда, в свалку, считая, что настоящее искусство там, а не тут, в сторонке. Они убегали. И только в торжественные дни ТЮЗа возвращались, и сидели в президиуме, и говорили речи о том, как много в их жизни значила работа с Брянцевым.

1953
12
марта

Так ушли из театра Черкасов, Чирков, Пугачева, Полицеймако. Мало этого. Микроб, способствующий делению организма на части, занесен был, видимо, Брянцевым из гайдебуровского театра, в середине тридцатых годов из ТЮЗа выделилась большая группа актеров с Зоном во главе. Образовался Новый ТЮЗ — менее педагогично добродетельный. "Они дают зрителю пирожные, а нужно давать черный хлеб!" — вот одна из формул, принадлежащих Макарьеву, кое-что объясняющая в причинах раскола. Всякий успех без его непосредственного участия казался Макарьеву незаконным, неправильным, непедагогичным. Главным признаком черного хлеба считал он серость. Раскол произошел по гайдебуровским традициям — с негромким интеллектуальным шумом. Зон, при посторонних упоминая имя Брянцева, делал лицо вежливое и строгое, и с таким же видом Брянцев сидел на его премьерах. Брянцев имел, помимо всего, всегда подлинное, а не раздуваемое из полемических соображений педагогическое чувство — чутье, направление? — не знаю, как его назвать. Он чувствовал зрителя. В те годы, когда развивался Брянцев, были убеждены, что пророки скромны и покрыты пеплом, истина говорится в придаточных предложениях с покашливаньем и заминкой, что кто красив, тот подозрителен. Брянцев со своей бородкой, блузой, говорком, белыми глазками был именно таким пророком.

1953
13
марта

Но все-таки пророком. Или скорее — жрецом. У него было божество. И он, не забывая хозяйственных соображений, без которых развалился бы храм, помнил и для чего храм построен.

Говорил просто до чрезвычайности, подчеркнуто избегая громких слов, наивно мигая белыми глазками, — о нет, не был он простаком и вел дело тонко. В тот период Художественный театр от избытка сил выбросил множество ветвей — вернее, породил много здоровых детей, развивавшихся в новой среде, в новом направлении, как, например Вахтанговский театр, но связанных с отцом своим, тогда еще живым и крепким. И в ТЮЗе преподавала систему Станиславского и помогала режиссерам работать с артистами над ролью Лиля Шик, по сцене Елагина, очень образованная, очень московская, очень крупная, с крупными чертами лица, похожая на портрет мисс Сиддонс, который и висел у нее над кроватью. Аристократизм высокой театральной среды угадывался и в жестах ее, и в подборе слов (увы, и она не чуждалась ненавистной мне фразы "в каком-то смысле"), и во всем характере ее жизни. И у нее было божество, и служила она ему с истинным благочестием. Она внесла в ТЮЗ дух второго поколения мхатовцев: дух Сулержицкого, Михаила Чехова, студий. И прежде всего дух Вахтангова несомненно сопутствовал ей. В существе ее угадывалась духовность и другого рода — она была человеком верующим. Я любил разговаривать с ней. Отчетливые московские, мхатовские жесты ее и говор меня трогали и радовали. Два этих служителя тюзовского храма — Брянцев и Елагина — помогали делу своей верой.

1953
14
марта

У Зона веры, духовности в том качестве, в той мере, что у Брянцева и Елагиной, не наблюдалось. Но у него было чувство божества, вызванное трезвостью натуры. Он отлично понимал, что дело есть дело, понимал необходимость веры. Он понимал, что речами на собраниях и нытьем и канюченьем в разговорах места в искусстве не завоюешь. И он стал учиться. Учиться упорно, безостановочно, от постановки к постановке, ища все новые и новые приемы, за что неоднократно был обвиняем Макарьевым в беспринципности. Он писал пьесы с Бруштейн, то условные, то реалистические — в зависимости от времени, решал их от раза к разу все интересней и, наконец, стал учиться системе у самого Станиславского, причем пользовался своими знаниями для работы, а не для молитв и декларации. Он все рос, а Брянцев, занятый руководством, слабел. Он имел одну, известную всему театру, особенность: засыпал на репетициях, на чтении новых пьес, объясняя это малокровием мозга. И эта особенность усилилась, и он перестал почти ставить без сорежиссеров. Самые сильные в труппе стали тяготеть к Зону, а самые слабые, боясь за себя, напоминая всем и каждому о своей верности идее детского

театра, — к Брянцеву. И Макарьев выступал из всех скважин, всех пор ТЮЗа. Каждый новый успех Зона объявлялся каким-то не таким, в каком-то смысле провалом. И театр раскололся. Дальнейшая судьба обоих театров печальна. В конечном итоге Зона погубило отсутствие истинной духовности. В труппе его перессорились в эвакуации.

1953
15
марта

И эти ссоры привели к тому, что в мирное время театр закрылся. Театр Брянцева — не закрыт, но и не существует. Он принадлежит к тому виду организмов, смерть которых не сразу заметна окружающим. Этот давно засушенный цветочек, единственный детский театр Ленинграда, под монотонными речами Макарьева шелестит, и покачивается, и получает положенную дотацию, и посещается зрителями — совсем как живой. Но его нет на свете, как и зоновского ТЮЗа. Теперь, вспоминая мою работу в этих театрах, я понял, что не любил их, хотя первый большой успех в жизни имел именно там, в зале бывшего Тенишевского училища, еще до раскола театров. Мне о них писать неинтересно, душа не приходит в движение. Настоящую, здоровую ненависть вызывает один Макарьев, да и тот по причинам личного порядка. Я в 27—28 году от душевной пустоты и ужаса притворялся, что влюблен в жену его, Веру Александровну Зандберг. Мания ничтожества в те годы усилилась у меня настолько, что я увлекся этой азартной игрой и даже страдал. Играя и страдая, я имел достаточно времени, чтобы разглядеть Макарьева, да и Верочку тоже. Роман не кончался ничем, и это усиливало иллюзию влюбленности. Моя мания ничтожества и глубокая холодность Верочки под внешней мягкостью и женственностью и привели к тому, что возлюбленной моей она так и не стала. И это делает воспоминания мои о тех днях не то что горькими, а прогорклыми. В те дни в Верочке привлекательной была некоторая правдивость, ныне выеденная жизнью. Она знала свою холодность и горевала об этом. “У моей сестры, когда в детстве мы ложились спать, было три думки, а у меня ни одной”, — жаловалась она.

1953
16
марта

Три думки — это значило три желания. В ТЮЗах, ютящихся, что там ни говори, в сторонке от главного пути, в тени, собирались люди троякого вида. Первые — самого редкого: застенчивого. Эти люди до того любили искусство, что не смели приближаться слишком близко к самому солнцу. Здесь, в тени, в холодке, душа их раскрывалась смелее и они создавали иной раз настоящие ценности. Таких людей, насколько я мог заметить, собралось больше всего вокруг

Образцова (Сперанский, например). Так же мало было людей второго вида: неудачников, теоретиков. Они делали вид, что выбрали детский театр по принципиальным соображениям и не идут в театры обыкновенного типа из отвращения к ним. Этот вид был малочислен по причинам производственного характера: от этих беспокойных и бесплодных людей старались отделаться. Третий вид, самый многочисленный, разнообразный и текучий, состоял из людей, попавших в детский театр, так сказать, по течению. Занесло их в ТЮЗ — тут и работают во всю свою силу из любви к театральной работе, а не к педагогической. Роли есть, зритель отзывчивый — ну и славно! Самых сильных артистов, занесенных в детский театр, то же течение уносило в другие театры или киностудии, как Любашевского, или Кадочникова, или многих других, о которых я уже писал.

1953
17
марта

Брянцев обладал одним немаловажным недостатком: он не любил людей, которые создавали успех театру. При мне он... Не могу больше писать о ТЮЗе, не лежит душа. Да, с ними связаны у меня прогорклые чувства. Хотел рассказать, как обижал Брянцев Вейсбрема — и не могу. Непонятен мне Брянцев, как существо другой породы. Я коснулся его окружения и его самого, да так по касательной и ушел. Пьесы я люблю писать, а детский театр, вообще театр со всеми его особенностями — не слишком. В театре бываю по принуждению — на премьерах знакомых.



Около одиннадцати пришел Пантелеев, а с ним Элик Маршак, с которым я познакомился в 24 году, когда ему было лет семь. Сегодня он понравился мне. Как это ни странно, я разговаривал с ним, в сущности, в первый раз в жизни. До сих пор мы встречались с ним в присутствии отца, а при Самуиле Яковлевиче не слишком разговоришься.

Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах —“Рассказ старой балалайки”. В то время меня, несмотря на то, что я поработал уже в 23 году в газете “Всесоюзная кочегарка” в Артемовске и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конферансье. Это меня мучило, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: “А какой он был, когда появился, — сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского”. Николай Макарович посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но, так или иначе, мне и в самом деле было легко, весело приходить, приносить исправления,

которых требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный его дар — радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: "Софьюшка!" или: "Элик!", чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. Сегодня, глядя на Элика, я с удовольствием угадывал в его лице отцовские черты. Мы вспоминали, как врывался Элик в комнату, едва отец уходил оттуда, — и мы начинали с ним драться и бороться. Элик скучал, очевидно, без сверстников, и я сходил за такого.

1951
16
января

Тогда Маршак жил против Таврического сада в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро, маленькими шажками саженей пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромену Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учить надо не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собирались в конце концов люди верующие. Исповедующие искусство. Разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: "Как народно!" (Почему и принят был "Рассказ старой балалайки".) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: "стилизация", "литература", "переводно". Однажды ночью бродили по улицам я, Самуил Яковлевич и Коля Чуковский. Я молчал, а они оба дружно бранили "всепонимание предыдущего поколения", "объективность", "скептицизм", "беспартийность". Я слушал и готов был верить во все, но они еще при этом ругали Чехова и единственным видом прозы провозглашали "сказ" за то, что в сказе виден автор. И я спорил, но не по пустякам. В двадцатых годах именно в это надо было верить или не верить, и Маршак, чувствуя главное, вносил в споры о нем

необходимую для настоящего учителя страсть и духовность. Само собой, что бывал он и обыкновенным человеком, что так легко прощают поэту и с таким трудом — учителю. Вот почему все мы, бывало, ссорились с ним, зараженные его же непримиримостью. Ведь он бесстрашно бросался на любых противников. Как я понимал еще и в те времена, сердились мы на него по мелочам. А в мелочах недостатка не было. Но ссоры пришли много позже. Я же говорю о 24 годе.

1951
17
января

К этому времени с театром я расстался окончательно, побывал в секретарях у Чуковского, поработал в "Кочегарке"— и все-таки меня считали скорее актером. В "Сумасшедшем корабле" Форш вывела меня под именем Геня Чорн. Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с "серапионами". Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Так же не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в Лефе была своя. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал. Но, слушая его, я понимал и как писать, и что писать. Я жадно впитывал его длинные, запутанные и все же точные указания. Математик Ляпунов, прочтя какую-то работу Пуанкаре, сказал: "А я не знал, что такие вещи можно опубликовывать. Я это сделал еще в восьмидесятых годах". Маршак кроме всего прочего учил понимать, когда работа закончена, когда она стала открытием, когда ее можно опубликовывать. Он стоял на точке зрения Ляпуно-

ва. Начинающего писателя этим иной раз можно и оглушить. Но я со своей "легкостью" принял это с радостью, и пошло мне это на пользу. Все немногое, что я сделал, — следствие встречи с Маршаком в 1924 году.

1951
18
января

В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при "Ленинградской правде". Начинал свою работу Клячко — основал издательство "Радуга". Маршак написал "Детки в клетке", "Пожар", Лебедев сделал рисунки "Цирк". Его уверенные, даже властные высказывания о живописи наложили свой отпечаток и на всю нашу работу. Но все это едва-едва начиналось, была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеивались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью — дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку, я опять уехал в "Кочегарку". Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя "Балалайка" вышла в свет — и только! Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся делать журнал "Воробей". (Впрочем, кажется, журнал назывался уже "Новый Робинзон" в те дни?) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это мы неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просиживали ночами, Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первый на учителя нашего и весна вдруг перейдет в осень. Но это случилось позже. А я говорю о весне 1924 года.

1951
19 января

Итак, была весна 24 года — время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта, если вглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков, стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное слово, он кричал на меня сердито: "Думай, думай!" Мы легко перешли на "ты", так сблизила нас работа. Но мое "ты" было полно уважения. Я говорил ему: "Ты, Самуил Яковлевич". До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: "Ты, Сема". "Думай, думай!" — кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив, мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место дома. Объясняя, чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие, классические образцы, и сам приходил, и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. "Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!" — "Дайте мне работать! Вечно отрывают!" — "Семочка!" — "Ну, я не могу так жить. Ох!" — и, задыхаясь, он хватался за сердце. Когда работа приходила к концу, Маршак не сразу отпускал меня. Как многие нервные люди, он с трудом переходил из одного состояния в другое. Если ему надо было идти куда-нибудь, он требовал, чтобы я шел провожать его. На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы. Почти всегда и они отвечали ему весело. Только однажды пьяный, которого Самуил Яковлевич спросил: "Гоголя читали?" — чуть не застрелил нас. Проводив Маршака, я шел домой, в полном смысле слова переживая все, что услышал от него. Поэтому я и помню, будто сам пережил, английскую деревню, где калека на вопрос: "Как поживаете?" — кричал весело: "Отлично!" Помню Стасова, который шел с маленьким гимназистом Маршаком в Публичную библиотеку, помню Горького, всегда ощущаю возле, рукой подать, весну 24 года.

1951
20 января

У меня был талант верить, а Маршаку мне было особенно легко верить — он говорил правду. И когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально поняли его слова, что

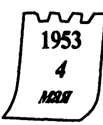
человек, если захочет, может отделиться от земли и полететь. Мы не видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали. Ну вот и все. Вернемся к сегодняшним делам. Несколько дней писал я о Маршаке с восторгом и с трудом, не желая врать, но стараясь быть понятым. Все эти дни Элик заходил к нам вместе с Пантелеевым, но почему-то ночью. Чудит Алексей Иванович. Элик вчера пел по-отцовски, его сипловатым голосом, но потом разошелся и запел тенором довольно сильным. С каждым днем нравится он мне все больше. У него сохранилась какая-то студенческая веселость и желание всех развеселить и себя показать. Я спросил его: "Элик, помнишь, как отец звал тебя и заставлял слушать варианты своих стихов?" — "Это довольно трудно забыть! — ответил Элик. — То же самое продолжается и до сих пор".—"Папа знает, что ты куришь?" Элик улыбнулся сконфужено и ответил: "Во всяком случае, при нем я не курю. Он огорчается".

1951
21 января

Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, наконец, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако по каким-то не найденным еще законам непременно надо с какого-то времени переставать оказывать помощь ученику, а то он умирает. Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников Маршак породил. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулюсов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, — ни с кого так много не требовали и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года и была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз, но я на самом деле был слишком для него легок и беспечен в 27—31 годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным, сипловатым голосом слова: "Здравствуй, Женя".

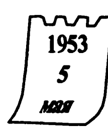
1951 20 февраля

Рассказывая о Маршаке, забыл написать следующее: Лебедев, обсуждая рисунки художников, ставших уже мастерами, любил говорить, что “они сами за себя отвечают”. Молодых он заставлял переделывать рисунки по нескольку раз, а у старших принимал работу молча. Маршак резко осуждал эту точку зрения. Он утверждал, что каждого можно заставить работать над рукописью. Помню, как пытался он заставить Алексея Толстого переделать какой-то рассказ для “Ежа”. Спорил с Пришвиным. Если он и не заставлял писателей с именем переделывать свои вещи, то все-таки каждый раз пробовал убедить их в том, что в их рассказах еще не все в полном порядке. Но, помнится, никто из них не приходил в восторг от этого. Я же в те дни был согласен с Маршаком. Мне казалось, что пришло время, когда возможен великий редактор, как есть великие режиссеры. Станиславского слушались же актеры, в том числе и несомненные мастера. Я любил говорить, что у Маршака абсолютный вќус, на что Тоня Шварц возразил мне однажды: “А по-моему это абсолютизм вкуса”.

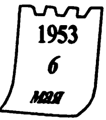


Когда Детский отдел Госиздата превратился в “Молодую гвардию”, мы оказались в среде неопределенно враждебной к нам и еще более друг к другу. Пииийльман, длинный латыш, стоял во главе издательства и помалкивал, чуя, как подкапываются под него ближайшие сотрудники, фамилии которых я наполовину забыл. Издательство, кроме двух-трех всему радующихся сотрудниц, кипело ненавистью. Комсомольцы тех лет отличались неуважением и недоверием к товарищам. Отменные были склочники. Я почувствовал еще большее отвращение к штатной работе, чем всегда. Очередное обсуждение “Ежа”. За столом возвышается Пииийльман, положив перед собою скрещенные кисти длинных своих рук, и либо таит нечто в латышской душе своей, либо не совсем схватывает то, о чем говорится, отстает минуты на три. Лопоухий, нервный Дитрих из василеостровских немцев, выросший в пионерской работе и спокойно кусающий кого надо по его мнению, защищает нас, хотя недавно нападал. Так перегруппировались силы на сегодняшнее число. Западов, подчеркнуто мягкий и боязливо обаятельный, нападает сзади. Нападает и Неусихин, чтобы через месяц-другой при новой перестройке рядов стать нашим искренним другом, длиннолицый с волосами дыбом, шапкой. Хисин с черепом грудного ребенка — большим, с выдающимся затылком, но вполне взрослым правильным лицом — ругает и нас, и Пииийльмана. Это не те нападки и не те разговоры, что шли в

тесной группе детских писателей в “Новом Робинзоне”. Это борьба сложная, с корнями, уходящими в райкомы и горкомы, а то и в ЦК комсомола. Разговоры о качестве — повод. Идут давние бои.



Разговор о качестве сводится к тому, что, мол, под видом требования художественности протягивают аполитичность. Маршак к этому времени совсем отошел от “Ежа”. С группой более чем верных, самоотверженных редакторш он делает, как всю жизнь, все, все, что может, отрываясь для еды с раздражением, с детской обидой, страдая бессонницей, строя, сбивая, сколачивая. В те дни он все сбивал, искал — бывалых людей, сколачивал книги — сборники и после бессонных ночей с Гомером, Шекспиром, Библией на устах сбил несколько книжек, но, увы, в горячке этих страданий породил двух-трех големоподобных чудовищ. Они ожили по вере его, но пошли крушить, кусать и злобствовать, по ущербному существу своему. И первый, на кого они бросились, был их создатель. Но определилось все это позже, пока только варилось, перегонялось и плавилось в вечно запертой мастерской, откуда доносился иной раз только голос Маршака, читающего нарочито невыразительно, чтобы не помешать точности восприятия, отрывок из некоего воскрешаемого мертворожденного рассказа. Иной раз один бывалый человек сидел угрюмо на подоконнике и поглядывал на всех недоверчиво, в то время как за дверью оперировали другого. Мы же делали “Еж” и слишком часто ничего не делали. Впрочем, бывало, в припадке энергии выпускали два-три интересных номера. Вот тут-то и опрокидывалась на нас “Молодая гвардия”. Мне трудно говорить о них, мешает их судьба. Одни убиты на войне — Неусихин, Андреевский, другие исчезли бесследно. Уцелел чуть ли не один Западов: его осторожная, вкрадчивая повадка спасла его от смерти.



Время было напряженное, коллективизация, индустриализация. От нас требовали деловой книги. Этажом ниже помещался Учпедгиз, где я прирабатывал тогда в журналах-учебниках, выходивших ежемесячно в помощь педагогам. Меня называли там “скорая помощь”: я сочинял им рассказики на разные грамматические и синтаксические правила. Редакторы Учпедгиза все упрекали нас в легкомыслии. Особенно один из них, имевший репутацию очень талантливого педагога. Ходил он всегда, опустив голову, спрятав кисти рук в рукава, как на морозе, носил синие очки. Со мной был снисходительно ласков

и все посмеивался и повторял: “Чиж”, “Чиж”, куда ты летишь, “Еж”, “Еж”, куда ты ползешь?” Но мы не унывали, и я все ухитрялся сохранять равновесие. А события все развивались. Однажды весь Дом книги отправился в полном составе на Среднюю Рогатку на “огородный массив” — так нам сказали. Полоть грядки. Вышли мы под духовой оркестр, погрузились на грузовики, а затем в вагоны. “Огородный массив” оказался ровным, болотистым, уходящим до самого горизонта, грядки едва угадывались под сплошными зарослями сорняка. Инструктор отвел нам участок, и мы с некоторой обидой узнали, что привезли нас полоть цикорий. Прежде чем научились мы отличать его от сорняка, на нескольких грядках цикорий повыдергали. Впрочем, скоро мы освоились с делом и выполнили задачу до прихода поезда. В ожидании расселись мы на шпалах, и тут Западов блеснул: он выступал как конферансье. Изящно, вкрадчиво, непобедимо обаятельно. Это было воистину талантливо, и я пожалел, что тратит он себя на самозащиту и тайные укусы.

1953
7
мая

Маршак в те дни любил повторять — “Время суровое”, и это вносило известную правильность, даже величественность в смутные чувства и унылые наши мысли. Уж очень невеселая свалка все тянулась в “Молодой гвардии”. Так отзывалась она на “суровое время”. Возможно, что работники ее были и талантливы, и умны или хотя бы просто добросовестны, толковы, но никто не проявлял этих своих полезных свойств. Все яростно чистили друг друга, и вот постепенно “Еж” поплелся к своей гибели. Сохранять равновесие становилось все трудней, и я решил уходить. И в 1931 году подал заявление об уходе, договорившись с Учпедгизом о работе. С чувством полной свободы и равновесия уехал я с Катей в Липецк. Первые дни там были прекрасны, а потом сентябрь взял свое — и начались затяжные, безнадежные дожди. В первые дни мы однажды на лодке забрались в лес и свернулись в проток в сторону под сплошным зеленым сводом. Бродили нижним парком, улицами. Старый Липецк умирал, новый не родился еще. Помещичьи деревянные дома глядели из садов, из-за деревянных заборов растерянные. Курорт существовал не то законно, не то по самоуправству врачей, до которых вот-вот доберутся. Великолепен и могуч был только базар по воскресеньям. Особенно хороши были бабы и девки.

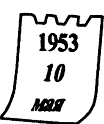
1953
8
мая

В цветных домотканых одежах, в юбках, отделанных по подолу золотым галуном, в стеклянных бусах, они выглядели особенно пышно рядом с мужьями своими, одетыми темно и бед-

но. В верхнем парке, как бы смущенном и опустевшем, всегда было пусто. В беседке над обрывом, исписанной карандашом по всем своим облупившимся стенкам и столбикам, я часто сидел, пережидая дождь. По мокрому лугу далеко внизу вдоль реки бродил охотник с ирландским сеттером, и я вспоминал Бунина. Ощущение брошенного дома, еще не освоенного новыми хозяевами, подкреплялось на каждом повороте, когда я шел домой. Особенно сады выглядели брошенными. На пути в Ленинград в вагоне старого бородатого крестьянина все допрашивал чуть выпивший красноармеец о царской армии и все хохотал, ужасался его несознательности. “А комиссар у вас был?” “А что такое комиссар?” “Ну вот, как у вас поп все ходил проповедовал, так у нас комиссар”. Ехали мы с пересадкой на узловой станции Грязи. Носильщик, которому я поручил взять билеты, к моему ужасу исчез и появился, когда московский поезд уже прибыл. Ушел домой обедать и поссорился с женой. Каким-то чудом успел он взять билеты в международный вагон, но еще долго я вез за собой словно привязавшийся запах, чувство переполненной узлами, сонными людьми станции, из которой не выехать. Вся в пару, со множеством путей Коломна. Трудно представить, что кроме железнодорожной жизни есть еще и человеческая, и где-то за путями — городок с улицами и домами. И вот Москва. А потом Ленинград, где стал я жить без службы. А в “Молодой гвардии” все валили друг на друга, приходили на работу, как на суд. Но я был в стороне.

1953
9
мая

Рапповские времена отражались в высшей степени на неустойчивости литературных репутаций. Приехав из Липецка, я не без удивления узнал, что считаюсь писателем хорошим. Мне дали пропуск в закрытый распределитель с особо роскошным пайком. Месяца через три, хоть я и ничего не успел написать худого, мой паек уменьшился вдвое. Потом стал совсем плохим. Затем резко вырос и, наконец, стал академическим.



Судьба моя определялась в недрах тогдашних писательских организаций — имена забыл: ФОСП и еще какие-то. Контролировались они РАППом. Недра были глубокие, недосягаемые, судилища закрытые, все зависело от обстоятельств случайных, от меня независящих, таинственных. Году, кажется, в 1933 был закончен Беломорский канал. Целый поезд писателей выехал из Москвы осматривать новый водный путь. Сто двадцать человек. Предполагалось, что в Ленинграде к ним присоединится еще сорок. И вот на этом особенно от-

четливо сказалась работа таинственных недр. Меня, как и еще сорок человек, вызвали в Союз писателей или ФОСП, не помню. Предупреждали, что после короткого совещания мы отправимся на вокзал и уедем. Все пришли с чемоданчиками. При входе нам сообщили, что совещание отменяется, поездка состоится неизвестно когда и чтобы мы шли домой. И когда я послушно повернулся, мне шепнули на ухо таинственно:" Приходите к семи часам в "Асторию". Оттуда и поедете". Я пришел. Холл перед рестораном кишел незнакомыми, отлично одетыми москвичами. Трое молодцев с осуждающими, уничтожающими лицами спросили:" А такой-то едет?" "Он болен" — доложил я робко." Единственный интересный писатель в Ленинграде!" — отрезали молодцы. О ком же шла речь? Никак не могу вспомнить. Вместо сорока на канал по таинственным законам того времени выехало всего двенадцать ленинградцев.



Утром получил письмо от сестры Бориса Степановича Житкова. Готовится издание сборника его памяти. Поручено это дело ей, и она просит меня принять участие, написать о Борисе воспоминания. И я в некотором смятении. Помню о нем очень многое. Точнее, он занимал в моей жизни большое место — но что об этом расскажешь? Очень многое тут не скажется. А что скажется — пригодится ли?



Что же я могу написать о Борисе Степановиче? Услышал я о нем впервые от Маршака. Я вернулся из Артемовска, из второй своей поездки во "Всесоюзную кочегарку". В журнале "Воробей" появилась первая моя вещь "Рассказ старой балалайки". Маршак рекомендовал меня в "Радугу". Там я сделал стихотворные подписи к рисункам и появились книжки "Вороненок" и "Война Петрушки и Степки Растрепки". Был я полон двумя вечными своими чувствами: недовольством собой и уверенностью, что все будет хорошо. Нет, не хорошо, а великолепно, волшебно. Не в литературном, а в настоящем смысле этого слова, я был уверен, что вот-вот начнутся чудеса, великое счастье. Оба эти чувства — недовольство собой и ожидание чуда — делали меня: первое — легким, уступчивым и покладистым, второе — веселым, радостным и праздничным. Никого я тогда не осуждал — так ужасала меня собственная лень и пустота. И всех любил от избытка счастья. И вот Самуил Яковлевич мне сказал, что появился новый удивительный писатель: Борис Житков. Ему сорок один год ("Однако", — подумал я). Он до сих пор не писал.

Он и моряк-штурман дальнего плавания, и инженер — кончил Политехнический институт, и так хорошо владеет французским языком, что, когда начинал писать, ему легче было формулировать особенно трудные мысли по-французски, чем по-русски. Он разошелся с семьей (с женой и двумя детьми) и женился на некоей турчанке по происхождению, в которую был влюблен еще студентом. Теперь это уж немолодая женщина-врач, окулист. Поселились они вместе на Петроградской стороне, начали жизнь заново. Он пишет и учится играть на скрипке, а она на рояле. И она удивительный человек, все понимающий. Гимназию кончил он в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, свою рукопись принес ему, но тот ничего не сделал. Тогда Маршак заставил Житкова писать по-новому.

1952
12
октября

Целыми ночами сидели они, вырабатывая новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с восторгом говорил, повторял всюду об удивительном, почти гениальном даре Житкова, который обнаружился, едва понял тот, как прост путь, которым художник выражает себя. Он избавился от литературности, от "переводности" — то есть от безразличного языка, особенно ощутимого в переводных книгах. "Воздух словно звоном набит!" — восторженно восклицал Маршак. Так Житков описывал ночную тишину. По всем этим рассказам представлял я себе седого и угрюмого великана (о физической силе и о силе характера его тоже много рассказывал Маршак). Без особенного удивления увидел я, что Житков совсем не похож на мое представление о нем. В комнату вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба, но с длинными волосами, с острым носом, туманным взглядом. Со мной он заговорил приветливо, было это, кажется, у Маршака дома, а главное, как равный. Я не ощущал его как старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я почувствовал к нему уважение, но не то, несколько парализующее, как рядовой к генералу, школьник к директору. Я теперь не могу вспомнить, как скоро это вышло, но я стал бывать у них дома на Матвеевской, 2, на углу Большого на Петроградской стороне. Мы перешли на ты. И всегда с ним было легко: да, он был неуступчив, резок, смел, силен, — но не ощущалось в нем ни признака того окаменения, которое свойственно старшим. Какое там окаменение — он был все время в движении, и заносило его иной раз, как машину на повороте, и попадал он не на тот путь. Какое там окаменение: он жил, как все мы, и это сближало его с нами. Когда мы только что познакомились,

дружба его с Маршаком казалась нерушимой. Всюду появлялись они вместе -- оба коротенькие, оба решительные и разительно непохожие друг на друга. Оба с завидной для меня энергией работали.



Вернувшись из Донбасса и начав работать секретарем редакции тогдашнего журнала "Ленинград" (издававшегося "Ленинградской правдой"), я часто видел, как тесная кучка людей, человек в пятнадцать, окружая письменный стол в левом углу комнаты (а мы работали в правом), титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала — не могу найти другого слова — очередной номер тоненького детского журнала "Воробей". Я ни разу, кажется, не досидел до конца очередных работ, но ни Маршак, ни в особенности Житко́в не теряли высоты, не ослабляли напряжения. Если Маршак иной раз позволял себе закашляться, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков и на миг не давал себе воли. Улыбаясь особым своим оскалом, то с отвращением и насмешкой, то вдохновенно, он искал все новые повороты и решения и часто, к гордости Маршака, находил нужное слово. Именно слово. Журнал строился слово за словом. Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но тут и Маршак и Житков умели объяснить невежде, кто прав. Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной сразу, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, двигая своими короткими бедрами и вертя плечами, произносил нарочито фальшивым голосом: "Вот как сеет мужичок". И мы его понимали. Да, в те дни оба они были вдохновенны и, главное, ясны, особенно Житков был вдохновенен и сурово празднечен, как старый боевой капитан в бою. И Маршак любил говорить о Житкове с восторгом и даже умилением: "Вот как повернулась жизнь у человека! Сказка, волшебство. Вот и слава у него уже настоящая начинается: тот-то сказал о нем так-то, а другой этак-то". И договорил: "А семья, а дом, а жена".



"А как скромно и разумно живет Житков — курит махорку! Не меняй жизнь, если будешь много зарабатывать! Живи, как жил. А то затянет тебя в колесо!" — говорил мне Маршак с искренним ужасом перед колесом, которое видел вблизи когда-то, а я слушал с интересом, как будто предостерегал меня путешественник от жары, какая бывает в Сахаре. Я в жизни своей не был богат, да и Маршак

сам только повидал, что это такое. Повидал он как следует, вблизи, и что такое прежняя литературная среда. "Ты не представляешь, что это за волки. Что теперешняя брань — вот тогда умели бить по самолюбию!" И Маршак из тех времен вынес умение держаться в бою́. "Надо, чтобы тебя боялись!" Я не верил, к сожалению, этому совету, а Борис Степанович в нем и не нуждался. Он с восторгом лез в драку и держал людей, которых считал чужими, в страхе. Сразу угадывалось: этот кусается. Оба коротенькие, храбрые, энергичные, они с честью дрались за настоящую детскую литературу и в пылу борьбы считали ее единственной. "Когда у меня есть время, я могу халтурить во взрослой литературе", — сказал однажды Маршак. А выросший в атмосфере этой борьбы Золотовский пожаловался (правда, несколько лет спустя): "Какому-то Каверину дали квартиру, а мне отказали". После "Воробья" Житков и Маршак стали работать в детском отделе Госиздата. Поставили они себя там строго, никому не спускали и ездили драться в Москву. Борьба вдохновляла их, все им удавалось, даже чудеса. Как-то по дороге из Москвы Маршак предложил соседке, что угадает ее имя и отчество. И угадал. Тогда Житков угадал имя и отчество другой их попутчицы. Они рассказывали нам об этом, смеясь, но и гордясь. Знай наших! Поехал я с ними смотреть дачу в Сиверскую, и чуть успел поезд отойти, как оба уже сцепились из-за места с желтеньким гражданином чиновничьего вида и всю душу вложили в эту ссору. Они кипели от избытка сил.

1952
15
октября

Однажды пришли они в детский отдел возбужденные, опьяненные — поссорились со Шкловским. "Его так отчитал Борис, — умилялся Маршак, — что это будет ему хорошим уроком". За что влетело Шкловскому, понять было трудно. Угадывалось: за то, что чужой. "Вот я придумал тему, дарю ее вам: радиоприемник на металлическом зубе". Эта фраза Шкловского больше всего возмущала Житкова, и он все повторял ее неестественным голосом, передразнивая: "Дарю ее вам!" Через некоторое время сам пострадавший зашел в отдел. Был Шкловский мастер ссориться, привычен к диспутам, рассердившись, как правило, умнел, а тут, видно, несколько растерялся. Сидел на подоконнике нахохлившись, если так можно сказать о человеке лысом, и доказывал Маршаку и Житкову, что они поступили с ним нехорошо. Замятину, который зашел за ним, Шкловский наивно пожаловался: "Житков говорит, что я не остроумен. Разве это верно?" И Замятин покачал головой со своей сдержанной европейской повадкой и ответил: "Никак не могу с этим со-

гласиться". И, подумав, добавил: "Уж скорее можно обвинить вас в недержании остроумия". И, почувствовав, видимо, что и его добротная репутация тут ему не защита, удалился не торопясь и увел с собой Шкловского. Да, Замятин раздражал наших бойцов, и репутация его (инженер, преподаватель политехникума, один из строителей ледохода "Ленин", в прошлом большевик, а ныне неустрашимый фрондер и сверх всего этого писатель, славящийся отличным русским языком) не признавалась нами. Он был чужой. И Маршак рассказывал сердито, как однажды ночью на Моховой, он слышал, Замятин громко разговаривал с дамой по-английски. "Как английский дворник!" И русский язык Замятина со всеми его орнаментами не признавался у нас. Да, это было не переводно, но холодно, поддельно, не народно. Приходит время рассказать, как поссорились и разошлись Маршак с Житковым. И не хочется. И тяжело, и очень сложно, и темно.

1952
16
октября

Я боюсь вспоминать о событиях роковых. О таких, которые при возникновении своем казались мелкими, нелепыми, а оказались необратимыми. Расхождения, возникавшие между Маршаком и Житковым, вначале выглядели ужасно забавными, а в конце концов оказались просто ужасными. Непримиримость и нетерпимость обоих наших учителей шла на пользу делу, пока обращена была на врагов великой детской литературы. Но вот осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости. И зашибать своих. И этого нужно было ждать. И Житков и Маршак были несмирные люди. И уж слишком готовые к бою всегда, при любых обстоятельствах. Однажды, после очередного приезда из Москвы, Маршак пожаловался угрюмо, что они поссорились в вагоне со школьниками. С целым классом, который возвращался из экскурсии в Москву. Это был, кажется, единственный бой, который проиграли наши борцы! "Я забыл, что с целым классом никогда нельзя связываться", — сказал Маршак, как всегда, частный случай возвышая до явления, что покоряло меня в те дни. А Житков вообще промолчал об этой проигранной битве. И вот пришли дни, когда друзья стали ворчать друг на друга. Борис Степанович впервые за сорок лет был окружен доброжелательством. На него просто любовались. Каждое слово его ловили. Но нет, он не был создан для подобной сладости. В те годы в институте Герцена профессорствовала Ольга Иеронимовна Капица, мать знаменитого физика, и начинала свою научную деятельность Екатерина Петровна

Привалова. Первая тогда занималась детским фольклором, а вторая работала в детской библиотеке института, богатейшей и единственной в Союзе по количеству детских книг и журналов, собираемых чуть ли не с XVIII века. Ольга Иеронимовна, благостная, добрая, полная, и Екатерина Петровна, и тогда и теперь похожая на умную, нескладную и не слишком счастливую бестужевку, дружили с нами.



Немногочисленные детские писатели тех дней собирались часто в детской библиотеке такой же тесной кучкой вокруг стола, как в "Новом Робинзоне". Только стол тут был круглый и стоял посреди комнаты. У всего здания института был вид как бы полуобморочный, он еще не вполне ожил, не был освоен на всем своем огромном пространстве. Опечатанные шкафы в коридорах, бесконечные переходы, закопченные, сырые, с забитыми окнами и запертыми висячими замками дверьми. На всем еще лежал отпечаток голодного и холодного [19]18/19 года. Руководство Герценовского института само, видимо, побаивалось своего богатства. Во всяком случае, редчайшую детскую библиотеку свою руководители несколько раз порывались закрыть и вывезти вон, но каждый раз Маршак и Житков со всеми живыми людьми института поднимали шум на весь Союз, клеймили позором чиновников от просвещения, перепуганных и растерявшихся, ненавидящих свое собственное дело. И они, чиновники, отступали, ворча. В те дни мрачные противники антропоморфизма и сказки, утверждавшие, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир, захватили ключевые позиции педагогики. Детскую литературу провозгласили они довеском к учебнику. Они отменили табуретки в детских садах, ибо таковые приучают к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Изъяли кукол, ибо они гипертрофируют материнское чувство, и заменили их куклами, имеющими целевое назначение: например, толстыми и страшными попами, которые должны были возбуждать в детях антирелигиозные чувства. Пожилые теоретики эти были самоуверенны. Их не беспокоило, что девочки в детских садах укачивали и укладывали спать и мыли в ванночках безобразных священников, движимые слепым и неистребимым материнским инстинктом. Ведь ребенка любят не за красоту. Вскоре непоколебимые теоретики потребовали, чтобы рукописи детских писателей посылались в Москву до их напечатания в ГУС, в Государственный ученый совет. Вот что делалось вокруг детской литературы. Я рассказываю об этом, чтобы стало ясно, как редки и как нужны были та-

кие педагоги, как Привалова, Капица и немногие другие живые люди, затерявшиеся в сырых просторах Герценовского института.



Но Борис Степанович был с ними строг именно потому, что они хотели делать одно с ним дело. Они восхищались Житковым, ловили каждое его слово, но нет, он не был создан для подобной сладости. В скитаниях своих пропитался он горечью и не умел и не хотел жить иначе. Однажды Капица организовала встречу детских писателей со студентами. В большом зале читали мы студентам, точнее, студенткам — их было подавляющее большинство. Слушали они скорее испуганно, чем с интересом. Теоретики бесчинствовали и тиранствовали в то время в педагогике, и каждый день грозил какой-нибудь ошеломляющей новостью вроде все отменяющего и все объединяющего комплексного метода. И детских писателей поэтому слушали студентки с недоверием. К чему бы это? Чем все это кончится? Чего вы от нас хотите? Но Капица сияла. Она, вероятно, страдала приливами крови к голове, всегда была несколько излишне румяна, а тут разрумянилась еще больше, как после бани. Она подплыла к Житкову и спросила почтительно: “Как вам понравилась наша аудитория?” И безжалостный Борис буркнул в ответ: “Горняшки!” И Ольга Иеронимовна, не проронив ни звука, проплыла дальше, только улыбка ее стала беспомощной, а румянец приобрел сизый оттенок. Вот каков был Борис. Он рассказывал однажды, как бродил по какому-то портовому городу на Красном море без копейки денег. “Как ты попал туда?” — “Ушел с парусника”. — “Почему?” — “По превратностям характера”. И вот к такому характеру Маршак стал все больше, все откровеннее поворачиваться самой трудной стороной своего многостороннего существа. Он стал капризничать. Это был его способ отдыхать от напряжения, в котором пребывал круглосуточно. Ведь Маршак почти не спал. И вот, требуя отдыха, сердце у него останавливалось, пальцы немели, он закашливался и не мог откашляться. Однажды он приехал к Житкову и не мог вернуться домой. Задыхался до утра.



Все это было только одним из его свойств, но за этими жалобами, требованием внимания и сочувствия заподозрил Житков покушение на свою свободу. Стали раздражать Бориса вечные призывы к оружию, под знамена — немедленно, сегодня, все оставив. Сводились эти призывы обычно к правке чьей-то рукописи и про-

должались до рассвета. Обижался он на Маршака и за уступки "педагогическим дамам". "Вот как сеет мужичок!" — восклицал он по поводу рукописи, уже принятой и одобренной редакцией. Но все это, может быть, и разъяснилось бы и рассосалось. Ведь раздражение вызывалось, в сущности, мелочами. И Житков не мог не знать, что Маршак любит его, за него дерется бешено, а все обиды — незлокачественные, нечаянные. Но разрыв все назревал. Обстановка среди тесной группы писателей тех лет, собравшихся вокруг Маршака и Житкова, все усложнялась. Становилось темно, как перед грозой, — где уж было в темноте разобрать, что мелочь, а что и в самом деле крупно. И, думаю, главным виновником этого был мой друг и злейший враг и хулитель Николай Макарович Олейников. Это был человек демонический. Он был умен, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и — по роковой сущности страсти — так же сильно трезвел и ненавидел, как только что любил. И обвинял в своей трезвости дело, друга, женщину. Мало сказать — обвинял: безжалостно и непристойно глумился над ними. И в состоянии трезвости находился он много дольше, чем в состоянии любви или восторга. И был поэтому могучим разрушителем. И в страсти и трезвости своей был он заразителен. И ничего не прощал. Если бы, скажем, слушал он музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что он перелистывает ноты и в этот миг не играет. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним — и нашел бы множество сторонников. Был он необыкновенно одарен. Гениален, если говорить смело.

1952
20 октября

Как многие люди, чувствующие сильно, он мыслил ясно и умел наши объяснения каждому своему заблуждению, возвести его в закон, обязательный для всех. И если Житков колебался, зная в глубине души, что раздражению своему против Маршака он, в сущности, обязан "превратностям характера", то Олейников, во всяком случае в отсутствие Маршака, не знал в своих обвинениях преград. Был он в тот период своей жизни особенно зол: огромное его дарование не находило применения. Нет, не то: не находило выражения. То, что делал Маршак, казалось Олейникову подделкой, эрзацем. А Борис со всем анархическим, российским недоверием к действию видел в самых естественных поступках своего недавнего друга измену, хитрость, непоследовательность. И Олейников всячески поддерживал эти сомнения и по-

дозрения. Но только за глаза. Прямой ссоры с Маршаком так и не произошло ни у того, ни у другого. Совершалось обычное унылое явление. Люди талантливые, сильные, может быть даже могучие, поворачивались в ежедневных встречах самой своей слабой, самой темной стороной друг к другу. Вот и совершилось постепенно нечто до того печальное, а вместе и темное, ни разу прямо друг другу в глаза не высказанное. Ссора эта развела Маршака и Житкова навеки, похуже чем смерть. Об умершем друге горюют, а каждое их воспоминание друг о друге в те дни вызывало у бывших друзей чувства похуже горя. И всех нас эта унылая междоусобица так или иначе разделила. А теперь во имя точности должен я сказать, что эта демоническая или, проще говоря, черт знает что за история, развиваясь и углубляясь, не убивала одной особенности нашей тогдашней жизни. Мы были веселы. Веселы иной раз до глупости, до безумия, до вдохновения, и Житков легко поддавался этому безумию. И бывал совсем добр и совсем прост.

1952
21
октября

Сейчас трудно представить, как мы были веселы. Пантелеев вспоминал, как пришел он в 26 году впервые в жизни в детский отдел Госиздата и спросил в научном отделе у наших соседей, как ему найти Олейникова или Шварца. В это время соседняя дверь распахнулась и оттуда на четвереньках с криком: “Я верблюд!” выскочил молодой кудрявый человек и, не заметив зрителей, скрылся обратно. “Это и есть Олейников”, — сказал редактор научного отдела, никаких не выражая чувств — ни удивления, ни осуждения, приученный, видимо, к поведению соседей. Денег у нас никогда не было. Мы очень хорошо умели брать взаймы. Была даже формула для этого.

1952
22
октября

“Дай руп на суп, трешку на картошку, пятерку на тетерку, десятку на шоколадку и тысячу рублей на удовлетворение прочих страстей”. В нашем веселье, повторяю, приветствовалось безумие. Остроумие в его французском представлении презиралось. Считалось доказанным, что русский юмор — не юмор положения, не юмор каламбура. Он в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. (“А невесте скажите, что она подлец”.) И угловатый, анархический Житков, русский из русских, с восторгом принимал это беззаконие. Веселый, отчаянно улыбающийся, он — равный нам, не взрослый и все-таки старший, — сидел охотно в компании в пивной, угощал широко, когда бывали у него деньги, повторяя одесскую, флотскую поговорку: “Фатает, не в ар-

мейских". Он любил принимать, и у него охотно бывали. Радоваться гостям — это далеко не такой частый дар. А он радовался настолько, что со свойственным ему отчаянным нетерпением часто, не дождавшись, встречал гостей на улице. Я любил, очень любил его небольшую и очень петербургскую, выходящую окнами в полутемный колодец двора квартирку. Войдя, попадал ты в коридор. Направо — дверь в кухню, дальше — дверь в столовую, дальше — в комнату, где стояло пианино и письменный стол Бориса, некоторая помесь гостиной и кабинета, а последняя дверь направо вела в комнату, не имеющую назначения. Дверь налево вела в ванную. Эти сведения ничего не прибавляют к образу Житкова. Пишу потому, что мне приятно вспоминать — и о коридоре, и о столовой, и о кабинете со скромным письменным столом, на котором листы писчей бумаги, перегнутые пополам вдоль, — Житков писал в два столбика. В конце работы сегодняшнего дня ставил он число и месяц. У пианино стоял пюпитр с нотами. Борис учился скрипке потому, что это трудно, и еще потому, что ноту надо находить самому.

1952 23 октября

По его мнению, готовые и раз навсегда утвержденные клавиши рояля давали некоторую вредную иллюзию ученику, что это он нашел звук. И в соединениях кем-то подготовленных звуков-нот рояля существовала кем-то навязанная правильность, чего не допускала свободолюбивая душа Бориса. Он сердился на Чехова: "Так мелко писать: "Офицер в белом кителе". И здесь, видимо, раздражало Бориса, что используется установившееся представление. "Офицер в белом кителе", — повторял он, отчаянно улыбаясь, опустив углы губ презрительно, пожимая плечами. "Офицер в белом кителе". Все заранее утвержденное или утверждаемое всеми настраивало Бориса подозрительно. Это был прирожденный ересиарх, который, однако, по свободолюбию своему ересь свою не определял, не втискивал в известные рамки. Ибо даже еретические, установленные им самим законы стесняли его. Ты чувствовал, что он верует, и верует страстно — но во что? Он не только веровал, но и проповедовал, и отлучал от своей церкви, и принимал в ее лоно, и все по признакам неуловимым или едва уловимым только в данный вечер со всеми его особенностями. Проповедовал он отрывисто и все спешил для ясности перейти к притчам, к примерам из жизни. Всегда, в сущности, кто-то изобличался во внутренней нечестности, в кокетстве, в ломании, в трусости, в несамостоятельности. Своя, самостоятельная задача все освящала. "Он меня спрашивает: синее или желтое, а я хочу говорить о том, теплое или холодное", — любил он повторять в ненависти своей к заранее утвержденному и

всеми признаваемому, — он и нового года, например, не встречал. Он собирал друзей в весеннее равноденствие, требуя решительно, чтобы каждый надевал что-нибудь белое: или рубаху, или брюки. И Маршак говорил и проповедовал непонятно, но куда менее угловато, менее нетерпимо, и, главное, менее деспотично. "Борис все хочет поставить на ребро", — говорил часто он с горечью.

1952 24 октября

С годами убедился я в том, что вера в людях вообще часто остается неосознанной самими ее носителями. И от таких людей ты не требуешь символа веры. Напротив, скорее умиляет его отсутствие. Есть что-то трогательное, когда человек, повинуясь сам не зная чему, делает свою работу наилучшим образом, бывает добр, сам не зная почему, правдив вопреки собственным интересам. Эту человеческую особенность можно было бы назвать и мировоззрением, если неосознанное мировоззрение возможно. Так или иначе, эту неосознанную человеческую особенность уважаешь, повторяю, не требуя ни символа веры, ни теории. За исключением тех случаев, когда подобные люди начинают проповедовать, к чему их неосознанная вера понуждает чаще, чем хотелось бы. И в их жизни угадываешь систему их веры куда отчетливее, чем в их проповеди Борис часами пилит на скрипке. Важная педагогическая дама с умилением повествует, как еще более важный человек сказал ей, когда она хотела подать милостыню: "Не плодите нищих" — "Фу, какая гадость!" — говорит ей Борис громко. Борис заводит рыжего кота и терпеливо дрессирует его: "Стань бе́зьяном!" — кричит он, и кот мягко, как бы переливаясь, вздымается и стоит на задних лапках, широко раскинув передние. "Але гоп!" — и кот прыгает в обруч, пробивая бумагу. Борис рассказывает о своих путешествиях так, что его воспоминания становятся как бы и моими. Расхаживая вокруг стола, отчаянно улыбаясь, он говорит об Аравии, где солнце такой яркости, что тень кажется ямой.

1952 25 октября

Вода в заливе так прозрачна, что, когда идешь к берегу под парусом, кажется, что летишь по воздуху. Арабы показали длинный песчаный холм и сказали, что это могила Евы. Во время тайфуна на Тихом океане пальмы ложатся на землю, как трава, а воздух становится твердым, как доска, держит, если ты обопрешься на него. Станешь против ветра, откроешь рот — и ветер тебе забивает глотку, раздувает щеки. Многие его книжки вначале были рассказаны за столом или около стола. В этих коротких воспоминаниях — со скрипкой, дрес-

сировкой кота, с поисками наибольшей выразительности, с резкостью, и прямотой, и упрямством — я чувствую веру Бориса. А в прямых проповедях уловить ее не мог. Иной раз говорил он совсем странные вещи. Однажды он сказал нам, что Елена Данько ведьма. “Как ведьма?” — “А очень просто”. И Борис стал серьезно доказывать, что Данько способна заколдовать человека, что-то сделать такое, когда он переступает порог. Одна его знакомая ведьма, например, умела лишать человека мужской силы. И Данько тоже, видимо, может испортить, когда захочет. “Но если ведьме скажешь, что она ведьма, ей ничего с тобой не сделать. Я Данько сказал, кто она” — “И что она ответила?” — “Ничего, только странно посмотрела”. И Софья Павловна, жена Бориса, имела особый таинственный дар — давала какие-то камушки, которые приносили счастье. “Вавича” Борис писал безостановочно, нетерпеливо, читал друзьям куски повести по телефону. Однажды вызвал Олейникова к себе послушать очередную главу. Как всегда, не дождавшись, встретил Борис Олейникова на улице, дал ему листы рукописи, сложенные пополам, и приказал: “Читай, я тебя поведу под руку”. И Олейников подчинился, а потом с яростью рассказывал друзьям об этом. Житкову необходимы были слушатели, он был избалован неутомимостью Маршака, но новые друзья были злее.

1952
26 октября

Об Олейникове и Хармсе, о постоянных гостях Житкова в конце двадцатых и в тридцатых годах, говорить мимоходом трудно, а рассказать о них полностью не берусь. Расскажу вкратце об общем положении дел вокруг Бориса. Появление Хармса (и Введенского) многое изменило в детской литературе тех дней. Повлияло и на Маршака. Очистился от литературной, традиционной техники поэтический язык. Некоторые перемены наметились и в прозе. Во всяком случае, нарочитая непринужденность как бы устной, как бы личной интонации, сказ перестал считаться единственным видом прозы. Разошелся с Маршаком и Олейников. Разошелся — не то слово. Прямой ссоры и с ним не было у Маршака, но он разорвал отношения с ним. Хармс оставался другом Маршака, а вместе — и другом Житкова и Олейникова. Не хочется объяснять — долго, и я не справлюсь с этим, — но Хармс, о котором Маршак говорил, что он похож на молодого Тургенева или на щенка большой породы, умышленно, вызывающе странный, и в самом деле стоял вне этой свалки, происходящей за глаза, вне этой драки с неприсутствующим противником. Но у Житкова с мрачной серьезностью своим глубоким басом поддерживал он неслыханное, черт знает какое глумление Олейнико-

ва над Маршаком. Олейников брызгал во врага, в самые незащищенные места его, серной кислотой. И ходил его очередной враг, сам того не подозревая, изуродованным. Я отошел и от Маршака, и от Житкова. И я был облит серной кислотой. Но с Житковым дружеские отношения все же сохранились Не такие, как были. Олейников обоих нас изуродовал в представлении друг друга. Только я знал, что изуродован, а Житков никак этого не предполагал. Он прожил несладкую жизнь, привык к врагам, но друзей, столь демонических, до последних дней своей жизни, к счастью, не разглядел и не разгадал. А они глумились над ним, как глумились!

1952
27
октября

Есть писательское отношение к чужому методу работы, исключающее его, полное ненависти и презрения, — как у Толстого к тургеневской системе писать. В этом есть здоровое непонимание: как можно не видеть то, что я вижу! Ненависть эта переходит и в жизнь. Когда Гончаров услыхал, что умер Тургенев, он сказал: "Притворяется..." Но ненависть и ядоиспускание, твердо установившиеся у Житкова, стали уж черт знает какими. Я в последние год-два почти не бывал у Бориса. Но вот я встретил его и Софью Павловну недалеко от нас на канале. Она была бледна, шла медленно и призналась: "Вы знаете, я заболела", — но не сказала чем. Скоро услышал я с ужасом, что у нее тяжелое психическое заболевание: она сошла с ума, помешалась на ревности к Борису. Она занавесила окна в их полутемный двор, чтоб не переглядывался он с девицами напротив, не пускала его одного из дому, целыми ночами его мучила. И вот ее отвезли в психиатрическую больницу. Скоро она вернулась оттуда, но прежняя жизнь кончилась. Житковы развелись, и, мало этого, Софья Павловна подала в суд, обвиняя мужа в том, что он хотел ее, здоровую женщину, заточить в сумасшедший дом. Я давно не бывал на Матвеевской, 2, но меня утешало чувство: захочу и пойду. И вот выяснилось: не пойти. Дом Житковых умер. Борис переехал в надстройку. А дело в прокуратуре росло и развивалось. Меня вызвал следователь — коротко остриженный, толстый, выпуклоглазый — ничего человеческого в нем не ощущалось. Говоря гладко, с такими интонациями, будто читал вслух, он пытался внушить мне, что жалоба Софьи Павловны имеет основание: Борис, мол, в самом деле хотел ее оклеветать. "Зачем?" — "Чтобы общественное мнение не осудило его за то, что он бросает жену". Это было чудовищно неверно, что я и пытался доказать следователю. Мои показания он выслушал холодно.

1952
28
октября

Иной раз мне казалось даже, что следователь не слышит меня. Нельзя сказать, что он думал о своем. Нет. Он пребывал в нечеловеческом юридическом мире, и не было у нас ни одной точки соприкосновения. Они появились бы, согласись я с тем, что Борис — злодей, но этим путем умилостивить следователя я никак не мог. Кончилось дело тем, что он предложил мне записать мои показания, что я и сделал обычным почерком своим, явно противоречащим самим стенам городской прокуратуры, где состоялась моя встреча с большеротым, выпуклоглазым ее представителем. Из прокуратуры я вышел совсем несчастным: нелепости, разрывающие жизнь Житковых, как бы отравили и меня. Если бы я мог допустить, что есть черт и ведьмы, то все происходящее имело бы хоть какое-то объяснение. А тут вместо жизни, обернувшейся недавно празднично, воцарилось уныние и безумие. Впрочем, дело в прокуратуре было скоро прекращено. В нашем доме Борис жил некоторое время один в однокомнатной квартире, где завел корабельную чистоту. Варил и настаивал настойки и наливки. Рисовал к ним этикетки акварелью. Много писал. Однажды, когда он пил у нас чай, Екатерина Ивановна, передавая ему сахар, пожаловалась, что не могла нигде в магазинах найти щипцов. Утром она получила добытые где-то в комиссионном щипцы в виде птичьих лап, с запиской Бориса, что это подарок временный — щипцы мельхиоровые будут заменены серебряными. Я подхожу к концу своего рассказа со смутным чувством. Я сказал все, что мог. Или почти все. Но не уверен, что получилось достаточно похоже. Говоря о демонизме Олейникова, я для точности напомнил о его веселости. Не следовало ли напоминать почаще и о его уме? Он бывал, как и Хармс, очень умен, честен, думая и говоря, — а это также иной раз оживляло, как убивала его злоба. Бывал он и печален.



Он был безжалостно честен и по отношению к себе. Но сила чувства сбивала его сильный ум с пути. Он страстно веровал в то, что чувствовал. Однажды он осуждал Хармса за то, что тот гордится своим отцом. Отец Олейникова был страшен, и вот сын не в силах был представить себе, что кто-нибудь может относиться к отцу иначе, чем с ненавистью и отвращением. Во второй, послемаршаковский, период своей жизни Житков все хотел что-то создать — сбить, точнее. Собираясь, обсуждали они журналы нового вида, книги небывалого типа, но до конца — даже до настоящего начала — дело не доходило. Взрывчатая сила Бориса помогала ему писать, но мешала организовывать и строить.

Так вот и шел он по жизни, коротенький, сбитый, как каменный, отчаянно улыбаясь, все нарываясь на драку, но верно держась друзей. Кому-то он все посылал деньги, за Олейникова просто болел душой. Он снял в Песочной дом и заставлял Олейникова ехать туда, поправиться, успокоиться. Да, так вот и шли мы, понимая и не понимая, что ждет нас впереди. И Борис рядом как равный, а вместе с тем и как старший. И в тумане, в дорожной суете, раздражаясь и бранясь по-соседски, видя друг друга слишком близко, мы угадывали его силу все-таки и чувствовали благородство этой силы. И вот однажды пришел Борис Степанович к Бианки, бледный и мрачный, с бутылкой коньяку. Не отвечая на вопросы, выпил он эту бутылку один. И, уже уходя, признался: “Черта видел. Получил повестку с того света”. Пояснить свое странное признание Борис отказался. Вскоре он слег. К этому времени был он женат на черненькой, не очень молодой, молчаливой, в высшей степени интеллигентной женщине. Чем он болел — ни за что не хотел говорить. Лечился голодом, хотя сам сказал как-то, что от его болезни голод не помогает.

1952
30
октября

Я заходил к нему. Он лежал на узкой своей койке, отощавший и побледневший, но неуступчивый. Иногда только мелькало в таком знакомом лице его незнакомое выражение как бы некоторого смущения, виноватости. Он не привык болеть. Говорили, что он болен тяжело, что у него рак легкого. Он перебрался в Москву, к сестрам, и оттуда о здоровье его приходили все дурные вести, но я им не верил, не хотел верить. Я знал, как силен Житков. Мускулы у него были железные, выносливость и упорство воистину морские. В 1938 году мы поехали в Гагры. И там я узнал о смерти Бориса. И ужасно обиделся. Обиделся на то, что он умер, — это не шло ему, его вечной подвижности и упрямой жизнедеятельности. Обиделся на собственную глупость, вечную нерадивость в дружбе. Всю жизнь растрачивал я, сам не замечая как, время, дружбу, себя, все утекало между пальцами, все мне казалось — успею да успею. И вот нет Житкова, как и многих других, все кончено, необратимо и непоправимо. Борис занимал большое место в моей жизни, встречался я с ним или нет. Как многие сильные люди, он влиял и на дело, и на близких кроме всего прочего и самым фактом своего существования. И вот в мире моем стало пустыннее. Вскоре я узнал, что хоронили его, как подобает [хоронить] большого человека. Смерть его всколыхнула, вывела из равновесия больше людей, чем можно было предположить. А Шкловский плакал на похоронах горькими слезами. Вот его ссора с Борисом

оказалась не роковой, они сблизились за последние годы, уважали друг друга. Так вот и кончился путь, который никак не могли бы мы угадать в начале. Угловатая судьба Бориса, сила его с завихрениями заносила его, уводила куда не ждешь — и привела к славе, к ошибкам, к победам, к чудачествам и к смерти. Он был сильнее нас, но жил в движении, как мы, и мы любили его за это.

1952
31
октября

Позавчера стал переписывать все, что написал о Житкове. Я не соврал ни разу, не придумал ни единого слова, может быть умолчал о том, что трудно или непристойно писать. Не рассказал о Евгении Павловиче Иванове, друге Блока, рыжебородом, худом, бледнолицем и, как о нем говорили, младенчески ясном. И я бы так сказал, если бы меня не опередили. Он часто бывал у Житкова и тоже пытался писать для детей. Как бы фраза “воздух словно звоном набит” и была найдена, когда Житков и Маршак редактировали, или, проще говоря, сочиняли книгу Евгения Павловича заново. Был Иванов прост и ясен, но вместе с тем оставался символистом чистой крови и никак ему не удавалось найти себе место в новой жизни “в трезвом, неподкупном свете дня”. Однажды у Житкова собрались работники из ЦК комсомола. Зашла речь о воспитательном значении литературы, и Евгений Павлович заговорил о том, что есть люди дневные и ночные, со всей глубиной и неясностью своей веры. И одна из комсомолок спросила: “Какие же это ночные люди — хулиганы, что ли?” С Борисом Евгений Павлович был очень ласков, но отличал, когда его заносило, и умел двумя-тремя словами вернуть его на землю. А бешеный темперамент или азарт при желании “поставить вещь на ребро” часто увлекали Бориса невесть куда. Худой, белолицый, как все рыжие, с маленькой рыжей дочкой, с кроткой высокой женой появлялся он у Житковых — и становилось светлей. Но вот я узнал, какое горе висит над этой семьей. Кроткая и высокая жена Евгения Павловича страдала тяжелой душевной болезнью. Припадки наступали у нее внезапно и при этом буйные. “Легко ли, — сказал Иванов Маршаку, — помогать связывать близкого человека”. Жену его только что увезли в сумасшедший дом.

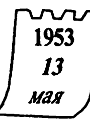


И судьба не давала Евгению Павловичу отдыха. Маленькая рыженькая дочка его, которую так любил смешить Житков, позже стала страдать такими же припадками, что и мать. Я встретил однажды Евгения Павловича на Невском. Толпа прохожих шла

плотно, и он меня не заметил. Он вел под руку высокую рыжую девушку, лицо которой дергалось и выражало бессмысленный ужас. И походка у нее была странная, вихляющая, ее всю передергивало с каждым шагом. А Иванов глядел печально и, пожалуй, сурово. Он осунулся, и бледные щеки его как будто потемнели. Впрочем, дочка его, кажется, поправилась впоследствии. Встречал я у Житкова Княжнина, тоже как-то связанного в свое время с символистами. Этот, не в пример Иванову, был мрачен и имел дар источать мрак. Этому все было постыло, и вокруг него шла отчетливая полоса отчуждения. В последние годы подружились с ним Груздевы, Шкапская. Форш сделала с Бориса карандашный портрет, который после смерти Житкова подарила Союзу писателей. Но в это время, во время дружбы с Груздевыми, Шкапской, Форш я уже почти не бывал на Матвеевской, 2. В Гаграх, прочтя в газете о смерти Бориса, я обиделся, как уже рассказывал, а вечером пошел в свою любимую прогулку по шоссе. Я все мечтал, и шел, и опьянел от этого. Мне стало казаться, что в мире вокруг есть правильность, что луна над горой, шум прибоя внизу и я — связаны, и в этой связи есть нечто утешительное, подающее надежду. И я стал дирижировать оркестром, играющим музыку памяти Житкова. Счет шел на четыре четверти, музыка звучала неясно, но значительно. Часто наступали паузы на два такта. Полное молчание на два такта — и новая длинная-длинная музыкальная фраза, что меня очень трогало. Черное море, столь близкое Житкову, определяло душевное состояние, посвященное его памяти.

1953
12
мая

Первый раз в жизни я испытал, что такое успех, в ТЮЗе на премьере “Ундервуда”. Я был ошеломлен, но запомнил особое, послушное оживление зала, наслаждался им, но с унаследованной от мамы недоверчивостью. А даже неумолимо строгие друзья мои хвалили. Житков, когда я вышел на вызовы, швырнул в общем шуме, особом, тюзовском, на сцену свою шапку. Утром я пришел в редакцию. Все говорят о текущих делах. Я закричал “Товарищи, да вы с ума сошли! Говорите о вчерашнем спектакле!” Неумолимые друзья мои добродушно засмеялась. Молчаливый Лапшин убежденно похвалил. Я был счастлив.



Но держался я тем не менее так, что об успехе моем быстро забыли. Впрочем, Хармс довольно заметно с самого начала презирал пьесу. И я понимал за что. Маршак смотрел спектакль строго, посверкивая очками, потом, дня через два, глядя в сто-

рону, сказал, что если уж писать пьсы, то как Шекспир. И жизнь пошла так, будто никакой премьеры и не было. И в моем опыте как будто ничего и не прибавилось. За новую пьесу я взялся как за первую — и так всю жизнь.

1953
18
мая

В 26-м году нас вызвали на радио. Помещалось оно в те времена на улице Герцена, во дворе. В первом этаже бухгалтерия и канцелярия, во втором — студия и аппаратура. Руководство предложило нам выпускать два раза в неделю детские передачи, на что мы и согласились. Ведал всем этим делом человек лысоватый, самоуверенный. Лоб падал круто вниз от прямого темени. Гурвич или Гурович, в прошлом художник, прославившийся тем, что писал картины овсом, пшеном, рожью. Потом он был директором "Красного театра". К нам он был благосклонен. Направив на нас свой крутой рахитичный лоб, он признавал наши заслуги в следующих выражениях:" Я всегда отличался умением выбирать себе помощников". То, что мы позволяли себе в те времена по легкомыслию, показалось бы теперь просто убийственным. Были придуманы персонажи: тетя Анюта, Петрушка, какой-то немец, ученый, с акцентом, еще кто-то — забыл за двадцать шесть лет. Весь передаваемый материал распределялся между персонажами. Петрушка читал юмористический, немец — научно-популярный, с акцентом, чтобы не было так скучно, тетя Анюта — бытовой. Я писал для них интермедии два раза в неделю. Остальной материал подбирался из редакционного портфеля Детского отдела. Работа шла весело, развлекала и увлекала работников радио. Бухгалтер, высокий, субтильный, обладатель нежнейшего тенора принял непосредственное участие в передачах. Отыскал где-то песенки и заливался перед микрофоном о том, как птички "чирик-чик-чик, чирик-чик-чик, так жалобно поют". Получали мы тридцать рублей за передачу — порядочные деньги по тем временам. По условию субтильный бухгалтер платил нам в день передачи. Мы завели отдел личных обращений к слушателям по жалобам родителей.

1953
19
мая

Отдел имел оглушительный успех. Письма в огромном количестве — от родителей и от самих детей — так и посыпались к нам. Радио тогда еще не вошло до такой степени в жизнь, в государственный аппарат, общение со слушателями отсутствовало. Почта остальных отделов лежала обычно на верхней доске бюро, за которым сидел бухгалтер — десяток писем с пожеланиями, два-три с доносами на соседей, пользующихся незарегестрированными приемниками. А у

нас — целая кипа. Вечереет, я иду не спеша, получив три червонца, по улице Герцена из радио домой. Я возбужден, работа сдана и принята весело, на сегодня я свободен. Я пришел в состояние равновесия и боюсь потерять его, поэтому не спешу. Захожу в магазин на углу Невского, покупаю конфет. И вижу этот вечер до сих пор как только что пережитый. Когда я писал автопортрет, то забыл добавить, что приобрел способность находить равновесие в промежутке между двумя толчками землетрясения и греться у спичек, и с благодарностью вспоминать отсутствие тревоги как счастье. В 27 году я почувствовал с чуткостью, которая у всех нас выработалась уже тогда, что работа наша на радио идет к концу. Смутный холодок во взгляде и тоне директора был первым сигналом. Он перестал говорить, что всегда отличался умением выбирать сотрудников. Друзья из руководства старались держаться непринужденно, но я угадывал: они знают и скрывают нечто, для меня не слишком приятное. И без резких толчков, как это бывало в те времена, мы на радио работать перестали. Не могу никак припомнить, как это вышло. Сменил нас Туберовский. Но много спустя, встречая артистов, работавших у нас на радио, я с удовольствием слышал, что они не забыли то веселое время.

1953
22
мая

Надо решить, что рассказывать дальше. Пожалуй, тридцать второй год? Поездку в Коктебель? Нет, сначала 27-й год и поездка в Судак. В эту поездку набралось так много минут равновесия, что вспоминается она, как один счастливый день. Ехали мы прямым вагоном до Феодосии. Нэп еще жил.

1953
23
мая

Незадолго до Феодосии появились в вагоне личности в пиджаках и при галстуках, но испитые, неуверенные, все задумывающиеся — частники, владельцы машин легковых и автобусов. Тогда у нас у всех в памяти были свежи голодные годы, разруха, мощная борьба с частниками. Нэп был еще прочен, но казался случайным, вроде бабьего лета. И это удобство — покупка билета — заранее больше смущало, чем радовало нас. Мы остановились на несколько минут в Коктебеле. Лиля Шик, сдержанная, высокая, вся в белом, встретила нас. Уговаривала остаться до завтра, но Ганя запротестовала. Петр Иванович Соколов, ехавший с нами, задумался, грустно вздыхая. И я узнал позже причину его задумчивости. Печально и мечтательно покачивая головой, сказал он, что вот такие большие женщины лет тридцати и есть настоящие женщины. “Вы ей нравитесь, потому что ей кажется, что вы нежны. Она и

не знает, как я нежен с женщинами". Я нравился Лиле Шик не больше, чем зрелой и одинокой женщине все ее интеллектуальные друзья. Здесь не было ничего похожего на влюбленность. Но Петру Ивановичу Лиля Шик понравилась иначе, и сразу мятежная его душа преисполнилась ревности, подозрительности и печали. Большинство приезжих в Судаке снимали комнаты в немецкой колонии, за большой генуэзской крепостью, но мы, посидев в кофейне и расспросив местных жителей, отправились в обратную сторону, к горе Алчаг, и сняли здесь домик у рыжеватого, быстрого садовода по имени Женя Комонопуло. В одной комнате Соколовы, в другой мы, хозяева в пристроечке.

1953 *24 мая*

Гора Алчаг, поросшая полынью, сероватая и каменистая, у подножья зеленела — шли сады и виноградники. К морю мы шли среди живых изгородей, а в город — долиной, о которой в путеводителе говорилось, что она "разительно напоминает итальянские". Множество кипарисов, каштановая аллея. У самого уже почти города, пониже дороги, белел дом с узкими татарскими окнами и по-европейски высокий, с острой крышей. Принадлежал он графам Капнистам, и в те дни там жил еще юноша лет девятнадцати — последний Капнист и его бабка, англичанка, совсем высохшая, седая, прямая. Я слышал, как, шагая по песку у моря, старуха приказывала сама себе:" Раз-два, раз-два, вот так, вот так". После долины город удивлял малым количеством зелени, сухостью и серостью. За городом, перед немецкой колонией, поднималась круто гора Сокол со стенами генуэзской крепости. Такова была суша. Но жизнь нашу определяло море. Изрезанный берег и неровный цвет моря — то зеленые, то темные пятна — поражали меня, привыкшего к Кавказскому берегу. Особенно бухты и заливы, ограниченные скалками у горы Алчаг. Суровость восточного берега здесь не так ощущалась, как в Коктебеле. Там казалось, что суша отделена от моря всего с месяц назад и только и успела, что просохнуть как следует. У горы Алчаг дачников было немного, и мы с Соколовым ходили целыми днями в трусах. Комната была просторная, с запахом известки и полыни. Я тогда начал новую жизнь: бросил курить и работал.

1953 *25 мая*

Я работал ежедневно по два часа, перед обедом, уйдя с моря. Дописал до конца первую свою пьесу, непозволительно безграмотную и наивную, что, впрочем, я чувствовал и в те дни. Главной причиной тогдашней моей неуверенности и тревоги было

несоответствие между богатством впечатлений и бедностью языка. Я не нашел даже подобия формы. Часто говорили мы с Петром Ивановичем о том, как работать. Он считал, что для работы нужна "физиологическая тоска". "Смотришь, смотришь, и вдруг от копчика вверх по спине побегут мурашки — и готово, пиши". Он пытался объяснить мне, что такое цвет, и какие художники свои картины раскрашивают, а какие понимают краски. Указывая на кусочек мыла, забытый среди камешков на берегу, грустно покачивая головой, он сказал однажды: "Где в природе найдешь такой цвет! Куда о́н!" Рассказывал он, как начал работать первый раз. Он заболел, в гимназию не пошел и стал от скуки срисовывать портрет Чехова. И сам удивился, как мягко карандаш передает волосы. Портрет продали на ученической выставке за пять рублей, к его удивлению и гордости матери. Она принесла ему открытку с пейзажем Шишкина, и Петр Иванович стал ее копировать. На пейзаже были только сосны, а ему вдруг страстно захотелось нарисовать среди них березку. И мурашки побежали от копчика вверх по спине, и с восторгом от ощущения, что он в своей работе хозяин и вместе с тем ужасаясь собственной дерзости, он поместил березку между соснами. "Вот с этого дня я и стал работать". Однако при всем богатстве своих знаний и Петр Иванович был в тревоге.

1953
26
мая

Несмотря на постоянные поучения о том, как следует работать, что такое штрих, карандаш, цвет и прочее, Петр Иванович делал так же мало, как я. Ему предстояло иллюстрировать "Робинзона" для Госиздата; он томился, искал форму. "Как я нарисую след на песке?" — сокрушался он. Я искал выхода из глухонемоты своей повсюду и поэтому ловил каждое уверенно произнесенное слово — не здесь ли ключ? Петр Иванович проповедовал со страстной убежденностью, и я готов был верить и ему, не догадываясь, что он также только ищет дороги, как я. Однажды он воскликнул страстно:" Вот найти что-нибудь, равное по чувству современности хотя бы джазу!" И тогда, в 1927 году, мне показалось, что я его понимаю. Утром шли мы к морю, а однажды поднялись на Алчаг — в тот день Петр Иванович веровал в сверхъестественную силу ультрафиолетовых лучей в утренний час на горной вершине. Сильный, но скорее теплый ветер. Море особенное, непривычное, в сияющих и сверкающих пятнах. Казалось, что поверхность моря покрыта ковром, рытым, как бы из бархата водяного, однако, не из той воды, что тяжело ходила под бархатом. В ямке на вершине бегал и суетился паучок.

Петр Иванович, темноволосый, смуглый, лобастый, толстогубый, коротконосый, по-негритянски легконогий, производил впечатление человека здорового. Мешали этому впечатлению темные его глаза. В них вдруг мелькало выражение туповатой, пригнетенной боли, как у эпилептика. И когда загар исчезал зимой, впечатление нездоровья усиливалось землистым, желтоватым цветом лица, некрасивого, но с ясно выраженным характером. Он лежал на горе и тревожился.

1953
27
мая

И философствовал. Грустно покачивая головой по своей привычке, он спорил с отсутствующими противниками, так как по мятежному характеру своему начинал мыслить с решительного отрицания. В те дни чаще всего спорил он с Петровым-Водкиным, своим учителем. Он признавал, что кое-какие крохи тот нашел, но не главное, ни на что не нужное, неинтересное. Затем он доказывал мне, что я должен писать прозу, ибо без прозы писатель, все равно что художник без станковой живописи. Затем в глазах его мелькало угнетенное, словно эпилептическое выражение, и он жаловался на здоровье. Убежденно провозглашая, что у него рак желудка. К этому времени мы столовались у хозяев, и Петр Иванович подозревал, что обеды готовятся не так, как следует. Это видно сразу!

Мы в Судаке. Начало августа. Жизнь наша у подножия горы Алчаг уже вошла в колею. Мы с Петром Ивановичем рано утром взобрались на вершину горы, невысокую и легкодоступную, и, переменив несколько тем, заговорили о питании. Нет, хозяйка кормила нас не так! “Борщ издает не тот густой аромат, какой подобает настоящему, с любовью сделанному борщу”, — объясняет Петр Иванович. Запах объясняет все. Он лично по запаху может сказать безошибочно, посолен борщ или нет. Чистая пища без всяких там томатов и перца — вот что дает человеку здоровье. О питании говорит Петр Иванович с той же убежденностью, как и о других предметах, и с обычным [своим], удивительным даром слова — свойство, о котором забыл упомянуть я вначале. Не красноречие — говорил он просто, а дар божий. Рассказы его остались в памяти как пережитые, как лучшие из житковских рассказов. После солнечной ванны на горе спустились мы к морю, и вторая половина дня слилась с остальными — она ничем не выбилась из колеи. Колея же была такова. Часов в двенадцать уходил я домой и с отвращением и ужасом писал. Привело это к тому, что 20 августа я пьесу кончил. Вот предо мной эта черная толстая в твердом переплете

тетрадь, подаренная 21 октября 1926 года в день моего рождения Олейниковым. В ней [записи], сделанные в тот же день на память мне Лебедевым, Лапшиным, Гринбергом, Будогосским. Гороскоп, сделанный Шароновым, который в те дни выпускал у нас книжку по астрономии. Тогда же начал писать я пьесу, которую и кончил в этой тетради, больше похожей на толстую книгу, в Судаке. После пьесы там идет следующая запись: "Вчера я эту пьесу закончил, а сегодня прочел с ужасом и отвращением". И так далее ..." И вот моя неудача, моя бедная пьеса, о которой я столько мечтал и ни разу не обдумал, — вот она передо мной. В двух-трех местах что-то как будто проглядывает. Энергия? Нервы? Остальное бесформенно. И в заключение ... "Сделал впервые длинную вещь, большую, станковую в некотором роде — и как стыдно!" Что писал я, кроме этой пьесы? Роман, где хотел добиться чувства той современности, о которой говорил Петр Иванович. Роман я не только что не кончил, а в сущности не начал. Эпиграфом стоял отрывок из очерка в "Вечерней Красной газете". Автор рассказывал, что в винном совхозе посетил подвал, где искусственным способом изготавливаются столетние вина. В подвале кричал сверчок. Вот от имени этого сверчка, пьяного от испарений столетних вин, перед которым искусственно ускоренным ходом пробегают столетия, и собирался вести я рассказ. Но формы тоже не нашел, увы!

1953 *28 мая*

Не нашел я формы и для того, чтобы просто описывать, записывать свою жизнь день за днем. Я испытывал стыд и неловкость, впрочем, вероятно, объясняемые еще и тем, что упорно не хотел видеть, как тяжела моя жизнь, закрывал глаза на ее безобразие. Я говорю о семейной жизни моей. Как я мог писать о ней? И сейчас не поворачивается рука. Но я не мог писать и о "пятачке", или как его назвать, он не имел имени, где стояли киоски, — газетный, булочный, где торговал турок, меланхоличный, вежливый, киоск с минеральными водами, где восседала полная женщина, павильон, где продавали кефир, мадзун и прочее. Тут уж положено было одеваться. Московские актрисы, кажется, мхатовской студии, неизвестные дельцы с великолепными женами, студенты, военные, на всех смотрел я из моего плена, не находя сил, чтобы с ними познакомиться, не находя слов, чтобы их понять. Петр Иванович утверждал, что впечатления при всем своем разнообразии сливаются в одно целое, как борщ. Я готов был согласиться с ним, но не находил слов для определения целого. Иногда в толпе находились знакомые. Николай

Васильевич Петров встретился нам у каштановой аллеи. Он казался и взрослым, и молодым, и я завидовал той легкости, с которой он жил. Вот он был понимаем и уважаем в том мире, который я презирал и жадно разглядывал, в мире "пятачка". И я почувствовал себя польщенным, когда он заговорил со мною как с равным. С "пятачка" шли мы обыкновенно на почту. К этому времени разбирали письма, пришедшие в Феодосию с утренним поездом. Мы получали их "до востребования" у окошечка.

1953 *29 мая*

Иногда получали, иногда же девица сообщала, что писем нет, и всегда мне казалось в таких случаях, что она плохо смотрела. Вечер мы, как правило, проводили дома, и я иной раз выходил из садика на верхнюю тропинку, где росли кусты каперса, как объяснил мне Петр Иванович. Я бродил по тропинке и мечтал, и томился — у меня не было слов для того, чтобы передать черное небо, с детства знакомое, со звездами, имена которых я давно собирался узнать, но в последний миг лень не позволяла, пугала. Кричали, пилили в кустах и полыни кузнечики. Иной раз слышен был прибой — и перед всем этим стоял я и молчал. Впрочем, в этом мучительном желании ответить было своеобразное наслаждение, ощущение силы, не нашедшей выхода, но все-таки силы. Спускаясь с горы, встречался я с нашей цепной собакой, которая ночами бегала на свободе. Я каждый день после обеда кормил ее, и мы дружили. Иной раз она подымалась в гору, ко мне, стояла рядом и прислушивалась. Погода стояла все время хорошая, и, просыпаясь утром и видя солнечный луч, перерезающий комнату с плавающими пылинками, я испытывал радость без всякой примеси, полную надежды на чудо. Какого? Неизвестно. Только в результате я перерождался и начинал отлично работать. Открывались ставни. Мы умывались у родника или во всяком случае ледяной водой на улице и под крышей из виноградных листьев завтракали на террасе. К этому времени часто появлялся Эмер-Вали, старый татарин, седой, стройный, разговорчивый, но державшийся с достоинством. Он приносил сливы, груши, к концу месяца и виноград. Иногда он соглашался выпить с нами чаю, и я удивлялся изяществу его движений, завидному для меня с моими нескладными руками. От масла всегда отказывался, видимо, подозревая, что к нему может быть примешано свиное сало. Варенье брал охотно, признаваясь просто: "Сладкое люблю". По-русски говорил свободно, почти без ошибок, путал только мужской и женский род.

1953
30
мая

Однажды он прибежал бегом, изменив своей неторопливости, смеясь застенчиво. Отдышавшись, рассказал: “Как она за мной гналась!” — “Кто “она”?” — “Стражник!” Эмер-Вали промышлял контрабандным табаком, и стражник гнался за ним, собираясь оштрафовать. Но хитрый старик на бегу разрывал пачки и рассыпал табак, и, увидев, что улики исчезли, преследователь отстал. К тому времени я бросил курить, что огорчило старика. “Не надо верить докторам! — сказал он однажды. — Они скажут — дыши так (показывает), дыши так (показывает). Ты болен, не кури. У меня жена был очень больной. Доктор слушал, слушал — неси ему коридор! Я вынес. Доктор зовет обратно, говорит шепотом: “Пятнадцать дней ему жить” (с воодушевлением). Мне жарко стало! Ты умрешь, я умру — кто знает когда? А тут... День проходит, я считаю, четырнадцать дней ему осталось. Еще день — тринадцать дней осталось. А на пятнадцатый день жена встал, на шестнадцатый пошел — еще пять лет жил! А ты не куришь? Зачем? Не надо верить докторам”. Однажды я спросил, есть ли в деревне татары, имеющие трех жен. Подумав, Эмер-Вали ответил: “Это можно. Если богатый и здоровый, можно иметь трех жен. Если одной привез подарок, другой давай точно такой и третьей точно такой же. Зашел к одной, заходи к другой и третьей. Иначе в доме будут ссоры. (Помолчав). У меня было две жены”. И, словно стыдясь, рассказал старик, как жена его в последние месяцы своей жизни сокрушалась, что она в саду ему не помощница. А работника нанять не позволяла. И велела мужу жениться. И он послушался. Но новая жена “очень глупый был. Я работаю — старый человек. А она молодой (изображает, хватаясь за поясницу) — ох! ох! Как первый жена умерла, я вторую рассчитал. Очень глупый была. Я ему рассчитал, молодая, здоровая баба два года так стояла. Никто не женился”. У Эмер-Вали был взрослый сын, коммунист, видимо, сильно его беспокоивший. Он его хвалил за почтительность, но не мог понять многого. Например, почему сын в будние дни подавал ему и гостям кофе, а в праздник отказывался. “Я, старик, люблю почет, а он отказывается. Говорит — бога нет”.

1953
31
мая

Очень часто среди разговора возвращался Эмер-Вали к сыну по самым разным случаям. Заговорили о бубликах, о том, что настоящих южных черноморских бубликов в Ленинграде не достать. И старик задумался. И сказал печально: “Мой сын мог бы открыть в Ленинграде бубличную. Да разве он захочет? Коммунист!” Возвращался он в разговорах часто и неожиданно к религии. Сидя на тра-

ве возле террасы, возле мешка с товарами своими, помалкивал он, все думал о своем и однажды сказал, усмехнувшись: “Спрашивают: ты бога видел? Как же его видеть? Он не человек! Бог!” Всегда он был спокоен, ровен, и, когда Петр Иванович не без зависти похвалил его за это, Эмер-Вали просто кивнул головой, принял похвалу и в подтверждение рассказал, что жил в Судаке генерал, у которого никто не уживался, так сердит он был. И из всей прислуги остался у него один Эмер-Вали. “Горничной я была, кухаркой я была, дворником я была. Шесть коров было — всех я давила”. Однажды он пришел смущенный, сосредоточенный — небывалое событие произошло в их деревне. Покончил самоубийством молодой татарин. Эмер-Вали не сомневался, что это дело дьявола. Он шептал несчастному на ухо: “Убей себя, убей себя!” Самоубийца года два назад женился на еврейке — это ничего, на коммунистке — это можно, плохо, что на старой — двадцати пяти лет! И она изменила ему. “Это не татарин! — твердо сказал Эмер-Вали. — Изменила — убей ему! Зачем себя убивать? Это не татарин!” Петр Иванович видел однажды на базаре, как нашего старика стал поддразнивать молодой парень. Эмер-Вали, добродушно улыбаясь, схватил обидчика за пояс и стал вертеть его в воздухе мельницей, к общему восторгу. Наш хозяин Женя Комонопуло — грек, обрусевший полностью, не знавший языка греческого, сам себя считал русским.

1953
1
июня

Рыжеватый, маленький, от предков своих унаследовал он только воображение. Ходил он всегда быстро, и я в первый день знакомства решил было, что случилась беда, увидев, как мчится наш хозяин по саду. Но он объяснил мне, произнося “ж” мягко, по-южному, как “щ”: “Не! Я всегда так скоро хощу. Меня все спрашивают: “Щеня. Куда ты бещишь?” И он рассказал, как, отбывая воинскую повинность в Феодосии, бегал в Судак к молодой жене. “После поверки убегу вечером, а к утренней уще в казарме. 120 верст! Щестьдесят туда и щестьдесят обратно и усе бегом!” Увидев, как мы плаваем, он поведал, что еще недавно, закрутив голову рубашкой, спрятав в этой чалме бутерброд, пару папирос и спички, он “уплывал у море часов в семь утра, а назад — к трем! Вот как надо плавать”. Жена у него была молоденькая, черноокая, расторопная. Жили они дружно. Он однажды решился было изменить жене. После какого-то прибыльного дела товарищи затянули его к некоей бабе, известной легкостью поведения. “Сищу, граммофон слущаю — вдруг щто такое? Пластинка лопнула? Смотрю — щена. Раз, раз по щекам — иди домой! Ну я и пощел. И все”. В середине августа мне страст-

но захотелось путешествовать пешком, поехать на пароходе, вновь пережить те стойкие, не обманывающие чувства, что, словно подарок, получил я в детстве, обнаружил в своей душе, как на столике у кровати в день рождения. И мы решили поехать на пароходе в Ялту и оттуда пойти в Мисхор, где жили Макарьевы, вообще побродить пешком. И вот мы с Петром Ивановичем на фелюге подплыли к неожиданно высокому и крутому пароходному борту. Палуба едва заметно ходила под ногами. И я узнал старое чувство, чуть-чуть испорченное — чем? Чего не хватало мне? И понял: безответственности детских и юношеских дней. Скоро стал накрапывать дождик. Петр Иванович потребовал у боцмана, чтобы натянули тент, и усмехнулся, услышав ответ: "Буду я сейчас аврал подымать". Дождь, редкий и теплый, не огорчил нас. И мы дремали на обширной деревянной крыше грузового люка.

1953
2
июня

В Ялту мы приехали ночью. По дороге в агентство, где думали переночевать, вышли на базар. Это было похоже на чудо. Ярко раскрашенные, крохотные духанчики светились изнутри, музыка завывала. Мы остановились полюбоваться этим похожим на карусель блеском. Петр Иванович недоверчиво улыбался. Но удержаться было трудно, и мы зашли, выпили водки под музыку. Ночевать в пароходном агентстве оказалось невозможным — так страшно храпел на скамейке пассажир, ожидающий открытия кассы. Сторож-татарин разбудил его и сказал строго: "Зачем так делаешь р-р-р! Р-р-р!" Это помогло всего на две минуты. Мы прошли через город, поднялись на верхнее шоссе. Начинало светать, деревья и море приобретали цвет. Мы свернули в лес, легли спать под соснами. Утро. Петр Иванович весел. Водка, выпитая в цветном духанчике, отлично подействовала, и на сегодня он поверил, что у него нет рака желудка. В татарской деревне мы не то пьем молоко, не то разговариваем с хозяевами и отдыхаем — осталось ощущение раннего утра, выбеленных стен, высокой террасы, пустынного шоссе. Мисхор. Макарьев и Зандберг в рабисовском санатории. Множество актерских лиц. Кто-то уплыл в море более часу назад и не возвращается. Пианист в детской панамке с лицом пожившего мальчика восклицает: "Их не видно! Они погибли!" И я с любопытством и страхом угадываю в его воплях извращенную радость. В верхних улицах Мисхора, в маленьком домике около мечети жили Уварова и Гаккель, на похоронах которого я был вчера, 1 июня 1953 года. Хотел было написать о нем в гробу, о гражданской панихиде, но ведь то, что в 27-м году он был жив и здоров, так же

непреодолимо и верно. Он встретил нас ласково. Уварова — загадочно. Она имела сердце забывчивое, нрав капризный, и сама не знала, кто мы ей такие.



Она, Уварова, не вглядывалась в нас, а сосредоточилась в себе, зная, что зависит не от внешних впечатлений, а от норовистой сущности своей. В конце концов и она приняла нас, взвесив на внутренних своих весах. В те дни Лиза была хороша и при первой встрече у Любошевских произвела на меня очень сильное впечатление. При моей влюбчивости тех лет, мечтательной и бездеятельной, я отвел ей особое место в душе. И хоть шел я к Макарьевым, но не без удовольствия думал, что увижу и ее. Свобода, близость людей, относящихся ко мне хорошо, чувство путешествия опьяняли меня, и я впал в то вдохновенное и бездумное состояние, которое любил сам и которому подчинялись даже свирепые мои друзья. Особенно радостно и весело подчинялся в Мисхоре этому безумию совсем не свирепый Гаккель. Был он невелик ростом, очень худ, голову имел большую, несколько удлиненную, темные волосы надо лбом, вытянутый вперед профиль. Макарьев хорошо передразнивал его повадку — держать, объясняя или рассказывая, перед собой кисти рук, больших не по росту, на весу, как бы собираясь вцепиться в предмет беседы или в рассказчика. И несмотря на колючую свою внешность, на смелость и предприимчивость с женщинами, был он в самой сути своей мягок, нежен и светел. Искусство и таким образом может преображать людей. Он был воспитан хорошей погодой, светом искусства. Он получил добротное воспитание, знал языки, умел играть на рояле, в свое время пробовал писать, играл на сцене и, наконец, стал режиссером. И достаточно хорошим. Но административно невинным. Драться он не хотел и не мог, по благородству воспитания, а режиссер без своего собственного театра не может воплотиться полностью. Гаккель не дрался, а делал неожиданные ходы. Так, вдруг решил он идти в кино, что было вполне допустимо, но для этого взрослым человеком поступил в Институт кинематографии.



Режиссером в кино делается тот, кто просто на это решается. Но Гаккель, поступив самоотверженно, показав уважение к делу, выдал киношникам свою нерешительность, и его быстро вытеснили из этой области искусства. Не по злобе, а просто от избытка энергии. И Гаккель вернулся в театр, и, где бы ни работал, его

любили актеры, постановки его имели успех, но выводов из этого не делалось. Так он и умер, и Шура Охитина, выступая на гражданской панихиде, сказала: “Если бы все добрые слова, что говорятся над гробом, были сказаны ему живому, то больное его сердце еще работало бы”. Но тогда мы не знали, что он через двадцать шесть лет умрет, и держались с ним как с равным, и я с особенным удовольствием смешил его. Рядом с Гаккелем оказались Островские, те самые, из Майкопа, — Татьяна Яковлевна, жена Григория Яковлевича, доктора. Даже имена их переносили меня в такие далекие дни детства. Татьяна Яковлевна была в Мисхоре с сыном Юрой и, кажется, дочкой Верочкой. Я пошел к ним в гости, смешил детей (им, впрочем, за двадцать) и смущал, по-моему, Татьяну Яковлевну непристойностью своего костюма: я был в трусах. Вечером мы бродили по горам большой компанией с Гаккелем, Лизой, Макарьевыми и ночевали на склоне горы. Днем сидели на поляне, и к нам подошел странный нищий: хлопая обрубком руки, как крылом, он требовал милостыни и, получив, кивал, как король. Вечером шли мы по узким улочкам Мисхора, и нам встретился молодой парень. Он бежал с отчаяньем, бледный, а за углом мы поняли почему. На асфальте лежал и не дышал конь, молодой, сытый, в луже воды — видимо, его обливали из ведра, пытаясь привести в чувство. Ночью мы едва не поссорились с Петром Ивановичем. Мне так нравилось в этой доброжелательной среде, а он заявил, что тут скучно и он уходит. В пылу спора я оторвал ручку его чемоданчика, и Петр Иванович заявил сухо, чтоб я потрудился отдать его в починку.

1953
5
июня

После переговоров мы решили все-таки не уходить отсюда, а на другой день отправиться всем вместе — и Гаккелям, и Макарьевым — в Ялту пешком по нижнему шоссе. Утром пробуждается восторг при виде дороги. Мне только чуть стыдно, что путь предстоит столь короткий. Выходим. Шоссе. Открытые ворота какого-то санатория, какого-то особо высокого, не то ЦИК, не то “Правды”. Все спит. Аллеи в неестественно подметенном состоянии, все прибрано, и пригнано, и таинственно — у ворот стоит милиционер. Макарьев мрачен и демонстративно шагает по солнцу, губит зрение. У него и так что-то неладно с глазами, а он не надевает шляпу. Наказывает близких. Ливадия. Бассейн в виде карты Черного моря. Алупка. Бесплодные попытки понять, что дворец Воронцовых был обитаем. Уж очень он декоративен. Чувство меры твердит, что так не бывает, майкопское, монашеское, интеллигентское чувство меры, то, что заставляло тогдашних актеров стихи читать,

как прозу, стыдливо маскируя размер и рифмы. В Ялте в гостинице Макарьев встречает каких-то актеров, достаточно известных. Они принимают его как равного, и вот он уже сидит с ними на балконе гостиницы и кивает нам. Дорога, поездка уходят в прошлое. Но я помню: мы идем по шоссе. Виноградники. Гаккель глядит на Верочку Зандберг, идущую впереди, и смеется радостно, будто подарок получил: "Нет, все-таки у нее фигура..." — и он делает своими большими руками движения неопределенные, но явно одобрительные. И снова мы живем у горы Алчаг. Петр Иванович снова полон тревог, и ему кажется, что, изменив питание, он от них избавится. То он готовит себе пищу сам, то заводит знакомство с татарами и пробует обедать у них. Его многообразная душа не в силах обрести равновесие. Он уходит теперь бродить с утра и обижается, что я с ним не иду, выполняя свое расписание. Я ищу равновесия в ежедневной работе. В городе, в пансионе, живет художник Конашевич с семьей.

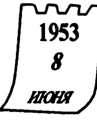
1953
6
июня

Владимир Иванович Конашевич тоже из людей, которым искусство дает спокойствие и равновесие. Петр Иванович поругивает его работы с меньшей яростью, чем Петрова-Водкина, но лично его скорее похваливает. Правда, в этой области Петр Иванович менее красноречив, чем в отрицании. Его похвала заключается скорее в отсутствии хулы. Я любил бывать в этом пансионе, в длинном доме с длинной террасой, но мне редко это удается: я прикован к горе Алчаг. Я с жадностью рассматриваю новые лица и, не задерживаясь, ухожу домой. Конашевич тут живет с женой и дочкой, трогательной тем, как без обычного в этом возрасте подурнения и надрыва превращается она из девочки в молоденькую девушку. Очевидно, у нее существо отцовское, не угловатое, а округленное. В противовес нам Конашевич много работает. Боюсь напутать, но он делает что-то на мокрой бумаге, отчего достигаются какие-то эффекты цвета. Он всегда спокоен и ласков. Это приятно, это ценишь, но в меру: чувствуешь, что этого добра у него много. Так же, как в пансион, убегал я иногда в город. Я сидел в кофейне и пил горько-сладкий кофе из чашечки, которую легко мог проглотить в полглотка, и запивал ледяной водой. И смотрел с жадностью, но с еще большей [жадностью] вскоре начинал мечтать и уже ничего не видел. И о чем бы я ни мечтал, все кончалось одним представлением: я начинаю работать и так далее, и так далее. Раза два заходили мы с Петром Ивановичем в погребок, пили розовый мускат. Первый стакан приводил в восхищение, а второй уже казался мне невыносимо приторным. Погребок, столики, голоса, звучащие осо-

бенно, запах вина и бочек, прохлада соединились в воспоминании в ощущение счастья. Однажды я зашел один в ресторан, вернее, в столовую. Липкая бумага от мух. Вентилятор под потолком. Плакат, призывающий хранить деньги в сберегательной кассе.

1953
7
июня

Кассирша, продавщица, вялый длинный заведующий, татарин, показывающийся изредка из недр столовой, — все хранят на себе ту же печать принадлежности к учреждению. И бумажные скатерти на столах. И графины с желтоватой водой. Всех их эта зависимость, принадлежность не радует. В частном пансионе, где жил Конашевич, работали несколько лихорадочно, но все же повеселее. Единственными уверенными людьми в столовой были два немца-колониста, здоровенные бритые мужики в сапогах. Они пили. Угощали какого-то приезжего, было, видимо, закончено дело. Глядя на них, я вспомнил, что конокрадов о особенной свирепостью избивают немцы-колонисты. Один из них захватил с собою кнут с длиннейшим кнутовищем и все постукивал им по полу. Взглянув на плакат, предлагающий хранить деньги в сберегательной кассе, он сказал веско: “Ты только давай, а где хранить, я знаю”. Но и в их уверенности угадывалась если не лихорадочность, то злоба. Генуэзская крепость в Судаке отличалась от всех, что я видел до сих пор. Кроме башен здесь сохранились высокие стены, шли по горе, напоминая детское представление о крепости. На воротах и карнизах сохранились изразцы. Я прочел, что генуэзские войска, которым республика не платила, бежали из Судакской крепости, осажденной татарами. Солдаты ночью, спустившись со скалы на веревках, погрузились на корабли и уплыли, оставив в крепости греческих женщин и детей. Недаром Эмер-Вали говорил: “Мы не такие татары, как казанские. Мы греки”. Приближались последние дни пребывания в Судаке. У нас кончились деньги. Впрочем, это вспоминается легко. Издательство “Радуга” не высылало причитающихся мне пятидесяти, кажется, рублей, и я все ходил на почту напрасно. На пляже Ганя познакомилась с матерью и дочкой, хорошенькой, нежной, словно светящейся, о которой я робко мечтал. Они иной раз приходили к нам, сидели и пили чай, и мать рассказывала очень хорошо.



Счетная книга — написано на обложке тетрадей. И, как я вдруг понял сегодня, название это соответствует действительности. Я рассчитываюсь за то, что столько лет брал, обещая расплатиться. Лето 27-го года приближается к концу, и мне жал-

ко с ним расстаться. Вот я сижу и пишу в комнате с глиняным полом и выбеленными стенами. За окном на террасе под виноградной крышей пьют чай наши, принимают гостей — мать и дочку-красавицу. И мать рассказывает о какой-то негодной девке: “Отец в гробу лежит, а она, хабалка, губы намазала — и на улицу”. Все тихо, мирно, и мне страшно поверить, когда вспоминаю я этот вечер и эту почему-то запомнившуюся фразу о хабалке, что страшное несчастье уже нависло над нашими гостями. Их застигло землетрясение в Крыму в сентябре, они поддались общей панике, неделю не могли попасть на поезд. Жили на станции чуть ли не в поле, и дочь заболела брюшным тифом и умерла. Я этому и верил, и не верил, и боялся некоторое время даже слова “хабалка” — оно мне напоминало несправедливость, беззаконие судьбы. В эту девушку влюбился последний Капнист. За ним следили местные власти, и его задержали, когда они с девушкой гуляли в Генуэзской крепости. Прогулка эта показалась подозрительной. Прабабка ходила хлопотать, и его отпустили. А деньги все не присылали, и я пошел к Конашевичу попросить взаймы. Он сидел в шезлонге на террасе под своим окном. На подоконнике стояла тарелка с черным виноградом, мелким, как смородина, оказалось, что это коринка. К моей просьбе отнесся он просто и ласково, сразу дал двадцать пять рублей. Смеясь, рассказал, что дочка, увидев продавца сладостей, у которого особенно славилась нуга, закричала на всю столовую: “Папа, нужник пришел!” И мы стали готовиться к отъезду. Соколовы еще оставались. С Петром Ивановичем отношения испортились навсегда. Его сердила семейная моя жизнь. Мои попытки работать. Я сам. Он все ходил пешком в Новый Свет, бывшее имение князей Голицыных, и так прекрасно описал лес по дороге, что он стал и моим воспоминанием.

1953
9
июня

Особенно поразило меня, что деревья в этом лесу “поднимаются прямо из земли, как колонны”. День отъезда все приближался. Мы купили билеты на пароход до Феодосии и тут же, в Судаке, плацкарты в ленинградский вагон. От 25 рублей, что я взял у Конашевича, осталось немного. Эмер-Вали удивился, что я не беру с собой винограду. Мы сказали, что прожились. Пароход уходил рано утром, и среди провожающих появился Эмер-Вали. Он принес корзинку с виноградом, упакованным по всем правилам, и, передав мне, сказал, что деньги можно прислать почтой. Снова палуба дышит, ходит под ногами. Весь недолгий переезд до Феодосии я был счастлив так, что даже сам удивился и склонен был считать ощущение это, ничем в сущности не вызван-

ное, предчувствием какой-то перемены к лучшему в моей жизни. Я лег на носу парохода, и мне казалось, что лечу. Дельфины без всякого видимого труда, словно только силой желания, шли перед самым пароходным носом, играли. Два красноармейца открыли клетку с почтовыми голубями, и они, поднявшись в воздух, повернули разом обратно, к Севастополю, как я подумал. Весело было не только мне. Пересмеивались весело матросы. Когда входили мы в феодосийский порт, боцман заметил у мола фелюгу, нагруженную прессованным сеном, и стал ее поддразнивать: "Этот пароход две недели будет пару ждать! У Греции кони уже зеленые очки понадевали, камни щамают". Поезд отходил вечером. Лежа на феодосийском пляже, я прислушался к разговорам, что вел полный, уверенный человек, которого я узнал. Я видел его в Ленинграде, но знаком не был. Это был юморист, сотрудник "Бегемота", боюсь напутать, по фамилии, кажется, Ломакин. Сытая его фигура раскинулась на топчане. Согнув колени и расставив ноги, он философствовал.

1953
10
июня

Лениво глядя на женский пляж, он осуждал женщин за безобразные фигуры. "Взгляните, насколько лучше сложены мужчины". Затем перешел к осуждению женщин во всех их проявлениях. Уверенно и снисходительно он вещал из-под панамы, закрывающей лицо. Ум женский он назвал несамостоятельным, а характер — детским. Хуже, чем детским. "Женщина — тот же примус, кто ее разожжет, для того она и горит". И с той же беззастенчивостью, с какой раскинул он сытую свою фигуру под солнцем — брюхо кверху, ноги врозь, он поведал историю своего последнего развода. Он виноват в нем. Недосмотрел за женой. Верил, что она тоже человек. Забыл, что она ребенок. Хуже, чем ребенок. Что следовало следить за ней, смотреть за каждым шагом. Держать в руках. И она встретила молодого парня, влюбилась и ушла. К чему все это привело? Заработки у парня ничтожные. Питается жена плохо. Врачи предполагают, что у нее начинается процесс в верхушках. А все почему — недосмотрел. Женщина тот же примус. "Был бы в моих руках, для меня бы и горел". Вечером мы сели в поезд, веселый курортный поезд с цветами, корзинами винограда. Я стоял у окна еще полный утренним ощущением счастья и верил, что жизнь теперь переменится. И как это ни странно, так оно и вышло в конце концов.

1953
11
июня

Почему-то я считаю август 1927 года одним из самых счастливых после первой войны, но август 1928 был еще счастливее. Лето было дождливое. С пьесой моей первой, для ТЮЗа, "Клад",

разыгралась вечная, но в то же время новая для меня история. После похвал свыше меры ее обругали и запретили первый раз.

1953
12
июня

1928 год. "Ундервуд" запрещен был в первый раз еще до постановки. Как со всеми пьесами моими и в дальнейшем, ее сначала хвалили, и вдруг... Вялый, желтый, плотный педагог по фамилии, кажется, Шевляков на очередном обсуждении взял и обругал пьесу. Я почувствовал врага, едва увидев его, не врага личного, а видового — чиновника. В театре поддержали его [неразб. — Ред.]. Был Шевляков чиновником не без влияния, инструктор Наробраза или Наркомпроса, и пьеса была запрещена еще до постановки. После этого был я в гостах у Введенского, пили, шел дождь. Провожал я какую-то родственницу его, которая нравилась мне. На Марсовом поле мы сели на скамеечке. Небо очистилось. Я попытался поцеловать свою спутницу, но безуспешно. И чувство горькой обиды после речи плотного чиновника усугубилось этим отказом. Я не нравился! Впрочем, скоро все прошло. Не могу, оказывается, писать о знакомстве с Катей, которое состоялось незадолго до этого дня, 30 мая 1928 года. Она вскоре после нашего знакомства уехала в Липецк и еще не вернулась. Ей едва исполнилось двадцать пять лет. Любимое выражение ее было "мне все равно". И в самом деле, она была безразлична к себе и ничего не боялась. Худенькая, очень ласковая со мной, она все чистила зубы и ела хлородонт и спички и курила, курила все время.

1953
13
июня

Она была необыкновенно хороша, и, словно в расплату, к двадцати пяти годам здоровье ее расшатали, душу едва не погубили. Она сама говорила позже, что от гибели спасла ее гордость. Я думаю, что дело заключалось еще в могучей ее женственности, в простоте и силе ее чувств. Развратить ее жизнь не могла. Вокруг нее все как бы оживало, и комната, и вещи, и цветы светились под ее материнскими руками. И при всей доброте и женственности — ни тени слабости и сладости. Она держалась правдиво. Когда я уезжал в Новый Афон, она вместе с другими друзьями провожала меня. Я уже успел забыть все огорчения, связанные с пьесой. Мне чудилось, что жизнь моя как бы звенит, туго натянута. От Москвы в мой вагон попала славная молодая девушка, только что кончившая медицинский институт. И у нее, видимо, душа звенела от радости дороги и лета, и она от всех ждала счастья. Мы болтали, стоя у окна, выбегали вместе на станциях. У мягкого вагона при-

вык я видеть пару: его, сорокалетнего инженера, как я думал, с обычным в те времена выражением скрытой тревоги. Дела его шли хорошо, но он сам не знал, надолго ли. И ее, лет тридцати, бледную, думающую о своем, но не деловом, сосредоточенную и привлекательную. В Таганрог в те дни поезд заходил как в тупик, паровоз упирался чуть ли не в самое вокзальное здание. Ехали оттуда в обратном направлении, последний вагон делался первым. Для меня это являлось как бы окончательным подтверждением перемены северной жизни на южную, праздничную. На перроне стояли киоски рыбных промыслов. Продавались рыбцы и свежая черная икра, чуть присоленная, неслыханно дешевая. В Белореченской встретил меня папа. Ему было на три года меньше, чем мне сегодня. Стройный, седой, высокий, он улыбался, откинув голову по своей повадке.

1953
14
июня

Рассеянный, не сразу понимающий, что ему говорят, и вместе с тем полный интереса ко всему, оживленный, поехал он проводить меня до Туапсе. Я знал, что он встретит меня, и захватил подарки ему и маме. Имели они, так сказать, более символический, чем материальный смысл. Привез я, кажется, бритву безопасную и флакон духов. В Туапсе, в маленьком вокзале, на крыше которого стояли украшения, похожие не то на шахматные туры, не то на перечницы, мы с папой пообедали. Он внимательно и печально оглядел молоденькую поездную мою знакомую. "Кто это?" — "Женщина-врач". "Уж скорее девочка-врач", — сказал папа задумчиво и как бы чуть-чуть завистливо. Откинув назад красивую, седую свою голову, он помолчал, и мне показалось, что я его понимаю. Впервые поехал я поездом по берегу, что до сих пор видел только с парохода. Море у самой насыпи. В Сочи уже темнело. Автобус до Сухуми надо было ждать до утра. Инженера с женой, которых я разглядывал по дороге, шофер стал у говаривать поехать на легковой: "Новенький "фиат", только что из ящика". Попутчиков, кроме меня, не оказалось. Я признался, что больше тринадцати рублей дать не могу. Инженер подумал и решился. "Фиат" застучал не громче швейной машинки и непривычно мягко понес по шоссе. Мы обогнали гагринский автобус, и девочка-врач, как мне вдруг показалось, укоризненно помахала мне рукой и взглянула на меня, и я подумал: "Да я ей, кажется, нравился!" И больше никогда в жизни мы не встретились. Едва мы выехали на прямую, низменную дорогу между кустами перед Адлером, как совсем стемнело. Город мы миновали. Ночь была темная. Селенья узнавались по одиноким огонькам да по запаху кофе из кофеен. Лучи сильные фар били прямо,

деревья казались плоскими под их лучами. В Гаграх мы выпили вина, и я угостил своих спутников персиками. Инженер все думал о своих делах, а спутница его стала приветливее. Я стал засыпать.



Расскажу чуть подробнее о Гаграх. Машина остановилась возле стены, похожей на крепостную. Полутемная площадь, кипарисы, кусты в цветах. Я замерз. И это я сказал, что хорошо бы выпить вина. В пустом ресторанчике подали нам бутылку красного. И я почему-то не решился предложить деньги. Как паралич напал. И уже когда время было отправляться в путь, я купил персиков, крупных, но жестких, явно недозрелых. Жена моего спутника в ресторане впервые взглянула на меня и даже как бы удивилась. И улыбнулась ласково, видимо, в темноте показался ей другим. Ночью в открытой машине сильно продувало, но я уже не замечал этого — дремал. Возможно, что задремал и шофер. Среди крутых поворотов поднимались мы в гору. Машина пошла уж слишком круто вверх, остановилась и, осторожно пятясь, вернулась на шоссе. Шофер покачал головой и виновато засмеялся, а лицо инженера стало на миг еще более недовольным. Я видел сны, и деревья, выхваченные нашими фарами из темноты, и пролеты мостов, и белые стены, и снова густые лесные заросли — и вдруг понял, что машина стоит. "Приехали" — сказал шофер. Я вышел, дверца стукнула, и "машина "фиат", только что из ящика", недовольный инженер, таинственная его жена исчезли в темноте, навсегда из моей жизни. Вокруг ни души. Возле ларьков с трудом нашел я милиционера в чувяках. Он крепко спал с карабином в руках. Я поднял этого молодца — абхазца с черными усиками, и он проводил меня в нижнюю гостиницу и достучался. Старик в белье, и не взглянув на меня, отвел мне номер, получил рубль за сутки и удалился, не оглядываясь. Утром обнаружил я, что живу на узкой полоске земли между шоссе и морем. Вся эта полоска заросла кустами и деревьями, как сплошной сад. По ту сторону шоссе вздымалась крутая гора, тоже сплошь в зелени, у вершины белели среди деревьев колокольни монастыря. И по крутой, отлично ухоженной дороге пошел я к монастырю.



В Новом Афоне рядом существовали три стихии: нэповская, государственная и монастырская. Нэповская была на поверхности. Приезжие располагались в монастыре, как в гостинице. Кельи шли по рублю и выше. Пижамы, сарафаны заполнили коридоры, монастырский двор. В монастырской трапезной открылся ресто-

ранчик. Джаз играл на эстраде у стены, фрески которой и не думали закрашивать. Святые бесстрастно смотрели в пространство поверх саксофонов и концертино. Архангелы встречали приезжих у ворот монастыря, где сидели абхазцы, торгующие фруктами. Но настоящая монастырская стихия была не в этих следах былой жизни. Монастырь еще дышал. Точнее, доживал последние дни свои, затаив дыханье. Иной раз среди абхазцев у ворот появлялся легенький, беленький, светящийся старичок. Он торговал самшитовыми ложечками, на черенке которых были вырезаны рыбки, рамочками, кольцами для салфеток. Это монахи, скрывшиеся из монастыря и спасающиеся в лесах, посылали на продажу свои изделия. Старичка не обижали, разглядывали как редкость, и он никого не трогал, сидел печально и терпеливо. Теплился. Однажды у лавки, где продавалось местное вино "Изабелла", встретил я рослого человека с густыми седеющими волосами. Когда он повернулся ко мне спиной, увидел я под шляпой косу, подколотую шпильками. Как я узнал вскоре, был это знаменитый монах-винодел, секретчик. Только в его изготовлении вино "Изабелла" не скисало. Монаха будто бы вернули из какого-то изгнания, и он согласился работать, с тем чтобы раз в неделю разрешали ему служить в маленькой монастырской церковке. Монахов показывали и среди садоводов. Монастырь в свое время славился хозяйством. Рассказывали, что монахов без специальности в Новый Афон не принимали.

1953
17
июня

Приезжим показывали масличные рощи, искусственный водоем и электростанцию при нем — весь Новый Афон освещался электричеством. Впрочем, называли его так по старой памяти. В письмах надо было писать: Абхазия, селение Псырцха, Ахали Афони. Правда, доходили письма и по старому имени. Государственный дух, уже готовый вступить в бой с нэпом, чувствовался в том единственном магазинчике, где покупали мы хлеб и еду к завтраку; он был государственный или кооперативный: частник погиб от налогов. Я выбрал для отдыха Новый Афон, потому что собралось там несколько знакомых: Коля Степанов с женой Лидочкой, Гофман, женатый на Соне Богданович — дочке Ангела Ивановича, — молодые литературоведы. Здесь же отдыхал Борис Михайлович Эйхенбаум с женой Раей Борисовной. Он был учителем этих молодых, и они уважали его и часто обсуждали, находя в нем лично слабости, как и подобает ученикам. Это были чистопородные литературоведы, в особенности Гофман. Взвешивая на руке только что вышедший первый, кажется, том эйхенбаумовской книжки "Лев Толстой",

Гофман воскликнул с некоторым даже раздражением, что, мол, исследователь-литературовед, в сущности, не ниже, а может, и выше исследуемого писателя, чем вызвал у меня подобие ужаса. Вызвал бы и ужас, но я слишком счастлив был в те дни и уверил себя, что как-то неправильно его понял). Но все они, несомненно, любили именно свою науку, а не литературу. Я попал в среду людей, живущих интересами литературы, но явно более к ней холодных, не отравленных ею до конца, как те, что окружали меня до сих пор. Этот холод и давал им возможность теоретизировать с такой уверенностью. Но он же отнимал у них нечто. Они понимали многое, иногда же потрясали глубиной непонимания, как существа другого вида. Это относилось к Степанову меньше. А к Гофману, в их кругах считающемуся самым выдающимся, — в полной мере.

1953
18
июня

У них была своя система определять литературное произведение по его законам — прекрасно. Но у меня не было уверенности, что законы открывают они верные. Или первостепенные. И еще мучил меня страх: а вдруг правы они? Тогда я никогда не стану настоящим писателем? Впрочем, слова "мучил" и "страх" слишком сильны. Иной раз мелькало у меня подобие страха. Уж слишком уверенно они разговаривали. Как ученые, уже решившие все задачи. Гофман даже негодовал на Эйхенбаума за то, что в самой той книжке, которую он столь почтительно взвешивал на ладони, Эйхенбаум позволяет себе пользоваться биографическим методом. "Это он нарочно! — сердился Гофман.— Это его каприз. Как многие верные ученики, обвиняли они учителя, что тот переменчив, по-настоящему никого из них не любит, холоден. А он, легенький, седенький, большеголовый, лысый, был необыкновенно ровен, внимателен, благожелателен. Я познакомился с ним за семь лет до встречи в Новом Афоне — он нисколько не изменился за эти годы. Но вот что удивительно: не изменился, совсем не изменился он и до наших дней. Тогда он выглядел старше своих лет, а сегодня — по возрасту. Когда видел я его на море, то всегда удивлялся несоответствию между его телом и головой. На теле, молодом, ладном, хотя и маленьком, сидела большая, седая с лысиной голова. Казалось, что голову приставили к чужому телу и линия загара на шее — след этой операции. И плавал Борис Михайлович далеко, совсем исчезал в море, как и подобает при столь крепеньком тельце. Всюду появлялся он с молчаливой, но твердой, имеющей свой нрав женой, и в браке их было здоровое начало. Она укрепляла его и в самом деле несколько безразличную душу. Она была гораздо больше воплощена и игра-

ла в жизни его и их дома огромную роль. Трудно писать о близких знакомых.

1953
19
июня

Незадолго до моего приезда в Новый Афон с Гофманом случилось несчастье. Он отправился в горы и там, подойдя к краю пропасти, вдруг, к ужасу спутников, с глыбой земли пополз вниз. Выступ на обрыве задержал его. Гофману пришлось просидеть на выступе этом до утра, пока не пришли с веревками. Об этом услышал я в Ленинграде незадолго до отъезда. И Боря Бухштаб без тени рисовки, серьезно и просто сказал мне: “Это было бы непоправимое несчастье. Гофман — звезда среди нас”. В Новом Афоне я был так уверенно, напряженно счастлив, так отдыхал от ленинградского недовольства и напряжения, что запомнил меньше, чем о Судаке. Тут я был окружен людьми, которые не проверяли меня непрерывно, не пропускали сквозь горнило собственной мнительности. Они принимали меня как равного, и скоро я впал в то состояние веселого безумия, что так заразительно действовало на окружающих. Я почти не оставался в одиночестве. Час после обеда и ночь проводил я в своей келье, где с монастырских времен сохранился глазок в двери.

1953
20
июня

Все дни в Новом Афоне, когда я их разбираю, — не поддаются, слились в один. Вот сижу я на пляже. Софья Аньоловна бросает в меня камушки, а я отбиваю их ладонью, как теннисные мячи. И это отпечаталось в памяти со всеми подробностями освещения, времени дня. Выражение лица всех спутников. Мы идем в селение Псырцху, где спутник наш, Яша Давидович, прозванный “покойный профессор”, ухитрился поссориться с хозяином дома, где мы пили молоко. На один день поехал я в Сухуми и забыл начисто, что я там видел. Но коротенький обратный путь на пароходе (туда я ехал на моторной лодке) вижу как сейчас. Море светилось. Фосфорилось. Ученики Эйхенбаума не без удивления сообщили, что он скучал без меня. “К вам он хорошо относится”. К концу месяца решили мы идти до Адлера пешком. Ранним утром проводили мы Эйхенбаумов на пароход. Нет, это было ночью. На пристани ожидающие парохода еще боролись: надели брюки, но рубахи — нет, женщины без чулок. На баркасы садились компаниями. По дороге к пароходу пели достаточно стройно — спелись за лето. А мы отправились на рассвете пешком. В Гудаутах на базаре — охотничьи сокола в шапочках. Покачиваются на руке, на указательном пальце охотника. Там в ресторанчике мы обедаем. Потерял меню, которое хранил до войны. Удиви-

тельно оно тем, что написано с абхазским акцентом. Например, “суп звиоздочками”. Широкое шоссе за Гудаутами. Афон, Гудауты уходят за тридевять земель. Развалины римского храма или башни. Высокие деревья. Сады. Я любуюсь чужой жизнью и все думаю, думаю, во что обратить то, что вижу. Для чего это пригодилось бы? Тут могут проходить и в самом деле римляне.

1953
21
июня

Попробую сказать точно то, что вчера написал о римлянах. Я не имею дара к историческим переживаниям, но ширина дороги и высота деревьев, имевших вид как бы священный, вдруг напомнили о римлянах. Дальше увидели мы колодец с каменным сводом. Как цветные камушки, цветные лоскутки — вижу все, как сквозь сон. Могила абхазского святого? Лицо горит, я опьянен дорогой, живу и не запоминаю ничего. Ночевали мы в лесу. Коля Степанов спорил с Лидочкой — она заставила его лечь в макинтоше: “Это согревающий компресс! Я задыхаюсь!” — “Я тебе говорю — лежи!” Среди ночи стал накрапывать дождь. Абхазцы селились разбросанно: устраиваясь на ночлег, увидели мы домик на горе, и домик у шоссе, и домик глубоко в лесу. Мы выбрались к домику у шоссе. Увидели вывеску — кооператив. Легли спать на террасе. Утром в магазине послышался шум, двери раскрылись, и на террасе появился абхазец с револьвером. “Мы вас обеспокоили?” — спросил я. “А конечно!” — ответил он просто. И вот мы снова в пути. Когда ближе к вечеру переходили мы, сокращая путь, пересохшее русло какой-то большой реки, нас обстреляли. Вышло это так просто и нестрашно, что мы этому почти не поверили. Но отдаленный, как бы двойной звук винтовки и свист пули тем не менее слышали. Думаю, что нас приняли за контрабандистов. Забыл рассказать, что вечером накануне, когда уже совсем стемнело, мимо нас по шоссе промчалась бешеным ходом легковая машина. На ступеньке, припав на крыло, лежал милиционер с винтовкой. В селении у Бзыби мы попросились ночевать в аптеке.

1953
22
июня

Вежливые абхазцы расспрашивали, куда мы идем. Один, рослый, в белой черкеске, расспросив, крикнул с линейки: “Эх! Хорошие люди! Если бы не дела, с вами пошел бы”. Забрели мы в бедный духан, где было только вино да фасоль в стручках, тушенная в томатном соусе. Подавали ее в блюдечках. Спали мы на полу в маленькой комнатке позади аптеки. Дождь захватил нас на шоссе, когда мы крутыми поворотами шли в гору. Мы попросили приюта в домике на

горе. Старая абхазка усадила нас в чисто выбеленной комнатке. И чтобы ее не обидели, показала карточку молодого человека в военной форме: "Это мой сын, в Гаграх, в ЧК большой человек". В каком-то селенье увидели мы высокую кирпичную больницу. Коля Степанов тут выпил воды из колодца, и мы стали поддразнивать его. И Гофман через некоторое время тихо сказал жене, что со Степановым следует говорить уважительнее: он серьезный, много знающий ученый. Вообще наши спутники, особенно Гофман, иногда начинали ворчать, уставая, а я проповедовал: нельзя ссориться в дороге. Высшее спортивное — достижение — дойти до цели мирно. Гофман никому не позволял подходить к краю многочисленных обрывов, встречавшихся нам на пути, и сам не подходил: не мог забыть своего приключения. Но, в общем, шли мы весело, очень весело. У большого жестяного чайника нашего в первый же день на костре отвалился носик, и вода хлынула на уголья. На месте носика остались мелкие дырочки, расположенные овально. Каждую дырочку заткнули тряпочкой. Тряпочки держали воду и не прогорали — вода их пропитывала, кипяток в кружке разливали через край чайника. Мы привязались к нашему безносому уроду, и решили сохранить его на память о поездке, и забыли на последнем привале. Плоский берег в кустах. Разведен костер. Часов двенадцать дня. Я стою и чувствую плоский берег вокруг и горы на горизонте. И чувствую всех участников похода.

1953
23
июня

И я, как бы перебирая вожжами, лажу со всеми, то натягивая, то отпуская. К Пыленкову, на границе Абхазии, подходили мы ночью. С вечера море казалось белым. Шоссе шло высоко по горе, и сверху на молочных и розовых к закату волнах мы увидели неожиданно близко к берегу черный пароход. (В старых переплетенных моих тетрадях, потерянных в блокаду, я однажды записал вскоре после возвращения, что́ помню о плоском береге, о пароходе. И много раз перечитывал, не умея дальше рассказывать о себе. Стесняясь.) Когда мы подходили к Пыленкову, то утренний плоский берег и вечерний пароход на молочном закате — все ушло не только в прошлое, а в давнее прошлое. Несколько жизней переживали мы за день. Сейчас окружил нас легкий туман, над которым стояла луна. Я не то дремал на ходу, не то слишком уж замечтался. И из тумана вдруг появлялся дуб и шелестел над головой, там, где представился мне дом. Стога сена на ровных полях оказывались там, где чудился обрыв над шоссе. Ветряная мельница выступила из темноты, а Пыленков все не показывался, пока вдруг не увидели мы с удивлением, что стоим посреди улицы. Ночевать мы устроились в греческой шко-

ле. Учитель жаловался нашим филологам, что преподает язык по новой орфографии, которая только у нас и введена, и нет греческих книг, напечатанных по-новому. Утром шли мы почему-то особенно бодро — втянулись, видимо, в поход. Видели змею на дне овражка. Путь мы сокращали, сворачивая на полотно, шагая по насыпям без рельс — тут строилась железная дорога на Гагры и Сухуми, но война [19] 14 года оборвала постройку. Путь успели довести только до Адлера. Через дельту обмелевшей за лето Мзымты перебирались мы с камешка на камешек и вброд от одного островка, поросшего кустами, до другого. И в самую жару пришли в Адлер.

1953
25
июня

Когда подходили мы к Адлеру, то мечтали, что купим арбуз, разрежем пополам и положим на солнце. Кто-то вычитал, что арбуз станет от этого ледяным — с такой быстротой выделяется из него влага. Так мы и сделали, но арбуз только согрелся. В город Адлер мы не попали. Я так ни разу и не видел его улиц с [19]15 года. Мы вышли прямо на железнодорожную станцию. Странно мне было видеть рельсы в знакомой поросшей кустами долине. И у поезда выражение оказалось домашнее, неиндустриальное, когда, не спеша, подходил он к Адлеру, чуть покачиваясь на плохо сбалансированном пути между кустами среди тополей. Мы взяли билеты до Туапсе. Из окна вагона путь казался незнакомым. Множество остановок, поезд считался дачным. Среди них "Ермоловские участки" перед Сочи. Я выглянул и не узнал мест, где мы жили в 1910 году. Не узнал и Сочи. Все знакомое скрывалось там, в глубине за полосой отчуждения. В дороге убедился я, что Гофман действительно талантлив. Он изложил мне последние лингвистические теории так изящно и ясно, что я при органическом недоверии своем к этому виду знаний все понял. В Туапсе мы сняли номер в гостинице — один на всех. Выйдя утром, я ужаснулся — город изменился, как в страшном сне меняется твоя комната. Зелень исчезла — не до того! Пересох ручеек в овраге, перерезающем главную улицу. Кусты ажины, покрывавшие его склоны, вымерли. На дне кости, жестянки, запах падали тянулся оттуда, и я почувствовал — юг ядовит. На каждом шагу — лавчонки, парикмахерские с бумажными лентами вместо двери, с надписями: "Электрические вентиляторы для клиентов". Великолепное объявление: "Квас-Америкен наилучшего качества. Улица Ленина, 46". На углах пивные киоски в виде пивных бутылок с фанерной пеной. Но страшнее всего поразил берег. Его не было. Старый берег исчез, создавали новый из грязи. Землесосные машины высасывали ее со дна и выблевывали на сушу.

1953
26
июня

Старые знакомые камни, в человеческий рост, откуда ловили мы бычков, стояли уже по самую макушку в новой, едва затвердевшей земле. От бывшей набережной к землечерпалкам проложили мостки. Черно-серый новый берег тянулся уже метров на сорок. У грязевого потока, бьющего из трубы, копошились местные жители: с илом часто выбрасывало и рыб. Мы с трудом нашли место, где можно было искупаться, — на территории старого порта. Именно тут в детстве в похожих на бурьян водорослях ловили мы рачков для наживки. Билеты заказали мы носильщику. Вечером пришли на вокзал. Не доходя до скверика перед ним, увидел я вдруг знакомую, по-новому освещенную фигуру. Осветил ее опыт, накопленный мной с тех пор, как мы расстались. Единственный из учителей моих, которого я ненавидел, учитель рисования Юлиан Казимирович Вышемирский двигался навстречу мне, пополневший, отяжелевший, но еще в полной силе. Польскую надменность угадал я в хохолке над узким высоким лбом, в привычке держать голову. Увидев его, я обрадовался. Даже этот майкопец, оказывается, был мне дорог. Я подошел и спросил, узнает ли он меня. Еще более надменно вздернул он голову и ответил отрицательно. Я назвался, и он сменил гнев на милость и поговорил со мною благосклонно. И я простился с ним, довольный встречей. Все было славно, но вдруг у кассы разыгралась трагедия. Носильщик наш стоял в очереди вторым. Но перед самым открытием кассы появился разбитной старичок, курортный агент, и забрал все билеты. И мы не уехали. В тоске вышел я к скорому поезду. Знакомые ленинградцы, едущие из Сочи, казались мне такими удачниками, что я смутно надеялся — не поделятся ли с нами своим счастьем, не устроят ли и нас в скорый. Но ничего не вышло. Оставшиеся человек двадцать, в основном студенты, сложили вещи вместе и решили спать по очереди, установив дежурство. Билетная тревога овладела мной.

1953
27
июня

Ночь тянулась долго. Я поспал немного на чемоданах. Утром решил, что надо мне посетить тот дом, где начал я писать. И я пошел по Туапсе, протравленному кислотой, обесцвеченному. К моему удивлению, дом в плюще и зелени, где жил начальник англо-индусского телеграфа, остался тем же. И чугунные, покрытые черной краской столбы все тянулись через Туапсе, уходили к морю. Вот и дом, где мы жили в 1909 году. Он не изменился, но зелень в саду и кусты напротив вылезли. И я пожелал, чтобы наконец стал работать и жизнь моя изменилась бы к лучшему. Пожелал, закрыв глаза, как бы помолился.

Потом вернулся на вокзал. Тут уж был составлен список на очередь к кассе. Гофман и Степанов ходили к какому-то начальству, просили, чтобы курортный агент не мешал нам с билетами. Ответ дали неопределенный. Разбитной старичок вертелся возле нашей очереди. С ним пытались вступить в переговоры, но агент отвечал уклончиво. Начальник строительства, изменившего так разительно лицо Туапсе, был знаком с матерью Софьи Аньоловны. Мы решили сделать ему визит: а вдруг он поможет с билетами? Он принял нас с холодноватой вежливостью. Рассказал, какой огромный порт строится в Туапсе, но о билетах промолчал, не понял намеков. Мы вернулись на вокзал, искупавшись в старом порту. Скоро из зала всех выгнали: бабы мыли кафельный пол. В зале остался один буфетчик-армянин. Сидя на стойке по-турецки, он заигрывал с уборщицами. Я ушел в город с одним из студентов, и в ресторанчике он рассказал мне историю своей любви с чисто дорожной откровенностью. И мы (в который уже раз сегодня!) вернулись на вокзал. Агент вертелся возле очереди. С ним завели разговор, и я на какую-то дерзость его неожиданно для себя на него накричал так отчаянно, что даже этот видавший виды старичок стал отступать боком-боком и исчез в служебных помещениях. А я вышел в привокзальный садик.

1953
28
июня

Армянин резал кур для вокзального ресторана. Делал он это ужасающе: рубил головы на верхнем деревянном переплете их клетки. Кровь лилась на живых еще кур. Они ужасно кудахтали и каркали. Войдя в азарт, армянин очередную жертву поддевал в клетке ножом и выволакивал через дверцу. Я побрел в город. И налево в облаке пыли шевелился базар. Оттуда раздался выстрел и женский вопль: “Убили!” Когда я вернулся (в который раз!) на вокзал, отходил какой-то поезд. Кажется, ростовский с вагонами на Киев. Едва успел он отойти и доползти до стрелки и был еще ясно виден в вечерней полумгле, как раздались пронзительные свистки, крики, пальба. Мне понравился дежурный ОГПУ. Он бросился к месту происшествия по платформе, отстегивая на бегу кобуру пистолета. Работать. Выяснилось, что воры принялись бросать чемоданы из окон киевского вагона. Пассажиры повернули стоп-кран. Задержали воров или нет — никто не знал, рассказывали по-разному. “Ну и денек!” — подумал я. Уже незадолго до открытия кассы, когда томился я на платформе, заговорил со мной оборванец. Вдохновенно поведал он, что был фининспектором и женился. И жил для счастья жены. Спрашивал: “Милая, какие у тебя капризы?” Но, вернувшись из командировки, застал

ее с ближайшим другом. “Что вы сделали бы на моем месте? Нежели простили бы? А я ее... “ — и оборванец сделал широкое движение правой рукой. “Ножом! Как мешок с картошкой”. И, зарыдав, добавил: “Поправилась! А меня засадили”. В заключение, глядя на меня вдохновенно, он возопил: “А вы тоже много пострадаете от женщин!” “Вот славно бы.” — подумал я. К открытию кассы разбитной старикашка вынырнул перед окошечком, но все билеты забрать ему не дали. И мы сели в поезд, но я не мог уснуть до самой Белореченской.

1953 29 июня

Мы ехали, то отступая, то пересекая шоссе, по которому шли мы некогда с Юркой Соколовым. Я смотрел в окно и смутно угадывал иной раз в черноте ночных деревьев белую неширокую дорогу. Напряжение, радостное и безумное, начинало ослабевать, море отошло, я ехал к северу, к будням, к свирепым друзьям, к своему трудному дому. Поднимаясь в Новом Афоне по крутой дороге, увидел я однажды на полпути старого редактора Госиздата. Он сидел с женой на скамеечке. Отдыхал. Увидев, как легко беру я подъем, он сказал: “Вот она, молодость”. И я смутился. Если бы он знал, что в октябре мне исполнится тридцать два года, то не говорил бы так. Я не молод, а моложав. И сейчас, в поезде, вспоминая эту встречу, я почувствовал холодок ужаса. Тридцать один год! Жизнь определилась. Больше ждать нечего — будни. “Вы много пострадаете от женщин!” — сказал вчера вдохновенный оборванец. Куда там. Все определено. И только поспав час-другой и выглянув в окно перед Армавиром, я стал думать, что жизнь, может быть, и не кончилась еще. Вот и все, что я помню о лете 1928 года. Несколько дней назад я увидел в поезде девушку. Лицо закрывала кепка стоящего перед ней. Форма головы и лоб были прекрасны. Но вот кепка отодвинулась, и мгновенно ощущение прекрасного оборвалось. Вялый рот, отсутствие подбородка, форма головы и лоб — не спасали. И я понял впервые в жизни элементарнейшую истину о важности целого... О чем рассказывать дальше? Лето 29-го года — никогда не напишу. Жизнь моя тут взвилась и выбилась прочь из колеи. Но я не осмелюсь, не найду слов для этого страшного и страстного времени. Какая-то сила действовала во мне, до сих пор бездейственном человеке. Попробую рассказывать о людях. О каких? Шостакович? Трудно, однако следовало бы. Попробую.

1953 30 июня

О Шостаковиче услышал я впервые, вероятно, в середине двадцатых годов. И когда я увидел его независимую мальчишескую фигурку с независимой копной волос, дерганую, не-

рвную, но внушающую уважение, я удивился, как наружность соответствовала рассказам о нем. Встретились мы в доме, ныне умершем, стертом с лица земли временем. С детства приученный к общему вниманию, Шостакович не придавал ему значения. Смеялся, когда было смешно, слушал, когда было интересно, говорил, когда было что сказать. В его тогдашней среде тон был принят иронический, и говорил он поэтому насмешливо, строя фразы преувеличенно литературно правильно, остро поглядывая через большие на худеньком лице круглые очки. Играл он тогда на рояле охотно и просто, показывая, что сочинил. Тогда рассказывали, что и пианист он первоклассный и только по какой-то случайности не занял первого места на Шопеновском конкурсе в Варшаве. После знакомства встречались мы редко. Но с первой встречи я понял, что обладает он прежде всего одним прелестным даром — впечатлительностью высокой силы. Это, как бы сложно ни шла его жизнь, делало его простым. О нем рассказывали, что, играя в карты и проигрывая, он убегал поплакать. Одни знакомые его получили из-за границы пластинку, тогда еще никому не известную: “О, эти черные глаза”. Услышав великолепный баритон, вступивший после долгого вступления, Дмитрий Дмитриевич расплакался и убежал в соседнюю комнату. Но разговаривал он так, что казался неуязвимым. Андроников очень похоже изображал, как, резко артикулируя и отчетливо выговаривая, произносит он: “Прекрасная песня, прекрасная песня: “Под сенью цилиндра спускался с го-ор известный всем Рабиндра-анат Таго-ор!” Прекрасная песня, прекрасная песня, побольше бы таких песен”. В Ленинграде его очень любили.

1953
1
июля

Любили настолько, что знали подробно о его женитьбе, о его детях, о его работах. Обо всем этом говорили одинаково и весело и уважительно. Он писал современно в том смысле слова, какое придавал ему Петр Иванович в те дни. Его музыку не то что понимали, но считали зазорным не понимать. Впрочем, многих его музыка и в самом деле задевала. Заражал восторг понимающих. Когда внезапно грянул гром над его операми, все огорчились и как обрадовались Пятой его симфонии. Я ближе познакомился с Шостаковичем во время войны. Повинуясь своей впечатлительности и тем самым божеским законам, чувствовал он себя связанным со всеми общими бедами. Он пришел выступать на утренник в филармонии, не спрашивая, нужен ли этот утренник и разумен ли. Такой вопрос был бы не военным. А всякое “уклонение” в те дни казалось подозрительным. Дважды или трижды утренник преры-

вался воздушной тревогой. Зрителей и участников уводили в бомбоубежище, а потом возвращали на места послушно. В 42-м году, в сентябре, приехав в подтянутую, опустевшую Москву, с маскировкой на домах, с высокими заборами вокруг разбомбленных зданий я впервые увидел Шостаковича ближе. Мы оба жили в гостинице "Москва". При первом разговоре поразил он меня знанием Чехова. А скажите, Евгений Львович, сколько раз упоминается у Чехова горлышко бутылки, блестящее на плотине?" Для меня любовь к Чехову — признак драгоценный, и я был тронут и обрадован. По-прежнему Шостакович не придавал значения своей славе, был прост, хотя и дерган, говорил, когда было что сказать, смеялся, когда было смешно. Задумываясь внезапно, постукивал пальцами по виску. Увлекаясь, дергал за рукав или за руку. Но при всех нервических признаках фигурка его оставалась мальчишеской, независимо стояли волосы надо лбом, очки казались слишком большими по лицу. Он в Доме кино просмотрел фильм о Линкольне и все хвалил его. Рассказывал.

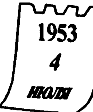
1953
2
июля

И, кончив рассказывать, задумался о следующем обстоятельстве. Картина начинается с того, что юношу, заподозренного в убийстве, едва не линчевала толпа. "Вот мы с вами не побежим сейчас на улицу, если узнаем, что некто в доме напротив совершил убийство". Дмитрия Дмитриевича тревожило отсутствие чувства законности в нас и окружающих. "Мы не будем требовать немедленного наказания злодея". Как многие большие люди, при всей особенности, отъединенности он чувствовал свою связь с людьми, и чувство жалости и чувство ответственности при впечатлительности его вспыхивало сильно и действенно. Мариенгоф рассказал такой случай: Шостакович терпеть не мог театрального деятеля Авлова. Но вот Авлов по какому-то делу попал под суд. Шостакович сказал Мариенгофу, что Авлов на суде показался ему человеком совсем другим, что держался он с достоинством и, видимо, ни в чем не виноват. "Вот и съездили бы к прокурору СССР да просили бы за Авлова", — сказал Мариенгоф полушутя. И Шостакович поехал в Москву и, как взрослый, добился приема у прокурора, и дело Авлова было пересмотрено. Его оправдали. Ради незнакомого и неприятного человека вышел он из привычного отъединения. Серьезный, с независимыми трепаными волосами, падающими на лоб, глядя на прокурора СССР через слишком большие на мальчишеском его лице очки, добился он достаточно трудного успеха. Тот же Мариенгоф сказал однажды, что он в тяжелом состоянии, а вот приходится ехать в Москву. Нахмурившись, Шостакович

заявил тотчас же, что он поедет с Мариенгофом. Еле уговорили его домашние и сам Мариенгоф. А были они только в приятельских отношениях. Друг у Дмитрия Дмитриевича был один: Иван Иванович Соллертинский. Когда у Маршака заболел в Алма-Ате сын, Шостакович поехал проводить Самуила Яковлевича на вокзал. Сам поехал.



Когда он женился, ему, пока находился он по делам в Москве, по невозможно дешевым ценам купили обстановку. Так сложились тогда обстоятельства. Мебель ничего не стоила. Комиссионные магазины были забиты. Разных профессий деляги из Москвы и их жены, как воронье, слетелись на эту ярмарку, покупали рояли по двести и екатерининские буфеты по полтораста рублей, что делягам, впрочем, не пошло впрок. Вернувшись, Шостакович увидел купленную для него мебель. И, узнав, сколько за нее заплачено, ушел немедленно из дому. Он собрал деньги всюду, где мог, и заплатил владельцам настоящую цену. Надо добавить, что он далеко не расточителен. Все вышеописанные проявления его существа для него вполне органичны, что особенно драгоценно. Его действия вряд ли опираются на теорию или заповеди консерваторские. И среда не поощряла к этому. Он охотнее всего говорит о футболе, дружит с футболистами, следит тщательно за результатами матчей; если пропустит по радио — звонит к знакомым, спрашивает, не слыхали ли, чем кончилась очередная встреча. Ни признака неясности или сладости, трезвость, простота, принимаемая привыкшими притворяться товарищами его по работе за оскорбление. Возвращаюсь к нашей московской встрече. По телефону он начинал разговор так: “Говорит ШОстакович”, — подчеркивая букву О, как бы боясь, что его примут за другого. Он знал себе цену, но вместе с тем я узнавал в нем знакомое с детства русское мрачное недоверчивое отношение к собственной славе. Мы стояли рядом в очереди в столовой ЦДРИ за получением пропусков. Я — как командировочный, Шостакович — потому, что было первое число месяца. Директор Дома дважды подходил к нему и предлагал подождать в кабинете, и Шостакович оба раза сухо отклонил эти любезности. Сказалась его тоже органичная воспитанность.



Однажды мне пришлось побывать с ним в доме, где среди гостей присутствовали певцы из Большого театра. Дмитрий Дмитриевич сразу затосковал, пальцы заиграли по виску, по столу. На обратном пути его спросили: “Вы не любите певцов?”

И, резко артикулируя, преувеличенно литературно-правильно он ответил: “Совершенно несомненно, что афоризм Леонкавалло: “И артист человек” — нуждается в ревизии”. Он, не шутя, утверждал, что единственный недостаток Чехова — это женитьба на Книппер. “Нет, нет, вы ее не знаете! Этого нельзя простить”. Впрочем, приехав на очередное драматургическое совещание из Кирова в Москву и зайдя к Маршаку, я увидел Шостаковича в обществе актера. Маршак, он и Яншин праздновали начало работы над постановкой “Двенадцати месяцев”. Я зашел к Маршаку с вокзала, с чемоданчиком. Получив приглашение позавтракать с ними, я предложил банку консервов, привезенную с собой. Маршак стал отказываться, но Шостакович мигнул: давайте, мол! И я вспомнил, что и о его великолепном аппетите много рассказывали. Это, конечно, был тоже нервический аппетит. Шостакович терял слишком много энергии, все время требовал топлива. Недели через две в столовой ЦДРИ я спросил Шостаковича, как работает их постановочное дело. “Увы, очень плохо, — ответил Шостакович. — Недавно двое артистов Академического Художественного ордена Ленина театра явились на репетицию выпивши, что вызвало взрыв негодования всего творческого коллектива. В особенности негодовал Яншин. В стенной газете он требовал примерного наказания виновников. Но не прошло и двух-трех дней, как сам Яншин явился пьяным и при этом уже не на репетицию, а на спектакль. Вероятно, он отделался бы сравнительно легко, если бы не клеймил так беспощадно нарушителей дисциплины в стенной газете. И Яншина сняли в наказание с постановки, и наш триумвират распался.

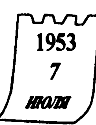
1953
5
июля

Нервность, нервность — чувствую, что надо еще раз напомнить об этой стороне его существа, проникающей остальные. Весьма часто на нервной почве бьются в истерике, дерутся, обижают слабых. Но благородство материала, из которого создан Шостакович, приводит к чуду. Люди настоящие, хотят этого или не хотят, платят судьбе добром за зло. На несчастья, обиды и болезни отвечают они работой. И трепаный, дерганый Шостакович, небрежно одетый, с большими очками на правильном небольшом остром носу, подчиняется тому же особому закону, что Моцарт, Бетховен и подобные им. Он работает. Когда я по неграмотности спросил, нужно ли ему проверять на рояле то, что он пишет, то получил ответ: “Так же не нужно, как вам читать ваши произведения вслух”. Нервность Шостаковича, его снобическая манера говорить, его нездоровье и здоровье — все-все оборачивается, перераба-

тывается, высказывается в работе. Конечно, нервность делает его иной раз человеком трудновыносимым для окружающих. Но вот с двумя своими детьми он необыкновенно ровен и терпелив, а сколько я видел случаев, когда нервность обрушивалась именно на эту, наименее защищенную часть семьи. Я знаю, что сильных людей не любят, успех чужой переносят с трудом, и все-таки это обычное до пошлости явление удивляет меня, как неслыханная новость, когда обнаруживаю я его в жизни. Я знал, что Шостакович раздражает, нет, оскорбляет самим фактом своего существования музыкальных жучков, столь же скептических и цинических на деле, как Шостакович на словах. Они чувствуют в нем изменника великому делу нигилизма. И все говорят о нем.

1953 6 июля

Как только эти жучки сползаются вместе, беседа их роковым образом приводит к Шостаковичу. Обсуждается его отношение к женщинам, походка, лицо, брюки, носки. О музыке его и не говорят — настолько им ясно, что никуда она не годится. Но отползти от автора этой музыки жучки не в силах. Он живет отъединившись, но все-таки в их среде, утверждая самым фактом своего существования некие законы, угрожающие жучкам. Их спасительный нигилизм как бы опровергается. И вот они жужжат. Все это я знал по рассказам и принимал равнодушно. Но года два назад в среде более высокой, среди композиторов по праву, я вдруг обнаружил ту же ненависть. Сами композиторы помалкивали, несло от их жен. Одна из них, неглупая и добрая, глупела и свирепела, едва речь заходила о Дмитрии Дмитриевиче: “Это выродок, выродок! Я вчера целый час сидела и смотрела, как он играет на бильярде! Просто оторваться не могла, все смотрела, смотрела... ну выродок да и только!” Я не посмел спросить, почему же не могла она оторваться, какая сила влекла ее к этому выродку. И она продолжала: “Нет, он выродок, выродок! Вчера приходит и сообщает: “У нас петух хуже цепной собаки! Бросается на людей. Когда я завязывал башмак, он попытался клюнуть меня в лоб, но, к счастью, я выпрямился, и удар пришелся в колено. Остался синяк, остался синяк. Бросается на всех. Заходите посмотреть, заходите посмотреть”. А? Какова наглость? У него петух бросается на людей, а он зовет: “Заходите”. “Выродок!” Я ужаснулся этой ненависти, которой даже прицепиться не к чему, и пожаловался еще более умной и доброй жене другого музыканта. Но и эта жена прижала уши, оскалила зубы и ответила: “Ненавидеть его, конечно, не следует, но что он выродок — это факт”. И пошла, и пошла. Я умолк.

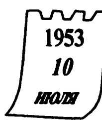


И когда я рассказал об этих потрясших меня разговорах одному дирижеру, тот ответил: "Чего же вы хотите? Эти композиторы чувствуют, что мыслить, как Шостакович, для них смерть". Дирижер подразумевал музыкальное мышление. Мужья чувствовали страх, а их жены — еще и ненависть. Вот почему, как загипнотизированная, глядела одна из них и не могла наглядеться, чувствуя, что перед ней существо другого мира. Как относился Шостакович к этой ненависти? Не знаю. Но вот два его рассказа на эту тему. "Все мы знаем, как Римский-Корсаков относился к Чайковскому. Для этого достаточно бросить взгляд на алфавитный список собственных имен, упоминаемых в "Летописи моей музыкальной жизни". Тогда как совершенно ничтожный Ларош упоминается десятки, а может быть, и сотни раз, Чайковский всего шесть-семь. Да и как упоминается-то? "Приехал Чайковский, и, следовательно, опять будет пьянство". "Опять был вечер с Чайковским и шампанским". Когда появилась Шестая симфония, Римский-Корсаков объявил, что этот сумбур уж совершенно непонятен. Правда, великий Никиш ухитрился растолковать кое-какие фрагментики этого неудачнейшего опуса, что по существу не спасает автора от полного провала. Это мы все знали из книг, но не знали, что говорится о Чайковском у Римских-Корсаковых, так сказать, за чайным столом. Как довольно часто случается в подобных случаях, проговорились дети. В день столетнего юбилея Римского-Корсакова один из многочисленных его сыновей, профессор биолог, сообщил собравшимся семистам композиторам и примерно такому же количеству гостей, что будет выступать как ученый. Вначале он поведал о тесной дружбе, существовавшей в свое время между его гениальным отцом и Петром Ильичем. Они обожали друг друга, как закадычные друзья.



И даже были знакомы домами. Покончив с этой беллетристической частью, докладчик перешел к ученой. Он показал собравшимся генеалогическое дерево Римских-Корсаковых, уходящее своими корнями в самую глубь русской истории. "Пусть вас не смущает слово: "Римский!" — воскликнул ученый и привел исчерпывающие доказательства того, что данное прозвище явилось результатом служебной командировки, но отнюдь не примеси итальянской крови. Тогда как Петр Ильич Чайковский является, увы, не русским, с чисто научной точки зрения. Он сын французского парикмахера Жоржа, похитившего супругу Ильи, забыл, как отчество. Наглый француз бросил бедняжку, и добрый Илья, забыл, как отчество, усыновил ребенка. И на

этом месте доклада все семьсот композиторов и такое же количество гостей поняли, до какого накала доходили за чайным столом Римских-Корсаковых разговоры о Петре Ильиче, ухитрившемся, несмотря на легкомыслие, шампанское и прочее, создать себе мировое имя. Ученый сын выдал родителей. И тут даже не отличающийся излишней впечатлительностью композитор Шапорин взял слово и заявил с трибуны, что столетие со дня рождения одного великого русского композитора не может служить поводом для дискриминации второго. Однажды Шостакович спросил: “Что вы скажете о композиторе N? — (И он назвал фамилию совершенно неизвестную.) — Не знаете? Странно! А между тем этот самый N учился у Лядова одновременно с Прокофьевым, и, тогда как Прокофьев получал тройки, а иногда и двойки, N учился на круглые пятерки. И что же? Ловкач и проныра Прокофьев завоевал себе мировое имя, тогда как N, несмотря на семнадцать симфоний и одну “Поэму сатанину”, никому не известен. “Какова темка-то! — восклицает он, играя на рояле тему сатаны. — И никто меня не знает, тогда как ловкач и проныра Прокофьев известен всему миру”.



Шостакович рассказывал об операции удаления гланд, которую ему сделали в Москве прошлым летом. “Это одно из самых позорных воспоминаний моей жизни. Когда я пришел в операционную комнату, то мной овладела первая пагубная мысль. Профессор имеет отличную репутацию. Но Бетховен имел еще лучшую. Тем не менее в его обширном музыкальном наследии можно отыскать два-три неудачных опуса. Что, если моя операция окажется неудачным опусом профессора? Это вполне допустимо и совершенно естественно и даже не отразится в дальнейшем на отличной профессорской [репутации]. Этот ничтожный процент неудач для него может оказаться весьма значительным лично для меня. Тут я увидел, что вся операционная затемнена, как во время войны. Только над столом висит как бы электрическая пушка, которая должна освещать мои гланды. И вторая пагубная мысль овладела мной: а что, если произойдет короткое замыкание как раз посреди операции? И тут я закрыл рот и отказывался открыть его, несмотря на уговоры всего персонала от профессора до медицинских сестер и санитарок. В конце концов все же им удалось усовестить меня. Не верьте, если вам будут говорить, что эта операция коротка и безболезненна. Она длится бесконечно. А боль настолько сильная, что я далеко отбросил в один из тяжелых моментов профессора ударом правой ноги”.

1956
2
ноября

А не нырнуть ли в прошлое? 1927 год. Поезд подходит к Феодосии. Нэп. Владельцы частных машин и автобусов ходят по вагонам, предлагают билеты. И вот автобус везет сначала виноградниками, до Коктебеля пустой степью с полынным, дорогим моему сердцу духом. Дальше — ореховые заросли, крутые виражи и Судак. Вот я во второй раз еду на восточный берег Крыма. Через пять лет. В Коктебель. На душе спокойней, чем в первую поездку, хотя времена пошли более суровые. Ленинградский Литфонд купил дачу Манасеиной, и мы — первая партия отдыхающих. На этот раз мы не попали в прямой вагон. В Джанкое пересадка. С нами в одном купе целое семейство татар, и среди них девочка лет пяти. Она прелестна и своим степенным выражением, и мягкими чертами лица, и той загадочностью, которая кажется прекрасной, когда видишь привлекательного представителя чужого племени. Все сидят, а ей нет места. Она стоит между скамейками, заложив руки за спину, слушает разговоры взрослых. И Катюша кладет ей в ладонь печенье. Она вздрагивает, теряется, улыбается. Взрослые татары добродушно хохочут. Поддразнивают ласково девочку. Теперь ей лет тридцать. Где-то она? Как отразилась на ней страшная судьба ее племени? Вот приехали мы посмотреть Феодосию. Все в том же году. Бродили с Катюшей по узким крутым улочкам. Пляж — редкий на Черном море — без камней. Чистый, твердый, золотой песок.

1954
16
августа

Первая наша квартира в Ленинграде отличалась сильным запахом гари. Невский, 74, квартира 72. Домком отдал нам ее с тем, чтобы мы произвели ремонт. Пожар, собственно, был в нижней квартире. Она выгорела, а в будущей нашей частично провалился пол, в большой, если можно так выразиться, комнате, метров 12-ти, балки обгорелые (не только поверхностно) чернели посреди пола. И уже после ремонта запах пожарища держался некоторое время. В одной из комнат домкома висел еще на стене портрет сурового человека с окладистой бородой: бывшего домовладельца. Это ему принадлежало чуть ли не полквартала. Мне рассказали, что сын его, студент, поручился по векселю своего товарища. Приходит срок. У товарища к этому времени денег не оказалось. Сын пошел к отцу. Тот отказал. И студент бросился с площадки дачного поезда, погиб. И отец, тот самый бородатый старик, портрет которого позабыли впопыхах снять из конторы, построил возле места, где сын покончил самоубийством, церковь. Был у домовладельца свой вагон, которым он ездил в Москву по своим делам. Будить он себя не

приказывал. И так в вагоне и умер, прибыв из Москвы. Долго стоял вагон, пока дознались о смерти старика. Воспоминания о старых купцах, домовладельцах, бывших людях еще носились, держались в Петрограде 1922 года, как запах гари в нашей квартире. Рассказывали, что каждый день по Моховой гуляет седой старик — бывший министр двора барон Фредерикс. Тихо, притаившись, доживал свой век нововременец Буренин. У аничковской аптеки просил милостыню, сидя на подоконнике, испитой человек, далеко еще не старый, с университетским значком. Черноглазая старуха пела по-французски.

1954
17
августа

Полная, крупная, стояла, пела под сводами Гостиного двора, пела низким контральто, от которого уцелело две-три ноты. Их брала она погромче, остальные — едва слышно. Так что от мелодии песен ее почти ничего не оставалось. Выкрикнет две-три ноты, два-три слова — и молча, почти что молча пошевелит губами. В квартире, что отремонтировали мы, первую зиму было ужасно холодно. Ведь главное пожарище было этажом ниже, зияло на узкий второй двор обгорелыми остатками рам. Но вот поселился кто-то и внизу. Отремонтировал квартиру и [исчез] запах гари. [19]22, [19]23 годы — время голодное и нищее. Потом Бахмут, Всесоюзная кочегарка, Маршак, Госиздат, “Радуга”, снова Госиздат, и вот двадцать пять лет назад пришли последние дни моей жизни на Невском, 74. Я не то что действовал, а поток, захвативший меня, был так силен, что я был словно смыт, вышиблен из старой своей колеи. Какая-то часть моего существа смотрела на происходящее холодно. Словно подозревал, что я преувеличиваю. Что можно было бы и уклониться. Но возврата назад не было. Я подчинился силе любви своей и Катиной. И не обращал внимания на нездоровую, вечно сомневающуюся часть своего существа. Был я один, в пустой квартире, без копейки денег. В ящике за кухонным окном, которое выходило на стену соседнего дома, голуби вывели птенцов, страшных, желтых, без признаков пуха. Утром звонила молочница-финка деликатная, но ошеломленная тем, что я месяца полтора не плачу ей за молоко. Через несколько минут после нее появлялся Дитрих. И, несмотря на то, что события моей жизни увлекали меня в совершенно противоположном от рукописи направлении, я не в силах был отказать ему. Я садился рядом с ним за стол и правил, а проще говоря, писал “Казачат” — главу за главой, спрашивая у него о подробностях и фактах. Рукописи-то не было у него в сущности.

1954
18
августа

И унесли меня события тогдашних дней прочь от дома 74, от жизни, которую считал я навеки установившейся, в совсем новую и до того в те годы ясную и свежую, что я долго не мог к этому привыкнуть. Жили мы в самом первом этаже, гости стучали прямо в окна. Как-то шла Катя от Тыняновых, и я — дело было вечером — издали, издали слышал, как стучали каблуки единственных ее лаковых туфель. За счастье новой жизни приходилось платить — переносить тяжелые дни постоянных Катиных болезней. Не легче, а с каждым днем тяжелее становились отношения со старым домом. Трудно было каждое посещение дочки, а отказаться от них не мог. С каждым днем все больше привязывался к ней. И, как теперь понимаю, я не убегал от расплаты. Не уклонялся. Не считал, что домашние горести меня не касаются, а радости касаются. Я отвечал за болезни и нужду и все сложности. И довольно рассказывать о себе. Нет, жалко перестать, уйти из того времени. Окрестности моего дома были теперь совсем другие. Советские — бывшие Рождественские. Греческая церковь. Маленькие кинематографы. Греческая улица. Мальцевский рынок. Сквер на Греческой, по дороге к нему. Если шли мы в один из тесных маленьких кинематографов, то заходили в кондитерскую, покупали конфет. Если поднимались к Суетиным, то отдыхали посреди пути, так высоко те жили. И смотрели снизу из узкого второго двора — есть ли свет у них в окнах, чтобы не взбираться по крутой лестнице напрасно. Пахло у них на лестнице почему-то совсем как в майкопской городской библиотеке, отчего мне казалось еще яснее, что жизнь моя начинается сначала. Время было трудное, хлеб получали мы по карточкам, часто исчезали папиросы. Покупать их можно было на Мальцевском рынке. Скоро выяснилось, что меня принимают за переодетого начальника милиции. Я был так похож на него, что продавцы разбегались при моем приближении, не верили, что я — это я.

1954
19
августа

В декабре [19]29 года Катюша очень тяжело заболела. Сил нет рассказывать, как и почему. И я, как теперь вижу, принял этот удар добросовестно, расплатился по мере сил. Ладно. Об этом хватит. Все равно я с ужасом вспоминаю о тех днях и ночах. Какая там добросовестность! Всякое несчастье прежде всего безобразно. В те дни трудно было понять, разрешена елка или запрещена. Поэтому продавались они на задах Мальцевского рынка с воза или на руках, очень редко. Нам, помнится, привезла крошечное деревце молочница. И не было елочных игрушек. Набросали на ветки клочья ваты, посадили

какую-то беленькую куклу, тоже ватную или из того материала, из которого делают елочных дедов морозов. Повесила Катя на елку все свои бусы. Купили конфет в серебряных бумажках. Вместо елочных свечей добыли восковых из церкви. И 24 декабря зажгли елку. С тех пор ни разу не пропустив, кроме военных лет, зажигали в этот день елку.

1956 *15 ноября*

Теперь я понимаю, что сильнее всего в моей жизни была любовь. Влюбленность. Любовь к Милочке определила детство и юность. Первый брак был несчастным потому, что домашние яды выжгли, выели любовь из моей жизни. Но вот я стал искать, придумывать влюбленность. Притворяться. Пока в 1928 году не встретился с Катей, и кончились неистовые будни моей семейной жизни. Снова любовь, не слабее первой, наполнила жизнь. И я чудом ушел из дому. И стал строить новый. И новее всего для меня было счастье в любви. Я спешил домой, не веря себе.



До тех дней я боялся дома, а тут стал любить его. Убегать домой, а не из дому. Я не знал, куда заведет меня жизнь. Как и прежде, пальцем не хотел шевельнуть. Куда везут, туда и везут. Только теперь все представлялось другим. Поезд переменился. Написал и почувствовал, как неверно рассказываю. Все время выбирал я одно из двух, все время пробирался своей дорогой на свой лад, а в те дни равнодушной минуты не случалось. Я не сделал бы и шага, чтобы выгадать или завоевать. Не по благородству, а из честолюбия. Из самолюбия. Из страха боли. И писал немного. Потому что жил. Выйти на улицу было наслаждением. Все имело смысл, который я припоминаю смутно, проезжая там, где мы жили. Угол 7-й Советской и Суворовского проспекта. Время бедное — конец 29-го, 30-й год. Коллективизация. Магазины опустели. Хлеб выдавали по карточкам. Серые книжки, похожие на теперешние сберегательные. Талоны не вырезались — ставился штамп на данное число. Мясо, все больше фарш, покупали мы на рынке, и Катя варила суп с фрикадельками. Суп на первое, а фрикадельки на второе. Комнату занимали мы в странной семье. Кацманы — немецкие дворяне по происхождению, как рассказывали они сами. И в самом деле, ничего еврейского ни в них самих, ни в многочисленной родне их не наблюдалось. Главою дома являлся — вот и забыл имя — старший брат, тощенький человечек, крайне спокойный, крайне молчаливый, необыкновенно уверенный в себе. Ему, кажется, не исполнилось еще и тридцати. Работал в Главной палате мер и

весов, что шло ему. Три сестры — одна не то годом моложе, не то годом старше главы семьи, замужняя, и две девицы — совсем юные, белокурые и на удивление ленивые. Они все валялись да читали целыми днями. Читали с разбором. Пруста, например. Даже маленького шпица своего назвали Сван. За те два года, что мы жили у них, женился и Костя (вспомнил, войдя в то время, имя), и вышли замуж девицы. И родилась у Кости девочка. Семья переходного времени. Тесть — некогда богатый человек, да и в те времена сохранивший кое-что.


1956
17
ноября

Что-то я вяло рассказываю, надо проснуться. Квартира Кацманов помещалась в первом этаже. Существовал там и парадный вход, вечно запертый, чуть ли не с семнадцатого года. Но ходили мы все черным, из-под тоннеля ворот, прямо через кухню. В кухню же выходила и маленькая комнатка для прислуги. В открытую дверь виднелся огромный образ Николая Чудотворца, чуждый всей квартире, как и высокая дряхлая старуха, проживающая в этой комнатке. Образ этот я любил, а старухи побаивался. Была она не живая, не мертвая и все говорила Кате: “Ох, на Охту хочется мне”. Мы не понимали, что разумеет она Охтинское кладбище. И Катюша спросила: “У вас что, там родственники?” — “Много родственников, почти все там” . Кацманам приходилась она бабушкой по материнской, кажется, линии, но беспорядочное, и холодное, и путаное это семейство держалось само по себе. И как-то бабушку увезли в больницу, и оттуда попала, бедняга, куда стремилась, на Охту. Катюша переехала к Кацманам летом [19]29 года. Я бывал там сначала гостем, и девицы сливались для меня в одну массу, и я никак не мог понять, сколько их , и поэтому, случалось, здоровался по нескольку раз с одной и той же. Когда я переехал к Катюше, то разобрался в семье отчетливее. Это было время свадеб. Младшая вышла за кончающего институт студента и переехала к Тыняновым. Этот кончающий институт студент с немецкой фамилией, сын какого-то профессора, был привлекателен, прост, понятен, много читал и, несмотря на простоту душевную, очень любил Гофмана. В молодой его жене — ей только что исполнилось семнадцать — простоты не наблюдалось. Дух революционный еще дотлевал во множестве семейств. Отсюда и Пруст. Отсюда и лень, и лежание в кровати до обеда. Свирепый новый дух еще не пообломал рога предшествующим духам. Закутки неприбранные еще не сгорели. А насчет неприбранности Кацманы были мастера. Ляля — девица восемнадцати лет — не причесывала свои белокурые и густые волосы и до того довела, что завелись у нее колтуны. Вырезала их.

1956
18
ноября

Смешанная обстановка их дома, буржуазная, конца века, с вещами сероватого цвета модерн и прекрасными, добротными, доставшимися в приданное (да, в приданное оно было дано Костиной жене), со старинными вещами красного дерева. И все эти вещи хирели друг возле друга от холодного и небрежного обращения. А в нашу комнату временно поставили вещь уж совсем драгоценную: бехштейновский рояль красного дерева, концертный, из последних номеров. Тоже входящий в приданое Дуси — вот и выплыло имя Костиной жены. Печь в кухне, как и во всех квартирах, находилась как бы в параличе после революции. Дров было недостаточно в городе даже во времена нэпа, а в тридцатых годах и совсем поприжало. Там горели керосинки, тоже обиженные, заброшенные, с подтеками на слюдяном окошечке и на медных боках. Но страшнее всего была наглость крыс. Они бегали по всей квартире, как равноправные жильцы. Воду пили из бака в уборной. Собирались там компанией, как бабы у колодца. Входя в уборную, приходилось стучать и кричать, после чего они неторопливо спускались по трубам и удалялись потайными ходами. Однажды шел я коридором в сумерки , не зажигая огня, и наступил на что-то мягкое и услышал писк, и, когда вспыхнул свет, увидели мы крысу, которую раздавил я насмерть. И я испытал гадливость, но не раскаяние. Просторная, темная, нечистая квартира. И в прошлом у Кацманов было что-то неясное. Они говорили, да девочки, очевидно, и верили этому, что их покойная мать служила воспитательницей в каком-то сиротском доме или институте. А нам сказал кто-то, давно знавший их семью, что служила она смотрительницей в женской тюрьме. Отец был жив. Его дети стыдились. Он был замешан в какой-то афере, сидел. При нас его и выпустили. И он появился: фатоватый, черноглазый, беззубый забулдыга, внушающий симпатию своим добродушием, чуть искательным. Доброжелательностью несчастного человека. Катюша тяжело заболела. Он встретил меня в коридоре у кучи строительного мусора (в те дни, как нарочно, ремонтировали ванную) и сказал с искренним убеждением и желанием утешить, таинственно, пророчески.

1956
19
ноября

“Катерина Ивановна поправится, я знаю, уж поверьте мне!” Итак, семья состояла из Константина Николаевича, подчеркнуто достойно и холодно держащегося, двух сестер-девиц, при нас вышедших замуж, и двух молодых родственниц: Евгении и Анны Михайловны. Отец показывался как-то судорожно. То он здесь, то нет его. Евгения Михайловна вела хозяйство всей семьи. Анна Михайловна где-то служила. Она была чуть странная, как бы отсталая. Вся семья сто-

ронилась ее, а она — семьи. Был еще брат — здоровенный и жизнерадостный блондин, несколько простоватый и стыдившийся этого. Введенский рассказывал, что, нюхая в компании эфир, он симулировал утонченные чувства, кричал: “Я вижу звездного мальчика” . Бедный парень умер скоро, уехав куда-то на строительство. Существовал еще один брат, о котором услышали мы много позже. Он находился в ссылке. Вернулся при нас. И у этого чувствовалась мягкость много пережившего человека. И глядел он неуверенно. И никак не мог найти себе места по плечу, шагал задумчиво по темной квартире, маленький, сгорбившийся. И наконец решился — взял да и уехал обратно в лагерь, на этот раз вольнонаемным. Режиссером в лагерную самодеятельность. И вот в эту кацмановскую стихию, неясную, довольную своей неясностью, уверенную в своей высокой аристократической тонкости, попала Дуся. Она казалась рослой и здоровой, и такой же был ее отец. Кровь с молоком. Это был купец, предприниматель по происхождению и воспитанию. Не из-под полы, по-спекулянтски, а открыто, твердо веруя, что ничего в работе его дурного нет. Он во время нэпа подрядился построить новое здание Кузнечного рынка, что и закончил благополучно, но в те же времена закончился и нэп. Подрядчика раскулачили, даже и посадили, но в наши дни он уже был на свободе. Купцов такого типа разорить непросто, и Дуся осталась невестой с приданым. И свадьба состоялась по всем старым традициям. Но Кацманы со своим старонемецким дворянством, в которое они привыкли верить, поглядывали на новую свойственницу холодновато, небрежно. Она была уж слишком проста и здорова.

1956
20
ноября

В положенное время Дуся родила девочку. Роды оказались трудными, длились чуть ли не трое суток, что Кацманы приняли легко, чуть насмешливо. Константин Николаевич сохранял спокойствие, достойное Главной палаты мер и весов. Ничего не показывал на узеньком личике своем и в то утро, когда мучения жены его благополучно завершились. Девочка появилась в доме Кацманов. Через некоторое время назрели новые события. Муж младшей по окончании института был взят на военную службу. И в нее, младшую, влюбился Лялин муж. И ушел от Ляли. А Ляля, кажется, вышла за его брата, или наоборот. Я, вспоминая, с трудом разбираюсь в тонкостях этих отношений, запутанных, как нерасчесанные Лялины волосы с колтунами. О дух квартиры, где доскрипывал, доживал свой век старый модерн, бегали крысы, истлевал по углам старый сор. Все эти события не огорчали семейство, а, напротив,

прочнее утверждали в сознании собственной исключительности. Простой и толковый парень, любивший Гофмана, и там, на военной службе, вероятно, страдал, узнав, что его жена ушла к другому, но сами Кацманы отнеслись к этому отчужденно и холодновато, как и к Дусиным родовым мукам. Кацманы были полны самоуважения, как их мебель модерн, и Ляля однажды сказала: "Мы похожи на Форсайтов" . Около двух лет прожили мы в этой семье, точнее, в чисто механическом окружении этой среды. Вначале завязалось некоторое подобие более дружеских связей. Мы были молоды и еще сохранили умение прирастать. Лялю Катя даже причесала как-то и вырезала колтуны из ее длинных и густых волос. Мы играли вечерами в карты. Младшая, переехавшая к Тыняновым, ставшая соседкой Сашки Зильбера, когда муж уезжал в институт, прибегала в старую семью и непременно заходила к Кате, которой велено было в те дни лежать. Но вот однажды утром она не зашла к нам. И на ее лице, когда я спросил "почему", мелькнуло смущенное, но и довольное выражение.

1956
21
ноября

И я до сих пор думаю: уж не воспользовался ли Сашка случаем. Это было бы вполне в духе обоих. Пустая квартира. Любопытная, холодноватая, молоденькая женщина. Сашка тех лет, словно тощий пес, охотящийся без хозяина на любую дичь. И самодовольное ощущение греха у нее. И смакование. Отсюда нежелание показываться на глаза Кате. О невинные сложности, умирающие дьяволята с тончайшими рожками! На пороге были уже новые дни, год, два, три, и не осталось ни рожек ни ножек от бесов мелких квартирных, о чем, впрочем, благодаря строгой постепенности перемен еще долго не догадывались люди. Иные думают, что живут, как жили. И до сих пор не замечают изменений, кроме разве возрастных. Итак, мы жили своей жизнью в чужой среде. По молодости лет начали даже входить в ее интересы. Помню, как шила Катюша целыми ночами приданое Дусиной девочке — Катя страдала иные ночи бессонницей. Но холодновато-враждебно-самодовольная кацмановская среда не склонна была к миру. Ляля, самая из них простая и добродушная, расспрашивала меня о семье одной детской писательницы. Расспрашивала с интересом, дружелюбно. А потом пожаловалась: "Мы были с ними так дружны — и вдруг разошлись. Теперь я даже не могу припомнить почему". И знакомое фамильное выражение самодовольства промелькнуло на ее наивном лице. "Вот такая уж у нас особенность. Сегодня дружим — завтра ссоримся". Так вышло и с нами. Ссоры не было. Но постепенно, постепенно отношения пошли ухудшаться. Помимо се-

мейных, кацмановских, нашлись тому и другие причины. Мы были слишком уж бедны. Печка в нашу комнату топилась от Кацманов. Дров я не мог добыть, и выходило, что точный, аккуратный Костя отапливал и нас. И это, может быть, еще и обошлось бы, если бы хватило у меня духа пойти да объяснить положение дел. А я все не смел. И Костя, темный, тощенький, важный — полный духа Главной палаты мер и весов, почти перестал здороваться со мною при встречах. Женя, бедная родственница, которая и служила, и преданно обслуживала семейство Кацманов, тоже помогала охлаждению отношений.



Видимо, клан стал поругивать нас за глаза, и бедная Женя и тут служила племени вождей, как могла. Передавала то, что ей послышалось или почудилось или, казалось, пригодится ругающим. Катя, никогда не плачущая, даже всплакнула однажды. Она, единственная во всем доме, не могла спать, когда мучилась Дуся в родильном доме, шила приданое будущему ее ребенку, возилась с девочкой, когда ее привезли домой. Но вот и Дуся перестала почти здороваться с ней, подчинилась общему охлаждению. Много позже узнали мы, что Женя сказала, будто Катерина Ивановна обвинила Дусю в том, что та редко купает своего младенца. Шпиц, щенок, названный в честь Пруста Сваном, пропал. И в доме появился старый пес той же породы с невыносимым характером. Однажды Женя пришла к нам, сопровождаемая этим старым дураком. И тот залаял на меня злобно, без всякого повода, просидев у нас уже с полчаса. Я вспомнил старый способ воспитания подобных собачьих натур: надо поднять крик и лупить чем попало не самих собак, а пол возле них. Так я и сделал. Произошло это утром. Потом я ушел. Вернулся в обеденное время и принес новую книжку Моруа, биографический роман о Гофмане. Кацманы обедали в кухне. Муж младшей (он в те дни еще не был мобилизован) держал на коленях старого шпица и с грустным и осуждающим видом гладил его. Я показал мужу младшей, любителю Гофмана, роман Моруа, но он, к моему удивлению, едва на него взглянул. Ничего не понимая, удалился я из кухни смущенный. И много позже узнал, что Женя рассказала всему племени, будто я избил пса безжалостно. Стулом и чем попало. Удивительна легкость, с которой поверили этому. Ударь я стулом человека, ему и то худо пришлось бы. А тут парень держал на коленях маленькую старую собаку, вполне невредимую, и верил тому, что я избил ее стулом. Почему? Сплетни выглядели живыми, как крысы в этой темной квартире. Бедной Жени давно уже нет на свете и не мне винить ее, горемы-

ку. Таким уж воздухом она дышала. Умерла и самая здоровая в семье, Дуся. Умерла в три дня от ангины. Уже после нашего переезда.



Как- то к нам на канал Грибоедова привела Женя, а может быть, Анна Михайловна, дочку Дуси, девочку худенькую, словно отравленную ядами кацмановской квартиры. Она волочила ножку — что-то случилось с беднягой, кажется, перенесла она детский паралич. И держалась робко, будто она, последняя в славном племени, вовсе никому не нужна. В остальном же связь с Кацманами, едва мы оттуда выехали, оборвалась, как и подобает механической связи. Впрочем, дрова мне удалось им вернуть в возмещение убытков. Я добыл ордер, по которому ни на одном складе не хотели мне давать дров, ссылаясь на отсутствие завоза. Наконец на Охте отмерили мне полагавшееся количество бревен, после чего я долго искал возчиков. Нашел с трудом. Два ломовика сказали, что повезет дрова их брат младший, глухонемой, но чтобы я заплатил им деньги тут, вперед, тайно, а глухонемому заплатил бы малую часть дома. "Ему нельзя давать больше" . Когда я, словно взятку, сунул братьям положенную сумму, один из них стал знаками объяснять глухонемому, какой дорогой ехать. Провел рукой по воздуху, потом положил щеку на ладонь и закрыл глаза. "Где трамваи спят. Мимо парка" . Глухонемой, что-то подозревая, всю дорогу поглядывал на меня косо и мычал, но тем не менее выгрузил дрова на кацмановском дворе и сложил в их сарай. И под самый новый [19]32 год переехали мы на Литейный проспект, 16. Я начал говорить о себе, свел на описание кацмановской семьи, потому что туман, рассеиваясь, прежде всего обнаружил фигуры людей, к которым мы попали. Рассказываю дальше. У нас ничего не было. Катина кровать, узкая, девичья, на которой мы помещались чудом, шкафчик. Принадлежавший Кацманам массивный, розового мрамора стол под умывальный таз. Он служил мне письменным столом. Странно улыбаясь, Кацманы предложили купить у них деревянный, резной, узкий, столовый, черного цвета стол с раскрывающимися крышками. Он оказался привязчив.



Он, стол этот черный, сопровождал нас всю жизнь, уцелел в блокаду и до сих пор стоит у нас на даче в Комарове. Меня почему-то из-за странной улыбки Кацманов преследовала мысль, что со столом у этого семейства связана какая-то история. И, казалось мне, невеселая. Отсюда их фамильная недобрая и странная улыбка. Перебирая все возможности, я предположил, что на этом столе стоял

гроб с телом их матери некогда. Впрочем, кто их знает. Но почему они улыбались? Итак, мы были бедны. Соседи достались нам трудные. Друзья еще труднее. Каждый месяц в течение нескольких дней лежала Катюша под морфием. Дважды ожидала она ребенка, и оба раза кончилось дело страшно. Неудачной оказалась и операция, которую сделала ей Теребинская 7 июня 30 года. Больница, болезни, нищета, вечная неуверенность в завтрашнем дне, а вспоминается мне то время как необыкновенно счастливое, будто освещенное изнутри. Радость переплавляла все. Еще недавно удивлялась Катя, как я был весел. Почему? Потому что жизнь повернулась. Потому что близость с Катюшей доходила до необъяснимой силы. Однажды она угадала мысль мою, едва оформившуюся, сложную и назвала ее. Мы оба молчали, и вдруг она сказала, о чем я думаю. Я развивался медленно, с трудом выбирался из темноты. Не верил себе. Мало работал. Легко терял веру в себя — и за всем за этим до опьянения ясно верил, что вот-вот все обернется и расцветет так же, как вдруг обернулась и расцвела моя домашняя жизнь. Я говорю о работе. Любые мечты упирались или приводили к одному: я начинаю работать. На углу Девятой линии [Ошибка Е. Ш. — Девятой Советской — Ред.] помещалась кондитерская, где в начале нашей жизни покупали мы десять слоеных пирожков за рубль, — это был наш обед. Впрочем, то, что пытаюсь рассказать — не поддается, едва я слишком близко подхожу к нам. Это не рассказывается. Вот почему я так подробно говорил о Кацманах — чтобы отложить разговор о себе. Есть предел, за которым прямой рассказ невозможен. Ощущение кощунства.

1956
25
ноября

С трудом получили мы две комнаты на Литейном проспекте — тогда переезжали писатели в дом на Троицкой улице, и освобождающуюся площадь отдавали тоже членам Союза. Впрочем, Союз в настоящем виде еще не существовал. Был старый Союз писателей на Фонтанке, был РАПП, было нечто Междуведомственное, носящее имя ФОСП, объединяющее все литературные организации. Это последнее существо пребывало в Доме печати, тоже на Фонтанке, но у Симеоновского моста, и вход был с Караванной. Я уже как-то говорил о том, что репутация наша в те дни менялась с необыкновенной быстротой, и каким писателем числишься ты на сегодняшний день, узнать можно было только в день распределения карточек на добавочный паек. Когда распределялась освободившаяся жилплощадь, репутация у меня оказалась приличной, и я получил две комнаты — на меня и родителей моих, которые собирались переехать в Ленинград. Тут соседи нам достались еще более

любопытные. Самую большую комнату занимал художник Калужнин. Лицо беспокойное, с выражением окаменевшей обиды. Квартира некогда принадлежала его сестре, и художнику все чудилось, будто сохранил он какие-то права на нее. У него были свои планы на освободившиеся комнаты, и он все звал меня объясняться к себе, невесть что доказывая и обвиняя во всем Фромана, комнаты которого мне достались. Винил он заодно и меня, потому что я незадолго до переезда имел слабость пойти на комбинацию, более удобную художнику: вместо двух комнат в четвертом этаже согласился было взять одну в пятом. Через полчаса я опомнился и отвел это предложение. Но Калужнин не мог этого забыть. С окаменевшим выражением обиды, чудак от темени до пят, зазывал он меня в свою комнату. Вид у нее был такой, будто жильцы оставили ее лет пять назад. Пыль, копоть, грудой сваленные холсты. Керосинка. Остатки еды. На мольберте картина, тоже будто написанная пылью и посиневшая от холода. О слабость, окаянная слабость моя! Я чувствовал себя виноватым и пытался оправдываться. В чем? Зазвав меня в свою комнату, Калужнин обвинял.

1956
26
ноября

Начинал он издалека — с того, как сестра еще до революции приобрела и любовно, заботливо обмеблировала квартиру. Потом бранил он Фромана, которого из ненависти именовал Фракманом. Тот пробрался в квартиру хитростью, а теперь, пользуясь своим влиянием, передал квартиру нам, тогда как живущий в пятом этаже сценарист, хоть и молодой, но талантливый, имеет куда больше прав на эти комнаты, ибо связан с Калужниным работой. А квартира все-таки принадлежит его сестре, которая вот-вот восстановится в правах советской гражданки и вернется в СССР. А если не вернется, то тем более он, Калужнин, имеет право на площадь. Он, а не Фракман и не Союз писателей. Далее нападал Калужнин на председателя правления жакта. "Я ему помог, дал показание, что его теперешней жене шестнадцать лет, иначе их не хотели зарегистрировать, а ей еще не было шестнадцать, а когда мне надо было помочь, он мне не помог" , — и так далее, все без знаков препинания. Кончались жалобы тем, что он теперь не имеет возможности жениться, так как со сценаристом (забыл фамилию) он как-нибудь урегулировал бы вопрос о площади, а тут... Чего он хотел от меня, он и сам как следует не знал. Не мог же он надеяться, что я возьму да и выеду? Просто отводил душу. Тем более что молодого сценариста вскоре арестовали по обвинению в педерастии и выслали, так что эта часть жалоб механически сократилась. Любопытно, что этот невзрачный, брюзгливый, с пылью в

мыслях человечек имел большой успех у женщин. Куда только не заводит их страх одиночества. Одна даже поселилась у него — молоденькая, миловидная. На лице вечная гримаса не то испуга, не то отчаяния. Впрочем, прожила она в пыльном логове недели две — три и исчезла. Мучил меня Калужнин своими разговорами в течение всех двух лет, пока мы там жили. Но вот однажды неожиданно для себя я потерял терпение и крикнул: "Вы мне надоели!" и высказал все, что я о нем думаю. Произошло это событие не у него в комнате, а возле ванны, где застал меня Калужнин на этот раз.

1956
27
ноября

Враг мой сразу потерял дар слова и двинулся, бормоча нечто непонятное, к своим дверям. Я же шел за ним, повторяя с наслаждением, с таким чувством, будто вырвался на свободу: "Вы мне надоели! Понимаете? Вы мне надоели!" На этом сражение и кончилось. Минут через пятнадцать ощущение наслаждения и свободы исчезло, появилось новое, похожее на похмелье. Стычка дурацкая, постыдная. Меня словно судорогой сводило, когда вспоминал я подробности. Но как это ни странно, Калужнин словно очнулся от двухлетнего кошмара после этого. И когда я сообщил ему в 34-м году, что мы получили квартиру и переезжаем, он пришел в смятение и спросил:" Надеюсь, что причиной этому не инцидент, который произошел между нами?" И не обижал родителей моих, которые остались в одной из комнат. И при встречах всегда заговаривал со мной, как с хорошим другом. С годами он словно бы помолодел, как будто его веничком обмели и лаком протерли. Кажется, наладились его материальные дела каким-то образом. Когда случается попасть мне в Союз художников, то узнаю среди присутствующих достаточное количество окаменевших от обиды чудаков типа Калужнина. Многие из них еще и больны: у одного шея в потемневшей от времени повязке, у другого щека, третий хромает. И каждый лечится из недоверия к миру по своей системе: кто травами, кто отвратительно пахнущими вытяжками некоего доктора, изготовленными из падали, кто корой, кто женьшенем. И у каждого своя система этическая и эстетическая. А общее ощущение от этих горемык — словно только что они с паперти или собрались туда. Вторая жиличка нашей квартиры на Литейном была совсем уж безумной. Быстрая в движениях, как птичка, волосы крашены в черный цвет, брови наведены прямо по лбу, без всякой попытки правдоподобия. Являлась она со службы своей полная ярости и по коридору бежала, шепча в достаточной степени разборчиво: "Черт знает что такое, черт знает что такое!" Ныряла в комнату и запиралась там. Достаточно было позвонить кому-

нибудь или заговорить тебе с кем-нибудь в коридоре, как приникала она ухом к матовому стеклу двери, ведшей в ее убежище.



Но она не догадывалась, что тень головы ее движется по матовому стеклу, и мы в коридоре ясно видим, как выбирает она суетливо место, где слышимость наиболее отчетлива. Калужнин находился с ней во вражде до того застарелой, что острых перепадов не наблюдалось почти. Безумная жиличка воевала с Фроманами до их отъезда. Особенно ненавидела она мать Фромана, Иду Моисеевну-старшую. Внезапно распахнув дверь в ее комнату, кричала она: "Вы некрасивая" — и исчезала. Минут через десять, набравшись ненависти, провозглашала она: "Вы уродка!" — и снова захлопывала с грохотом дверь в комнату противника. Но и этого ей было недостаточно. "Вас надо топором порубить" — раздавалось через пять минут. Нам каким-то чудом удалось сохранить с беднягой отношения вполне пристойные до самого конца нашего пребывания в квартире. Кроме ненависти ко всему миру ("черт что такое, черт знает что такое"), у безумной жилички развилась скупость такой же безудержной силы. От кухни — все такой же ленинградской, полуобморочной кухни с парализованной плитой — был отделен чуланчик, принадлежавший безумной жиличке. Она милостиво отвела в нем уголок и для нас. Чем только не была завалена ее территория чуланчика! Обрезки кожи, добытые в какой-то артели. По ее словам, они могли при случае отлично заменять дрова. Она отапливалась этими обрезками однажды и берегла их про черный день. Здесь же были уложены коробочки, тряпочки, лоскутки, сломанные каблуки, видимо, подобранные на улице. Иногда из кухни исчезала половая тряпка или веник. Их было легко и просто найти, порывшись в сокровищнице безумной жилички. И она никогда не протестовала, обнаружив, что похищенная ею хозяйственная принадлежность водворена на место. Разве только похитит ее вновь. Кроме ненависти ко всему миру и скупости бушевала в нашей соседке неутолимая жажда мужской любви. Вот почему она красила волосы, делала брови.



Однажды у нее собрались сослуживцы — пять-шесть нагловатых мужчин. Они быстро напились. Один из них вошел, сбившись с пути, в нашу комнату и, не извинившись, удалился. Что творилось там, за матовым стеклом, неизвестно, но, уходя, гости вдруг расхохотались, словно взорвались, у самой выходной двери, не

дотерпели до улицы. И хохотали, спускаясь по лестнице, так дико, что у нас было слышно. Не знаю, что думала об этом взрыве сама хозяйка, но на несколько дней она притихла и даже не шептала обычных своих заклинаний, пробегая по коридору. Две комнаты занимали мы недолго. Приехала из Майкопа мама. А через некоторое время и папа. Катюша хворала все. Стол от Кацманов переехал с нами. Письменный выменяли мы у Суетиных на шкафчик. Столик был крошечный и имел дурную привычку становиться на колени, роняя на пол рукописи и чернильницу. Передние ножки у него как-то подгибались. Падал и стул, принадлежавший еще Катиному отцу, — забыл упомянуть этот, перечисляя нашу мебель. Стул с полукруглой спинкой. Скорее кресло, но без пружин, с твердым сиденьем. За этим столиком дописал я "Телефонную трубку" , одолел "Клад" в три дня, написал "Гогенштауфена" — первый вариант. Однажды заболела Наташа. Летом. Я поехал на дачу, и пришлось мне там, в Разливе, и переночевать. Иду с вокзала пешком часов в шесть утра и вижу, что окно с цельным стеклом в нашей комнате открыто. Катя, бледная, с платком на плечах, ждет, беспокоится. И тут, несмотря на нищету и все сложности, были мы так близки, что, проходя года два назад мимо дома 16 и увидя за окнами тени чужих людей, я почувствовал словно укол. Словно ревность — чужие у нас, где столько пережито. И жалость. И тень сознания невозвратности. Только тень. Более ясно ощутить, что прошлого не вернешь, — я не позволил себе. Я не верю в это. В 1934 году кончили надстройку на канале Грибоедова, и мы вдруг получили там квартиру. РАПП внезапно скончался, возник оргкомитет Союза. Уже не существовали или существовали в меньшей степени те силы, что определяли, кто мы, что мы на сегодняшний день.

1956
30 ноября

Так вдруг сообщили мне, что дадут квартиру, маленькую, в 23,7 метра, двухкомнатную, но отдельную, наконец отдельную! И я был счастлив. И мы стали готовиться к переезду. Однажды мы зашли в ДЛТ, который в те дни назывался ДЛК — Дом ленинградской кооперации. Там в мастерской заказан был костюм синий для меня. Надо было внести сто рублей. Оказалось, что заказ еще не готов. Мы зашли в отдел ковров и увидели один, неслыханной красоты, как мне сразу показалось. Очень большой, он лежал на столе и на полу, как бы светясь на сгибах — шелк с шерстью. Сколько стоит? 180 рублей. Он был посередине как бы разрублен шашкой, точно, по прямой — вот чем объяснялась его дешевизна. Где-то я слышал или читал, что на пирах своих какие-то племена пробуют на свернутых коврах силу удара и качество

клинка. Во всяком случае, тут не удалось разрубить ковер до самого конца. Я к вещам равнодушен, но тут мне почему-то очень захотелось купить ковер — иомудский, как объяснили мне в ДЛК. Я внес 100 рублей задатку и побежал собирать остальные. Сколько-то взял у отца, сколько-то в Госиздате — восемьдесят рублей в те дни были не такие уж маленькие деньги. В магазине нам дали адрес мастерской. И вот каждый вечер стала появляться у нас скромная девушка с мотками шерсти и белыми спицами. Она чинила ковер и рассказывала, как различить первый или второй сорт по изнанке ковра, машинной он или ручной работы. Рассказывала, как мастер вчера принес маленький белый ковер "тебраза" и говорит: "Он один стоит больше, чем все ковры в мастерской". Мы заметили, что один узор в правой обрамляющей стороне нарушен своенравной женщиной, что ткала ковер. Вместо повторяющегося орнамента изобразила она, весьма, впрочем, условно, верблюда и коня. Вероятно, какое-нибудь событие произошло в ее семье или в племени, и ей захотелось отметить его на ковре. Квартиру свою мы еще не видели.



Прораб жаловался, что будущие владельцы квартир все ходят по своей жилплощади и мешают, предъявляют претензии. Посещение надстройки было запрещено. Тем не менее мы рискнули однажды, кажется, с Олейниковым разведать, где мы будем жить. Вошли. Рамы еще не вставлены, полы еще не настланы, трудно понять, что будет. Но Кате понравилось, она умела, как все женщины, на примерке угадать, что получится из недоделанной до конца вещи. Мы уже собирались уходить, когда вдруг словно из-под земли вырос сердитый старик, приземистый, с седой бородой — прораб! Хоть мы и не предъявляли никаких претензий, он напал на нас за нарушение приказа. Мы приняли это весело, спустились во двор и поднялись по средней лестнице, чтобы посмотреть квартиру Олейниковых. К величайшему нашему удивлению, прораб, который и не думал нас преследовать, оказался на площадке четвертого этажа и встретил нас грозным взглядом. Мы скрылись. Поднялись по лестнице, что вела с улицы. И тут оказался прораб! Только переехав, поняли мы, в чем разгадка: дом был построен по коридорной системе. Пока мы спускались во двор и поднимались, прораб шагал не спеша сквозным проходом третьего этажа и преграждал нам путь на каждой площадке. От этого посещения осталось у меня смутное предчувствие. Уже дом был построен, мы перебрались, а мне все чудилось, что увижу я вместо рам четырехугольные дыры в стенах и обнаженные балки в полу. Я столько

раз об этом рассказывал, что мне, когда предчувствие мое сбылось, напоминали об этом, смеясь, как смеются, видя неожиданные, похожие на чудо совпадения. Что же еще умеем мы в таких случаях делать? Итак, возвращаясь к началу, — дом строился и достроился, и в апреле 1934 года получали мы ордера в оргкомитете. Двойные. Одна сторона въезжающему, другая — коменданту надстройки, рослому, молодому, демобилизованному пограничнику, с лицом неподвижным, скорее благосклонным, но все же по-военному взыскательным. И мы тотчас переехали.



Тогда ходили мрачные слухи о людях, врывающихся в готовые дома и которых потом невозможно было выселить даже через суд. Рассказывали: входит Москвин с ордером, а в его новой квартире уже сидят за столом жильцы, пробравшиеся в окна через крышу, и чай пьют. И все. Остался он с ордером на улице. Так было или не так, но весь наш узкий и длинный двор сразу заполнился машинами, ломовиками. Все переехали в один и тот же час, сразу заполнились все квартиры. Весь наш багаж уместился на один воз. А я шел позади с корзиной, где сердилась и жаловалась наша своенравная кошка Васенка. Катюша со своей особой гениальной домовитостью уже к вечеру превратила квартиру в наш, свой, имеющий живую душу дом. Гости прибегали поглядеть на это, как на чудо. И мы долго удивлялись, что живем не в коммунальной квартире, сами себе хозяева. Все радовались.



Ковер прибили мы на стену, прикрыли им купленный в ДЛТ полуторный матрас. Денег у нас не осталось вовсе после переезда. Была только облигация займа. Недавно состоялся его тираж. Я взял эту одну единственную облигацию и пошел на всякий случай в госиздатовскую сберкассу, куда переводили нам гонорар. И, не веря глазам, убедился, что выиграл и принес домой 175 рублей. Это чудо показалось нам хорошей приметой. Первую вещь купили мы такую: висячий старинный шкафчик красного дерева для фарфора, со стеклянной дверцей. Продала его хозяйка квартиры, где снимал комнату Заболоцкий. И с ним вышло приключение, но уже не веселое. Деньги, что дал я Заболоцкому для уплаты хозяйке, у него вытащили. К моему огорчению, он принял грех на себя, как мы ни уговаривали. Письменный столик у меня был крохотный. Одна его ножка все время отваливалась. Имел он склонность падать вперед, на ящики свои. У стола стояло кресло, принадлежавшее в свое время отцу Катюши, со спинкой в виде дуги, русского стиля.

Стены были покрашены клеевой краской, временно, как нам объяснили. До гарантийного ремонта. Впервые в жизни решились мы взять домработницу. Была она маленькая, с одутловатым лицом, лихим и хитрым выражением. Она умела копейку зашибать, и промыслы ее были разнообразны. Она и жеребят резала собственноручно и продавала их мясо за телятину, и служила экономкой у профессора.

1953
29
декабря

Она быстренько подружилась со всеми дворниками и дворничихами нашего хозяйства. Особенно с одной пьяницей, длинной-длинной, испитой, которая все куталась в платок и любила говорить, что если ей в гроб положат поллитра, то и умереть не страшно. У профессора, где служила она экономкой, были кошки и попугай. Кошки были приучены, приходя со двора, вытирать о половик лапки. И если какая-нибудь из кошек нарушала правило, попугай докладывал профессору: "А Машка опять лапки не вытерла". Вела она себя соответственно, и когда ей через год, примерно, было отказано, к нам зашла ее испитая приятельница. Кутаясь в шаль, с полгода назад пропавшую у нас, затягиваясь папиросой, говорила она Катюше: "Жалко мне вас. Всем вы людям верите, все будут вас обманывать". Горькое и счастливое время первых месяцев жизни на новой квартире. С появлением в нашей жизни ковра, как будто, и в самом деле что-то изменилось, расцветилось. Появился у нас телефон. И звонили нам помногу: готовился первый съезд писателей, создавался дом имени Маяковского. Тайна, в которой создавались наши репутации в рапповские времена, как будто рассеялась. Каким-то образом, переехав в новый наш дом, в надстройку, мы стали понятными людьми. Совсем разучился рассказывать за последние дни. Что-то со здоровьем неладно.

1953
30
декабря

Даже двадцать лет назад, во время, в разгаре хлопот по открытию дома я испытывал вечное удивление, чувство, которое не назвать иначе как: "А мне-то какое дело до этого?" Тогда я смотрел с удивлением и завистью на всех, кто проявлял здоровую подвижность, действовал. Интереснее всех был Толстой — этот не то, что действовал, а с наслаждением, нет, с аппетитом играл. Не по-актерски, а по-барски. Жил он во всю, мало занимался тем, что скажут. Желание все освещало. Хочу так, значит, прав. Мне трудно было сойтись с ним — я невольно замыкался, встречаясь с ним, и разом смущал, нет, не то, показывал, что со мной игра не завяжется. Да и не нужен я ему был в то время. Все

не то рассказываю. И вот мы приехали в новый дом, в надстройку. Я жалею теперь, что не записывал хоть понемногу. Но каждое улучшение в нашей жизни, каждое оживление грозило, нет, снималось какими-то несчастьями. Каждый месяц в течение недели Катюша лежала больная, лежала пластом, и мы понимали, что операции не избежать, и это висело над нами. Каждый месяц бродил я по аптекам, добывая морфий в ампулах, и на меня глядели с недоверием. Это пропитывало все горечью. Неуважение друзей все пропитывало как бы керосином. Запутанность моих обязательств создавала такое чувство, как будто пахнет гарью или вода льется с потолка. Я отбрасывал все эти заботы, но они пищали где-то в глубине, рассеивали внимание. И хоть бы раз я встал на свою сторону в ссорах с друзьями. Или сознал свою силу, которую сознавали близкие.

1953 *31 декабря*

Горькое время и счастливое время. Несмотря на тревожный писк и вечные сигналы бедствия — я в них не слишком верил, в сущности. Вечно овладевала мною “бессмысленная радость бытия, не то предчувствие, не то воспоминанье” — как пробовал я позже определить в стихах. Жил я вопреки обстоятельствам, как всю жизнь, с чувством: “успеется” — в работе, с чувством: “обойдется” — в жизни. Катя, вспоминая горькие и счастливые дни начала тридцатых годов, каждый раз говорит о том, что я был тогда все время веселым. “Какой ты был веселый в то время. Всегда!” Написал я, переехав сюда, пьесу “Брат и сестра”, и она прошла с полууспехом. И я мучительно переживал это. Как позор. Причем больше всего поразила меня радость Веры Александровны Зандберг. Легкая, как птичка, ног под собой не чуя от восторга, металась она по фойе, впитывала воздух средней, рядовой премьеры, разительный после шумного успеха первых двух моих пьес в ТЮЗе. Я не верил, что старые друзья так тяжело переживали мой успех, что теперь словно пуды свалились у них с плеч. Два дня я выносил с трудом это горе, а потом — будто его и не было.

1954 *2 января*

Мои попытки заняться прозой кончатся тем же, что попытки мои в 1934 или 1936 году заняться изучением языков. В те годы предложено было писателям на счет Союза учиться. Педагоги направлялись желающим домой. И вот по утрам стали являться ко мне учительницы немецкого и английского языка. Обе — русские. Первая — моих лет, бледная, утомленная, но веселая блондинка. Вторая — застенчивая, вся в веснушках, маленькая брюнетка. С немецкой учительницей у нас установились вскоре отношения дружеские. Уроки я, к моему

удивлению, учил ей плохо. Сразу проснулись с непобедимой силой все школьные привычки. Но сами занятия проходили весело. Учительница все говорила по-немецки. И вскоре я узнал ее, понял — жизнь-то проходила у нас в одни годы. Она была из тех многих, многих женщин, что в первые месяцы войны четырнадцатого года потеряли кто мужей, кто женихов. Она лето жила на Рижском взморье или около Ревеля — тогда ощущал я называемые ею места как заграничные. И жених ее едва началась война, уехал. И погиб. Рассказывала она об этом с печальной — но все же улыбкой. По-немецки. Конечно, трудно было предсказать, какой была бы ее жизнь, выйди она замуж за первого жениха, но ей, конечно, представлялась, что счастливая.



Я слушал учительницу с жадностью. В суетности и тревоге бесплодной и беззаконной моей — я любил глядеть в чужую жизнь, как в книгу, слушать, как читаешь. У меня все было, как в тумане, у других я все понимал. Теперешний муж ее хворал. Была у него, кажется, язва желудка. Говорила она о муже ласково, жизнь ее ладилась, но другая. Первая кончилась со смертью первого жениха. Кончилось и детство, проходившее на даче в Шувалово, и я так ясно представлял его, сквозь упрощенные по моему знанию языка немецкие ее рассказы. С утомленными, чуть покрасневшими глазами, что часто бывает у блондинок работящих, занятых с утра до вечера, всегда веселая, всегда внимательная. Я тогда собирался писать. "Красную шапочку", а с ее помощью рассказал, а потом и написал ей (в виде рассказа, а не пьесы) по-немецки. Она прочно вошла в быт тех дней. Но сам быт оказался призрачным, рассыпался к 1937 году, когда прекратились и уроки. Учительница английского языка оказалась менее характерной и менее знакомой. Я не подружился с нею, как с немецкой учительницей. Она относилась ко мне дружелюбно и боязливо. Сколько разно окрашенных жизней прожито за двадцать лет в этой квартире. Съезд — праздничный, слишком праздничный. Доклад Горького, во время которого москвичи спокойно выходили из зала, не скрывая, что им неинтересно. Толпа вокруг здания Дома Союзов, разглядывающая делегатов. Позорное чувство собственной неизвестности. Жил я в гостинице "Ярославль" на Большой Дмитровке. Ходил на все заседания.



Уже несколько дней чувствую себя не то, что больным, а изменившимся. Опустившимся. Продолжаю о съезде. Праздничный, слишком праздничный, не сражение, а парад. Смутное ощу-

щение неловкости у всех. Еще вчера все было органичней. РАПП был РАППом, попутчики попутчиками. Первый пользовался административными приемами в борьбе, вторые возмущались. И вот всем предложили помириться и усадили за один стол, и всем от этого административного благополучия неловко. В президиуме Пастернак рядом с бывшими вождями РАППа. Когда называют фамилию Маяковского, то все непременно аплодируют. Выступает Мальро, качая головой, нет, закидывая голову, страдая тиком. Бродит по фойе огромный толстяк австриец или немец, в коротеньких штанах на лямочках, в толстых чулках до колен с недоумевающе сердитым выражением лица. Забыл его фамилию. Говорит о доверии к писателям Эренбург. Горький, похожий на свои портреты, отлично, строго одетый, в голубоватой рубашке, модной в те дни, с отличным галстуком, то показывается в президиуме, то исчезает, и мне чудится, что и ему неловко, хотя он является душой происходящих событий. Народ собрался по самой своей профессии самолюбивый, мнительный. Я спросил у Шкловского о Пастернаке, который вел заседание: "Он хороший человек?" "На льду не портится!" — ответил Шкловский, искоса, недоверчиво взглянув в президиум. Задевало собравшихся все, все учитывалось: в какой гостинице дали номер, кого позвали на очередной прием, кого нет. Юрий Олеша выступал так, что Никулин дразнил его впоследствии: "Вы и носки публично снимали и кальсоны".

1954
6
января

Никулин по поводу выступления Олеши дразнил его: "И носки Вы снимали и показывали зрителям подштанники — а чего добились? Выбрали Вас в ревизионную комиссию, как и меня". После съезда устроен был большой банкет. Столы стояли и в зале и вокруг зала в галереях, или как их называть. Я сидел где-то в конце, за колоннами. Ходили смутные слухи, — что, мол, если банкет будет идти пристойно и чинно, — то приедут члены правительства. Однако банкет повернул совсем не туда. Особенных скандалов, точнее, никаких скандалов не было. Но когда Алексей Толстой, выйдя на эстраду, пытался что-то сказать или заставить кого-то слушать — на него не обратили внимания. Зал гудел ровным, непреодолимым ресторанным гулом, и гул этот все разрастался. Не только Толстого — друг друга уже не слушали. Потом рассказывали, что Горький прикрикнул на Толстого: "Слезайте сейчас же", когда вышел он на эстраду. Не было и подобия веселого ужина в своей среде. Ресторан и ресторан. У меня заключительный банкет вызвал еще более ясное чувство неорганичности, беззаконности происходящего, чем

предыдущие дни. Все разбрелись по фойе. Играл джаз. Иные танцевали. Иные проповедовали. Толстяка-австрийца в коротеньких штанах, познакомили с Ильфом и Петровым и сказали ему, что это авторы "Двенадцати стульев". "Не понравилось, " — заорал австриец свирепо. Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был, хоть и попроще, но той же породы. Благодарен и драгоценен был Пастернак. Сила кипела в Шкловском. Катаев был уж очень залит, и одежда была засалена — чечевичной похлебкой. Он не верил в первородство, а в чечевичную похлебку — очень даже.


1954
7
января

Впрочем, не он один ходил в сальных пятнах. Спрос на первородство был не так уж велик, а вокруг чечевичной похлебки шел бой, ее рвали из рук друг друга, обливались. Впрочем, иные сохраняли достойный вид. Ухитрялись подгонять свои убеждения и свое поведение впритирочку к существующим лимитам. И в массе не уважали друг друга и, жадные и осторожные, отчетливо понимали маневры товарищей по работе. Уважали немногих. Ильфа и Петрова, Пастернака, отчасти Шкловского, хотя, к моему удивлению, поняли его речь, его лад, систему выражаться как-то смутно, не по-ленинградски, не так, как в конце двадцатых годов. РАПП успел сделать свое дело. Обедами, завтраками и ужинами во все время съезда кормили нас бесплатно в ресторане на Тверской, кажется, как это не странно, назывался он "Астория". На углу Голенищевского? Где было кафе Филиппова? Не помню. В ресторане играл оркестр, все выглядело по ресторанному, пышно, только спиртные напитки не подавались. Да и то днем. Вечером, помнится, пили, за свой счет. Оркестр играл:

"У самовара я и моя Маша,
А за окном совсем уже темно,
Как в самоваре так кипит страсть наша,
А месяц хитро смотрит к нам в окно
Маша чай мне наливает,
А взор ее так много обещает..."

Этот фокстрот в те дни, летом 1934 года был так же знаменит, как за десять лет до того "Кирпичики", но не удержался надолго. И именно поэтому, едва вспомню я, услышу "У самовара", как напряженное, невесе-

лое, парадное чувство недолгих дней съезда воскресает во мне. Однажды за нашим столом оказался человек, лицо которого я узнал, и нет. С него слиняла былая значительность, он оказался меньше ростом. Он был ужасно вежлив. “Кто это?” — “Борис Пильняк”. В зале съезда я его не припоминаю. Другой раз увидел я даму.

1954
8
января

Похожая на учительницу воскресной школы, нескрываемо радуясь благому делу, которое совершает, излишне громко и умиленно разъясняла она что-то сердитому делегату с периферии. Откуда приезжает обычно подозрительно и воспаленно самолюбивый народ. Делегат мрачно косился на сырую, не по весу подпрыгивающую покровительницу, но та в простоте своей ничего не замечала. Мне сообщили, что это Анна Караваева. То в коридорах, то у колонн обнаруживался вдруг Сергеев-Ценский, суровый, всегда в одиночестве, окрестив руки на груди, осуждающе озирал он присутствующих. Но в позе его ощущалось нечто не отъединяющее, а напротив, объединяющее его со всей массой. Ему что-то нужно было от презираемых всех. Окружи они его почетом, он милостиво оправдал бы совершающееся. Очень обижен был Демьян Бедный, что не свойственно было его грубо и крепко сколоченной фигуре. Такому не обижаться, а обижать. А он с трибуны прочел вполне бесчувственному съезду стихи Алексея Толстого о бедном, обиженном Илье Муромце: “Вот без старого Ильи-то, как ты проживешь”. Обиженным выглядел и Пантелеймон Романов, желтый, больной, с перекошенным лицом. Он тоже говорил о нанесенных ему обидах, и вот ему это шло. Его читательский успех кончился с нэпом, а писатели относились к нему юмористически. Во всем огромном зале он один принимал себя всерьез и, видимо, не впервые в жизни. В рядах, отведенных для иностранцев, я все разглядывал неподвижное, непонятное мне лицо Эльзы Триоле.

1954
9
января

Маленькая, очень сдержанная, со стеклянным блеском как бы ничего не видящих глаз, условно красивая, еще красивая Эльза Триоле занимала меня как существо из другого мира. Я перечитал тогда “Письма не о любви” Шкловского. Как я был робок и связан по сравнению с тем миром, его страстями. И как он был ощутим и человечен рядом с табельными днями, чиновничьим парадом, во время которого я ее увидал. Сегодня мне странно представить себе, что Маршак жил тогда в гостинице и Чуковский, и Тихонов, и Федин, и Алексей Толстой — все были они в те дни ленинградцами. Когда забежал я как-

то к Маршаку в “Гранд-отель”, пришел навестить его армянский поэт молодой, поджарый, сосредоточенный. Он принес Маршаку в подарок бутылку коньяка и объяснил, что это редкая высокая марка. Сплошь уходит на экспорт. Называется “Без петушиного крику”, потому что разливают его по бочкам ночью, до рассвета. И бутылка стояла на столе, а хозяин не догадывался или не хотел позвонить и потребовать рюмки и штопор. С тем мы и ушли. Каждый день отчеты о съезде печатались в газетах. Приехали наши карикатуристы. Особенно славились шаржи Антоновского. И я с восторженным удивлением узнал, что москвичи некоторые пожаловались в президиум съезда, что Антоновский все изображает своих, а их, москвичей, обходит. Эта жалоба даже утешила меня своей откровенностью. Все учитывалось на съезде: кто, в какой гостинице, кого куда позвали, кому дали слово, а кому нет, и даже карикатуры учитывались. Незримые чины, ордена и награды были столь же реальны, как табель о рангах.

1954
10
января

Не брезговали даже таким мелким отличием, как шарж. “Братцы, видали, как меня этот гад изуродовал! Талантливый парень, глядите, схватил что-то мое, сукин сын!” Я был на съезде с правом совещательного голоса, лицом вполне незаметным. Тем не менее, я был записан в списки выступающих. Ленинградцы считали, что я хорошо говорю. Выступать мне и хотелось, и нет. Слушал Горький, человек из другого мира: он знал Чехова, дружил с Буниным, его трудно было воспринимать и разглядывать по-человечески. Явление. Когда он шел к столу президиума особенной повадкой своей, усами вперед, высокий, сутулый, отлично одетый, в сером костюме и голубой рубахе, я сосредоточивался в бесплодном, неразрешимом желании — понять человека по лицу, по наружности и уставал от этого. Портреты, рассказы о нем, его рассказы, мое отношение к его книжкам, он живой за столом — перемешивалось и никак не хотело соединиться в одно целое представление. Приехали пионеры, гости на съезд откуда-то с дальнего севера, и Горький снимался с ними. Я стоял у эстрады в концертном зале Дома Союзов, где происходили заседания съезда, и все глядел на Горького. Вот он уселся посреди ребят, обнял одного мальчика за плечи — и тот вдруг заплакал, потрясенный этим событием. Прослезился и Горький. И когда рассказал я Мише Слонимскому об этом маленьком происшествии, он засмеялся беспомощно, как всегда, когда его нечто задевает за живое, и сказал о Горьком раз тридцать в течение часа, как всегда, бесконечно возвращаясь к тому, что его беспокоит: “Алексей Максимович не знает собственных масштабов.

Он не знает собственных масштабов. Старик не знает собственных масштабов!" И вот при нем выступать? А как поймет он меня? Вот выступает Леонид Соболев, простой, толстомордый, породистый.



Я отношусь к нему дружелюбно, как большинство его знакомых, но речь его кажется мне приблизительной и относительной. Особенно фраза насчет того, что писателям даны все права, кроме одного — писать плохо. И скоро выясняется, что именно это сентенция необыкновенно понравилась Горькому. И все стали повторять эти слова со значительным видом. И знакомый страх, страх одиночества, охватил меня. Или я сумасшедший, а все нормальные, либо я нормален, а все сумасшедшие и неизвестно, что страшнее. Выступать или нет? И привычное желание уклониться побеждает. Встретив у комнаты президиума, у высокой, холодной, дворцовой с золотыми украшениями двери Николая Тихонова, я прошу вычеркнуть меня из списка ораторов. Он улыбается. Его деревянная, длинная маска вдруг без малейшего скрипа расходится и изображает насмешливую улыбку. "Мы тебя еще вчера вычеркнули". И я, к величайшему удивлению своему, вместо облегчения, чувствую укол в сердце. Утешаюсь я, увидев, как в конце съезда Браун, обычно пыльный, тихо недовольный, тут устраивает громкий скандал, требует, чтобы ему дали слово, хотя все уже проголосовали за то, чтобы закрыть прения. И он добивается своего, и, к общему удивлению, появляется на эстраде, и громко говорит речь, и никто его не слушает. Впрочем, сегодня его поведение кажется мне более последовательным, чем мое. Вступил в игру — играй. А рассуждать на футбольном поле о бессмысленности желания забить мяч в ворота — еще глупей, чем гоняться за мячом. Оправданием мне может служить одно: меня занесло в игру. Итак — съезд приближался к своему концу.



О банкете я уже рассказывал. Кроме этого праздника, было нам еще угощение — дали пропуск в какой-то закрытый распределитель, где я думал-думал, и купил вдруг патефон с пластинками и очень хорошей металлической мембраной. Ко мне в номер на Дмитровке зашли Николай Макарович и Петр Иванович. Оба не в духе, оба настроены недоверчиво. Я сразу почувствовал себя виноватым и заговорил на соответственный лад, отчего они настроились еще более беспощадно. Я завел патефон. Петр Иванович покачал головой задумчиво и укоризненно и разъяснил, что никуда не годится этот патефон. У на-

стоящих, последнего образца патефонов звук так силен, что около, сидеть невозможно, надо крышкой прикрывать. "Какие еще есть пластинки?" — спросил Олейников. "О, эти черные глаза". "Чего же ты молчал? Ставь!" И эта пластинка зазвучала вдруг так сильно, что невозможно было сидеть около, пришлось опустить крышку. Я торжествовал, а гости молчали угрюмо, взъерошенные, усталые после московской жизни, которую вели где-то за пределами моей досягаемости. Олейников, по-моему, на съезде побывал всего два-три раза, а то все где-то гулял. Жил, как хотел. И после ухода их я испытал еще острее все тоже чувство одиночества. Нигде у меня не было друзей. Всех я раздражал, как человек, который станет в дверях и стоит нерешительно: не входит и не уходит. Когда возвращались мы в Ленинград, весь вагон был занят писателями. В купе, где ехал Герман, патефон играл танго. И войдя к нам, Юрий Павлович сказал решительно и страстно, как бы сообщая заветные свои убеждения, что фокстроты это дрянь, а вот танго — это лучшее, что есть среди пластинок. И вообще танго — прекрасная вещь.

1954 *13 января*

И вот я вхожу во двор нашего дома, еще непривычного мне. Катюша приезжала со мной на съезд, но уехала скоро. Она ждет меня, сидит на окне, я вижу ее с середины двора. Я показываю ей патефон, она улыбается мне, но чуть-чуть, и я угадываю, что она еще не совсем оправилась после своего обычного нездоровья. Шесть-семь дней каждый месяц лежит она под морфием в мучениях, и мы так привыкли, что считаем это в порядке вещей. Но она радуется мне. Удивляется, что я привез патефон, — это не в наших привычках. Я завожу "У самовара я и моя Маша", и вместе с этой песенкой в маленькую нашу квартиру входит ощущение съезда — холодного парада враждебных или безразличных лиц. Но постепенно он уходит в прошлое. Первым секретарем ССП был Щербаков, один из секретарей ЦК. Он долго приглядывался к писателям, а потом, по слухам, признался кому-то из друзей: "Много раз приходилось мне руководить, но таких людей, как писатели, не встречал. По-моему, все они не нормальные". Вот и все о съезде. Начал я о нем рассказывать не охотно, но он все яснее выступал из тумана, а, вспомнив песенку, вспомнил я сразу напряжение, смятение, недовольство тех дней. Дом писателя имени Маяковского стали мы доделывать, готовить к открытию, вернувшись со съезда. Больше всех тут сделал Жак Израилевич. Этот своеобразный друг наш заслуживает подробного рассказа. Вот он стоит передо мной, и я не могу понять, с какой стороны приступиться к нему. И чувствую, что во всей сложности вряд ли я расскажу. Но попробую.

1954
15
января

О Жаке Израилевиче услышал я в первый раз, когда стал бывать в тогдашнем Доме искусств в елисеевском особняке на Мойке. Во втором этаже размещались там парадные залы, нежилые и не усваиваемые. Картин не помню, а подлинные роденовские скульптуры еще усиливали музейное ощущение. Я в жизни своей не видал, как в подобных помещениях живут, и мне казалось естественным, что залы принадлежат не людям, а, так сказать, отвлеченному понятию. Искусству. Сами же люди размещались либо этажом выше, либо в глубине здания, в комнатах, выходящих во двор. Там жила и Мариэтта Шагинян, и душе у нее что-то творилось неладное. Она заскучала. Принадлежала она к той породе глухих, что говорят тише людей с нормальным слухом. Зато о душевных своих непорядках, куда более открыто и слышно, чем простые люди. То она в комнате у Миши жаловалась на то, что сегодня у писателей в работе отсутствует: “Heilige Ernst”, то, что она отгорожена от мира своей глухотой и близорукостью, живет в одиночестве, словно за стеной. И вот однажды, тоже, кажется, у Миши Слонимского, с лицом решительным и строгим, словно собралась прыгать с вышки, стала вдруг жаловаться Мариэтта Сергеевна на женскую свою судьбу: “Я не была еще женщиной” — жаловалась замужняя и родившая уже дочку писательница. “Я хочу любви простого мужчины. Животного”. И Миша сообщил мне, что выбрала она для этой цели человека совсем не простого и в области любовной — далеко не простого животного, а склонного влюбляться в своих женщин — Жака Израилевича. И по внешности он был не тот.

1954
16
января

Но по обрывкам слухов о нем, долетающим за ее крепостную стену, и представила себе Шагинян гориллу. При встрече с ним увидел я живого, коренастого человека с очень нервным голосом и смехом, при уверенности манер. В те дни считался он знатоком картин, что подтвердилось в последствии, когда он стал работать в Эрмитаже, покупать для него. И в начале двадцатых годов был он связан с музеями, с антикварными магазинами — я мало вслушивался, с чем. Зато я сразу запомнил, что к нему хорошо относился Горький и Жак был у него своим человеком, пока однажды не поссорились с Марией Федоровной. Почему — слухи ходили все темные. Рассказывали, будто Жак ее чуть ли не ударил, по бешеной вспыльчивости своей. Познакомившись с ним поближе, я скоро угадал в нем одну общую со мной особенность. При всей уверенности своей и энергии и деловитости Жак любил, нет, был влюблен в литературу и все старался держаться возле нее. Его большое лицо

принимало выражение доброе, когда говорил он с писателем. Впрочем, ответить взаимностью Мариэтте Шагинян он отказался. Он женился на женщине, моей однофамилице — стройной, необыкновенно молодой, с неправильным, но таинственным и привлекательным лицом. Она все молчала, и поклонники окружали ее. И ушла от него. Мы встречали Новый год 1926 или 1927 год в ВТО, нет, тогда называлось это помещение зал Общества или друзей камерной музыки. И нам с волнением сказали, что Жака бросила жена, едет за границу с новым мужем, Жак ищет ее, собирается убить. И узнав, что Новый год встречает она здесь, требует билета.



И уже под утро увидел я Жака, бледного и вызывающе мрачного. Он стоял у стены, глядел на танцующих. Жена не явилась на встречу Нового года, и скандал не состоялся. Только у меня прибавилось к представлению о Жаке еще одно — он человек роковой. Вечно, не то с ним, не то возле него неблагополучно. В переходные годы встречались мы редко. От времени до времени кто-нибудь рассказывал о Жаке и всегда что-нибудь неблагополучное. Он был все в середине какого-то вихря: то связанного с продажей за границу картин из Эрмитажа, то с какими- то семейными его делами. Он женился во второй раз на дочке писателя Волина, совсем молоденькой, и его семейная жизнь также не ладилась, как и деловая. Все он был накануне благоденствия или счастья. И в последний миг все рассыпалось прахом. Многие говорили о нем проще и грубее, чем он этого заслуживал, и все он бил кому-то морду или собирался это произвести, отчего неясная, неблагоприятная атмосфера вокруг него не рассеивалась. Двойственная его сущность — смелая и решительная, даже грубая повадка и тут же нервный смех и напряженный, вибрирующий голос — угадывалась легко. И среди дельцов и среди работников искусств он был не вполне своим. Да еще по широте натуры, по оптимизму своему вечно обещал он больше, чем мог, а потом выкручивался или исчезал. И недаром Шкловский, со свойственной ему прелестной точностью выражения, назвал его “неверный и самоотверженный Жак.” Он делал для друзей все, все, что мог, больше, чем мог, но жизнь его роковым образом запутывалась так, что ему приходилось обижать их невольно.



До 1934 года мы больше слышали о Жаке, чем видели его. Но вот мы переехали в надстройку и оказались в одном с ним доме. Он жил во втором этаже в маленькой квартирке, со своей молодой женой, и все никак не мог ни расстаться с ней, ни сжиться. Да о расставании не время было поднимать вопрос — жена была бере-

менна. И это обсуждалось среди друзей Жака. Как я теперь понимаю, большинство из них жило застенчиво, сжато, робко, и полная событий жизнь неосторожного и страстного Жака всегда занимала их. Мы встретились с ним в антикварном магазине, где вдруг на последние деньги, как было это с ковром, купили агатовые бусы крупные, черные с белым пояском, за шестьдесят, кажется, рублей. Жак рассмотрел, напряженным своим, вибрирующим голосом похвалил покупку. Сообщил Кате, что жена его молода. До того молода, что у нее не прорезались еще зубы мудрости. Порадовался, что мы живем в одном доме, и пообещал зайти. И зашел. Стены у нас были покрашены еще клеевой краской в ожидании гарантийного ремонта. Столовая — желтая, моя комната — не помню, какого цвета. Мебель почти отсутствовала. Но уже к вечеру первого дня все наши 23 метра с дробью жилой площади выглядели воистину жилыми. Таков был дар Катерины Ивановны. Когда Жак зашел к нам, он обрадовался, искренне обрадовался — таков был этот человек. И он сказал, нервно хохоча и разводя руками, что это лучшая из писательских квартир. Не в том дело, какие вещи. А в том, что нет никаких претензий, а вместе с тем — мещанства. И с этого дня Жак, со всеми сопутствующими ему явлениями, приблизился к нашему дому надолго, на семь лет.

1954
19
января

Он горячо ринулся помогать нам. Во всем. Даже достал трудно добываемое лекарство, когда был я еще на съезде, а Катя хворала. Но с настоящим вдохновением, самоотверженно боролся он за то, чтобы сменили мы обстановку. С переездом на новую квартиру нищета таинственно исчезла, но купить новую мебель мы все же никак не могли. Особенно в первое время об этом и думать было нечего. Но Жак при своих антикварных связях ухитрялся совершать чудеса. Так мы достали первые стулья дубовые, с мягким сидением, два из них уцелели до сих пор, и с его же энергичнейшей, повелительной помощью заменили их высокими, с соломенным сиденьем — он сказал, что называются они китайский чипонделе (Так у Е. Ш. — Ред). Все это доставалось за гроши. Мой старый, становящийся на колени и падающий в ноги письменный столик и кресло Катиного отца исчезли. Какой-то знакомый Жака продал нам бобик из недавно закрывшегося музея города. Мебель похуже там отдали мелким сотрудникам. Он же продал нам павловское кресло. И то и другое — неслыханно дешево и при условии, что мы дадим взамен какой-нибудь столик и какое-нибудь кресло. Так и ушли из дому старые вещи и заменились старинными. Выглядели они совсем худо. Ручка пав-

ловского кресла была сломана, лежала отдельно. Фанера стола облуплена. И тут в доме появились краснодеревцы. Их тоже привел Жак. Старший из них, одноглазый, степенный, пожилой Егор, отчество забыл, работал в Эрмитаже, а квадратный, приземистый, с качаловским голосом Филипп Иванович был его подручным. От них я узнал, что и столик, и кресло в приличном состоянии, что для краснодеревцев — это все пустяки.

1954 *20 января*

И в самом деле, вечер за вечером столяры приходили к нам после работы, кропотливо, терпеливо, ибо они не даром числились мастерами своего дела, превращали они стол и кресло в настоящие произведения искусства. Полируя стол, старший из мастеров охотно рассказывал, как работал в замках прибалтийских баронов, откуда и шли лучшие гарнитуры старинной мебели в Петербург, пока старина не вошла в моду. Тогда бароны кинулись искать старинные вещи, и тут им всучивали новую мебель, обработанную под старинную. “Сделаем мебель с гербами, да на мороз, чтобы красное дерево поседело, да прострелим спинку дробью, то здесь, то там, будто червь источил, приведем в порядок и напишем барону: так и так, достали гарнитур с вашим гербом. Если вам не нужен, пускаем в продажу. Конечно, он сразу к нам: “Ах, ах, это, наверное, бабушка продала, когда стиль вышел из моды”. Ну, тут и проси с него сколько хочешь”. Жака столяры уважали и слушались. Только в его отсутствие почтительно критиковали за нетерпеливость. Знания его в области старинной мебели признавали безоговорочно. Кстати, на письменном столе моем красное дерево оказалось неподдельно седым, благородным. Так же решительно заставил нас Жак из первых денег купить материал мне на костюм и отдать шить Эльгикиту. Этот портной был некогда закройщиком английского знаменитого портного, у которого мастерские имелись во всех столицах мира. Англичанин свои владения только объезжал. И мы поехали на Васильевский остров на маленькую, чисто портняжную квартиру, где и проживал Эльгикитка — как звал его Жак.

1954 *21 января*

Эльгикитка никак не походил на знаменитость: маленький, не то ушибленный, не то сосредоточенный, взъерошенный. Как и у майкопских портных, пахло у этого, столичного, утюгом и мокрым сукном. Зеркало, правда, не было кривым. А хрустальный флакон на комоде оказался настолько хорошим, что мы выкупили его у хозяина через годик, когда стали побогаче и познакомились с Эльгикитом поближе. С Жаком портной держался так же уважительно, как и крас-

нодеревцы, вполне считаясь с его авторитетом в своей области, только в его отсутствие, критикуя за торопливость. А торопить Эльгикита приходилось — он оказался в области сроков ужасным обманщиком. Помнится, что, собираясь на встречу Нового тридцать пятого, года, одевался я в крохотном зальце Эльгикитки, и костюм, как всегда, когда слишком уж стараются, после четырех, кажется примерок, оказался не ахти каким. Знакомство с Эльгикиткой, как и с краснодеревцами, особенно с Филиппом Ивановичем, оказалось прочным. И портной однажды горько пожаловался на Жака, который чуть не побил его за очередное промедление. Скоро к вещам нашим прибавился английский книжный шкаф семнадцатого века, ныне заменяющий у нас буфет. Отыскал его Жак где-то на Васильевском, и заплатили мы за него неслыханно дешево — чуть ли не триста рублей. В это же время, пустив в ход, все свои связи с жаром и вдохновением занимался Жак Домом писателей, добывая, заказывая, отрывая вещи, картины, портьеры, обивку для мебели. И, как всегда, равнодушные писатели глядели на его старания, скорее с юмором, чем с благодарностью.

1954
22
января

Может быть, один Толстой проявлял интерес к будущему писательскому дому, хотел, чтобы удалось. Он был из каких-то актерских недр Пронина, создавшего некогда “Бродячую собаку”, но, не помню почему, в клубе тот не привился. На каждом совещании Толстой говорил о необходимости заняться рестораном, чтобы славился он каким-нибудь особым блюдом, привлекавшим народ. И приводил в качестве примера парижские бистро. На вид обычный подвальчик, а славился на всю Европу — забыл чем. Кажется, там, в глиняных горшочках подавали тушеных улиток или жареных устриц — забыл. Во всяком случае, о глиняных горшочках говорили долго, но не привились и они. Зато обстановка, которую добыл Жак, потратив всего шестьдесят тысяч рублей через два-три года, при какой-то инвентаризации была оценка комиссией Эрмитажа в триста тысяч. Среди картин оказался подлинный Сезан, которого, впрочем, убрали за левизну, ранние импрессионистические картины Малевича, редкий портрет Лермонтова, за которым охотился Бонч-Бруевич, выпрашивал у нас. И мебелью восхищались знатоки. Вот как работал Жак, но старые писатели посмеивались, а молодые косились на нег угрюмо и подозрительно. Это был все-таки человек из другого мира. Чего ему от нас надо? А Жак ничего не хотел видеть, отдавался Дому писателя всей своей цельной, шумной, роковой натурой, стремился в коллектив. Он жил жизнью клуба, показывался на всех вечерах.

Шумел. Однажды маленький, сухенький, старенький скульптор Гинцбург выступал по какому-то поводу в Доме писателя. И Жак нервным своим голосом крикнул ему из первых рядов нечто обидное о его памятнике Плеханову. И старичок затрясся.

1954
23
января

Но не от слабости, а от привычной ярости. И на этот раз был в ней и привкус восторга. Если радостно встречать старых друзей, то и старые враги переносят тебя к тем боям, когда ты дрался еще полный сил. И устремив свои старческие очи. В ту сторону, откуда раздавался голос Жака, Гинцбург, отчасти с библейской, отчасти со стасовской яростью завопил: "А, вот кто здесь! Декадент!"— и пошел, и пошел. Все ругали Жака за бестактность, а он нервно хохотал, и защищался тем, что памятник Плеханову и в самом деле ужасное явление. Но этот аргумент действовал слабо. Нападавшие были глубоко безразличны ко всем памятникам. А Жак, входя в дело, все свои убеждения и страсти (а у него трудно было найти между ними границу) — тащил за собой. Все его страсти и горести вошли с ним и в нашу маленькую квартирку. Надо было бы сказать, — ворвались. Семейная его жизнь все усложнялась, и Жак решительно и повелительно вовлек нас в эту нераспутываемую паутину. Иначе не представлял он дружеских отношений. Он был цельный человек. И я стал вдруг каким-то третейским судьей между Жаком и его семьей. Представительствовал старый драматург Волин, его тесть, весьма мало уважавший, современных драматургов, особенно столь неизвестных, как я. Тем не менее, запутавшись в семейных спорах, он соглашался на мое посредничество. И вот в моей крошечной комнате, сидя с двух сторон у только что отремонтированного, поседевшего красного дерева столика, они спорили, стараясь быть вежливыми, а я мирил их, сидя посередине в павловском кресле.

1954
24
января

И не только семейные, но и деловые отношения Жака стали ощутимы в нашем доме. Телефона у него в квартире не имелось. И Жак не только звонил от нас, но и давал своим деловым знакомым наш телефон, обещая находиться возле, когда те позвонят. И либо забывал об этом часто, либо уклонялся, и чужие голоса строго и недоверчиво допрашивали меня о его местопребывании. Он был цельный человек и входил в дом целиком с семьей и делами. Через некоторое время открыл я еще одну неудобную особенность близкого с ним знакомства. Он любит своих друзей и близких знакомых, и по живости, впечатли-

тельности и общительности вечно они были на языке у него. О некоторых говорил он с благоговением, например, о художнике Яремине, великом знатоке старой живописи. Этот сын пастуха завоевал европейское имя. Я встретил его как-то у Жака — очень старый, очень сосредоточенный, очень простой. О Шкловском говорил Жак веселее, хохоча нервно, гордясь своей дружбой с ним. Когда Шкловский приезжал сюда, то я обычно от Жака узнавал, по каким делам. Когда Жак уезжал в Москву, я узнавал подробности московской жизни Шкловского. Я узнал в подробностях жизнь семьи Поригопуло, о том, как брат-юрист и брат-драматург обожают мать, о том, какой у них огромный кот, лентяй и тунеядец. Говорил он обо всех своих знакомых вполне доброжелательно. Тут и не пахло "сплетнями", так с буквой "ё", особенно, по-старопитерски, произносил это слово Жак. Но вот я услышал от довольно далеких знакомых: "Ай, ай, ай, Вы, оказывается, суеверный? Как же это так?"

1954
25
января

Им рассказал Жак, что я отказался купить горку в одном семействе, сославшись на то, что это дом несчастный. На самом же деле у нас просто не было в то время денег. Я шутил, говоря о приметах, сам пародировал себя. Конечно, здесь не было "сплетни", но я, с моей робостью и сдержанностью, почувствовал себя так, будто в комнату ко мне ввалились чужие люди, когда я не одет. Я угадал, что и мы все время на языке у Жака. Я слушал рассказы о других его приятелях не без удовольствия, но не хотел, никак не хотел, чтобы его приятели слушали отчеты о моей жизни. И легкое охлаждение мое сразу почувствовала чуткая и верная душа Жака. Этот грубиян и забияка был крайне уязвим, когда дело касалось людей, которых считал он своими. Я не высказывался прямо, а все суховато посмеивался над решительными и повелительными утверждениями Жака в любых областях, чем конечно, и огорчал его. Вспоминаю я об этом с грустью, но исправить это не возможно. А неверный и самоотверженный Жак любил нас и болел за нас, хотя у самого дела шли худо. Он задолжал всем — и нам в том числе. Количество строгих телефонных звонков, от которых он скрывался, возросло. В это время в комиссионном магазине на углу Невского и Перовской появился старинный фарфоровый "тет-а-тет", очень уж дорогой — в шестьсот рублей. Нам он нравился, но о покупке его и думать было нечего. И Жак искренно, как влюбленный, вибрирующим своим металлическим тенором восхвалял сервизик. Вскоре цену на него снизили до четырехсот рублей, и он исчез из шкафа. И мы решили, что он куплен. Но вот прибежал Жак в

сильнейшем волнении и закричал, что сервиз появился вновь в комиссионном Европейском и цена его теперь всего 280 рублей.

1954
26
января

Но и таких денег не нашлось у нас в те дни. И, вернувшись ночью из гостей домой, мы обнаружили большой сверток на столе в столовой. И письмо Жака, в котором он сообщал, что купил нам этот сервиз. Не в зачет долга. В подарок. А мы знали, как был стеснен в деньгах неверный и самоотверженный Жак и как трудно было ему добыть эту сумму. И мы хотели вернуть ему деньги, но он решительно отверг это предложение. Однажды он взял у нас пятьдесят рублей, чтобы передать нашим краснодеревцам. И в тот же день вечером угостил ужином с коньяком, как раз на ту же сумму. Дела у него все ухудшались, душа просила утешения и праздника, и он поддался страстному желанию, и прокутил с нами деньги столяров, полагая вернуть их своевременно. Но дела его все запутывались. А тут он еще влюбился, со всей своей простотой и страстностью. И по роковой судьбе своей сразу запутался в сложнейшем клубке. С женой он фактически разошелся давно, хоть и жили они вместе, в одной квартире, ради дочки. Как Жак обожал ее! Как боялся, что теща испортит девочку воспитанием! А теща пришла в крайнюю степень возмущения, узнав о романе зятя, и, приходила ко мне объяснятся. Да, да, ко мне. Полагая, что я на Жака влияю. Требуя, чтобы он обеспечил семью, прежде чем... и так далее. Мы переживали роман Жака, и все его друзья более или менее тоже. Он отдавал себя друзьям целиком и не представлял, что многие из них равнодушны, скупы на чувства, или до того утомлены собственной сложностью, что не способны на участие, хоть сколько-нибудь действенное. И я не столько сочувствовал. Сколько раздражался.

1954
27
января

И вот грянул гром, Жака арестовали. Роковое лето 1938 года. Внезапно ослеп мой отец. И примерно раз в неделю меня вызывали: “Вас спрашивают”, и я встречал у нашего крыльца седую, полную старуху, глубокую старуху с трагическим лицом. Это мать Жака приходила ко мне узнать, нельзя ли как-нибудь помочь сыну. Ее сопровождала, вела под руку внучка, племянница Жака. Я выносил кресло, старухе трудно было подняться даже на несколько ступенек, и пробовал успокоить несчастную мать, объяснить ей, что ждать и только. Больше ничего сделать нельзя. Сейчас пересматриваются многие дела, может быть, и Жака отпустят. И старуха кивала головой. А осенью меня вызвали на допрос в большой дом. Да, Жак вошел в нашу жизнь со всеми своими несчастьями. А в один прекрасный вечер раздался продол-

жительный звонок, и сияющий Жак появился на пороге. Он был освобожден, и реабилитирован полностью. И жизнь пошла по-прежнему. В начале 1941 года Жак захворал. Он лежал в своей квартирке, во втором этаже. Подлинник Венецианова — на одной стене. Лебедев Владимир Васильевич — на другой — масло. Болел Жак столь же нетерпеливо и энергично, как жил в здоровом состоянии. У него определили спазму мозговых сосудов, и рассматривал он это, как незаслуженную обиду. Он все глядел в зеркало — ему казалось, что рот его принял несимметричную форму, и сердился, и обижался. И все брал с меня слово, что я не брошу его дочку, буду следить за ее воспитанием. Шкловский, когда Жак был в Москве, обещал. И я должен обещать.

1954
28
января

Скоро ему полегчало. Теперь я встречал Жака в переулке нашем, где он прогуливался, медленно, как настоящий больной, сохраняя встревоженное и обиженное выражение. И началась война. И всю болезнь Жака, как ветром сдуло. Он, как всегда, целиком, с головой бросился работать в жактовском ПВО, дежурил на крыше на посту наблюдения, дежурил в красном уголке. И мало этого — он добыл для нашего домохозяйства асбестовые рукавицы, передники, целое противопожарное хозяйство. И как в Доме писателя, в писательской надстройке приняли его подвиги без всякой признательности. Просто с ненавистью. Озлобленные, свихнувшиеся бабы, ядро, именно ядро в разрушительно- военном смысле этого слова, жактовского актива засвистели, зашипели, завыли. Написали бумагу с жалобой, что Жак подрывает плановое снабжение ячеек ПВО, добывая рукавицы в первую очередь нам. Они шипели на мужчин, скрывающихся в бомбоубежищах, но Жак, идущий в добытом им шлеме на чердак в самый разгар бомбежки, вызывал, еще более обильное выделение ядов. И только усложнением военной обстановки можно объяснить то, что не успели они съесть Жака за его вызывающую активность. А он оставался все тем же Жаком. Однажды Катя с кем-то еще после очередной тревоги возвращалась домой в валенках и платке. Мы с Жаком шли следом. И вдруг он сказал:" Нет, все-таки нашим женщинам далеко до парижанок. Настоящей элегантности — нет, нет...". И удивлялся, чему мы смеемся, не почувствовав вместе снами, как далеко от наших блокадных старый мирный Париж.

1954
29
января

Но военное положение города все усложнялось, и все проще становились человеческие отношения. Появилось даже множество людей, похожих друг на друга — с лицами зеленовато-се-

рыми, с испуганным или рассеянным взглядом. Надо было уезжать. Жак с той же энергией взялся за это дело. Он нашел каких-то шоферов, обещавших вывезти писателей через Ладожское озеро, едва установится путь по льду. Ночь на десятое декабря, когда мы должны были выехать на аэродром, вспоминаю я как несчастье. Все время в маленькой нашей квартире, сменяя друг друга, толклись друзья и знакомые, приходили прощаться. И Жак старался пересидеть всех, чтобы поговорить о чем-то со мной. А мы все никак не могли кончить укладывать полагающийся нам багаж, были сердиты и рассеянны. И я сердито и рассеянно выслушал Жака, который семь лет назад был верным нашим другом, покровителем и защитником. Просил он все о том же — присмотреть за дочерью, как растет она, как ее воспитывают, если он, Жак, погибнет в блокаде. И я обещал, но он ушел обиженный, чего я не могу себе простить, теперь, когда огляделся и одумался, и стал старше. И мы уехали. И в феврале к нам в Киров приехали Заболоцкие. Никита заболел скарлатиной. Жизнь усложнилась до крайности. И тут к нам зашла Цита Юльевна, его жена, нет уже вдова Жака. Они с матерью были оставлены в Кирове на несколько дней на эвакопункте. И я узнал, что Жак захворал буйно и свирепо голодным психозом, и стало ему так худо, что оставили его в Борисовой Гриве, где он и умер. И в Союз писателей привезли его чемодан с сопроводительным письмом.

1954
30
января

В письме этом говорилось: “Посылаем вам чемодан писателя Якова Израилевича”, умершего тогда-то и там-то. И тут на бедного Жака заворчали в Союзе люди, привыкшие на него ворчать: какой, мол, он писатель! Но Жаку было уже все равно. А мне теперь в пустоте, все более явственно ощутимой, и в тишине — все чаще вспоминается Жак. Умер он, сердясь на меня. Ему почему-то в бреду его чудилось, что в ночь отъезда я, получив хлеб за три дня вперед, устроил ужин для друзей, а его Жака, не позвал. Жак, бедный Жак. По триста грамм хлеба на каждую карточку, пир на шестьсот грамм! А на самом- то деле мы и на завтрашний день, на десятое не выкупили хлеба, думая, что улетим сразу. И целые сутки, нет почти двое суток, пока не прилетели в Хвойную, ни крошки не ели, Жаку чудились 600 грамм. Вот тебе и Париж, и Чепендели, и Яремин, и старые мастера, и дружба с Горьким, и Эльгитка, и фарфор, и вибрирующий тенор, и нервный смех, и страстная вера в удачу, которая вот-вот улыбнется. Я по небрежности не записывал прежде отдельные словечки Жака и ужасно жалею теперь. Он всегда по жизнеспособности своей был на самом гребне, и петербургское мирискусническое

время настоялось в нем прочно и не выдыхалось. И было ощутимее, чем в самих художниках, — те были уж больно самостоятельны. И во всем его нигилизме, в нигилистическом словаре точнее, жил тот дух. Он вечно повторял антикварное словечко: “смешной флакон”, “смешной шкаф”, “смешная ваза”, как бы стесняясь хвалить. И я повторю — смешной был человек Жак. Смешной в смысле драгоценный.

1954 *31 января*

Жака удалось мне рассказать точнее, чем я надеялся, а все же и недостаточно просто и недостаточно сложно. Надо было отчетливее показать его особенную грубоватость. И вместе с тем ту по простоте и грубоватости плохо выражаемую любовь и даже нежность к людям, близким к искусству, что определяло его. С Толстым он держался шумно, независимо, но вместе с тем любовался им. И Толстой был у него на языке, как все друзья. Своим знакомством с Горьким никогда не хвастал. Только однажды, еще в двадцатых годах, рассказал следующее: он при Горьком говорил кому-то, что если в момент самой полной близости с женщиной, поглядишь ей в глаза, то испытаешь совсем особенное чувство. И Горький, услышав это, зашагал по комнате, и слезы выступили у него на глаза. И он сказал Жаку: “Это дает вам право называться человеком”. Рассказывал это Жак, хохоча и пожимая плечами, вот, мол, какие пустяки. Но при всем при том, явно гордясь словами Горького. У Жака было множество врагов, он вечно лез в драку, и много дурного рассказывали о нем зря. Меня предупреждали, чтобы я с ним был осторожнее. Но ничего, кроме хорошего, не видел я за годы нашего знакомства. Но, по роковой судьбе его, хорошее от него принимали так, будто он его недовесил, со смутным раздражением. И не жалели его. Никто его не жалел — очень он уж казался грубоватым. По-мужски. И слишком уж охотно обещал больше, чем мог сделать.

1956 *3 декабря*

Я опять подошел к той самой черте, через которую мне не переступить, рассказывая. [Так] началась жизнь наша в надстройке. Продолжалась она двадцать один год, считая три года эвакуации. Спокойной она была недолго. Вечером 1 декабря 1934 года раздался стук в дверь, словно судьба постучала. Вестником оказался бледный, золотушный, тощий, страшный в своей слабости Евгений Люфанов. Полный скорби, а вместе с тем оживления, как человек, приносящий удивительные, хоть и страшные новости, он сообщил, что сегодня в Смольном убит Киров и в чьей-то квартире, или в конторе, собра-

ние всех жильцов надстройки. Все были растеряны. Никто ничего не понимал.



Кто-то произнес речь, что это, наверное, диверсия, скорее всего финской разведки. На похороны, точнее, на прощание с телом Кирова, выставленным в Таврическом дворце, шли мы вечером по улице Воинова. Чем ближе к дворцу, тем теснее, страшнее. Никакой попытки установить порядок. Вскрикивают женщины. Брань. Сплошное человеческое месиво. Ходынка! Я еле протискался в сторону, в боковой какой-то переулочек. И бежал от ощущения безнадежности, смерти, безумия толпы, которая сама себя душит. Вышел на Неву, отбиваясь от этого ощущения, но оно не проходило, хоть шагал я по набережной в одиночестве. Так и не видел я страшного зрелища: убитый в гробу, над гробом правительство и бюро горкома. Члены бюро, попадая в почетный караул, плакали. И безостановочно, по четыре в ряд двигающиеся ленинградцы, косящиеся на гроб в цветах, на Сталина, на плачущих членов горкома. Как всегда, в роковые для города дни вдруг ударил небывалый мороз. Когда увозили тело Кирова в Москву и начались аресты бывших дворян и вообще бывших, а потом непонятные никому в первые недели аресты членов горкома, тех самых, что плакали над гробом. В эти самые роковые дни подготовлен был к открытию Дом писателей имени Маяковского. Решено было открыть его под Новый год. Сначала думали, что по случаю траура открытие отменят, однако последовало распоряжение — открывать. Собралось городское начальство — и все оно исчезло навеки через несколько дней. Так шла жизнь в большом мире, еще тенью только падая на наш малый. У нас вдруг наладились или стали налаживаться денежные дела. Когда мы переехали, то и на обед не было. Я взял выигрышный билет займа, тираж которого только что прошел, и отправился в сберкассу, в Дом книги. И, к изумлению своему, выяснилось, что на единственный этот наш билет пал выигрыш! И я принес домой 175 рублей, тогда порядочные деньги. Вскоре предложили мне работать на “Ленфильме”.



И с деньгами вдруг стало куда благополучнее. Первое лето мы никуда не уезжали. Потом потянулась зима 35-го года, связанная с Домом писателей. По неуважению к себе я втянулся в работу для Дома писателей больше, чем следовало бы. Писал программы для кукольного театра — художники сделали куклы всех писа-

телей, выступал, придумывал программы. Спасало, что мне было весело. Что делалось вокруг? Темнело. И мы чувствовали это, сами того не желая. Летом 35-го года уехал я в Грузию, о чем уже рассказывал в одной из тетрадей. Катюша встречала меня на этот раз на вокзале — бледная и худая, только что поднявшаяся после болезни. Болезнь все пронизывала насквозь нашу жизнь. А надстройка начала понемногу терять жильцов, так дружно переехавших в один день и час. Едва мы успели прижиться. Едва-едва начали жильцы нижних этажей привыкать к нам, что было нелегко. Однажды шел я сквозным коридором третьего этажа. Вижу — две старухи стоят, разглядывают мокрое пятно, выступившее на потолке. И ругают писателей: "Это они протекают, проклятые". С такой страстью, так неистово бранились они, что я даже испугался. Но вот и они притерпелись. Наладился водопровод, перестали протекать трубы. Но солдатское лицо нашего коменданта Котова потемнело. Он стал здороваться строго, будто мы проштрафились в чем-то загадочном, известном ему одному. Очевидно, где-то в недоступных нам глубинах он получил соответствующие сведения. Был выслан несчастный Венде, высокий, мягкий, простодушный. Посадили группу молодых писателей. Среди них Острова — опустела первая квартира в нашем отсеке. В 36-м году жили мы с месяц в Александровке, на даче Литфонда. И с удивлением заметил я, что один из крупных деятелей сгущающегося мрака дома прост и ясен. Следовательно, убивает с чистой совестью. Мы решили, несмотря на Катину болезнь, уехать на юг, в Сухуми. И уехали. И когда вернулись, Катя окончательно решилась на операцию. Мне почему-то чудилось, что, избавившись от болезни, мы поплатимся.

1956
6
декабря

Конец 36-го года был для меня страшен. Катюшина операция. Полный провал двух картин на "Ленфильме". Братья Тур написали об одной из них в "Известиях": "Неизвестно, зачем понадобилась авторам подобная жеребятина", на что я, несмотря на всю свою уязвимость, обратил мало внимания, едва выяснилось, что Катина операция удалась и она поправляется, как заболела Наташа. У нее обнаружили вдруг шумы в сердце. Дальше — еще хуже и хуже. О начале рокового 37-го года никогда не хватит у меня сил рассказывать: я был вдруг настигнут бедой, меня тяжело поразил самый близкий мне человек. А остальные друзья оживились, преисполнились радости, словно опьянели от этого завлекательного зрелища. Зимой в Александровке открылось у нас некоторое подобие дома отдыха, названное лыжной станцией.

Мы с Катюшей уехали туда на несколько дней. Однажды я проводил ее в город. Должно было окончательно решиться, что будет с нами дальше. Надев лыжный костюм, взял финские санки и побежал в Сестрорецк по шоссе. Недалеко от Разлива встретил я марширующий старательно отряд в противогазовых касках. Резиновые головы с острыми носиками повернулись в мою сторону, уставились с бессмысленным любопытством. Когда бежал я по улице с низенькими домиками, приближаясь к озеру, к плотине, к мостам, люди стояли на крыльце, посмеивались. Мне чудилось, что надо мной. Вернее всего, обсуждали они тот отряд с резиновыми головами, что прошел недавно. А может быть, и я, бегущий на финских санках, в самом деле представлялся им смешным. Все кончилось давно, скоро уж двадцать лет пройдет. Через месяц, другой. А я все не могу прикоснуться к больному месту. И друзья, друзья, их оживление и радость! Все кончилось ничем в буквальном смысле этого слова. Ничем и ничем. Но друзья долго не могли с этим примириться. Однажды Олейников почти что в лоб принялся расспрашивать о том, что делается у нас. Я ответил ему и сказал: "Вот и все, больше ничем тебя порадовать не могу".

1956
7
декабря

И он, с его внезапной, не всегда действующей впечатлительностью, даже добротой, изменился в лице и сказал: "Ну какая там радость! Просто мы живем все нелепо..." И замолчал. Едва наладились личные мои дела, о которых не буду больше говорить, как, начиная с весны, разразилась гроза и пошла все кругом крушить, и невозможно было понять, кого убьет следующий удар молнии. И никто не убегал и не прятался. Человек, знающий за собой вину, понимает, как вести себя: уголовник добывает подложный паспорт, бежит в другой город. А будущие враги народа, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Они чуяли кровь, как быки на бойне, чуяли, что печать "враг народа" пришибает всех без отбора, любого, — и стояли на месте, покорно, как быки, подставляя голову. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях: в шпионаже, в диверсиях, в терроре, во вредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. Нет, этого еще никто не переживал за всю свою жизнь, никто не засыпал и не просыпался с чувством невиданной, ни на что не похожей беды, обрушившейся на страну. Нет ничего более косного, чем быт. Мы жили внешне как прежде. Устраивались вечера в Доме писателей. Мы ели и пили. И смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеоб-

щей — а что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом. И угрозой позора. Наш Котов совсем замер, будто часовой на карауле при арестованных или обреченных аресту, — в конце концов разница была только в сроках. Он отворачивался при встречах, словно боясь унизить себя общением с жильцами-врагами. Мыслил только в одном направлении. Борисов пришел пожаловаться, что сыновья одной писательницы до трех часов ночи танцуют под патефон, не дают ни работать, ни спать. Котов его выслушал угрюмо и ответил: "Ничего политического я в этом не нахожу".

1956
8
декабря

Затем пронеслись зловещие слухи о том, что замерший в суровости своей комендант надстройки тайно собрал домработниц и объяснил им, какую опасность для государства представляют их наниматели. Тем, кто успешно разоблачит врагов, обещал Котов будто бы постоянную прописку и комнату в освободившейся квартире. Было это или не было, но все домработницы передавали друг другу историю о счастливицах, уже получивших за свои заслуги жилплощадь. И каждый день узнавали мы об исчезновении то кого-нибудь из городского начальства, то кого-нибудь из соседей или знакомых. Однажды в начале июля вышли мы из кино "Колосс" на Манежной площади. Встретили Олейникова. Он только что вернулся с юга. Был Николай Макарович озабочен, не слишком приветлив, но согласился тем не менее поехать с нами на дачу в Разлив, где мы тогда жили. Литфондовская машина — их в те годы давали писателям в пользование с почасовой оплатой — ждала нас у кино. В пути Олейников оживился, но больше, кажется, по привычке. Какая-то мысль преследовала его. В Разливе рассказал он, что встретил Брыкина, который выразил крайнее сожаление по поводу того, что не был Олейников на последнем партийном собрании. И сказал, чтобы Олейников зашел к нему, Брыкину. Зачем? Я, спасаясь от ставшей уже привычной тревоги за остатками беспечности былых дней, стал убеждать Николая Макаровича, что этот разговор ничего не значит. Оба мы чувствовали, что от Брыкина хороших новостей нельзя ждать. Что есть в этом приглашении нечто зловещее. Но в какой-то степени удалось отмахнуться от злобы, нет, от бессмысленной ярости сегодняшнего дня. Лето, ясный день, жаркий не по-ленинградски, — все уводило к первым донбасским дням нашего знакомства, к тому недолгому времени, когда мы и в самом деле были друзьями. Уводило, но не могло увести. Слишком многое встало с тех пор между нами, слишком изменились мы оба. В особенности

Николай Макарович. А главное — умерло спокойствие донбасских дней. Мы шли к нашей даче и увидели по дороге мальчика на балконе. Он читал книжку, как читают в этом возрасте, весь уйдя в чтение.



Он читал и смеялся, и Олейников с умилением и завистью показал мне на него. Были мы в Николаем Макаровичем до крайности разными людьми. И он, бывало, отводил душу, глумясь надо мной с наслаждением, чаще за глаза, что, впрочем, в том тесном кругу, где мы были зажаты, так или иначе становилось мне известным. А вместе с тем — во многом оставались мы близкими, воспитанные одним временем. Нас восхищали такие разные писатели, как Чехов, Брет Гарт, Хлебников, Гамсун (Хлебникова понимал Николай Макарович гораздо лучше, чем я). Для нас было как бы событием личной жизни фильмы "Парижанка" или "Под крышами Парижа" . Я знал особое, печальное, влюбленное выражение, когда что-то его трогало до глубины. Сожаление о чем-то, поневоле брошенном. И если нас отталкивало часто друг от друга, то бывали случаи полного понимания, впрочем, чем ближе к концу, тем реже. И такое полное понимание вспыхнуло на миг, когда показал Николай Макарович на мальчика, читающего веселую книгу. Потерянный рай — и ад, смрад которого вот-вот настигнет. Но погода стояла жаркая, южная, и опять на какое-то время удалось отвернуться от жизни сегодняшней и почувствовать тень вчерашней. Тогда помидоры были редкостью в Ленинграде. Нам удалось купить на рынке привозных. Это еще больше напомнило юг. Но ни в одной лавке в Разливе не нашлось подсолнечного масла. Тогда мы пошли пешком в Сестрорецк. Еще вечером сообщил Олейников: "Мне нужно тебе что-то рассказать" . Но не рассказывал. За тенью прежней дружбы, за вспышками понимания не появлялось настоящей близости. Я стал ему настолько чуждым, что никак он не мог сказать то, что собирался. Погуляли по Сестрорецку, прошлись по насыпи в Дубках к морю. Достали в магазине подсолнечного масла. Вернулись домой в Разлив. Вечером проводил я его на станцию. И тут он начал:" Вот что я хотел тебе сказать..." Потом запнулся. И вдруг сообщил общеизвестную историю о домработницах и Котове.



Я удивился. История эта была давно и широко известна. Почему Николай Макарович вдруг решил заговорить о ней после столь длительных подходов, запнувшись. Я сказал, что все это знаю. "Но это правда! — ответил Николай Макарович. Уверяю

тебя, что все так и было, как рассказывают". И я почувствовал с безошибочной ясностью, что Николай Макарович хотел поговорить о чем-то другом, да язык не повернулся. О чем? О том, что уверен в своей гибели и, как все, не может двинуться с места, ждет? О том, что делать? О семье? О том, как вести себя — там? Никогда не узнать. Подошел поезд, и мы расстались навсегда. Увидел я в последний раз в окне вагона человека, так много значившего в моей жизни, столько мне давшего и столько отравившего. Через два-три дня узнал я, что Николай Макарович арестован. К этому времени воцарилась во всей стране чума. Как еще назвать бедствие, поразившее нас. От семей репрессированных шарахались, как от зачумленных. Да и они вскоре исчезали, пораженные той же страшной заразой. Ночью по песчаным, трудным для проезда улицам Разлива медленно пробирались, как чумные повозки за трупами, машины из города за местными и приезжими жителями, забирать их туда, откуда не возвращаются. На первом же заседании правления меня потребовали к ответу. Я должен был ответить за свои связи с врагом народа. Единственное, что я сказал: "Олейников был человеком скрытным. То, что он оказался врагом народа, для меня полная неожиданность" . После этого спрашивали меня, как я с ним подружился. Где. И так далее. Так как ничего порочащего Олейникова тут не обнаружилось, то наивный Зельцер, драматург, желая помочь моей неопытности, подсказал:" Ты, Женя, расскажи, как он вредил в кино, почему ваши картины не имели успеха" . Но и тут я ответил, что успех или неуспех в кино невозможно объяснить вредительством. Я стоял у тощеньких колонн гостиной рококо испытывая отвращение и ужас, но чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри.

1956
11
декабря

После страшных этих дней чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас, еще сгустилось. Мой допрос на заседании правления кончился ничем. Тогдашний секретарь наш потребовал, чтобы я написал на имя секретариата Союза заявление в котором ответил бы на те вопросы, что мне задавали. Но в этом заявлении, я не прибавил ничего к тому, что с меня требовали. Никогда я не думал, что хватит у меня спокойствия заглянуть в те убийственные дни, но вот, заглядываю. После исчезновения Олейникова, после допроса на собрании, ожидание занесенного надо мной удара все крепло. Мы в Разливе ложились спать умышленно поздно. Почему-то казалось особенно позорным стоять перед посланцами судьбы в одном белье и натягивать штаны у них на глазах. Перед тем, как лечь, выходил я на улицу.

Ночи еще светлые. По главной улице, буксуя и гудя, ползут чумные колесницы. Вот одна замирает на перекрестке, будто почуяв добычу, размышляет, — не свернуть ли? И я, не знающий за собой никакой вины, стою и жду, как на бойне, именно в силу невинности своей. В город переехали мы довольно рано. И тут продолжалось все то же. Да, Катина болезнь ушла из нашей жизни, но легче от этого не стало. В 38 году исчез Заболоцкий. Потом ослеп внезапно отец. Глазная больница. Палата. Папа, плачущий от каждого сильного душевного движения. Из больницы перевез я его к нам во Всеволожскую, на дачу. В городе, уже осенью, выхожу я с Наташей из ворот дома, где они жили на Литейном, и сердце сжимается от ужаса и жалости. Медленно, как на похоронах, идут мама и папа. И мама чувствует всю горечь и значительность собственного своего положения. Я угадываю это по тому, как прямо она держится, как широко и мерно размахивает рукой. Как в траурном шествии. Мы догнали их, и, услышав Наташин голос, папа заплакал.

1954 *28 апреля*

Чувство успеха у меня связано с чувством полного успокоения, до глубины. Исчезают тревоги и ожидания. Словно тучи расходятся. Глаза смотрят с жадностью на открывшийся, освещенный солнцем, праздничный мир. Я живу и чувствую, что живу. Но продолжается это всегда очень недолго. А теперь вспомню для начала новой тетради, как я шел пешком из Левашова в Песочную двадцать четыре года назад. Было это в июне, в очень ясный день, ничего худого или хорошего не случилось, но вспоминаю я это путешествие как событие. И при этом счастливое. Ничего не случилось. Я сам был источником счастья. Жизнь играла. В те годы Песочная считалась станцией пограничной, а мне ужасно не хотелось просить пропуск, хлопотать. Я проводил Наташу с бабушкой и Дуней на вокзал. Наташа, годовалая, миленькая, черноглазая, не говорившая ничего почти, с жадностью смотрела за окно и особенно оживилась, когда пошел трамвай по Литейному мосту. Над Невой. Она даже заговорила, забормотала что-то, к умилению соседки. Легенькая, в коротеньком легком платьице, большеротая, большеглазая, она глядела то через одно мое плечо, то через другое, а я все любовался и удивлялся на нее. И вот они уехали, а я все никак не мог заставить себя хлопотать о пропуске, и соскучился, и недели через две отправился в Песочную безо всякого пропуска. Но не посмотрел на расписание поезда и уже в поезде, на ходу, узнал, что идет он только до Левашова. Что тут делать? Кондукторша не могла мне объяснить, сколько между этими станци-

ями. Между Левашовым и Песочной. Даже сказала с некоторым страхом: “Ой, не так близко! Вот между Озерками и Шуваловым, это я знаю, что рядом. А тут, ой, не знаю” . В Левашово возле станции стоял финн, как будто ждал пассажиров или просто задумался. Рыжеватый, загорелый докрасна, как все рыжие. Лошадка его, запряженная в двухколесную повозочку тоже не то отдыхала, не то замечталась. Меня охватила забытая тишина по ту сторону станционного здания. По сторону, противоположную поселку. Я спросил, не довезет ли он меня до Песочной. Финн с неожиданно застенчивой улыбкой сказал: “Можно” . Но цену назвал невозможную по моим деньгам. И, улыбаясь еще застенчивее, чуть не закрываясь рукавом, решительно отказался отступить. И я махнул рукой и пошел тропинкой вдоль полотна, через поле. И тишина все больше охватывала меня, успокаивала до глубины. Я смотрел с жадностью на открывшийся мне, освещенный солнцем мир. Запах травы обрадовал меня, как подарок. Молодой лесок неожиданно зашумел слева, я как-то проглядел его близость. И чем больше я шел, тем больше пьянел. Отсутствие денег, неясность планов моих мало заботили меня. Мучили друзья. Но я был счастлив дома. И все же, видимо, я был больше встревожен, чем предполагал, — уж очень радовал покой, охвативший меня. Не сон, не дремота, а покой, когда отступили заботы и ты чувствуешь, что живешь. Песочная приближалась.

1954
29
апреля

Скоро я понял, что опасения кондукторши были напрасны. Я увидел маленькую, крошечную сосновую рощицу влево от полотна и низенькую, длинненькую, как сарайчик, станцию напротив. Я не вполне точно сказал о рощице. Маленькой была она количеством деревьев, а поднимались эти взрослые сосны высоко. За то лето я близко познакомился с ними, ожидая, среди них, поезда в Ленинград. Даже в пасмурную погоду казалось, что стволы их освещены солнцем, которое по дружбе глядит только на них, минуя людей. Когда я увидел эту рощицу впервые в жизни и угадал в сарайчике направо от полотна — станцию, спокойствие, нажитое в пути, начало словно бы таять или затуманиваться. Я ощутил себя нарушителем пограничной зоны, вспомнил, что так и не удосужился добыть пропуск. Я увидел группу людей, цепочкой двигающуюся вдоль полотна в моем направлении. “Патруль”, решил я. Но, приблизившись, превратился патруль в трех баб с корзинками. Шли они босиком, радуясь хорошему дню, весело разглядывая меня. Так все патрули, вплоть до последнего, выстроившегося у самой станции, превращались, когда я приближался к ним, в мирных граждан и гражданок.

Мне указали, как пройти по записанному у меня Наташиному адресу. От станции свернул я мимо двухэтажных, деревянных, не городских, не деревенских, а именно дачных, пригородных строений по широкой улице. Затем пошел налево, потом направо и, наконец, заметил нужный мне номер на маленькой, синенькой дачке. И Наташа, к моему огорчению, в первую минуту не то что не узнала, а как-то растерялась, увидевши меня. Отступила на шаг. Она целый новый мир освоила за эти две недели, вечность пережила. В первый день приезда, например, она с плачем бежала от петуха, а на десятый погналась за ним, отняла кусочек картошки и съела, прежде чем бабушка успела ей помешать. Я не входил до сего дня в дачный новый мир, и Наташа с недоверием, удивленно слушала, как я уговариваю ее.

1954
30
апреля

Но городские воспоминания проснулись наконец, и она пошла на руки, и тут воспоминания мои перемешиваются. Становятся воспоминаниями о лете [19]30 года. Любовь моя к Наташе росла вместе с ней. Мне интересен Андрюша, очень нравится Машенька, но разве я любуюсь и удивляюсь на них, как на маленькую Наташу! Любовь к дочери пронизывала всю мою жизнь, вплеталась в сны. Когда я приехал в Песочную во второй раз, я, чтобы не испугать дочь и не пережить самому того, что в прошлый приезд, заговорил с бабушкой, не глядя на Наташу. И вдруг услышал звон бубенчиков. Я оглянулся. Это Наташа старалась обратить на себя внимание. Она трясла лакированные, новые вожжи с бубенцами, висевшие на углу кровати. Я их еще не видел. Когда я обернулся, Наташа показала мне на свою новую игрушку и улыбнулась застенчиво. Когда немного погодя пошел я к дверям, чтобы прихлопнуть их поплотнее, Наташа горестно вскрикнула и чуть не заплакала. Она думала, что я ухожу. Так я снова занял место в ее жизни. Уже прочно. Мы уходили с ней гулять на речку, разглядывали с узенького пешеходного мостика бегущую воду. Говорил все я, а Наташа только требовала объяснений, указывая пальцем. Сама высказывалась редко. Только однажды, когда мы вышли на улицу после дождя, она показала на лужу, покачала головой и сказала укоризненно: “Ай, ай, ай!” Часто ходили мы к дощатому забору, за которым жил теленок, рассматривавший нас так же внимательно, как мы его. Наташа долго считала его собакой, пока не столковались мы на том, что это— му. Му-ля-ля. Я избегал особого детского языка, не любил его, но Наташа уже пользовалась им, и мне приходилось с этим считаться. В те дни необыкновенно боялась Наташа чужих.

Однажды провожали они меня на станцию — Дуня и Наташа у нее на руках. Я болтал с ней, потом отвернулся на мгновенье. Взглянув на дочку снова, я не узнал ее: она сгорбилась, замерла неподвижно, уставилась в одну точку — что такое? К Дуне подошла девушка, и Наташа приняла все меры, чтобы чужая не заметила ее. Попрощавшись с Наташей, оставался я ждать в крошечной высокой сосновой рощице. И перебирал слово за словом.

1954
1
мая

Я перебирал слово за словом, чтобы потом, дома, рассказать Катюше и заново пережить и как бы утвердить все пережитое. Закрепить его. В то время степень понимания у нее доходила до высоты, еще не испытанной мной до сих пор ни разу в жизни. Иной раз она понимала то, что я еще и не успевал сказать. Был один случай, который рассказать я еще не умею, да и вряд ли научусь, тогда степень понимания казалась мне просто таинственной. И, дождавшись поезда, я возвращался домой, весь полный сегодняшним днем, и рассказывал, приехав на свою 7-ю Советскую, в большую комнату на самом первом этаже, где жили мы тогда, окнами на самую улицу, обо всех своих приключениях. Мы были тогда очень бедны. Вся мебель хозяйская. Впрочем, столовый стол, на котором я сейчас пишу, длинный, узкий, резной, с ножками не прямыми, а наподобие козел, мы у хозяев купили. Писал я на их бывшем просторном мраморном умывальнике. Собственностью нашей являлась еще узенькая Катина девичья кровать и высокая тумбочка. И эта прижилась, стоит в Катиной комнате, в уголке до сегодняшнего дня. Пробыла некоторое время у Анечки, а потом недавно выкупили мы ее обратно. Так вот — вернувшись в свой дом, тогда еще новый и, как Наташа, удивительный и пронизывающий всю мою жизнь, я рассказывал с наслаждением обо всем, что пережил. И все боялся, дрожал за Наташу — уж очень казалась она мне уязвимой. Так и прошло это лето. У нас были свои страшные дни, у нас, в новом доме. Делали операцию Кате — первую в нашей жизни. Пережили их мы с той поры — три. Нет, всего три. А с той поры — еще две. А в Песочной было тихо. Наташа говорила все больше слов. У Дуни (первой Наташиной няни. Вторую звали тоже Дуня. Не то пишу. Последнюю звали тоже Дуня) — у Дуни появился жених, лекпом. Вернулась Ганя. Она, хоть и вышла замуж, не могла простить мне моего ухода, и каждая поездка в Песочную кроме радостей доставляла и мучения. В двухэтажном доме у станции расцвели цветы, в палисаднике. Хозяин продавал их, видимо, недорого, потому что раза два привозил я домой цветы. Большие букеты

цветов. И лето [19]30 года пришло к концу. В [19]31 году поселились Наташа с бабушкой и Ганей в Разливе. И туда я попал с приключениями.

1954
2
мая

Сегодня перечитал, против условия, эту зеленую тетрадку и огорчен был самым началом. Я хотел сказать простую вещь, что успех до самой глубины успокаивает, освежает внимание. А получилось пышно. Остальное же — соответствует действительности, по мере умения. Только вчера свечка замигала и едва не погасла, как под ветром. Я открыл слишком уж много окошек в лето тридцатого года. Буду в дальнейшем рассказывать только о поездках на дачу к Наташе, а о себе — в связи с этим. Итак, в [19]31 году Ганя сняла дачу вместе с Белогорскими. Ошибся. С ними — годом позже. Сняла дачу в самом конце широкой улицы, идущей от станции. Улица эта замыкается песчаным холмиком, а на нем и стояла дача. Холмик спускался противоположной стороной прямо к озеру. Дорога уже стала к тому времени круговой. Железная дорога. И я прочел где-то, что до любой станции можно ехать через Белоостров или Сестрорецк, как тебе удобнее. Во всяком случае так я понял. И вот я собрался к Наташе. В портфеле вез я пивные бутылки с туго пристегивавшимися фарфоровыми пробками, с резиновыми присосами. Бутылки доверху наполнили мы керосином. Возить его в поезде запрещалось, так что я тщательно завернул бутылки еще и в газеты. В Разливе керосин не продавался, и все мы так или иначе все лето обходили закон, доставляли контрабандой бабушке горючее. Вез я Наташе в сетке еды и печенья. Все эти покупки привели к тому, что денег у меня оставалось только на билет. Я взял билет обратный до Разлива и не без удовольствия прочел в расписании на стене, что ближайший поезд круговой идет через Белоостров. Приеду я минут на пятнадцать позже, зато погляжу новую ветку, соединяющую Приморскую линию с Белоостровской. Народу в поезде оказалось немного. Вот знакомый путь от Левашова, который прошел я в прошлом году пешком. Вот станция Дибуны — она считалась еще более пограничной, чем Песочная. Дачников сюда пускали совсем уж неохотно, жили тут все военные.



И после Дибунов подошел ко мне контролер, проверяющий билеты. Он взглянул на мой обратный, покачал головой и объявил его недействительным. Будь у меня билет Сестрорецк — обратно, то мог бы я ехать до любой станции. И он предложил мне уплатить штраф в три рубля. Я предложил ему вместо штрафа забрать мой

билет. Выйдет так, что я заплатил даже больше, чем следует. Я не воспользуюсь им в качестве обратного, и государство ничего не потеряет. Железнодорожник засмеялся добродушно и отверг мое предложение и вновь выдвинул свое требование. Трех рублей у меня не было, о чем я честно заявил контролеру. А поезд бежал мимо болотистых, низкорослых березовых зарослей, искривившихся, отощалых. Спор шел добродушно. Я предложил высадить меня. Контролер опять засмеялся и удалился не спеша. И поезд замедлил ход, и я увидел Белоостров, поселок не для дачников, неведомо для кого — без признака зелени, без признака уважения к своему жилью. Контролер не возвращался. И поезд побежал вдоль Сестры-реки по самой границе. Впервые в жизни видел я чужую землю, пустынную и будто затаившуюся недоверчиво. По крутому закруглению, мимо песчаных высоких дюн приблизились мы к настоящему курортному вокзалу станции Курорт. Контролер не возвращался, не высаживал меня, и я сам выбрался потихоньку на деревянный перрон под стеклянными сводами. Меня тревожил еще и портфель мой с керосиновыми бутылками. И я скрылся. И снова, как год назад, отправился пешком. В Разлив пришел я через час. Над поселком, вправо от полотна, стояло многоэтажное здание с невеселой вывеской: “Лепрозорий”. У решетчатых ворот все толпились, поглядывали на поезда больные волчанкой, с забинтованными лбами, щеками, подбородками. Говоря о лепрозории, все, успокаивая себя, добавляли непременно, что волчанка незаразительна. Но подчеркнуто веселой, розовой окраски лепрозорий обходили стороной. Да и стоял он в стороне, отделенный от поселка, как границей, железной дорогой. Я свернул вправо, в поселок. Да собственно, с Курорта я шел все поселками, меняющими названия. Только сам Курорт имел свое выражение.

1954 4 *мая*

Просматривая, нашел ошибку на предыдущей странице. По пути от Курорта свернуть мне пришлось влево, чтобы выйти к Наташиной даче. Вправо сворачивал я в дальнейшие приезды, когда шел со станции. Пешеходное путешествие, как всегда, опьянило меня спокойствием. Я оторвался от мельчайших забот и тревог и внимание и воображение заиграли. Курорт со своими большими дачами, все бывшими частными пансионами, за высокими заборами — был так же весь в истории, весь в прошлом, как средневековый какой-нибудь городок, сохраняемый в Германии. Широкие песчаные улицы, дюны между магазинами, площади в высоких соснах. Он незаметно перешел в Сестрорецк — исчезли высокие заборы и дома отдыха, пошли маленькие, белень-

кие, и большие коммунальные дома, с бельем на балконах и отсутствием заборов вокруг дворов. Но вот перешел я плотину, отделяющую озеро от водосборного канала, и оказался в Разливе. Среди низеньких дачек дошел я до кирпичной, нештукатуреной школы, увидел лепрозорий, станцию и вот тут-то и свернул налево, за квартал до серенькой часовни с серенькой вытянутой луковкой и сохранившимся крестом. Улица, завершающаяся песчаным холмом, была широка, но дома вокруг стояли все низенькие, в палисадничках. Идти сначала было легко, а потом все труднее — нога тонула в желтом песке. Путешествие мое пешеходное настроило меня на прошлогодний лад. Мне казалось, что Наташа и на этот раз попятится от меня. Правда, разлука наша на этот раз продолжалась недолго. За прошлый год пережили мы много. Наташа болела скарлатиной, а я не отходил от нее. И после болезни радовалась она всякий раз, когда я появлялся. Во время болезни она вдруг заговорила. И стала называть меня — “папа”, а потом — “батька”. Старуха няня, стоя с Наташей у окна, сказала: “Вон твой батька идет”, и Наташе это новое прозвище почему-то очень пришлось по душе. Итак, мы очень сблизились с дочкой за зиму, но, поднимаясь на крутой песчаный холмик, я думал на прошлогодний лад, что Наташа меня не узнает. Дача глядела из палисадника своего приветливо в три окошечка.

1954
5
мая

Пришел я как раз к тому времени, когда укладывали Наташу спать. Она стояла в одной рубашонке на кроватке, слушала, как рассказываю я свои приключения. А когда я взглянул в ее сторону, то протянула мне обе руки и попросила: “Покачай меня”. И мать сказала наполовину сурово, наполовину уступчиво: “Ладно уж, пусть батька тебя уложит”. За окном стоял ясный летний день. Я взял Наташу на руки так, что голова ее легла ко мне на плечо, и зашагал по комнате не спеша, и запел ее любимую колыбельную песню подчеркнуто спокойным голосом на мотив песни “Шел козел дорогою, дорогою, дорогою”. В то лето песня была еще проста, слова подбирались, какие в голову придут. Но с годами и она выросла, и усложнилась, и приобрела твердый сюжет, изменять, точнее, сокращать который не полагалось. В тридцать первом году в этот ясный летний день, любуясь и удивляясь легенькой, темноволосой двухлетней дочке моей, пел я, вразрез со всем окружающим меня летом: “Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса”. Наташа очень любила, чтобы я укачивал ее, и поэтому всячески боролась со сном. Но он брал свое, дочка затихала, тяжелела. И в этот день, когда я

наконец положил ее в кроватку, черные ресницы ее и не дрогнули. Она не забывала, кто уложил ее спать. Через положенный срок услышал я, сидя на террасе, сонный ее голос: “Батька...” — и я взял ее на руки. И тут воспоминания снова сливаются в одно лето, в одно целое: лето тридцать первого года. Я приезжал на дачу всегда с поклажей, все с той же. Пять-шесть пивных бутылок с наглухо пристегнутыми пробками. Они плотно лежали в портфеле и ни разу за все время не выдали меня. Керосин прибывал в Разлив благополучно. В сетке вез я макароны, крупу, рыбу, мясо — все, что удавалось добыть. Взглянув на знакомую, кроткую часовню, серую с маленькой луковкой, сворачивал я на знакомую улицу, и холмик с едва видимой с начала улицы дачной крышей представлялся мне значительным и, пока я не дойду, тревожил меня. Вместе с любовью к дочке росло у меня вечное беспокойство за нее. Но вот еще издали слышу я ее и наконец вижу в садике белое ее платьице. Я окликаю Наташу. И она замирает.

1954
6
мая

Она замирает, выпрямившись, как будто мой зов испугал ее, а затем бросается мне навстречу, повисает у меня на шее. Иногда не приходится окликать ее, она замечает меня, когда поднимаюсь я к даче. Тогда, как пушок, на легких своих ножках несется она мне навстречу. На полпути останавливается, словно не веря своим глазам, и, убедившись, что это я, еще прибавляет ходу. Владелица дачи, которую все звали “тетя Катя”, одинокая, быстрая, деловая, взбалмошная, заметила, как встречает меня Наташа, как любит меня, и любовалась этим. Но высказывала чувства свои на особый лад. Внимательно глядя на Наташу, кричала она ей мужским своим баском: “Я твоего папу посажу в колодец!” — “А!” — вскрикивала Наташа отчаянно. “Что ты, что ты, она шутит!” — успокаивал я. Наташа взглядывала на сияющую от удовольствия тетю Катю. “Катя, ты шутишь?” — “Нет!”— “Говорит, не шутит!” — восклицала Наташа горестно и обнимала мои колени, чтобы спасти меня. И тетя Катя хохотала баском, довольная. Однажды привез я Наташе туфельки, которые очень ей понравились. Сидя в новых туфельках на качелях, Наташа разглядывала их, и тут тетя Катя побежала через двор. “Смотри, какие мне папа туфельки привез!” — сказала Наташа ей. “Ах, какой хороший твой папа! — ответила тетя Катя ласково. — Как он тебя любит!” И Наташу потряс непривычно мирный ответ ее мучительницы. И она сказала мне с удивлением: “Что говорит!” Но мы редко оставались с Наташей дома, когда я приезжал. Обыкновенно шли мы песчаными улочками,

нет, одной улочкой, даже переулочком с разбросанными домиками — то они на холмике, то поперек дороги. Через полминуты-минуту озеро разворачивалось перед нами, с далеким синим леском на той стороне, с песчаной косой вправо, с берегами то чистыми, то в камышах. По дороге проходили мы мелкий заливчик, то соединенный с озером, то отрезанный песчаным перешейком. И в нем всегда плавало семейство уток, и мы восхищались утятами. В самом начале дачной жизни Наташа говорила меньше, чем могла. И все удивляла меня.

1954
7
мая

После коротких вопросов или ответов она, по неожиданному поводу, произносила несколько связных фраз, которые казались мне целой речью, умиляли и веселили. Вот в один из первых приездов идем мы вдоль озера. На полянке возле дачи играет в одиночестве маленькая девочка. Наташа останавливает меня — я веду ее за руку — и с вежливым полупоклоном спрашивает: “Сколько лет?” — “Три”, — отвечает девочка. “Как зовут?” —“Наташа”— “Тоже!” — сообщает мне дочь удивленно. Некоторое время обе Наташи смотрят друг на друга молча. “Вытри ей нос!” — говорит мне сурово чужая Наташа. Я повинуюсь. Молчание продолжается. “Пойдем, дочка”, — говорю я и беру ее на руки. И тут и происходит то, что я так люблю. Наташа, вежливо и старательно кланяясь, обращается к девочке с целой речью: “Пожалуйста! — говорит она. — Пожалуйста! Играйте тут на травке! Ждите нас. Пожалуйста!” В эту же прогулку, глядя на озеро, она спросила: “Зачем вода бежит к нам?” — “А ты скажи, чтобы она ушла!” — “Уйди, вода!” — приказала Наташа. И тут как раз подул ветерок, озеро подернулось рябью, словно пошло от берега. И Наташа встревожилась, огорчилась. Она подбежала к самому озеру и, присев на корточки, заговорила нежно: “Водица, что вы, дурочка, куда вы, я не ругаю, стойте!” В это лето наслаждался я прелестным зрелищем — постепенным расцветом человеческого сознания. Очень рано, познавая мир, стала искать Наташа общие законы. Вот срывает она цветок на лугу. “Это как называется?” — “Кашка”, — отвечаю я. Наташа задумывается. Потом, сорвав какой-то желтый цветок, спрашивает: “А это макароны?” Я хохочу, и Наташа радостно хохочет за мной, угадывая, что я доволен ее вопросом. “Девочки мама как называется?” — спрашивает она. “Мама”. — “А мальчика мама?” Однажды в жаркий день решили мы искупаться в озере. Пока снимал я рубашку, исчезла Наташа на миг из-под наблюдения, и этого оказалось довольно. Когда я нашел ее глазами, сидела она в озере, в воде по самую грудку, как

в ванне. И притом одетая. В платьице, в сандалиях. Поняв, что поступок ее ужаснул меня, Наташа вышла из воды и стала убедительно, вразумительно утешать меня: "Не бойся, не бойся, там собак нету!" И, утешив, вернулась в воду. Была она в то лето куда храбрее, чем впоследствии. Боялась она только собак да еще темноты.

1954
8
мая

Здесь же, на берегу, познакомились мы с Милочкой Книшевецкой. Была она немножко старше Наташи — в этом возрасте еще заметна и учитывается разница в два-три месяца. А трехлетняя девочка, например, та, с которой беседовала Наташа на лугу, показалась мне несколько даже излишне взрослой, загрубевшей, рядом с легчайшей моей двухлетней дочерью. С Милочкой Наташа, несмотря на разницу в возрасте, подружилась прочно, на несколько лет, пока обе не пошли в школу. При встрече радовались они обе, долго обнимались, как будто расстались давным-давно, да так оно и было в сущности. Для них время со вчерашнего дня было переполнено событиями, переживаниями, они успевали измениться, и вдруг— о чудо, старая знакомая! Милочка была прелестна — тоже темненькая, сложена поплотней Наташи, личико чуть скуластое, таитянское чуть-чуть. Дома занимала положение не менее значительное, чем Наташа. И ее родителям было уже за тридцать, и они все удивлялись, любовались и боялись за нее. Милочкин папа, большелицый, с бритой головой и густыми щетками черных бровей, и мама (нет, ей было, конечно, меньше тридцати), привлекательная, тоже чуть скуластая, но и тонколицая, — стали моими особыми знакомыми. Освещенными особым светом — светом дружбы наших дочерей, лета, озера, Разлива, любви к детям и страха за них. Милочкина мама была врачом, и мы часто говорили с ней о детских болезнях. И я говорил, что Милочка выглядит вроде бы надежнее Наташи, а она утешала меня тем, что Наташа худенькая, но крепенькая. И до сих пор, встречаясь, мы улыбаемся, и знакомство наше освещено все тем же светом, и говорим мы в сущности все о том же, что и двадцать лет назад. Позади дачи тети Кати стояла пристроечка, наподобие сарайчика, как раз над крутым спуском с холмика к озеру. У боковой стенки приспособлена была высокая скамейка. Слишком высокая. Думаю, что ветром вымело из-под нее песок. Однажды посадил я Наташу на эту скамейку, с которой никак она не могла спрыгнуть без моей помощи, а сам отошел шага на три и, грозя пальцем, приказал: "Сиди, сиди, сиди, сиди!" И Наташа, в беленьком платьице, из которого выросла за лето, сидела.

1954
9
мая

Она сидела на высокой-высокой скамеечке, чуть сгорбившись, и глядела на меня весело, доверчиво улыбаясь, ждала, чем кончится игра. И я удивлялся и любовался ею. И ничего не произошло. Я снял ее со скамейки благополучно. Но эти несколько мгновений: ясный летний день, темная стена сарайчика, озеро, не столько видимое, сколько ощущаемое внизу, совсем близкое, доверчивая улыбка Наташи — все запомнилось, слилось в одно прочное, часто повторяющееся чувство. Чаще вспыхивает оно, когда беспокоюсь, болею душой за Наташу. Например, остро пережил я лето, скамейку, чуть сгорбившуюся двухлетнюю, легенькую, уцепившуюся руками за серую доску и доверчиво улыбающуюся Наташу, когда шел с Васильевского острова 1 марта, зная, что роды уже начались. Доверчивая улыбка Наташи вызвала еще и чувство ответственности. И я с ужасом думал, как мучается сейчас та самая девочка, что так весело поглядывала на меня двадцать три года назад. Но едва я пришел домой, как мне позвонили, что у Наташи родилась девочка, своя девочка. Однажды Кате ужасно захотелось взглянуть на Наташу. И она приехала в Разлив к тому времени, когда я должен был возвращаться в город. Так мы договорились. И мы с Наташей и ее няней пришли на станцию. В то время Наташа была острижена под машинку, налысо, как сама она называла (так решили на семейном совете, без моего участия. Вспомнили, что не стригли ее во время скарлатины) — но тем не менее Катя вполне оценила прелесть Наташиных глаз, легкость движений ("как балерина"). Очень понравилась ей моя дочь. К этому времени мы с Наташей были так дружны, что уходить я мог только тайно, когда она заиграется. Иначе разражалась она, неожиданным при ее мягкости и сдержанности, отчаянным, неудержимым плачем, не отпускала меня. На станции няня отвлекла ее внимание и увела. Но едва отойдя от станции, обнаружила она мое отсутствие и зарыдала в голос так громко, что замолчали пассажиры, ожидающие поезда, пошли взглянуть, что случилось. И Катя огорчилась и решила, что вернется в город одна. А я поспешил к Наташе. Она была уже на даче, играла, молча, на песочке, побледневшая, с припухшими губами.

1954
10
мая

Взглянув на меня своими заплаканными, темными глазищами, Наташа как будто и не обрадовалась даже — так потрясена душа ее перенесенной бурей, она тихо пошла ко мне. Лето приближалось к концу. Однажды, проходя мимо Мальцевского рынка, увидели мы кукольную мебель — зеркальный шкаф, круглый стол,

кресла, выпиленные из фанеры, покрашенные эмалевой краской. Продавал с рук, видимо, сам столяр, изготовивший весь гарнитур. Мы были при деньгах и купили все приданое. А потом прикупил я кровать, к которой Катюша собственноручно изготовила тюфячок, стеганое одеяльце, подушки. И все эти сокровища отвез я в Разлив. И Наташа, получив их в полное владение, долго молча в немом восторге ходила вокруг, то кресло в руки возьмет, то кровать разберет и снова накроет. И вдруг выражение тихой радости исчезло, и Наташа расплакалась. Богатство пробудило в ней неожиданные чувства. “Придет Милочка и будет просить!” — рыдала Наташа, прижимая к груди то шкаф, то креслице. Лето кончалось, и мы уехали с Катюшей в Липецк и приехали уже поздней осенью, и пришла зима, и прошла, и снова Наташе сняли дачу в Разливе. И в этой даче прожила она с лета 32 до 35 включительно. Четыре лета. Поэтому у меня нет таких отчетливых, друг от друга отделенных воспоминаний, как до сих пор. Дача была больше и стояла тоже над самым озером. Хозяин и хозяйка жили во втором этаже. Низ, вместе с Наташей, занимали Белогорские, артист, его мать, его дочка Танечка, чуть моложе Наташи, и его жена артистка Брегман. На дачу приехал я без всяких приключений, но все с теми же бутылками керосина. Места прогулок у нас изменились. То выходили мы с ней к чистому берегу озера, где стояли, неведомо зачем, высокие мостки, с которых Наташа бросалась в мягкий песок, то сидели на полузанесенном песком глиссере, играли в пароход. Мне нравилось очень место, вроде полуостровка, соединенного с берегом неширокими перешейком. Там стоял чей-то домик в густом лесу без забора — вода охраняла его. Сад был старый, деревья купались в воде. На этот полуостров мы не ходили, а только любовались на него. Был другой полуостров.

1954
11
мая

Этот широко и далеко вдавался в озеро. Двухэтажный старый серый дом возвышался посреди полуострова. Был дом этот подремонтирован, что было заметно — свежие доски желтели среди древних. На мачте, посреди его крыши, вились по ветру флажки, целый набор флажков, а у пристани, недалеко от него покачивались белые яхты. Все вместе было для меня ново — полуостров, дом с флажками, плоский, плоский берег, водная гладь без волн, без течения, подернутая рябью. Вывеска на столбе сообщала, что здесь помещается яхт-клуб. Наташе исполнилось три года, но и мой взгляд на этот возраст изменился. Мне она никак не казалась очень повзрослевшей. Разве только поумневшей. За зиму я привык к тому, что Наташа говорит длинными и

связными фразами. Вот она играет, укладывает спать куклу и вдруг вскакивает и бежит к игрушечному своему телефону. И происходит следующий разговор: "Алло. Здравствуй, Милочка! Да что ты говоришь! Какой ужас! До свидания, Милочка"' И, подбежав ко мне, Наташа рассказывает: "У Милочки и папа уехал, и мама уехала. Няня сама зарабатывает, сама на рынок ходит". Воображение у нее все время играло. Но вместе с воображением развилась и боязливость. Однажды вечером знакомая строгая старуха, которой Наташа сказала: "У вас муха на лбу", — рассказала к случаю басню "Пустынник и медведь". Рассказ она вела привычно строгим голосом, сурово глядя на Наташу. И к концу повествования заметил я, что дело плохо. Наташа, замерев и широко открыв огромные свои глазищи, не мигая, глядела на старуху. Усваивала только сюжет: друг нечаянно убивает своего друга, разбив ему голову камнем. Я попробовал вмешаться и, мигнув старухе, смягчил историю, сказав, что медведь поцарапал пустынника. "Нет, убил" — поправила меня старуха негодующе, потрясенная моей безграмотностью. К моей радости, Наташа выслушала старуху спокойно, и я пошел укладывать дочку спать. Она разделась, улеглась — и тут гроза разразилась. Неудержимо, отчаянно рыдая, воскликнула она: "Какая глупая сказка, ой, ой, боюсь!" Я умолял Наташу успокоиться, доказывал, что старуха все перепутала, что медведь вызвал доктора и пустынника спасли.

1954
12
мая

"Вот это умная сказка!" — соглашалась со мной Наташа, но тут же, плача еще отчаянней, кричала: "А та какая глупая! Ой, ой, у меня медведь прячется под кроватью". К счастью, тут вернулась домой мама и так строго и отрезвляюще прикрикнула на дочку, что Наташа сразу отрезвела. С мамой за эту зиму образовались у Наташи любопытные отношения. Иной раз Наташа уговаривала ее, как старшая. Однажды попыталась она даже объяснить маме, что я не такой уж плохой человек. Сидя рядом с мамой, лежащей на тахте, довольная тем, что и я тут и что Ганя относительно мирно настроена, она показала ей на меня: "Смотри-ка, смотри!" — "Ну?" — "Это батька". — "Ну и что?" — "Он хороший!" — "Не хороший, а обыкновенный". Наташа пожала плечами и, повторяя интонацию, чуть армянскую, своей бабушки, сказала рассудительно и укоризненно: "Что говорит!" Вот мы собрались с Наташей гулять. Натянули рейтузы, надели, застегнули шубку, завязали шарф, и вдруг дочь вспомнила: "По маленьким делам". Ганя вспыхнула: "Это издевательство! Одевали, одевали — и опять раздевать! Потерпишь!" На-

таша бросается к маме и начинает убеждать ее, как маленькую: "Что ты, мамочка, как можно, ведь это вредно, мамочка!" Но когда Наташа пробовала капризничать, достаточно было маме прикрикнуть, и Наташа трезвела. Впрочем, капризничала она редко. Как это случается в шумных семьях, она рано привыкла держать себя спокойно и сдержанно. Чаще овладевал ею страх вроде того, о котором я рассказал. Но к этому времени появился у нее еще один страх, который был у нее и в прошлом году, но в умеренной степени. Ей сделали уколы противодифтерийной сыворотки. Нет, прививку сделали. На беду заключалась она в трех уколах. И как трудно было затащить Наташу к врачу! После второго укола, когда убеждали мы Наташу, что доктор только посмотрит, а укол был все же сделан в третий раз, как обиженно рыдала она, повторяя: "Зачем вы меня обманули?" Но это все я рассказываю о зиме. Летом я приезжал к Наташе в Разлив обычно на несколько часов. Я укладывал ее спать, причем колыбельная песня сильно развилась. Начиналась она так: "Жила-была Травушка, Травушка-муравушка, захотела башмачки, прибежала в магазин."

1954
13
мая

Дальше пелась в тридцать втором году еще относительно короткая песенка, все время дополняемая Наташей. Заключалась она в том, что девочка по имени Травушка-муравушка приходила в магазин, а продавец отвечал ей, что для травушек нет у него башмачков. Девочка возражала, что это у нее имя такое, а на самом деле она обыкновенная девочка. И продавец просил прощения, и все дело кончалось на этом. История эта была, в сущности, только вступлением к старой песенке: "Уходи скорей, мороз..." — и так далее. Пока Наташа спит, бродил я по Разливу или беседовал с матерью Белогорского, степенной вдовой петербургского адвоката, властной рукой ведущей свое хозяйство. В Разливе в те годы бывал я всегда с душой, открытой всем впечатлениям, и поэтому некоторые рассказы Белогорской-бабушки запомнились, как бы пережитые. Особенно один, о том, как она с мальчиками жила на даче в Финляндии. Они снимали островок, да, да целый маленький остров на шхерах. Владелец усадебки переезжал в город, и они оставались полными хозяевами. Море, сад, пристань. Каждый вечер к островку приставал пароходик, хозяин брал корзинку, записку с перечислением необходимых закупок и деньги. Не хозяин, а капитан. И утром выгружал корзинку с продуктами, счетом и сдачей. Бабушка рассказывала, а я так и представлял себе ее молодой и ее мальчиков — счастливых и веселых — еще бы, хозяева острова. Танечка, внучка, в то лето еще не разговаривала

почти, беленькая, розовая, светлоглазая, не то все думающая о своем, не то дремлющая. Когда Наташа просыпалась, обе девочки усаживались на стеклянной маленькой терраске завтракать, и Белогорская-бабушка кричала властно: “Ешь! Глотай! Опять она держит кусок за щекой! Что это за существо! Глотай”. Наташа тоже ела не слишком охотно. Тут воздействовали не приказания, а сказки. Бесконечно рассказывал я Наташе, непременно одно и тоже: как мальчик Петя глядел из окна вагона, и ветер сорвал с него шапку, и что из всего этого вышло. Сказку эту любила Наташа не меньше колыбельной песенки, и росла она тоже года три, обрастая подробностями, которые сочиняли мы вместе.

1954
14
мая

У Наташи была особая повадка — слушая, она словно забывала все вокруг, смотрела прямо в лицо и ела, сама того не замечая, то, что клали ей в рот. И вот под мои рассказы, под властные окрики бабушки Белогорской: “Не держи за щекой! Глотай!” — к чему Танечка относилась вполне хладнокровно, мечтательно глядя за окно, — завтрак приходил к концу. В этом году появилась у моей Наташи подруга, тоже Наташа — Бабочкина. Тут дружба образовалась совсем не такая спокойная, как с Милочкой. Девочки, случалось, и спорили и ссорились: тощенькая, быстренькая, своенравная Наташа Бабочкина легко вспыхивала и обижалась. Впрочем, в [19]32 году это еще только намечалось, обе они в это лето большей частью играли мирно. Наташа Бабочкина, по впечатлительности, легко заражалась Наташиными чувствами и встречала меня так же восторженно, как моя дочка, а вскоре стала называть меня папой. Когда ее спросили однажды: “Разве может быть у девочки два папы?”, то она ответила: “Ведь есть папы, у которых две девочки. Почему же не может быть девочки, у которой два папы?” Заболевала Наташа в те времена бурно. Температура сразу вскакивала почти до сорока. Врач говорил первые два-три дня, что картина неясна, что и подтверждалось впоследствии: на третий день температура падала, и так и оставалось неясным, чем переболела девочка. Но всегда это пугало. И, приехав по зову бабушки и застав Наташу больной, я по ее просьбе остался ночевать в Разливе. Наташа спала беспокойно, дышала часто, и я боялся, что это признак воспаления легкого. Но под утро она вспотела так, что мы ей меняли рубашку, и когда с первым поездом приехала Ганя, которая в тот день, точнее, в ту ночь играла, у Наташи была уже нормальная температура. И я вернулся в город. Жили мы тогда на Литейном, 16, в четвертом этаже. И я еще издали увидел, что наше окно с еще, вероятно,

дореволюционным цельным стеклом открыто и Катюша сидит на подоконнике, ждет меня. Беспокоится. В те годы жили мы совсем близкой жизнью. Когда зимой уезжал я недели на две в Москву, Катюша добыла где-то деньги и с переговорной позвонила мне.

1954
15
мая

И услышав мой голос, чуть не заплакала и так, дрожащим голосом, и говорила со мной все три минуты, пока наше время не истекло. И домой возвращалась пешком, все деньги ушли на разговор с Москвой. И когда я летом ездил в Разлив, она часто провожала меня на станцию, а когда я возвращался, всегда ждала у открытого нашего окна с цельными стеклами. И в ту ночь, когда остался я ночевать у Наташи, чего только не передумала Катюша, до сих пор вспоминает эту мою поездку. И, увидев меня, бледная, замученная, она даже не помахала мне рукой. Нет, не то пишу. Она даже не улыбнулась, а только помахала мне рукой. В другой раз остался я ночевать в Разливе по причинам более спокойным — бабушке зачем-то понадобилось в город. И я уложил Наташу и долго сидел у окна, удивляясь тишине. Мы жили тогда в самом шумном месте города. Трамваи, сворачивая с Кирочной, взвывали, орали машины, шумел народ, играли оркестры, и все эти шумы сливались иногда в один, и я не шутя думал, что вот и сам дьявол подает голос. На даче же было тихо до звона в ушах. Уже глубокой ночью Наташа встала на кроватке, держась за перила, не открывая глаз, позвала меня: “Боюсь, боюсь, собаки, собаки, возьми меня к себе”. Закопошилась, завертелась, устроилась ко мне поближе и уснула так глубоко, что когда я уложил ее обратно, то она и не шевельнулась. Утром из умывания устроили мы целую игру — умывались из игрушечной лейки. Днем разговаривал я с кем-то в глубине двора и вдруг услышал отчаянный Наташин плач. Я побежал к ней что было сил. Выяснилось, что они просто не поделили что-то с Наташей Бабочкиной. И несколько раз в течение дня потом спрашивала у меня Наташа: “Почему ты так бежал? Потому что я заплакала?” И, получив подтверждение, улыбалась, очень довольная. К этому времени говорила Наташа все, только слова посложнее произносила скороговоркой и несколько в нос, словно для того, чтобы затушевать, приглушить ошибку. Однажды большой компанией пошли мы гулять: Танечка с няней, Наташа с няней, по пути присоединились нянины подруги. Путь избрали мы необычный — к станции, потом левее лепрозория, в лесок.

1954
16
мая

Мы шли дамбой, нет, невысоким земляным валом среди густых зарослей. Ручей бежал по канавке. Я нес Наташу на руках, наслаждаясь чувством покоя от ее близости и, пользуясь минутой, думал обо многом. А Наташа все задавала мне вопросы. А я рассеянно отвечал ей. "Это хороший ручей?" — спросила Наташа. "Сверхъестественный!" — ответил я. Через несколько минут увидели мы новый ручеек, бегущий под кустами. И Наташа спросила: "А это тоже... (маленькая пауза, а потом скороговоркой, негромко, несколько в нос) — сверхъестественное?" Она тогда под влиянием нянек говорила "не гораздо", "так аль нет?" и "синенькое", "красненькое" и вот теперь "сверхъестественное". Скоро дорога через лес стала непроходимой, и мы вернулись на шоссе, пошли в сторону Ленинграда. Направо зеленел все тот же болотистый лес, налево дачи, все просторные, двухэтажные, занятые под детские сады. Белая оштукатуренная дача была отделена от соседней не забором, а высокой проволочной сеткой. Белый козел взвился у этой сетки на дыбы, рослый, рогатый, бородатый, боднул проволоку. И мы были рады этому зрелищу. Ничего не случилось на этой прогулке, но вспоминаю я ее как счастливый день и, проезжая в Комарово на машине, каждый раз взглядываю на белую оштукатуренную дачу и на забор, возле которого взвился на дыбы рослый белый козел. Вот и лето [19]32 пришло к концу, и мы уехали в Коктебель. И вернулись осенью. И денег у нас все не было. "Телефонную трубку" принял Большой драматический. Потом раздумал ставить. Я все собирался дописать "Клад" — у меня была готова первая картина, написанная в один день. И Зон торопил. И наконец написал я всю пьесу в запале и восторге, удивляясь что не работаю я так ежедневно. И кончил ее в три дня. И мы скрывали это. Однажды получил я за что-то деньги и, проходя мимо цветочного магазина, увидел, что продается в белом оплетенном горшке кустик цветущей белой сирени. Я купил его и привез в подарок Кате и застал у нас приехавшую из Москвы Лелю Каронович — стройную, мягкую, добрую.

1954
17
мая

У Лели Каронович был прелестный дар — врожденной, естественной воспитанности, даже аристократичности. Она одета была всегда прекрасно. И держалась всегда безупречно. Рыжеватые волосы и ресницы, бледность, веснушки вначале создавали впечатление, что она некрасива. Но изящество всего существа, абсолютный слух, благодаря которому никогда она не была фальшива, мягкость, мягкость, доброта— все это создавало вокруг нее особое очарова-

ние. И вот я пришел, принес куст белой сирени, а у нас Леля, и она успела подружиться с Катюшей. И я был рад, что пришел с цветами. Леля жила в Москве, до этой встречи видела она Катюшу всего раз, а теперь они подружились. И продолжалась эта дружба до самой Лелиной смерти. Вообще же зима 32-33 года была нелегка. Появились коммерческие магазины, мясные. Я открыл такой, когда ходил за керосином. Стоял я за ним на Литейном. И вдруг объявили, что выдавать его будут в каком-то переулке на Выборгской стороне. Все побежали туда. И по дороге к Сампсониевскому мосту я и увидел этот магазин, маленький, пять ступенек вверх от панели. И подумал: надо бы достать где-нибудь взаймы и вернуться за мясом. Свернув в переулок, я с ужасом увидел, что очередь за керосином растянулась на целый квартал. Но тут меня окликнули девушки, неизвестные мне. Они закричали: "Куда же вы! Мы здесь, вы стояли за нами". И я скоро попал в подвал, где дыхание захватывало от запаха керосина. Под бочкой, железной, стоял глубокий чан, в котором синела драгоценная жидкость, за которой гонялись мы сегодня столько времени. Бидоны наполняли над чаном. Мне керосин казался более тонким, более жидким, более всепроникающим, чем вода. Фартук, рукава, руки продавца, пол, стены — все дышало им одним. Прибежав домой — на трамвай с керосином не пускали, — я застал у нас Наташу Грекову и взял у нее взаймы, и вымыл руки, и уже на трамвае вернулся в открытый мной магазинчик со ступеньками. Этот день вспоминаю я весело. И люблю ездить через Сампсониевский мост. Но не люблю вспоминать, как стояла Катя в очереди в Торгсине. Там стали принимать серебро, и Катя продала столовую ложку.

1954
18
мая

Эта ложка была единственной драгоценностью во всем нашем хозяйстве, была подарена Кате чуть ли не в детстве. И вот нас до того прикрутило, что когда в Торгсине стали принимать серебро, решили мы с этой ложкой расстаться. Погода в тот день установилась ужасная. Очередь длинная-длинная тянулась к приемочному пункту на Литейном. Мне почему-то стыдно или даже скорее жутко было идти в Торгсин, стоять в хвосте рядом с людьми, сдающими золото, и Катюша взяла эту тяжесть на себя. Шел снег с дождем, не шел, а летел, лупил по лицу. Сидеть дома совесть мне тоже не позволяла, и я то медленно-медленно двигался со всей очередью рядом с Катей, то бродил, неприкаянный, от Невского до Семеновской. В очереди рассказывали всяческие чудеса. Например: бывшая кафешантанная певица привезла обменивать сюда, на пункт, серебряный самовар, подаренный некогда купцом-

миллионером. Приемщик взял пробу, странно поглядел на певицу и ушел. Певица расстроилась — неужели самовар медный. И вдруг выяснилось, что купец, не желавший слишком уж хвастать своей щедростью, подарил золотой самовар, только велел посеребрить его. И на пункте не хватило талонов, чтобы расплатиться со счастливицей. Ездили, собирали по всему городу. Наша очередь доползла наконец до цели, но никакого чуда с нами не произошло. Получила Катюша за ложку свою копеек шестьдесят. Купила в магазине на Невском немного муки, сахару, конфет, коробку папирос. Вот так мы и жили, так и перебивались. Но все переплеталось с Наташей, с ее беспокойством, нет, с беспокойством за нее. Воображение мучило меня. Я не думал, что вот с Наташей может произойти то-то и то-то, а видел и переживал это в течение нескольких секунд. И, как нарочно, Наташу в это время стали одолевать мысли о смерти. Она все время расспрашивала меня, "как люди засыхают": так говорила ее няня, кажется, Маруся, замкнутая и молчаливая девица. Наташа желала знать, как люди, такие большие, влезают в такие маленькие ящики — такими казались они ей, в таком ракурсе она их видела. Впрочем, отвлечь от подобных мыслей Наташу было не так уж трудно. Этой же зимой одолевали Наташу материнские чувства.

1954
19
мая

К нам пришла актриса с грудным ребенком, после чего Наташа принялась выкармливать всех своих кукол, причем выяснилось, что она полагает, что в грудь кормящей матери молоко попадает так: его наливают туда из кастрюльки. Однажды мы гуляли с ней в Екатерининском скверике. Наташа пришла в восторг от ребенка, мирно спящего в колясочке. И мать ребенка сказала, что дарит его Наташе. Боже мой, что с ней сделалось! Она поверила, заметалась от радости, растерялась, потом взмолилась: "Ну папа, ну что же ты, забирай его!" И по дороге домой говорила все о том же: как у нее будет когда-нибудь свой ребенок, и он вырастет, и она будет с ним играть. "Но ведь и ты будешь расти!" "Ах, верно!" — ответила Наташа и смутилась. Несмотря на полное наше безденежье, мы решили летом [19]33 [года] поехать на дачу. И когда Наташа поселилась в Разливе, мы поехали искать дачу в Сестрорецке. Мы свернули у кинотеатра налево, прошли очень славными, заросшими травой переулочками и нашли комнатку, правда, как раз в том месте, где исчезло уютное, а появилось огородное выражение у окрестностей. Но дом, где мы поселились, стоял в саду, в окно нашей комнатки заглядывали ветки дерева. Комната была меньше вагонного купе и зна-

чительно ниже, и, хоть я и старался отбросить эту мысль, деревянный потолок ее напоминал крышку гроба. Помещалась она на чердаке. По двору ходили два гуся с нашлепками на переносице и гусята. И гусь убил одного гусенка, и хозяйка наказала его прутом, и гусь орал, причем голова его сохраняла все то же надменное и тупое выражение. Потом хозяйка, плача от жалости, пыталась оживить гусенка, дула ему в клюв, и все напрасно, он лежал на песке вытянув тонкую шейку. И хозяйка бранила эту породу— японскую или китайскую. Не любят своих гусят. Мы вывезли с собой Васютку, дымчатую, ангорскую кошку, молоденькую и отчаянную. Сначала она испугалась, поджимала лапки, когда пустили ее на землю. Как барышня, впервые пошедшая босиком. Но потом осмелела, даже одичала. По дереву в наше окно пробрался к ней кот.

1954 20 мая

Визит был невинный, так как Васютка в те дни не просила кота. Гость съел с тарелочки всю еду ее и удалился. Недалеко от нас жили Каверины. Нужно было пройти в направлении железной дороги по заросшей травой улице. Вправо за кустами, домами, деревьями журчала вода, поблескивал канал, отводящий излишек воды из озера в море. В конце улицы темнела крыша каверинской дачи, улица уступом переходила в площадь, а их дача стояла на уступе еще ниже площади, а за ней шли заросли кустарника вплоть до высокой песчаной насыпи железной дороги. Все было, как и полагалось Сестрорецку. Только что порадуешься воде или сосновой роще, как отрезвит тебя коммунальная дача, с оскорбительно захламленным двором, или полузаброшенный огород, или северное, чахлое, виноватое выражение песчаного пустыря. Каверины вскоре уговорили нас переехать к ним на дачу. Здесь оказался свободный чердак. Нет, не так. На чердаке комната единственная и более просторная, чем наша, — сдавалась. За нашу платили мы двести пятьдесят, а за эту триста в лето. Какая-то знакомая Кавериных взяла нашу первую комнату, а мы перебрались на новый чердак. Это лето вспоминается, как самое нищее за то время. "Клад" репетировали, но ТЮЗ в те дни платил триста рублей за пьесу. Мы выиграли пятьсот рублей, но Детгиз отдал облигации на обезличенное хранение, и, когда я пришел получать облигацию, мне выдали равноценную, но совсем с другим номером. Бывали дни, когда кошку нечем было накормить — вермишель да крупы она есть отказывалась. Однажды я принес ей головы корюшки, взял у Степановых. Не ест. На рынке отстояли мы очередь к мясному ларьку.

Купили ей легкое. Не ест. Каждую неделю ездил я в город, пытаясь выколотить с Народного дома долг за давным-давно прошедшую “Остров — 5к”. Получить деньги эти можно было только через Управление по охране авторских прав, которое называлось тогда как-то иначе. Но сидел там все тот же Семенов, только в те дни был он со мной небрежен, даже груб. Как принимали мы свое безденежье? С веселым недоумением.

1954
21
мая

Мы не были одиноки. Так же вечно сидели без денег Олейников, Хармс, Заболоцкий. Однажды приехали они в Сестрорецк. Мы пошли в Дубки, и гости строго поглядывали на рощицу, которая всем видом своим показывала, что она разрослась бы, да обстоятельства не позволяют. И они осудили пригородную, северную скудость нашей дачной местности. Причем Олейников осуждал с такой страстностью и беспощадностью, что я почувствовал и себя осужденным за то, что живу здесь. Потом полежали мы на траве, выбрав дуб покрупнее. Хармс читал свои стихи: “Бог проснулся — Отпер глаз — Взял песчинку — Бросил в нас”. Потом через подобающее время захотелось нам выпить. Денег не было. Ни у кого. Просить взаймы у Кавериных я не мог — кругом был у него в долгу. Остальные не решались. Тем не менее все мы отправились к нам в сад намекать Каверину, чтобы он угостил нас. По дороге Олейников, которому стихи Хармса нравились, тем не менее, по принятой тогда манере нашей шутить, все повторял, бесконечно повторял: “Бог проснулся — Пирвирнулся”. Даниил Иванович хохотал своим баском. Каверин легко понял наши намеки, послал в магазин, и через некоторое время нас позвали на террасу. О ужас! На столе красовалось вино, которое мы и в рот не брали. Сладкое красное. Заболоцкого это так уязвило, что и теперь, в наши дни, собираясь в гости к Кавериным, он звонит им по телефону, спрашивает, какое будет вино. В те дни мы были все бедны, а хорошо зарабатывающие не придавали этому значения. Презирал нас только владелец дачи, резко отграничивая нас, чердачных жильцов, от Кавериных, занимающих весь низ. И все знакомые смеялись над этим. Несмотря на нищету, гости одолевали нас. Однажды приехал чуть не весь ТЮЗ. И Капа Пугачева, и Борис Чирков, и еще, и еще. И весело, и спокойно съели они весь наш запас ячневой каши, что мы приняли почти так же спокойно и весело. А потом пошли мы купаться. Чирков снял трусы, с криком побежал в воду, а я глазам не поверил. У него обнаружился хвостик, голый, недлинный, но несомненный. И Капа мне сказала: “Что ты удивляешься? Это все знают”.

1954
22
мая

Вот так мы и жили. Из окна вагона в зелени видел я крышу нашей дачи всякий раз, возвращаясь из города. И всегда в темном прямоугольнике окна белела Катюша. Я махал ей рукой, и она отвечала мне тем же, тоненькая, необыкновенно знакомая и ласковая, и женственная. Даже отсюда, издали, угадывалось это по ее повадке держать голову чуть к плечу, по выражению всей тонкой, белой фигурки. И прежде всего потому, что ни разу не пропустила она поезда, всегда встречала у окна, когда поезд, прошумев по мосту, бежал по насыпи над кустарником. Всегда стояла у окна под крышей, ждала меня. Развилась и сказка о мальчике, у которого вылетела в окно шапка. Кончалась сказка уже после завтрака, на прогулке, так стала она длинна. Однажды мы поехали в лодке в Сестрорецк. Лодка — хозяйская, он и греб. Плоское-плоское водное зеркало, без волн, без течения, плоские берега. Мы проехали мимо островка, соединенного с Сестрорецком деревянным мостом, и причалили к самому шоссе, и странно было глядеть с воды, с лодки на знакомые дома, на ворота и решетку Сестрорецкого парка культуры и отдыха. Серое шоссе, деревья и север, север, печальная и скудная, трезвая и все еще незнакомая природа, по-новому берущая за душу. Бабушке давно хотелось посмотреть Курорт. И вот мы сели на поезд и поехали. Посмотрели деревянный высоченный курзал, принужденно приветливый, как старый официант в нарпите. Посидели в парке, послушали музыку и пошли к поезду. На отходящий поезд не сели. Я неправильно прочел расписание. Наташе в апреле исполнилось четыре года. Дружба наша выросла. Колыбельная песня стала сложней. Теперь продавец отвечал Травушке-муравушке, что у него есть туфельки для девочек, сапожки для мальчиков, а башмачков нет. Он давал Травушке совет пойти в лес, где жук, сидящий в пеньке, выпилит ей красивые деревянные башмачки. Когда песня доходила до этого места, Наташа обычно начинала дремать. И уже сквозь сон слушала, как Травушка-муравушка так все и делала, как ей советовал продавец, а потом шла домой, где папа укладывал ее спать.

1954
23
мая

Там было сказано, что в 6 часов отходит поезд только до Сестрорецка. И только после того, как поезд уже ушел, я сообразил, что в расписании шла речь о шести часах утра. И тут в дело вмешался мой демон или кто-нибудь из майкопских чертенят, активность которых иногда выдавала их, они выплескивались из своей стихии, как рыба из воды, в охотничьем ослеплении. Мы дождались следующего поезда. И как раз он вопреки расписанию, дошел только до

Сестрорецка. И движение прекратилось. Поезд, дошедший благополучно до Разлива, тот самый, на который не попали мы по моей вине, оказался на сегодняшний день последним. Мы сидели на вокзале в Сестрорецке, точнее, на длинной-длинной зеленой скамейке, во весь перрон. К нам подошла Вета, как всегда веселая, как всегда отчетливо соображающая и остроумная и как всегда чем-то встревоженная. И скрывающая это, как весь ее круг, — мажорная, очень мажорная. И мы сидели, разговаривали, а поезда все не шли. Где-то заиграл оркестр, и Наташа заткнула уши: "Ой, ой, ой, не надо, не надо, я начинаю про скучное думать". — "Про что же именно?" — "Как люди засыхают". И я огорчился. А поезда все не шли. И мы подсчитали с бабушкой имеющуюся у нас наличность, и я сторговался с извозчиком. И мы поехали. Напряженно внимательная, молчаливая от избытка внимания, Наташа сидела у меня на коленях. И мы проехали через дамбу, миновали кирпичное здание школы и остановились у станции. Сворачивать в сторону от шоссе в песчаные улицы Разлива извозчик отказался. Достаточно вспомнить мне лето [19]33 года, как вижу я далеко-далеко в зелени крышу дачи, темное окно и Катюшу в светлом платье, ожидающую меня у окна, и путь к Наташе. Этим летом не ездил я к ней, а ходил. Пешеходным мостиком в две доски через канал, песчаными улицами под соснами, излишне вытянувшимися, ненадежного здоровья. И безденежье, к концу лета принявшее формы просто оскорбительные. Я потерял терпение. Однажды Лидочка сконфуженно предложила нам взять у них три копейки, оставшиеся у них, на Торгсин. И в белой лавчонке с высоким крыльцом купили мы парочку яиц.

1954
24
мая

Кончилось лето неожиданно и бурно — я каким-то чудом оказался в числе писателей, приглашенных поглядеть только что открывшийся Беломорский канал. Я уже как-то рассказывал об этом, а по-настоящему описать это путешествие не решаюсь. Точнее — не научился еще. После безденежья и тихой, северной, скудной сестрорецкой жизни попал я на север трагический, с лесами, внушающими уважение, нет — страх, с озерами, никак не дремлющими. Но разительнее и устрашающе ближе оказались люди, и среди них московские дельцы — самые непонятные. Было из ста двадцати москвичей сто десять совсем неизвестных мне. Они роились, и толклись, и питались, и с концом РАППа — исчезли. Через год на съезде уже никого из них я не увидел. Так и кончилось лето, и пришла зима [19]33-34 года. В октябре 33 [года] состоялась в ТЮЗе премьера "Клада". Генеральная не удалась. Никто не ждал успеха.

Но, придя на просмотр с публикой, мы увидели нечто поразившее, даже испугавшее нас. Вестибюль оказался переполнен. Весь Ленинград собрался на просмотр. Я вошел как раз в тот момент, когда Н. Тихонов спорил запальчиво с неопытным тюзовским администратором, доказывая, что он имеет все права быть на просмотре. Успех был неожиданный и полный. В "Литературном Ленинграде" появился подвал: "ТЮЗ нашел клад". Стрелка вдруг словно бы дрогнула, пошла на "ясно". Наташе я стал теперь много читать. И прежде всего и больше всего "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях", а потом и "Сказку о царе Салтане". Первая сказка трогала ее больше. "Но мне милей королевич Елисей" — эти слова трогали ее до слез. Она занималась теперь в группе и собиралась выйти замуж за Олега Макарьева. И ссорилась за него с Наташей Бабочкиной. Я сказал ей однажды: "Что же ты, Наташа, так спешишь замуж. Поживи еще с нами!" В ответ она воскликнула, в отчаянье упав на тахту: "Что же, значит, мне так всю жизнь и не выходить замуж!" Эти годы своей жизни Наташа помнит вполне ясно.

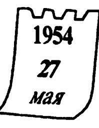
1954 25 мая

Сложность душевной жизни детей непостижима даже для ближайших наблюдателей. Уж очень близки ощущения сложнейшие и простейшие. Как рассказала мне Наташа много лет спустя, мысли о том, "как люди засыхают", начались у нее не только от разъяснений няньки. Шла она однажды по Литейному и подумала о встречном: "Вот дядька идет". И вдруг ее осенило — а дядька ведь, взглянув на нее, подумал: "Вон девочка идет". Значит, она, Наташа, такая же, как все. Значит, и она может засохнуть. И эта мысль вдруг овладевала ею, особенно когда начинала играть печальная музыка или вечерами. Наташа, которая, казалось, двух мыслей связать не может, когда их ей навязываешь, где-то в глубине развивающегося сознания своего переживала достаточно сложные, вызванные умозаключениями открытия. Именно переживала. Я, полный дурачок в целом ряде понятий, открыл же в шесть-семь лет весь ужас понятия "никогда". В тот год занималась Наташа в немецкой группе. От французской решительно отказалась, заявив, что по-французски разговаривать ей стыдно. И по-немецки не решалась разговаривать она вне группы. Но когда перебирались с Невского на Литейный и немка на несколько дней взяла Наташу к себе домой — она разговаривала там свободно по-немецки к удовольствию учительницы. Забыла она к школьным годам язык этот начисто. Как раз в те дни, когда Наташе исполнилось пять лет, произошло событие и в нашей жизни — мы переехали

в надстройку. И вдруг, как по волшебству, изменились наши дела к лучшему. Нищета в своем прежнем виде отступила. Лето тридцать четвертого года провели мы в городе, осенью ездили на съезд, о чем я уже пытался рассказать. Наташа жила все на той же даче. Мысли о "скучном" привели к тому, что она не выносила грустных или скучных, по ее определению, слов. Однажды спел я ей, глядя на яхту, бегущую по озеру: "Белеет парус одинокий". Все ей понравилось, кроме слова "одинокий". Его она запрещала петь как слишком грустное. Требовала, чтобы заменял я его словами "мачи мочи", нейтральными.


1954 26 мая

Так много лет мы и пели: "Белеет парус мачи мочи". Теперь поет Наташа эту песню Андрюшке, но полностью. Его печальные слова и грустные слова, то есть концы, хотел я сказать, не задевают... Разница между Наташей одного года и двух была огромна, но пяти или шести — незначительна. За два последних лета в Разливе окончательную форму приняла песенка о Травушке-муравушке. По Наташиной просьбе добавил я следующие события в историю с башмачками. Жучок ей выпилил обувь уж больно тяжелую. Позвали мышку обточить и облегчить башмачки. Когда уже заканчивала она это дело, появился охотник. Он подумал, что мышка кусает девочку, и хотел ее застрелить. Но Травушка объяснила охотнику, как обстоит дело, и он попросил у мышки прощения и угостил ее салом. И только после всех этих приключений прибегала Травушка домой, и папа укладывал ее спать и пел ей песенку: "Уходи скорей, мороз, уходи в свои леса". За это время без малейшего участия с моей стороны — за 34 и 35 год разработала Наташа со многими подробностями окончание "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". И в самом деле, пока несчастья — рассказ идет не спеша, а как все наладилось — так: "Я там был, мед, пиво пил" и все. И конец. А больше всего огорчали Наташу семь богатырей.


1954 27 мая

Царевна спаслась, а семь богатырей и не знают об этом! И Наташа рассказывала: "Царевна говорит: "Еликсей (так называла Наташа Елисея), Еликсей, поедем к семи богатырям". А он говорит: "Хорошо, поедем". Приезжают они, а богатыри ужинают. Царевна говорит: "Поди спроси: где моя невеста?" А сама стала под окошко. Еликсей входит и спрашивает: "Где моя невеста?" Володя — Наташа дала имена всем богатырям: младшего звала Володя, а старшего — Петя — Володя шепчет: "Не говорите, не говорите!", а Петя отвечает:

"Нет, надо сказать". И все они заплакали. А царевна входит в комнату и говорит: "Вот она я!" В те же годы появился у Наташи сборник андерсеновских сказок. Читал я их, стараясь пропускать места религиозного характера, чтобы не вступать в объяснения. Но однажды просто с разгона прочел и запнулся. И Наташа сказала мне утешающе: "Папа, папа, я знаю. Андерсен еще при боге жил". Примерно в эти годы, а может быть, и раньше, во всяком случае, до переезда Наташиного на Литейный, подарили мы с Катюшей Наташе крошечный кофейный сервиз. Детской посуды, игрушечной, тогда почему-то не выпускали, и мы нашли в комиссионном венский сервизик: молочник, кофейник и одна-единственная чашечка. Бабушка сразу оценила сервиз и заперла его в буфет. Разрешала играть только в своем присутствии. Маленькая столовая в старой Наташиной квартирке во втором дворе дома 74 по Невскому. Наташа берет со стола чашечку — я разрешил ей — и медленно, на цыпочках, сверхъестественно осторожно, подняв плечи, идет ко мне. И как раз от избытка осторожности роняет ее на пол. Звон, вопль. Чашечка разбивается пополам. Наташа рыдает у меня на плече: "Бабушка заругает!" Но, услышав, что бабушка вовсе не ругает, а успокаивает ее, Наташа разражается еще более горькими рыданиями. "Теперь тебе чашечку жалко?" И Наташа в подтверждение несколько раз кивает головой, продолжая заливаться слезами. К даче в Разливе она привязалась. Когда мы приехали после одного из этих последних лет в Разливе домой, Наташа вдруг расплакалась в кухне: "Где мое крылечко? Где мой песочек? Где мое озеро?"

1954 28 мая

Лето 1934 и 1935 годов, в той части, что связаны с поездкой в Разлив, слились у меня в одно. Наташа занимала прежнее место в моей жизни. А может быть, и большее. Разговоры делались наши все сложнее. Наташа увлекалась рисованием и говорила, что рисовать так же интересно, как слушать, когда читают. Однажды мы поехали кататься на лодке. Не в сторону Сестрорецка, а к Тарховке. Шли камышами, и берег, и само озеро исчезли, потом выбрались на простор и увидели крутой песчаный берег, а на нем отдыхающие и белые пятна их одеж. И долго, целый год, вероятно, рисовала Наташа цветными карандашами камыши и лодку среди них. Лодку пустую, люди не интересовали ее. В последнее лето стали у нее падать зубы, а один все не хотел, и мы пошли к знакомому врачу. Но Наташа подняла такой плач, что зуб не выдернули, а новый вырос совсем не на место, поперек. Только рентгеном его и обнаружили года три назад. И лето тридцать пятого пришло к концу

скорее предыдущих — в августе уехал я в Грузию с Германом, Левой Левиным, Штейном, Горевым, Саяновым. Все помню, все путешествие, но нет еще умения, а, следовательно, и возможности, рассказать его так, как оно этого заслуживает. Продукты Наташе возила наша домработница Тоня. Наташа очень радовалась ей и тайно признавалась, что очень без меня скучает. Вероятно, именно в это лето встретил я на широкой, песчаной улице, идущей к вокзалу, Мусю Малаховскую со своим сынишкой на руках. Она была необыкновенно красива, и прелестен был мальчик, и по дороге, шагая по песку, я был как бы приподнят, возвышен, будто королева со мной милостиво поговорила. Я никогда не был влюблен в нее, но любовался ею суеверно, почтительно. Впрочем, и тут я еще нем, говорить не научился. Впрочем, не обо мне идет речь. В 1935 — 1936 году зима шла беспокойная, шумная, вся связанная с Домом писателей почему-то. Гане почему-то надоел Разлив, она собиралась все куда-то в другое место и в результате не сняла дачу. А мы сняли комнату в Лисьем Носу. И уступили Наташе. Двухэтажная дача, оштукатуренная, желтая, возвышалась за зеленой хвойной изгородью.

1954
29
мая

Три двухэтажные дачи в Лисьем Носу, вправо от полотна, в зеленой изгороди, были немножко потрепаны, средняя находилась в полном порядке. Там и сняли мы комнату. Третья — белая, окруженная густой изгородью из подобранных одна к одной стройных елочек, тесно-тесно, со смирно опущенными ветками — нравилась мне больше всех. Проезжая Сестрорецк, я всегда смотрел в правое окошко на эти три дачи, и все думал, кто там живет. А жили там дачники. И в средней хотели поселиться мы, рядом с Германами — внизу. А верхнюю комнату с балконами заняли Жуковы с дочкой Татой. Кончилось дело, как я уже сказал, тем, что мы там не поселились. Герман тоже бывал там наездами, а жили внизу Людмила Владимировна с Мишей, тогда двухлетним, и с подругой своей, которую мрачно называл Герман Машкой. Машка всем видом своим показывала, что осуждает Юру за то, что он появляется в Лисьем Носу так редко, со столь независимым видом, на собственной машине, в желтых автомобильных перчатках, таинственно счастливый. Но, осуждая, Машка привезла на дачу уйму своих родственников. Жуковы почти не бывали на даче. Во всяком случае, я не встречал их. Или встречал очень редко. Татка жила с какой-то воспитательницей могучего сложения и строгого обращения. И, наконец, в маленькой, нет, впрочем, не слишком маленькой комнатке внизу, рядом с многочисленными

германовскими иждивенцами жили бабушка и Наташа. Шесть лет — возраст переломный. Да нет, Наташе исполнилось уже семь. Впервые в кротчайшем ее характере появилось нечто новое. Она обиделась, когда хозяйские девочки собрали больше черники, чем она, и опрокинула мрачно свое ведерко и пошла домой. Однажды, приехав, застал я Наташу в полном горе: она побила хозяйских девочек, и они отказались с ней играть. И я, после соответствующих объяснений, пошел к хозяйке и склонил девочек к миру. Вскоре узнал я, что плясала она перед ними и пела: "А мой папа-то писатель, а ваш папа не писатель". И тут поговорил я с ней так строго и серьезно, что больше никогда в жизни она это не вспоминала. Не хвастала. И вообще вдруг смягчилась опять ее душа.

1954 30 мая

Побывала у нее мама моя. С папой моим познакомилась Наташа раньше, во время очередной загадочной вспышки температуры он был позван в дом и пришел лечить внучку. До этого и мама, и он в дом не допускались, и однажды я вышел с Наташей в Разливе к поезду, где они ехали, чтобы они хоть взглянули на нее. И когда поезд уже тронулся, папа стал кивать Наташе, со свойственной ему мужественной и достойной повадкой, решительно и мужественно разбивая всю конспирацию. Так и вижу его полуседую, красивую, решительную голову. Сегодня я косноязычен, но делать нечего. Продолжаю. Итак, мама побывала у Наташи и произвела на нее сильное впечатление, убедив Наташу, что умеет колдовать. И стала таинственно вертеть головой, а Наташа, как загипнотизированная, за ней. И мама весело засмеялась, и они остались довольны друг другом, хотя мама дразнила Наташу по непобедимой шелковской привычке. Вот приезжаю я на дачу. Иду по железнодорожному полотну. Наташа встречает меня, вышла на станцию с Людмилой Владимировной, Андрюшей — племянником Людмилы Владимировны. Миша — маленький, хрупкий, в чепчике — у него болело вечно в то лето ухо — у мамы на руках. Он глядит на меня внимательно и внезапно — по выражению лица нельзя было никогда угадать — спрашивает: "Ты по шпалам пришел?" Мы медленно идем к даче, обмениваясь новостями. Все благополучно, к счастью, только Машкина мама болела. На даче застаю я Цимбала, приехавшего навестить племянницу. И в первый раз за все лето идем мы гулять не в лес — к морю. По длиннейшей, ухабистой площади, просеке, хотел я сказать, или дамбе между болотистыми лесными зарослями выходим мы к невеселому берегу и вспоминаем, что где-то здесь

при царе казнили. Жарко. Пыль. Уйма народа — сегодня воскресенье. На обратном пути пьем мы квас в киоске. Нет, клюквенный морс. Татка Жукова смотрит на кружку с жадностью. Я отплевываюсь с отвращением, говорю, что мы пьем лекарство. Наташа спит днем, потому что худенькая, и я пою ей "Травушку-муравушку". К середине дня полна дача гостей. Приехал Юра.



Он привез Юзика Гринберга, которого Наташа упорно называет Музыка, — толстого, старательного, даже как бы виновато добродушного, коротенького, лишенного шеи, живого до суетливости, и Леву Левина, худого, длинного, старательного, даже как бы вызывающе степенного. С Юзиком его жена Лара, черненькая, хорошенькая Лара, не то застенчиво, не то таинственно улыбающаяся. Лева Левин не женат. Юра везет детей кататься. Потом возвращается, и на дачных дорожках, среди высокой травы, за высокой изгородью, за живой зеленой изгородью сегодня многолюдно и весело. Только черная Машка зловеще помалкивает, всем видом своим противоречит, что кончится это худо. И в самом деле, Юра скоро, слишком скоро уезжает и увозит гостей. Провожая меня, Наташа спрашивает робко — будет ли у меня автомобиль. Я холодно отвечаю, что нет. И непривычный тон действует на ее душу просто оглушительно. Она смущается, теряется, угадывает, что это имеет какое-то отношение к ее песенке: "А мой папа-то — писатель", и больше никогда в жизни не пришлось нам разговаривать на эту тему. В августе переехали мы с Катюшей в Александровку, получили комнату в литфондовской даче. Жили там Штейны, и я, зная холодного, нет, ледяного, вечно острящего, но беспощадного, рассеянного, но свирепого Шуру, удивился тому, как хороша его семья. Особенно терпеливая, улыбающаяся мать и брат математик, совсем чистый человек. Его племянник Женя, годом моложе Наташи, бегал за нашим котом по саду и разговаривал с ним на "вы" — так хорошо был воспитан. Он кричал коту: "Веня, куда вы, это я, Женя". Он очень дружил с нами. Когда его спросили: "Кто красивее — твоя мама или Екатерина Ивановна", он подумал и заплакал. На даче ближе к озеру, куда через год с небольшим перебрался Юра Герман с Таней Коварской, подтвердив Машкины мрачные предчувствия: тихо и мирно жили Слонимские. Сережа — нежнейший, огромноглазый и молчаливый, тихо играл в саду. Только Дуся иногда плакала там и шумела, полная вечной неисцелимой тревоги. Мы ходили к Слонимским узенькой улочкой.

1954
1
июня

Эта узенькая, опрятная улочка пряталась среди других, надо было внимательно глядеть, чтобы не пропустить нужный поворот. Посреди пути в маленьком опрятном садике белела чистенькая маленькая дачка П.П.Сойкина — издателя столь в свое время обожаемого мною журнала “Природа и люди”. Фамилия его красовалась на дощечке, хотя его не было в живых. Дачей владел, как говорили, его племянник. Мы шли, говорили о том, как хорошо было бы нам завести дачу где-нибудь в пригороде. И разговор казался игрушечным, как улочка, и дачки, и садики, вроде таких, что устраивают дети, втыкая веточки в песочек. Все было тихо и мирно, и мы и не подозревали, как ужасно будет следующее наше пребывание в Александровке, в зимнем литфондовском домике, да нет, не домике, двухэтажном домище. Впрочем, рассказывать об этом времени не стану никогда. И никогда не привыкну к несчастьям тех дней. Боюсь так писать. Не примирился я с ними и сегодня еще — так будет осторожнее. Любовные горести поэтичны до известного предела. Они стали выносимее в апреле-мае. И начались другие, не менее, если не такие же, тяжелые. И довольно об этом. Мы прожили в Александровке весь август. К Наташе ездил я часто, но к морю гулять с нею мы больше не ходили ни разу. Бродили по лесу, а больше всего любил я выйти с нею на поле, мимо третьей белой дачи. Здесь было сухо, как в степи. Мы брели, не спеша, до маленькой березовой, нет, сосновой рощицы. Две-три березы стояли в сторонке, и эти прогулки вспоминаются послушно и всегда одинаково, как знакомая музыка. Писал я в это время “Красную Шапочку”. Точнее, кончил уже, читал соседям по даче в Александровке. В октябре уехали мы в Сухум, хотя Катя болела так тяжело, каждый месяц не меньше недели, все под морфием. И все же поездка выдалась на редкость счастливая, словно судьба хотела приласкать перед бедами. От Сочи ехали мы на такси, это само по себе уже было чудом. Вот здесь и дорога, и леса, и горы не казались игрушечными. И, как я понимаю теперь, переживал я дорогу не как дегустатор, а как пьяница.

1954
2
июня

Жизнь в Сухуме была очень ясной и сильной, внимание не засыпало, и душа не болела. Часто шли дожди, но небо покрыто было рваными, быстро несущимися облаками. Сидишь на балконе нашей дачи в Александровском ущелье, дождь льет, но не по-осеннему, а по-летнему, облака мчатся над горами, и кажется, что дождь вот-вот пройдет. Да так оно и бывало часто. На крутой горе против нас, заросшей деревьями от подножья до вершины, где краснеют черепицы ка-

кой-то закрытой санатории, — ни единого желтого листика. На берегу бывало прохладно, но чаще жарко, по-летнему. Город невысокий, белый, где южная неряшливость спрятана была пышной зеленью. Как всегда в такие летние путешествия, большую роль в нашей жизни играла почта. То денег ждешь до востребования, то писем. Девица за полукруглым окошечком перебирает пачку писем, и, когда посмотрит половину, перестаешь верить, что есть среди них что-нибудь на твою долю. Впрочем, в то лето все шло гладко, и даже деньги пришли в положенное время. Но огорчали и беспокоили меня письма от Гани. Она и Бабочкины решили отправить Наташу в детскую санаторию в Детском Селе. Зачем? Наташа и без санатории была совершенно здорова. Тем не менее так они и поступили. Перед отъездом пошли мы на рынок, нет, на базар, а это совсем не одно и то же. Южный, сухумский базар широко раскинулся сразу за почтой. В мясном ряду грудами высились перепелки. И похаживали абхазцы с охотничьими соколами. В чувячном ряду сделали мне белые — не то сандалии, не то чувяки с узорными прорезями. Возле фруктового ряда сделали нам ящик, похожий на тот, с которым ходят на эскизы художники, столь же узкий, но раз в пять больший. В нем повезли мы Наташе мандарины. План поставок государству еще не был выполнен, и, строго говоря, вывозить мандарины не разрешалось. Но базар не был строг во всем, что касалось табака или фруктов. Еще зеленые, плотно легли они в наш странный плоский ящик, и в конце октября мы повезли их.

1954
3
июня

Ехали, нет, плыли, нет, шли на теплоходе “Грузия”. Житков так сердился, когда говорили: “плыли на пароходе”, что я теперь путаюсь. “Шли” тоже говорить несвойственно. Было на теплоходе так удобно и вместе беспокойно, что, если говорить откровенно, я не чувствовал себя счастливым. Именно сама каюта “люкс” с гостиной, спальней и ванной не усваивалась. Была вне привычной нашей жизни. В Туапсе мы были, видимо, ночью, не помню я почему-то его. Новороссийск показался незнакомым и почему-то навел тоску. Печально было и в Севастополе. Печальнее всего. Мы вышли купить ремни для нашего нескладного мандаринного чемодана, и в городе погас свет. И здесь в начале ноября стояло еще летнее тепло, вдоль улиц тянулись строем деревья совсем зеленые, но сумерки уже спустились по-осеннему. И вдруг погас свет. Мальчишки кричали и свистели во мгле, кто-то играл на гармонике, стоял обычный южный вечерний утренний (слово “утренний” написано нечаянно, вместо слова “шум”). В магазинах замигали свечи. Тре-

вожно стало на душе, печально и тревожно, сколько я ни успокаивал свою душу. На море было светлее, и к западу море дышало такими цветами, что сосед мой сказал: "Работает божья мельница". Весь теплоход, все пассажиры притихли, столпились у борта, глядели на в самом деле будто вращающиеся краски. Сияющие и мерцающие. Когда увидели мы с моря Одессу, постепенно выступающую из тумана, Катюша чуть не заплакала. Несколько дней прожили мы в гостинице "Красная", и все шло по-одесски лихо и празднично, но в день отъезда Катюша заболела, и в поезде, и в Ленинграде было ей так плохо, что она решилась на операцию. А Наташа все еще была в Детском Селе. И вдруг позвонили оттуда, что и она, и Наташа Бабочкина заболели ветряной оспой. Я взял одеяло и на литфондовской машине вечером отправился забирать дочку домой. Долго блуждали по Детскому Селу. Изгороди, два столба от каких-то ворот и, наконец, еще светящиеся окна здравницы.

1954
4
июня

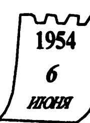
Там дежурная докторша сообщила, что Бабочкины и Ганя решили не везти Наташу, обеих Наташ, оставить их в изоляторе санатории до выздоровления. Я пошел по темному двору среди низеньких длинных одноэтажных корпусов с освещенными окнами. И увидел деревянную избушку и тотчас же по давно выработанной системе подавил тревогу, даже испуг — вот это и был изолятор. Заранее дав согласие оставить дочку, не мог я снова идти и требовать, чтобы ее отпустили. Нет, мне проще было уверить себя, что ничего особенно унылого в изоляторе нет. А когда увидел я за стеклами широкого окна подчеркнуто, нарочито мужественную Наташу, окруженную веселыми девочками, и услышал, как уговаривает она меня не беспокоиться и уверяет, что здесь ей отлично. Был я у нее еще дважды до ее выздоровления. Сыпь на лице ее исчезла. Каждый раз, как я появлялся, и она, и все девочки в изоляторе весело прыгали за окном и уверяли, что им отлично живется. И вот пришел день, когда мы приехали за Наташей. Воспитательница, нет, скорее, заведующая отделением, потому что она была врачом, дала мне Наташину характеристику, где говорилось, что она девочка творческая, придумывает сама новые игры и так далее. И докторша добавила, улыбаясь: "Очень славная девочка. Только одно у нее свойство: начинает плакать разом, без малейшей подготовки. Стоим с ней, разговариваем, вдруг — раз! Рыдает горько. Что такое? Увидела, что на ужин подают колбасу, которую она не любит. С салом". И вот Наташа, повзрослевшая, похудевшая, бледная, вместе с Наташей Бабочкиной усаживается в машину, и

мы едем по шоссе в Ленинград. И девочки наперерыв рассказывают об изоляторе, и мы приходим в ужас. Больных девочек в сущности передоверили санитаркам, которые кричали на них, особенно одна. И они взбунтовались. Обидчица забыла принести диетический ужин девочке, больной колитом, и с той случилось несчастье ночью. И нянька стала кричать и чуть не ударила девочку. И вот тут весь изолятор восстал, и девочки пригрозили, что заявят врачу. Что больную колитом накормили винегретом. И нянька испугалась и попросила прощения.



Я слушал, и ужасался, и поражался. Бунт семилетних девочек, да еще закончившийся победой! И ход, который они придумали: "Перестань обижать больную, а то ..." — и так далее. И дома Наташа удивила. Она стелила кровать самостоятельно, укладывала вещи на стуле так, как научили их в здравнице. И пела множество песен, из которых больше всех нравилась мне "Идет кисынька из кухни — ее глазыньки опухли". Но все она покашливала. И температура держалась. И услышали у нее глубокий бронхит, и Гржибовский, доктор, что вел ее почти с самого рождения, вдруг определил у нее то, чего я боялся больше всего на свете, — порок сердца, появившийся вследствие ангины, перенесенной, когда была она в здравнице. А тут Кате сделали операцию, и я все боялся за нее. Мало сказать — боялся. Так из ясной и полной предчувствий счастья и счастья сухумской жизни я вдруг погрузился в холод и тьму. Все было плохо: не удались картины, снятые по моим сценариям, и были резко обруганы, и эта добавка не произвела на меня никакого впечатления — вот как было мне плохо. С Наташиной болезнью стало поле́гче. Кардиограмма не показала порока сердца. Мы поехали с Наташей в институт, где профессор, посмотрев на результаты снимка, сказал: "Нет у нее никакого порока сердца. Так и будут до восемнадцати лет то находить у нее шум этот, то нет". Поправилась Катя. И тут и разыгрались те беды, о которых не стану рассказывать. Ждать их я не мог. И примириться с ними по-настоящему не могу. А кончились они — пришли другие. В самый разгар этих бед зимой жили мы месяц в Александровке — и, как другой мир, вспоминалось прошлое лето, опрятная улочка. И довольно об этом. Когда мы вернулись с Наташей из института, где ей делали кардиограмму, она немедленно, с помощью тряпочек и веревочек, сделала кардиограмму своей кукле. Ей в те дни немедленно надо было найти выражение для пережитого. Она все рисовала или играла. Дружба наша становилась все тесней. Часто по телефону у меня, даже в самые трудные дни, не хвата-

ло духу сказать: "Я, Наташа, сегодня занят". С бессознательной патетичностью звала она: " Папа, приди!" — и я приходил. И вот дожили мы до лета 1937 года, и мы сняли дачу в Разливе.



Дачи, стоящие на песке, садики, как бы в игре воткнутые все в тот же желтый песок, озерная гладь без течения и без волн, плоские берега — все было и знакомо, и ново — я был теперь дачником тут, а не приезжим. Сняли мы дачу большую. Хозяин, дорожный мастер, был тих и задумчив в трезвом виде и невыносимым пьяным. Впрочем, нас он не обижал. Более того, я его ходил уговаривать и успокаивать, и он слушался иной раз. Была у него тихая дочка лет семнадцати. Она рассказала Кате, что влюбилась в одного тюзовского актера, а тот в нее. Но актер однажды признался, что ему тридцать два года, и всю любовь ее как рукой сдуло. Единственное, что позволял себе хозяин в пьяном виде против нас, — это речи над окурками Катиных папирос, окрашенных на месте прикуса губной помадой. Он вздыхал, и качал головой, и негодовал — красить губы грех, безнравственность. У нас гостила Лида Фельдман. По утрам я делал гимнастику, а Лида повторяла все мои упражнения, желая похудеть. А две соседские маленькие девочки, мои приятельницы, каждое утро прибегавшие в гости, кричали под окном: "Вы уже кончили ломаться?" На этой даче в последний раз увидел я Николая Макаровича. Выйдя из кино, встретили мы его, и я уговорил поехать к нам на машине. Был он озабочен, но и скрытен, как всю жизнь. Все хотел что-то рассказать, да так и не рассказал. Увидел мальчика на дачном балконе и сказал с грустью: "Смотри, читает книжку и смеется!" Утром ходили мы с ним пешком в Сестрорецк, искали подсолнечное масло. Помидоры у нас были, а масло — нет. И нашли. И вечером проводил я его на вокзал, и все. Он исчез из моей жизни, мой страшный друг и враг. Папа вдруг появился однажды, бледный, утомленный. Непривычно медленно шел он по песку к нашей калитке, и я обрадовался, и он заметил это и остался доволен. С тех пор он стал приезжать к нам каждое воскресенье, обедал, отдыхал в гамаке, потом шли мы к Наташе — они сняли дачу на границе Разлива и Тарховки, потом провожал я его к поезду. Тесно, полно — воскресенье. Но вот бледный, седой, но все еще статный папа появляется у окна вагона, кричит, весело смеясь: "Сел!" Памятное лето!



Памятное лето. Я писал сценарий "Айболита" для Союздетфильма. Приезжал режиссер, со всеми видовыми свойствами кинорежиссера — подчеркнуто бодрый, подчеркнуто расторопный.

Вышли мы к поезду. Он увидел обратную машину, чей-то “газик”, подбежал, в два слова договорился с шофером и подмигнул, чтобы я обратил внимание, какой он молодец. Высокий, с небольшой головой, вечно веселый, не имел он никаких взглядов в своем искусстве, никаких пристрастий, кроме видовых (Немоляев — вспомнил я его фамилию). Но с некоторым душевным облегчением встречал я тем не менее каждый его приезд, уж очень он дышал несокрушимой, деловой, киношной простотой. Загорелый, не по возрасту, а по легкомыслию лысеющий, он всем своим существом утверждал, что жизнь продолжается, а это было крайне необходимое напоминание в то лето. Еще писал я, точнее, переделывал для кукольного театра “Красную Шапочку”. Чернил я в Сестрорецке не нашел, а купил какие-то синие таблетки, их заменяющие. С тех пор избегаю самодельных чернил. Памятное лето! Однажды налетел шторм, ураган, небывалый в наших местах. На беду приключилась эта беда в воскресенье (одну “беду”, не будь условия, заключенного с самим собой, я бы вычеркнул). На озере по всему его ровному простору белели паруса яхт. И вдруг небо потемнело. Хлынул дождь. На крыльце дачи увидел я незнакомое черное, маленькое существо — это была Васютка, наша дымчатая кошка, мгновенно промокшая под дождем. Что происходило на озере, мы не видели — скрылись от ливня домой. Любовались только силой ливня, силой грозы и урагана. Очень скоро, не больше, чем через полчаса, все затихло. С озера бежали промокшие до нитки люди. И тут услышали мы, ни за что не желая этому поверить, противясь всей душой, что много яхт погибло, утонуло множество народу. (На другой день это подтвердилось.) Я с тревогой увидел вечно ровное озеро потемневшим, волны ходили по пляжу, где мы утром лежали на солнце. А на другой день совсем уже не верилось, что столько бед стряслось за несколько минут. Сегодня совсем не пишется мне. Все порчу.

1954
8
июня

На другой день все было тихо, еще меньше верилось, что вчера приключилось столько внезапных бед, но где-то в самой глубине души знали мы безнадежно и трезво: страшное лето, ужасное лето. Денежные дела мои шли много лучше, чем когда-нибудь. Шли авторские за несчастные мои киносценарии. Тратили мы все, что зарабатывали, но это было много. Рыбаки носили нам с озера рыбу. Принесли нам однажды судака, подобного которому не видели мы до сих пор. Больше восьми кило. Он тушей лежал на террасе. Кошки наши к нему осторожно подбирались, и вдруг он, словно акула, ударил хвостом, забил-

ся, и кошки в страхе бежали. Приезжали Германы, и мы ходили к ним в Александровку. За новую семью Юра держался крепко, заставил даже Таню бросить ВИЭМ, чтобы всегда была она тут, возле. Дела у него запутались, квартиру он потерял, разведясь, авансов набрал уйму, но жил, как всегда, азартно, и сильно, и счастливо, не глядя под ноги. Сложилось так, что мы являлись друзьями Германа ущербного. Едва расцветали его дела, искал он друзей более легких и соответствующих. Даже в это трудное лето, когда продал он машину и наступило, хоть обманчивое, ощущение расцвета и процветания, пропал он с глаз долой, так что мы даже испугались и пошли узнать, не заболел ли он. Но все оказалось благополучно — просто они уехали на дачу к киношникам, у которых был выстроен целый дачный городок в Лисьем Носу. Строился он по эскизам какого-то фабричного художника. Из материалов особенно ощущалась фанера. В архитектурном решении поражали странные полукруглые козырьки над фасадом. А больше всего походили эти дачи на огромные пивные ларьки, что, впрочем, утверждали и сами киношники. Вот в этот поселок и отправился наш Юра, когда дела его поправились. Памятны мне вечера в то лето. Ложились мы спать поздно. Очень поздно. И перед сном выходил я и бродил, бродил в тревоге по песчаной нашей улице. На душе было тревожно. Несмотря на поздний час, машины пробирались по песку, по улицам от вокзала. Утром не верилось, не все время верилось в дурное. Позавтракав, шли мы к озеру.



Мимо игрушечных, прямо в песок воткнутых садиков за невысокими заборами, мимо дач, с балкончиками под крутыми крышами, где жильцы верхних, дешевых комнат и возились у крошечных столиков и загорали, выходили мы к озеру. Дети в Разливе бегали по песку босиком. И меня мучили осколки стекла, все больше бутылочного, то сверкающие, то зеленевшие на солнце. И я, как и в прежние свои приезды, в течение всех этих лет собирал их, укладывал под самыми заборами. Это было проявление все того же неизменного беспокойства за Наташу. Что бы я ни переживал в те годы, Наташа занимала свое место, и удивляла, и утешала, и беспокоила, и все это до самой глубины. Исполнилось Наташе в этом году восемь лет — по тогдашним правилам осенью можно было вести ее в первый класс. Сняли они в том году верхний этаж просторной дачи. Во дворе — пять-шесть сосен, к стволам которых отдыхающие приспособили гамаки и качели. Наискось, в глубине, в лесу, несколько более частом, стояла дача необычной постройки с

длинным балконом во всю длину первого этажа, с перилами из положеных вдоль цельных и толстых бревен. Рассказывали, что это дача художника Бродского, построенная по его проекту. Вообще в больших дачах на границе Разлива и Тарховки народ жил все больше зажиточный, знающий себе цену. Низ той дачи, где жила Наташа, занимал заведующий каким-то универмагом, и Наташа все восхищалась куклой, что привез он дочери в подарок. Это была огромная целлулоидная кукла, с глазами не только закрывающимися, но еще и вращающимися. На меня это произвело впечатление жутковатое, а Наташе нравилось ужасно. До самой войны мы пытались купить такую куклу, но все опаздывали. В свои восемь лет была Наташа девочкой стройной, ладной, все по-прежнему огромноглазой, по-прежнему все думающей, воображающей, соображающей. Особенно важные разговоры завязывались у нас вечерами, когда укладывалась Наташа спать и просила: “Ну еще немного, ну полминуточки, ну пять минуточек посиди со мной”. И я соглашался и все удивлялся: когда же это Наташа успела вырасти?

1954
10
июня

Появление новых мыслей и новых чувств до пятнадцати, шестнадцати лет не мешает у девочек существованию старых. А у мальчиков они, бывает, так и существуют с жизненным опытом до самой старости и смерти. Именно это однажды остро почувствовал я в дачном поезде, когда седые, озабоченные, трезвые колхозницы показались мне единственными взрослыми в вагоне рядом с возбужденными, выпившими, позирующими, нет, играющими различные многозначительные и многомудрые ролишки мужьями. Впрочем, это другой вопрос. А Наташа в то памятное лето, соединявшее в себе две как бы противоположные стихии — тучи, нависшие, и угрожающие, и не дающие дышать, с бушующей уже бурей, но не освежающей и не разрешающей, Наташа, повторяю, была единственной силой чистой и ясной. Она размышляла вечерами, а я любовался удивительным зрелищем растущего человеческого сознания. Вот она сообщает, удивляясь: “Папа, все, что я делаю, — это только один раз”. — “Как так?” — “А больше этого никогда не будет. Вот провела я рукой. А если опять проведу — это будет второй раз. И мы с тобой никогда больше не будем сидеть. Потому что это будет завтра, а сегодня больше никогда не будет?” И она глядит на меня, широко раскрыв огромные свои глазищи, испуганная и очарованная, как страшной сказкой, своим открытием. В те же месяцы стала она молиться или говорить заклинания — не могу найти определения. Лишенная всякого религиозно-

го воспитания, в то лето создавала она собственную религию. Я заметил, что шепчет она что-то, готовясь уже уснуть. Она долго не хотела признаться, объяснить, что именно. Наконец узнал я, что однажды, засыпая, мечтала она о чем-то, что могло сбыться или не сбыться на следующий день. Не помню, что именно. И сказала: “Хочу, чтобы это сбылось. Да. Да” — и так и вышло. С тех пор Наташа говорила шепотом неведомому существу, не названному, но бессознательно предполагаемому: “Хочу того-то и того-то”. Следовал длинный перечень желаний и сильно разросшееся заклинание. Из него я запомнил только самый конец, который запишу, вероятно, завтра.



Кончала свои заклинания Наташа следующим образом: “Да. Да! (вдыхая воздух сквозь зубы) фф-да, ф-ф-ф-да! Вот уже в дороге, вот уже пришло, вот уже в дороге, вот уже пришло”. Но все ее философические и мистические переживания, ее рост, и восьмилетний возраст оставили в неприкосновенности любовь ее к большим куклам, игрой в которые она отводила душу, отвечала на все события, задевшие ее душу. Отчаянно и внезапно на старый лад ссорилась она и мирилась разом с Наташей Бабочкиной. Вот идем мы, взрослые, впереди, а две Наташи, держась за руки, мирно беседуют с дедом. Вдруг слух наш поражают визг, шлепки, рыдания. Что за ужасы! Подруги в несколько мгновений не только поссорились, но и подрались. Из-за чего? И моя Наташа объясняет, рыдая, что Наташа Бабочкина обвинила ее во лжи. “Я ей говорю: “Под салютом всех вождей”, а она все равно не верит”. Клятва эта, распространившаяся среди всех знакомых детей в то лето, считалась чем-то вроде торжественной присяги. Произносили ее, подняв руку для салюта. Нарушить ее считалось позором, вот почему оскорбилась Наташа и завязался бой. Но едва мы успеваем вмешаться, как мир восстанавливается сам собой. Очень нравились мне отношения, установившиеся у Наташи с дедушкой. Дом у нас был неласковый до суровости. А Наташа обнимала деда за шею, похлопывала ласково, даже покровительственно по щеке — никто из нас не решился бы в детстве на сотую долю подобной вольности. И папа очень был доволен. Он все мечтал о дочке и вот дождался внучки. И она так радовалась каждому его приходу, так доверчиво посвящала его вовсе свои дела и заботы, так ласкалась к нему, что папа привязался к ней глубоко и при первой тревоге появлялся лечить и утешать. И вот это памятное лето пришло к концу. Кончились наши поездки на автобусах, остановка которых была на Михайловской площади, на углу, там, где дом, примыкающий к театру. На углу Ракова. Ожидание,

полное тревоги, и вечный страх, что автобус испортится в дороге, неведомо чем, видимо, тревогой всепроникающей вызванный страх. И автобус и в самом деле остановился однажды в Новой Деревне, и у следующего была свалка, от которой я уклонился.

1954
12
июня

Кончилось это последнее, дошкольное лето Наташиной жизни. Много волнений пережито было с выбором школы, с записью Наташи в первый класс. Лучшая, образцовая школа помещалась где-то на Гагаринской, но для этого пришлось бы Наташе по пути туда переходить через улицу. Ближайшая школа помещалась на Моховой. По пути туда не было надобности переходить через дорогу, достаточно было с Литейного повернуть на Пантелеймоновскую и выйти, нет, не выйти, а еще раз повернуть на Моховую. Торжественный день все приближался. На предварительных встречах с родителями говорилось, что они проводят детей до дверей класса, во всяком случае, так поняла Ганя. И вот 1 сентября я пошел провожать Наташу в 14 школу Дзержинского района, на Моховой улице. Наташа была бледна, рассеянна, готова одинаково и к испугу и к восторгу. Мы прошли до угла, до знакомого кондитерского магазина и свернули на Пестеля. В знакомом гастрономе поглядели в витринные стекла, чтобы Наташа полюбовалась своим новым, праздничным школьным платьем. Но погляделась Наташа в это прозрачное зеркало рассеянно, поглощенная будущим, к которому мы и двинулись. У ларька на углу свернули мы на Моховую. Вошли в сводчатый, с лепными розетками по сводам, тоннель ворот. Шум оглушил нас — старшеклассники гоняли мяч во втором дворе. Там же, во втором дворе, у трехстворчатых стеклянных дверей в школу толпились родители с новичками. Дежурная учительница сказала приветливо, но решительно: “Попрощайся с папой, девочка, он зайдет за тобой после занятий”. Этого мы не ждали. Наташа надеялась, что я провожу ее до дверей класса. Она заплакала, обняла меня судорожно, но сразу же овладела собой, сделала храброе, даже отчаянное лицо и, словно в бой, решительно вступила в школьные двери. И я почувствовал до самой глубины всю значительность этого события. Зашел я за Наташей рано, боясь, что испугается она, не найдя меня в вестибюле.

1954
13
июня

Я пришел первым. Немного погодя появилась няня с кошелкой. В ней желтел батон, белели мешочки. Няня по дороге зашла в магазины. До конца занятий оставалось еще минут двадцать. Пахло известкой и краской после недавнего летнего ре-

монта, знакомый запах первого дня занятий. Стояла особая, тоже никак не забытая, неполная тишина школьных коридоров, то и дело нарушаемая. То пробежит кто-то, скользя по полу коридоров, как по льду. Они только что натерты. И вдали стукнет дверь. Это кто-нибудь отпросился из класса, не столько по необходимости, сколько устав сидеть неподвижно. Вот целый взрыв криков, как бы затушеванный и быстро обрывающийся. Старшеклассники развеселились не в меру, и учитель усмирил их быстро. Вот, словно сонное бормотанье, — кто-то читает вслух. Все издавна, с детских лет, понятно до самой глубины, понятны и вешалки в низком сводчатом коридоре направо, с целыми рядами еще летних пальто самых разных размеров, с гардеробщицей, задремавшей у перил, понятны круглые часы над лестницей, расписания за стеклом в деревянных рамках. Школа снова приблизилась, вошла в мою жизнь, снова огорчаться мне и радоваться школьным событиям и отметкам и волноваться в дни экзаменов. Скамейки давно заполнились. Кроме меня и незнакомой няни с покупками теперь подошли еще отцы, и няни, и матери. По старой привычке я ждал такого же звонка, как в майкопском реальном училище. Там Трофим, по прозвищу Ежик, маленький, светленький, с прической ежиком, брал с полки колокол, довольно изрядного размера, четверти полторы в высоту. Одной рукой держал он его на весу, другой дергал за увесистый язычок, и частый звон наполнял оба этажа училища. А теперь уборщица, или сторожиха, подошла к стене и нажала черную кнопку электрического звонка. И в ответ на резкий его звон захлопали двери, зашумели, заревели коридоры. Мимо нас, вихрем слетев с крутой лестницы, промчались старшеклассники, человек десять.

1954 14 июня

Это были самые отчаянные. Они вовсе не так уж спешили домой. Для них наслаждением было нарушить закон, подвигом — не послушаться. Затем увидели мы директора, задержавшего последних из беглецов. Он отчитал их громко и строго, и они поплелись обратно. И мы услышали мерный и легкий топот и шелест и увидели идущих вниз первоклассников и первоклассниц. Для них-то наслаждением являлось послушание, новостью — подчинение школьным законам. Они сияли праздничным светом первого, ничем не омраченного дня занятий. Так шли они по школьной лестнице, парами, но вдруг увидели нас, вставших им навстречу родителей. И нарушился разом весь новый порядок — дети, все забыв, бросились к нам — правда, для того, чтобы скорей-скорей рассказать об удивительных событиях, пережитых с утра.

И среди них — Наташа, совсем не похожая на ту, что заплакала, судорожно обняв меня у школьной двери. Она была такой же праздничной, сияла, как все первоклассники... И мы пошли домой, переполненные впечатлениями школы, так близко вошедшей в нашу жизнь. В знакомой кондитерской на углу Литейного купили мы торт, чтобы день стал совсем уж праздничным. Так и кончилась дошкольная полоса Наташиной жизни и началась десятилетняя школьная, о которой рассказывать не берусь. Если первые годы на взгляд мало чем отличались от дошкольных, то потом завязались такие сложности, что не передать. Когда вспоминаешь, то часть отборочной работы делает за тебя память. Кроме того, я, вспоминая, отбирал, как всегда, в тревожные дни самое радостное и успокаивающее. Летнее. И радовался.

1954
15
июня

Кончил вчера тетрадь, в которой рассказал о Наташе дошкольных ее лет. Чтобы не путаться в обилии воспоминаний и чтобы радоваться и удивляться, рассказывал я в основном о летних, дачных днях моей жизни. Рассчитываю я, что мои тетрадки прочтутся? Нет. Моя нездоровая скромность, доходящая до мании ничтожества, и думать об этом не велит. И все же стараюсь я быть понятым, истовым, как верующий, когда молится. Он не смеет верить, что всякая его молитва дойдет, но на молитве он по меньшей мере благопристоен и старается быть правдивым.

1954
18
июня

В [19]35 году я, Герман, Лева Левин, Саянов, Штейн, Горев поехали бригадой в Грузию. Эта поездка вовсе не вспоминается как счастливая — я никогда не мог освободиться от зависимости от людей, от спутников, а тут они подобрались сложные, беспокойные. И если Герман, Левин и даже Штейн были понятны и чаще легки, то Горев и в особенности Саянов делали все возможное, чтобы существом своим самым отравить радость путешествия. И если у Горева бывали минуты просвета и за всей истеричностью угадывался просто больной, то оставался Саянов. Эта здоровая, но в высшей степени беспокойная и обидчивая свинья просто заполняла весь воздух. Молчать он не умел. В лучшем случае — цитировал классиков, читал их стихи о Кавказе, полудекламируя, полузавывая. Рука — на борту автобуса, беспокойные свиные глазки впились в собеседника, чтобы поймать и занести себе в приход одобрение. Что ему Кавказ и классики! Ему подавай одно: удивляйся, народ, памяти и тонким чувствам Виссариона Саянова. Из этих же сообра-

жений чуть что добывал он из недр своих похожую на него, объемистую и неряшливую записную книжку и заносил в нее бесстыдно свои впечатления и наблюдения. Казалось, что в прошлом он совершил некую гадость, которая жжет его, и он все доказывает, доказывает, что он, честное слово, не мог совершить ничего подобного. Поэтому любил он рассказывать, особенно людям повлиятельнее, истории, построенные примерно одинаково. Грудным голосом, с покоряющей искренностью начинал он так: "Один мой товарищ, не буду называть его фамилии, сказал..." — далее следовало то, что сказал один товарищ. Нечто крайне ошибочное. "А я ему" — и дальше следовал ответ, просто потрясающий своей правильностью, выдержанностью, даже благородством. Жил он жадно, продираясь всей тушей вперед, к желудям, но при всем при этом, при грудном голосе и мягких интонациях и жадности к еде, — был он зол не по-свински. До этой поездки я был к нему равнодушен. Но тут ужаснулся.

1954
19
июня

Злоба его была не свинской, а бабьей, мелочной, неутолимой, и, когда эта страсть разгорелась в нем во всем неподобии, радость от поездки совсем затуманилась. Горев закатывал истерики, за которыми всякий видел слабость, душевную хромоту, в Саянове же ощущалась тяжесть всей его туши, враждебная, упорная. Бесы, видимо, не утеряли склонность к свиньям. И если не в нем, то возле угадывался таковой. И "тот" защищал своего подопечного. Однажды, уже в Тбилиси, я указал Саянову, что у него расстегнуты штаны. Он побагровел от злобы, поправил изъян в туалете, и неистовые, нечистые силы его и вокруг него пришли в движение. И, торжествуя, указал мне, что брюки мои вдруг поползли, разъехались позади. Объяснялось это просто — прачка не пожалела отжевели. Но почему сказалось это на мне через двадцать минут после того, как я задел Саянова? Мелкий и наглый бес, опекающий Витю, не скрываясь, обнаружился. Впрочем, так оно выходит сказочнее и значительнее, чем в действительности. В Саянове же бушевали бабьи силы, будничные, беспросветные. И довольно о нем. Шура Штейн походил на нехорошего мальчика, в силу этого рассеянного, преждевременно вытянувшегося, с нездоровой кожей. Но за этим таился в нем недобрый и знающий, чего хочет, дух, посильнее саяновского. Саянов действовал, как шоссейный каток, одаренный способностью обижаться и злиться. Штейн же был — как бы это сказать — подколоднее. Витя был злобен, а Штейн жесток. Но, кроме того, весел. И способен любить своих: мать, брата, сестру. И обладал юмором. Жестокость и все виды ядов держал он до

времени в глубине. А свойственно человеку не вполне верить в то, что он не видит. И я не верил достаточно отчетливо и в то, что знал о Штейне. И он не мешал радоваться пути. Лева Левин, тоже вытянувшийся мальчик, в отличие от Штейна в тот период жизни имел душу уязвимую, нежную, но вполне достойную. Когда он цитировал стихи, то это было всегда кстати. До сих пор, точнее, с тех пор, когда слышу или читаю: “Выхожу один я на дорогу”, то вижу я неширокую каменистую дорогу над станицей Казбек, куда вышли мы погулять в тумане, поздно ночью.

1954 20 июня

Стоял туман не настолько густой, чтобы скрыть звезды. И когда Лева Левин прочел только первые строки стихотворения, остальные ожили сами собой в полной тишине. Поездка наша не ладилась с первых дней. Отцепили мягкий вагон, который заболел где-то, не доезжая Армавира, а нас пересадили в общий. Кто-то из нас крикнул остальным с горечью: “В сидячий вагон перевели”, а какой-то озлобленной пассажирке послышалось: “в телячий”. И она пилила нас, отводила душу до самой ночи. Во Владикавказе узнали мы, что Терек вышел из берегов и у станции Казбек разрушено шоссе и снесен мост. Несколько дождливых и унылых дней провели мы в городе, пока в такой же унылый и дождливый день не усадили нас в переполненный открытый, затянутый тентом автобус и не повезли по дороге, близкой моей душе с самого детства, но все по рассказам. Впервые я увидел, и узнал, и почувствовал, особенно по сходству с Краснополянским шоссе, Военно-Грузинскую дорогу. Открывалась она неохотно, сквозь дождь и низкие облака, но вот, словно против воли, выглянуло солнце. Доехали мы как раз до башни царицы Тамары. Дальше пути не было. Через Терек устроили тут подобие подвесной, проволочной дороги. Пассажиров по одному усаживали на деревянную площадку или, точнее, люльку, и колесико с визгом приходило в движение, несло, катясь по проволоке, подвешенных к нему путников. И я вспомнил рассказ Марии Александровны Истамановой, как, вероятно, на этом же месте переправлялась она точно таким же образом через Терек с Василием Соломоновичем. Первым переправился он с маленьким Жоржиком на руках, а Мария Александровна глядела с тоской и думала: “Если проволока оборвется, я потеряю самое дорогое, что у меня есть на свете”. Переправились и мы, причем Витя Саянов — два раза. Не ради сильных ощущений, Терека, чувства полета, а ради нас грешных. Во всяком случае, глядел он, вися над рекой, только в нашу сторону, торжествуя, усмехаясь и сверкая очками. Тут я подумал, что судьба, может быть,

вовсе не против нас. Мы видим дорогу с необычной, небывалой стороны, проходим мимо настоящей, древней, такой, как представлялись башни в детстве.



По той стороне, которую проезжающие только видят, по кремнистым дорожкам цепочкой, с чемоданами в руках двинулись мы к станции Казбек. Она показалась темной и незначительной после стольких дней ожидания. Увидели мы разрушенный мост и груды камней, и вошли в селение, с противоположной обычному пути стороны, проселочной дорогой по неширокому деревянному мосту. Вправо светились уже окна духана, тоже невысокого и бедного. Дождь снова заморосил, как вечно случается в горах. Казбек до половины закрыт был плотной пеленою туч, и так мы его и не увидели за все три-четыре дня, что прожили тут, ожидая автобусов из Тбилиси. Нам отвели комнату в семье местного молодого писателя, и, уезжая, не заплатили мы за нее — Горев, который в Грузии до этого не бывал, заявил решительно, многозначительно улыбаясь, что местные обычаи таковы. Попытка заплатить обидит хозяев. По целому ряду признаков я не сомневался в обратном. И, когда мы уселись в автобус наконец, я был неспокоен и отуманен. Встреча с грузинскими писателями, Гольцевым, Антокольским, состоявшаяся в низеньком бедном духане, до удивления чужом и хмуром в тот вечер, дом князя Казбека с трагическим памятником трем его сыновьям, погибшим в войне [19]14 года, облака, неприязненно скрывавшие горы, все огорчало меня и то, что мелкие и крупные впечатления тех дней тревожили, вызывали желание оправдываться, чего я не любил за собой. Огорчало меня и то, что одному из нашей бригады места в автобусе не хватило, и Герман заявил, что любит невинно пострадать и решил ждать следующей машины. Итак, мы уселись в черный открытый автобус со светлым парусиновым тентом, но машина все не заводилась, и худой шофер в нижней рубашке не глядел на нас, будто мы этому причиной. Я написал: черный открытый автобус, а следовало написать: потрепанный и ненадежный. По одну сторону машины стоял, улыбаясь, Герман, а возле Горева, положив руку на борт машины, — молодой писатель, которому мы не заплатили за квартиру. И я видел явно, что хочет он что-то сказать нам, но не решается. Но вот мотор застучал наконец, сердитый шофер вскочил в кабину, и мы, сотрясаясь, выползли на шоссе, и хмурые дни, проведенные на станции Казбек, стали отходить в прошлое, освобождая душу. Облака таяли. Жара все росла. Пыль вставала из-под колес. Кузнечики пилили в траве.

1954
22
июня

Если бы машина не останавливалась каждые десять километров, если бы я не боялся, что мы вернемся на станцию, если бы не преследовала мысль, что это я виноват в том, что Герман остался, хотя и тени моей вины тут не имелось, — то наступило бы то успокоение, освобождение, ради которого и отправился я в путешествие. Грузины, как мне потом объяснили, отличные шоферы и плохие механики. И когда мотор наш подчинился наконец усилиям тощего остроносого брюнета в ночной рубашке, заправленной в серые штаны, то он, брюнет, значительно повеселел и смягчился. А с ним — и мы все. Вскоре обогнал нас щеголеватый автобус со щеголеватыми интуристами на диванчиках, а рядом с шофером сидел, улыбаясь, Герман и махал нам ручкой. И дорожное счастье вступило в свои права. Крестовый перевал с резким, трезвым, горным миром вокруг и с остро ощущаемой южной и мягкой долинной жизнью у подножья. Это было ново, еще не переживалось. Автор угадывался, но этой его музыки я еще не слыхал. Чтобы вникнуть в нее, требовался больший душевный покой и ясность душевная, невозможная в кругу столь сложных спутников. Автобус остановился, мы столпились у обрыва, глядели на просторную-просторную голубоватую долину глубоко, глубоко, далеко внизу. И двинулись виражами вниз, и на одном из поворотов мы словно границу переехали — мягкий, душистый садовый воздух сменил суровый горный. Да, все, что рассказывалось о Военно-Грузинской дороге, оказалось правдой, но я чувствовал потребность еще раз, не спеша, пережить ее. Проспект Руставели горел вечерними огнями в киосках с водами Лагидзе, над входами в духаны, над кинотеатрами. Несмотря на будни, казалось, что сегодня народное гуляние. Русская речь исчезла. Проспект шумел по-грузински. Возле гостиницы “Интурист” встретил нас довольный, спокойный, гладко выбритый Герман. Так начался месяц путешествий по Грузии. Союз писателей помещался в особняке, совсем восточном, не утратившем вид жилья богатой, вероятно купеческой, семьи. Деревянная терраса, увитая виноградом, выходила в сад. Тут мы и встретились с грузинскими писателями. Попробую передать сложные ощущения от знакомства с ними. Да. Юг богат, пышен, но и вреден. Ядовит. Тут тебе и малярия и дизентерия.

1954
23
июня

Новые знакомые с их вежливостью, даже ласковостью, с их строгим соблюдением застольных правил, с вечной улыбкой, как будто и легкие и доступные, вместе с тем все ускользали, едва ты старался их понять. Особенно когда я делал обычную ошибку —

старался поставить себя на их место. Для меня действительно было бы трудно держаться не просто, как бы принимая все время гостей. Я сбежал бы. Впрочем, и они порывались, бывало. Надо было проделать довольно сложную работу: понять, что люди эти настолько отличаются от меня, что ставить себя на их место не следует. Привыкнуть к этому. И смотреть снова. И тут они стали бы понятны, а черты, разлучающие нас, — второстепенны. Проще говоря, чтобы понять наших новых знакомых, грузинских писателей, надо было пожить в Грузии подольше. Впрочем, завлит грузинской киностудии, точнее, кинофабрики (так называлась она в тридцать пятом году), жаловался, что через полгода он решил, что понял наконец отношения между деятелями разных искусств Тбилиси. Оказалось, что он ничего еще не понял. Он утверждал, что народ тут сплошь обидчивый, мнительный, полный недоверия друг к другу. При всей веселости грузинское воображение направлялось в сторону мрачную и темную, так что кроме обид, действительно причиненных, мучили их воображаемые. Вчерашний друг, проведя бессонную ночь, просыпался, нет, выходил из дому твоим смертельным врагом. Вот он, вот южный яд, скрывающийся под пышностью. Поразили меня очереди, точнее, особенность местных очередей. Мужчины и женщины стояли отдельно. Иначе нельзя было при здешней простоте чувств. А они здесь были просты. При всем богатстве любовных песен и стихов крайне просты. И я вспомнил открытки, которые в Майкопе приносили любители в класс и где мужчины сплошь имели резко выраженный склад лица. Мы любили подсмеиваться над восточными людьми и рассказывать о них анекдоты. Мы поддавались обычной ошибке: если человек не умеет говорить как следует по-русски, что, с нашей точки зрения, было уж проще простого, то значит, он глуповат. Тут, в Грузии, восточные люди являлись хозяевами и прежде всего никак не казались глуповатыми. Вокруг цвела их страна, с развалинами замков, с древней историей, песнями.

1954
24
июня

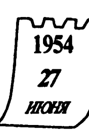
Тбилиси жил шумно и до того не на привычный лад, что тогдашний корреспондент "Правды" пришел к нам в номер жаловаться. Под окнами нашей гостиницы на площади Федерации, как называлась она в те годы, до поздней ночи в маленьком садике-ресторане шумели посетители. Они обедали и ужинали истово, с соблюдением всех застольных обычаев, и их шум не переходил за известные пределы, но и не умолкал. Иногда пирующие пели вполне пристойно на много голосов. И корреспондент негодовал: это все заведующие раз-

личными учреждениями, директора трестов со своими ближайшими сотрудниками. Все пируют. Когда же они работают? Жаловался, что встретил в ресторане директора, получившего недавно восемь лет. Каким образом? Кто отпустил? И откуда у них у всех деньги? Кондуктора в автобусах ругаются, и весь автобус их поддерживает, если потребуешь сдачи с рубля. Платят рубль за любой конец! Сердитый, осуждающий, отощавший от жары, малярии, всей сложности тбилисской жизни, стоял он у окна, а пирующие с пристойным шумом наслаждались под окнами жизнью. И мы обедали в садике.

1954
25
июня

С деньгами у нас у всех было туго, суточные и командировочные таяли с обидной в дороге быстротой, и неясным являлось — гости мы Союза писателей или существуем сами по себе. В первом случае грузинские писатели должны были кормить нас. До сих пор так оно и делалось — приезжих принимали широко. Но в это лето Союз прижали денежно. Очень вежливый представитель Союза или Литфонда, не помню сейчас, в канотье, невозможном в Ленинграде, но вполне уместном в Тбилиси, то появлялся в нашем номере в обеденное время, то исчезал. В первом случае с той степенью вежливости, которая нам явно не причиталась и тем самым вызывала недоверие, приглашал он, горячо приветствуя и холодновато поглядывая, всех нас спуститься в ресторанный садик и пообедать с ним. И мы, предводительствуемые товарищем Кешилавой, — так звали представителя Союза, — спускались из жаркого номера в столь же почти замерший и не дышащий от зноя садик. Чувство неловкости подавлял я, спускаясь по небогатым гостиничным лестницам, рассуждениями, что так полагается, что эта часть моих командировочных, что все идут и так далее. Мы занимали одну из открытых беседок. Тесно примыкая к ним, поблескивал бассейн, посреди которого бил невысокий фонтан. В бассейне плавала живая рыба. Время от времени появлялся повар в белом колпаке, неся в руках сачок с неоправданно длинной рукояткой. Он вылавливал из бассейна рыбу, показывал заказавшему и уносил в кухонные недра, о которых и подумать страшно было в такую жару. Впрочем, вино подавали во льду, боржом тоже, кормили вкусно, и ели мы не по погоде. Подавали кушанья с затеями. Например, бифштекс. На медном блюде— пылающие угольки. На них — второе металлическое блюдо, где ворчал, дожариваясь на твоих глазах, заказанный тобой кусок мяса. В тесном садике, в многочисленных духанах, в гостинице “Интуриста” город пировал, Тбилиси, не срываясь, радовался жизни. Иногда на обедах

появлялся ладный, смуглый, сосредоточенно-жизнерадостный Паоло Яшвили и томный от полноты, барственно милостивый Тициан Табидзе. Яшвили был внимательнее к нам, проще держался, не прятался в зарослях вежливости, как многие другие представители Союза. Прост был и Табидзе по величественности своей.



С неделю прожили мы в Тбилиси, потом Штейн и Горев были приняты в ЦК у самого секретаря и пришли оттуда сдержанно оживленные, таинственные, приятно удивленные. Очевидно, приняли их лучше, чем они ждали. Выработан был точный маршрут наших путешествий. Решено было, что ездить мы будем налегке, оставляя чемоданы свои в гостинице. Так мы и сделали. Купили ручные чемоданчики. Мой прижился. Я до сих пор езжу с ним в город и очень к нему привык. И он, хоть пообтерся боками и потерял одну боковую застежку, служил вполне исправно. Через девятнадцать лет с этими чемоданчиками съездили мы в Боржоми, Гори, Самтреди, Кутаиси, Поти, Батуми, возвращаясь время от времени на жаркую, бездыханную свою базу. Спутником нашим, точнее, проводником нашим, был молодой драматург — Карло Каладзе. И не проводником он был, а как бы разъездным, гостеприимным хозяином. Начались поездки наши ранним утром, непривычно ранним утром, как свойственно это настоящим путешествиям. И утро было ясное, и как в ленинградские летние дни вдруг чувствуешь острый холодок, напоминание о сущности климата, здесь в утренней прохладе угадывался готовый вот-вот проснуться зной. Дачный поезд бежал бойко, но станции не давали ему разбежаться. Мы все останавливались у платформ, которые кипели, несмотря на ранний час и будний день, пестрели веселой, праздничной толпой. “Цхали-и!”, “Вашли” — орали мальчишки, продавцы с холодной водой и грушами. Кричали, расставаясь или встречаясь, не то целые кланы, не то просто друзья-приятели. Тут, как и на проспекте Руставели, стояли у стен или прохаживаясь с достоинством ладные, слишком ладные щеголи, насквозь пропитанные сознанием своей красоты. Одеты они были то на южнорусский безудержно элегантный лад — с галстуками, с платочками в боковом карманчике, то по-кавказски — в черкесках белых, кремовых, с шапками набекрень. Девушки, как часто на юге, были в массе своей кубастенькие: коротконожки, излишне широкоплечие. Но попадались и настоящие невесты: стройные, все в белом, глаза опущены. Тут сознание своей значительности внушало и мне уважение и не казалось излишним. Жизнь, не то бурная, не то несдержанная, так и бросалась в глаза.

1954 28 июня

Жизнь, не то бурная, не то несдержанная (и то в горячности грузинской иной раз чувствовалась только форма), кипела и на станции и в вагонах. И становилась она все более и более зарубежной, к чему я не был подготовлен. Меня это и веселило и смущало: уж очень были мы в этой жизни ни к чему. И здесь, как на берегу Терека, увидели мы башни и замки в развалинах вдали — но все те же самые, такие самые, о которых читали мы в детстве. И расположены они были, как подобает замкам,— на скалах да на горах. И легенды были, у одного, правда, на легкомысленный лад. Я спросил у Карло Каладзе, как называется замок, стоящий на крутом, обрывистом холме. Карло Каладзе усмехнулся и задал тот же вопрос старику грузину, сидящему напротив. Тот совсем уж рассмеялся и долго не мог успокоиться. И через две станции все улыбался, правда, станции попадались то и дело. Оказывается, носил замок имя весьма непристойное. Слово это крикнул осаждающим князь в ответ на предложение сдаться. В Боржоми приехали мы к вечеру. Узкая полоска земли среди гор подействовала на нашего психического. На Яшу Горева. И он начал лечиться при помощи длительной истерики. Он был всем недоволен: и планом поездки, и нашим веселым спутником, и всеми нами. Я наконец плюнул и вышел из гостиницы. И обычное чувство нереальности происходящего охватило меня. Сейчас, чтобы точнее вспомнить поездку, разыскал я свои письма того времени — и ужаснулся глухонемоте и косноязычию тех дней. И не в том дело, что я не умел писать. Я был приглушен, оглушен множеством впечатлений. И заранее зная, что по ряду причин я не решусь найти им выражение. Я писал, что друзья, с которыми я еду, — легкие и простые люди. Веселые. И со всеми ними установились прекрасные отношения. Да уж. Все было сложно и либо чуждо, либо непонятно. Замки радовали. Погода. Юг. Но принимали нас с честью. Надо, видимо, иметь особый комплекс, хлестаковский, чтобы принимать все эти почести как должное. Секретарь райкома повез нас в Бакуриани.

1954 29 июня

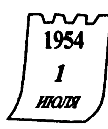
Грузинские писатели принимали не нас одних. Мне трудно сейчас вспомнить, какими причинами была встречена, не встречена, а вызвана кавалькада или кортеж, попавшийся нам навстречу и объединившийся с нами на несколько часов. Вернее всего, что именно здесь мы впервые встретились с Вильдраком и Люк Дюртеном и их женами. У Люка Дюртена жена была благообразна, подтянута, весела. Сам же Дюртен, высокий, мешковатый, лысеющий, все задумывался, опустив плечи, расставив ноги, устремив свои светлые глаза в про-

странство. Я уважал его за то, что он хирург. Вильдрак, с носом, покрасневшим и облупленным, с черной бородкой и добродушным выражением, — нравился мне сам по себе. Жена его, сестра Дюамеля, была знакомого типа всеми недовольных, очень некрасивых хозяек. Говорили, что у нее антикварная лавка и виноградники где-то на юге Франции. Кавалькада или кортеж, состоящий, впрочем, из "газиков", выносливых, терпеливых, выносящих даже лихачей шоферов, побежала в Бакуриани. Кто-то из грузин вспомнил Георгия Саакадзе, и опять удивился я близости восточной средневековой Грузии к западу. Кажется, где-то здесь, в горах, возле Боржоми он не то дал бой туркам, не то, придя с персами, перешел к своим. Рассказывали о его мировой славе, о том, как звали его во Флоренцию или Венецию военачальником, рассказывали горячо, любовно. На какой-то поляне мы остановились. Весь кортеж. Там уже горели костры, и я впервые увидел, как, нанизав кусочки баранины на прутья какого-то дерева, жарят шашлыки прямо в пламени костра. Вино вырывали из земли. Не то пишу. В землю, видимо, были уже с утра зарыты бутылки вина, и теперь их откупоривали. И начался истовый грузинский пир, иной раз похожий на торжественное заседание. Вино я пить не умел, тяжелел от него. Не пьянел. Погода все портилась. И вот, пообедав, отправились мы дальше, все наверх, не то пишу — все в гору, и в гору, в туман. Бакуриани, о котором говорили, что он выше Теберды, тонул в тумане.

1954 30 июня

Самый высокогорный курорт в Советском Союзе навел на меня тоску осенней, безнадежной погодой. Не только что клочка чистого неба, вообще неба самого не было. И никаких гор вокруг. Мы сидели на террасе, против нас — тусклый, мокрый пустырь. За ним полускрытые в неподвижном тумане два-три строения — дом с острой крышей, сарай, изгородь. Печально, нет, уныло, как в захолустье на равнине. И я счастлив был, когда наша кавалькада побежала наконец вниз. Бесенок, сопровождавший нас, работал, не уставал. Я оказался в машине рядом с женой Карло Каладзе и женой драматурга Шаншиашвили. Первая — остренькая, сухенькая, горбоносенькая. По профессии художница. Вторая, Маро Шаншиашвили, — крупная и при этом нежная, женственная. Говорили, что в нее влюблен Тихонов. Забыв, что мы за границей, глядя в ее белое-белое простое лицо, попытался я, чтобы поддразнить ее, подшутить над Тихоновым. И обе мои спутницы искренне огорчились и стали наперебой уговаривать меня, разъяснять, что Николай Семенович хороший человек, и все мои попытки разъяснить, что это я шучу,

не удались. По-русски они знали недостаточно хорошо, чтобы уловить оттенки смысла. Вообще же шутки понимали. Шофер вдруг приоткрыл дверцу и спросил что-то у двух молоденьких девушек, работавших под дождем на поле. Девушки растерянно взглянули на шофера, а спутницы мои разразились тем самым открытым, южнорусским, грузинским, армянским смехом, который я так люблю. И перевели мне. Шофер спросил: "Девушки, вашей маме зять не нужен?", и вскоре после этого бес толкнул машину на ухаб, и нас подбросило так несчастливо, что мои спутницы ударились носами о верхнюю перекладину, поддерживающую тент машины. И жена Каладзе ушибла, даже поранила самую горбинку, распух нос и у Маро Шаншиашвили. Произошло то, чего хотел нечистый шутник, не отстающий от нас, — неприятность, которая со стороны смешна. А дождь все шел. Шофер приуныл, приуныли и мои спутницы, и мне было обидно, что знакомство со мной связано у этих женщин отныне с возвращением в дождь по мокрой дороге в Боржоми и с болью от ушиба.



Вернувшись в Боржоми, мы высидели, выдержали еще один банкет, со множеством речей. Горячо выступал муж Маро Шаншиашвили, коренастый грузин с несносной фигурой — казалось, что у него вот-вот свалятся брюки. Я не знал их пьес. В переводах стихи были уж слишком похожи на стихи самих переводчиков. Поневоле смотрел я на чисто внешние особенности моих собутыльников. Пить с полузнакомыми людьми, да еще с такими, которые явно в глубине души переживают то же самое, думают о тебе: "О черт тебя знает, что ты за человек", было скучно. Напряжение, напряжение, вечное напряжение — вот основное чувство поездки по Грузии. Со мной была пьеса "Принцесса и свинопас", она только что пережила, я с ней только что пережил то, что теперь мне так надоело. Приняли ее удивительно, начали репетировать — и стоп! Словно стена. Ни взад ни вперед. Обычная судьба всех (кроме "Тени") пьес моих для взрослых. Я тогда еще надеялся, хотя, как всегда, был склонен стать на сторону тех, кто осуждает меня. Где бы, в каком бы театре ни читал я пьесу, всюду хвалили, и я думал при случае дать эту пьесу прочесть в театре каком-нибудь или самому почитать в Союзе грузинам. И дернула меня нелегкая дать пьесу Герману. Было это как раз в Боржоми. Он вернул мне ее на другой день и, сделав открытое, честное лицо, сказал, что пьеса ему не нравится. "Она негативна. Как мой "Бедный Генрих". Я не понял, что значит "негативна", но полностью присоединился к осуждающему. И уже несколько лет спустя выяснил, что Герман

понятия не имеет об этой моей пьесе. И он начисто отрицал, давал клятву, что этого никогда не было, не было разговора о какой-то там негативности, отрицал, что я давал ему пьесу. По превратности натуры своей он сыграл тогда прямого, смело говорящего правду человека, что снимало с него обязанность в жару, в напряжении еще и пьесу читать. Было в Боржоми много больных. Один, иссохший, белый, все полулежал в кресле на балконе своего номера, недалеко от нас. В парке, в киосках восточного типа размещались два источника: Екатерининский и Евгеньевский — натуральный лечебный боржом, только что вышедший из недр земли, был отвратителен.



Теплый, отдающий серой, начисто лишенный той, похожей на чудо, природной газировки, что так радовала у краснополянского "источника "Елочки", соответствовал он чем-то теплой, гнилой погоде последних дней. С тем же приглушенным, затуманенным вниманием бродил я вместе со всей бригадой по музею, бывшему дворцу кого-то из великих князей. Не оживил и великолепный саксонский фарфор, очень уж чужой в стеклянных витринах. И вот мы оказались в странном городе на равнине, но с крутой горой посредине, плоской, как стол, с развалинами замка на этой плоскости. Здесь было жарко, еще больше казалось, что ты за границей. Только с детства знакомый, белеющий в дымке, далеко-далеко в конце равнины, Кавказский хребет напоминал, что ты дома. Напомнил Майкоп и городской сад, с круглыми беседками возле ресторана. Река, похожая на Белую, мчалась у самых деревьев сада. Здесь, в городе Гори, всё говорили о Сталине, о его детстве. Нас повели к домику, где он родился. Тогда это был еще обыкновенный жилой дом. Тогда, то есть девятнадцать лет назад. В чувячной мастерской в подвале кудахтала курица, привязанная за лапку, в углу свален был уголь. Председатель исполкома, с короткой шеей, тугой, показывая город, с трудом выдавливал из себя сообщения вроде следующего: "Этот дом при меньшевиках совершенно был разрушен при землетрясении". Угощая нас в круглой беседке в городском саду обедом, повторял он все одно и то же присловье: "Время проходит, кацо, здоровье уходит, а ты не пьешь". К вечеру присоединился к нам живой старик в старомодном плаще без рукавов, с застежками на груди, у самой шеи. Он представился нам как старый учитель словесности, всю жизнь проработавший в этом городе. Нет, не он представился — его представили нам. Старик много рассказывал о городе Гори, отличавшемся боевой, отзывчивой интеллигенцией. На все события

горячо отвечал город, даже сыну Гарибальди послал траурную белую бурку с сочувственным, горячо написанным посланием, когда скончался его великий отец. Ответ пришел на Москву. Сын не нашел Гори на карте.



Обо все этом рассказывал учитель словесности совершенно правильно грамматически и совершенно на грузинский лад фонетически. Перейдя к критике современных преподавателей литературы, он с волнением, отчего грузинский акцент его усилился воистину анекдотически, стал их бранить, даже поносить за то, что никак не могут они отделаться от грузинского акцента: "Совершенно музыкального уха не имеют!" Порядки в городе были строгие. Отстав от своих, пустился я за ними вдогонку и перепрыгнул через газон. И тотчас же милиционер, к удовольствию наших, оштрафовал меня. И я был в таком, тщательно от самого себя скрываемом душевном состоянии, напряженном и полном предчувствия бури, когда мелочь, которую не ждешь, поражает тебя вдруг с неоправданной силой. Ты ведь приготовил себя к буре, а не к царапинам. Этот мелкий случай бессмысленно и тайно терзал меня до самого отъезда из Гори. На станции мы еще раз убедились в исключительности нашего положения. К этому времени появилась в республиканской газете заметка о приезде бригады ленинградских писателей. Сказалась и встреча наших бригадиров с первым секретарем. Пассажирский поезд ушел. Нет, не то — он должен был идти вечером, и не увидели бы мы пути через Сурамский перевал — один из самых прекрасных в стране. Вот я сонно бормочу нечто в стиле путевых записок. Короче говоря, нам разрешили ехать в дизельном поезде, в товарном дизельном поезде. Застекленный моторный или как там его назвать. Ведущий вагон. Подчеркнутая чистота. Машинист в белом кителе. И мы через застекленные окна кабины глядим на дорогу. Впрочем, Горев не глядит назло всем. Он все еще в гневе. Я испытал бы счастье, будь я спокойнее. Но и в этом состоянии раза два-три я был близок к счастью: "Не то предчувствия, не то воспоминания", о чем пытался написать в [19]46 году.

"Бессмысленная радость бытия,
Как друг, которого считали убитым,
Ты окликаешь голосом забытым
И пробуждаешь сонного меня".

Писать ли о Грузии еще? Попробую завтра.

1954
4
июля

В этот рейд наш повидал я великанские глиняные кувшины, зарытые в землю и стоящие возле ям-погребов, только что для них вырытых. Побывал я в деревне Свири, где нас потчевали красным вином из небольших кувшинов, зарытых возле древних каменных корыт, в которых давили виноград. И в земле открывался крошечный, доверху наполненный вином колодец, а на поверхности вина, лишний раз напоминая о его происхождении, плавали виноградные косточки. Дома в этой деревне, все больше двухэтажные, были оштукатурены и выбелены. Вдоль всего второго этажа тянулась деревянная галерея, заросшая виноградом. В правлении колхоза за длинным столом восседала сдержанно веселая, степенно веселая, грузински веселая компания. На столе, в отступление от обычных традиций, кроме четверти вина и сыра — открытые бухгалтерские книги, чернила, бумага. Увидев нас и первого секретаря райкома, пирующе-заседающие с достоинством приветствовали нас. Секретарь заговорил на своем родном языке с заседающими. Ему пространно отвечали. Налили в граненый стакан вина. Налили и нам. Карло Каладзе объяснил, что это ревизионная комиссия ревизует дела колхоза. Прихлебывая вино, секретарь райкома оживленно беседовал с комиссией и председателем колхоза. Вмешался в разговор и Карло Каладзе с искренним увлечением. При всей строгой своей вежливости наши хозяева не соблюдали очень часто одного правила: избегать языка, не знакомого гостю. Они и в Союзе на совещании о нашей поездке и в ресторане вдруг заводили веселый, оживленный разговор по-грузински, и мне чудилось, когда разражались они смехом, что отводят они душу, устав от тяжелого ярма гостеприимства и вежливости. И здесь, за широким столом в деревне Свири, я в который раз почувствовал себя в чужой стране. И, видимо, не я один. Когда мы уже собирались уезжать, Горев спросил секретаря райкома: “Неужели никто во всей деревне тут не говорит по-русски?” И секретарь быстро и не без раздражения ответил: “А ты укажи мне русскую деревню, где хотя бы один человек говорил по-грузински”.

1954
5
июля

Отсюда приехали мы ночью в Кутаиси. Заяц перебежал дорогу нашему автобусу, а шофер объяснил, что в Грузии они нам несчастья не принесут. И назвал какую-то птицу, которая приносит несчастье, если перебежит дорогу. И в самом деле — наше пребывание в Кутаиси оказалось не лучше не хуже, чем в Боржоми, или Гори, или Сестекони. Ночь. Крошечный садик, иссохший от жары. Душно. Горят разноцветные фонарики. На игрушечной эстраде играет грузин-

ский оркестрик, а на ковре, под вой и свистки зрителей, занимающих четыре скамейки, — борются длинные, здоровенные парни. В последней паре — борец, известный всей Грузии, со своим учеником. Нет, дело обстояло скромнее, более соответствовало садику и печальному вою оркестра. Не известный всей Грузии, а известный в Кутаиси борец встретился со своим учеником. Учителю было за сорок. Обливаясь потом, отстаивал он свое преимущество. Но проиграл под вопли четырех скамеек зрителей. Тут уж совсем царила Грузия. Мы по горной, грунтовой, извилистой дороге поднялись в Гелаты — старинный монастырь. Перед входом под плитами похоронен был царь Давид Великий: так он завещал в своем смирении, чтобы прихожане попирали ногами прах грешника. Иконы в церкви были старинные, чуть ли не XII — XIII века, и, что удивляло, подписаны. Фамилии старинных художников, звучащие совсем не на современный лад, кончающиеся на "дзе" и "швили". В одном из притворов храма показали нам иконостас, которому цены нет, — эмаль на золоте. А с монастырского двора открывался вид на далекий Кутаиси. На горы за ним — чудеса. Но какие непрошеные, внезапно открывшиеся чудеса. Я не путешествовать отправился в эти горы. Нет. Меня занесло сюда в одной из праздничных кавалькад. Они пересекали эту озабоченную, живущую своей жизнью страну в разных направлениях, и наши пути то и дело пересекались с путями других кавалькад. И спустившись в Кутаиси, встретили мы кавалькаду Гольцева, Антокольского, Яшвили, Табидзе и многих других. За торжественным завтраком услышал я впервые речь грузинского писателя без малейшего акцента.

1954
6
июля

Ездил сегодня в Ленинград на два часа. Нечем было дышать — такая душная, влажная погода. Редкие облака, потом небо очистилось, а все душно. Я думал о себе. Я узнал, что в Москве "Медведь" не пойдет и, по-видимому, окончательно. Колеблются и тут, у Товстоногова. Днем все эти новости трогали меня мало. А сейчас, вечером трогают. Но хуже всего это то, что операцию Катюшина, которую делали в феврале, когда я так радовался ее возвращению домой. И сейчас я не столько огорчен, сколько злюсь. И довольно об этом. Продолжаю рассказывать о Кутаиси. Итак. Мы встретились с кавалькадой Гольцева — Антокольского, и за торжественным завтраком выступил поэт Надирадзе. Мне казалось, что все грузинские писатели по-русски говорят одинаково. Сами же они делали различия. Считалось, например, что Карло Каладзе говорить застольные речи не может, а Табидзе — может. Поче-

му? Кто их знает. Я считал, что разницы в акценте и запасе слов никакой. И единственный Надирадзе говорил по-русски великолепно. Много заметней, чем обычно грузины за торжественным завтраком. И, о чудо, услышал я забытый с древних-древних времен полный набор символических, нет, символистических понятий и выражений. Я наслаждался так, будто сама царица Тамара удостоила посещением наш чинный завтрак. Более или менее, но древняя история вдруг ожила, воскресла среди бела дня. Из Кутаиси съездили мы на курорт Цхалтубо. И уехали. На автобусе. До станции Самтредиа — если память не обманывает. Шофер все пил вино прямо из бутылки, угощали его артисты тбилисской оперы, едущие на гастроли в Поти. Мчались мы через деревни, переходящие одна в другую почти незаметно, проехали древний город Хони, проехали через еврейские поселения, которые самый опытный глаз вот так, с ходу, с автобуса не отличил бы от грузинских. Нам рассказали, что поселились тут они еще до разрушения Иерусалима и не ссорятся с соседями. Сжились. Не только не ссорятся, а зовут их посредниками, когда начинаются споры или ссоры между грузинскими деревнями. Мы были в незнакомой, новой стране, далеко от железной дороги.

1954
7
июля

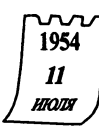
Такие города, как Тбилиси, я видел, а Гори и Кутаиси были и похожи, и непохожи на наши кубанские города. Во всяком случае— угадывалось общее. А сплошные заселенные сады — не хочется называть их деревни — и древний, и асфальтированный, и дикий, нет, не дикий, а недоверчивый, не по-европейски заросший зеленью, с пальмами на площади — были совсем неиспытанны, невиданны и неслыханны. Рассмотреть бы, да нет времени (перечитал и заметил пропуск. После слов— “с пальмами на площади” следует вставить слова: “город Хони”). Нет времени рассмотреть — шофер допивал вторую бутылку и гнал открытый автобус наш так, что мы стали переглядываться. Грузины же только посмеивались. Но доехали благополучно до Самтредиа (или Сестафони) и помчались на поезде уже вниз, в Рионскую долину, к городу Поти. И я у окна пытался понять и уложить по порядку свалившиеся на меня нечаянно, нежданно-негаданно чудеса. И чувствовал, что мог бы полюбить этот новый мир, если бы чувствовал хоть маленькую надежду на взаимность. Нет, я был чужой тут. И за богатством, вежливостью, гостеприимством то и дело угадывал я холодноватый взор в точности, как у Кешивалы. Мы проснулись рано утром в гостинице приморской, по всей своей наружности не нынешней, а прадедовской. Гостиница строилась в

семидесятых или как в семидесятых-восьмидесятых годах — деревянная терраса, крыша которой являлась балконом во всю стену, во всю длину фасада. И такой же балкон, выходящий во двор. Цветущие кусты — незнакомые розовые цветы. Фиговые деревья. Выбеленные стены. Запах кофе. Плоский, непривычно плоский, а не взбегающий на гору приморский город. Здесь город отступил, не город — горы отступили, далеко синели подковой вокруг бесконечной долины. Впрочем, Адлер напоминал своими ровными улицами Поти. Только горы, туманные и синие, казались тут ниже, тесней окружали долину.



Город Поти с детских лет связывался с представлением о местности низменной, нездоровой. В Поти все больны малярией. Там в духанах висят объявления: “Порция хины — двадцать копеек”. Позже, в двадцатые годы, в конце двадцатых — начале тридцатых услышал я, что город окружают джунгли, — и не клеилось у меня это представление с детским, с черноморским. Утром, выйдя из гостиницы, увидел я и в самом деле низменный город и такую же далекую окрестность в подкове невысоких гор. И вся огромная, заросшая зеленью долина показалась мне нездоровой, а город, чистенький, с выбеленными стенами, — в противоположность Хони, и Сестафони, и Самтредиа — скромным, живущим по мере сил, истощенным малярией. Принял нас суровый, стройный, молодой грузин, секретарь обкома, кажется. Впрочем, его власть простиралась как-то и на Батуми. Казалось мне, что гложет его какая-то мысль, тревога, далекая от нас и от осушения болот, о котором шла у нас речь. Впрочем, привычно и ясно, отличным языком он у карты рассказал нам, что Потийская долина пересекается Рионом, еще более богатым илом, чем плодоносный Нил. Течет Рион выше долины, настелил себе собственным илом ложе. Речки, некогда впадавшие в него, бегущие с гор, не впадают теперь никуда, заболачивают долину. И сам Рион после дождей выходит из берегов, низвергается со своего ложа. Муссолини хвастает, что приступил к осушению Кампаньи, но все эти работы ничтожны по сравнению с потийскими. Осушают болота тремя способами: валованием, дренажированием или с помощью самого Риона. Его воды направляют на болота, и они настилают илистое ложе. И вот мы в саду, огромном, промышленном. Он отвоеван у болот валованием. И садовник, седоватый человек, показывает нам прежде всего вал. Мы поднимаемся на вершину, нет, на гребень его, примерно двухметровой высоты. И я вижу наконец джунгли, воистину недостойные этого названия. Это болота, унылые и буднич-

ные, сплошь заросшие унылой и болезненной ольхой. В зарослях, в трясине — унылое, вялое движение.



Что-то вяло булькает, всхлипывает, дышат ольховые поросли в своей дремоте — вот тебе и джунгли. Садовник пожаловался на змей, так и ползут в садовое хозяйство из болот. Рассказал, что ольху на болотах не рубят. Привязывают к верхушке канат, тянут, и корни без сопротивления вываливаются из ила. И мы сошли с поросшего травой, как бы уже природного, а не насыпанного вала в бесконечный сад. Было ему всего только пять лет, но таков уж был плодоносный рионский ил, что сад казался давним, взрослым, в полной силе. Садовник показал нам кустарник или невысокое дерево — так и мечется перед глазами через туман, через дымку девятнадцати лет это растение, а схватить не могу. Если разотрешь между пальцами его лист, тебя поражает розовый запах. Их него добывают розовое масло. Эвкалипты протянулись вдоль аллей, их очень хвалил садовник за быстроту роста. "Насосы, а не деревья — великолепно осушают сырость". Но главными в саду были растения, разводящие, не разводящие, а из которых добывались эфирные масла. И вдруг садовник перестал рассказывать, прищурился, глаза его приняли острое, прицеливающееся выражение. Канавка тянулась вдоль аллеи, и в канавке этой не квакала — орала, верещала лягушка, звала на помощь. Садовник — к канавке. И я увидел с отвращением змею, заглатывающую лягушку. Садовник ударил эту тварь палкой, лягушка вылетела из ее пасти, скрылась в воде канавки. Садовник, возбужденный и радостный после удачной охоты, хотел было поддеть змею на палку, чтоб мы ее разглядели, но она вдруг воскресла и уползла. Долго ходили мы по саду и восхищались без малейшего принуждения — очень уж славный вид строительства, очень уж наглядно отвоеванный у булькающего и всхлипывающего болота, окружал нас. В Поти погрузились мы на теплоход. Долго шли мы по илистому, желтому морю, которое не переходило постепенно в синее, а обрывалось. Только-только шел теплоход по желтым волнам — и пришла им граница, чуть расплывчатая, но достаточно отчетливая. И вот мы уже в синем море. Идем в Батуми.



Итак, теплоход наш осилил море, тинистое, заболоченное, вот как мощен Рион, и словно ножом отрезано, и желтые волны, и потийские низменные берега. Батуми совсем иначе перестроил душу. Он оказался существом щеголеватым на незнакомый лад.

И Одесса — город портовый, и Новороссийск, но в Батуми кафе сияли никелем, у прилавков возвышались высокие сидения, как в коктейль-холлах. В приморском парке — белые колонны, полукругом. Очень органичны здесь, у моря, на чистом небе. Посреди песчаной площадки пышная клумба, окруженная вместо изгороди крошечными фонтанчиками, пересекающимися водяными полукружьями. Вода била из земли и уходила в землю, точнее, в гравий. На перекрестках возвышались щегольские деревянные зонты.

1954
13
июля

Под этими зонтами прятались милиционеры от тропических ливней — здесь чуть ли не каждый день налетали они, ливни, и так же быстро исчезали. Все эти колонны, фонтаны, кафе с никелевым блеском прекрасно срослись со знакомым приморским духом города. Жили мы в маленькой гостинице с большими балконами, и влажные гудки теплоходов, запах смолы, грузчики в рваных рубахах — все признаки обожаемой с детства жизни — пробивались через путаницу чувств, овладевшую мной. Саянов почувствовал, что мне трудно скрывать раздражение, вызываемое его бабьей суетливостью, — и возненавидел меня со всей энергией, врожденной и благоприобретенной. Тревожил и Штейн. То он проявлялся бывшим нехорошим мальчиком, сохранившим с той поры масляный блеск глаз, нездоровый цвет кожи, рассеянность. Мы съездили в ботанический сад, искупались возле, и выяснилось, что Штейн забыл трусы, запасные трусы. И надел белые брюки на мокрые трусы. И брюки, к нашему удовольствию, потемнели в самых подозрительных местах. И Штейн смеялся рассеянно, думая о чем-то о своем. Вместе с нами. Он даже искал случаи посмеяться, старался придумать розыгрыши для нас, но неотступно думал, рассеянно посмеиваясь, о своем. О чем? Что он задумал или заметил? Горев несколько присмирел. Легко было по-прежнему с Левиным. И снова он, когда отдыхали мы где-то вечером, нашел стихотворную строчку, навеки связавшуюся для меня с тем часом. Невысокие зеленые холмы уходили по ту сторону долины. К западу. Вот и “холмы Грузии”, сказал Левин — я, как в первый раз, ощутил и услышал все стихотворение. Из Батуми выехали мы вечером международным вагоном. Штейн, утомленный, сказал, что пойдет спать. Мы, как и все пассажиры, стояли в коридоре, болтали, поглядывая в окна. Вдруг дверь в купе, где Штейн укладывался спать, отъехала с грохотом, и он вместе с приставной лестницей с грохотом обрушился в коридор. И все затихло в изумлении — Штейн был гол, даже трусы снял, укладываясь спать. И на другой день мы были уже в Тбилиси в гостинице.

1954
14
июля

И в этот наш приезд вырвалось вдруг на поверхность то, что угадывалось за вежливейшими речами наших хозяев. Мы завтракали в помещении Союза писателей, скромно и вместе с тем церемонно, как всегда. Трудно было с этого безоблачного неба ждать удара молнии. Однако она ударила и, как всегда, поразила невиннейшего. В данном случае Леву Левина. В одной из речей упомянули его. И он в ответ предложил выпить за здоровье такого-то — фамилия начисто вылетела из головы, — прекрасно переводившего грузинские стихи на русский язык, а русские стихи на грузинский. Такой-то человек с ничего не выражающим, тощим, неподвижным лицом и черными глазами и густыми бровями выслушал Леву и через некоторое время взял слово, чтобы произнести ответную речь. И с тем же неподвижным выражением вдруг — это было неожиданно, непостижимо, как во сне — он принялся бранить Леву Левина и поносить нас всех. Лева забыл упомянуть, что такой-то не только переводчик, но и поэт. Отчитав Леву и сказав, что мы совершенно неизвестные писатели: "Из вас я знаю одного Саянова", такой-то все с тем же неподвижным, не злым и не добрым лицом уселся как ни в чем не бывало, как будто доброе дело сделал. Хозяева поспешили наперерыв загладить происшедшее. Я оцепенел. На нечаянную обиду — ответили умышленной! Каждый из нас нашелся бы и отчитал обидчика, но все вместе растерялись. Я до сих пор чувствую ужас не отомщенной... или... — ну, словом, пишу ерунду. Не ужас — укол. И то, что я знал, — сложность, уязвимость. Мнительность — стало не умозрительным, а просто видимым. И довольно об этом. Вдруг двух слов связать не могу. Итак, мы вернулись в Тбилиси, и нас обидели, отчего все чаще стали появляться Кешилава, Табидзе и Яшвили, все чаще посещали нас. И вот с кавалькадой французов поехали мы в Кахетию. Вильдрак удивлялся разнообразию Грузии. Кахетия напоминала ему Испанию. Впрочем, он больше помалкивал. Мадам брюзгливо выкрикивала разные испанские названия местечек и городов, а переводчица объясняла, что она этим хочет сказать. Дюртен молчал.

1954
15
июля

И постепенно блаженное опьянение движением, путешествием отодвинуло все тревоги последних дней. Яшвили рассказывал о Кахетии. И я вдруг почувствовал, что любит он Грузию, как заботливый хозяин, не притворяется. За Тбилиси началась местность желтая, раскаленная, нелюдимая. И Яшвили рассказал, что здесь некогда росли леса, вырубленные, чтобы помешать набегам персов. И со

своей серьезной и внушающей доверие повадкой, серьезной, а вместе с тем радостной внутренне, по-южному жизнерадостный, описал, как хлопочет он в Москве, чтобы оросили и озеленили эту пустыню. И в Тбилиси тогда климат станет другим. По Кахетии ехала не вся наша бригада, часть отправилась в Хевсуретию. Я все сомневался — не следовало ли мне присоединиться к хевсурской группе? Услышав об этом, Яшвили решительно махнул рукой и пробормотал, словно не желая, чтобы его слышали, но достаточно громко: “Дикари! Что у них смотреть?” За желтыми и человеконенавистническими песками началась другая жизнь, та самая, что опьянила меня. Горы мягкие, в лесах. Обрывистые горы. А вот — каменный обрыв, гигантская скала, открывшаяся среди лесов, и вся, словно в сотах, — в пещерах. (Это второй, кажется, каменный город, который видел я в Грузии. Первый как будто по пути в Боржоми.) А потом снова невысокие холмы, виноградники, источники, взятые в камень, влажная земля возле которых вся в следах бараньих копытец. И дорога. Дорога. И вот словно в утешение мне — поселение хевсуров. Сначала увидели мы двух девушек у дороги. Меня поразила их гордая, полная чувства собственного достоинства манера, с которой отвечали они на вопросы Яшвили. Королевы. Светлые, почти золотые волосы и черные глаза придавали им особое своеобразие. Впрочем, нам объяснили тут же, что волосы они моют коровьей мочой для красоты и чтобы спастись от насекомых. Девушки показали нам путь в поселок, разбросанный по склону горы. В деревянном или плетенном из прутьев и обмазанном глиной балагане встретили нас, чуть улыбаясь, как бы смущенные тем, что водятся на свете такие странные люди, как мы, хозяева.

1954
16
июля

Мы попросили воды. Хозяин опоясался мечом, взял щит — или тоже повесил, укрепил его на поясе, потому что не пристало мужчине выходить из дому невооруженным. И отправился под гору к роднику. Мы улыбались смущенно. Уж очень странные люди встретились на нашем пути. Простота, с которой вооружился хевсур, непоколебимая уверенность, что так и подобает поступать человеку, показались мне еще непостижимее, чем щит и меч. Кстати, щит был совсем небольшой, со сковородку. Вдруг завизжали наши спутницы-француженки — чулки их, как сеткой, покрыли блохи. Мы бежали во двор. Увидев нас, крошечная трехлетняя девочка, черноволосая и черноглазая, бросилась с плачем от нас, невиданных чудищ, на руки к глубокому старику. Тот, улыбаясь, восседал под деревом. Всюду дети боятся чужих, но тут

почудилось мне, что в ребенке заговорил древний ужас перед нашествием иноплеменников. Яшвили заговорил со стариком. Рассеянно улыбаясь, гладил старик девочку по черным коротким ее волосам. И Яшвили сообщил нам, что старику 105 лет. "Швили — швили? Швили, швили, швили?" — спросил он, указывая на девочку. "Швили — швили, швили" — правнучка, ответил старик. Появилась бойкая, гордо держащая золотоволосую голову, не по-грузински курносая женщина лет сорока, оказавшаяся женой старика. Грузины наши поддразнивали ее, она спокойно, бодро, нет, гордо отшучивалась. Я написал — вышли из балагана во двор. Двора не было. Был сад без изгороди. К вечеру, когда возвращались с полей люди, Яшвили кричал им приветственно, свесившись через борт машины: "Гаморджоба хевсуро!"— "Гаморджоба тушино!" И хевсуры и тушинцы степенно и с достоинством отвечали, что мне ужасно нравилось. А Яшвили рассказывал о тушинцах, что они до того любят свои горы, и поля, и пастбища, что возвращаются домой, даже получивши образование в университете. Да что там в университете! Здесь был пастух, кончивший Сорбонну, и Яшвили ездил к нему в горы, когда хотел поупражняться во французском языке. И я подумал кощунственно и тайно:

1954
17
июля

"Интересно, как звучит английский язык (французский, хотел я сказать) — с грузинским акцентом". В маленьком селении у родника, взятого в каменное корыто, у земли, истоптанной острыми бараньими копытцами, остановились мы, чтобы переменить воду в радиаторе. И нас попросили подвезти девочку лет шести до следующего селения. Очень славная, с мягкими чертами лица, напомнила она мне Наташу. Усадили ее между мною и Яшвили. Я попробовал заговорить с ней — оказалось, что девочка по-русски — ни слова. И Яшвили стал моим переводчиком. И тут мы все удивились: девочка оказалось русской, по фамилии Зиновьева. "А папа и мама говорят по-русски?" — "Да. Когда ссорятся". До соседнего селения ехали мы с полчаса, и я все любовался на славное и простое существо, которое занесло в нашу кавалькаду. Чем дальше, тем больше напоминала она мне Наташу и лицом, и спокойствием, с каким она держалась среди чужих людей. Она освежила среди жары, путаницы и пыла сегодняшнего, как родник, возле которого мы нашли ее. И тут я узнал еще одно свойство грузинской подозрительной, еще и на особый лад подозрительной души. Вечером Яшвили предложил выпить за меня, "и в самом деле любящего детей". На другой день в разговоре повторил он многозначительно: "Я убедился, что вы и в самом деле

любите детей". Я не понял, почему он повторяет одно и то же. К этому времени понимал я Паоло Яшвили с полуслова, как всех людей, которые мне нравились. А тут — не понял. То есть я догадывался, что за словом кроется некий второй смысл. Но какой? В Тбилиси я услышал эти слова в третий раз — и тут меня осенило наконец. Он придал особый, приписал неожиданный для европейца смысл моему вниманию к маленькой девочке. Они, обуреваемые плотью своей, что заставляло их делить очереди на мужские и женские и так далее и тому подобное, — были особо изобретательно подозрительны в подобных вопросах. Если я ошибаюсь, то значит, это я изобретательно подозрителен. Но я не мог ошибиться.

1954
18
июля

Я к этому времени точно знал, с каким выражением говорит Яшвили вещи, в которых заключается двойной смысл. Вот с непоколебимо серьезным лицом бросает он как бы в сторону: "Я до того люблю Никиту Семеновича, что совершенно прощаю ему его стихи!" А если говорит он о женщинах и странностях любви, то глядит пренебрежительно и насмешливо, но вместе с тем полон интереса и внимания к теме. О моей любви к детям говорил Яшвили, соединяя два вышеописанных выражения. Любовь, любовь! Тут была она низколоба, не глядела в глаза, была проста в желаниях, и сложна, и неразборчива в путях к цели. Рассказывали о молодой докторше, которую долго преследовал своей любовью некто. Но безуспешно. Тогда он вызвал докторшу к больной в селение. Она поехала по фальшивому этому вызову — и схвачена и брошена в сарай, где некто и добился своего. И рассказывали об этом и с возмущением, и со смехом. Московской артистке в сильный дождь шофер предложил доехать до гостиницы и умчался с ней за город, где, пригрозив ножом, изнасиловал. Его поймали. Нашлись еще жертвы. Обнаружилось, когда шел процесс. Шоферу дали пять лет. И мой знакомый профессор-грузин, философ, юрист, с искренним недоумением спросил: "За что пять лет? Ведь она получила свое удовольствие". Иной раз казалось мне, что тут жар страсти, как солнце над пустыней, выжигает в человеке и разум и самую силу. Плодоносность. А иной раз я и завидовал. Возвращаюсь к нашему путешествию. Мадам Вильдрак, и без того особа невеселая, к вечеру первого дня и вовсе заволоклась тучами, стала держаться за щеку, рассказывать, что у нее "невральжи". Обернулось невральжи просто флюсом, и мадам отвезли в Тбилиси. А когда вечером спросили у мужа, не беспокоится ли он о ней, он весело улыбнулся и ответил, что нисколько. К вечеру первого дня приехали мы в Цинандали, некогда имение Чавчавадзе, а впоследствии, до революции — удельного ведомства.

1954
19
июля

Дворцы и уцелевшие, ставшие музеями усадьбы никак не напоминали мне о бывших владельцах, скорее разрушали представление о них. Имение Чавчавадзе существовало, а "чавчавинская Нино" жила в другом мире, в воображаемом. И исчезала при попытке представить ее на этих просторных и длинных балконах. Последнее письмо Грибоедова всегда меня трогало, но и оно, воспоминание о нем, побледнело в доме его жены. Чем славилось Цинандали? "Кахетинское вино и чавчавинское Нино". Мы говорили об этом вечером, сидя при свечах, за столом на балконе. Погас свет, и поэтому-то и горели свечи. И поэтому, к огорчению Вильдрака, который и сам был виноделом-любителем, — нам не показали знаменитые подвалы Цинандали. Но он хвалил розовое, деревенское, как нам его назвали, Кахетинское вино. И был разговорчивее, чем обычно. И мы не без сочувствия объяснили это припадком "невралгии" у мадам. Помнится, что Яшвили не говорил с гостями непосредственно, хоть и владел французским. Разговоры шли через переводчицу. Днем подъехали мы к городу Сегнахи, и я увидел, что в Грузии сохранились не только башни, в детском нашем представлении об этом понятии, но и крепостные стены. Они тянулись вокруг города — высокие, наивные, как хевсур со щитом, уверенные в своем праве на существование. Следуя неровностям холмистой местности, вверх-вниз опоясывали они Сегнахи, и въезжающему в крепостные ворота казалось, что за ними должен начаться другой мир. Так во всяком случае показалось Леве Левину, а я почувствовал, что он выразил и мое ощущение. Но за стенами города увидели мы обычные дома и улицу. Только лиловая, и светящаяся, и в то же время как бы подернутая дымкой огромная долина, а за нею великолепная громада Главного Кавказского хребта принадлежали к другому миру. Я, Левин, мадам Люк Дюртен и переводчица сидели на террасе, как бы висящей над всеми этими чудесами, и беседовали.

1954
20
июля

Переводчица, разбитная бабенка, успела разузнать, что мадам Дюртен недавно выдала дочь замуж и теперь хочет наконец пожить для себя. Учится пению. Муж раздражает ее своим безразличием, вечной рассеянностью. Когда замирает он в неподвижности, расставив свои большие ноги, задумавшись глубоко, склонив на бок свою большую и длинную вместе с тем голову, мадам подмигивает переводчице, указывает на мужа глазами, пожимает плечами. Мадам была куда подобраннее мужа, но молодость в ней я, по жестокости тогдашнего своего возраста, не соглашался признать. Правда, и старости тут не ощу-

щалось — но была мадам взрослая, безнадежно взрослая, полна той самой почтенной взрослости, что в детстве заставляла думать: неужели и они... В борьбе со всеми признаками возраста мадам несколько обесцветилась, потеряла всякие признаки всякого возраста, кроме некоторой массивности фигуры. Впрочем, глаза ее глядели на нас просто и весело, и владей мы французским языком или она русским, и если бы встретились мы по своему желанию, а не по воле случая, то могли бы и сойтись более по-человечески. А сейчас вечное напряжение путешествия нечем было убрать. Впрочем, мадам не без интереса говорила о французских писателях. О Селине — с раздражением. Цинизм его никого не поражает. Арго, которым написана его первая книга, быстро приедается и во второй только раздражает. Зато о Жюле Ромене говорила она с уважением. И короткими фразами на французский лад описала его: “Невысок. Широкоплеч. Синие глаза. Черноволос. Молод — ему только что исполнилось пятьдесят”. “Однако!” — подумал я. Крепостные стены, средневековые стены окружали город Сегнахи. Далеко, далеко в дымке мерцали громады Кавказского хребта. “Да нет же, это интересно, это удивительно, вот где мы говорим о Париже, вот как перекрещиваются пути”, — убеждал я себя изо всех сил. В какой-то деревушке, где кормили нас обедом, французы вдруг взбунтовались: “Нас не будут спрашивать, какие песни мы слышали, какие вина мы пили! Мы хотим говорить с людьми об их работе”. Яшвили выслушал гостей вежливо и спокойно и предложил им идти по деревне и говорить, с кем хотят.

1954
21
июля

После этого фигуры их — одна длинная и массивная, другая покороче, с бородой, выставленной вперед, — замаячили в отдалении от остальной кавалькады. То возле мельницы, то во дворике поплоше. А мы пробовали говорить с детьми. Со школьниками. С большими — разговоры не завязывались, и тут по-русски никто не говорил. Только мальчик, лет тринадцати, отличник, с трудом подбирая слова, пытался нам отвечать. У него было то самое полузнание, четвертьзнание языка, как у нас, в реальном училище, знание немецкого. В Тбилиси помчались мы на “газиках”, сокращая путь, и эти машины и вброд перебегали через горные речки и одолевали проселочные дороги, карабкаясь по такой крутизне, что мы только восхищались. К вечеру долго-долго мчались мы по равнине, то мимо кукурузных полей, среди кустов ажины, густых, как живая изгородь. И мной овладела блаженная, дорожная неясность представлений. Мне казалось или чудилось сквозь сон, что мчимся мы в необыкновенно счастливую местность, нет, в дом, где ждут

нас близкие. Которых ни представить себе, ни назвать по имени я не мог бы. Но до самой ночи никуда мы не приехали. Когда сознание действительности вернулось ко мне, стояли наши машины посреди смутно белеющего во тьме селения. Фары освещали широкое асфальтированное шоссе. Яшвили звал громко, во весь голос: "Мозавелло!" — так во всяком случае мне слышалось, и значило это, как объяснил кто-то из спутников, — "сосед". Шоферы, сокращая дорогу, потеряли направление и не знали, в какую сторону ехать к Тбилиси. На зов Яшвили к машине не спеша и степенно подошел рослый седой широкоплечий грузин в черкеске. Он положил руку на борт машины, как кладут ладонь на холку коня, беседуя с проезжим всадником. И вдруг разговор с мозавелло стал буйным — с нашей стороны. Он-то сохранял степенность, но шоферы, все участники кавалькады, говорящие по-грузински, и сам Яшвили кричали на него все более сердито. И он удалился с достоинством. Что случилось? "Этот болван, этот кретин отказался ответить, в какую сторону ехать к Тбилиси. Говорит: "Не может быть, чтоб вы этого не знали". Говорит: "Вы разыгрываете меня".

1954 22 июля

И мы нашли дорогу в Тбилиси без помощи мозавелло. И пришли последние дни наших беспокойных и напряженных путешествий. Что-то я не вполне точно рассказал. Недостаточно полно. К воспоминаниям, неожиданно всплывающим, прибавилось еще несколько. Раннее утро на машине где-то возле Батуми. Раннее утро до рассвета. Чайные плантации и завод. Жара в Тбилиси, и извозчичья биржа под окном, и повисший, нет, сконцентрированный, сжатый зноем, всю ночь стоящий под окнами запах конюшни. Вот мы на Давидовой горе в ресторане над тбилисскими огнями. Огни фар осветили по дороге какую-то пару в канаве. Я не видел ее, только шофер гикнул, как на охоте. На горе — разговор о бывшем владельце ресторана. Он — хохот и живой интерес в глазах и осуждение в словах — подавал по особому заказу на селедочнице, окруженной гарниром, прикрыв, пока не подойдет к столу, фартуком, свой собственный уд, ха-ха. Он занимал — ха-ха-ха — всю селедочницу. Уд его. Ха-ха! Безобразие какое! Подлец! Дикарь! Один раз мы ужинали тут с актерами оперетты. Подать блюдо по особому заказу? Подай. Он подходит, безобразник, к столу, поднимает — ха-ха-ха — фартук — бесстыдный человек, безобразник. Где он теперь? Работает где-то в торговой сети. Незадолго до отъезда нашего зашел еще более похудевший и почерневший, еще более ожесточившийся корреспондент "Прав-

ды". Внизу пели на восемь голосов фуги свои, полифонические, вакхические песни пирующие в круглых беседках служащие различных государственных учреждений. Корреспондент только поиграл желваками своими на скулах в ответ на этот заунывный, стройный, чуть ли не обрядовый вой. И стал с кривой улыбкой рассказывать о писателях, которые сопровождали нас в путешествиях. О старших из них. Они не могут забыть "Голубые реки" — символистское объединение, где все они, эстеты, декаденты варились в своем соку. Когда в [19]21 году советские войска входили в Тбилиси, поэты стали на Головинском проспекте, скрестив руки на груди, и повторяли одно: "Пропала Грузия, погибла Грузия". И ничего они не забыли! Хитрый народ! Уезжали мы из Тбилиси вечером, провожали нас Табидзе и Яшвили, очень вежливые, соболезнующе вежливые, после того несчастного завтрака в Союзе.

1954 23 июля

Вот и кончился коротенький месяц с небольшим и вместе с тем такой неожиданно емкий рейд в незнакомую страну. Теперь я знал, что в ней много стран, а вместе с тем, что она — единое целое. Угадывал, научился угадывать чисто грузинские, неопределимые, как витамины, но и как витамины, существенные свойства. Внешние свойства. Особенная улыбка. Вежливость на грузинский лад. Простоту страсти или того, что здесь носило это имя. И я знал теперь, что именно я не постигаю по моим европейским привычным свойствам. По моему ладу. В каких случаях, даже отказавшись от привычки ставить себя на место человека, которого хочешь понять, не мог бы я понять новых моих друзей. В Батуми поселились мы все в той же гостинице у самого порта, и радость того, что море, лето, запах смолы и гудки пароходов перестали быть воспоминанием и превратились в действительность, примирили меня на некоторое время со страдными днями, что я только что пережил. И я подумал: "А не полюбить ли Грузию?" И тут же еще раз почувствовал, что любовь эта будет бесплодна и безнадежна. И уж столько народу любило ее в те дни. Целые кавалькады носились по ней взад и вперед, пересекая ее, жестокую, молчаливую, невесть что думающую, ужасно, ужасно, ужасно гостеприимную, в разных направлениях. Нет, мне это не пристало. Прощай, Грузия. Демон мелких, но ощутимых неудач не оставлял нас. Когда отправились мы брать билеты на теплоход, точнее, после того, как он отчалил, выяснилось, что наши билеты с номерами кают никакого значения не имеют. С [19]15 года, за двадцать лет, успел я изба-

ловаться и разучился спать на палубе. В Сухуми повидал я Шаповаловых. Они вышли к пароходу. А в Феодосии мы сбежали. Встретил я на пароходе, среди палубных пассажиров, Бобу Чуковского с полевым биноклем через плечо. Ехал он, очевидно, не один. Появлялся вдруг, неведомо откуда, и так же вдруг исчезал.

1954
24 июля

Везло нам в эту поездку на французов. Весь теплоход, все каюты, на которые были проданы нам билеты, достались французским ученым. Я глядел на них, когда они толпились на палубе, когда причаливали мы к берегу, к стенке мола, и они с переводчиками гуськом тянулись по сходням, когда болтали они, разбившись на группы. Вот маленький легкий старичок повторяет в ответ на шутливые нападки собеседников преувеличенно печально, даже сокрушенно: “Oui! Oui ! Oui !”. Вот они спорят. Вот слушают кого-то с уважением. И я понимаю каждое их чувство, не понимая смысла того, что они говорят. И в глубине души испытываю вполне бессмысленное, но прочное недоумение: чего они затрудняют себя, почему не говорят по-русски? В Феодосию приехали мы ночью. Наняли линейку и поехали в Коктебель. Запах полыни, цикады, теплая ночь, близость моря — все наполнено чувством дома. Мне казалось, что после торжественного, кахетинского, заунывного, терпкого и напряженного, словно в строю шагали церемониальным маршем, грузинского путешествия — я отпуск получил наконец. В Коктебель мы приехали глубокой ночью. Сначала увидели смертельно бледную девушку, почти девочку — сидела она на скамейке, и ей было нехорошо, по всей видимости. Ее уговаривала и отпаивала каплями другая. Прошел с огорошенным видом знакомый молодой поэт, растерянно кивнул нам и скрылся. Совещались за деревьями какие-то люди вполголоса. Мы угадали сразу, что выпивка с неопытными соучастницами не удалась, что и подтвердилось утром. Дня через два ехал я в прямом ленинградском вагоне в Ленинград. В том же вагоне ехали Томашевский Борис Викторович и Смирнов Александр Александрович. Из разговоров с первым запомнил навсегда один, посвященный паровозу. Оказалось, что паровоз, несмотря на малый коэффициент полезного действия, до того вынослив, неприхотлив, что вряд ли устанет когда-нибудь. И тут же я узнал с уважением, что Томашевский по образованию — инженер. А Смирнов смеялся над бэконианцами, чему я был рад. Поезд утром подходил к Ленинграду, и двойное чувство испытывал я: чуждая природа и самые близкие люди ждут меня. Дом и не дом.

1954
25
июля

Чувство дома в запахе полыни, выбеленных домиках, криках кузнечиков, теплой ночи — тут начисто исчезло. Низменность с заржавевшей от сырости землей, дома из цельных бревен, все больше некрашеные, долговязые, — никак не приживался я к северу. Только недавно поверил я, что дом мой здесь. Но и тогда уже в самом городе любил я его строгие и растерянные, разжалованные дворцы. Все, что москвичи говорили о Петербурге, теперь ленинградцы повторяли о Москве. Ленинград — не суетливый, сохраняющий высокие традиции — и так далее и тому подобное, сохранял строгое, высокое выражение, но вокруг все было в жизни очень уж скудно, северно. Но вся моя жизнь, все, что было мне в жизни дорого, связалось, переплелось навеки с этой стороной России. Так уж занесло меня. И чем ближе к городу, тем больше забывал я о южной своей родине. И под сводами огромного вокзала — он был связан и с доисторическим южным временем моей жизни — увидел я Катюшу, бледную, тоненькую, только что оправившуюся после болезни. Обыкновенно она не встречала меня на вокзале, но впервые разъехались мы на такой срок. И этим кончилось мое путешествие, которое сумел я приблизительно обдумать, определить и рассказать только через девятнадцать лет. Некоторых из своих тбилисских знакомых встречаю я и до сих пор. Когда я услышал о самоубийстве Яшвили, то был глубоко поражен. Мне показалось, что страна, которую я переживал так трудно и напряженно, как и подобает существу чужеродному, — онемела. Все, что в ней было мужественного, спокойно-жизнерадостного, угадал я через знакомство с Яшвили. Не знаю, что и как сумел рассказать он в своих стихах, но в жизни он был сыном, похожим на свою родину и отражающим ее самим фактом своего существования.

1954
26
июля

Все стараюсь вспомнить время, в которое можно было спрятаться, обсушиться и обогреться, — и не могу. И погода, и печальные новости все покрывают как бы туманом, сыростью. И тревога приглушена, и взгляд упирается все в серый цвет, без теней. Неистовые будни. Я купил себе первый раз в жизни крахмальный воротничок сорок один год назад. Я не знал, какой номер мне требуется. Приказчик — было это в магазине Чумалова — достал из-под прилавка сантиметр (впрочем, тогда измерение шло на аршины и вершки?) Я почувствовал прикосновение клеенчатой ленты, и приказчик сообщил: тридцать седьмой номер. Надел этот воротничок я всего один раз. И больше в шутку. Монашеское презрение к одежде, усиленное шелковским, поддерживало это состояние. Я смущался,

когда надевал воротничок или галстук. Так одевались те, той породы, враждебной интеллигенции. Нам положено было носить косоворотку. Так же не понимал я прелести обстановки. Хорошие вещи, в частности, фарфор, меня пугали неизменностью выражения. У меня горе, а чайник стоит себе, задравши нос да изогнув ручку. До сих пор я смущаюсь, когда материально мои дела долго идут хорошо, и жду возмездия. Тем не менее вышел я из магазина Чумалова с тем самым предчувствием счастья, что испытал я в последний раз позавчера в городе, выйдя от Елисеева. Чувство, прелестное само по себе, мешает узнавать счастье, когда оно проходит наконец. Так же с Черным морем. Когда я его вижу, то воспоминания о нем не дают некоторое время понять, что передо мной действительность. Но при всем при том я часто испытываю "бессмысленную радость бытия".

1954
27
июля

Когда я вернулся из Грузии, то ясно почувствовал, что дома все как бы притихло, как бывает, когда небо вдруг покроет тучка. Какая? Притих дом и кошка Васютка, которая вот-вот должна была окотиться, и ковер, и висячий шкафчик на стене. Невесела была и хозяйка. Друзья встретили обычно: напомнили, что это я им друг, а они мне вовсе - нет. В одном сходились мы: что-то беспокойно. Недавно показали мне стихи Даниила Ивановича. И понял, что и стихами и самим образом своего существования отрицал он установившуюся литературную, а может быть, и всякую форму бытия. Юродивые тем же поражают и обжигают слабую, и грешную, и послушную законам нынешнего дня толпу. В его стихах и в его обращении с миром предполагалась вера в чистейшие формы, освобожденные от литературы. Освобождение от всех законов. Он в те дни, приблизительно в те, ездил на острова, ловил там лягушек и выпускал в Лебяжью канавку. Один человек спросил меня: "А что делает Даниил Иванович?" Он давно не был в Ленинграде, этот знакомый. Я рассказал ему о лягушках. Знакомый рассмеялся радостно, восхищенно засмеялся и сказал: "Все доказывает тщету разума". А подумав, добавил уже серьезно: "Одна только беда: он ждет, что благодать сама на него сойдет, ни с того ни с сего". Был этот знакомый один из работников Госиздата, а кто-кто только не работал там в 20-х, начале тридцатых годов. От эмигрантов, забывших в изгнании родной язык, до бывших философов, считавшихся интересными на собраниях религиозно-философского общества. Эти последние ценились за глубокую образованность и знание языков. Иной раз эти последние исчезали. Иные совсем, иные через некоторое время вновь появлялись в городе. Так появился вновь лысый, бородатый, здоровенный Скалдин, с которым я очень любил разгова-

ривать — он очень интересно рассказывал. Он-то и спросил о Хармсе. И вот, вернувшись отуманенным от вечного напряжения среди чужих, попал я в ледяную область друзей. И тут я был чужой. И только в притихшем доме нашем я чувствовал, что жизнь продолжается. Да, что-то нависло над нами — но на это у себя дома можно и не смотреть. И я так и делал.

1954
28
июля

Среди тягостной тишины и строгих требований от друзей — служителей не то демона, не то божества еще не названного — вдруг раздался звонок с земли. Прямехонько из трехмерного мира. Звонил человек, отлично себя чувствующий под солнцем, хозяин своей жизни, во имя жизни юродствующий в допустимых, впрочем, пределах— Алексей Николаевич Толстой. Да, жил он с наслаждением, широко, то ли по-барски, то ли, как утверждала Ольга Форш, по-купечески. Но даже враги скорее с любопытством, чем со злобой, разглядывали его рослую, а вместе с тем сутуловатую фигуру, большую голову, большое правильное лицо с большим правильным толстогубым ртом. Глаза за очками, с нависшими веками, все помаргивали, словно хозяину их соринка попала. И вот он позвонил мне, хотя до той поры встречались мы нечасто, и я никак не был уверен, знает ли он меня или нет. Толстой позвонил, предлагая писать вместе пьесу, для несуществующего театра, который еще только надлежит создать. В моей памяти осталось много таких разговоров и совещаний, обреченных на неудачу, по неопределенности желаний говорящих и совещающихся. Но в данном случае, тоже ни к чему не приведшем, сошлись очень любопытные люди. В одном из совещаний принимали участие актеры сильные и неукладистые. Ни в одном театре не могли они найти себе работу по нраву, все принципиально спорили. Это были Бабочкин, Юра Лавров, Альтус, Борис Чирков. Чаще же встречались мы у артистки Николаевой, дочка моя, попав туда со мной случайно, спрашивала потом: “Это квартира или помещение?” Встречались мы неоднократно. Один раз Толстой со своим сыном Никитой заехал к нам. Сказал о квартире, что она уж больно мала. “В Детском у меня так много комнат, что тетка Тургенева заблудилась. Кричать стала”. После этого неожиданно зверски рявкнул на Никиту: “Форточку закрой!” Тот повиновался, потерянно улыбнувшись.

1954
29
июля

Но так или иначе, я даже договор подписал. Впрочем, не я, а Толстой. И вручил мне мою долю — три тысячи рублей. И я стал придумывать пьесу. Одну сцену представлял я себе очень ясно. Горит дом, около которого красноармейцы греются, прикури-

вают от головни, кипяток подогревают, пока в бою — затишье. Возле — ошеломленные хозяева. Но как разговоры о театре не привели к его организации, так и пьеса не была написана. В это же время снимались на "Ленфильме" злосчастные наши картины. Даже названия их писать не хочется. Я должен был из Грузии поехать в Крым, где картины снимались, но уклонился в тысячный раз в своей жизни. Не знаю, помогло бы это делу или нет, но материал, снятый в Крыму, просто ошеломил меня полным несовпадением со сценарием. Даже просто сюжетные, чисто смысловые моменты исчезли начисто, да и все тут. И со мной произошла обычная вещь. Вместо того чтобы ринуться на спасение самого себя в конце концов, я отошел в сторону, уклонился окончательно. Невеселый, хмурый, угрожающий [19]35 год перешел незаметно в тридцать шестой. Я уже рассказывал где-то о поездке на юг с Катюшей. Да, вспоминая Наташино детство. Вижу теперь, что события и в самом деле отбрасывали тень, в которую вступал, приближаясь к ним. Но ни разу я не прислушался и не вгляделся, не умел прислушиваться, не научился, а выработал умение затыкать уши перед выстрелом. Рассказывая о друзьях-врагах, забыл я разъяснить следующее. Да, многое не мог я принять по особенностям душевного моего склада. Но, хоть и отвергался я за это, был целый ряд вещей, в которых понимали мы друг друга с полуслова. И того чувства или страха одиночества, которым одержим я теперь, в те дни я не переживал. Теперь я понимаю, что друзья мои во многом были столь же неуверенны, как я, но высказывались решительно, и я верил.

Произведения 20-х — 30-х годов



Рассказ старой балалайки

Балалайка-то я балалайка, а сколько мне годов, угадай-ка!

Ежели, дядя комод, положить в твой круглый живот по ореху за каждый год,— нынешний в счет не идет, — ты расселся бы, дядя, по швам — нету счета моим годам.

Начинается рассказ мой просто, отсчитайте годов этак до ста, а когда подведете счет, угадайте, какой был год.

Так вот, в этом самом году попали мы с хозяином в беду.

Мой хозяин был дед Пантелей — не видали вы людей веселей!

Борода у него была, как новая стенка, бела, сколько лет без стрижки росла, чуть наклонится поближе ко мне — и запутались волосы в струне. Бродили мы с дедом и тут и там, по рынкам да по дворам. Пели да на окна глядели — подадут или нет нам с хозяином на обед. Бывало, что подавали, а бывало, что и выгоняли. Один не дает — даст другой, что-нибудь да принесем домой.

А дом у нас был свой, не так чтоб уж очень большой, стоял над самой Невой, любовался все лето собой, а зимой обижался на лед — поглядеться, мол, не дает.

Дочка у деда померла, а внучка у нас росла. Был ей без малого год. Не покормишь ее — ревет, а после обеда схватит за бороду деда и смеется как ни в чем не бывало, будто и не кричала.

Дед ей сделал ящик, чтоб спала послаще, и очень ловко привязал к потолку веревкой.

Бывало, ползает Анютка взад и вперед, — что на полу найдет, то и тянет в рот. Поймает ее дед, кряхтя, бородой половицы метя, положит в ящик на самое дно, поглядит в окно — "Пора, балалайка, пора зашагать от двора до двора. Прощайте, внучка и дом, придем, когда денег наберем".

Где теперь те дворы, да глазища детворы, что смотрели деду в рот, только старый запоет!

Глянет дед по сторонам да пройдется по струнам.

— Ну-ка, ну-ка, балалайка, выговаривай:

Что ты рот открыла, тетка,
Залетит ворона в глотку
И вперед не пройдет
И назад не повернет
Подходите ближе, братцы!

Что вам старика бояться?
Подходи, подходи,
Балалайка, гуди!
Говори, балалайка, уговаривай!

Пели, уговаривали, — люди нас одаривали: кто хлеба кусок нам бросит в мешок, кто кинет грош — намучишься, пока найдешь.

Так и шли дни за днями — пустые одни, другие с блинами.

И вот пришла беда — осердилась на город вода.

Осенью дело было, всю ночь в трубе выло. Дрожали стекла, крыша промокла, дождик накапал прямо на пол.

Утром глянули за окно — невесело, темно. Да и дома вряд ли веселей — стоит в луже Пантелей и смотрит в потолок, — как это он протек, а внучка с ветром спор ведет: кто кого переорет.

Пожал дед плечами, постоял перед нами, дал Анютке молока, а меня схватил за бока. Рады или не рады — все равно, идти надо. Потому что нужен обед да ужин.

Вышли, — сначала чуть бороду деду не оторвало. Хлестнуло волосами в глаза — даже прошибла слеза.

Поглядел с укоризною дед, — что ты, ветер, в уме или нет? Провел рукавом по глазам и, вздохнув, пошел по дворам.

Ну, и вода-водица, что на улицах творится!

Едет барыня в карете — есть же счастливые на свете!.. А сзади лакеи, льет с шапок за шеи, за мокрые ливреи. Спереди кучер — мрачнее тучи. Фыркают кони — вот-вот карета потонет.

Бежит старичок, распахнулся у него сюртучок, а под сюртучком у бедняги важные бумаги. Завертелся старичок, как волчок:

"Промокнут! Беда! Испортит бумаги вода".

А вот ведут солдат, в ниточку ряд, молодец к молодцу, лупит их дождь по лицу, бьет во всю мочь, прыгают капли прочь, а солдаты идут не моргнут, будто они не живые, а заводные.

Кричали, бренчали мы по дворам, и тут и там, и этак и так, только раздразнили собак.

А ветер все злее лупит по шее, бьет по щекам и орет еще жалобней деда, будто и сам просит обеда.

И вдруг бах! — раз, бах! — два, бах! бах! бах! — пять, — и пошло стрелять.

Сколько лет прошло, а помню — как глянул дед, как стал без движенья, говорит — наводненье!

Пушка! Пушка!

Чуть не сбила нас с ног старушка с большущим узлом, забегала кругом в тревоге — никак не найдет дороги.

Несется купец, бледный, как мертвец: “Пропала, кричит, — моя голова, лезет из берегов Нева, как из бутылки пиво. Запирайте! Живо!”

Тут дед со мной — бегом домой.

Ну и вода водица, что на улицах творится!

Пушка бьет, бьет, бьет, мечется народ взад и вперед, волокут из подвалов корзины, узлы, подушки, перины, ищут ребят, ребята пищат; от перепуга давят друг друга — и смешно и жалко, будто ткнули в муравейник палкой.

Сидит в луже пьяный, обнимает тулуп рваный да помятый самовар и орет: “Пожар! Пожар!”

Подбежали к реке — затряслась я у деда в руке.

Вода черная, как в темную ночь, о берег бьет во всю мочь, тесно ей стало, места ей мало. Серый вал зашуршал, через дорогу перебежал, стал на дыбы от злости и нырнул в подвал к бедняге в гости.

Брызнули стекла, занавеска промокла, пискнул в клетке скворец — почуял бедняга конец, — и поплыли, качаясь, стулья, скамейка, стол.

Не в пору хозяин из дома ушел!

Вот наш дом, ветер стучит замком, суетится вода кругом. Еще немного — и дойдет до порога.

Дед за ключом — не может найти, потерял по пути. Тянет дед замок, прямо падает с ног, ломает, бьет — никак не оторвет. Расшиб стекло кулаком — и в дом, а за дедом ветер с дождем. И пошла суета да тревога. Мечется дед от окна до порога, машет рукой, говорит сам с собой, схватит то ящик, то подушки, а стекла звенят от пушки, пол шипит от воды — дожили мы до беды!

Струйки просочились через щели, на половицах заблестели, поползли, как змеи, все быстрее и быстрее, перепутались узлами, и закружилась вода под ногами.

Прицепил меня дед высоко на гвозде, а сам — по колено в воде.

“Знаю, кричит, как быть, — надо скорее уплыть; возьму у соседа молоток, собью замок, стол вынесем, перевернем и на нем через Неву переплывем!”

Крикнул — и прыгнул в окно, а на улице уже темно. Пляшет вода кругом, подрагивает дом. Дребезжат стекла в окне, трещат бревна в стене. А кто-то орет во всю глотку: “Лодку! Лодку!”

Скорей, скорей, дедушка Пантелей!

Вода все ближе, вода все выше, а ну как зальет от пола до крыши?

Звякнули стекла — идет! Идет! Нет, вскочил на окошко лохматый кот, оглянулся и место посуше нашел, перепрыгнул с окна на стол.

И тут — как рванется дом! Матушки! Да никак мы плывем!

Сразу тише стало, закружило нас, закачало, чугуны на печи стучат, шлепнулся в воду ухват, и царапает по столу кот, боится, что упадет.

Эх, дедушка дед, натворил ты бед, не в добрый час ты ушел от нас!

Стало светло за окном, зачернела рама крестом; вот солнечный луч из-за туч, пожелтело, потеплело.

Матушки, беда! Кругом вода, одна вода!

Нет соседских домов, не слыхать голосов. Тихий плеск да белый блеск, и далеко, далеко, как черная точка, — бочка. И все... Куда же нас несет?

Прыгнул к Анютке кот, улегся и песенку поет. Анютка уснула от качки и гула, — только я, балалайка, тужу, только я, балалайка, в окошко гляжу.

Эх ты, дед Пантелей, не видать тебе внучки веселой своей.

Качаются у дома щепки да солома.

Взъерошился кот, поводит ушами, — плывет доска сплошь покрыта мышами. Пищат мыши, друг друга толкают, лезут к середине, — подальше от края.

Иные на задних лапках стоят, глаза их что капли блестят, шевелят усами, поводят носами, вертят головой туда и сюда: куда же, мол, несет нас вода?

А за ними в клетке зеленая птица, нахохлилась — видно, боится.

Поглядела птица кругом, увидала меня за окном и крикнула так: "Дурак! Дурак! Дурак!"

И не думала птица, что скоро нам с ней подружиться...

И опять у дома только щепки да солома, качаемся в тишине, одни стекла дребезжат в окне.

И вдруг гулко над самой водой голос и другой.

Говорит один: "Гляди — дом впереди!"

Говорит другой: "Да он пустой".

А первый в ответ. "А ежели нет?"

А ему другой: "Да ты что, слепой? Получше смотри — замок на двери. Значит, дом нежилой, поворачивай домой".

Эх, дедушка-дед, натворил ты бед, что же теперь будет с нами — не звенят мои струны сами... Как мне людей на помощь позвать?

А под окном разговор опять.

"Да что тебе лень проехать сажень?"

"Ну, ладно, верти рулем, держи на дом!"

"Стой! Кто-то бранится".

“Смотри-ка — птица”.

“Вот это находка!”

— Ворочай лодку. Птица дорогая, а что в этом сарае? Спрячь ее за пазуху, согрей, да к берегу скорей.

И поплыли ребята прочь.

А я как стукнусь о стенку во всю мочь — и задребезжала на одной струне: “Ко мне ребята! Ко мне!”

Сначала тишина у окна.

А потом говорит один: “Погоди, балалайка гудит!” А ему говорит другой: “А ежели там домовой?” А первый в ответ: “Ты в уме, али нет? Где же это бывает, что домовой на балалайке играет? Не дери даром глотку, поворачивай лодку!”

Вот шарит рука по стене, показался парень в окне.

Взглянул и покрутил головой: — “Дом-то и вправду пустой. Непонятное дело — почему же балалайка звенела?”

А снизу шепчет другой: “Я же тебе говорил — домовой!”

Тут Анютка как заревет — чуть не выпал из ящика кот.

Парня перекосило: “И впрямь нечистая сила. Кот человеческим голосом орет”.

И оттолкнулся с размаха, чуть в воду не упал от страха.

Завели ребята спор под окном.

Один стоит на своем: “Давай этот дом подожжем!” А ему другой: “Да он сырой, не сгорит все равно: лучше пустим его на дно!”

Эх, дедушка-дед, без тебя я натворила бед! Позвать я людей сумела, а как им объяснить, в чем дело?

И тут я вижу — плывет челнок, а в челноке старичок, в шапке с большим козырьком, и тоже глядит на дом.

“Что, — хрипит, — случилось, ребята? Отчего пошел войной брат на брата?”

“Кузмич! — обрадовались ребята. — Ты много видал когда-то: и в солдатах служил и на турку ходил. Прожил лет сто примерно, а такого не видал наверно. Тут кот человеческим голосом орет. Балалайка бренчит сама собой... Ясное дело — домовой!”

“Сбей, — хрипит Кузмич, — замок веслом, загляну я в дом”.

Слетел замок — и вошел старичок.

Кустами брови, нос красней моркови, морщины, как паутина, и такая на подбородке щетина — хоть чисть коня. Стоит да глядит на Анютку да на меня.

Постоял перед нами, пошевелил бровями и ухватился от смеха за живот —

вот-вот упадет.

“Да, — говорит, ребята! Много я видел когда-то, и в солдатах служил и на турку ходил, но чтоб люди от балалайки бежали, да перед младенцем дрожали— вижу впервой! Вот он, ваш домовой!”

И показал на меня и на Анютку.

“Везите, — говорит, — на берег малютку. От голоду девчонка кричала, от качки балалайка бренчала”.

Привязали ребята лодки к страшной находке, на весла налегли да дом с собой и повезли.

А я на радостях бренчу: “Слава тебе, храброму солдату Кузьмичу!”

Показались заборы да крыши. Вот все тише мы едем да тише, вот стукнулись, стали, качаться перестали.

А ребята сбесились ровно! Понравились им наши бревна — никак не решат, кому брать дом. Орут — даже собрался народ кругом. И тут, как ни рассуждай, а только спас нас попугай.

Взбрело будочникам на ум — взглянуть, что это за шум.

Знаешь ты, например, что такое милиционер?

Красная шапка, черный козырек, на боку шашка, на груди свисток.

И ночью и днем озирается кругом, во все стороны глядит — за порядком следит.

А в то время будочники были, тоже за порядком следили.

Целые сутки не вылезали из будки. Выглянут изредка повидать знакомых или поискать насекомых.

А для устрашения воров было у них что то вроде топоров, только топорище аршина в два, не годились рубить дрова. Прибежали будочники вчетвером, заглянули в дом, схватили за шиворот ребят, чего, мол, кричат? Но тут птица решила за ребят вступиться. И гаркнула из-за пазухи так: “Дурак!”

Ахнул народ кругом — будочника обругали дураком!

Будочник покраснел, как рак. “Это я, — говорит, — дурак?” Да как застучит топором: “Сейчас же к начальству идем!”

“Да это не я, птица!”

“А кто научил ее браниться? Да подлые вы люди, да вам такое будет, да вас мало повесить!”

Ребята ему — слово, а он им — десять.

Словом, как ни плакали ребята, а повели их куда то, а с ними зараз забрали и нас.

Тут же и кот, и его будочник несет. “Есть, — говорит, — приказ на этот счет,

забирать весь приблудный скот".

Тащат нас и тащат, а народ глаза таращит, иные следом бегут — "да кого ж это ведут?"

Догнала нас какая-то старушонка, пожалела, видно, ребенка;

запыхалась — бежала издалека — и сует Анютке молока.

И сразу собрался народ — глядеть, как Анютка пьет. Наседают друг на друга, толкаются, разглядеть получше стараются.

И вдруг завертелся народ, как вода в воронке, — пробирается кто-то к девчонке, валит всех на пути, спешит пройти. "Давайте, — кричит, — ее сюда!" и прет из толпы борода.

Матушки, да это наш дед, в мешок какой-то одет, ободран, бос, желт, как воск, руки трясутся, во все стороны суются, слезы из глаз — вот-вот упадет сейчас, но все-таки орет, на помощь народ зовет.

И пошли они кричать друг на друга: дед — от испуга, будочник оттого, что привык смолоду, а девчонка — с голоду.

Гудит народ — ничего не поймет.

Полезли свидетели, на все вопросы ответили, врали, себя не жалея, будто знают давно Пантелея и всех его родных — и мертвых и живых. А две бабы сказали, что меня, балалайку, еще маленькую знали и что кот у нас от рожденья живет.

Перестали будочники сердиться и отдали деду и нас, и кота, и даже птицу.

После дед разводил руками: "А вы почему с нами?"

И отвечал попугай ему так: "Дурак!"

Что было потом? Ну, нашли новый дом да зажили впятером.

Бродили и тут и там, по рынкам и по дворам, пели да жалобно глядели, подадут нам или нет — внучке на обед?

И попугай был с нами, качался у деда за плечами и покрикивал следом за мной и за дедом: "Говори, балалайка, выговаривай!"

Эх, дедушка-дед! Сколько мы не виделись лет, а бывало — не было дня, чтоб ты дома оставил меня!

Давно меня в руки не брали, — неужели все играть перестали?

1924 г.

Петька-Петух, деревенский пастух.

Петька-Петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а как щелкнет кнутом на пригорке крутом, да посмотрит вокруг на зеленый луг — экий, скажешь, орел в пастухи пошел.

Орел-то орел, а подвел его вол. Ох, буча пошла из-за пегого вола! Ох, вол ты мой вол, да куда ж ты ушел?

Кричит дядя Тарас — а ты где его пас? Там и ищи, а пропал — не взыщи. При всех разложу и кнутом накажу. А потом тебя в суд дурака отведут.

Петька-петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а как начал кричать, да палкой стучать, — я два года пас, что пропало у вас? Не доел, не доспал — кто спасибо сказал? А теперь ты за кнут? А теперь меня в суд? Это верно, что в суд — да кого поведут!

Сказал — и бегом, только пыль столбом.

Ну и ночка, видна каждая кочка, каждая травинка видна — такая на небе луна. Слыхать, как трава растет, слыхать, как жучок ползет, каждая мошка слышна — такая в степи тишина. А вола и не слышно и не видно — заплакал бы Петька, да стыдно.

Вышел Петух на бугор — вдруг видит внизу костер. Горит, полыхает, комаров пугает. Двое людей, тройка коней. Пошел было Петька-Петух, а костер зашипел и потух. И кто-то навстречу скачет — батюшки, что ж это значит? Разом погас костер. Кто-то скачет верхом на бугор — странное дело, братцы, есть от чего испугаться. Петька в траву головой — и замер живой-не-живой.

Покрутился кругом верховой и кричит: — эй ты, чумовой! Для чего ты костер залил, для чего ты кулеш загубил? А еще говорят, что ты старший конокрад. Конокрад нынче хуже зайца, каждого куста пугается. Ступай, дуралей, стреножь коней. Для того ли крали, чтоб они удрали.

Затих разговор, потух костер, конокрады спят, кони уздечками звенят. Трава шевелится, ползет как лисица Петька-Петух, деревенский пастух. Кнут в руках, нож в зубах, еле дышит, сам себя не слышит, ползет, ползет вперед и вперед.

Конокрады храпят каждый на свой лад, один со свистом, другой басисто. А конь стреноженный, дрожит — встревоженный. Петька у ног конских прилег: стой, Карий, минуту — разрежу путы. Тише ты, тише, конокрад услышит, и как взлетит верхом, одним прыжком, да как свистнет на коня, эх, потопчем зеленя!

Ну и ночка, видна каждая кочка, каждая травка — такая на небе луна. Горки да ямы, прямо да прямо. Карий — летит, ветер свистит. А конокрады наперерез, блестит под луной обрез. Ну и кони, вот-вот догонят. Эй, Петька-Петух, гони во весь дух!

А у Тарасовых ворот суетится народ, седлают коней — скорей, скорей! Сам Тарас босой, с непокрытой головой, прыгает вокруг коня — подсадите меня! Гоните за Карим, не теряйте времени даром!

И вдруг из-за угла сам Карий, как стрела, крутым поворотом подлетел к воротам, и встал, как влитой, и затряс головой — видно, твердая рука у лихого седока.

— Получай от меня за вола коня.

Ай да Петка-Петух, деревенский пастух!

Кричит дядя Тарас: — Как ты Карего спас? Это конь пяти лет, да ему цены нет! Ах ты парень бедовый, получай рупь-целковый. А беглец-то, вол, сам домой пришел!

Петька-петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а рукой взмахнул — и целковый швырнул.

— То про суд говоришь, то целковый даришь! Ничего мне не надо, прощай, мое стадо, прощайте, луга, — я вам на слуга!

И пошел Петька прочь, в лунную ночь. Взял да ушел Петька-орел.

Только его и видели — очень уж парня обидели!

1924 г.

Два друга: Хомут и Подпруга.

Жили-были два друга — Хомут и Подпруга. Была у них кобыла да тетка Ненила. Кобыла сивая, а тетка красивая. Занедужилось тетке — щучья кость застряла в глотке. От косточки щучьей стал у нее голос страшный, хрипучий. Стали косточку тащить — поломали клещи.

— Ну, — хрипит Ненила, — без клещей мне могила. Накормлю я вас щами и езжайте в город за клещами.

И Подпруга и Хомут в один голос ревут, слезы льют на бороды, боятся они города. Ну, тетка Ненила ребят пристыдила, похлебали они щей — и в город скорей.

Пришел поезд на вокзал, носильщик толпой побежал, у каждого на груди бляха — затрясся Подпруга от страха: бегут люди нумерованные, бегут вещи запакованные. Караул! Это воры, больно на ногу скоры!

— Нет, — говорит Хомут, — они вещи при всех берут. А вот зачем у них номерки возле правой руки?

— А это, — говорит Подпруга, — чтобы знать, как позвать друг друга. Кажись, говорила Ненила, что на всех здесь имен не хватило. Ведь всего-то полсотни имен, а народу в городе мильон. Вот заместо имен номерки возле правой руки.

Вышли с вокзала — обоим жарко стало. Во все стороны улицы, извозчики кружатся. Зашептались Хомут и Подпруга, схватили под мышки друг друга. Очухался первым Хомут:

— Где же здесь клещи продают?

Идет мимо тетка, меха до подбородка, каблуки в аршин и юбкой шуршит.

— Тетя, — говорит Хомут, — где же здесь клещи продают?

А она лицо воротит:

— Какая я вам тетя?

Взял ее за локоть Подпруга: "Объясни, не сердись, будь другом!" А она: "Это что за за манера — поди да спроси милиционера!" Ткнула в площадь пальцем и поплыла с перевальцем.

Глянули ребята на площадь, а на площади лошадь залезла на ящик, глазища таращит, на лошади бородач, пудов в десять силач, в плечах широк, рука в бок— милиционер и есть — "Где же тут клещи, ваша честь?"

Молчит дядя, поверх ребят глядя.

Покричали с полчаса, надорвали голоса. Озлился Хомут:

— Ты хоть важный, а плут! Думаешь, дадим на чай? Так на, получай, вот тебе шиш за то, что молчишь!

Вдруг идет малец, панельный купец, сам с ноготок, на брюхе лоток.

— Кричать,— говорит,— бесполезно, бородач-то у нас железный. Дурья твоя голова — видишь на ящике слова: "Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я пожал удел посмертного бесславья, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья!"

— Прости, — говорит Хомут, — мы приезжие тут. А где бы нам купить клещи?

— А ты кузнечный ряд ищи.

— А где ж кузнечный ряд?

— А туда идут все трамваи подряд.

— Ваша честь, а как нам на трамвай сесть?

— Вы ступайте-ка на двор, там в конце двора забор, у забора станьте да на небо гляньте, ухватитесь за живот и орите во весь рот: "трамвай подавай, трамвай подавай!"

Вошли ребята во двор, отыскали забор, ухватились за живот, заорали во весь рот: "трамвай подавай", да "трамвай подавай!"

Дворник подбежал с метлой, а они ему: "Постой, не мешай, не замай, трамвай подавай!"

Дворник крякнул, метлу оземь брякнул, взял ребят за шиворот, за ворота выволок.

— Ну, — говорит Хомут, — коль трамваи не идут, значит, дело неспроста, значит, заняты места. Пойдем пешком, добредем шажком.

Орут друг на друга Хомут и Подпруга, стоят у машины, глядят на шины. А шофер молодой — в мех ушел бородой, с присвистом дышит, уснул и не слышит.

— Экой ты бестолковый! Говорят тебе, обод дубовый!

— Эх ты, неумытая рожа! Говорят тебе — это кожа.

— На вот тебе ножик, ткни-ка — дуб или кожа.

Ткнул ножом Подпруга, ошалел от испуга. Лопнула шина, дрогнула машина. Заорал шофер со сна. Ударил в сигнал. Зарычал гудок, а ребята наутек.

Дошли до угла — голова кругом пошла. Суета и давка, что ни шаг, то лавка. Ситец в цветочек — тетке на платочек!

— Купец, — говорит Хомут, — а почем у вас ситец продают?

— За этот полтина для хорошего гражданина...

— Отрежь аршин!

— Виноват, гражданин! Аршинов больше нет, продают у нас на метр.

— Ладно, — говорит Хомут, — продают — так продают.

Купил Хомут ситца, а Подпруга на сахар косится.

— Почем сахар?

— Двадцать пять.

— Так и быть, придется взять.

— Сколько прикажете отвесить?

— Да этак — метров десять!

Поглядел купец сурово, не сказал ни слова, погрозил приятелям и ушел к другим покупателям...

1925 г.

Война Петрушки и Степки-Растрепки.

Смотрите на Степку, глядите на Растрепку!

В чернилах руки, в известке брюки, на рубашке пятна — смотреть неприятно.

У Степкиного дома прелая солома, метлы торчат, галки кричат.

У крыльца стоит Степан, поднимает грязный чан, то сам отопьет, то свинье подает.

Вот стоит Петрушка, гладкая макушка. Вымыты руки, выглажены брюки, рубашка, как снег, — аккуратный человек. Стоит в саду Петрушкин дом, игрушки бегают кругом. Попадешь к нему в сад — не захочешь назад.

Бежит, как шелковый клубок, ученый пес его Пушок: "Тяф-тяф! Пожалуйте за мной, вас ждет давно хозяин мой!"

И говорит Петрушка, гладкая макушка:

— Войдите, мы вам рады. Хотите шоколаду?

Песенка Петрушки:

У меня родня — игрушки,
У меня звон и шум.
Медвежонок — брат Петрушки,
Ванька-Встанька — сват и кум.
Дзинь-бум!
Сват и кум!

Спать ложимся ровно в восемь,
Ровно в шесть встаем.
Пол метем и воду носим,
Щепки колем топором.
Дзинь-бом!
Топором!

Самый лучший дом на свете —
Светлый дом, Петрушкин дом!
Умывайтесь чаще, дети, —
Мы вас в гости позовем.
Дзинь-бом!
Позовем!

Песенка Степки Растрепки

Я Степка Растрепка
Хрю!
Я свиньям похлебку
Варю!
Нет в мире похлебки вкусней.
Не веришь — спроси у свиней!

Вся нечисть и грязь
Хрю!
Ко мне собралась,
К свинарю.
Нет в мире меня грязней.
Не веришь — спроси у свиней!

Я умник большой
Хрю!
"Ученье долой!" —
Говорю.
Нет в мире меня умней.
Не веришь — спроси у свиней!

Я первый герой
Хрю!
Пусть выйдет любой —
Поборю.
Нет в мире меня сильней.
Не веришь — спроси у свиней!

Была у Петрушки дочка Погремушка. Весь свет обойдешь — милей не найдешь.

Увидал ее Степка, грязный Растрепка, почесал свою гриву:

— Ничего, — говорит, — красива! Я сейчас на ней женюсь, либо в луже утоплюсь!

Побежал Степан домой, воротился со свиньей.

Земля задрожала, свинья задрожала, испугался Пушок, удрал со всех ног. Погремушка махнула рукой:

— Уходи, такой-сякой! Забирай подарок гадкий, удирай во все лопатки!

А Степан берет лягушку, угощает Погремушку:

— Кушайте, красавица, это вам понравится!

Квакнула лягушка, ахнула Погремушка, махнула рукой, убежала домой. Обиделся Степка, обиделся Растрепка.

— Я, — говорит, — не прощу, я, — говорит, — отомщу!

Взял Степан бутыль чернил да Пушка и окатил.

Пушок завизжал, к хозяину прибежал:

— Обидел меня Степка, запачкал меня Растрепка!

Рассердился Петрушка, гладкая макушка:

— Я, — говорит, — ему не прощу! Я, — говорит, — ему отомщу!

Развел Петрушка мелу кадушку и Растрепке отомстил — свинью мелом окатил.

Свинья завизжала, к хозяину побежала:

— Пожалей свою бедную свинку: побелил ей Петрушка спинку!

Топнул Растрепка ногой и пошел на Петрушку войной.

Свинья бежит, земля дрожит. На свинье Степка, грозный Растрепка, а за ним в ряд воины спешат — родственники Степки, младшие Растрепки.

Храбро за Петрушкой в бой пошли игрушки. Пушки новые палят, ядра — чистый шоколад!

Степкины солдаты, жадные ребята, увидали шоколад — и сражаться не хотят. Ядра ловят прямо в рот — вот прожорливый народ! Ловили да ели, пока не отяжелели. Повалились спать, — где уж там воевать!

Во дворе Петрушки пляшут все игрушки. Бьет Петрушка в барабан: нынче в плен попал Степан!

Идет Степка пленный, плачет Степка бедный:

— Прощайте, поросята, веселые ребята! Прощайте, мои свинки, щетинистые спинки! Я в плен попал, я навек пропал!

Подошел Петрушка, гладкая макушка, и крикнул страшным голосом:

— Остричь Растрепке волосы, свести в баню потом и держать под замком!

Пять мастеров над Степкой билось, двенадцать ножниц иступилось. Растрепкиных волос увезли целый воз. Постригли, помыли и в тюрьму посадили.

Служил у Петрушки лекарь, чинил любого калеку. Ногу, скажем, пришьет, йодом зальет — глядь! — нога и приросла, будто так и была.

Привели к нему раненых солдат: "Почини", — говорят. Скорее да скорее. Доктор рук не жалеет; то зашьет, то зальет, тратит бочками йод. Кончил шить — вот беда! — все пришито не туда.

Раненые воины все до слез расстроены. Один видит вдруг — ноги вместо

рук. Убивается другой: “Не могу ходить рукой!”

А командиру — что за срам! — пришили голову к ногам. Утешает лекарь командира:

— Зато вам не надо мундира. А раз вам нужны только брюки — для чего вам туловище и руки?

Шла Погремушка домой, поравнялась с тюрьмой — что же это значит? Кто же это плачет?

Это Степка слезы льет, Степка песенку поет:

Я тихонько сижу,
На окно гляжу.
Как светло за окном.
Как темно кругом!
Никто меня не слышит,
Шуршат в подполе мыши,
Кричат часовые
Страшные да злые.
Не с кем мне поиграть,
Не с кем слова сказать!

Погремушка поглядела — арестанта пожалела: у него башка остриженная, у него лицо обиженное...

Голосил он так уныло, что она его простила.

Помчалась домой, ключ схватила большой, прибежала назад:

— Вылезай-ка, брат! Бежим со мной ко мне домой!

Говорит Погремушка:

— Не сердись на нас, Петрушка! Я видала, как в темнице Степка бедный томится. Одолела меня жалость, мое сердце так и сжалось, я обиды позабыла и его освободила.

Говорит Степка, бывший Растрепка:

— Ты меня прости и домой отпусти. Я помою всех знакомых, уничтожу насекомых, мелом выбелю дом и сюда бегом. Подари ты мне игрушки и жени на Погремушке. Я примусь тогда за чтенье, и возьмусь я за ученье!

Покачал Петрушка головой:

— Что же делать мне с тобой! Все прощу я, так и быть, если руки будешь мыть!

Мчится Степка домой с мочалкой большой, а за ним несется в ряд, голых банщиков отряд.

Дома баню затопили и к работе приступили.

Две недели не пили, не ели, мыли да поливали, брили да подстригали.

Всех помыли, никого не забыли! Стали вымытые в ряд, банщиков благодарят.

Веселый задал пир Петрушка, на свадьбе Степки с Погремушкой.

Двадцать три торта разного сорта, яблоки с арбуз, как сахар на вкус, ташкентский виноград, конфеты, шоколад — гости еле-еле все это поели!

А пошли плясать, прямо ног не видать — так высоко прыгали, так ногами дрыгали.

А в оркестре у Степана два порвали барабана, чуть не лопнул трубач, а скрипач пустился вскачь:

На руках моих мозоли,
Нету больше канифоли,
Надоело мне играть,
Очень хочется плясать!

Три сапожника в зале к плясунам подбегали, зашивали башмаки, подбивали каблуки.

Раздавали повара сахарные веера; веерами обвевали, лимонадом угощали.

Сам Петрушка плясал, пока на пол не упал; полежал минут пять — и опять пошел плясать!

Есть еще на свете скверные дети, вроде Степки, неряхи и растрепки. Не хотят мыться, не хотят учиться.

Как пойдут по улице, прохожие хмурятся, собаки бросаются, лошади пугаются.

Кто боится воды — тот дождется беды. А кто любит мыться, любит учиться, тот скорее растет, веселее живет.

Здесь налево и направо нарисован мальчик Пава. Он растрепкой был сначала — мама плакала, рыдала. Посмотрите — стали птицы в голове его гнездиться.

Он узнал из нашей книжки, что нельзя прожить без стрижки.

Начал мальчик Пава мыться, и работать и учиться.

Глянь налево, глянь направо, где красивей мальчик Пава?

1925 г.

УНДЕРВУД

Пьеса в 3-х действиях

Действующие лица

Мария Ивановна.

Иринка, Анька — ее дочери.

Варвара Константиновна Круглова, по прозвищу Варварка.

Маруся — ее падчерица, пионерка.

Маркушка-дурачок — нищий, безногий, в колясочке на роликах.

Крошкин — студент техникума сценических искусств.

Мячик — студент политехникума.

Антоша — старик-часовщик.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двор в пригороде или в дачной местности. В глубине двора двухэтажный дом. Наверху живет Мария Ивановна с дочерьми — Иринкой и Анькой. Комнату она сдает студентам — Мячику и Крошкину. Внизу, налево, живут Варварка и Маруся. Направо, как раз под комнатой студентов, в бывшей лавчонке — Маркушка-дурачок. Лето. Часов пять вечера. Анька поливает траву из стакана.

Иринка. Анька!

Анька. Чего?

Иринка *(шепотом)*. Что я видела!

Анька. Чего?

Иринка. Подойди сюда! Скажу.

Анька. Да-да!

Иринка. Что да-да?

Анька. Я подойду, а ты плюнешь.

Иринка. О! Есть мне время на всех плевать. Что я дождик, что ли? Иди сюда!

Анька. А вчера ты зачем плюнула?

Иринка Нечаянно! Да иди же сюда!

Анька. Нечаянно! Прямо в ленточку в новую. Нечаянно!

Иринка. Так ты же сейчас без ленточки. Иди! Интересное!

Анька. Мало ли что... Интересное! Я тебя знаю! Хочешь что сказать — иди ты сюда!

Иринка. Ну, тогда погоди. Я сейчас.

Анька *(продолжает поливать траву)*. Погоди... И погожу! Я никуда не бегу. Куда бежать-то? Что я — лошадь? Мать, наверное, уснула. Куда же бежать-то?

Иринка *(выбегает)*. Брось поливать!

Анька. Они пить хотят...

Иринка. Брось поливать! Послушай, что я знаю!

А н ь к а. Наверное, ничего и не знаешь?

И р и н к а. Нет, знаю. Интересное! Про мачеху, про Марусину!

А н ь к а. Про Варварку?

И р и н к а. Ну да! Интересное...

А н ь к а. О?!

И р и н к а. Вот тебе и "о"!

А н ь к а. Ну!

И р и н к а. Вот тебе и "ну" — она деньги считала!

А н ь к а. Деньги?

И р и н к а. Деньги. Во какую массу! Как кирпич. Толстую!

А н ь к а. Рубли?

И р и н к а. Какие там рубли! Червонцы...

А н ь к а. Ну, вот и врешь... Откуда у нее червонцы? Она же бедная! На пенсии. Откуда же у нее? Как же ты увидела?

И р и н к а. Да ты слушай. Видишь вон то гнездо?

А н ь к а. То?

И р и н к а. Да!

А н ь к а. Воробьиное?

И р и н к а. Да!

А н ь к а. Под крышей?

И р и н к а. Да! Да! Да! Полезла я туда за мышонком...

А н ь к а. Зачем?

И р и н к а. Да за мышонком же! Я туда вчера живого мышонка посадила.

А н ь к а. Мышонка? Живого? А мне не сказала!

И р и н к а. Да ведь я же о другом говорю сейчас!

А н ь к а. Сестра называется... Мышонка поймала, а мне...

И р и н к а. Да это же вчера было, когда ты в городе была! Я у кошки его отняла — а он совсем живой. Ну, я его туда... Хотела глянуть, как воробки удивятся... Ну, вот... Лезу я...

А н ь к а. Удивились?

И р и н к а. Ах, да не знаю я! Воробьята запищали, а старых дома не было. А тут меня мама обедать позвала. Я побежала и забыла. Только-только вспомнила. Полезла, глянула, нету там мышонка... Лезу обратно...

А н ь к а. А где же он? Мышонок?

И р и н к а. Да не знаю! Ну, съели его, что ли!

А н ь к а. И хвост?

И р и н к а. И хвост. Да ты слушай! Я же о другом рассказываю! Лезу я обратно — и глянула нечаянно к Варварке в окно. Смотрю — сидит она на

полу, страшная-страшная, в круглых очках. Сидит и деньги считает. Одну доску из пола вынула, оттуда и достает она деньги-то.

Анька. Н-ну!

Иринка. Посчитает-посчитает и закрутит головой, как гадюка!

Анька. Зачем?

Иринка. Смотрит — не подглядывает ли кто!

Анька. Я б с трубы сорвалась от страху.

Иринка. А я скорей назад.

Анька. Мама говорит: она Марусю голодом морит. А папа говорит: она же бедная — пенсия маленькая. Вот так бедная!

Иринка. Откуда ж деньги-то?

Анька. Наверно... Наверно, она разбойница!

Голос Варварки. Опять, опять, опять выросла!

Анька. Она!

Иринка. Варварка!

Анька. Разбойница!

Иринка. Бежим!

Убегают.

Варварка *(за окном)*. Опять она выросла... А? Нет, вы только посмотрите. Опять выросла. Скандалистка!

Маруся *(за окном)*. А я виновата!

Варварка. Четырнадцать лет, а выше матери на целую голову!

Маруся. Вы мне не мать, а мачеха!

Варварка. Все равно, я втрое тебя старше! Растет, растет, сама не знает чего!

Маруся. Трава и то растет.

Варварка. Замолчи!

Маруся. Трава и то растет, а я — человек.

Варварка. Человек нашелся какой! Ты не человек, а девчонка!

Маруся. Чего вы щиплетесь?

Варварка. Я не щиплюсь, а на окно показываю. Открой окно! Темно мне...

Распахивается окно. За окном Варварка и Маруся.

Варварка. Ну, так и знала! На четыре пальца! Разорение! На четыре

пальца!

Мария Ивановна *(показывается из-за занавески в окне второго этажа. Сонно говорит в пространство)*. Здравствуйте, Варвара Константиновна! Что, у вас опять Маруся выросла?

Варварка. Здравствуйте, Мария Ивановна! Опять выросла! Какая вы счастливая... Ваши девочки, как девочки, а моя каждый день растет!

Мария Ивановна *(сонно)*. Вы подумайте! Неужто каждый?

Варварка. Я ее вымерила, я ее высчитала, я в очереди отстояла. Я еле-еле отскандалила, чтобы приказчик ровно метр восемнадцать с половиной сантиметров отрезал. А она возьми да и вырасти на четыре пальца!

Маруся. Цыпленок и то растет.

Варварка. Молчи! Отпустят мне теперь в лавке сатину четыре пальца? А? Отпустят? Цыпленок...

Маруся. Чего вы щиплетесь?

Варварка. Я не щиплюсь, я тебе на дверь показываю. Ступай, переоденься. Цыпленок... Вот сделаю тебе вставку из своей старой юбки, тогда узнаешь, что за цыпленок... Ступай.

Маруся уходит.

Мария Ивановна. Охо-хо-хо-хо!

Варварка *(шьет)*. Чего вздыхаете?

Мария Ивановна. После обеда живот большой. Ляжешь — он тебе на душу давит. Поспишь — на душе тяжело.

Варварка. А вы не спите!

Мария Ивановна. Нельзя. Я сегодня ночь не спала.

Варварка. Отчего?

Мария Ивановна. От снов.

Варварка. От снов не спали?

Мария Ивановна. Ну да! От страшных снов.

Варварка. Что же вы видели?

Мария Ивановна. Старички на костыликах бегают, блошки пляшут. В голову мне гвоздики забивают...

Варварка. Отчего же это сны такие?

Мария Ивановна. От пишущей машинки.

Варварка. От чего?

Мария Ивановна. От пишущей машинки. Студенты — жильцы мои — хорошие люди, а беспокойные. Тот, что на актера учится, — кричит, кричит,

кричит — будто начальство какое. А тот, что на инженера, — принес домой пишущую машинку. Всю ночь: тук, тук, тук! тук, тук, тук! тук, тук, тук! А мне снятся: гвоздики, блошки, костылики. Гвоздики, блошки, костылики...

Варварка. Где ж это он так разбогател — машинку купил?

Мария Ивановна. Что вы — купил... Ее не купишь. Это ему из института дали. Доклад, что ли, спешный отпечатать. А купить ее разве возможно!

Варварка *(бросает шить)*. Дорогая?

Мария Ивановна. Тысячу рублей!

Варварка. Как?

Мария Ивановна. Что это вы так всполохнулись?

Варварка. Укололась об иголку. А почему вы знаете, что она тысячу стоит?

Мария Ивановна. Во вчерашней "Вечерке" читала. Похищена откуда-то там машинка... фабрика, кажется, "Ундервуд" — в тысячу рублей.

Варварка. Бывает... Однако пора и самовар ставить... Маруся! Маруся! Найди мне газету, самовар развести. Маруся! Найди мне вчерашнюю газету!

Мария Ивановна. Батюшки! Что же это я? Совсем забыла, что я пить хочу. Иринка! Аня! Где же вода-то?

Анька *(из окна рядом)*. Я водой траву полила!

Мария Ивановна *(сонно)*. Кипяченой водой? Траву?

Анька. Что ж что кипяченой. Зато холодной!

Мария Ивановна *(сонно)*. Принеси опять.

Анька. Принесу! Только ты не засни.

Мария Ивановна *(сонно)*. Не засну, если ты скоро.

Анька *(во дворе со стаканом)*. Иринка! Иринка!

Иринка выбегает во двор.

Иринка. Чего тебе?

Анька. Идем в погреб за водой!

Иринка. Сама не донесешь, что ли?

Анька. Боюсь я. Страхов насказала про Варварку!

Убегают в погреб. Из дому выходит Маруся. Что-то ищет под окном. Из погреба выбегают Анька и Иринка. Увидев Марусю, замерли. Стоят и глядят на нее.

Маруся *(тихо и печально)*. Девочки! Не видели тут газеты под окном?

Вчерашней? Мачеха велела найти... Чего вы на меня уставились? Неужто я еще выросла?

Анька. Нет. *(Ставит воду на скамейку.)*

Маруся. Так чего же? *(Еще печальней.)* Выкатили гляделки, будто куклы какие-нибудь.

Иринка *(кидается к Марусе)*. Она тебя бьет. Она тебя убьет.

Маруся. Что ты, что ты...

Анька. Она — разбойница, разбойница!

Маруся. Кто?

Иринка. Мачеха!

Маруся. С чего ты взяла?

Иринка. Она деньги считала! Во какую гору! На полу сидела.

Маруся. Когда?

Иринка. После обеда! Я под крышу лазила, в окно увидела.

Маруся. В какое окно?

Иринка. Вон в то!

Маруся. Ну да! Она там после обеда на ключ запиралась.

Иринка. Откуда у нее деньги-то?

Анька. Она разбойница, наверное! Она и тебя из детдома взяла, наверное, чтобы убить!

Маруся. Вот оно! Этого я и ждала! Этого я и ждала все время! Вот оно. Что же делать-то?

Иринка. А ты к нам переходи. У нас живи!

Анька. На диване у нас живи пока.

Маруся. Я так и знала, что дело неладно. Всегда она запирается, всегда в город ездит — а зачем ей? Знаете, девочки, она вчера телеграмму получила, а там написано: “цены прежние”.

Анька. Ну!

Иринка. Прежние?

Маруся. Что это за телеграмма? Знаете, девочки, будь она просто злая старуха, я бы с ней живо справилась. А она непонятная старуха!

Анька. Очки носит...

Маруся. После обеда каждый день сядет она за стол, счеты из шкафа достанет — и давай считать, на счетах щелкать. Щелк-щелк, будто кассирша в кооперативе.

Анька. В “Пролетарии”?

Иринка. Заткнись!

Маруся. Откуда у нее деньги? Наворовала? Будет суд, спросят меня: “Как

это так, восемь месяцев жили у нее — и не знаете, чем она занимается?" А у нее разве узнаешь? У нее все с хитростью. Щиплется — и то так, что не придерешься. Положит руку на плечо, будто так себе, и между пальцами как зажмет! А скажешь ей: "Чего вы щиплетесь?", она сейчас же: "Я не щиплюсь, я показываю" или...

Из лавчонки выезжает в колясочке на роликах Маркушка.

Маркушка. Сено! Солома! Трава! Клевер! Турнепс! Пальмы! Горох! Табак!

Убегает, сделав по сцене два-три круга.

Анька. Маркушка-дурачок побежал милостыню собирать.

Маруся. А как она меня надула, когда я в лагерь собиралась с отрядом! Свалилась, стонет, сознание теряет...

Иринка. У нас было слышно...

Анька. У нас было слышно, как она сознание теряет.

Маруся. Я и поверила и осталась — и вот теперь сижу здесь одна. А отряд неизвестно где. Не знаю, как проехать. Ей даровой прислугой осталась.

Анька. Я очень боюсь ее. Очень.

Маруся. Мячик! Мячик!

Анька. Ай! Ай! Что она делает! Ай!

Иринка. Не надо.

Маруся. Что с вами?

Анька. Зачем Мячик?

Маруся. Посоветоваться! С кем же еще?

Анька. Ай, что ты! Он ведь... Он сразу пойдет узнавать, расспрашивать...

Иринка. Он сразу начнет кричать: "Осмотрись и борись!"

Анька. Варварка рассердится и всех нас поубивает. Она непонятная!

Маруся. Не говори глупостей! Мячик!

Иринка. Ну, постой, ну, еще минуточку дай отдышаться. И зачем, зачем ты к ней из детдома пошла?

Анька. Сидела бы там.

Маруся. Я скучала очень, когда отец помер и бабушка померла. Они ведь мне про Варварку ни слова не говорили. Я ж не знала, какая она. А она пришла в детдом голубь голубем, и все документы в порядке.

Анька. Я б эти документы порвала — да в нее.

Маруся. Не порвала бы. Там все поверили, что она голубь. И арифметик, и заведующий. Уж на что умница Фекла, кухарка, и та поверила. А уж она, кажется, всякого насквозь видела. Кто лишнюю порцию съел, кто окно выбил — все Фекла узнавала, только глянет. А вот на Варварке прошиблась Фекла. У тебя, говорит, будет теперь родная мать. Вот. Посмотрела бы она на эту мать...

Иринка. Хороша мать!

Маруся. Голодом морит! Сегодня на обед одно первое, завтра одно второе. Я один обед два дня ем! И с чего это я расту? Куда ты, Аня?

Анька. Я тебе поесть принесу!

Маруся. Не надо мне! Не до того. Мячик! Мячик!

В окне показывается Крошкин.

Крошкин *(театрально хохочет)*. Ха-ха-ха-ха-ха! Мячик занят... Ха-ха-ха...

Иринка. Чего ты?

Крошкин. Учусь. Это горький смех. Ха-ха-ха-ха! Ну что? Чувствуете? Дошло?

Иринка. Сказать ему?

Маруся. Ну да!

Иринка. Дядя Крошкин, спуститесь к нам!

Крошкин. О! Чего вы... так взволнованы... о... девочки двора?

Анька. Скажем что-то страшное про...

Иринка. Тссс-с!

Крошкин. О... я... заинтересовался... трепеща! Сейчас прибегу... как будто козочка... бегом... и кувырком... *(Скрывается.)*

Анька. Что, у него опять зачет?

Иринка. Ну да! Видишь, как складно говорит.

Анька. А когда он совсем на актера зачтется?

Иринка. Его спроси!

Крошкин. Ну вот и я... с ногами и... и... и ушами. О! В чем дело?

Маруся. Дядя Крошкин, у меня беда.

Крошкин *(серьезно)*. Опять выросла?

Маруся. Да это пустяки!

Крошкин. Как пустяки! Нет, брат, это не пустяки. Рост — это дело ого-го!

Маруся. Да ты послушай!

Крошкин. Рост это дело... крупное. Недавно заработал я десятку на халтуре.

Иринка. Постой! У нас беда!

Крошкин. Сейчас! Захотел я что-нибудь себе подарить — и невозможно! Самая большая рубашка — и мне рукава до сих пор!

Анька. Послушай нас, дядя!

Крошкин. Сейчас! И придется мне рукава наставлять. А кто мне наставит? Брюки хотел купить — и брюк по мне нет. По сих пор самые длинные. Ничего себе подарить не могу! А ты говоришь — рост пустяки... Рост это...

Маруся. Дядя Крошкин! Пожалуйста, очень я тебя прошу. Важное дело.

Крошкин. Ну, ладно! Слушаю. *(Садится с размаху на стакан с водой.)* Караул! Тону!

Анька и Иринка смеются.

Маруся. Ну вот! Все заржали! С вами никогда дела не сделать. Мячик! Мячик!

Анька. Маруся, не надо!

Иринка. Маруся! Он ведь очень рассердится.

Анька. И она рассердится.

Иринка. И нам плохо будет.

Анька. И тебе плохо будет.

Маруся. Бросьте, девочки! Мячик!

Девочки плачут.

Крошкин. Ревут! Честное слово, ревут! Ревут, как тигры. Раньше Мячик— любимец публики, а теперь он вдруг вызывает слезы... В чем дело?

Анька. Мы боимся!

Крошкин. Кто?

Иринка. Она Варварки боится.

Крошкин. А ты?

Иринка. И я!

Крошкин. Ничего не понял! При чем здесь Мячик?

Маруся. Мячик! Мячик!

Распахивается окно.

Мячик. Кто меня звал? Ты, Маруся?

Маруся. Я, Мячик.

Мячик. *(выпрыгивает из окна)*. Ты? По делу?

Маруся. Я. Да.

Мячик. По важному?

Маруся. Да!

Мячик. Если так, то постой. Ать-два! Ать-два! Ну вот, опять на плечах голова. А то был котел. Шутка ли? Всю ночь печатал. Какое дело?

Маруся. Иринка у мачехи видела — во какую гору денег! Она на пенсии. Откуда же деньги-то?

Мячик. Что, что? Деньги?

Анька. Это Иринка видела, не я...

Иринка. Я... Она... Мы... боимся...

Мячик. Глупости! Осмотрись — и борись! Что за ерунда! Не дрожать! Деньги там были? Не ошибаешься?

Маруся. Нет! Я давно вижу что-то неладное, очень что-то неладное делается у нас. Как быть? А? Мячик!

Мячик. Маруся, Маруся, где ты так избаловалась? Осмотрись и борись— понятно? Осмотрись и борись! А мы поможем...

Маруся. Откуда у нее деньги? Награбила?

Дверь в квартиру Варварки распахивается.

Варварка. Здравствуйте, молодые люди. Что глядите так? Впервой видите?

Крошкин. Привет вам... о, герцогиня! Хотя, конечно, не впервой, но вроде как бы и впервой!

Варварка. А вы все пьесы учите? Все из роли?

Крошкин. Хоть не из роли, но в этом роде.

Варварка *(Мячику)*. А вы всю ночь печатали?

Мячик. Да!

Варварка. Устали, небось?

Мячик. Да!

Варварка. А трудно это — научиться печатать?

Мячик. Нет!

Варварка. А какая у вас машинка? Какой фабрики?

Мячик. “Ундервуд”!

Варварка. А ты что стоишь? Я тебе велела “Вечерку” вчерашнюю найти. Я хочу самовар развести. Где газета? *(Кладет Марусе руку на плечо.)*

Маруся. Да чего вы щиплетесь?

Варварка. Я не щиплюсь, я тебя направляю! Ступай, ищи.

К р о ш к и н. О, герцогиня! Не посылайте искать... сию малютку. Вот вам газета.

В а р в а р к а. Так ведь это “Правда”!

К р о ш к и н. Но, герцогиня, газета вам нужна для самовара. Ведь “Правда” больше “Вечерки”?

В а р в а р к а. Действительно, я напутала. Давайте “Правду”, все равно!

К р о ш к и н. О нет, зачем же! Мне тоже все равно. *(Опускается на одно колено.)* О, герцогиня, вот вам “Вечерка”.

В а р в а р к а. Спасибо! *(Кладет Марусе руку на плечо.)* Идем!

М а р у с я. Чего вы щиплетесь?

В а р в а р к а. Я не щиплюсь, я тебя зову. Идем.

М а р у с я. Сейчас.

В а р в а р к а уходит.

М а р у с я. Что мне делать, братцы? Что мне делать?

К р о ш к и н. Иди и возвращайся!

М а р у с я. Хорошо. *(Убегает.)*

М а р и я И в а н о в н а *(сонно)*. Иринка! Анька! Где же вода?

И р и н к а. На нее дядя Крошкин сел.

М а р и я И в а н о в н а *(сонно)*. На кипяченую воду сел?

И р и н к а. Так ведь нечаянно!

М а р и я И в а н о в н а *(сонно)*. Принеси еще!

И р и н к а. Так ведь ты опять заснешь.

М а р и я И в а н о в н а. Не засну, если ты скоро.

Из окна студентов хор. Радио.

И р и н к а. Радио! Бежим скорей за водой.

А н ь к а. А потом послушаем. Да?

И р и н к а. Да! Бежим скорей!

Убегают.

М я ч и к. Ну что скажешь, товарищ Крошкин?

К р о ш к и н. Дело неясное, товарищ Мячик.

М я ч и к. Какие они деньги видели? Правду говорят?

К р о ш к и н. Несомненно, правду. Они тут ревели. Они — девочки веселые.

Если ревут, значит, что-то неладно.

Мячик. Тут разобраться надо.

Крошкин. Это так.

Девочки выбегают из погреба.

Анька. Еще не кончилось радио...

Иринка. Мама! Мама! Я принесла воду! Спит.

Анька. Что это они играют?

Мячик. А не знаю, сюда не слышно было, как объявляют.

Маруся выбегает из дверей.

Маруся. Братцы, дорогие мои! Что мне делать? Вы радио послушаете, по домам пойдете, а я к ней на мученье! Вы будете спать, а мне конский волос щипать!

Мячик. Какой конский волос?

Маруся. Бросила мне сейчас матрас грязный, старый, в помойной яме нашла, что ли. "Выщипи, говорит, из него конский волос".

Иринка. Зачем?

Маруся. А разве я знаю? Выщипи и в мешок набей. Что делать, товарищи? А? Куда деваться?

Мячик. Ох Маруська, Маруська! И когда это ты так избаловалась? О чем мы вчера говорили?

Маруся. Ах, не помню! Посоветуй, что делать, Мячик! А? У нас там такая сырость да грязь, а теперь еще деньги эти...

Мячик. Маруська, мы вчера с тобой говорили об Индии. Верно?

Маруся. Ну, верно.

Мячик. Что ты мне говорила? Ах, счастливые индусские пионеры! Ах, у них там борьба. А теперь заныла? Когда до борьбы дошло — заныла? Как только непонятное положение, опасность — плачешь? Это, брат, только в книгах: чуть что — отряд на выручку спешит, а в жизни не угодно ли иной раз и одной попробовать.

Маруся. Да ведь тут мачеха, а не...

Мячик. А мачеха тебе не враг? А откуда у нее деньги? Осмотрись и борись, а мы поможем, а если понадобится — позовем на помощь и...

С улицы крик: "Дерево!"

Анька. Маркушка-дурачок с милостыни вернулся.

С улицы: “Листик !”

Мячик. Идем к нам. Поговорим обо всем подробней.

Влетает Маркушка-дурачок.

Маркушка. Дерево! Листики! Кустики! Веточки! Планочки! Палочки! Рамочки! Вагоны!

Маруся. Братцы, что он ко мне пристал!

Маркушка. Почки! Сучочки! Оглобли!

Иринка. Не трогай меня!

Все уходят. Маркушка один бегает по площадке.

Маркушка. Окно! Стекло! Стакан! Рюмочки! Лампочки! Чернильница! Телескоп! *(Подходит к Варваркиному окну.)* Очки! Хлеб! Пышки! Пирожки! Караваи! Булки! Батончики! Розанчики! Корки!

Варварка *(высовывается из окна)*. Это ты, Маркушка?

Маркушка. Я, Варюша.

Варварка. Подойди-ка сюда. Они все радио слушают?

Маркушка. Да, они все наверх пошли.

Варварка *(вытирает ему лоб платком)*. Опять ты весь потный! Недаром говорила мама-покойница: Маркушке простудиться — пустяк. Застегни ворот.

Маркушка. Как дела?

Варварка. А дела неплохи! Сегодня считала... Знаешь, сколько мы за прошлый месяц заработали?

Маркушка. Ну?

Варварка. Триста пятьдесят рублей. Рубашка-то у тебя какая грязная! Замоталась я сегодня, не успела я тебе смену выстирать... Да! Триста пятьдесят.

Маркушка. Это мы тогда задешево часы скупили. Золотые-то.

Варварка. Ну уж и задешево. Краденые! Продали хорошо, это верно. А купили... Краденые еще дешевле можно купить. Погляди на меня! Что это глаза у тебя такие мутные? У тебя жар!

Маркушка. Какое там! Нет!

ВАРВАРКА. Почему ты знаешь?

МАРКУШКА. Чувствую.

ВАРВАРКА. Ты чувствуешь! Помнишь, когда у тебя корь была? Когда тебе девять лет было? Тоже на ногах ходил, пока сыпь не высыпала.

МАРКУШКА. То когда было. Пирожок мне обещала. Спекла?

ВАРВАРКА. Ой, братик миленький, просто забыла! Замоталась с машинкой с этой.

МАРКУШКА. С какой машинкой?

ВАРВАРКА. Ох ты, господи! О главном-то и забыла. Дело есть! Прибыльное. Читай.

Дает Маркушке вырезку из газеты.

МАРКУШКА *(читает)*. "Из помещения рабкома пищевиков похищена пишущая машинка системы "Ундервуд". Стоимость похищенного около тысячи рублей". Ну?

ВАРВАРКА. Около тысячи рублей. А? Когда мне эта соня верхняя сказала, я не поверила. Я и не думала, что машинка столько стоит. Я сейчас давай газету искать. Нашла — и вот видишь-верно! Тысячу рублей.

МАРКУШКА. Да нам-то что до этого?

ВАРВАРКА. Да студент-то! Верхний! Машинку домой принес! "Ундервуд"!

МАРКУШКА. Так!

ВАРВАРКА. Я Маруське велела мешок конского волоса нащипать. Когда никого не будет, мы ее вытащим. В мешок. Да и в город. Конский волос мягкий. Ничего не поломается.

МАРКУШКА. Ай да Варюша! Только нет. У меня другой план есть. Мы не так вытащим.

Окно Марии Ивановны распахивается настежь.

МАРИЯ ИВАНОВНА. Нет! Нет! Так вот вы кто! Нет! Нет! Нет!

ВАРВАРКА. Это еще что за глупости?!

МАРКУШКА выскакивает из колясочки. Ноги у него здоровые. Бросается к водосточной трубе.

МАРИЯ ИВАНОВНА. Не позволю моего жильца обкрадывать! Это не его

вещь, это казенная вещь!

Варварка. Мария Ивановна, за-мол-чи-те!

Мария Ивановна. Нет! Нет! Нет! Ой, у меня пояс лопнет сейчас. Не замолчу! Воры!

Маркушка *(у ее окна поднялся по водосточной трубе)*. Молчи!

Мария Ивановна. Ой!

Маркушка. Молчи, или тебе худо будет. Поняла? Молчи, или тебе худо будет!

Мария Ивановна. Худо будет...

Варварка. Повтори ей, Маркушка! Она плохо поняла.

Маркушка. Если хоть один человек узнает, о чем я с сестрой говорил сейчас, тебя на дне морском отыщу. С того света вернусь! Я т-т-тебя...

Мария Ивановна. Ой, зубы какие! Да не скаль ты зубы! Зубы какие!

Маркушка. Поняла?

Мария Ивановна. Да!

Маркушка. Будешь молчать?

Мария Ивановна. Да!

Маркушка. Запомни! *(Спрыгивает на землю, бежит к себе.)*

Мария Ивановна. Что же это будет? Что же это будет?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Декорация первого действия. Два часа дня.

Мария Ивановна. Девочки! Девочки! Девочки! Нету их... Девочки... милые. Пропали... Иринка! Анька!

Иринка *(выходит с Анькой из-за дома)*. Чего тебе?

Анька. Кричит, как автомобиль. *(Передразнивает.)* "Девочки! Девочки!"

Мария Ивановна. Да как вы можете со мной так разговаривать?

Иринка. А что?

Мария Ивановна. Мне же обидно!

Анька. А нам не обидно?

Иринка. Подругу себе какую нашла!

Анька. С разбойницей подружилась...

Мария Ивановна. С какой разбойницей? Откуда ты знаешь?

Иринка. Чего там знать! Сидела у тебя Варварка с восьми часов утра? Сидела!

Мария Ивановна. Какая же она разбойница?

Анька. А что, я тебе не рассказывала, как деньги она считала?

Мария Ивановна. Может, то были ее деньги.

Анька. Откуда?

Иринка. Сидишь с ней целое утро...

Анька. А нас в лавочку посылаешь за макаронами!

Иринка. А у нас их в кладовой два кило! Еще папа с кооператива принес!

Анька. Значит, нарочно посылала, чтоб с ней поговорить!

Иринка. Секреты разговаривают подруги новые. Ну и сидите с ней!

Анька. Записывайтесь в разбойницы!

Иринка. А нас не зовите. Пойдем, Анюта!

Мария Ивановна. Девочки! Побудьте тут.

Анька. Пойдем, Иринка!

Мария Ивановна *(отчаянно)*. Девочки, я прошу же! Сядьте тут, у двери. Сидите тут, а то я вас насмерть забью! Сидите, я вам гривенник дам.

(Взглядывает на Варваркино окно и убегает.)

Анька. Чего это она?

Иринка. Заболела?

Анька. Может, ей Варварка конфету дала такую?

Иринка. С каплями сумасшедшими...

Мария Ивановна возвращается.

Мария Ивановна *(шепотом)*. Тут, тут, тут сидите.

Иринка. Мама!

Анька. Мама, не надо!

Мария Ивановна. Сидите тут, у двери, весь день и смотрите! Сидите и смотрите!

Иринка. На что смотреть-то?

Мария Ивановна. Не спрашивайте меня! Сидите! Смотрите! *(С ужасом взглядывает на Варваркино окно.)* Что же это такое?

Убегает.

Анька. Говорила я тебе...

Иринка. Что ты мне говорила?

Анька. Не помню... А только я знала!

Иринка. Что ты знала?

Анька. Что худо будет.

Маруся выбегает из дома.

Маруся. Девочки! Что у вас Варварка утром делала?

Иринка. Заперлась с мамой, целый час говорили.

Анька. А нас отправила за макаронами.

Маруся. Знаете что?

Анька. Ну?

Маруся. Она что-то против меня готовит.

Иринка. Почему ты думаешь?

Маруся. Она сегодня со мной ласковая-ласковая!

Анька. Н-ну?

Маруся. По комнатам летает прямо чижиком. Щечки красные. Сама себе мигает! Сама с собой говорит. С утра успела и у вас побывать, и в город

съездила. А сейчас сидит мешок зашивает.

Анька. Какой мешок?

Маруся. Тот, что конским волосом я набила. А со мной ласковая-ласковая. Но только меня она не проведет. Я ей теперь ни в чем не подчинюсь. Я рассердилось!

Анька. На кого?

Маруся. На нее.

Анька. А раньше ты разве на нее не сердилась?

Маруся. Да что ты меня все спрашиваешь и спрашиваешь? Я сама ничего не знаю. Я только знаю, что некогда! Некогда! Готовит она что-то. Надо ей мешать.

Из дома выходят Крошкин и Мячик.

Крошкин. Девочки! Смотрите, какая у меня улыбка.

Анька. Большая...

Крошкин. Скорбная! Это — скорбная называется. Я ее сегодня нашел.

Анька. Где?

Мячик. Ну, идем, Крошкин, а то я опоздаю.

Мария Ивановна выходит.

Мария Ивановна. Вы куда уходите?

Мячик. Я к себе в институт, Мария Ивановна.

Крошкин. А я пройтись.

Мария Ивановна. Товарищи! Я прошу вас! Ох... *(Опускается на скамейку.)* Говорила я ему! Езжай в дом отдыха осенью! А он: "Нет, я на заводе устал". Уехал... А ведь я ему говорила!

Мячик. Кому?

Мария Ивановна. Мужу! Уехал... А тут вот оно что!

Мячик. Да что случилось?

Мария Ивановна. Ах, нет! Ничего, ничего. Вы куда уходите?

Иринка. Мама, они же сказали!

Анька. В институт, мама!

Мария Ивановна. Нельзя ли не уходить?

Мячик. А что?

Мария Ивановна. Ох, нет! Ничего, ничего! *(Шепотом.)* Прошу вас не уходить! Прошу!

Крошкин. Мария Ивановна! Да расскажите вы нам, в чем дело!

Мария Ивановна. Ах, ну... Что за настырные люди! Что рассказывать? Не надо вам уходить. *(Скороговоркой.)* Я видела во сне, что у вас пишущую машинку украли!

Мячик. Что?

Мария Ивановна. Пишущую машинку. Во сне! Во сне! И довольно! И сидите дома. *(Убегает.)*

Мячик. Что такое?

Крошкин. Она больна.

Иринка. Это ее Варварка! Варварка ее! Она сегодня у нас с утра сидела!

Мячик. Что за ерунда! Не может же она...

Маруся. Она все может! Вы не знаете ее — она все может! Я понимаю! Она пишущую машинку решила у вас украсть!

Мячик. А Мария Ивановна откуда это узнала?

Маруся. Ой, не будем сейчас думать откуда. Некогда, некогда. Надо скорее, скорее, скорее...

Мячик. Да что скорее-то?

Маруся. Ах, не знаю я! Неужто мы ее глупее? Она что-то готовит... Неужто мы не помешаем? Марию Ивановну запутала. Девочки! Мальчики! Вот при всех говорю: что бы она ни велела — не буду делать. Самый пустяк — и то не буду. Меня она не запугает.

Мячик. Хлоп! *(Прыгает.)* Хлоп! *(Прыгает.)* Хлоп! *(Прыгает.)* Ать-два! Ать-два! Ну вот, опять на плечах голова. А был котелок. Шутка ли... столько со всех сторон наговорили! Так что ты советуешь делать?

Маруся. Не ходить никуда.

Мячик. Это ерунда! Сейчас осмотрюсь. *(Задумывается.)* С одной стороны — уйти мне необходимо. С другой стороны — “Ундервуд” институтский, дорогой, только что из-за границы. Вывод вот какой: если есть опасность кражи, я должен помешать. Как? А вот как. *(Бежит в дом.)*

Крошкин. Девочки! Что вы плачете?

Иринка. Со стыда!

Анька. Мама теперь тоже разбойница!

Крошкин. Как вам не стыдно!

Маруся. Не ревите, девочки! Некогда, некогда!

Мячик в окне.

Мячик. Окно с улицы я ставней закрыл и припер. Это — щеткой припру.

(Запирает ставни.)

Маруся. Не ревите, девочки! Стоят, глаза руками позакрывали. А сейчас надо во все глаза смотреть. Бросьте, я вам говорю! Ни в чем ваша мама не виновата! Она же вышла, сказала — берегитесь, мол!

Анька. А чего она так странно говорила?

Иринка. Как будто боялась чего!

Мячик выходит.

Мячик *(Крошкину)*. Вот тебе ключ. Ты только пройтись шел, дыханье поупражнять, так вот, дыши во дворе. Останься на всякий случай. До свиданья!

Маруся. А может, мы сядем у тебя в комнате, рядом с машинкой, сторожить?

Мячик. Ну, это уж паника. Даже неприятно! К чему в такую погоду в комнате сидеть? Крутитесь тут, около, на всякий случай!

Маруся. А может, сказать мачехе прямо — мы тебя подозреваем! Руки прочь!

Мячик *(взглядывает на часы)*. Ой! Потом, потом, Маруся! Я вернусь очень скоро! Тогда обсудим. *(Убегает.)*

Крошкин. Здорово, орлы! Смирно! Равняйся! Мы охраняем эту крепость... Ну чего вы? Чего? Сторожа! Смотри, Маруся, у них на носу лягушки завелись от сырости. Вон они — лягушки. Лови!? *(Хватает Аньку и Иринку за нос.)* Есть! Э-э-э! Красноносые! Разве можно сторожить с такими красными носами? Подумают, что пожар... Пожарные команды приедут.

Маруся. Верно, девочки, бросьте. Не до того.

Анька. Я уже бросила... Я только вздыхаю! А все-таки, что же с мамой?

Иринка. Я ее такой никогда не видела!

Крошкин *(носится в дикой пляске вокруг девочек)*. Заныли, заныли, заныли...

Анька. Что это ты?

Крошкин. Довольно! Затрубили трубы.

Назавтра двинемся в поход.
Танцуют кони у порога,
А седла крепкие скрипят.
Поймаешь пляшущее стремя...

(мимически иллюстрирует стихи.)

Анька. Смотрите, смотрите!

К р о ш к и н. А вот еще. Из другой роли.

Спи, бедный пленник! Солнце закатилось,
болото налилось кровавым светом,
а камыши недвижны и неслышны,
как сторожа...

М а р у с я. К чему это?

К р о ш к и н. Это чтобы они не ревели, гражданочка.

М а р к у ш к а *(за сценой)*. Гвоздики!

К р о ш к и н. Маркушка вернулся!

М а р к у ш к а. Проволоки!

К р о ш к и н. Что это он сегодня рано?

М а р к у ш к а *(вбегает)*. Рельсы! Звонки! Стрелки! Щеколды! Крыши! Мосты! Пуговицы! *(Пробегает в дом.)*

К р о ш к и н *(заглядывает)*. К вам побежал. Постою у двери, чтоб к нам не побежал. А что он у вас делает?

М а р у с я. Не знаю! Забегает.

К р о ш к и н. А мачеха ничего?

М а р у с я. Нет. Он вбежит, орет, прыгает, а она прибирается или шьет, а ему ни слова. Боится, наверное, что ударит.

А н ь к а. Его все боятся. Мама тоже боится.

И р и н к а. Пойду посмотрю, что мама делает. *(Уходит.)*

К р о ш к и н *(пляшет у двери)*. Девочки! Девочки! Ну что это в самом деле? Говорят не своим голосом, глядят не своими глазами.

Довольно! Затрубили трубы...

А н ь к а. Смешно ты делаешь. А все-таки мне как-то неладно.

К р о ш к и н. Ну на тебе еще. *(Пляшет.)* Теперь ладно?

И р и н к а возвращается.

А н ь к а. Ну что?

И р и н к а. Мама лежит.

А н ь к а. Спит?

И р и н к а. Нет, смотрит. Я говорю ей: “Ты что?”

А н ь к а. А она?

И р и н к а. А она говорит: “Уходи вон!”

А н ь к а. Мама так сказала?

И р и н к а. Да!

А н ь к а. Никогда она раньше так не ругалась.

Иринка. У Варварки научилась.

Анька. А как же обед?

Иринка. Что обед?

Анька. Обед она не готовит?

Иринка. Нет. И печку не растопила. Лежит.

Анька. Что же это будет?

Маркушка *(пробегает к себе)*. Камушки! Глина! Песочек! Кирпичики! Горы!

Анька. Значит, есть нам нечего?

Иринка. Хлеба поедим.

Анька. Может, за доктором сходить?

Иринка. Я спросила ее.

Анька. А она?

Иринка. А она говорит: "Они же еще обо мне беспокоятся!" И ну реветь!

Анька. А ты что?

Иринка. А я скорей убежала.

Маруся. Хоть бы скорее началось. Что она задумала?

Иринка. Погода, как всегда, а кругом все другое...

Маруся. Так и ждешь... Так и ждешь...

Крошкин. Заныли, заныли, заныли... *(Пляшет в дверях.)*

Довольно! Затрубили трубы
Назавтра...

Варварка *(выходит)*. Какие хорошие есть институты на свете!

Крошкин. Чего-с?

Варварка. Какие хорошие институты есть! Целый день можно дома сидеть, не учиться. Пляски выплясывать. Шуточки вышучивать. Позвольте пройти!

Крошкин. Это куда же?

Варварка. К Марии Ивановне.

Крошкин. Это зачем же?

Варварка. Вы опять шуточки вышучиваете?

Крошкин. Нет, мне, верно, интересно.

Варварка. Какие могут быть у молодого человека интересы к старушечьим делам? Позвольте!

Крошкин. Ой! Вы никак щиплетесь?

Варварка. Я не щиплюсь! Я вас отстраняю.

Крошкин. Как вы странно отстраняете! Так синяк может получиться!

Варварка. Синяк — вещь не опасная. Посинеет, пожелтеет — и нет его!

(Уходит.)

И р и н к а. Зачем ты ее пустил?

К р о ш к и н. Не драться же!

А н ь к а. И ты ее побоялся?

К р о ш к и н. Нет как будто.

М а р у с я. Давайте... Иринка! Ты к этому гнезду по трубе лазила?

И р и н к а. Да!

М а р у с я. Лезь опять. У вас окна открыты, может, услышишь, о чем говорят.

И р и н к а. Ладно. Только ты, дядя Крошкин, рядом стань...

К р о ш к и н. Зачем?

И р и н к а. Может, я такое услышу, что с трубы свалюсь!

К р о ш к и н. Ладно. Стой. Я тебя подсажу. Держишься?

И р и н к а. Сейчас! Ногу установлю.

В а р в а р к а выходит.

В а р в а р к а. А теперь с детишками в игры играет. Какой смешной молодой человек! Девочки! И вы, товарищ! Вас Мария Ивановна к себе просит!

И р и н к а. А что с ней?

В а р в а р к а. Скучает. Нездорова. Всех просит.

А н ь к а. Идем! Идем, идем скорей!

Все, кроме Варварки, уходят.

В а р в а р к а *(у двери в лавочку)*. Маркушка! Маркушка!

М а р к у ш к а. Что?

В а р в а р к а. Все сделано, как ты велел. Мария Ивановна всех позвала! Я приказала ей... Крошкина она задержит. Мячика я тут подстерегу. *(Смеется.)*

М а р к у ш к а. Чего ты смеешься?

В а р в а р к а. Смеюсь, какой ты у меня умница... Орел! Как сейчас вижу: идешь ты в матросском костюмчике, ножки в чулочках... Мама-покойница...

М а р к у ш к а. Не плачь, Варюша.

В а р в а р к а. Орел! Ботиночки на пуговичках... Ну хорошо, хорошо... Я перед работой всегда разволнуюсь... Ступай! А я за Марусю примусь.

В а р в а р к а *(одна)*. Маруся! Марусенька! Пойди сюда на минуточку. Я тебя сейчас отпущу! На одну секундочку! Выйди, доченька! Выйди, милая! Выйди, красавица! Выйди скоренько!

Маруся. Что?

Варварка. Какая сердитая! Смотрит боком. Так можно глаз испортить. Косой станешь. Женихи не будут любить.

Маруся. Не обхаживайте меня.

Варварка. Что, Марусенька?

Маруся. Не обхаживайте меня! Я вас знаю! Меня вы все равно не обойдете!

Варварка. А раз все равно не обойду — чего же тебе беспокоиться? Чего же кричать?

Маруся. Я не кричу! Я тихо говорю! Я вас знаю! Я при всех обещалась ничего для вас не делать!

Варварка. Ну вот и хорошо, что ничего не будешь делать. Ну вот и успокойся!

Маруся. Не буду я больше у вас жить. Уйду.

Варварка. Куда?

Маруся. Не трогайте меня, я вас повалю!

Варварка. Я тебя и не думала трогать.

Маруся. У меня мускулы есть!

Варварка. Ну и на здоровье. Куда же ты хочешь уйти?

Маруся. Отряд искать.

Варварка. Вот тебе адрес.

Маруся. Ой!.. Какой?

Варварка. А ты какой, думаешь?

Маруся. Отряда.

Варварка. Нет. Это газеты вашей, пионерской, адрес. Там известно, где какой отряд стоит.

Маруся. Как же я сама раньше не подумала...

Варварка. Это уж я не знаю. Знаю, что завтра у них ремонт начинается, и неделю все будет закрыто. А я неделю ждать не хочу. Мне — прямо скажу — надоело врага дома иметь. За каждым шагом следишь. Дам тебе деньги — езжай в город, узнай адрес, и чтоб завтра же тебя не было. Езжай, езжай- там скоро закроют. Езжай!

Маруся. К своим поеду, к своим! *(Бежит к дому.)*

Варварка. Стой! По дороге заедешь, мешок отдашь на улицу Герцена, тридцать четыре.

Маруся. Какой мешок?

Варварка. Конский волос отвезешь, а в нем часы часовщику Антону Ивановичу. Улица Герцена, тридцать четыре. Квартира там записана на газете.

Адрес — на обороте. Чего ты на меня уставилась? Не хочешь — не вези. Только тогда я денег на трамвай не дам. Пешком пойдешь.

Маруся. Я посмотрю, что в мешке!

Варварка. Ну, езжай, езжай, а то там закроют.

Маруся бежит в дом.

Варварка *(стучит к Маркушке)*. Ну?

Маркушка. Сделано.

Варварка. Спасибо. Маруська поедет. Ты есть хочешь?

Маркушка. В городе у Антошки поем. Ты поскорей туда... Кожа...

Маруся выходит.

Маркушка. Ремни! Подошвы! Слоны! *(Убегает.)*

Варварка. До свиданья.

Маруся. Тяжелые часы какие!

Варварка. Мрамор!

Маруся. Девочки! Крошкин! Я в город еду спешно! Скоро вернусь!

Крошкин *(издали)*. Ладно!

Варварка. Побежала! Беги! Беги! “Я вас знаю!” Молода ты еще меня знать-то! Я десять таких, как ты, вокруг пальца обовью да еще бантиком завяжу. Со мной, брат, и не такие умники плакали.

Входит Мячик.

Мячик. Куда это Маруся помчала?

Варварка. А не знаю! Я вас хотела спросить. Думала, вы ее куда послали.

Мячик. Так меня ведь дома не было!

Варварка. Я не знаю, где вы были. Мешок — не мой, а бежала она с вашей лестницы. Чего оглядываетесь? Товарища ищете? Он у Марии Ивановны!

Уходит к себе.

Мячик. Крошкин! Крошкин!

Крошкин *(издали)*. Бегу!

Мячик. Хорош сторож! Где ты пропадал?

Крошкин. Ну, брат, тут такая буза! Позвала меня Мария Ивановна — и давай мне и девочкам сказки рассказывать.

Мячик. Какие?

Крошкин. Настоящие! Про Бабу-ягу, про Кащея. Я хотел уйти, а она плачет.

Мячик. Совсем, что ли, спятила?

Крошкин. Вроде.

Мячик. Где ключ? Идем.

Крошкин. Ты ступай один. На ключ. А я тут, на воздухе, посижу. Отойду. А то у меня от сказок от этих в голове манная каша.

Мячик уходит. Иринка и Анька входят.

Иринка. Прогнала она меня!

Анька. И меня тоже. Злая вдруг стала! Красная! Уйдите, говорит, побегайте. А я уже есть хочу, а не бегать.

Мячик открыл окно.

Мячик. Ну, стража, все благополучно. Дверь не взломана, окна как были приперты, так и остались, и главное — машинка, вот она, на месте.

Машинку ясно видно из окна.

Крошкин. Ну и ладно.

Мячик. А все-таки отнесу я ее сегодня обратно в исполбюро. Напечатаю последние восемь страниц. *(Снимает футляр — машинки нет.)* Ой!

Крошкин. Что такое? Пропала?

Мячик. Все кругом было заперто. Я сам сейчас все запирал.

Анька *(плачет)*. Милиция! Милиция!

Мячик. И никто не проходил тут по лестнице?

Варварка в черной шляпе, с зонтом выходит из дома.

Варварка. Маруся проходила.

Иринка. Не ври!

Варварка. С большим мешком проходила Маруська. *(Мячику.)* Да вот и вы, товарищ, ее встретили!

М я ч и к. Не могла она взять машинку!

В а р в а р к а. Ах, у вас машинка пропала? Я и не говорю, что она взяла. А говорю, что она по лестнице проходила.

К р о ш к и н. Что вы так спешите девочку обвинять?

В а р в а р к а. Я не обвиняю и не покрываю. Что видела, то и говорю.

К р о ш к и н. Не сами ли вы ее с мешком и послали?

В а р в а р к а. Она при вас клялась меня не слушать. Она мне сама так сказала. Всего хорошего!

И р и н к а. Стой!

А н ь к а. Стой!

И р и н к а. Маму запутала, а теперь Маруську! Я тебя не пущу.

В а р в а р к а. Попробуй.

А н ь к а. Я тебя укушу!

М я ч и к. Девочки, назад!

И р и н к а. Почему?

М я ч и к. Назад! Всего хорошего.

В а р в а р к а. Ха-ха-ха! Вы прямо ихний командир! До свиданья! *(Уходит.)*

М я ч и к. Она знает, где машинка!

И р и н к а. А зачем отпустил?

М я ч и к. Выследить. Я, как собака, за ней следом пойду. Зубами вцеплюсь. Как из запертой комнаты средь бела дня машинку вытащили? Как?

И р и н к а. А Маруська? Маруська куда пошла?

А н ь к а. Что за мешок у нее был?

И р и н к а. Чего она Варварку послушалась?

К р о ш к и н. Что это такое? Что все это значит?

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Большая комната часовщика Антоши. Стенные часы.

Антоша *(поет)*. Вот и комнату прибрал старичок Антоша. Он и му-ух выгнал вон — старичок Антоша. Вот и стулья все расставил старичок Антоша. Мог бы даже отдохнуть старичок Антоша, а тут такая неприятность от Варвары Константиновны! Должен гостью ожидать старичок Антоша и ее непременно задержать, непременно задержать! Сколько лет не видались.

Звонок.

Вот никак она звонит, пойдем да и отопрем! *(Выходит.)* Войдите, войдите, гражданочка. *(Входит с Марусей.)* И мешок сюда несите. Положите мешок-то. Мешок небось тяжелый. Наверное, вы устали?

Маруся. Нет, я сильная.

Антоша. Сильная?

Маруся. Да!

Антоша. Как неприятно!

Маруся. Почему?

Антоша. Очень это неприятно старичку Антоше. Сейчас. Я сейчас. *(Уходит.)*

Маруся. Как он поет смешно! Как курица... Старичок!

Антоша *(из-за сцены)*. Сейчас.

Маруся. Мне уходить надо!

Антоша. Сию минуточку! *(Входит и пристально смотрит на Марусю.)*

Маруся. Что вы на меня смотрите?

Антоша. Лицо у вас милое! Милое у вас лицо. Очень это мне неприятно.

Маруся. Какой вы, дедушка, странный. Я ухожу. До свиданья!

Антоша. Вот тут-то оно и начнется.

Маруся. Что начнется?

Антоша. Главные мои подлости.

Маруся. Что это значит?

Антоша. А значит, виноват, это значит, что вы не уйдете отсюда.

Маруся. Как!

Антоша. Это не я! Ох беда ты моя, беда! И вечно я впутаюсь... Не я... Приказано мне вас задержать!

Маруся. Кто приказал?

Антоша. Мачеха ваша, Варвара Константиновна!

Маруся. Ой!.. Зачем?

Антоша. Ну как зачем?.. Приказано! Не выпущу! Может, я и не знаю зачем. Ох беда ты моя, беда...

Маруся. Ну что же это опять начало делаться?! Дедушка!

Антоша. Что, милая?

Маруся. Ну отпусти!

Антоша. Нет! Я человек слабый! Не могу приказ нарушить!

Маруся. Пожалуйста!

Антоша. Нет! Нет! Нет!

Маруся. Я кричать буду! Стекла побью!

Антоша. Сочувствую! А только у нас окна во двор. А во дворе учреждения. А из учреждений все уже разошлись. Никто не услышит.

Маруся. Я дверь выломаю!

Антоша. Сочувствую! А только нет, не выломаете. Крепкая дверь. Прежний хозяин воров боялся — железом обил.

Маруся *(трясет Антошу за пиджак)*. Выпусти меня сейчас же!

Антоша. Не надо меня трясти! Я старый!

Маруся. Отдай ключ!

Антоша. Вы мне часы раздавили! Не порежьтесь о стекло.

Маруся *(опускается на стул)*. Несчастная я девочка! Дылда я окаянная! Что ни сделаю, все себе во вред. Клялась я ее не слушаться — послушалась на свою голову. *(Закрывает лицо руками.)*

Антоша. Вот это... Это действительно... Как же это?.. Вы бы не плакали!

Маруся. Я не плачу...

Антоша *(сквозь слезы)*. Зачем же вы тогда так сидите?

Маруся. Дедушка, пусти!

Антоша. Ох ты, боже мой! Не велено!

Маруся. А зачем? Зачем? Зачем?

Антоша. Я, может, не знаю зачем.

Маруся. А не знаешь, так выпусти!

Антоша. Не смею.

Маруся. Боишься?

Маруся. Ну что ж, прямо вам скажу — боюсь! Двадцать лет я ее боялся. Привык! Как же это вдруг — не бояться?

Маруся. Я тебя сейчас повалю и вытащу у тебя ключ!

Антоша *(чуть не плача)*. Сочувствую.. А только нет, не вытащите. Когда вы сказали, что сильная, я вышел и ключ запрятал. В такое место запрятал, что вам не найти...

Маруся. Ведь тебе меня жалко?

Антоша. Верно.

Маруся. Отдай ключ!

Антоша. Никак не могу. Я послушный.

Звонок.

Антоша *(выходит)*. Молчать! Со мной не очень-то! Я так распоряжусь, что вы у меня... Кто там? Ах, это вы, Марк Константинович? Войдите. Пожалуйста. Молчать! Девочка, это я вам говорю. Молчать!

Входит Маркушка.

Маркушка. Что? Бунтует?

Антоша. Сладу нет, Марк Константинович! Да только со мной не очень! Я ее живо!

Маркушка. Дай мне, Антоша, тарелку, ножик, вилку. Уксусу дай. На вот, нарежь колбасу.

Антоша. Сию секундочку. А что же это вы так, всухомятку? Зашли бы в кафе-ресторан.

Маркушка *(показывает на часы)*. Видишь, сколько времени? Едва успел по делам сбегать. Куда там ресторан! Перехвачу, дождусь Варюшу и полетим. Придется автомобиль взять. Иначе не переправить сегодня машинку.

Маруся. Какую машинку?

Маркушка. Плохо колбасу теперь стали делать. Ни вкусу, ни духу.

Маруся. Что ты про машинку сказал? Чего ты здесь? Ты, значит, не дурачок? Не безногий.

Маркушка. То ли дело прежде была беловская колбаса! Ту ешь — и улыбаешься. На языке радостно.

Маруся. Обманщик! Притворщик! Я с тобой говорю! Отвечай же! Ты

Варварке кто?

Антоша. Брат.

Маруся. Брат?

Маркушка. И французская горчица куда-то пропала. Намажешь, бывало, ветчины кусок — толсто-толсто...

Маруся. Маркушка, говори про машинку! Про машинку говори!

Маркушка. А еще хорошо, когда колбаса горячая.

Маруся. Да что же это? Он меня дразнит? Дедушка!

Антоша *(тихо и грустно)*. Молчать!

Звонок.

Маркушка. А еще хорошо, когда колбаса горячая. Шпик прозрачный...

Антоша. Пожалуйте, Варвара Константиновна. Все здесь! Все!

Маруся. И она!

Варварка *(Маркушке)*. Здравствуй, деточка! Кушаешь? Кушай, кушай. *(Взглядывает на часы.)* Времени у нас в обрез. Я сама с ней поговорю. Маруська! Вот карандаш, вот бумага! Садись, пиши!

Маруся. Что?

Варварка. Письмо студентам, что ты машинку украла.

Маруся. Вы в уме?

Варварка. Спорить тут некогда! Напишешь! Иначе — ты меня знаешь. Я тебя в такие дела вкручу, что не только из отряда...

Маруся. Нет!

Варварка. Не только из отряда — тебя разом в тюрьму да в суд!

Маруся. И вас тоже.

Варварка. Меня не поймаешь! Я склизкая. Пиши! Так и так, машинку я украла и увезла в мешке!

Маруся кидается к мешку, переворачивает его: там белые мраморные часы и конский волос.

Варварка. А ты думала и верно увезла! Так бы я тебе ее и доверила.

Маруся. Зачем же...

Варварка. Затем же! В доме пропала вещь. А ты с мешком в город поехала. Кто взял? Ясно — кто! Тот, кто с мешком из дому уехал.

Взглядывает на часы.

Маруся. Они не поверят!

Варварка. Поверят! Мария Ивановна против тебя тоже покажет. Она, брат, у меня тоже запутана. Пиши!

Маруся. Нет!

Варварка. Да!

Маруся. Нет!

Варварка. Напишешь! Они в твое письмо хоть день — да будут верить. А мне и это пригодится. Пиши!

Маруся. Не напишу!

Маркушка *(встает)*. Пиши!

Маруся. Не смей меня трогать!

Маркушка. Пиши!

Антоша. Не тронь ее!

Маркушка. Это еще что такое?

Антоша. Ты человек грубый! *(Кидается к Варварке.)* Виноват! Они только запугают! У девочки руки будут трястись, как же она напишет? А лучше вы... лучше словами... Она сейчас послушается. Сейчас.

Варварка. Он прав. Сядь, Маркушка. Маруська... Пиши: "Я..."

Маруся. Да что вы думаете — я сонная, что ли? У меня мозгу нет? Не буду писать!

Маркушка. Будешь!

Маруся *(хватает со стола нож)*. Только тронь! Меня не затравишь! Я тебе не заяц! Не смотри — не страшно.

Варварка. Да?

Маруся. Да!

Варварка. Маруська!

Маруся. Ну чего вы стараетесь? Вы же сами видите — не боюсь и не боюсь. Не боюсь!

Маркушка. Я ее сейчас!

Варварка *(взглядывает на часы)*. Поздно. Придется автомобиль нанимать. Сегодня не боишься — завтра побоишься! Идем! Запри, Антоша. Завтра в три я буду. *(Уходит.)*

Маруся. Что делать, что делать, что делать!

Антоша *(возвращается)*. Ай-ай-ай! Я уж думал — помереть мне сегодня от страсти. Как можно на такую женщину кричать? У меня до сих пор сердце не бьется.

Маруся. Оставь, дедушка.

Антоша. Не оставлю! Ножом машете! А если она нож вырвет — да вас!

Ведь я ее знаю! Я ей двадцать лет служу.

Маруся. Бежать надо, бежать!

Антоша. Когда ихний отец, купец Лощилин, лопнул — она не растерялась. Брата и мать содержала. Она по ярмаркам стала ездить. Сто рублей объявляла тому, кто ее в рукопожатии пережмет. А если она пережмет — ей рубль. Ну и всех пережимала. Выжала тысячу. Собрала лилипутов труппу...

Маруся. Выпусти, дедушка!

Антоша. Лилипуты от нее разбежались. Щипала она их. Тогда собрала она детей ученых труппу. Набрала из бедных семей ребят лет по пять — по шесть...

Маруся. Да отпусти же ты меня!

Антоша. Не отпущу! Что я, ума решился? Не отпущу я вас. Если отпущу- убьет меня Варвара Константиновна насмерть завтра. А я на это не могу согласиться. Да если я и отпущу вас, то теперь уж все равно вы не успеете помешать. Убегут они. И с машинкой!

Маруся. А где она, машинка-то?

Антоша. Не скажу!

Маруся. Ух ты! Трус ты старый. Ну что делать? Ну как Мячик на моем месте поступил бы? Осмотрись и борись... Что осматривать? Куда смотреть? Стенки да окна... *(Выглядывает в коридор.)* Да коридор... Ключ!

Антоша. Матушки! Батюшки! Пропал! Маруся! Маруся! Стой!

Маруся *(из коридора)*. Отстань!..

Антоша. Куда бежишь-то? Где машинка, не знаешь ведь! Марусенька! Машинка-то...

Маруся *(вбегает с ключом в руках)*. Ну, говори, где машинка! Живо!

Антоша. Безжалостная девочка! Очнись, пойми, что делаешь! Ты меня в шестьдесят три года на улицу выкидываешь! Ведь я человек зависимый. Отдай ключ! Умоляю, требую!

Маруся. Говори, где машинка!

Антоша. Ведь я человек добрый. Я, когда ты еще вот таким воробушком была, я тебя на руках носил. Отец твой у нас балаганы уставлял, рабочим у нас был и жонглером... А я билетером... А ты придешь, бывало, в балаган, туп-туп ножонками... Не губи ты меня, девочка! Отдай ты ключ!

Маруся. Где машинка?

Антоша. Черствая девочка! Пойми ты — сколько лет я Варваре Константиновне служу... Куда я теперь? Ведь она меня завтра рассчитает... Ведь я от нее завишу... Да свяжи ты меня хотя бы, коли действительно задумала бежать... И как это меня угораздило, за ними заперевши, ключ не вынуть. Какой я жалкий

старик, какая вы беспощадная девочка!.. Свяжи меня, сделай милость! Пусть она думает, что я боролся!

Маруся. Ладно, свяжу... Где машинка-говори!

Антоша. Свяжете?

Маруся. Говорю, свяжу!

Антоша. Крепко?

Маруся. Да, да, да! Где машинка?

Антоша. У Маркушки дома. Под полом.

Маруся. Так близко! И они не знают!

Антоша. Утром была у меня Варвара Константиновна — все объяснила, как будет делать. Маркушка живет в бывшей лавчонке. Оттуда наверх ход был. Как раз в ту комнату, где студенты. Лестница сломалась, а люк остался. Под ковриком.

Маруся. Как же так — не знали?

Антоша. Может, и знали, да забыли, а Маркушка дознался. Когда все ушли, влез в комнату через пол, машинку к себе — и спрятал. А вас в город, для подозрения.

Маруся. Скорей! Скорей надо рассказать... Что не я... Что они... Где спрятана... Скорей надо!

Антоша. Сочувствую! А только ничего не выйдет! *(Показывает на часы.)* В пять сорок пять у поста номер восемь остановится товарный поезд. Кондуктор... Забыл фамилию! Кондуктор с Варварой Константиновной заодно. Посадит и ее и машинку, и — ту-ту-туу! — уехали. Они оттого так и спешили, что дежурит-то знакомый кондуктор раз в четыре дня. Сегодня опоздать — и пропало дело. Жди!

Маруся. Успею!

Антоша. Да как же ты успеешь? Деточка! Сейчас пять часов двадцать минут. Они уже к дому подъезжают, если автомобиль сразу нашли. Через десять минут машинку вынесут, через пятнадцать на станции будут, а через двадцать и уехали. А вам туда сорок минут езды. А их через двадцать минут уже и след простынет!

Маруся. А может, заметят, когда выносить будет Маркушка машинку?

Антоша. Как? Маркушка всегда с корзинкой!

Маруся. Я в угрозыск позвоню.

Антоша. Пока дозвонитесь — пять минут, пока автомобиль дадут — еще пять, да пока доедут... — нет.

Маруся. Я побегу туда!

Антоша. И опять уйдет время. Мы на улице Герцена, тридцать четыре...

Маруся. Герцена, тридцать четыре?

Антоша. Ну да!

Маруся. Герцена, тридцать четыре... Прощай!

Антоша. Стойте! Свяжите меня! Свяжите меня!

Маруся. Некогда! Некогда, дедушка! Завтра пораньше я забегу, свяжу, а сейчас — прощай! *(Убегает.)*

Антоша. Завтра! И на том спасибо! Ушла... На что она надеется? Мыслимое ли дело? Вон уже двадцать две минуты шестого. Они уже небось выносят машинку-то. Что тут можно сделать? Телефона туда нет. Телеграмму — пока принесут. Нет! Ничего не сделать. Ничего! Вон уже двадцать минут шестого...

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната студентов.

Крошкин. Который час?

Мячик. Двадцать минут шестого. Через час и из угрозыска собаку приведут. Ай-ай-ай!

Крошкин. Что ты?

Мячик. Не прощу я себе этой глупости. Всех учу: осмотрись, а сам просмотрел! Как я пропустил! Как прозевал!

Крошкин. Ну уж ничего не поделаешь.

Мячик Куда она юркнула? Как мышь!

Вбегают Иринка и Анька.

Иринка. Мама к вам идет!

Анька. Вы ее не обижайте!

Иринка. Нам ее жалко уже...

Анька. Она больная, наверное. Оттого такая.

Иринка. Мы папе письмо послали.

Анька. Заказное! Пусть вернется.

Иринка. Вот она...

Входит Мария Ивановна.

Мария Ивановна *(быстро и однотонно)*. Здравствуйте. Подозрение

я имею на Марусю Круглову, пионерку.

Крошкин. Успокойтесь, Мария Ивановна! Нам не нужно!

Мария Ивановна. Она сколько раз говорила: я готова украсть, только бы убежать. Она ленивая, не хотела работать на Варвару Константиновну. Вот. *(Опускается на стул.)* А теперь будьте добренькие! Не спрашивайте у меня больше ничего!

Мячик. Я...

Мария Ивановна. Молчите! Молчите! Не могу я сказать! Не могу!

Крошкин. Да мы и не хотим...

Мария Ивановна. Как же это вы можете не хотеть? На бедную девочку напраслину возводят... Ой... молчу, молчу, молчу!..

Мячик. Мария Ивановна! Мы вас ни о чем спрашивать не хотим. Через час здесь будет агент угрозыска...

Мария Ивановна. Я в город уеду! Нет, не уеду!.. Чего вы от меня хотите? Чего вы смотрите на меня? Чего вы...

Голос. Алло, алло, говорит Ленинград, говорит Ленинград.

Мячик. Выключи!

Мария Ивановна. Нет!

Голос. Передача производится из большой студии радиопередачи на волне в тысячу метров.

Мария Ивановна. Не надо выключать. Пусть будет, как всегда... как до этого.

Вступление к “Лучинушке”.

Голос. Слушайте концерт из русских народных песен. Артистка Лыкова споет “Лучинушку”.

Мария Ивановна. Сколько раз слышала... И не думала... что я буду слушать “Лучинушку” — уголовной преступницей.

Песня. Когда певица доходит до куплета:

Милые родители,
Сватушки, родня,
Лучше бы замучили,
извели меня...
От работы спинушка,
и сей...

Пение прерывается.

Крошкин. Что там такое?

Мячик. Поправь там!

Крошкин *(у приемника)*. Да тут все благополучно как будто.

Голос. Концерт прерывается на одну минуту. Сообщение крайней важности. Говорите, Николай Николаевич.

Второй голос, повыше. То, что сейчас будет передано, почти никто не поймет. Не звоните нам, пожалуйста, по телефону. Объяснения давать не будем. Завтра вы прочтете объяснение в газетах. Говорите.

Марусин голос. Мячик! Крошкин!

Мячик. Что это?

Иринка. Маруська!

Анька. В трубе?!

Марусин голос. Мячик! Крошкин! Снимите посреди комнаты коврик. Там есть люк в Маркушкину комнату! Спрыгните вниз! Машинка спрятана у него. Скорей! Он сию секунду за ней приедет! Скорей! Все. Маруся.

Голос. Алло, алло! Говорит Ленинград, говорит Ленинград. Концерт продолжается, концерт продолжается. Артистка Лыкова споет народную песню “Лучинушка”.

Мячик. Выключи!

Крошкин. Есть!

Мячик. Закрой ставни!

Крошкин. Зачем?

Мячик. Я хочу его поймать. Чтоб свет не шел в люк. Мария Ивановна, уйдите!

Мария Ивановна. Ни за что! Я своими глазами хочу посмотреть, как его поймают.

Мячик. Подыми ковер! Действительно, люк! Как мы его раньше не заметили!

Крошкин. Незаметно! Пол вроде паркетный. Весь в трещинах...

Мячик. Ну, теперь тише!

Пауза. Мария Ивановна начинает смеяться.

Иринка. Мама, чего ты?

Мария Ивановна. Очень я рада, что все так кончается. Мне даже есть захотелось.

С улицы Маркушка: "Цветы!"

Мячик. Т-с-сс!..

Маркушка *(ближе и ближе)*. Трава! Деревья! Кусты! Былинки! Розы! Гиацинты! Капуста! *(Слышно, как он ходит внизу. В люк прошел свет снизу.)* Уфф! Ну, так... Покричали и будет. *(Напевает что-то.)* Здравствуйте, "ундервудик"! Пожалуйте! Сейчас вам в поезд. Ехать. Что это? А? Что это случилось? Ты никак в корзинку не хочешь лезть? А-а! За щепочку зацепился. Ах ты, американец! Тебе наши корзинки не по нраву!

Мячик и Крошкин прыгают в люк.

Маркушка. Кто это?

Крошкин. Мы.

Шум.

Иринка. Глядите, глядите! Дерутся, дерутся, дерутся! Ой, наступите, наступите на машинку! На машинку наступите!

Анька. Схватили! Ой, мамочка, схватили!

Иринка. Повели! Мамочка! Сюда повели!

Мария Ивановна. Откройте ставни! В темноте все-таки жутко! Вот как оно все обернулось. Ах ты, какие вещи бывают ка свете!

Входит Мячик, Маркушка и Крошкин с "ундервудом".

Мячик. Здесь вам придется посидеть. Скоро приедут агенты угрозыска. Положи машинку!

Крошкин. Да я уж прямо боюсь ее из рук выпустить.

Маркушка. Господа студенты! По нужде. По нужде и из-за голода. Отпустите... К чему я вам? Машинка нашлась. Что же вы мне мстить, что ли, хотите?

Мария Ивановна. Нет, нет, нет! Ни за что! Ишь ты, какой легкий голос у него стал! А как на меня зубами блестел, так голос был бас? Ишь ты... Выпусти! Еще сестру бы твою поймать..

Мячик. Какую сестру?

Мария Ивановна. Варварка — сестра его родная. Вы и не знали? А я на свою голову узнала. Видите, какой тихий, белый, а вчера аж черный со

злости ходил, когда я их разговор подслушала. А! Держите!

Маркушка прыгает в люк.

Мячик. Стой! *(Кидается к окну.)* А! Не удалось! Попался Маркушка. Автомобиль угрозыска. И Варварку привезли. И Марусю.

Анька. Маруся!

Иринка. Беги сюда бегом!

Мария Ивановна. Ой, как есть хочется! Все больше и больше. Что значит все благополучно!

Вбегает Маруся. На носу у нее ссадина.

Анька. Ай! Что это у тебя с носом?

Маруся. Спешила я! Миленькие! Как я боялась, что у вас не включено радио. *(К машинке.)* Вот она какая. Миленькая!

Мячик. Маруся! Спасибо. Век тебя не забуду.

Иринка. Маруся, как ты догадалась?

Анька. Маруся, я побоялась бы на радио-то!

Маруся. Ай, что было! Я же узнала все про машинку на улице Герцена, тридцать четыре, а радиопередача напротив. А я зимой с отрядом туда в экскурсию ходила.

Анька. И ты скорей туда?

Маруся. Кубарем! С лестницы упала, нос ушибла. Не кривой?

Анька. Нет, только толстенький.

Маруся. Бегу, а из носа кровь. А дворник как схватит меня!

Иринка. Ай!

Маруся. "Стой, — кричит, — может, ты кого убила! Откуда кровь?" А я говорю: "Пусти, дурак! Видишь — кровь из носу! Что я, носом, что ли, убивала?" Он отпустил. Засмеялся... Бегу через дорогу. Собака за мной увязалась. Охотничья, что ли. Хвост веником. Хотела укусить меня, да я на нее крикнула.

Анька. Рыжая была собака?

Иринка. Не мешай ей!

Маруся. Прибежала в радио — чудо-чудищем, на морде кровь, а говорю хорошо. Очень понятно. Все сбежались, все слушают.

Иринка. И сразу позволили тебе говорить?

Маруся. Не сразу. Немножко побоялись. Я уже реветь начала, смот

Маруся. Не сразу. Немножко побоялись. Я уже реветь начала, смотрю — из комнаты какой-то секретарша идет, голубушка.

Анька. Какая голубушка?

Маруся. Секретарша Губпионеркабинета. Ну, она меня, конечно, узнала. Я на нее зимой в стенгазете карикатуру нарисовала, очень ей понравилось. Узнала она меня и заступилась. Хорошие там люди — Николай Николаевич, Александр Васильевич... Прервали концерт, пустили меня, а я говорю в микрофон — и не верю: неужто меня в Лесном слышно?

Мария Ивановна. Слышно было, слышно.

Маруся. Кончила говорить, все меня хвалят, повели, умыли, чаю хотели дать — и вдруг р-р-р... — автомобиль. Угрозыск. Из радио вызвали! Сели мы — и что тут началось! Как мы полетели! Домов по бокам не видать! Одно серое! Голову назад сносит, платок с меня сорвало, а на одном повороте я чуть-чуть удержалась. Левой ногой за диванчик уцепилась.

Анька. Каблуком?

Иринка. Заткнись!

Маруся. Подъезжаем к дому, вдруг за углом — а-а! Знакомое лицо! Мачеха Маркушку ждет. Бегает она плохо. Зацапали ее.

Анька. А она?

Маруся. А она ущипнула начальника угрозыска и замолчала. Видит — ее дело плохо. Подъехали сюда — Маркушка выбегает. И его взяли. Сейчас у них обыскивают внизу. Ну вот и все.

Мария Ивановна. Ты, Маруся, прости меня.

Маруся. Да разве ж вы виноваты? Да за что же?

Мария Ивановна. За страх.

Анька *(Крошкину)*. Ты что в зеркало смотришься?

Крошкин. Изучаю радостное лицо. Пригодится. Эх, Маруся! *(Пляшет.)* Качать ее!

Маруся. Нет, братцы, нет — меня уже автомобиль укачал! А в отряде-то, в отряде! Из них никто по радио не говорил. Мальчишкам нос какой!..

Занавес

1929 г.

Приключения

Гогенштауфена

Сказка в трех действиях

Действующие лица

Гогенштауфен —	экономист.
Упырева —	управделами.
Маруся Покровская —	счетовод.
Кофейкина —	уборщица.
Бойбабченко —	домашняя хозяйка.
Арбенин —	юрисконсульт.
Журочкин —	бухгалтер.
Брючкина —	зав. машинописным бюро.
Юрий Дамкин —	зав. снабжением.
Фавн —	статуя.
Заведующий.	

Сердитый молодой человек. Рабочий.

Пожарный. Милиционер.

Толпа. Горцы на конях.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Скверик около учреждения. Вечер. Старуха-уборщица, по фамилии Кофейкина, дремлет в скверике. К ней быстро подходит другая старуха — Бойбабченко.

Бойбабченко. Слушай, Кофейкина, я к тебе... Это дело надо прекратить!

Кофейкина. Какое дело?

Бойбабченко. Ты меня знаешь! Я — старуха отчаянная, я — старуха добрая. Когда мне кого-нибудь жалко, я могу человека убить. Я такое могу поднять, что по газетам шум пойдет. Недопустимое это дело! Ведь уже одиннадцатый час!

Кофейкина. Ты о чем говоришь?

Бойбабченко. Конечно, о Гогенштауфене. Лицо его беспардонное, простое, каждому понятное. Каждый видит, что можно его нагрузить до отказу. Взгляни сама, оглянись! Разве это не ужасная картина? Во всем учреждении погас свет, только одно окно горит, его окно, Гогенштауфена. Сидит, крутит арифмометр за ручку...

Кофейкина. И песни поет.

Бойбабченко. Что?

Кофейкина. И песни поет. Он всегда, когда в одиночестве работает, напевает на мотив Буденного все, что в голову придет... Веселый экономист...

Бойбабченко. И ты про это так спокойно говоришь? Оставили человека одного на все учреждение, работы на него навалили, сами гуляют, сами пируют — а он мучайся?

Кофейкина. Он не мучается.

Бойбабченко. Не морочь мне голову! Человек он молодой, нежный, погода хорошая, девушка у него, Маруся Покровская, такая, что даже я, старуха, и то в форточку любуюсь, когда она через садик домой идет, милая. А ты мне говоришь, что он не мучается! Врешь, мучается! Врешь, хочет уйти! Врешь, беспокоится за девушку. Где, мол, она в такую погоду? Не гуляет ли?

К о ф е й к и н а. Постой, мать.

Б о й б а б ч е н к о. Не буду стоять! Я все ваше учреждение лучше тебя знаю, хоть ты в нем уборщица, а я домохозяйка и не служащая. Ведь мои окна против ваших. У меня стекла чистые, у вас стекла чистые. Я по хозяйству бегаю, а с вас глаз не свожу. Я все вижу, всех понимаю. Кто что делает, мне все понятно. Я ведь за вашей работой еще и по всем газетам слежу. Сколько я с вашим планом намучилась. Ночи не сплю, бывало. Ах, думаю, доведут ли они план до каждого сотрудника! Мобилизуют ли общественность!

К о ф е й к и н а. Погоди.

Б о й б а б ч е н к о. Не могу. Человек мучается, товарищ Гогенштауфен, любимый мой сотрудник, а она сидит у двери, на звезды глядит. Ступай хоть чаю ему приготовь!

К о ф е й к и н а. Послушай меня ...

Б о й б а б ч е н к о. Не в силах я этим заниматься. Добрая я! Тут не слушать надо, а помочь.

К о ф е й к и н а. Ладно, поможем.

Б о й б а б ч е н к о. Ну, то-то. Керосинка то у вас есть?

К о ф е й к и н а. Зачем?

Б о й б а б ч е н к о. Чаю взгреть А нету, так я мигом домой...

К о ф е й к и н а. Тут чай не нужен...

Б о й б а б ч е н к о. То есть как? Человек там измучился!

К о ф е й к и н а. Дай мне сказать в свою очередь. Гогенштауфен — человек редкий. Он работает, но не мучается.

Б о й б а б ч е н к о. Откуда ты это знаешь?

К о ф е й к и н а. Значит, знаю. Он работает любя. Ему интересно. Делает он такой проект, который все наше учреждение по-новому повернет и так оживит, что каждый охнет, удивится и скажет: как верно придумано, давно пора! Заведующий перед отпуском лично сказал коменданту: Гогенштауфен, говорит, талант, говорит. Ему от работы мученья нет. Другая беда ему грозит.

Б о й б а б ч е н к о. Беда?

К о ф е й к и н а. Она самая.

Б о й б а б ч е н к о. Откуда?

К о ф е й к и н а. Упыреву нашу знаешь?

Б о й б а б ч е н к о. Управделами?

К о ф е й к и н а. Да.

Бойбабченко. Как не знать! Хоть и не так давно она у вас, однако я приметила. Красивая она, но лицо у нее все же грубое, отрицательное. Идет мимо и так глядит, будто я не человек, а она высшее начальство.

Кофейкина. Эта самая. От нее я и жду всяких бед Гогенштауфену.

Бойбабченко. Склока?

Кофеикнна. Вроде. Не знаю — сказать тебе, не знаю — нет.

Бойбабченко. Скажи!

Кофейкина. Не знаю, поймешь ты, а вдруг и не поймешь!

Бойбабченко. Пойму!

Кофейкина. Хватит ли у тебя сознания.

Бойбабченко. У меня-то? Да что ты, матушка? Да мы, новые старухи,— самый, быть может, сознательный элемент!

Кофейкина. Ох, не знаю! Так ли?

Бойбабченко. Да что ты, родная, я тебе доказать могу. Почитай газеты, возьми цифры, если мне не веришь. Цифры не соврут. Что есть высшая несознательность? Хулиганство. А за хулиганство сколько старух судилось? Ни одной! За разгильдяйство сколько? Нуль. За бытовое разложение? Ни единой. Да что там, возьми такую мелочь, как прыганье с трамваев на ходу, — мы, старухи, даже этого себе не позволяем. Мы сознательные!

Кофейкина. Так то оно так...

Бойбабченко. Не спорь! Я все обдумала. Я даже собираюсь в красном уголке прочесть: "Новый быт и новая старуха". Вот. Я, милая, когда готовлю, мету, шью, у меня только руки заняты, а голова свободна. Я думаю, думаю, обобщаю в тишине, в пустой квартире. Мысли, понятия... Не спорь! Объясни, в чем дело с Упыревой! Я мигом разберусь! Предпримем шаги! Ну? Говори!

Кофейкина. Ох... смотри! Объяснить я объясню, дело простое, но только, чур, не отступать!

Бойбабченко. Я? Да я перед львом не отступлю, не то что перед управделами. Объясняй, в чем дело!

Кофейкина. Ну, слушай. Время сейчас опасное, летнее. Лучшие люди в отпуску. Заведующий в горах. Секретарь в командировке. Тишина в учреждении, а она в тишине и проявляется.

Бойбабченко. Упырева?

Кофейкина. Она. Она, брат, мертвый класс.

Бойбабченко. Какой?

Кофейкина. Мертвый. А Гогенштауфен живой. Понятно?

Бойбабченко. Конкретно говори.

Кофейкина. Мертвый она класс! Не страшен мертвый на столе, а страшен мертвый за столом. Понятно? Мертвый человек лежит, а мертвый класс сидит, злобствует. Она в кабинете — как мертвый за столом.

Бойбабченко. Убрать!

Кофейкина. Она у нас недавно — как уберешь?

Бойбагченко. Общественность, местком, стенгазета!

Кофейкина. Летом? А, окромя того, она исподтишка, из-под колоды человека сил всяких лишает. Она по бытовой линии человека губит. Теперь вникай! Теперь слушай, что она задумала! Она задумала Гогенштауфена с Марусей Покровской разлучить!

Бойбабченко. Да неужто!

Кофейкина. Факт. Гогенштауфен сейчас нежный, счастливый, его по этой линии убить — легче легкого. Расстроится, с проектом опоздает, и выйдет все, как ей надо! Повредит она человеку в любви, а пострадает учреждение! Ох, она ехидная, ох, она хитрая, ох, она злобная!

Бойбабченко. Идем!

Кофейкина. Куда?

Бойбабченко. Наверх.

Кофейкина. Зачем?

Бойбабченко. Глаза открывать.

Кофейкина. Какие глаза?

Бойбабченко. Гогенштауфену глаза. Пусть знает! Пусть приготовится!

Кофейкина. Да что он может! Заведующий в отъезде. Будь заведующий— тогда сразу все прояснилось бы. Он ведь вроде как бы гений. А Гогенштауфен — где ему!

Бойбабченко. Идем наверх — я проясню!

Кофейкина. Как именно?

Бойбабченко. Все ему выложу, бедному Гогенштауфену. Так и так, Упырева желает вас с девушкой разлучить, чтобы вы ослабели и худо работали. Она такая вредительница, что прямо жутко!

Кофейкина. А он тебе на это вежливо: ох, да ах, вот как, а про себя — какая сплетница-баба! Ненормальная!

Бойбабченко. А я ему скажу: она классовый враг!

Кофейкина. А он тебе деликатно: да ну! Да неужто! А сам про себя: какая пошлая старуха. Спецеедка.

Бойбабченко. Давай анкету Упыревой достанем и докажем ему все, как на ладошке!

Кофейкина. Эх, ты, неопытная. У настоящего классового врага анкета всегда аккуратная! Нет, ничего ты не можешь.

Бойбабченко. Я не могу?

Кофейкина. Ты.

Бойбабченко. Я?

Кофейкина. Ты.

Бойбабченко. Не знаешь ты меня! Я всегда найду путь, как за правду постоять!

Кофейкина. Всегда ли?

Бойбабченко. Всегда. Если трудно — обходным путем пойду. Вот мои соседи, например, кошку обижали. Котят топили. Кошка орет, а они топят. Прямым путем, уговором их не взять. Хохочут звери над животным. Легко ли это выносить при моей доброте? Пошла я в жакт и заявила, что соседи мои в квартире белье стирают. Ахнули соседи, пострадали и смягчились. Боятся теперь против меня идти. Во мне, мать, энергия с возрастом растет. В двадцать лет я хороша была, а в шестьдесят — втрое. Не знаю, что дальше будет, а пока я молодец!

Кофейкина. Это мне известно. Поэтому с тобой и договариваюсь. Поэтому посвящаю тебя во все дела. Она готова напасть, я готова отразить, и все прекрасно.

Бойбабченко. Ничего прекрасного не вижу. Торчишь у дверей и все. В чем же твоя готовность? Чего ты ждешь?

Кофейкина *(просто)*. А жду я, матушка, пока пробьет полночь.

Бойбабченко. Чего?

Кофейкина. Двенадцать часов жду. Поняла?

Бойбабченко. Зачем?

Кофейкина. Ты энергична, но против моей энергии твоя энергия ничего не стоит. Слушай меня. Давай сюда ухо. *(Шепчет что-то на ухо Бойбабченко.)*

Бойбабченко. Ах!

Кофейкина. Не ахай! *(Шепчет.)*

Бойбабченко. Ох!

К о ф е й к и н а. Не охай. *(Шепчет.)*

Б о й б а б ч е н к о. Ух!

К о ф е й к и н а. Не ухай. *(Шепчет.)*

Б о й б а б ч е н к о. Что ты мне сказки рассказываешь!

К о ф е й к и н а. А что плохого в сказке?

Б о й б а б ч е н к о. И все так, как ты говоришь?

К о ф е й к и н а. Все.

Б о й б а б ч е н к о. Но это форменная сказка.

К о ф е й к и н а. Ну, и что же с того? Весело, отчетливо. Она подлостью, а мы...

Вспыхивает на секунду яркий свет.

Б о й б а б ч е н к о. Что это?

К о ф е й к и н а. Не дрожи! Это трамвай по проволоке дугой ударил. Еще ведь нет двенадцати. Эх, мать! Оставь хозяйство! Идем за мной! Я простая, я легкая. В два дня ликвидируем врага, и каким путем — небывалым путем! Идешь?

Б о й б а б ч е н к о. Подумаю.

К о ф е й к и н а. Скорее! До двенадцати надо решить! Решай! А если решишь, —

Энергия плюс чудо, минус разум,
И мы с управделами сладим разом.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната в учреждении. Ночь. Г о г е н ш т а у ф е н работает за столом.

Г о г е н ш т а у ф е н. Который час? Без четверти двенадцать... Так. Мне осталось всего на пятнадцать минут работы. Хорошо! Через полчаса дома буду — отлично! Где арифмометр? Вот он — замечательно! *(Поет на мотив Буденного, вставляя слова кое-как, растягивая слоги, делая неверные ударения.)* Мы — красная кавалерия, и про нас, четырежды пятна-а-адцать шесть! Дес! сять! Да два в уме, да два в уме, товарищ Гогенштауфен, былинники речистые ведут рассказ. *(Говорит.)* Так и запишем. Пиши, Пантелей

Гогенштауфен. *(Опрокидывает чернильницу.)* Замечательно! Это что же такое? Все залил! Все! До чего мне надоели эти мелкие несчастья — уму непостижимо. *(Поет.)* Вчера, садясь в трамвай, калошу потерял, потом старушке злобной вдруг на платье наступил, потом я подавился ко-ко-косточкой, а ночью, идиот, пролил чернильницу! Хотел пойти домой, поесть как следует и лечь, а вместо этого...

Звонок телефона.

Ага! Алло! Да, я! Конечно, как же я могу не узнать голоса квартирной хозяйки? Нет, не скоро, увы. Что? Пропал мой ужин? Куда? Почему? Да, я открыл окно уходя. А комнату запер. Кошка в окно влезла? Жрет мои котлеты? Крикните ей "брысь". Что? Кричали? Не слышит? Глухая, ангорская? Интересно. Ну, черт с ней. Что? Кто приходил? Маруся Покровская? Что срочно передать? Громче говорите! А? Чего вы щелкаете? Кто? А? Группа "А"! Полное молчание. Аппарат испортился, будь ты трижды рыжий. Ну, и ладно. *(Поет.)* Приду домой, а лопать нету ничего, ангорская кошечка слопала все-е! Маруся приходила, не узнать до завтра почему, са-а-мая прекрасная де-вушка! *(Переставляет лампочку. Лампочка гаснет. Полная тьма. Гогенштауфен встает, ищет выключатель. Поет крайне уныло.)* Ах, будь ты трижды рыжий, ах, будь ты трижды рыжий, ах, будь ты трижды ры-ы-ыжий, ах, будь ты. *(С грохотом натыкается на что-то.)* Найди тут выключатель! Где я? Ничего не понимаю. Темнота и больше ничего. Фу-ты, даже как-то неприятно. Как будто я не у себя в учреждении, а...

На секунду вспыхивает яркий зеленый свет.

Здравствуйте — а это что такое? Что за свет? Честное слово — или это от усталости, но только я не узнаю комнаты. Куда бежать? *(Бежит, с грохотом натыкается на что-то.)* А это что? Здесь ничего такого, большого, холодного, гладкого не стояло!

Снова на секунду вспыхивает свет.

Опять!

Музыка.

Кто это играет?

Часы бьют двенадцать.

Кто это звонит?

От стены отделяется белая фигура.

Кто там ходит?

Голос. Я.
Гогенштауфен. Кто я?
Голос. Это мы, мы!
Гогенштауфен *(в ужасе)*. Какие мымы?

Зажигается свет. У выключателя
Кофейкина и Бойбабченко.

Гогенштауфен *(падает в кресло, вытирает лоб платком)*. Здравствуйте, товарищ Кофейкина.

Кофейкина. Здравствуйте.

Гогенштауфен. Что тут за ерунда делалась? А? Скажите! Что за свет вспыхивал?

Кофейкина. А это, товарищ Гогенштауфен, трамвай по проволоке дугой бил. Возле нас поворот.

Гогенштауфен. Действительно... А что за музыка играла? Что за звон звонил?

Кофейкина. А это, товарищ Гогенштауфен, часы. Музыка потому играла, что часы двенадцать били. Такой у них под циферблатом музыкальный механизм.

Гогенштауфен. Позвольте, а днем в двенадцать они почему не играют?

Кофейкина. Играют и днем, товарищ Гогенштауфен. Но только у вас в двенадцать перерыв на завтрак, вы в этой комнате не бываете.

Гогенштауфен. Верно. Значит, все просто?

Кофейкина. Вполне. Позвольте вас, товарищ Гогенштауфен, познакомить. Подруга моя, соседка нашего учреждения, товарищ Бойбабченко. Домохозяйка. Очень она любит наше учреждение.

Бойбабченко. А в особенности — вас.

Гогенштауфен. Меня?

Бойбабченко. Да-с.

Гогенштауфен. За что же, собственно?

Бойбабченко. Жаль мне вас, товарищ Гогенштауфен ох, как жаль!

Гогенштауфен. Виноват?

Кофейкина. Жалеем мы вас, она говорит. И правильно говорит. И нет в этом ничего для вас обидного! Простите, прибрать надо. *(Метет.)*

Гогенштауфен. Я не обижаюсь! Я только не понимаю — за что меня это... любить. И того... как его... Вы того... Простите, я когда... теряюсь... нескладно говорю. Это... Почему жалко?

Кофейкина. Потому что вы художник, прямо сказать.

Гогенштауфен. Я простой экономист!

Кофейкина. Экономист, да не простой. Знаю я, что вы за проект готовите.

Гогенштауфен. Это... того... нескладно говоря... Проект... наш план... того... Усилить. А, будь ты трижды рыжий! О чем говорим мы в конце концов? Что за странности со всех сторон? Ну, знаете вы мой проект — так чего же вам жалеть меня?

Бойбабченко. А конечно, жалко! Сидели мы с ней в темноте, слушали вашу песню, и сердце у меня дрожало.

Гогенштауфен. Сердце?

Бойбабченко. Дрожало, родной. Так я плакала! Ты пел хорошо, жалостно!

Гогенштауфен. Я плохо пою.

Бойбабченко. Нешто мы формалистки? Нам форма — тьфу. Нам содержание твоей песни всю душу истерзало! *(Поет.)* Четырежды пятнадцать шесть! Дес! сять! *(Всхлипывает.)* Поет, бедный. Поет и не знает ничего! Не знает...

Гогенштауфен. Что не знает?

Кофейкина. Тебе грозит беда!

Гогенштауфен. Какая?

Кофейкина. Страшная.

Часы снова бьют двенадцать. Музыка.

Гогенштауфен. Почему часы опять играют?

Кофейкина *(бросила мести. Метла метет сама собой. Пауза)*. А уж такой у них, товарищ Гогенштауфен, музыкальный механизм под циферблатом. Как двенадцать — играют, бьют!

Гогенштауфен. Так ведь было уже двенадцать, было!

Кофейкина. Они, товарищ Гогенштауфен, спешат. Фактически, астрономически, то есть по звездам, двенадцать часов исполнилось только сей миг. Вот и заиграла музыка, звон зазвонил!

Гогенштауфен. Ничего не понимаю!

Кофейкина. Это не важно! Ты одно пойми: грозит тебе беда. *(Снова хватает метлу, с ожесточением метет.)*

Гогенштауфен. Этого... того...

Кофейкина. Враг твой — беспощадный. У него мертвая хватка. Ты человек живой — этого она тебе ни в жизнь не простит. Но ты не бойся! Веселый будет бой. Мы за тебя.

Гогештауфен. Да кто вы?

Кофейкина *(показывает на Бойбабченко)*. Она старуха живая, до жизни жадная, увертливая, с врагом смелая, а я... это...

Гогенштауфен. Ну? Что же вы это... а? Товарищ Кофейкина?

Кофейкина. А я, извините, товарищ Гогенштауфен, — я, товарищ Гогенштауфен — волшебница.

Удар грома, молния. В часах сильный звон. Свет в комнате делается значительно ярче. Загорается перегоревшая настольная лампа. Пишущие машинки звонят, стучат. Арифмометры вертятся сами собой, подпрыгивают высоко над столами и мягко опускаются обратно. В углу с грохотом раскрылось и закрылось бюро. Кариатиды — бородатые великаны, поддерживающие потолок, — осветились изнутри.

Гогенштауфен. Что это делается кругом?

Кофейкина. А это из за меня, товарищ Гогенштауфен. У меня энергии

масса. Все кругом прямо оживает. Волшебница ведь я, извините.

Бойбабченко. Волшебница. Понимаешь? В смысле — ведьма. И не подумай, товарищ Гогенштауфен, что в смысле характера или там наружности она ведьма. Нет. Она полная ведьма! На сто процентов! Я с ней весь вечер сегодня объяснялась — все поняла!

Гогенштауфен. Но волшебниц на свете не бывает, слышите вы, безумные,— не бывает!

Кофейкина. Вообще, действительно, не бывает, но одна всегда была и есть. Это я.

Гогенштауфен. А это все равно, что и нету! Сколько миллиардов людей жило, живет, и еще будет жить — против этого страшного числа одна единственная ведьма все равно, что ничего. Считай, что вообще, действительно, их нету.

Кофейкина. Но только в данном частном случае — вот она я! Волшебница!

Музыка, свет, движение усиливается.

Первая кариатида *(глухим басом)*. Волшебница, поддерживаю!

Вторая кариатида. Поддерживаю, волшебница.

Бойбабченко. Да ты сядь, товарищ Гогенштауфен.

Кофейкина. Кресло, сюда! На-на-на!

Кресло вздрагивает.

Ну, живо!

Кресло подбегает сзади к Гогенштауфену. Ударяет его под колени. Гогенштауфен падает в кресло.

Посиди, ты волнуешься.

Гогенштауфен. Нет... Волнуешься... Это... Опытом... опытом... не приучен.

Кофейкина. Воды!

Стол с графином подбегает к Гогенштауфену. Графин подымается

в воздух и наливает воду в стакан. Стакан взлетает к губам Гогенштауфена. Гогенштауфен покорно пьет.

Бойбабченко. Я понимаю, товарищ Гогенштауфен, неудобно тебе... Мне самой, когда я узнала, кто она такая, тоже было нехорошо. Я к доктору побежала и ее с собой потянула. Кровь ее дала на экстренное исследование.

Гогенштауфен. Ну и что?

Бойбабченко. Ну и получила анализ. Красных у нее кровяных шариков столько-то, белых столько-то, еще много разного написано, а внизу диагноз стоит.

Гогенштауфен. Какой?

Бойбабченко. Волшебница.

Гогенштауфен. Так и написано?

Бойбабченко. Так. Я к главному профессору ходила. Он очки на лоб вздел, весь трусится: сам, говорит, удивляюсь, первый случай, говорит, в моей жизни, странно, говорит, но верно. Видишь! Против науки не пойдешь. Привыкла я! Это все очень просто. Никакого переносного смысла нету. Сказка и все. Привыкай.

Кофейкина. Скорей привыкай. Ты в опасности, друг! Упырева твой враг, чего-то готовит. Ты ей ненавистен.

Гогенштауфен. Почему?

Кофейкина. Мы кто?

Гогенштауфен. То есть?

Кофейкина. Что есть наше учреждение? Финансовая часть огромного строительства. К нам люди со всех сторон ездят сметы утверждать. Попадет к тебе человек, как ты его примешь?

Бойбабченко. Как бабушка родная примешь ты человека. Объяснишь, наставишь, а также проинструктируешь. Каждую часть строительства знаешь ты, как мать сына. Каждую родинку ты, бедный, чувствуешь. Каждую мелочь постигаешь. От тебя человек идет свежий, действительно, думает, центр думает!

Кофейкина. А к ней попадет — сразу обалдевает. Она его карболовым духом. Она его презрением. Она ему: вы у нас не один. Он думает: как же так, я строю, а она меня за человека не считает? Я ей, выходит, мешаю? Я ей покажу! Силу он тратит, кровь тратит — а ей того и нужно. Живую кровь

потратить впустую. Мертвый класс. Вот.

Бойбабченко. А тут твой проект.

Кофейкина. Всю систему упрощает. Всю работу оживляет.

Бойбабченко. Этого она не простит!

Кофейкина. Она все сделает, чтоб тебя расслабить!

Гогенштауфен. Как расслабить?

Кофейкина. Размагнитить. И будет она, окаянная, по такой линии действовать, где ее труднее всего взять.

Гогенштауфен. По какой же это?

Кофейкина. По бытовой. Сплетней запутает, клеветой оплетет.

Бойбабченко. С Марусей разлучит, разлучница поганая.

Кофейкина. Ее только чудом и можно взять. Чудом и возьмем Упыреву-то.

Гогенштауфен. Ах, будь ты трижды рыжий!

Кофейкина. Только имей в виду, — ты экономист, ты меня поймешь, — все чудеса у меня по смете.

Гогенштауфен. По чему?

Кофейкина. По смете. Могу я в квартал совершить три чуда, три превращения, а также исполнить три любых твоих желания. Так и надо будет планировать! Мелкие чудеса, стул, например, позвать и прочее, это, конечно, сверх сметы, на текущие расходы... Но капитальные чудеса — строго по смете.

Гогенштауфен. Фу ты, черт. Ну, а кто она, Упырева-то вредительница, что ли?

Кофейкина. Даже хуже.

Первая кариатида. Хуже, поддерживаю.

Вторая кариатида. Поддерживаю, хуже.

Гогенштауфен. Ах, будь ты... Фу-у!.. Мне даже жарко стало.

Кофейкина. Действительно, ночь жаркая, но мы откроем окошки. *(Дует по очереди на окна. Окна распархиваются.)* Диаграммы — кыш!

Диаграммы, висящие на стене в глубине сцены, скатываются в трубочки.

Кофейкина. Ну, Гогенштауфен, легче тебе?

Гогенштауфен. Как будто легче.

Бойбабченко. А я волнуюсь... Неудобно... Или даже, может быть, жутко... Ведь она и мне до поры не сказала, кто эта Упырева... Поступки сказала, а сущность...

Кофейкина. Увидишь! Сейчас увидишь. Сейчас оба увидите капитальное чудо. Чудо номер один. Приготовились?

Бойбабченко. Да.

Кофейкина *(смотрит на стену. Свистит)*. Ф-р-р-р! Начали!

Стена постепенно становится прозрачной. За стеной — Упырева. Сидит одна за столом. Неподвижна как манекен.

Кофейкина *(выдергивает из щетки палку. Водит палкой по Упыревой)*. Видишь? Вот она. *(Тычет палкой.)* Упырева! Видишь, лицо какое?

Бойбабченко. Отрицательное!

Кофейкина. Вот именно. Вполне отрицательное. Обрати внимание — рот. Маленький, резко очерченный. Нешто это рот? Разве таким ртом можно разговаривать по-человечески? Нет. Да она и не разговаривает по-человечески. Она злобой набита, недоброжелательством полна. Она яды источает.

Бойбабченко. Гадюка она?

Кофейкина. Хуже. А теперь — вглядись, вглядись. Разве таким ртом можно есть по-человечески? Нельзя! Да она и не ест по-человечески.

Бойбабченко. На диете она?

Кофейкина. Хуже! А глаза? Разве они глядят? Они высматривают! Добычу они высматривают.

Бойбабченко. Вроде коршуна она?

Кофейкина. Хуже! А руки! Смотри, когти какие.

Бойбабченко. Красноватые.

Кофейкина. То-то и есть. А лобик. *(Стучит палкой.)* Слышишь звук?

Бойбабченко. Жуть!

Кофейкина. То-то и оно! Что говорит она? Что высматривает? Что когтит своими когтями? О чем думает змеиной своей головой?

Бойбабченко. О подлостях!

Кофейкина. О живом человеке. Появится на работе живой человек — горе ему, горе, горе! Высмотрит, выживет, живую кровь выпьет. Догадываешься, кто она? А, Гогенштауфен?

Гогенштауфен. Опытом... Опытом не приучен.

Кофейкина. А ты, Бойбабченко?

Бойбабченко. Бюрократка она!

Кофейкина. Хуже. Она их предвечная праматерь, или, по-русски говоря, шеф. Она враг всего живого, а сама питается живым. Она мертвого происхождения, а сама помирать никак не хочет. Она вечно в движении — зачем? Чтобы все движение навсегда остановить и в неподвижные формы отлить. Она смерти товарищ, тлению вечный друг.

Бойбабченко. Что же она, говори конкретно!

Кофейкина. Она — мертвый класс. Мертвый среди живых. А проще говоря — упырь!

Свист и шипение, похожие на змеиные. Свет меркнет. Окна захлопываются сами собой. Гаснет снова перегоревшая лампочка. Кариатиды постепенно тускнеют.

Первая кариатида. Поддер...

Вторая кариатида. ...живаем...

Гаснут.

Бойбабченко. Ну, спасибо! Это, матушка, обман, очковтирательство и все!

Кофейкина. В чем дело?

Бойбабченко. Ты же говорила — одна ты эта... сверхъестественная. А теперь, здравствуйте, тетя, — еще упырь! Это что же выходит? А? А говорила — все просто...

Кофейкина. Позволь... Волшебница, действительно, я одна. Добрая. А она злая. И не волшебница, а упырь. Она даже чудес не может совершать. Так, мелкие подлости и все... ясно?

Бойбабченко. Ну, это еще ничего... Только две, значит, вас? Ты добрая, она злая?

Кофейкина. Две. И много тысяч лет мы в бою. Она за мертвых, я за живых. Я — с побеждающими, она — с отживающими.

Бойбабченко. А может, есть ни злые, ни добрые? Эти... Волшебницы-

упыри... Нейтральные?

Кофейкина. Нету таких.

Бойбабченко. А колеблющиеся? Перестраивающиеся?

Кофейкина. И таких нету.

Бойбабченко. Ну, хорошо, — хоть отчетливо! Валяй дальше, матушка!

Кофейкина. Ладно. Мертвый этот упырь притворяется у нас в учреждении из живых живейшим. Упыри, они же вурдалаки, иначе вампиры, как известно, кровью человеческой питаются. А наша вон что делает. Смотри! *(Свистит.)*

Упырева оживает. Достает из сумочки пузырек, из стола рюмочку. Капает. Пьет. Свисток. Упырева замирает.

Бойбабченко. Чего это она пила?

Кофейкина. Гематоген.

Бойбабченко. Чего, чего?

Кофейкина. Гематоген. Лекарственный препарат из крови завода врачебных заготовлений Наркомздрава. Днем препаратом живет, ну, а вечером она, правда, насасывается досыта. Вечером она совмещает. Служит лаборанткой в лаборатории, куда кровь на исследование дают. Ясно — она по крови специалистка. Она там часть исследует, часть выпьет. Часть исследует, часть выпьет. Вот. Все понятно?

Гогенштауфен. Да, летим дальше!

Кофейкина. Летим. Сейчас мы увидим, о чем говорила Упырева в этой комнате нынче днем. Чудо чистое, вполне научное. Все, что тут происходило, оставило свои следы в эфире. Я это просто проектирую на экране и все. *(Свистит.)*

Упырева оживает. Против нее вырисовывается постепенно Юрий Дамкин. Упырева разбирает бумаги.

Дамкин. Детка, знаете, что интересно? Мне так есть хочется, что спасу нет. Прямо сам любуюсь, как мне есть хочется. Сильный организм. У меня есть такой свойство — если я не поем...

Упырева. Сейчас кончу — поговорим. А пока не болтайте, как заре-

занный. *(“Зарезанный” произносит с наслаждением.)*

Д а м к и н. Детка, знаете новость? Интереснейшая новость! Я себе коронки сделал. На все зубы! Стальные! Нержавеющей стали. А? Детка... У меня теперь стальные зубы! Детка, у меня есть такое свойство,— я не могу морковь есть... Не люблю... А еще я не люблю маслины. Они деревянным маслом пахнут. Детка! Интереснейшая новость — я себе полуботинки купил! Не слушает... Работает... Как симпатично у вас вьются волосы! Смотрите, пожалуйста! Завиваетесь?

У п ы р е в а. Да, но завивка у меня вечная.

Д а м к и н. А почему у вас такие белые ручки?

У п ы р е в а. Потому что крови мало.

Д а м к и н. А почему у вас такие серьезные глазки?

У п ы р е в а. Потому что я пить хочу!

Свист и шипенье, похожие на змеиные.

Д а м к и н. Почему это у вас в комнате всегда отопление шипит? Летом, а шипит? Да! Интереснейшая новость! Я достал вчера себе шевиот на костюм. Двойной! Американский! Не слушает... *(Хлопает себя по лбу.)* Ах, я глупенький! Мне предстоит это, а я не это... Так вот вы зачем просили меня остаться! Конечно! Все разошлись! Мы одни. А? Укусить вас зубами стальными? Пожалуйста! А? Что молчите? Зачем наивничать? Вы не девочка, я не мальчик — будем брать от жизни все, что она дает. Где ключ?..

У п ы р е в а. Не нужно.

Д а м к и н. Как не нужно?

У п ы р е в а. Вы пристаете ко всем женщинам, как зарезанный!

Д а м к и н *(хохочет)*. Ревнует! Не надо! Берите от жизни все, что она дает. А что она даст?

Жизнь — это бочка страданий,
С наслаждения ложечкой в ней.

(Берет ее за руку.) Какая холодная ручка.

У п ы р е в а. Сядьте.

Д а м к и н. Как сядьте? Ну это уж грубо. У меня есть такое свойство...

У п ы р е в а. Не тратьте времени.

Д а м к и н. Я не трачу.

Упырева. Тут у вас ничего не выйдет.

Дамкин. У меня, дорогая, есть такой свойство...

Упырева. Довольно.

Дамкин. Как это, то есть, довольно? Чего изображать добродетель? Я очень хорошо знаю женщин. Все они дон-жуаны и циники.

Упырева. Оставьте!

Дамкин. У меня есть такое свойство, дорогая. Уже если я начал, то не оставлю!

Упырева. Мне с вами поручила поговорить одна женщина! Понимаете? Чего мигаете глазами, как зарезанный? Она в вас влюблена. Это первое мое дело к вам. Второе мое дело — вас ненавидит один мужчина.

Дамкин. Кто?

Упырева. Он вам вставляет палки в колеса

Дамкин. Не такие у меня колеса, чтоб можно было палки вставлять!

Упырева. А вот он вставляет.

Дамкин. Кто он?

Упырева. Да неужто вы сами не догадываетесь?

Дамкин *(грубо)*. Довольно колбасы! Давайте сосисок! Говорите прямо, что знаете!

Упырева. У вас были столкновения с Гогенштауфеном?

Дамкин. У меня есть такое свойство — если мне прямо не говорят, я могу безобразие сделать. Он меня копает?

Упырева. Что вы сделали с Марусей Покровской?

Дамкин. С кем? Ах, да... *(Хохочет.)* Ну, что с ними делают-то вообще? Мы с ней недавно на лод...

Свисток. Дамкин и Упырева замирают.

Кофейкина. Не бойся, врет!

Свисток. Дамкин и Упырева оживают.

Дамкин. ...ке катались... Природа, виды... *(Поет.)*

Глазки
Сулят нам ласки,

Сулят нам также
И то и се!
Ха-ха! Хо-Хо!

Упырева. Ну, значит, он. Дайте-ка ухо. *(Шепчет.)*

Кофейкина. Ближе! Ближе сюда! Слушайте!

Бойбабченко. Ничего не слышно.

Кофейкина. Сейчас вторично пущу. Встань на стул. Слушай.

Бойбабченко на стуле у стены. Кофейкина свистит.

Дамкин *(в точности повторяет предыдущую реплику)*.

...нам также
И то и се!
Ха-ха, хо-хо!

Упырева. Ну, значит, они... дайте-ка ухо. *(Шепчет.)*

Бойбабченко. Нет, не слышно: тихо шепчет, окаянная.

Кофейкина. Гогенштауфен — к стене! Повторяем! *(Свистит.)*

Дамкин.

...же-е
И то и се!
Ха-ха, Хо-хо!

Упырева. Ну, значит, он... дайте-ка ухо. *(Шепчет.)*

Кофейкина. Опять не слышно? Ну, тогда пущу медленно! Слушайте во все ваши уши! От этого, может, жизнь человеческая зависит. *(Свистит.)*

Упырева и Дамкин повторяют предыдущие реплики чрезвычайно медленно, как при ускоренной съемке в кино.

Дамкин.

...су-у-у-л-я-я-т
На-а-а-м-м ла-а-а-ски.
Су-у-лят нам также
И то и се-е-е...

Упырева. Ну-у, зна-а-а-чит-ит о-о-они... Да-а-ай-те-ка у-у-у-у-у-у-у-ух-х-о-о! *(Шепчет.)*

Бойбабченко. Нет, не слышно.

Кофейкина. Почему она шепчет, гадюка! Неужто догадывается? Продолжайте! *(Свистит.)*

Дамкин *(на шепоте Упыревой)*. Да не может быть! Ну, я ему покажу. А она-то! Ах, ты, детка! У меня есть такое свойство... Ах, ты, Гогенштауфен...

Упырева. Но будьте осторожны с ним!

Дамкин. Будьте покойнички! В этом кармане, но не в этом пиджаке. Так это, говорите, его прямо убьет?

Упырева. Расстроится, как зарезанный.

Дамкин. А наверху его проект, значит, того?

Упырева. Совер...

Свисток.

Кофейкина. Не бойся — врет.

Свисток.

Упырева. ...шенно провалился...

Дамкин. Я всегда говорил... Значит, завтра ждать? Она напишет? Прекрасно! Бегу! Детка, знаете новость?

Кофейкина. Надоел! *(Свистит.)*

Действие на сцене начинает идти с необычайной быстротой, как в киноленте с вырезанными кусками.

Дамкин *(скороговоркой)*. Потрясающая новость... Демисезонное пальто... Пальчики оближешь! Бегу! Стальные зубы! Есть хочу! Пока! Я... я... мне... меня... со мной... ко мне...

Жизнь — это бочка страданий,
С наслаждения ложечкой в ней!

Уносится прочь.

Упырева *(скороговоркой)*. Так-так-так, все идет... Сейчас позову

Марусю...

Кофейкина. Интересно... *(Свистит.)*

Упырева *(обычным темпом)*. Сейчас позову Марусю, займемся объявлением. И все запутается, и все замечутся, как зарезанные, все расстроится. *(Напевает, перебирая почту.)* Там, где были огоньки, стынут, стынут угольки... *(Внезапно оживляясь, вглядывается в штемпель)*. Какое красивое название города: Режи-цы. Ах, скоро ли в лабораторию... Вчера там был выходной день. *(Страстно.)* Я пить хочу!

Свист и шипенье, похожие на змеиные.

Я тебе покажу проект! Оживление! *(Брезгливо плюет, вытирает губы.)* Притихнешь. *(Напевает.)* Там, где были огоньки, стынут угольки... Маруся!

Входит Маруся.

Упырева. Марусенька! Не в службу, а в дружбу. Машинистки разошлись, а надо, чтобы не забыть, написать объявление. Что вы улыбаетесь? Кому?

Маруся. Да так... Это я себе...

Упырева. Себе? Эх, Марусенька, ты ходишь сейчас вся, как фонарик. Изнутри светишься. Как я тебя понимаю!

Маруся. Понимаете?

Упырева. Как дочку. Да не опускай ты голову. Все хорошо. Не опускай, дурочка, головку. От мужчины скроешь, от женщины никогда. У вас с ним это... С Гогенштауфеном...

Маруся. Ну, зачем вы говорите!

Упырева. У вас с ним все хорошо. И ты еще привыкнуть не можешь. Все вспоминаешь. Все вспоминаешь.

Маруся. Ну, зачем вы...

Упырева. Любя... Глядя на тебя, свою молодость вспоминаю.

Маруся. Но ведь вы совсем молодая.

Упырева. Но не девочка, а ты еще девочка. *(Целует ее и, отвернувшись, пихает.)*

Маруся. Я не знала, что вы такая добрая. Даже неудобно, какая ласковая. Я не знала.

Упырева. Ну, знай теперь. И если что у тебя будет неладно, иди прямо ко мне. Вот. А теперь пиши, я тебе продиктую. Вот тебе бумага. Пиши прямо на всей стопе, так удобней. Пиши.Только распланируй слова так, чтобы машинистки поняли, как печатать. Наверху напиши... нет, не надо. И так понятно, что объявление. Ну, значит, что же... Пиши во весь формат: "Обязательно приходите все, все, все восьмого июня в парк на вечер цыган, в шесть часов вечера. Хор исполнит..."

Теперь пиши название вещи с одной стороны, и композитора — с другой. Налево, вот здесь, пиши: "Любви не прикажешь". Направо, вот здесь — старинный романс.

Любовь победила — музыка Зинина.

Молчи со мною о письме — музыка Вавича.

Мне стыдно — музыка Дракули-Критикос.

Твоя навек — музыка Бравича.

Маруся — народная песня.

Вот и все, голубчик. И отдай это машинисткам завтра с утра. Летний развлекательный концерт! Бежишь?

Маруся. Да, бегу. А ты?

Упырева. К нему? Ну, беги, а я еще чуть поработаю. Иди, милая!

Маруся уходит.

Упырева. Прекрасно! Все готово! В трех экземплярах! Бумага-то промокает! Ну, теперь попляшут они! В сетях они! *(Разглядывает письмо.)*

Кофейкина. Чему она радуется? А ну, посмотрим это объявление. *(Свистит.)*

На сцене — объявление крупным планом:
"Обязательно приходите все, все, все
Восьмого июня, в парк, на вечер цыган.
В шесть часов вечера. Хор исполнит:
Любви не прикажешь — старинный романс.
Любовь победила — музыка Зинина.
Молчи со мною о письме — музыка Вавича.
Мне стыдно — музыка Дракули-Критикос.

Твоя навек — музыка Бравича.
Маруся — народная песня".

Кофейкина. Ничего не понимаю.

Упырева *(за письмом)*. Это объявление все перекрутит.

Кофейкина. Каким образом?

Упырева. А за него я сама постараюсь. Ну, надо бежать. Завтра, в обеденный перерыв начнутся веселые танцы! Бегу!

Кофейкина. Катись! *(Свистит.)*

Стена становится на место. Диаграммы повисают.

Гогенштауфен. Что это такое? Когда было вчера? Несколько часов прошло или сто лет? Что за странная жизнь пошла! Что она шептала Дамкину? Почему она так обрадовалась дурацкому этому объявлению? При чем тут цыгане? При чем тут песни?

Кофейкина. Поймем. Все-таки мы напали на след. Где мой электрический пылесос?

Бойбабченко. Нашла время пыль сосать.

Кофейкина. Не для пыли ищу я пылесос.

Бойбабченко. А для чего?

Кофейкина. Сейчас поймешь. Все-таки она проговорилась! Завтра в обеденный перерыв окружим ее и будем следить, следить, следить — в шесть глаз!

Бойбабченко. Как же следить? Во-первых, она почует. Во-вторых, мне лично следить неудобно. Я же в штате не состою! Она меня порвет.

Кофейкина. А ты забыла, кто я? Над городом ветер, в городе тихо, под городом камни! Я в полной силе!

Распахиваются окна и дверь на балкон.
За дверью ночной город.

Гогенштауфен. Как же мы будем следить?

Кофейкина. Было бы дело зимой — дала бы я вам шапки-невидимки. Но не зима теперь,— лето, тепло, хорошо. И раздам я вам поэтому завтра кепки-

невидимки. Потрачу капитальное чудо номер два. Где мой электрический пылесос?

Бойбабченко. Да зачем он тебе?

Кофейкина. К ней полечу. Моложе была — на метле летала, а теперь состарилась, отяжелела — летаю на электрическом пылесосе. Мне, старой, на нем покойнее. Все-таки электроэнергия. Спи, Гогенштауфен.

Гогенштауфен. А проект?

Кофейкина. Спи, машины-арифмометры за тебя поработают.

Гогенштауфен. Позволь, но ведь там надо знать!

Кофейкина. Я все знаю. Моя энергия в них будет работать. Это даже не чудо, а чистая наука. Правят кораблями с берега, а я с дороги буду править машинами. И все очень просто. Чистая наука.

Гогенштауфен. Позволь, но ты-то сама...

Кофейкина. Я все знаю. Забыл, кто я? Я молода была — называлась фея. Это я теперь Кофейкина. Все очень просто. Спи.

В окно влетает подушка. Нерешительно повисает в воздухе.

Кофейкина *(подушке)*. Да-да, правильно, сюда!

Подушка укладывается Гогенштауфену под голову.

Кофейкина. Вот так. Отдыхай. *(Арифмометру.)* А ну, перемножь-ка мне, браток, две тысячи восемьсот на триста сорок восемь.

Арифмометр вертится сам собой. Кофейкина берет под мышку зонтик, пылесос. Идет на балкон, становится на перила, идет по воздуху.

Бойбабченко. Что же ты, матушка, пешком?

Кофейкина. А тут, между домами, много воздушных ям. Подымусь повыше, сяду и поеду себе. *(Останавливается в воздухе, улыбаясь вглядывается в Гогенштауфена.)*

Арифмометры вертятся сами собой. Поднимается звон. Музыка.

Кариатиды спрыгивают со стен. Вместо ног у них орнаменты. Они прыгают на своих оранментах, как мячи. Из ящиков письменного стола подымаются в большом количестве девушки. Вступают в танец. Бойбабченко с ними. Мебель тоже пляшет.

Гогенштауфен. Что это?

Кофейкина. А это сон. Ты видишь сон. Спи!
Завтра бой — свирепый и суровый.
Но я с тобой — и горе Упыревой!

Уходит по воздуху.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ВТОРАЯ

Комната перед кабинетом Упыревой.

Гогенштауфен. Маруся! Маруся! Маруся!

Маруся. Что?

Гогенштауфен. Мне очень много тебе надо было сказать, а как увидел— забыл. Я тебя так давно не видел. У тебя кофточка новая?

Маруся. Мы два дня не виделись. Это кофточка старенькая. Сейчас обеденный перерыв — давай пообедаем вместе.

Гогенштауфен. Нет, Марусенька, нельзя мне.

Маруся. Жалко... Знаешь, я к тебе очень привыкла. А ты что, работать будешь?

Гогенштауфен. Нет... То есть...

Маруся. Уходишь?

Гогенштауфен. Нет, но меня не будет...

Маруся. Совещание, что ли?

Гогенштауфен. Да... Вроде. Ты вчера приходила?

Маруся. Приходила.

Гогенштауфен. Случилось что?

Маруся. Нет... Скучно стало...

Гогенштауфен. А говорила — надо спешно передать?

Маруся. Это я со страху выдумала. Я хозяйки твоей боюсь.

Гогенштауфен. А ты ее не бойся.

Маруся. Она когда на меня смотрит, что-то шепчет. Не то молится, не то ругается.

Гогенштауфен. А-а, да. Это она насчет кухни боится. Переедешь — будешь готовить. Она боится.

Маруся. А ты уже сказал, что я переезжаю?

Гогенштауфен. Да... То есть нет еще... Я ей напишу. Она сама каждый день говорит... Но не в этом дело! Будь осторожнее, Маруся, будь осторожней!

Маруся. А что такое?

Гогенштауфен. Не могу объяснить — сложно. Ну, будут, например, меня ругать — не верь!

Маруся. Что ты! Кто тебя будет ругать? Все говорят: вот талантливый... Экономист и вдруг талантливый... Тебя все любят!

Гогенштауфен. Никому не верь, ничему не верь.

Маруся. А тебе?

Гогенштауфен. Мне, конечно, верь.

Маруся. Я к тебе... приду сегодня?

Гогенштауфен. Да... А пока прощай. *(Обнимает ее. Свисток. Гогенштауфен торопливо надевает кепку. Исчезает.)*

Маруся. Что такое? Куда он исчез? Или это у меня опять голова закружилась?

Голос Гогенштауфена. Прощай, Маруся.

Маруся. Ты где — за дверью?

Голос. Да, вроде.

Маруся. А как ты исчез? Молчит. Конечно, он просто ушел. Всегда у меня от него так голова кружится, что прямо неудобно. Интересно — у всех это бывает или только у меня?

Сцена меняется. Кабинет Упыревой. Кончается обеденный перерыв. За столом пьют чай Юрий Дамкин, Журочкин, Арбенин, Брючкина. Упырева сидит в стороне. Возле нее Кофейкина, Бойбабченко, Гогенштауфен.

Журочкин. Страшно, товарищи, прямо страшно делается. Как можно бухгалтерии касаться? Бухгалтерии касаться нельзя. Это такая система, которая вечная. А Гогенштауфен подлец. Это — раз! Наглец — это два! Пройдоха — это три! *(Говоря "раз", "два" и "три", отбрасывает эти цифры на счетах.)* И в итоге получается черт знает что! Когда мне было лет восемнадцать *(отбрасывает на счетах восемнадцать)*, я сам иногда ночью думал — а нельзя ли, например, отчет упростить? Нельзя, вижу! Нет! Зачем вертится Гогенштауфен в бухгалтерии? Что нюхает? Все трусость! Боится, что недостаточно старается. Вдруг не заметят. Хоть бы провалился он со своим проектом.

Бойбабченко шлепает его по лысине.

Журочкин *(вскакивает)*. Какое странное явление! Что-то теплое стукнуло меня по голове! Вот... Довели... Стукать начало меня!

Арбенин. Нервы.

Журочкин. Конечно! Довели...

Кофейкина. Поаккуратнее надо. Они нас не видят и не слышат, но чувствуют, если коснешься... Чудо чистое, вполне научное.

Гогенштауфен. Ну, когда же, когда все это выяснится? Обеденный перерыв кончается.

Кофейкина. Смирно...

Брючкина. *(хохочет. Подходит к зеркалу, у которого стоит Бойбабченко. Поправляет волосы.)* Гогенштауфен такой чудак.

Бойбабченко. Чего она лупится на меня?

Кофейкина. Она́ сквозь тебя в зеркало глядит.

Брючкина. Ужасный чудак.

Бойбабченко. Ты хороша.

Брючкина. Недавно я иду, а он щурится на меня...

Бойбабченко. Ослепила, подумаешь!

Брючкина. В ваших, говорит, очах есть бесенок. Я так хохотала! Зачем это ему?

Бойбабченко. Точно, что незачем!

Арбенин *(Упыревой)*. А скажите, атласная, это верно, что в сферах к его проекту отнеслись скептически?

Упырева. Не имею пока права сказать. Но...

Арбенин. Я это знал заранее. Все очень хорошо знал.

Упырева. Проект хороший.

Бойбабченко. Вот хитрая скважина!

Упырева. Гогенштауфен человек талантливый.

Арбенин. Я так и знал, что все это скажете, шелковая. Знаю я таких. Очень хорошо знаю... Талантливый! Все люди одинаковы! Он такой же человек, как и все. Ловкач, пролаза, приспособленец, лентяй!

Упырева. Доброжелателен. Его любит периферия.

Журочкин. Доброжелателен! Это ломанье, и все! Как можно быть доброжелательным, когда приходит человек ко мне, чтоб я ему деньги выпи-

сал! Я как увижу такого из своей стеклянной клетки, так в момент зверею от страха. Все идет гладко — вдруг здравствуйте, ассигновка! Да мало ли что по смете! Убил бы!

Арбенин. Все это я знаю, все понимаю... Побывал бы он в шкуре юрисконсульта среди людей без малейшего признака юридического мышления.

Брючкина. А в машинописном бюро красиво? То это экстренно, то это экстренно. А мне-то что? *(Хохочет.)* У нас на периферии есть один химик. Огромный-огромный — его путают на улице с Петром Великим.

Бойбабченко. Пугаются должно — памятник идет.

Брючкина. Он как приедет, сейчас скачет в машинописное бюро.

Бойбабченко. На лошади аль пешком?

Брючкина. Увидит меня и вздыхает. И щурится. Я всегда так хохочу. Зачем это ему нужно? Вот к нему я все-таки доброжелательна. *(Хохочет.)* Петр Великий! Ах-ах!

Упырева. Его проект может вызвать большое оживление.

Кофейкина. Подначивает, подначивает, натравливает!

Арбенин. Оставьте, фильдекосовая! Однако проект не одобрен? Периферию распускать надо, а?

Журочкин. На голову себе сажать?

Брючкина. Перед посетителями унижаться?

Арбенин. Я давно предлагаю — завести пропуска.

Журочкин. Святые слова!

Брючкина. Лезут совершенно неинтересные люди.

Журочкин. Хотя бы один день никто не пришел, никто бы не мучил. К двум принес кассир из банка деньги, к шести обратно сдал бы ту же сумму, копеечка в копеечку. Ходили бы бумаги внутри аппарата! Работала бы машина для одной красоты. Ах... Простите, что мечтаю, но очень я изнервничался! Вчера, например, читал я книжку и расплакался. А книжка-то смешная. “Вий” Гоголя. Изнервничался. Стукает меня.

Дамкин *(хохочет)*.

Журочкин. Что это вы?

Дамкин. Ха-ха-ха! Наелся. А вы, детки? Детка Упырева? Детка Брючкина? *(Хохочет.)* Хорошо. Да, товарищи, слышали новость? Я себе зубы вставил. Стальные. Нержавеющей стали. Жарко! Люблю жару. Я люблю. Я... у меня... мне...

Входит Маруся Покровская.

Дамкин. Привет, детка... Ля-ля-ля-ля.

Журочкин. Привет, товарищ Покровская.

Арбенин. Что это вы будто не в себе?

Маруся. Вот утренняя почта, я разобрала. *(Вдруг закрывается платком. Плачет.)*

Гогенштауфен. Маруся!

Кофейкина. Вот оно! Началось!

Упырева. Что с вами?

Журочкин. Может, нервы? Может, вас это... стукнуло?

Брючкина. Кокетничает!

Арбенин. Все я знаю, все понимаю.

Дамкин. Утешим, утешим!

Упырева. Погодите. *(Отводит Марусю на авансцену. Невидимые ее окружают.)*

Упырева. В чем дело? А? Ну, скажи... Я старший товарищ, я опытней тебя... Пойму. Письмо, что ли, получила?

Маруся качает головой.

Из дому? Нет? А откуда? Ах, от него? От Гогенштауфена?

Маруся кивает головой.

Гогенштауфен. Что такое?

Кофейкина. Началось! Началось!

Упырева. Поссорилась?

Маруся. Нет... Он только что сказал: никому не верь, только мне верь! И вот такое страшное письмо... вдруг... А говорил — верь.

Упырева. Издевался... Намекал, чтобы письму верила! Он этим известен.

Маруся. Известен?

Упырева. Большой подлец с женщинами. Так хороший человек, а с женщинами — зверь!

Гогенштауфен. Я...

Кофейкина. Не мешай!

Упырева. Иди домой, успокойся, но ему ни слова. Не унижал себя. Иди умойся. Иди. Я подойду...

Маруся уходит.

Упырева *(хохочет).*

Свист и шипенье, похожие на змеиные.

Журочкин. Как мне этот шип действует на мозги!

Брючкина. Чего эта фифа ревела?

Упырева. Страсть...

Брючкина. К Гогенштауфену?

Упырева. Ошибаетесь...

Дамкин.

Глазки
Сулят нам ласки,
Сулят нам также
И то и се!

Арбенин. Я так и знал, я был совешенно уверен, что в случае неудачи проекта Гогенштауфен будет оставлен этой девочкой.

Упырева *(разбирает почту, напевает).* Там, где были огоньки, стынут, стынут угольки. Вам письмо, товарищ Брючкина.

Кофейкина. Гогенштауфен, вперед!

Упырева. Что такое? Все как сговорились сегодня: и вам, и вам, и вам! *(Хохочет.)*

Свист и шипенье. Арбенин, Журочкин, Дамкин читают письма. Начинают сначала улыбаться, потом хохотать. Потом, подозрительно взглянув друг на друга, быстро расходятся. Невидимые тоже прочли все письма. Только письмо Брючкиной не удалось прочесть. Она читала его осторожно. Прочтет слово — и прижмет письмо к бюсту. Стонет, раскиснув от смеха: “И зачем это ему нужно?” Уходит.

Упырева *(в сильном возбуждении, почти прыгает)*. Мобилизована моя армия! Так их! Ату их! Крой! Рви!

Бойбабченко *(Упыревой)*. Как ты это сделала?

Упырева. Пойдет путаница!

Бойбабченко. Зачем всем трем от Марусиного имени свидание в парке назначила?

Упырева. Ну, теперь никого нет, можно и закусить. *(Достает гематоген.)*

Бойбабченко. Зачем?

Упырева. Утихомирятся, с толку собьются, и я хоть квартал, а поцарствую. Стекла — в паутину, ступеньки — в зловещий вид, карболовый мой дух! Казарменная моя тоска! Страхолюдно! Уютно! Сотрудники рычат! Народ бежит!

Гогенштауфен. Это ее почерк! Ее! Ничего не понимаю.

Кофейкина. Сейчас я с нее собью спесь!

Бойбабченко. Покажешься?

Кофейкина. Нет, у нас установилась с ней другая связь. Невидимая. Беспроволочная, — что твой радио! *(Говорит негромко, но отчетливо.)* Алло!

Упырева вздрагивает.

Кофейкина. Алло!

Упырева. Да, я слушаю.

Кофейкина. Узнала?

Упырева. Узнала.

Кофейкина. Страшно?

Упырева. Ничуть!

Кофейкина. Встречу — убью.

Упырева. Мое время не пришло.

Кофейкина. Ан, пришло!

Упырева. Ан, нет.

Кофейкина. Ан, пришло!

Упырева. Ан, нет!

Кофейкина. Мои-то, живые, горы двигают.

Упырева. А мои-то, мертвые, их за руки.

Кофейкина. Мои-то, живые, выше неба взлетают!

Упырева. А мои-то, мертвые, их за ноги!

Кофейкина. Однако растем!

Упырева. А мы вас, однако, держим!

Кофейкина. Мои такую бурю раздули, что тебя любой волной захлестнет!

Упырева. А мы на волны маслицем, маслицем, и все уляжется.

Кофейкина. Ан, врешь!

Упырева. Ан, нет!

Кофейкина. Ай, не уляжется!

Упырева. Ай, уляжется! Впервой ли нам? Подымается волна, а мы следом. И ну ее приглаживать, прилаживать, причесывать, укладывать, рассасывать, зализывать — и все в порядке. Выкусила?

Кофейкина. Против кого идете?

Упырева. Врешь, мы не против идем. Врешь, мы следом идем! Человек дело сделает, человек слово скажет, человек сдуру запоет, а мы сейчас же что притушим, что придушим, что заспим, а что и передразним, передразним, передразним, да так передразним, что даже ты живое от мертвого не отличишь. Выкусила?

Кофейкина. А вот и не выкусила.

Упырева. А вот выкусила!

Кофейкина. А вот и не выкусила.

Упырева. А я говорю — выкусила!

Кофейкина. А я говорю — нет! Ты паразит!

Упырева. Меня словом не убьешь.

Кофейкина. Ты грязь на колесе!

Упырева. Ан, я потяжелей.

Кофейкина. Упырь!

Упырева. Карьеристка!

Кофейкина. Я живому служу!

Упырева. И я вокруг живого. Мертвым не пропитаешься!

Кофейкина. Сама знаешь — конец тебе приходит!

Упырева. Приходит, да не пришел. Я еще свое высосу.

Кофейкина. А Гогенштауфена я тебе не дам! *(Стучит по столу.)*

Распахиваются окна. Светит солнце. Музыка.

Упырева. Что? Ты так близко?

Кофейкина. А ты думала?

Упырева. Я думала — ты за тридевять земель!

Кофейкина. А я возле хожу.

Упырева. Я думала — ты на периферии!

Кофейкина. А я в самом центре! *(Пляшет от возбуждения. Поет.)*

Дрыхнет в тине сытый гад,
Завтра ты умрешь!

Упырева. Навряд!

Кофейкина.

В море соль и в шахте соль —
Завтра будет бой!

Упырева. Изволь!

Кофейкина.

Пляшут зайцы у межи,
Жизни я служу!

Упырева. Служи!

Кофейкина.

Суслик жирный гложет рожь —
Смерти служишь ты!

Упырева. Ну, что ж!

Кофейкина.

Нам недолго воевать —
Ты обречена!

Упырева. Плевать! *(Пляшет.)*

У реки, у реки,
Тонут в тине рыбаки,
Догорают огоньки,
Умирают угольки.

Выкусила? *(Убегает.)*

Бойбабченко *(мечется в азарте)*. Ну, это я уж не знаю, что это! У меня от злости все ругательства в голове перемешались! Что крикнуть? Какое слово в таком случае надо сказать? *(Кричит в дверь.)* Можете в автомобиле ездить... Нет, не то. *(Кричит.)* У меня у самой ребенок дома, а я не лезу без очереди — и это не то. Вагон не резиновый, дура такая! Я...

Кофейкина. Успокойся. *(Свистит.)* Ну вот, мы снова видимы. Бежим искать Марусю. Надо их мирить — с этого начнем. Жди нас здесь. Ах, заве-

дующий, где ты? Жди.

Гогенштауфен. Ладно!

Кофейкина и Бойбабченко убегают.

Гогенштауфен *(садится, задумывается, поет)*. Мы — красная кавалерия, и про нас, да что же это братцы-ы будет, а? С Марусей я поссорился, а как — не понимаю, ах, былинники речистые ведут рассказ. Быть может, я с ума сошел, сама Маруся пишет им, свиданье назнача-а-ет всем троим. Ее знакомый почерк и знакомые слова, несчастная моя го-го-ло-ло-ло-ва-ва! Увидел я конверт в ее руках врагов, и сердце оборвалось, я ругать ее готов. Ее знакомый почерк, ее слова, несчастная моя го-го-го-го-ло-ло-ва-ва.

Входит Брючкина.

Брючкина. Ах, вот вы наконец! Зачем вам это надо? *(Хохочет.)* Мы одни?

Гогенштауфен *(встает)*. Как будто... А что?

Брючкина. Ну, в таком случае... *(Обнимает его.)* Да! Я получила письмо! Да!

Гогенштауфен. Чего — да?

Брючкина. Да! Я отвечаю тебе на письмо — да! Ах ты какой! Добился-таки своего!

Гогенштауфен. Чего — своего?

Брючкина. Любимый! *(Обхватывает его. Громко стонет.)*

Гогенштауфен. Почему? Что вы меня давите?

Входит Упырева. Ведет за руку Марусю.

Упырева. Ах, какой пассаж! *(Хохочет. Свист и шипенье. Уходят.)*

Гогенштауфен. Маруся! Маруся!

Брючкина. Ну, дорогой, чего ты кокетничаешь? Давай уславливаться! Ведь я с тобой...

Гогенштауфен.

Маруси нет, я с Брючкиной бесстыжей.
Все спуталось, ах, будь ты трижды рыжей!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Парк. На заднем плане портик в фанере. Это сцена. Густые кусты. В кустах — небольшая статуя фавна.

Упырева *(быстро ходит взад и вперед)*. Очень хорошо! Это очень хорошо! Это превосходно! Прекрасная честность этой волшебницы довела меня до предела. Раз в сто лет, раз в сто лет прихожу я в бешенство — это очень хорошо. Что моя вчерашняя злоба? Кошачье мяуканье, воробьиная драка, мелкий дождик, змея шипит из-под камня, сырость ползет из болота — этовсе только капельки. А мое сегодняшнее бешенство? О, мое сегодняшнее бешенство! Это пожар, землетрясение, наводнение, обвал, раз в сто лет, раз в сто лет! Она меня предупредила! Она мне сказала — я здесь! Она честно борется, старая дура! Ну, и хорошо! Ну, и превосходно! Раз в сто лет прихожу я в бешенство — и тоже творю чудеса. Раз в сто лет!

В портике — взрыв нестройных звуков — репетируют трубачи.

Оркестр репетирует, а я готова. А вдруг нет... Вдруг мне это кажется? Попробуем... Я чувствую, чувствую, знаю — сегодня я тоже могу творить чудеса! Раз в сто лет! Раз в сто лет! Попробуем! *(Останавливается перед статуей фавна.)* Стоишь?

Фавн. Стою!

Упырева. Отвечает! Прекрасно. Ну, дорогая ты моя волшебница, я в полном бешенстве. Теперь увидим, кто кого. Стоишь?

Фавн. Зачем вы меня, мадам, дразните?

Упырева. Побегать хочется?

Фавн. Натюрельман! Дорожки хороши, поворачивают, так бы и побежал, елки-палки!

Упырева. Это что за слова?

Фавн. В парке стоим, — приучились. У меня много их, слов-то, а какие когда говорить — не знаю. Сто десять лет слушаю. Сто десять лет молчу, сто десять лет стою. Меланхолия гложет, пароль д'онер. Вы извините за выраже-

ние, волшебница?

Упырева. Как видишь!

Фавн. У меня к вам будет просьба.

Упырева. Какая?

Фавн. Разрешите побегать?

Упырева. Это к чему же?

Фавн. Ножки чешутся!

Упырева. Отпущу — безобразничаь будешь?

Фавн. А вам как угодно?

Упырева. Чтобы безобразничал. Бегай, ори, пугай, путай, как бешеный!

Фавн. Да пожалуйста! Гражданка, куда же вы? Ма фуа! Накажи меня господь! Да я такой повеса, что в свете удивляются. Я хулиган! Я невежа! Куда же вы?

Упырева. Я смотрю! Не ори.

Фавн. Ждете кого? Пошлите меня. Я сбегаю, пригоню. Я сбегаю. Я такой скороход, что и при дворе восхищались бы! Цимес! Я разобьюсь в куски, сакре ном, только прикажите.

Упырева. Где же Маруся?

Фавн. Доставим в момент, ма фуа!

Упырева. Неужели все сорвалось?

Фавн. Что вы говорите, волшебница! У вас разве может что сорваться? Жамэ. Погода хороша, саперли папет. Отпустите. О, бон дье! Отпустите, душенька! Отпустите, прелестница, чтобы я мог опьянеть у ваших ножек! Разрешите умереть за ваше здоровье, канашка! Куда же вы?

Упырева. Идут! Маруся и Журочкин!

Фавн. Пугануть?

Упырева. Не лезь. Буду я на тебя силы тратить. Веди ее, Журочкин! Так ее! Хорошо, будьте вы все прокляты! А ты стой статуей! *(Убегает.)*

Фавн. Так. Благодарствуйте. Подначила и ушла, кокотка! Вавилонская блудница! Очковтирательница! А я так мечтал! Я голову теряю от досады, голову теряю, парбле!

Входят Маруся и Журочкин. Трубачи играют подобие вальса.

Журочкин. Если я что ненавижу, Марусенька, так это Гогенштауфена. А вы?

М а р у с я. Не говорите об этом. Я голову потеряла.

Ж у р о ч к и н. Не буду. Хотел выяснить, но после, после... И об этом не буду, и об чем вы приказали, не буду. В письменной форме что приказали — исполню.

М а р у с я. Ничего не понимаю!

Ж у р о ч к и н. Есть, есть. Я очень хорошо знаю женщин. Они такие хрупкие! По-моему, и служить женщинам не надо. Хорошо, когда молодая жена дома... Пойдешь на службу — там шипы, придешь домой — а там цветок. Хо-хо... Это я вам, Марусенька. Позвольте вас подержать за ручку.

М а р у с я. Что за глупости?

Ж у р о ч к и н. Не глупости это, а нежности. Мне по-старому не хочется больше жить. Отвечаю вам — да.

М а р у с я. Что — да?

Ж у р о ч к и н. Я весь отдавался нелюбимому труду. Извольте, я согласен. Теперь я вам отдамся. С любовью.

М а р у с я. Что?

Ж у р о ч к и н. Отдамся... Видел я недавно страшный сон. Сел мне на левую ногу кредит, а на правую дебет. А сальдо получается не в мою пользу. Я кричу, а сальдо смеется.

М а р у с я. Пустите, пожалуйста, руку.

Ж у р о ч к и н. А теперь пусть смеется сальдо... Я проснусь — и не один, и вы тут... В мою пользу...

Входит А р б е н и н.

А р б е н и н. О! Вы не одни?

Ж у р о ч к и н. Одна, одна... Это я вышел проветриться да и отдал два-три распоряжения. *(Тихо.)* Ты спровадь его, я вернусь. *(Отходит за кусты. Прислушивается.)*

А р б е н и н *(смотрит на Марусю, улыбается)*. Как все это мне известно... Куда же мы пойдем? А? Сейчас перейдем на ты или после? А? Я получил твое письмо, моя ситцевая...

М а р у с я. Что вы мне говорите?

А р б е н и н. Ах, да, ты просила, чтобы я молчал о письме... Это как понимать?

М а р у с я. Какое письмо?

А р б е н и н. Твое. Ты писала, чтобы я о нем молчал. Это что значит — молчать о нем с друзьями и знакомыми или не говорить о нем даже с тобой? Чего ты таращишь глаза?

М а р у с я. Честное слово, я не понимаю.

А р б е н и н. Ну, ладно. Разберемся потом. Идем. Да, вот еще что: давай условимся заранее вот о чем — никаких ласкательных слов. Не надо мне говорить — милый, любимый или там родной. Я этого не переношу.

М а р у с я. А мне какое дело?

А р б е н и н. Как же это какое? Меня расхолаживают эти ласкательные слова. Понимаешь? Расхолаживают. Значит, ты в этом кровно заинтересована... Идем!

М а р у с я. Куда?

А р б е н и н. Мне все равно, куда ближе. Можно к тебе, можно ко мне.

М а р у с я. Что это такое? Никуда я не пойду.

А р б е н и н. Так и знал... Давай сократим вступительную часть. Ты не знаешь этого, у других иначе, а у меня так. Знай и учти: сопротивление действует на меня расхолаживающе. Понимаешь — расхолаживающе! Идем. *(Тащит ее по аллее.)*

Из кустов навстречу — Журочкин. Музыка переходит в галоп.

Ж у р о ч к и н. Стойте! Я все слышал.

А р б е н и н. А нам какое дело?

Ж у р о ч к и н. Как это, какое? Здесь афера. Она аферистка!

А р б е н и н. Так я и знал... Конечно...

Ж у р о ч к и н. И я получил письмо, и вы получили письмо. Это она застраховала себе вечер, шантажистка. Думала — один не придет, другой придет! Конечно! Мы, мужчины, в цене. Хамка...

М а р у с я. Не смейте! Кому я писала?

А р б е н и н. Не притворяйтесь! Все понятно.

Ж у р о ч к и н. Я вам в отцы гожусь, а вы меня обманываете с другим. Бесстыдница!

А р б е н и н. У меня было редкое настроение, редкое! Конечно, свинство!

Ж у р о ч к и н. Пошлость!

А р б е н и н. Недомыслие!

Журочкин. Я в местком заявлю за ваше поведение!

Входит Юрий Дамкин.

Дамкин. Ах, вот они где! Слушайте, знаете потрясающую новость? Я влюбился!

Журочкин. А нам что?

Дамкин. Интересно! Сказать в кого, а, Маруся? Трепещет детка... У меня есть такое свойство — как влюблюсь, не могу молчать. Говорю друзьям, прохожим, дворнику... С вагоновожатым запрещается разговаривать — а мне все равно, я и ему тоже. Что мне — я влюблен! А, Маруся?

Маруся. Что?

Дамкин. Не слышала? Да что ты такая ошеломленная?

Арбенин. Давно ли вы на ты?

Дамкин. Сказать, Маруся? Губы трясутся у нее, потеха какая! Скажу — с настоящей секунды.

Журочкин. Что же так вдруг?

Дамкин. А вот — прислала она мне такое письмецо, после которого "вы" говорить нельзя... Да, детка? Ой, со смеху умру! Какие у нее глаза, как будто кролик запуганный! Губки в морщинках, детские, все кишочки можно надорвать с хохоту!

Арбенин. Выслушайте нас.

Дамкин. У меня есть такое свойство, когда я влюблен...

Арбенин. Все это я знаю. Вы получили от нее письмо?

Дамкин. Да!

Арбенин. Мы тоже.

Дамкин. От кого?

Арбенин. От нее же!

Дамкин *(спокойно)*. Это ерунда.

Журочкин. Как ерунда?

Дамкин. Это вас разыграли.

Журочкин. Почему вы так думаете?

Дамкин. Потому что она мне письмо прислала! При чем тут вы? Не понимаю... Идем, Маруся! Да не вырывайся, детка. У меня есть такое свойство: если я влюблен, от меня не уйти.

Маруся бежит.

Д а м к и н *(с хохотом гонится)*. Убежать думает, потешная. У меня зубы стальные!

А р б е н и н *(гонится)*. Нет, стойте, надо выяснить!

Ж у р о ч к и н. Стой! Я сейчас ее осрамлю!

Убегают. Входят К о ф е й к и н а, Б о й б а б ч е н к о, Г о г е н ш т а у ф е н.

Г о г е н ш т а у ф е н. Ах, почему, почему вы думаете, что она может быть здесь! Значит, вы тоже верите, что она сама написала эти письма?

К о ф е й к и н а. Смотри, смотри на него!

Г о г е н ш т а у ф е н. Вы что-то знаете, но скрываете от меня.

К о ф е й к и н а. Слушай, слушай его!

Г о г е н ш т а у ф е н. Ну, конечно, вы переглядываетесь! Вы знаете, что она вовсе не такая, какой притворяется. Я все понимаю.

К о ф е й к и н а. Чувствуешь, Бойбабченко, как ей легко, Упыревой-то? Видишь теперь? С толку сбить человека, который влюблен, совершенно просто. Нету такой подлости, которой он не поверил бы насчет своей девушки. Ох, путаные люди!

Б о й б а б ч е н к о. Верно, матушка, верно. Я в счастливом возрасте, голова у меня ясная, страстями не затуманенная. Я так им возмущаюся!

Г о г е н ш т а у ф е н. Что же вы скажете — она подделала письма? Упырева подделала ее почерк? Марусин почерк? Ерунда!

К о ф е й к и н а. Это дело второстепенное, как она послала письма. Важно, что она это сделала, и тебя надо с Марусей помирить. Твой проект...

Г о г е н ш т а у ф е н. А ну его к черту, мой проект!

К о ф е й к и н а. Видишь, Бойбабченко?

Б о й б а б ч е н к о. Вижу и возмущаюся.

К о ф е й к и н а. Счастье, что я здесь. А не будь меня... Ах, страшно подумать!

Г о г е н ш т а у ф е н. А где она пропадает, Маруся-то ваша? На работе нет, дома нет, где она? У одного из них? Ха-ха!

Б о й б а б ч е н к о. Опомнись, безумный!

Г о г е н ш т а у ф е н. Вообще мне все это совершенно безразлично, и я иду

домой.

Бойбабченко. Опомнись, идол! Опомнись, аспид! Ну куда ты пойдешь?

Гогенштауфен. Где она пропадала целый день?

Бойбабченко. Известно где! Не знаешь, что ли, нашу сестру? Сидела весь день у подруги какой-нибудь да плакала.

Гогенштауфен. А вечером сюда? Куда звала этих...

Кофейкина. Не капризничай! Да, вечером сюда. Ее, конечно, вызвала сюда по телефону Упырева. Вон она, Упырева. Стой здесь! Бежим, Бойбабченко! Стой здесь, Гогенштауфен, никуда не уходи, надо выследить, куда она бежит!

За сценой начинает петь хор цыган.

Гогенштауфен. Я пойду домой.

Кофейкина. Перестань, стыдно.

Бегут.

Гогенштауфен *(садится на скамейку)*. Я целый день ничего не ел. Но теперь очень спокоен. Пожалуйста, я останусь. Я очень рад, когда смогу ей высказать в лицо все, что следует. Я очень рад, что я не волнуюсь, что за день перекипел. Я, когда волнуюсь, говорю нескладно, а сейчас я холоден и могу... Вон она! *(Вскакивает.)*

Вбегает Маруся.

Маруся. Помоги мне, если хоть что-нибудь помнишь. Ты меня ругал, но будь товарищем! Может быть, я виновата...

Гогенштауфен. Ага, признаешь!

Маруся. Но ведь я не нарочно!

Гогенштауфен. Еще бы, еще бы!

Маруся. Ты, бывало, уснешь, я на тебя смотрю и пропадаю, так я тебя жалею, люблю. Ведь у каждого человека есть свои плохие свойства, прости мне, если я такая плохая, помоги, пусть все будет по-старому! Даже не надо по-старому, только проводи меня домой.

Гогенштауфен. Зачем? У вас есть трое провожатых! Если у вас такой темперамент...

Маруся. Опять это проклятое слово! Мало того, что ты его мне в письме написал, ты его еще повторяешь...

Гогенштауфен. Я тебе не писал.

Маруся. Не ври!

Гогенштауфен. Вы выдумали это письмо, чтобы разделаться со мной.

Маруся. Я...

Вбегает Дамкин.

Дамкин *(хохочет)*. Четвертый! Ну, Маруся! Я об такой девушке всю жизнь мечтал! Идем!

Маруся. Ну, ладно. Идемте. *(Идет.)*

Дамкин. Ха-ха-ха! У меня потрясающая новость—в меня Маруся влюбилась! Рассказал бы, да некогда, ее вести надо. Вот, почитайте-ка письмо от нее. Завтра в обеденный перерыв забегу рассказать подробности. Маруся! Погоди! Маруся! *(Бежит.)*

Арбенин *(пробегает через сцену следом)*. Нет, вы не уйдете!

Журочкин. Подождите... Подлая! *(Пробегает)*

Упырева *(мчится следом)*. Так ее! Крой! Рви! *(Убегает.)*

Вбегают Бойбабченко, Кофейкина.

Кофейкина. Видел ее?

Бойбабченко. Помирился? Чего молчишь?

Гогенштауфен. Я иду домой.

Кофейкина. Погоди, не ругай его. Это я виновата. Ящик с тобой?

Бойбабченко. В корзинке.

Кофейкина. Мчись следом за ними! Не спускай глаз с Дамкина! На тебе ответственность! Не то страшно, что он хвастает, будто всех женщин покоряет, а то страшно, что они ему в конце концов действительно покоряются!

Бойбабченко. Ну, меня ему не покорить.

Кофейкина. Не о тебе и речь! Беги.

Бойбабченко. Бегу! *(Убегает.)*

Кофейкина. Стыдно тебе! Мы столько труда потратили, сколько мелких чудес извели, чтобы девушку к тебе направить, а ты ее врагам выдал?

Гогенштауфен. Они ей не враги!

Кофейкина. Ох, стыдно тебе, стыдно!

Гогенштауфен. Чего стыдно! Ну вот, смотрите — письмо. Кто его мог написать, кроме нее? Почерк ясный. Читайте: "Обязательно приходите восьмого июня в парк, в шесть часов вечера. Любви не прикажешь. Любовь победила. Молчи со мною о письме. Мне стыдно. Твоя навек Маруся".

Кофейкина. Моя вина, что я эту пустую задачу до сих пор не разрешила. Забыла я, что ты человек влюбленный, а стало быть, тупой и жестокий. А о своем письме к Брючкиной забыл? А о своем письме к Марусе?

Гогенштауфен. Я не писал никаких писем.

Кофейкина. Не хотела я с этим возиться, энергию тратить, да придется. Сейчас я эту пустую задачу решу. *(Оглядывается)* Гляди сюда.

На стене между колоннами плакат — точное повторение того, который диктовала Упырева Марусе. Плакат ярко освещен изнутри.

Это вот диктовала она Марусе? Это?

Гогенштауфен. Да.

Кофейкина. *(Свистит)*

Правая половина плаката гаснет. Остаются слова:

Обязательно приходите
восьмого июня в парк
в шесть часов вечера
Любви не прикажешь
Любовь победила
Молчи со мною о письме
Мне стыдно
Твоя навек
Маруся.

Гогенштауфен. Будь я трижды рыжий! А почему три письма?

Кофейкина. А потому, что писала она чернилом на целой стопе. А бумага, знаешь, у нас какая? Вроде промокательной. Вот и промокло на три экземпляра. Все просто.

Гогенштауфен. Я того... этого...

Кофейкина. А от тебя письма она на машинке печатала. Из того простого расчета, что Брючкина любому письму поверит.

Гогенштауфен. А Маруся? Это...

Кофейкина. А Маруся, может, и опомнилась бы, но как увидела тебя в объятиях у Брючкиной... Рассчитала точно Упырева-то. И письмо от тебя она, конечно, послала грубое, чтобы ошеломить! Эх!

Гогенштауфен. А я того... дело еще запутал... Марусю выругал... Она пошла... Надо бежать — ноги не идут... Я целый день не ел... Все еще ухудшил! Я-то...

Кофейкина. Сядь, успокойся! Ну-с! Сейчас в ваши запутанные дела я вмешаюсь. Чуда тут нет особенного. В вас сталкивается ряд энергий и происходит путаница. А во мне одна энергия, простая, ясная. Для начала сброшу я, братец, маску. Пока я от Упыревой пряталась, пока я следила, так мне было удобней. Теперь я иду в открытую!

Свистит. Яркая вспышка пламени. Кофейкина ударяется о стенку и превращается в молодую девушку. Одета она просто, на груди значок ГТО.

Гогенштауфен. Кто это?

Кофейкина. Я, дорогой.

Фавн. Волшебница!

Кофейкина. Вот именно!

Гогенштауфен. Еще одна?

Кофейкина. Да что ты, родной, это же я и есть, Кофейкина.

Гогенштауфен. А лицо, а платье?

Кофейкина. Да ты что, не привык еще, что ли? Просто я переоделась к бою. Превращение чистое, вполне научное. Один вид энергии переключила в другой, только и всего. Мне в этом виде легче драться, — дыхание, мускулы.

Гогенштауфен. А значок?

Кофейкина. Ну, а это я уж так. От избытка чувств. Хочу при встрече

Упыреву подразнить. Смотри, мол, подлая, — я готова к труду и обороне!

Ф а в н. Волшебница! Дозвольте опьянеть у ваших ножек! Разрешите умереть за ваше здоровье!

К о ф е й к и н а. Да перестань ты на меня глаза таращить! Гогенштауфен! Очнись! У меня только формы изменились, а содержание прежнее. Не будь формалистом!

Г о г е н ш т а у ф е н. В голове звон... Я целый день не ел...

К о ф е й к и н а. Ешь!

Из-под земли поднимается столик, на столе прибор.
Кипит чайник. Стоят кушанья.

Ф а в н. Волшебница! Салат "весна"! Селедка в белом вине, импорт, Торгсин. Филе миньон! Рюмка водки за рубль сорок!

К о ф е й к и н а. Ешь! *(Обнимает Гогенштауфена, уговаривает.)* Ну, будь человеком, оживись, очнись. И погода хороша, и еда хороша, и я с тобой. Сейчас мы все устроим, все наладим! Лето ведь. Деревья растут...

За кулисами — У п ы р е в а и М а р у с я.
Кофейкина и Гогенштауфен их не замечают.

У п ы р е в а *(тихо)*. Видишь? Кутит с новой. Подлец! Иди себе к Дамкину! Все такие. Чего тебе горевать, отставать? Весело. Лето. Деревья растут... *(Тихо смеется, уводит Марусю, за ними крадутся Журочкин и Арбенин.)*

Ж у р о ч к и н *(тихо)*. Не уступлю.

А р б е н и н *(тихо)*. Не сдамся.

Уходят

К о ф е й к и н а. Ну вот. Окреп?

Г о г е н ш т а у ф е н. Да... Но нескладно... я... как объясню... ей...

К о ф е й к и н а. Все будет ладно. Враг-то наш только подлостью берет, чудеса творить — где ей!

Ф а в н. Волшебница! Сто десять лет стою в такой позиции, как будто сейчас с места сорвусь. Дозвольте помочь! Сакре ном! Пожертвуйте чудо, Христа

ради! Прикажите побегать!

Вбегает Бойбабченко.

Бойбабченко. Дамкина я к дереву прицепила ящичком! Упырева Марусю сейчас к Журочкину и к Арбенину подвела, они ее мучают. Идем! *(Вглядывается в Кофейкину.)* Ах!

Кофейкина. Чего?

Бойбабченко. Ах, ты, дезертир, ренегат, изменница!

Кофейкина. Почему?

Боиоабченко. В разгаре боя свой возраст бросила!

Кофейкина. Я так подвижней.

Бойбабченко. Врешь, кокетка. Как это противно, когда старая баба так молодится.

Фавн. Это вы, мадам, из зависти!

Бойбабченко. А это еще что за хулиган? Молчи, садовая голова! Уйдешь на минутку — кутеж, бытовое разложение, позор!

Кофейкина. Очнись.

Бойбабченко. Сбрось и мне хоть пять-шесть лет. Погода хорошая, лето.

Кофейкина. Некогда. Идем!

Фавн. Мадам! Неужто и вы тоже уйдете? Вторая волшебница меня бросает! У меня рассудок помутился, елочки-палочки.

Кофейкина. Стой! Какая вторая? Какая еще волшебница?

Фавн. Ой, приревновала! Да нет, мадам, я шучу! Разве та, другая, волшебница? Просто дура сопатая.

Кофейкина. Она с тобой говорила?

Фавн. Ну, что вы! Где ей!

Кофейкина. А что же ты бормотал насчет второй волшебницы?

Фавн. Я, мадам, экскюзе муа, трепался.

Кофейкина. Напугал, дурак. Если Упырева со злости начнет чудеса творить — неизвестно тогда, чья будет победа.

Бойбабченко. А разве она может?

Кофейкина. Со злости. Раз в сто лет. Говори честно — она тебя оживляла?

Фавн. Нет, нет, мадам. Она простая очковтирательница, парбле. И злобы в

ней нет. Только хихикает. Позвольте мне присоединиться к вашему ордену.

Кофейкина. Взять его, что ли? Возьму.

Фавн. Ха-ха-ха!

Кофейкина. Пока диспозиция простая. Ты, Бойбабченко, вернись к Дамкину. Я пойду к Упыревой. А ты пойдешь...

Фавн. Пойду? Я помчусь, а не пойду, прелестница!

Кофейкина. А ты пойдешь и отгонишь от Маруси мужчин. Понял?

Фавн. Еще бы.

Кофейкина. А ее ласково приведешь сюда.

Фавн. Приласкаю ее, накажи меня господь!

Кофейкина. Без подлостей!

Фавн. Слушаю-с!

Кофейкина. Смотри! Исполнишь — буду пускать тебя каждый вечер. Напутаешь — в мраморное мыло превращу, в кооперацию отдам.

Фавн. Да что ты, очаровательница! Я ведь тоже хоть и паршивенький, а все-таки профессионал! Вроде — бесеночек!

Кофейкина. А если я узнаю, что Упырева с тобой разговаривала, а ты скрыл,— горе тебе, горе, горе!

Фавн. Ну вот, скажете тоже! Буду я от такой красотки скрывать что-либо!

Кофейкина. Ох, смотри. *(Свистит.)* Але-гоп!

Фавн *(спрыгивает с пьедестала, делает ряд высочайших прыжков. Чешется. Повизгивает, мечется, как. пес, которого взяли гулять).*

Кофейкина. Лети.

Фавн. Лечу! *(Делает несколько кругов, пригнувшись носом к, земле. Принюхивается. Напав на след, с хохотом убегает огромными прыжками.)*

Кофейкина. Так. А ты марш марш к ящичку!

Бойбабченко. Есть! *(Марширует. Уходит.)*

Кофейкина. А тебя я сейчас вооружу. Чудес у нас в обрез. Надо приготовить три желанья. Три любых твоих желанья исполнятся. Но не смей желать без моего приказу! Чтобы не было путаницы — только те твои желанья исполнятся, которые крикнешь громким голосом. Понял?

Гогенштауфен. Да.

Кофейкина. Ну, то-то. *(Свистит.)* Раз исполнится, два исполнится, три исполнится! Старайся тише говорить. Ах, неприятно! Если она в полной злобе — все перепутает так, что просто ужас. Придется лететь к заведующему в отпуск.

Беспокоить его. Пойду послежу за ней. *(Уходит.)*

Упырева *(вырастает из-за кустов. Тихо)*. Сиди, жди! Чего ждешь — не будет, а что будет, то не выйдет. Всех перепутаю, все прахом пущу. Вы планы строите, а я расстраиваю. Вы строите, а я расстраиваю. Я в полной злобе. *(Исчезает.)*

Влетает Фавн.

Фавн. Дяденька! Ты человек хороший! Я статуй хороший! Я, чтобы побегать, на преступление пошел! Есть другая волшебница, а я от вашей скрыл! Боялся, она меня из ревности не отпустит. Прими меры! Есть опасность! Дядя! Спит... Ну, а у меня все благородство вышло. Больше повторять не буду. Дяденька!

Гогенштауфен вскакивает.

Дяденька! Сейчас придет твоя девушка. А я пока мужчин отведу. *(Кричит в кусты женским голосом.)* Товарищ Арбенин! Журочкин! Идите сюда, я тут над вами издеваюся! Дурачки! Хи-хи!

Фавн бежит, за ним с ревом проносятся
Журочкин и Арбенин.

Гогенштауфен. Идет она! Идет. Это ее шаги! Маруся!

Вбегает Брючкина.

Брючкина. Ах, вот он где! Прости, я тебя измучила, но я все бегала, делилась с подругами. Подруги рвут и мечут, говорят — ты такой интересный! У меня есть знакомый физик. Маленький, но широкий-широкий! Такой широкий, что его на улице путают с бюстом Пржевальского. Он меня сейчас встретил и говорит: “Отчего у вас такое счастливое лицо. Кто он?” Понимаешь, на улицах замечают...

Гогенштауфен. Ага.

Брючкина. Сядем.

Г о г е н ш т а у ф е н. Ага.

Б р ю ч к и н а. Что ты такой скучный?

Г о г е н ш т а у ф е н. Я не могу.

Б р ю ч к и н а. Чего?

Г о г е н ш т а у ф е н. Я измучен. Я не спал ночь.

Б р ю ч к и н а. Ах ты, шалун. Что делал?

Г о г е н ш т а у ф е н. Работал.

Б р ю ч к и н а. Хи-хи-хи.

Г о г е н ш т а у ф е н. Не понимаю — кому это нужно? Зачем вы...

Б р ю ч к и н а. Ах, вот что... Ты прав. Идем!

Г о г е н ш т а у ф е н. Куда?

Б р ю ч к и н а. Ко мне. Я не буду тебя больше мучить. Идем! Ах! *(Обхватывает его.)*

Г о г е н ш т а у ф е н *(кричит)*. А, будь ты трижды рыжей!

На секунду вспыхивает яркий свет. На голове Брючкиной вырастает тройная рыжая прическа. Над бровями — тройные рыжие брови. Рыжие ресницы. Веснушки покрывают ее лицо.

Б р ю ч к и н а. Что со мной?!

Г о г е н ш т а у ф е н. Ах, я несчастный!

Б р ю ч к и н а. Что за выходка такая!

Г о г е н ш т а у ф е н. Вы стали трижды рыжей.

Б р ю ч к и н а *(достает из кармана зеркальце)*. Ах! Какое хамство! Зачем вам это надо? Это вы из ревности! Вы увидели, что все мужчины на меня бросаются, и облили меня перекисью!

Г о г е н ш т а у ф е н. Честное слово, нет.

Б р ю ч к и н а. Хам! Паршивец! Вы хотите меня таким образом приковать к себе. Это насилие! *(Визжит.)* Насилие!

Г о г е н ш т а у ф е н. Тише, ради Христа!

Б р ю ч к и н а. Нет, я устрою скандал на весь парк! Пусть все видят, до чего вы в меня влюбились! *(Визжит.)* Насилие! *(Убегает.)*

В кустах хохочет У п ы р е в а.

Г о г е н ш т а у ф е н. Что будет! Что будет! Что делается!

Вбегает Маруся.

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Оставьте, пожалуйста...

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Что от меня людям надо?!

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Не врите!

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Отчего это так жизнь устроена? На работе что-нибудь не так — сколько есть мест пойти да рассказать! Местком или даже стенгазета, авторитетный какой-нибудь товарищ. А тут кому расскажешь?

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Вы мне весь взгляд перевернули. Вы!

Гогенштауфен. Я... так... когда... это... нескладно... нескладно говорю, когда расстроен. Маруся! Я...

Маруся. Человек прогуляет — его с работы долой. Правильно. А вы со мной такую гадость сделали, и вам ничего не будет. Почему? Небось, если бы знали, что вас за это карточки лишат и опозорят — не писали бы мне такое письмо. Свинство! Я вам так верила! Я один раз даже, может быть, ревела, так я вас любила. Ваша хозяйка меня шепотом ругала каждый раз, а я все-таки к вам ходила.

Гогенштауфен. Я все могу... доказать... но... я нескладно говорю... как... это быть...

Маруся. Что вы мне написали? *(Достает письмо.)* Почему такие страшные грубости? Всего одна фраза: “Мне надоел ваш бурный темперамент! Между нами все кончено”. Как вы могли так написать? А? Что я, нарочно? Откуда мне знать?

Гогенштауфен. Маруся!

Маруся. Я думала, тут ничего плохого нет, я вас любила, жила хорошо, была веселей всех, а что теперь? Свинство!

Гогенштауфен. Я ничего этого... этому... не писал... Нескладно, нескладно...

Маруся. Вы меня довели, что мне работать, жить противно, а это разве ничего не стоит? Разве я была бесполезный человек? Свинство! Чем лучше

Брючкина? Сказал, надо попрощаться, и потом письмо... Что тут такого, когда у человека голова кружится? Прощай!

Гогенштауфен хватает ее за руку.

Гогенштауфен. Постой... Слова... того... могу... ах... *(Кричит.)* Говорю нескладно, а хочу складно говорить!

На секунду вспыхивает яркий свет.

Гогенштауфен. Кошка, картошка, полгуся, пожалуйста, не уходи, Маруся. Чай, конфета, котлета — мы немедленно выясним все это.

Маруся. Вы сошли с ума?

Гогенштауфен. Хороши романы Дюма!

Маруся. Это безобразие!

Гогенштауфен. Европа, Америка, Азия!

Маруся. Это глупое издевательство!

Гогенштауфен. Зачем же такие ругательства? Я складно говорить пожелал, и вот получился скандал! Мне самому неприятно, но нету пути обратно! Конечно, я не поэт, ни таланта, ни техники нет, есть только страстные чувства, а это ничто для искусства! Маруся, люблю я тебя, и ты меня слушай, любя. Пойми меня, Маруся, а то сойду с ума — клянусь тебе, Маруся, я не писал письма. Мы жили и ничего не знали, а нас ненавидели и гнали! Гнала нас мертвая злоба, и вот стоим и страдам мы оба.

Маруся. За что?

Гогенштауфен. За то, что, к несчастью, я всегда работал со страстью, а ты со страстью любила — и вот всколыхнулась могила, и пошла окаянная волной, чтоб и нас успокоить с тобой.

На эстраде Упырева. Хохочет.

Оглянись! Вон она сзади — вон упырь стоит на эстраде!

Упырева хохочет.

Голос Фавна. Дурачки, хи-хи-хи! Сюда! Как я над вами издеваюсь!

Вбегает Фавн, за ним Журочкин и Арбенин.

Арбенин. Ах, вот вы где, мадам.

Гогенштауфен. Я в обиду ее не дам.

Арбенин. Ну, конечно, я так и знал.

Гогенштауфен. Ручка, тетрадка, пенал.

Арбенин. Что такое?

Гогенштауфен. Оставьте ее в покое.

Журочкин. Он остряк-самоучка.

Гогенштауфен. А ты толстяк-недоучка.

Журочкин. Я ее сейчас осрамлю!

Гогенштауфен. А я тебя сейчас задавлю.

Дерутся.

Фавн. Очень красиво. Это я! Как мне волшебница приказала всех мужчин стравить, так и стравил! Буду теперь каждый вечер бегать. Шарман!

Журочкин отступает. Арбенин тоже. Гогенштауфен их преследует. Фавн за ними. Упырева спрыгивает с эстрады, подходит к Марусе.

Упырева. Что? Вчера все просто казалось, а сегодня жить не хочется? А? Щенок!

Маруся. Пустите меня!

Упырева. Куда? Все перепуталось. Спасенья нет. Я в полной злобе.

Маруся. Я умру.

Упырева. Успеешь. Эх, ты, коровушка! Пасется коровушка, глядит в траву — думает, я живая. А она только мясо. О, анекдот для некурящих. Иди к Дамкину! Он тебя скушает! У него стальные зубы!

Голос. Зубы его и погубили!

Упырева. Кто говорит?

Голос. Не узнаешь?

Упырева. Нет.

Из-за кустов выходит Кофейкина.

Кофейкина. Я.

Вбегает Дамкин.

Дамкин. Товарищ Упырева! В нашем саду посторонняя баба... *(Убегает.)*

Упырева. Что это с ним?

Дамкин *(возвращается)*. Позволяет себе меня... Понимаете меня... *(Убегает.)*

Упырева. Что за ерунда?

Дамкин *(возвращается)*. Таскать за зубы. *(Убегает. Возвращается.)* По всему саду. *(Убегает. Возвращается. Следом за ним Бойбабченко с ящичком.)*

Дамкин. Вот это она...

Бойбабченко. Не фискаль! *(Поворачивает рычаг.)*

Юрий Дамкин с размаху прилипает к ящику зубами.

Бойбабченко. Не дергайся, зубы выдернешь!

Упырева. Что это за ящик?

Бойбабченко. Электромагнит новейшей конструкции и сказочной силы. Стой!

Кофейкина. Конструкция моя.

Упырева. Чудеса-то на исходе?

Бойбабченко. Так и прилип стальными зубами. Ну, ступай!

Юрий Дамкин выпрямляется. Мычит.

Бойбабченко. Мычит! Батюшки, да он, кажись, язык прикусил.

Кофейкина. Нет! Верхняя и нижняя челюсти намагнитились и притягивают друг друга.

Бойбабченко. Ха-ха-ха! Это тебе, гаду, наука. В полном смысле слова.

Брючкина *(визжит за сценой)*. Насилие!

Фавн *(вбегает)*. Ой, ведут их, бабушка, ведут! Ой, бабушка, это же форменный праздник. Мильтон со смеху свистнуть не может. Дяденька

стихами говорит. Я прыгаю!

Входят Милиционер, Арбенин,
Журочкин, Гогенштауфен.

Милиционер. Спорить, гражданин, напрасно. *(Подносит свисток к губам.)*

Гогенштауфен. Я люблю вас, очень страстно!

Милиционер. Ха-ха-ха! *(Резко обрывает смех.)* Вы за это заплатите лишний штраф, только и всего. *(Подносит свисток к губам. Фавн делает необычайно нелепый прыжок.)*

Милиционер. Ха-ха-ха! *(Резко обрывает смех.)* Ничего не выйдет, кроме напрасной волокиты. *(Пробует свистнуть.)*

Гогенштауфен. Вербы, яблоки, ракиты.

Милиционер. Ха-ха-ха! Напрасные старанья.

Фавн делает прыжок.

Милиционер. Ха-ха-ха! Кто не подчиняется...

Гогенштауфен. Тому вред причиняется.

Милиционер. Ха-ха-ха! Черт знает что! Гражданка! Да это у тебя никак свисток?

Кофейкина. Он.

Милиционер. Свистни, сделай одолжение. Я с поста не могу отлучиться, а эти тут бузят, дерутся.

Кофейкина дает два коротких свистка.

Арбенин. Это какой трамвай? *(Орет.)* Какой трамвай, говорю? *(Сует милиционеру деньги.)* Передай кондукторше пятнадцать копеек! А?

Журочкин *(поет басом)*. Лю-блю я цветы полевые, люблю на полях собирать! Арбенин! Обманула нас девушка. Карау-у-ул!

Милиционер. Это что такое!

Кофейкина *(тихо говорит Бойбабченко)*. Я их в пьяных превратила. Последнее превращение — со счету долой!

Милиционер. Это вы жалобу подаете, будто вас бьют, а сами в безобразно пьяном состоянии?

Кофейкина. Они привязались к двум нашим актерам-затейникам...

Милиционер *(козыряет Гогенштауфену и Фавну)*. Рад, что выяснилось.

Арбенин *(обнимает милиционера)*. Кондукторша! Где тут загс?

Милиционер. Идем, идем!

Арбенин. Мне жениться хочется! Кто меня разденет? Кто меня уложит?

Милиционер. Идем, идем! Найдутся такие люди. *(Ведет Арбенина. Журочкин семенит следом.)*

Журочкин. Куда вы! Сестрицы! Что вы меня, девушку, бросаете! Во чужой стороне, во неладной семье. *(Плачет.)*

Скрываются, слышны свистки.

Бойбабченко *(показывает на Дамкина)*. Смотри, смотри! Что это он все в одну сторону нос воротит?

Кофейкина. К северу.

Бойбабченко. Почему?

Кофейкина. Обратился в компас. Зубы — магнитная стрелка на шее на свободном основании... Всех укротили! Он — магнит, остальные в отделении! Наша победа!

Гогенштауфен. Упырева! Где твое жало, ты гибелью нам угрожала!

Упырева. Я здесь, я здесь, никуда не уйду. И Маруся твоя со мной.

Хор за сценой поет "Маруся отравилась".

Гогенштауфен. Она моя Маруся, и я на ней женюсь.

Упырева. Никогда! *(Шипит.)*

Гогенштауфен превращается в курицу.

Кофейкина. Так я и знала.

Упырева. А чудеса ты истратила. Что, Маруся? Женишься на курице?

Гогенштауфен *(кудахчет)*.

Врывается Брючкина с целой толпой.

Брючкина. Вот здесь, товарищи! Вот здесь изуродовал он меня из ревности!

Голоса. Где он? Давайте его сюда! Что за пережитки!

Брючкина. Вот вся их компания. Хватайте их! *(Визжит.)* Насилие! *(Тихо.)* Подруги все сбесятся от зависти!

Толпа надвигается. Упырева хохочет.

Упырева. Отлично! Все перепуталось. Что, старуха, плохи дела?

Кофейкина *(бросается к Гогенштауфену, шепчет ему что-то на ухо)*.

Гогенштауфен *(кричит куриным голосом)*. Лиса, коса, небеса, колбаса, вернитесь к Кофейкиной все чудеса!

Кофейкина. Что, съела?

Свисток. Гогенштауфен снова человек. Упырева шипит и превращается в ястреба. Кофейкина превращается в орла. Тогда Упырева превращается в тигра. Кофейкина — в слона. Упырева превращается в крысу, Кофейкина — в кота. Упырева принимает человеческий вид. Кофейкина за ней.

Упырева. Брючкина публику собрала? Хорошо! Я тебя злобой уничтожу. *(Шипит.)* Берите ее!

Крики из толпы. Хватайте ее! Это она во всем виновата! Это она нас с толку сбивает! Шарлатанка!

Толпа надвигается на Кофейкину.

Упырева. Съела? Смотри на эту публику! Половина шпаны. Чудо шпану раздражает всегда! Фокусников и тех не любят, обличают, а волшебницу разорвут. Я их сейчас растравлю!

Кофейкина. А я их сейчас развеселю. Фавн! Сюда! Возьми эту флейту!

Упырева *(в ужасе)*. Волшебная флейта?

Кофейкина. Назад! Играй, Фавн!

Фавн играет. Толпа сначала удивленно и как бы против воли,

а затем все веселей и веселей пляшет. Упырева исчезает.

Кофейкина. Ну, что? Съела? Веселье да пляска — где злоба? Чудо чистое, вполне научное. Известное сочетание звуков действует на двигательные центры головного мозга. Пляшите, пляшите, враг мрачен, мы веселы!

Гогенштауфен *(танцуя)*. Кофейкина, я трясуся, куда-то исчезла Маруся!

Кофейкина. Что? А где Упырева?

Фавн показывает на небо.

Кофейкина. Что? Перестань играть.

Музыка обрывается

Где она?

Фавн. Она, дура сопатая, унесла Марусю под облака.

Кофейкина. А ты молчал?

Фавн. Волшебница, что я мог? Вы приказали играть!

Кофейкина. Вот сдам тебя в музей, позеленеешь ты там от тоски!

Фавн. Красотка, что я понимаю? Я же маленький, мраморный.

Кофейкина Ужас!

Бойбабченко. Она ее расшибет!

Гогенштауфен. Летим, летим поскорей за бедной невестой моей!

Кофейкина. Придется заведующего обеспокоить. Иначе выйдет катастрофа. Поймаем ее — и к нему в отпуск! *(Свистит.)* Летим!

Взлетают. Бойбабченко держит Дамкина.

Кофейкина. Зачем тебе Дамкин?

Бойбабченко. Как в такую экспедицию без компаса?

Брючкина подпрыгивает, вцепляется в ноги Гогенштауфена.

Гогенштауфен. Пустите, я к ней лечу и разговаривать с вами не хочу!

Б р ю ч к и н а. Ишь ты, какой. Уговаривал, а теперь улетать? Не лягайся, милый, я все равно не отцеплюсь. Какие ножки!

Улетают

Ф а в н. А меня забыли и флейту мне оставили! Хорошо! Пляшите! Пляшите все! В честь победы! В честь виктории! Чтобы волшебница победила! Чтобы Упырева погибла!

Чтобы навеки сгинуть ей нахалке —
Пляшите все, пляшите, елки-палки!

Пляшут.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Крыша. Ночь. На крыше сердитый молодой человек в трусах.

Молодой человек. Вы подумайте, до чего доходит! Им радио тьфу. Им бы только летать бы. На нашу технику им плевать.

Подлетают Кофейкина, Бойбабченко, Дамкин, Гогенштауфен, Брючкина.

Бойбабченко. Эй, молодой, не пролетали тут две женщины?

Молодой человек. А ну вас к черту!

Бойбабченко. Не пролетали?

Молодой человек. Еще бы нет. Она, дура, такая неуклюжая, мне всю антенну разворотила.

Бойбабченко. Давно?

Молодой человек. Да уже час чиню.

Бойбабченко. Догоним. Куда пролетела?

Молодой человек. А вон туда.

Бойбабченко. Летим!

Летят. Внизу вершины леса. Летят над самыми верхушками.

Брючкина. Ай!

Бойбабченко. Чего еще?

Брючкина. Меня какая-то птица клюнула в лодыжку. *(Хохочет.)* Зачем ей это нужно? Дорогой, а ты заметил, как тот в трусах, на крыше, пялил на меня глаза и весь волновался?

Лес кончается. Город. Каланча.

Пожарный. Братцы, нет ли у вас часов?

Бойбабченко. А что?

Пожарный. Да сменяться пора. Хотя дежурство сегодня интересное. Все летают, летают...

Кофейкина. Ты видел тут двух женщин? Пролетали?

Пожарный. А как же, видел! Только не две их было. Одна.

Гогенштауфен. Одна?

Брючкина. Ничего, милый, я с тобой.

Бойбабченко. Давно пролетала?

Пожарный. Минуть десять. Что это у вас, маневры военные?

Бойбабченко. Вроде. Летим скорей, мы ее догоним!

Летят. Снизу шум паровоза. Паровозный пар. Дым. Водонапорная башня.

Брючкина. Товарищи, я так вся закопчусь, возьмем в сторону. Милый, ты заметил, как пожарный мне мигал? Я так хохотала! Зачем это ему нужно?

Рабочий из башни. Товарищи, я уже сказал: возле башни летать нельзя *(Выглядывает.)* А, это новые!

Бойбабченко А где та?

Рабочий. А минут пять назад пролетела... туда к лесу.

Бойбабченко. Одна?

Рабочий Одна.

Кофейкина. Скорей!

Летят. Степь.

Бойбабченко. Вон она! Вижу ее!

Кофейкина. Где?

Бойбабченко. Сейчас установлю. *(Вертит плечами Дамкина. Голова Дамкина крутится, покачиваясь как компас, но нос неуклонно устремляется на север.)* Так... В направлении по нашему компасу... На нос, нос, левый глаз.

Кофейкина. Так держать!

Бойбабченко. Есть!

Показывается Упырева в широком плаще.

Бойбабченко. Вон она, хватай ее!

Кофейкина. Стой!

Бойбабченко. Залетай с правого боку! Окружай с тылу!

Кофейкина. Стой!

Бойбабченко. Гогенштауфен, окружай с того боку! Летай веселей! Поддерживай компас! Ага, окаянная! Ага, грубая!

Окружают Упыреву. Упырева в широком плаще.

Кофейкина. Где Маруся?

Упырева *(распахивает плащ. В руках у нее Маруся.)* Не подходи, чхи! Сброшу ее вниз, чхи!

Бойбабченко. Простудилась, мерзкая!

Упырева. Нет. Противно! Чхи! Молодая она, молоком пахнет. Чхи!

Кофейкина. Отдай ее.

Упырева. Зачем?

Кофейкина. Человека жалко.

Упырева. Не отдам. Уж слишком они друг другу подходящие.

Кофейкина. Отдай!

Упырева. Не отдам! Где это видано, чтобы я уступала? Они еще детей разведут.

Кофеикиииа. Ведь все равно попалась!

Упырева. Никогда!

Кофейкина. Попалась.

Упырева. Не попалась. Это ты психоложество развела. А другие не разводят. Я по службе неуловима! А по жизни не ловят! Некогда.

Кофейкина. Жизнь меняется.

Упырева. Еще поживу, хотя полчасика.

Кофейкина. Ты побеждена!

Упырева. Нет, брат. Бой еще идет. А Маруся у меня!

Кофейкина. Так что?

Упырева. А в бою без жертв нельзя.

Кофейкина. Ну, и что?

Упырева. Ну и брошу ее вниз! Она мягкая, рассуждающая, а земля внизу твердая, грязная!

Б о й б а б ч е н к о. Что за несознательность, товарищ! Это, выходит, не жертва, а нелепая случайность.

У п ы р е в а. Это больше всего я люблю!

Швыряет Марусю вниз.

Б о й б а б ч е н к о. О, какая ужасная баба! Ее любимый обед — на первое мужчина в соку, а на третье — кровь с молоком.

К о ф е й к и н а *(свистит)*. Приказываю всем благополучно опуститься к заведующему в отпуск!

Дрожи, дрожи, гадюка Упырева —
Сейчас заведующий скажет слово!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Дача в горах. Восходит солнце.
На большом балконе дачи — з а в е д у ю щ и й. Он один.

З а в е д у ю щ и й. Нет, я все-таки сказочно устал. Ужасно. Для меня даже тишины подходящей не найти. Почему? Потому что, когда тихо — у человека в ушах звенит. А как зазвенит в ушах, я сейчас же: алло! Мне кажется, что в левом ухе вертушка звонит, а в правом городской телефон. Вот и болтаю все время, болтаю сам с собою, чтобы звона не слышать. Хотел я записывать впечатления — не мог. Почему? Все время пишу наискось, как резолюции пишутся. И через каждые две строчки подписываюсь. И хочу я, например, написать: прекрасный вид, а пишу: поставить на вид. А еще дела беспокоят. Я на отдыхе — как машина, которую остановили на минутку и мотор не выключили. Только шины отдыхают, а цилиндры вертятся, бензин идет. Я думаю, думаю... Страшное время лето — что там в учреждении? Хорошо, я добился— телефон провели прямой, все-таки в случае чего позвонят. Но не звонят, жалеют, а я думаю о них, думаю. Ну-с, дальше что? А дальше скажу, что все-таки хорошо. Потому что ни заседаний, ни совещаний, воздух легкий, никто не налетает с вопросами...

Сверху опускается М а р у с я.

Маруся. Товарищ заведующий, позвольте вас спросить, чего они меня мучают?

Заведующий. Мучают?

Маруся. Да... Вчера мне казалось, что все очень хорошо, чудесно, а сегодня...

Заведующий. Довольно, я понял. Все будет улажено.

Сверху опускается Упырева.

Упырева. Товарищ заведующий...

Заведующий. Мне уже все рассказали.

Сверху опускаются Кофейкина, Бойбабченко, Гогенштауфен, Брючкина.

Кофейкина. Товарищ заведующий...

Заведующий. Не извиняйтесь... Вопрос серьезный, это неважно, что я в отпуску. Сейчас устроим маленькое совещание, а потом я решу, как хочу. Товарищ Гогенштауфен, поздравляю — ваш проект утвержден... С блеском! Начнем. *(Садится за стол, прикрыв лицо рукой.)*

Гогенштауфен. Мой проект утвержден? Но ведь он не окончен!

Кофейкина. Я кончила!

Гогенштауфен. Да ведь он не послан.

Кофейкина. Я послала. Мелким чудом.

Гогенштауфен. Когда же его успели рассмотреть?

Кофейкина. Я устроила, тем же манером...

Заведующий. Может быть, мы прекратим частные разговоры и начнем? Товарищи, каждому я дам полминуты. Мне все ясно — это склока. Поэтому говорите без подробностей и пояснений. Не старайтесь убеждать меня, я не буду слушать. Склока — такая вещь, где разобраться можно только чутьем. Логикой не разберешься. Слово Упыревой.

Упырева. Безо всяких оснований эта девушка *(показывает на Кофейкину)* начала травить меня и лучших наших работников... Вкусовщина, психоложество...

Заведующий. Достаточно. Вы старались поссорить Гогенштауфена с

Марусей Покровской?

Упырева. Нет! А кроме того, какое это имеет отношение?..

Заведующий. Большое... Зачем вы грызете карандаш?

Упырева. Я злюсь, как зарезанная!

Заведующий. Вот это совершенно правильно. Как зарезанная. Пройдите в ту дверь — там мой кабинет. Сядьте за стол. Дайте письменное объяснение своим поступкам. Я им не поверю — пишите короче. Вот эта дверь. Ступайте.

Упырева уходит, стукнув дверью.

Бойбабченко. Она сбежит!

Заведующий. Нет! Дверь одна. Окно — над пропастью. Товарищ Кофейкина, ваше слово!

Кофейкина. Сотрудники, товарищ заведующий, бывают двух родов — одни работают со страстью, другие с отвращением...

Заведующий. Совершенно правильно! Вокруг нее сгруппировались люди, работающие с отвращением. Мертвый класс, пленный класс, класс на цепи, злобный, как цепная собака. Они работают против воли, работают не всегда плохо, боятся, но кусаются всегда и всегда отравляют все вокруг. При мне штрафовали управделами, который из ненависти собирал всюду паутину, пыль, пауков, блох, мух, моль, мокриц и распределял собранное по всем комнатам своего учреждения. Он же добыл где-то старую ванну, положил ее в коридоре и написал на ней мелом нехорошее слово. Ванна наводила на посетителей сильное уныние. Он же забил все двери и пускал посетителей через подвал. Но он тих и скромен рядом с нашей Упыревой. Она совершенно мертва, она обеими ногами стоит в гробу, и через нее из гроба, как по проводу, идет смерть. Я, отдыхая, наводил справки и все выяснил. Год назад она работала в центральном узле. Там застрелился из-за девочки прекрасный человек, талантливый работник товарищ Лысенький. Это она подстроила. Там сошло с ума пять рабочих-изобретателей: Иванов, Мамочко, Пежиков, Суриков и Эдиссон Томас Альва. Это все она. Там заведующий побил бухгалтера из ревности, и на две недели остановилась работа — шел показательный суд. Она даже в свидетельницы не попала, а все это было делом ее рук. Она умеет вовремя сказать злобное слово, поссорить, пустить сплетню, обидеть, сбить с толку, оскорбить тех, кто потише, и скрыться за личиной усерднейшего, даже

самоотверженного, непреклонного работника. Она портит жизнь. Здесь трудней всего поймать. Как вам удалось?..

Кофейкина. Я боюсь объяснить, товарищ заведующий... Она, видите ли, упырь!

Заведующий. Как вам не стыдно так упрощать этет сложный вопрос! Упырь — исключительное явление, а исключительное явление каждому бросается в глаза. Она гораздо незаметней, мельче...

Кофейкина. Это другие незаметней, мельче, а она — упырь!

Заведующий. Это что же, аллегория?

Кофейкина. Нет, в данном случае — факт.

Заведующий. Не хочу разбираться, чтобы не запутаться в подробностях, но чувствую что вы все в чем-то правы. Она из тех, кто притворяется живой, передразнивает живых и ест живых. А вы? В таком случае вы — волшебница?

Кофейкина. Да.

Заведующий. Не хочу слишком уточнять, чтобы не сбиться с толку. Но чутьем понимаю, что в данном частном случае вы правы. Вы победили. Вы полны величайшей творческой энергии, которая иной раз производит впечатление чуда. В данном частном случае я не возражаю. Вы действовали с пользой в интересах дела, но это не метод! Есть другие способы проявлять творческую энергию. Путь индивидуальных чудес должен быть изжит. Волшебных чудес. Понимаете?

Кофейкина. Я больше не буду.

Заведующий. Да, довольно. Это тем более легко, что волшебниц вообще не бывает. Ну, у нас в учреждении один раз случилось — и довольно. *(Брючкиной.)* Что у вас за прическа?

Брючкина. Ах, товарищ заведующий, это — любовь! Гогенштауфен...

Заведующий. Он не для вас... Прекратите это безобразие с прической, товарищ Кофейкина.

Кофейкина свистит. Брючкина принимает свой первоначальный вид.

Заведующий. Спасибо. А вам, товарищ Брючкина, я предлагаю оставить Гогенштауфена в покое...

Брючкина. Товарищ заведующий, вы сами знаете — мужчины лезут ко мне как звери. Я даже не понимаю, зачем это им нужно. Гогенштауфен писал

мне такие письма, жадно на меня глядел...

Заведующий. Это ошибка. *(Дамкину.)* Почему вы держите все время нос к северу? Товарищ Дамкин, чего вы молчите?

Бойбабченко. А он в компас превратился. Мы ему зубы намагнитили.

Заведующий. Понимаю... Зубы прилипли к зубам... Прекратите это!

Кофейкина свистит. Дамкин хохочет.

Дамкин. Спасибо, товарищ. Вот разыграли, прямо на большой палец. Очень потешно. Знаете потрясающую новость, товарищи? Мне ужасно есть хочется. Со вчерашнего дня не жрал. У меня есть такое свойство: если я с вечера не поужинаю — ужасно утром есть хочу. Товарищ заведующий, вам огромное спасибо. У меня есть такое свойство: если мне объяснят — я сразу осознаю свои ошибки. Эта Упырева — просто вредительница. Простите, я по-прямому. У меня есть такое свойство. Я не хитрый.

Заведующий. Ну, довольно! Я дал вам поговорить, потому что вы несколько часов молчали. Товарищ Дамкин, предлагаю вам оставить Марусю в покое.

Дамкин. Но, товарищ заведующий. Маруся сама в меня влюбилась. Вечером вчера так она раскокетничалась — бегала, плакала, молоденькая, страстная такая...

Заведующий. Это ошибка.

Дамкин. Ну, какая там ошибка. Что вы! Все женщины — дон-жуаны и циники! *(Показывает на Бойбабченко.)* Вот она. Старушка. Сухарик. А тоже... Вчера из ревности намагнитила меня, обиделась, что я бегаю за Марусей.

Заведующий. Довольно! Все кончается хорошо, поэтому я вместо выговора в приказе сделаю вот что,— смотрите... *(Показывает на Брючкину)*

Дамкин. Что?

Заведующий. Смотрите...

Дамкин. А ведь действительно...

Заведующий. Смотрите...

Дамкин. Ах ты, черт... Фигура, руки, ноги... Товарищи, потрясающая новость! Я влюбился! Честное слово! В Брючкину. Надо брать от жизни все, что она дает.

Брючкина. Ха-ха-ха! Зачем вам это надо?

Заведующий. Ладно. Договорились. *(Топает ногой.)* Но смотрите!

Дамкин. Осознал, осознал.

Брючкина. Понимаем, понимаем.

Заведующий. Так. С ними покончено. Они виноваты и награждены. Будут работать на совесть.

Брючкина. Для меня работа прежде всего.

Заведующий. Но смотрите! Если будут рецидивы и вспышки *(к Брючкиной.)* — к вам вернется ваша прежняя прическа. *(Дамкину.)* А вас превратят навеки в компас, и я сдам вас в географический институт.

Дамкин. Товарищ заведующий, у меня есть такое свойство: я работаю как бешеный!

Заведующий. Договорились. Теперь отдохнем на хороших людях. Маруся Покровская!

Маруся. Что?

Заведующий. Успокойтесь. Жизнь такова, какой она вам казалась до склоки. Больше вас никто не будет мучить. Все прекрасно. Товарищ Гогенштауфен, вас премировали квартирой, отпуском и трехмесячным окладом. Марусю я тоже отпускаю на месяц. Вы поселитесь вместе. Кричите ура! Вот... *(Кофейкиной.)* Вас я назначил бы управделами, но ваша склонность творить чудеса...

Кофейкина. Я по плану...

Заведующий. Посмотрим. Боюсь, что вы нужнее на периферии. Товарищ Бойбабченко, у вас в квартире окна чистые, у меня окна чистые. Я работаю и вижу — вы очень любите наше учреждение.

Бойбабченко. Как бабушка!

Заведующий. Можете приходить ко мне на все совещания, сидеть и слушать.

Бойбабченко. Ах, это форменная мечта! Вот сподобилась... *(Вытирает слезы.)* Выдвинулась!

Заведующий. Все? Объявляю совещание закрытым. Упыревой я займусь самостоятельно. *(Дергает дверь, дверь заперта.)*

Бойбабченко. Заперлась окаянная. Зачем?

Заведующий. Не смешите меня. Откройте. Что за нелепость! *(Дамкину.)* Взломайте. Чего она этим добьется?

Дамкин взламывает дверь. Комната пуста.

Заведующий. Никого. Куда она девалась? Окно над пропастью.

Бойбабченко. А мебель? Мебель она всю уничтожила.

Заведующий. Как неудобно. Мебель принадлежит санатории. Где стол, где кресла? Труха какая-то на полу. Один телефон уцелел.

Маруся. Я боюсь, товарищи, я боюсь...

Кофейкина. Да что вы, братцы! Чего вы призадумались! Это знаете что?

Заведующий. Ну?

Кофейкина. Победа. У меня даже слабость от радости в руках, в ногах. Ура! Вот что я вам скажу. Ура, ура! И больше ничего. Ее нету больше, Упыревой. Она от злости и от страха источила, как жучок-вредитель, всю мебель и сошла на нет — нету ее больше, нету! Ура! Спасибо тебе, товарищ заведующий! В лоб ударил ее, в лоб! Она этого больше всего боится. Победа! Праздник! Бейте в барабаны! Трубите в трубы!

Трубы, барабаны, струнные восточные инструменты.

Заведующий. Это что такое? Опять индивидуальные чудеса? Кто это?

Голос из-за кулис. Горцы, осоавиахимовцы! Позволь, пожалуйста, почествовать!

Заведующий. Кого?

Голос. Летчиков безмоторных, к тебе снизились. Мы сами видели, интересно нам. Речей не будем говорить. Не бойтесь. Поиграем, потанцуем, почествуем!

Кофейкина. Идите, все сюда идите! Чествуйте! Радуйтесь! Нету ее!

Галопом влетают горцы на конях. Спешиваются.
Полукругом усаживается оркестр, в центре начинаются танцы.
В самый разгар танцев в воздухе появляется пакет.
Он, кувыркаясь, как бы дразня, носится над всеми.
Наконец, падает в руки Кофейкиной.
Кофейкина распечатывает пакет и в ужасе вскрикивает.

Кофейкина. Стойте! Прекратите! Не радуйтесь! Жива она!

Музыка обрывается.

Заведующий. Кто жив?

Кофейкина. Несчастье! Она жива, жива! Упырева!

Заведующий. Каким образом?

Кофейкина. Улетела в окно, конечно. Раз в сто лет она может творить чудеса.

Заведующий. Что она пишет?

Кофейкина. Слушайте: "Всем товарищам по работе заявление. Из дому выйдешь, злое слово скажу — тебе день погублю. В трамвай войдешь, слово скажу — тебе день погублю. На работу придешь, слово скажу — и день погублю. Домой придешь, слово скажу — и ночь погублю. Что за радость в новом дому жить? Дом-то нов, да я-то стара! Что за радость новое дело делать? Дело-то новое, да я-то стара! Что за радость с молодой женой жить? Жена-то молода, да я-то стара! Мой день придет, злое слово скажу — и всю жизнь погублю! Вот вам. Я еще свое высосу. С товарищеской ненавистью Упырева".

Заведующий. Интересный документ.

Кофейкина. Это я, я виновата! Как я не заметила, как забыла что она в полной злобе! Надо было ее за ноги держать. Насыпать на хвост соли.

Заведующий. Словом, прошляпили. Что делать теперь? Где ее искать? Давайте совещаться.

Телефон.

Заведующий. Сейчас я... *(Подходит к телефону.)* А?.. Да?.. Районтдел?.. Какие сведения?.. А вы знаете, что я в отпуску и что звонить ко мне можно только по самым срочным делам? Чего вы смеетесь? Как ваша фамилия? Упыренко? *(Бросает трубку.)* Черт знает что!

Бойбабченко. Вот она где устроилась!

Телефон.

Заведующий. Что?.. Облотдел?.. Кто передает? Упыревич? *(Бросает трубку.)* Вы слышали?

Бойбабченко. Совмещает.

Телефон.

З а в е д у ю щ и й. Что?.. Кто?.. Вурдалак? Убирайтесь к черту! *(Бросает трубку.)*

Б о й б а б ч е н к о. Это она от злости размножилась.

Телефон.

З а в е д у ю щ и й. Кто говорит? Назовите сначала фамилию... Вампир? Не буду говорить! Вампир? Все равно, не буду.

Телефон.

З а в е д у ю щ и й. Кто?.. Кровососова? *(Швыряет трубку на пол.)* Тройку мне! Тройку! Тройку создам! Объявляю мобилизацию! Месячник по борьбе с проклятой злобой! Штаб! Институт!

К о ф е й к и н а. Убьем! Убьем! Постепенно убьем! Не бойся!

З а в е д у ю щ и й. Нельзя постепенно.

К о ф е й к и н а. Отчего нельзя? Где уговором, где страхом, где чудом.

З а в е д у ю щ и й. Я приказал вам изжить ваши индивидуальные чудеса.

К о ф е й к и н а. Зачем индивидуальные? Я того мнения, что все время чудесное. Вот летели мы — и хоть бы кто удивился. Смерть и злоба чуда боятся, а живые чуду радуются. Да здравствует чудо!

Чудо в смысле музыка,
Чудо в смысле смех,
Чудо в смысле радость,
Доступная для всех!

До свидания, товарищ заведующий!

З а в е д у ю щ и й. Куда вы?

К о ф е й к и н а. Воевать! Не жалей нас. Это будет веселый бой. Она злое слово скажет — а мы десять веселых. Она человека расстроит — а мы настроим. Она пыль, паутину, грязь — а мы чистоту, красоту, блеск. Она ржавчину на трубы, замки на двери — мы зелень в цеха, мы цветы на столы, на улицы, на площади, на стены. Мы книги, театр, науку, музыку. Она соберет своих, а мы уже собраны. Она план снизу уродует, а мы украшаем! Да здравствует музыка, радость, чудо!

З а в е д у ю щ и й. Ну, если вы в этом смысле, тогда мы встретимся. Езжайте!

Кофейкина. Бойбабченко, ты со мной?

Бойбабченко. А то с кем же?

Кофейкина. Коня!

Горцы подводят под уздцы двух коней.
Бойбабченко и Кофейкина едут, поют. К ним присоединяются трубачи, горцы, образуется целый хор. Заведующий и все остальные машут отъезжающим платком в такт песни.

Песня

Уходим сражаться,
Прощайте, друзья!
Врагу удержаться
Против нас нельзя!

Нас жалеть не стоит,
Весел будет бой!
Оружие простое
Берем мы с собой!

Несколько метелок.
Совок и песок,
Кислоту и щелок
И мыла кусок.

А еще нам восемь
Дайте трубачей,
А мы их попросим
Трубить погорячей!

Музыка грянет,
Метелки загудят.
Никто не устанет,
Но все победят!

Музыки и пляски
Не выдержит мертвец,
И тут нашей сказке —
Конец наконец!

Занавес

1934 год

ГОЛЫЙ

КОРОЛЬ

Пьеса в 2-х действиях.

Действующие лица

Генрих.

Христиан.

Король.

Принцесса.

Король-отец.

Министры. Придворные дамы.

Жандармы. Фрейлины.

Солдаты. Публика.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Лужайка, поросшая цветами. На заднем плане — королевский замок. Свиньи бродят по лужайке. Свинопас Генрих рассказывает. Друг его, ткач Христиан, лежит задумчиво на траве.

Генрих. Несу я через королевский двор поросенка. Ему клеймо ставили королевское. Пятачок, а наверху корона. Поросенок орет — слушать страшно. И вдруг сверху голос: перестаньте мучать животное, такой-сякой! Только что я хотел выругаться — мне, понимаешь, и самому неприятно, что поросенок орет, — глянул наверх, ах! а там принцесса. Такая хорошенькая, такая миленькая, что у меня сердце перевернулось. И решил я на ней жениться.

Христиан. Ты мне это за последний месяц рассказываешь в сто первый раз.

Генрих. Такая, понимаешь, беленькая! Я и говорю: принцесса, приходи на лужок поглядеть, как пасутся свиньи. А она: я боюсь свиней. А я ей говорю: свиньи смирные. А она: нет, они хрюкают. А я ей: это человеку не вредит. Да ты спишь?

Христиан *(сонно)*. Сплю.

Генрих *(поворачивается к свиньям)*. И вот, дорогие вы мои свинки, стал я ходить каждый вечер этой самой дорогой. Принцесса красуется в окне, как цветочек, а я стою внизу во дворе как столб, прижав руки к сердцу. И все ей повторяю: приходи на лужок. А она: а чего я там не видела? А я ей: цветы там очень красивые. А она: они и у нас есть. А я ей: там разноцветные камушки, а она мне: подумаешь, как интересно. Так и уговариваю, пока нас не разгонят. И ничем ее не убедишь! Наконец я придумал. Есть, говорю, у меня котелок с колокольчиками, который прекрасным голосом поет, играет на скрипке, на валторне, на флейте и, кроме того, рассказывает, что у кого готовится на обед. Принеси, говорит она, сюда этот котелок. Нет, говорю, его у меня отберет король. Ну ладно, говорит, приду к тебе на лужайку в будущую среду, ровно в двенадцать. Побежал я к Христиану. У него руки золотые, и сделали мне котелок с колокольчиками... Эх, свинки, свинки, и вы заснули! Конечно, вам надоело... Я только об этом целыми днями и говорю... Ничего не поделаешь

влюблен. Ах, идет! *(Толкает свиней.)* Вставай, Герцогиня, вставай, Графиня, вставай, Баронесса. Христиан! Христиан! Проснись!

Христиан. А? Что?

Генрих. Идет! Вон она! Беленькая, на дорожке. *(Генрих тычет пальцем вправо.)*

Христиан. Чего ты? Чего там? Ах, верно — идет! И не одна, со свитой... Да перестань ты дрожать... Как ты женишься на ней, если ты ее так боишься?

Генрих. Я дрожу не от страха, а от любви.

Христиан. Генрих, опомнись! Разве от любви полагается дрожать и чуть ли не падать на землю! Ты не девушка!

Генрих. Принцесса идет.

Христиан. Раз идет, значит, ты ей нравишься. Вспомни, сколько девушек ты любил — и всегда благополучно. А ведь она хоть и принцесса, а тоже девушка.

Генрих. Главное, беленькая очень. Дай глотну из фляжки. И хорошенькая. И миленькая. Идешь по двору, а она красуется в окне, как цветочек... И я как столб, во дворе, прижавши руки к сердцу...

Христиан. Замолчи! Главное, будь тверд. Раз уж решил жениться — не отступай. Ох, не надеюсь я на тебя. Был ты юноша хитрый, храбрый, а теперь...

Генрих. Не ругай меня, она подходит...

Христиан. И со свитой!

Генрих. Я никого не вижу, кроме нее! Ах ты моя миленькая!

Входят принцесса и придворные дамы. Принцесса подходит к свинопасу. Дамы стоят в стороне.

Принцесса. Здравствуй, свинопас.

Генрих. Здравствуй, принцесса.

Принцесса. А мне сверху, из окна, казалось, что ты меньше ростом.

Генрих. А я больше ростом.

Принцесса. И голос у тебя нежней. Ты со двора всегда очень громко мне кричал.

Генрих. А здесь я не кричу.

Принцесса. Весь дворец знает, что я пошла сюда слушать твой котелок,— так ты кричал! Здравствуй, свинопас! *(Протягивает ему руку.)*

Генрих. Здравствуй, принцесса. *(Берет принцессу за руку.)*

Христиан *(шепчет)*. Смелей, смелей, Генрих!

Генрих. Принцесса! Ты такая славненькая, что прямо страшно делается.

Принцесса. Почему?

Генрих. Беленькая такая, добренькая такая, нежная такая.

Принцесса вскрикивает.

Что с тобой?

Принцесса. Вон та свинья злобно смотрит на нас.

Генрих. Которая? А! Та! Пошла отсюда прочь, Баронесса, или я завтра же тебя зарежу.

Третья придворная дама. Ах! *(Падает в обморок.)*

Все придворные дамы ее окружают.

Возмущенные возгласы. Грубиян!

— Нельзя резать баронессу!

— Невежа!

— Это некрасиво — резать баронессу!

— Нахальство!

— Это неприлично — резать баронессу!

Первая придворная дама *(торжественно подходит к принцессе)*. Ваше высочество! Запретите этому... этому поросенку оскорблять придворных дам.

Принцесса. Во-первых, он не поросенок, а свинопас, а во-вторых, зачем ты обижаешь мою свиту?

Генрих. Называй меня, пожалуйста, Генрих.

Принцесса. Генрих? Как интересно. А меня зовут Генриетта.

Генрих. Генриетта? Неужели? А меня Генрих.

Принцесса. Видишь, как хорошо. Генрих!

Генрих. Вот ведь! Бывает же... Генриетта.

Первая придворная дама. Осмелюсь напомнить вашему высочеству, что этот... этот ваш собеседник собирается завтра зарезать баронессу.

Принцесса. Ах, да... Скажи, пожалуйста, Генрих, зачем ты собираешься завтра зарезать баронессу?

Генрих. А она уже достаточно разъелась. Она ужасно толстая.

Третья придворная дама. Ах! *(Снова падает в обморок.)*

Генрих. Почему эта дама все время кувыркается?

Первая придворная дама. Эта дама и есть та баронесса, которую вы назвали свиньей и хотите зарезать.

Генрих. Ничего подобного, вот свинья, которую я назвал Баронессой и хочу зарезать.

Первая придворная дама. Вы эту свинью назвали Баронессой?

Генрих. А эту Графиней.

Вторая придворная дама. Ничего подобного! Графиня — это я!

Генрих. А эта свинья — Герцогиня.

Первая придворная дама. Какая дерзость! Герцогиня — это я! Называть свиней высокими титулами! Ваше высочество, обратите внимание на неприличный поступок этого свинопаса.

Принцесса. Во-первых, он не свинопас, а Генрих. А во-вторых, свиньи — его подданные, и он вправе их жаловать любыми титулами.

Первая придворная дама. И вообще он ведет себя неприлично. Он держит вас за руку!

Принцесса. Что же тут неприличного! Если бы он держал меня за ногу...

Первая придворная дама. Умоляю вас, молчите. Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи.

Принцесса. А вы не приставайте. А скажи, Генрих, почему у тебя такие твердые руки?

Генрих. Тебе не нравится?

Принцесса. Какие глупости! Как это мне может не нравится! У тебя руки очень милые.

Генрих. Принцесса, я тебе сейчас что-то скажу...

Первая придворная дама *(решительно)*. Ваше высочество! Мы пришли сюда слушать котелок. Если мы не будем слушать котелок, а будем с крайне неприличным вниманием слушать чужого мужчину, я сейчас же...

Принцесса. Ну и не слушайте чужого мужчину и отойдите.

Первая придворная дама. Но он и вам чужой!

Принцесса. Какие глупости. Я с чужими никогда не разговариваю.

Первая придворная дама. Я даю вам слово, принцесса, что сейчас же позову короля.

Принцесса. Отстаньте!

Первая придворная дама *(кричит, повернувшись к замку)*. Король! Идите сюда скорей. Принцесса ужасно себя ведет!

Принцесса. Ах, как они мне надоели. Ну покажи им котелок, Генрих, если им так хочется.

Генрих. Христиан! Иди сюда. Давай котелок.

Христиан *(достает из мешка котелок. Тихо)*. Молодец, Генрих. Так ее. Не выпускай ее. Она в тебя по уши влюблена.

Генрих. Ты думаешь?

Христиан. Да тут и думать нечего. Теперь, главное, поцелуй ее. Найди случай! Целуй ее, чтобы ей было что вспомнить, когда домой придет. Вот, ваше высочество и вы, благородные дамы, замечательный котелок с колокольчиками. Кто его сделал? Мы. Для чего? Для того, чтобы позабавить высокорожденную принцессу и благородных дам. На вид котелок прост — медный, гладкий, затянут сверху ослиной кожей, украшен по краям бубенцами. Но это обманчивая простота. За этими медными боками скрыта самая музыкальная душа в мире. Сыграть сто сорок танцев и спеть одну песенку может этот медный музыкант, позванивая своими серебряными колокольчиками. Вы спросите: почему так много танцев? Потому что он весел, как мы. Вы спросите: почему всего одну песенку? Потому что он верен, как мы. Но это еще не все: эта чудодейственная, веселая и верная машина под ослиной кожей скрывает нос!

Придворные дамы *(хором)*. Что?

Христиан. Нос. И какой нос, о прекрасная принцесса и благородные дамы! Под грубой ослиной кожей таится, как нежный цветок, самый тонкий, самый чуткий нос в мире. Достаточно направить его с любого расстояния на любую кухню любого дома — и наш великий нос сразу почует, что за обед там готовится. И сразу же совершенно ясно, правда несколько в нос, опишет нам нос этот самый обед. О благородные слушатели! С чего мы начнем? С песенки, с танцев или с обедов?

Первая придворная дама. Принцесса, с чего вы прикажете начать? Ах! Я заслушалась и не заметила! Принцесса! Принцесса! Принцесса! Я вам говорю.

Принцесса *(томно)*. Мне? Ах, да, да. Говорите что хотите.

Первая придворная дама. Что вы делаете, принцесса? Вы позволяете обнимать себя за талию. Это неприлично!

Принцесса. Что же тут неприличного? Если бы он обнимал меня за...

Первая придворная дама. Умоляю вас, молчите. Вы так наивны, что можете сказать совершенно страшные вещи!

Принцесса. А вы не приставайте. Идите слушайте котелок!

Первая придворная дама. Но мы не знаем, с чего начать: с песенки, с танцев или с обедов?

Принцесса. Как ты думаешь, Генрих?

Генрих. Ах ты моя миленькая...

Принцесса. Он говорит, что ему все равно.

Первая придворная дама. Но я спрашиваю вас, принцесса,

Принцесса. Я же вам ответила, что нам все равно. Ну, начинайте с обедов.

Придворные дамы *(хлопая в ладоши)*. С обедов, с обедов, с обедов!

Христиан. Слушаю-с, благородные дамы. Мы ставим котелок на левый бок и тем самым приводим в действие нос. Слышите, как он сопит?

Слышно громкое сопение.

Это он принюхивается.

Слышно оглушительное чихание.

Он чихнул, — следовательно, он сейчас заговорит. Внимание.

Нос *(гнусаво)*. Я в кухне герцогини.

Придворные дамы *(хлопая в ладоши)*. Ах, как интересно!

Первая придворная дама. Но...

Придворные дамы. Не мешайте!

Нос. У герцогини на плите ничего не варится, а только разогревается.

Придворные дамы. Почему?

Нос. Она вчера за королевским ужином напихала себе в рукава девять бутербродов с икрой, двенадцать с колбасой, пять отбивных котлет, одного кролика, шашлык по-царски, курицу под белым соусом, пирожков разных восемнадцать штук, соус тартар с каперсами и оливками, беф-филе годар,

соус из фюмэ, натуральный пломбир с цукатами, парфе кофейное и корочку хлебца.

Первая придворная дама. Ты врешь, нахальный нос!

Нос. Не для чего мне врать. Я точный прибор.

Придворные дамы. Браво, браво, как интересно, еще, еще!

Нос. Я в кухне у графини.

Вторая придворная дама. Но...

Придворные дамы. Не мешайте.

Нос. Плита у графини такая холодная, чхи, что я боюсь схватить насморк! Чхи!

Придворные дамы. Но почему?

Нос. Она целый месяц обедает в гостях. Она экономная.

Вторая придворная дама. Врешь, бесстыдный нос!

Нос. Чего мне врать? Машина не врет. Я у баронессы. Здесь тепло. Печь горит вовсю. У баронессы прекрасный повар. Он готовит обед для гостей. Он делает из конины куриные котлеты. Сейчас я иду к маркизе, потом к генеральше, потом к президентше...

Придворные дамы *(кричат хором)*. Довольно, довольно, ты устал.

Нос. Я не устал.

Придворные дамы. Нет, устал, устал, довольно, довольно!

Христиан *(поворачивает котелок)*. Я надеюсь, что вы в восторге, благородные дамы?

Придворные дамы молчат.

Если нет — пущу нос опять в путешествие.

Придворные дамы. Мы довольны, довольны, спасибо, браво, не надо!

Христиан. Я вижу, вы действительно довольны и веселы. А раз вы довольны и веселы, то вам только и остается что танцевать. Сейчас вы услышите один из ста сорока танцев, запрятанных в этом котелке.

Первая придворная дама. Я надеюсь — это танец без... без... слов?

Христиан. О да, герцогиня, это совершенно безобидный танец. Итак, я кладу котелок на правый и — вы слышите?

Позванивая бубенчиками, котелок начинает играть. Генрих танцует

с принцессой. Христиан с герцогиней, графиня с баронессой. Прочие придворные дамы водят вокруг хоровод. Танец кончается.

Придворные дамы. Еще, еще, какой хороший танец!

Христиан. Ну, Генрих, действуй! Вот тебе предлог.

Принцесса. Да, пожалуйста, Генрих, заведи еще раз котелок! Я сама не знала, что так люблю танцевать.

Христиан. Ваше высочество, у этого котелка есть одно ужасное свойство.

Принцесса. Какое?

Христиан. Несмотря на свою музыкальную душу, он ничего не делает даром. Первый раз он играл в благодарность за то, что вы пришли из королевского дворца на нашу скромную лужайку. Если вы хотите, чтобы он играл еще...

Принцесса. Я должна еще раз прийти. Но как это сделать? Ведь для этого надо уйти, а мне так не хочется!

Генрих. Нет, нет, не уходи, куда там, еще рано, ты только что пришла!

Принцесса. Но он иначе не заиграет, а мне так хочется еще потанцевать с тобой. Что нужно сделать? Скажи! Я согласна.

Генрих. Нужно... чтобы ты... *(скороговоркой)* десять раз меня поцеловала.

Придворные дамы. Ах!

Принцесса. Десять?

Генрих. Потому что я очень влюблен в тебя. Зачем ты так странно смотришь? Ну не десять, ну пять.

Принцесса. Пять? Нет!

Генрих. Если бы ты знала, как я обрадуюсь, ты бы не спорила... Ну поцелуй меня хоть три раза...

Принцесса. Три? Нет! Я не согласна.

Первая придворная дама. Вы поступаете совершенно справедливо, ваше высочество.

Принцесса. Десять, пять, три. Кому ты это предлагаешь? Ты забываешь, что я — королевская дочь! Восемьдесят, вот что!

Придворные дамы. Ах!

Генрих. Что восемьдесят?

Принцесса. Поцелуй меня восемьдесят раз! Я принцесса!

Придворные дамы. Ах!

Первая придворная дама. Ваше высочество, что вы делаете! Он вас собирается целовать в губы! Это неприлично!

Принцесса. Что же тут неприличного? Ведь в губы, а не...

Первая придворная дама. Умоляю вас, молчите! Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи.

Принцесса. А вы не приставайте!

Генрих. Скорей! Скорей!

Принцесса. Пожалуйста, Генрих, я готова.

Первая придворная дама. Умоляю вас, принцесса, не делать этого. Уж если вам так хочется потанцевать, пусть он меня поцелует хоть сто раз...

Принцесса. Вас? Вот это будет действительно неприлично! Вас он не просил. Вы сами предлагаете мужчине, чтобы он вас целовал.

Первая придворная дама. Но ведь вы тоже...

Принцесса. Ничего подобного, меня он принудил! Я вас понимаю — сто раз. Конечно, он такой милый, кудрявый, у него такой приятный ротик... Она отчасти права, Генрих, ты меня поцелуешь сто раз. И пожалуйста, не спорьте, герцогиня, иначе я прикажу вас заточить в подземелье.

Первая придворная дама. Но король может увидеть вас из окон дворца!

Принцесса. Станьте вокруг! Слышите! Станьте вокруг! Заслоняйте нас своими платьями. Скорей! Как это можно — мешать людям, которые собрались целоваться! Иди сюда, Генрих!

Первая придворная дама. Но кто будет считать, ваше высочество?

Принцесса. Это неважно! Если мы собьемся — то начнем сначала.

Первая придворная дама. Считайте, мадам.

Генрих и принцесса целуются.

Придворные дамы. Раз.

Поцелуй продолжается.

Первая придворная дама. Но, ваше высочество, для первого раза, пожалуй, уже достаточно!

Поцелуй продолжается.

Но ведь так мы не успеем кончить и до завтрашнего дня.

Поцелуй продолжается.

Христиан. Не тревожьте его, мадам, он все равно ничего не слышит, я его знаю.

Первая придворная дама. Но ведь это ужасно!

Из кустов выскакивает Король. Он в короне и в горностаевой мантии.

Король!

Король. У кого есть спички, дайте мне спички!

Общее смятение, Генрих и принцесса стоят потупившись.

Придворные дамы. Ваше величество!

Король. Молчать! У кого есть спички?

Христиан. Ваше величество...

Король. Молчать! У вас есть спички?

Христиан. Да, ваше ве...

Король. Молчать! Давайте их сюда.

Христиан. Но зачем, ваше величество?

Король. Молчать!

Христиан. Не скажете — не дам спичек, ваше...

Король. Молчать! Спички мне нужны, чтобы зажечь костер, на котором я сожгу придворных дам. Я уже собрал в кустах хворосту.

Христиан. Пожалуйста, ваше величество, вот спички.

Придворные дамы падают в обморок.

Король. Какой ужас! Моя дочь целуется со свинопасом! Зачем ты это сделала?

Принцесса. Так мне захотелось.

Король. Захотелось целоваться?

Принцесса. Да.

Король. Пожалуйста! Завтра же я отдам тебя замуж за соседнего короля.

Принцесса. Ни за что!

Король. А кто тебя спрашивает!

Принцесса. Я ему выщиплю всю бороду!

Король. Он бритый.

Принцесса. Я ему выдеру все волосы!

Король. Он лысый.

Принцесса. Тогда я ему выбью зубы!

Король. У него нет зубов. У него искусственные зубы.

Принцесса. И вот за эту беззубую развалину ты отдаешь меня замуж!

Король. Не с зубами жить, а с человеком. Эх вы, дамы! *(Оглушительно.)* Встать!

Дамы встают.

Хорошо! Очень хорошо! Только потому что я задержался, не мог сразу найти английских булавок, чтобы подколоть мантию, вы тут устроили оргию! Нет, вас мало только сжечь на костре! Я вас сначала сожгу и потом отрублю вам головы, а потом повешу вас всех на большой дороге.

Дамы плачут.

Не реветь! Нет, этого мало! Я придумал: я вас не сожгу и не повешу. Я вас оставлю в живых и буду вас всю жизнь ругать, ругать, пилить, пилить. Ага! Съели!

Дамы плачут.

А кроме того, я лишу вас жалованья!

Дамы падают в обморок.

Встать! А тебя, свинопас, и твоего друга я вышлю из пределов страны. Ты не

слишком виноват. Принцесса действительно такая чудненькая, что не влюбиться трудно. Где котелок? Котелок я заберу себе. *(Хватает котелок.)*

Котелок *(начинает петь)*.

Я хожу-брожу по свету,
Полон я огня.
Я влюбился в Генриетту,
А она в меня.
Шире степи, выше леса
Я тебя люблю,
Никому тебя, принцесса,
Я не уступлю.
Завоюем счастье с бою
И пойдем домой.
Ты да я, да мы с тобою,
Друг мой дорогой.
Весел я брожу по свету,
Полон я огня,
Я влюбился в Генриетту,
А она в меня.

Король. Это котелок поет?

Генрих. Да, ваше величество.

Король. Поет он хорошо, но слова возмутительные. Он утверждает, что ты все равно женишься на принцессе?

Генрих. Да, я все равно женюсь на принцессе, ваше величество.

Принцесса. Правильно, правильно!

Король *(придворным дамам)*. Уведите ее.

Принцесса. До свиданья, Генрих. Я тебя люблю.

Генрих. Не беспокойся, принцесса, я на тебе женюсь.

Принцесса. Да, пожалуйста, Генрих, будь так добр. До свиданья, до свиданья!

Ее уводят.

Генрих. До свиданья, до свиданья!

Король. Генрих!

Генрих. До свиданья, до свиданья!

К о р о л ь. Эй, ты, слушай!

Г е н р и х. До свиданья, до свиданья!

К о р о л ь. Я тебе говорю. *(Поворачивает его лицом к себе.)* Твой котелок поет только одну песню?

Г е н р и х. Да, только одну.

К о р о л ь. А такой песни у него нету? *(Поет дребезжащим голосом.)* Ничего у тебя не выйдет, пошел вон.

Г е н р и х. Такой песни у него нет и не может быть.

К о р о л ь. Ты меня не серди, — ты видел, как я бываю грозен?

Г е н р и х. Видел.

К о р о л ь. Дрожал?

Г е н р и х. Нет.

К о р о л ь. Ну то-то!

Г е н р и х. Прощай, король.

К о р о л ь. Куда ты?

Г е н р и х. Пойду к соседнему королю. Он дурак, и я его так обойду, что лучше и не надо. Смелей меня нет человека. Я поцеловал твою дочь и теперь ничего не боюсь! Прощай!

К о р о л ь. Погоди. Надо же мне пересчитать свиней. Раз, два, три, пятнадцать, двадцать...Так. Все. Ступай!

Г е н р и х. Прощай, король. Идем, Христиан.

Уходят с пением:

Шире степи, выше леса
Я тебя люблю.
Никому тебя, принцесса,
Я не уступлю.

К о р о л ь. Чувствую я — заварится каша. Ну да я тоже не дурак. Я выпишу дочке иностранную гувернантку, злобную, как собака. С ней она и поедет. И камергера с ней пошлю. А придворных дам не пошлю. Оставлю себе. Ишь ты, шагают, поют! Шагайте, шагайте, ничего у вас не выйдет!

Занавес

Перед занавесом поляется министр нежных чувств.

Министр нежных чувств. Я министр нежных чувств его величества короля. У меня теперь ужасно много работы — мой король женится на соседней принцессе. Я выехал сюда, чтобы, во-первых, устроить встречу принцессы с необходимой торжественностью. А во-вторых и в-третьих, чтобы решить две деликатные задачи. Дело в том, что моему всемилостивейшему повелителю пришла в голову ужасная мысль. Жандармы!

Входят два бородатых жандарма.

Жандармы *(хором)*. Что угодно вашему превосходительству?

Министр. Следите, чтобы меня не подслушали. Я сейчас буду говорить о секретных делах государственной важности.

Жандармы *(хором)*. Слушаю-с, ваше превосходительство!

Расходятся в разные стороны. Становятся у порталов.

Министр *(понизив голос)*. Итак, моему повелителю в прошлый вторник за завтраком пришла в голову ужасная мысль. Он как раз ел колбасу — и вдруг замер с куском пищи в зубах. Мы кинулись к нему, восклицая: "Ваше величество! Чего это вы!" Но он только стонал глухо, не разнимая зубов: "Какая ужасная мысль! Ужас! Ужас!" Придворный врач привел короля в чувство, и мы узнали, что именно их величество имело честь взволновать. Мысль действительно ужасная. Жандармы!

Жандармы *(хором)*. Что угодно вашему превосходительству?

Министр. Заткните уши.

Жандармы *(хором)*. Слушаю-с, ваше превосходительство! *(Затыкают уши.)*

Министр. Король подумал: а вдруг мамаша их высочества, мамаша нареченной невесты короля, была в свое время *(шепотом)* шалунья! Вдруг принцесса не дочь короля, а девица неизвестного происхождения? Вот первая задача, которую я должен разрешить. Вторая такова. Его величество купался, был весел, изволил хихикать и говорил игривые слова. И вдруг король, восклицая: "Вторая ужасная мысль!", на мелком месте пошел ко дну. Оказывается,

король подумал: а вдруг принцесса до сговора *(шепотом)* тоже была шалунья, имела свои похождения, и... ну словом, вы понимаете! Мы спасли короля, и он тут же в море отдал мне необходимые распоряжения. Я приехал сюда узнать всю правду о происхождении и поведении принцессы и — клянусь своей рыцарской честью — я узнаю о ее высочестве всю подноготную. Жандармы! Жандармы! Да что вы, оглохли? Жандармы! Ах да! Ведь я приказал им заткнуть уши. Какова дисциплина! Король разослал по всем деревням на пути принцессы лучших жандармов королевства. Они учат население восторженным встречам. Отборные молодцы. *(Подходит к жандармам, опускает им руки.)* Жандармы!

Жандармы. Что угодно вашему превосходительству?

Министр. Подите взгляните, не едет ли принцесса.

Жандармы. Слушаю-с, ваше превосходительство! *(Уходят.)*

Министр. Трудные у меня задачи. Не правда ли? Но я знаю совершенно точно, как их решить. Мне помогут одна маленькая горошина и двенадцать бутылок отборного вина. Я очень ловкий человек.

Входят жандармы.

Ну?

Жандармы. Ваше превосходительство. Далеко-далеко, там, где небо как бы сливается с землей, вьется над холмом высокий столб пыли. В нем то алебарда сверкнет, то покажется конская голова, то мелькнет золотой герб. Это принцесса едет к нам, ваше превосходительство.

Министр. Пойдем посмотрим, все ли готово к встрече.

Уходят.

Занавес

Пологие холмы покрыты виноградниками. На переднем плане — гостиница. Двухэтажный домик. Столы стоят во дворе гостиницы. Мэр деревушки мечется по двору вместе с девушками и парнями. Крики: "Едет! едет!"
Входит министр нежных чувств.

Министр. Мэр! Перестаньте суетиться. Подите сюда.

Мэр. Я? Да. Вот он. Что? Нет!

Министр. Приготовьте двенадцать бутылок самого крепкого вина.

Мэр. Что? Бутылок? Зачем?

Министр. Нужно.

Мэр. Ага... Понял... Для встречи принцессы?

Министр. Да.

Мэр. Она пьяница?

Министр. Вы с ума сошли! Бутылки нужны для ужина, который вы подадите спутникам принцессы.

Мэр. Ах, спутникам. Это приятнее... Да-да... Нет-нет.

Министр *(хохочет. В сторону)*. Как глуп! Я очень люблю глупых людей, они такие потешные. *(Мэру.)* Приготовьте бутылки, приготовьте поросят, приготовьте медвежьи окорока.

Мэр. Ах так. Нет... То есть да. Эй вы, возьмите ключи от погреба! Дайте сюда ключи от чердака! *(Бежит.)*

Министр. Музыканты!

Дирижер. Здесь, ваше превосходительство!

Министр. У вас все в порядке?

Дирижер. Первая скрипка, ваше превосходительство, наелась винограду и легла на солнышке. Виноградный сок, ваше превосходительство, стал бродить в животике первой скрипки и превратился в вино. Мы их будим, будим, а они брыкаются и спят.

Министр. Безобразие! Что же делать?

Дирижер. Все устроено, ваше превосходительство. На первой скрипке будет играть вторая, а на второй контрабас. Мы привязали скрипку к жерди, контрабас поставит ее как контрабас, и все будет более чем прекрасно.

Министр. А кто будет играть на контрабасе?

Дирижер. Ах, какой ужас! Об этом я и не подумал!

Министр. Поставьте контрабас в середину. Пусть его хватают и пилят на нем все, у кого окажутся свободными руки.

Дирижер. Слушаю, ваше превосходительство. *(Убегает.)*

Министр. Ах какой я умный, какой ловкий, какой находчивый человек!

Входят два жандарма.

Жандармы. Ваше превосходительство, карета принцессы въехала в деревню.

Министр. Внимание! Оркестр! Мэр! Девушки! Народ! Жандармы! Следите, чтобы парни бросали шапки повыше!

За забором показывается верхушка кареты с чемоданами. Министр бросается в вороте к карете. Оркестр играет. Жандармы кричат "ура". Шапки летят вверх. Входят принцесса, камергер, гувернантка.

Ваше высочество... Волнение, которое вызвал ваш приезд в этой скромной деревушке, ничтожно по сравнению с тем, что делается в сердце моего влюбленного повелителя. Но тем не менее...

Принцесса. Довольно... Камергер! Где мои носовые платки?

Камергер. Эх! Ух! Охо-хо! Сейчас, ваше высочество, я возьму себя в руки и спрошу у гувернантки. М-м-ы. *(Рычит. Успокаивается.)* Госпожа гувернантка, где платки нашей принцессы лежать себя имеют быть?

Гувернантка. Платки имеют быть лежать себя в чемодане, готентотенпотентатертантеатентер.

Камергер. Одер. *(Рычит.)* Платки в чемодане, принцесса.

Принцесса. Достаньте. Вы видите, что мне хочется плакать. Достаньте платки. И принесите.

Несут чемоданы.

И прикажите приготовить мне постель. Скоро стемнеет. *(В сторону.)* А я ужасно устала. Пыль, жара, ухабы! Скорее, скорее спать! Я во сне увижу моего дорогого Генриха. Мне так надоели эти совершенно чужие обезьяны. *(Уходит в гостиницу.)*

Камергер роется в чемодане.

Министр. Неужели принцесса не будет ужинать?

Камергер *(рычит)*. Эх, ух, охо-хо! Нет! Она вот уже три недели ничего не ест. Она так взволнована предстоящим браком.

Гувернантка *(набрасывается на министра нежных чувств)*. Выньте свои руки карманов из! Это неприлично есть иметь суть! Ентведер!

Министр. Чего хочет от меня эта госпожа?

Камергер *(рычит)*. О-о-о-у! *(Успокаивается. Гувернантке.)* Возьмите себя в свои руки, анкор. Это не есть ваш воспитанник не. *(Министру.)* Простите, вы не говорите на иностранных языках?

Министр. Нет. С тех пор как его величество объявил, что наша нация есть высшая в мире, нам приказано начисто забыть иностранные языки.

Камергер. Эта госпожа — иностранная гувернантка, самая злая в мире. Ей всю жизнь приходилось воспитывать плохих детей, и она очень от этого ожесточилась. Она набрасывается теперь на всех встречных и воспитывает их.

Гувернантка *(набрасывается на камергера)*. Не чешите себя. Не!

Камергер. Видите? Уоу! Она запрещает мне чесаться, хотя я вовсе не чешусь, а только поправляю манжеты. *(Рычит.)*

Министр. Что с вами, господин камергер, вы простужены?

Камергер. Нет. Просто я уже неделю не был на охоте. Я переполнен кровожадными мыслями. У-лю-лю! Король знает, что я без охоты делаюсь зверем, и вот он послал меня сопровождать принцессу. Простите, господин министр, я должен взглянуть, что делает принцесса. *(Ревет.)* Ату его! *(Успокаивается.)* Госпожа гувернантка, направьте свои ноги на. Принцесса давно надзора без находит себя.

Гувернантка. Хотим мы идти. *(Идет. На ходу министру.)* Дышать надо нос через! Плохой мальчишка ты есть, ани, бани, три конторы!

Уходит с камергером.

Министр. Чрезвычайно подозрительно! Зачем король-отец послал таких свирепых людей сопровождать принцессу? Это неспроста. Но я все узнаю! Все! Двенадцать бутылок крепкого вина заставят эту свирепую стражу разболтать все. Все! Ах, как я умен, ловок, находчив, сообразителен! Не пройдет и двух часов, как прошлое принцессы будет у меня вот тут, на ладони.

Идут двенадцать девушек с перинами. У каждой девушки по две перины.

Ага! Сейчас мы займемся горошиной. *(Первой девушке.)* Дорогая красавица,

на два слова.

Девушка его толкает в бок. Министр отскакивает. Подходит ко второй.

Дорогая красотка, на два слова.

С этой девушкой происходит то же самое. Все двенадцать девушек отталкивают министра и скрываются в гостиницу.

(Потирая бока.) Какие грубые, какие неделикатные девушки. Как же быть с горошиной, черт побери! Жандармы!

Жандармы подходят к министру.

Жандармы. Что угодно вашему превосходительству?

Министр. Мэра.

Жандармы. Слушаю-с, ваше превосходительство!

Министр. Придется посвятить в дело этого дурака. Больше некого.

Жандармы приводят мэра.

Жандармы, станьте около и следите, чтобы нас не подслушали. Я буду говорить с мэром о секретных делах государственной важности.

Жандармы. Слушаю-с, ваше превосходительство! *(Становятся возле мэра и министра.)*

Министр. Мэр. Ваши девушки...

Мэр. Ага, понимаю. Да. И вас тоже?

Министр. Что?

Мэр. Девушки наши... Вы бок потираете. Ага. Да.

Министр. Что вы болтаете?

Мэр. Вы приставали к девушкам, они вас толкали. Да. Знаю по себе. Сам холостой.

Министр. Постойте!

Мэр. Нет. Любят они, да-да. Только молодых. Смешные девушки. Я их

люблю... Ну-ну... А они нет. Меня нет... Вас тоже. Не могу помочь.

Министр. Довольно! Я не за этим вас звал. Ваши девушки не поняли меня. Я им хотел поручить секретное дело государственной важности. Придется это дело выполнить вам.

Мэр. Ага. Ну-ну. Да-да.

Министр. Вам придется забраться в спальню принцессы.

Мэр *(хохочет)*. Ах ты... Вот ведь... Приятно... Но нет... Я честный.

Министр. Вы меня не поняли. Вам придется войти туда на секунду, после того как девушки постелят перины для ее высочества. И под все двадцать четыре перины на доски кровати положить эту маленькую горошину. Вот и все.

Мэр. Зачем?

Министр. Не ваше дело! Берите горошину и ступайте!

Мэр. Не пойду. Да... Ни за что.

Министр. Почему?

Мэр. Это дело неладное. Я честный. Да-да. Нет-нет. Вот возьму сейчас заболею — и вы меня не заставите! Нет-нет! Да-да!

Министр. Ах, черт, какой дурак! Ну хорошо, я вам все скажу. Но помните, что это секретное дело государственной важности. Король приказал узнать мне, действительно ли принцесса благородного происхождения. Вдруг она не дочь короля!

Мэр. Дочь. Она очень похожа на отца. Да-да.

Министр. Это ничего не значит. Вы не можете себе представить, как хитры женщины. Точный ответ нам может дать только эта горошина. Люди действительно королевского происхождения отличаются необыкновенно чувствительной и нежной кожей. Принцесса, если она настоящая принцесса, почувствует эту горошину через все двадцать четыре перины. Она не будет спать всю ночь и завтра пожалуется мне на это. А будет спать, значит, дело плохо. Поняли? Ступайте!

Мэр. Ага... *(Берет горошину.)* Ну-ну... Мне самому интересно... Так похожа на отца — и вдруг... Правда, у отца борода... Но ротик... Носик...

Министр. Ступайте!

Мэр. Глазки.

Министр. Идите, вам говорят!

Мэр. Лобик.

Министр. Да не теряйте времени, вы, болван!

Мэр. Иду, иду! И фигура у нее, в общем, очень похожа на отца. Ай, ай, ай! *(Уходит.)*

Министр. Слава богу!

Мэр *(возвращается)*. И щечки.

Министр. Я вас зарежу!

Мэр. Иду, иду. *(Уходит.)*

Министр. Ну-с, вопрос о происхождении я выясню! Теперь остается только позвать камергера и гувернантку, подпоить их и выведать всю подноготную о поведении принцессы.

С визгом пробегают девушки, которые относили перины. За ними, потирая бок, выходит камергер.

Господин камергер, я вижу по движениям ваших рук, что вы пробовали беседовать с этими девушками.

Камергер. Поохотился немного... *(Рычит.)* Брыкаются и бодаются, как дикие козы. Дуры!

Министр. Господин камергер, когда вас огорчает женщина, то утешает вино.

Камергер. Ничего подобного. Я, как выпью, сейчас же начинаю тосковать по женщинам.

Министр. Э, все равно! Выпьем, камергер! Скоро свадьба! Здесь прекрасное вино, веселящее вино. Посидим ночку! А?

Камергер *(рычит)*. Ох, как хочется посидеть! У-лю-лю! Но нет, не могу! Я дал клятву королю: как только принцесса ляжет спать — сейчас же ложиться у ее двери и сторожить ее не смыкая глаз. Я у дверей, гувернантка у кровати,— так и сторожим целую ночь. Отсыпаемся в карете. Ату его!

Министр *(в сторону)*. Очень подозрительно! Надо его во что бы то ни стало подпоить. Господин камергер...

Визг и крик наверху, грохот на лестнице. Врывается мэр, а за ним разъяренная гувернантка.

Мэр. Ой, спасите, съест! Ой, спасите, убьет!

Камергер. Что случилось ентведер-одер, абер?

Гувернантка. Этот старый хурда-мурда в спальню принцессы войти

имел суть! А я ему имею откусить башку, готентотенпотентатертантеатенантетер!

Камергер. Этот наглец залез в спальню принцессы. Ату его!

Министр. Стойте. Сейчас я все вам объясню. Подите сюда, мэр! *(Тихо.)* Положили горошину?

Мэр. Ох, положил... Да... Она щиплется.

Министр. Кто?

Мэр. Гувернантка. Я горошину положил... Вот... Смотрю на принцессу... Удивляюсь, как похожа на отца... Носик, ротик... Вдруг... как прыгнет... Она... Гувернантка.

Министр. Ступайте. *(Камергеру.)* Я все выяснил. Мэр хотел только узнать, не может ли он еще чем-нибудь помочь принцессе. Мэр предлагает загладить свой поступок двенадцатью бутылками крепкого вина.

Камергер. У-лю-лю!

Министр. Слушайте, камергер! Бросьте, ей-богу, а? Чего там! Границу вы уже переехали! Король-отец ничего не узнает. Давайте покутим! И гувернантку позовем. Вот здесь на столике, честное слово, ей-богу, клянусь честью! А наверх я пошлю двух этих молодцов жандармов. Самые верные, самые отборные во всем королевстве собаки. Никого они не пропустят ни к принцессе, ни обратно. А, камергер? У-лю-лю?

Камергер *(гувернантке)*. Предлагают на столиках шнапс тринкен. Наверх двух жандармов они послать имеют. Жандармы вроде собак гумтидумти доберман-боберман. Злее нас. Уна дуна рес?

Гувернантка. Лестница тут один?

Камергер. Один.

Гувернантка. Квинтер, баба, жес.

Камергер *(министру)*. Ну ладно, выпьем! Посылайте жандармов.

Министр. Жандармы! Отправляйтесь наверх, станьте у двери принцессы и сторожите. Рысью!

Жандармы. Слушаю-с, ваше превосходительство! *(Убегают наверх.)*

Министр. Мэр! Неси вино, медвежьи окорока, колбасы. *(Хохочет. В сторону.)* Сейчас! Сейчас выведаю всю подноготную! Какой я умный! Какой я ловкий! Какой я молодец!

Свет внизу гаснет. Открывается второй этаж. Комната принцессы.

Принцесса в ночном чепчике лежит высоко на двадцати четырех перинах.

Принцесса *(напевает).*

Шире степи, выше леса
Я тебя люблю.
Никому тебя, принцесса,
Я не уступлю.

Ну что это такое? Каждый вечер я так хорошо засыпала под эту песенку. Спою — и сразу мне делается спокойно. Сразу я верю, что Генрих действительно не уступит меня этому старому и толстому королю. И приходит сон. И во сне Генрих. А сегодня ничего не получается. Что-то так и впивается в тело через все двадцать четыре перины и не дает спать. Или в пух попало перо, или в досках кровати есть сучок. Наверное, я вся в синяках. Ах, какая я несчастная принцесса! Смотрела я в окно, там девушки гуляют со своими знакомыми, а я лежу и пропадаю напрасно! Я сегодня написала на записочке, что спросить у Генриха, когда я его увижу во сне. А то я все время забываю. Вот записочка... Во-первых, любил ли он других девушек, пока не встретился со мной? Во-вторых, когда он заметил, что в меня влюбился? В-третьих, когда он заметил, что я в него влюбилась? Я всю дорогу об этом думала. Ведь мы только один раз успели поцеловаться — и нас разлучили! И поговорить не пришлось. Приходится во сне разговаривать. А сон не идет. Что-то так иперекатывается под перинами. Ужасно я несчастная! Попробую еще раз спеть. *(Поет.)*

Весел я брожу по свету,
Полон я огня.

Два мужских голоса подхватывают:

Я влюбился в Генриетту,
А она в меня.

Принцесса. Что это? Может быть, я уже вижу сон?

Дуэт.

Шире степи, выше леса
Я тебя люблю.

Никому тебя, принцесса,
Я не уступлю.

Принцесса. Ах, как интересно! И непонятно, и страшно, и приятно.

Дуэт.

Завоюем счастье с бою
И пойдем домой,
Ты да я, да мы с тобою,
Друг мой дорогой.

Принцесса. Я сейчас слезу и выгляну. Завернусь в одеяло и взгляну. *(Слезает с перин.)*

Дуэт.

Весел я брожу по свету,
Полон я огня,
Я влюбился в Генриетту,
А она в меня.

Принцесса. Где мои туфли? Вот они! Неужели за дверью...

Распахивает дверь. Там два жандарма.

Кто вы?

Жандармы. Мы жандармы его величества короля.

Принцесса. Что вы здесь делаете?

Жандармы. Мы сторожим ваше высочество.

Принцесса. А кто это пел?

Жандармы. Это пел человек, который поклялся во что бы то ни стало жениться на вашей милости. Он полюбил вас навеки за то, что вы такая миленькая, такая добрая, такая нежная. Он не хнычет, не плачет, не тратит времени по-пустому. Он вьется вокруг, чтобы спасти вас от проклятого жениха. Он пел, чтобы напомнить вам о себе, а друг его подпевал ему.

Принцесса. Но где же он?

Жандармы молча, большими шагами входят в комнату принцессы.

Почему вы не отвечаете? Где Генрих? Что вы так печально смотрите? Может быть, вы пришли меня зарезать?

Жандармы. Дерните нас за бороды.

Принцесса. За бороды?

Жандармы. Да.

Принцесса. Зачем?

Жандармы. Не бойтесь, дергайте!

Принцесса. Но я с вами незнакома!

Жандармы. Генрих просит дернуть нас за бороды.

Принцесса. Ну хорошо! *(Дергает.)*

Жандармы. Сильней!

Принцесса дергает изо всей силы. Бороды и усы жандармов остаются у нее в руках. Перед нею Генрих и Христиан.

Принцесса. Генрих. *(Бросается к нему, останавливается.)* Но я не одета...

Христиан. Ничего, принцесса, ведь скоро вы будете его женой.

Принцесса. Я не потому, что это неприлично, а я не знаю, хорошенькая я или нет!

Генрих. Генриетта! Я скорее умру, чем тебя оставлю, такая ты славная. Ты не бойся — мы все время едем за тобой следом. Вчера напоили жандармов, связали, спрятали, приехали. Запомни: только об одном мы и думаем, только одна у нас цель и есть — освободить тебя и увезти домой. Один раз не удастся — мы второй раз попробуем. Второй не удастся — мы третий. Сразу ничего не дается. Чтобы удалось, надо пробовать и сегодня, и завтра, и послезавтра. Ты готова?

Принцесса. Да. А скажи, пожалуйста, Генрих, ты любил других девушек до меня?

Генрих. Я их всех ненавидел!

Христиан. Бедная принцесса — как она похудела!

Принцесса. А скажи, пожалуйста, Генрих...

Христиан. Потом, бедная принцесса, вы поговорите потом. А сейчас слушайте нас.

Генрих. Мы попробуем бежать с тобой сегодня.

Принцесса. Спасибо, Генрих.

Генрих. Но это может нам не удасться.

Принцесса. Сразу ничего не дается, милый Генрих.

Г е н р и х. Возьми эту бумагу.

П р и н ц е с с а *(берет)*. Это ты писал? *(Целует бумагу. Читает.)* Иди ты к чертовой бабушке. *(Целует бумагу.)* Заткнись, дырявый мешок. *(Целует.)* Что это, Генрих?

Г е н р и х. Это, если бегство не удастся, ты должна выучить и говорить своему жениху-королю. Сама ты плохо умеешь ругаться. Выучи и ругай его как следует.

П р и н ц е с с а. С удовольствием, Генрих. *(Читает.)* Вались ты к черту на рога. Очень хорошо! *(Целует бумагу.)*

Г е н р и х. Под твоими перинами лежит горошина. Это она не давала тебе спать. Скажи завтра, что ты прекрасно спала эту ночь. Тогда король откажется от тебя. Понимаешь?

П р и н ц е с с а. Ничего не понимаю, но скажу. Какой ты умный, Генрих!

Г е н р и х. Если он не откажется от тебя, все равно не падай духом. Мы будем около.

П р и н ц е с с а. Хорошо, Генрих. Я буду спать и хорошо и на горошине, если это нужно. Сколько у тебя дома перин?

Г е н р и х. Одна.

П р и н ц е с с а. Я приучусь спать на одной перине. А где же ты будешь спать, бедненький? Впрочем, мы...

Х р и с т и а н. Умоляю вас, молчите, принцесса! Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи!

Г е н р и х. Одевайся, принцесса, и идем. Они там внизу — совсем пьяны. Мы убежим.

Х р и с т и а н. А не убежим — горошина поможет.

Г е н р и х. А не поможет — мы будем около и все равно, хоть из-под венца, а вытащим тебя. Идем, моя бедная!

П р и н ц е с с а. Вот что, миленькие мои друзья. Вы не рассердитесь, если я вас попрошу что-то?

Г е н р и х. Конечно, проси! Я все сделаю для тебя.

П р и н ц е с с а. Ну тогда, хоть это и очень задержит нас, но будь так добр — поцелуй меня.

Генрих целует принцессу.

Свет наверху гаснет. Освещается двор гостиницы.

За столом министр нежных чувств, гувернантка, камергер. Все пьяны, но министр больше всех.

Министр. Я ловкий, слышишь, камергер? Я до того умный! Король велел: узнай потихоньку, не было ли у принцессы похождений... Понимаете? Тру-ля-ля! Деликатно, говорит, выведай! Другой бы что? Сбился бы другой! А я придумал! Я тебя напою, а ты пролоб... пробар... пробартаешься! Да? Умный я?

Камергер. У-лю-лю!

Министр. Ну да! Ну говори! От меня все равно не скрыться. Нет! Пролаб... пробар... прор... пробартывайся. Что ты можешь сказать о принцессе?

Камергер. Мы ее гончими травили! *(Падает под стол. Вылезает.)*

Министр. За что?

Камергер. У нее хвост красивый. Улю-лю!

Министр *(падает под стол. Вылезает.)* Хвост? У нее хвост есть?

Камергер. Ну да. Ату ее!

Министр. Почему хвост?

Камергер. Порода такая. У-лю-лю!

Министр. А как же. И у отца.

Министр. Значит, у вас король хвостатый?

Камергер. Э, нет! Король у нас бесхвостый. А у отца ее хвост есть.

Министр. Значит, король ей не отец?

Камергер. Ну конечно!

Министр. Ура! *(Падает под стол. Вылезает.)* Прораб... прораб... А кто ее отец?

Камергер. Лис. Ату его!

Министр. Кто?

Камергер. Лис. У лисицы отец лис.

Министр. У какой лисицы?

Камергер. Про которую мы говорили... *(Толкает гувернантку локтем.)*

Оба пьяно хохочут.

Гувернантка. Если бы ты знать мог гоголь-моголь, что она с свинопасом взаимно целовала себя! Сними локти со стола ауф! Не моргай не!

Камергер. Ату его!

Гувернантка. Ты есть болван!

Министр. Что они говорят?

Камергер. Улю-лю!

Министр. Свиньи! Это не по-товар... не по-товарищески. Я вас побью. *(Падает головой на стол.)* Мэр! Мэр! Еще вина. *(Засыпает.)*

Гувернантка. Этот глупый болван себе спит! О, счастливый! Вот так вот лег и спит. А я сплю нет. Я сплю нет сколько ночей. Ундер-мундер. *(Засыпает.)*

Камергер. Улю-лю. Олень! Олень! *(Бежит, падает и засыпает.)*

Мэр *(входит)*. Вот. Еще вина. Да-да. Министр! Спит. Камергер! Спит. Госпожа гувернантка! Спит. Сяду. Да-да. Проснутся, небось. Нет-нет. *(Дремлет.)*

Дверь тихонько приоткрывается. Выходит Христиан, осматривается. Подает знак. Выходят принцесса и Генрих. Крадутся к выходу. Мэр их замечает, вскакивает.

Куда?.. Это. А... Жандармы... Побрились... Странно... Назад!

Генрих. Я тебя убью!

Мэр. А я заору... Я смелый.

Христиан. Возьми денег и отпусти нас.

Мэр. Э, нет! Я честный. Сейчас свистну!

Принцесса. Дайте мне сказать. Мэр, пожалей, пожалуйста, меня. Я хоть и принцесса, а та же девушка!

Мэр всхлипывает.

Если ты меня предашь, повезут меня насильно венчать с чужим стариком.

Мэр всхлипывает.

Разве это хорошо? Король у вас капризный. А я слабенькая.

Мэр плачет.

Разве я выживу в неволе? Я там сразу помру!

М э р *(ревет во все горло)*. Ой, бегите скорей! Ой, а то вы помрете! *(Вопит.)* Бегите! Ой!

Все, кроме министра, вскакивают. Гувернантка хватает принцессу. Уносит наверх. Камергер свистит, улюлюкает. Вбегает с т р а ж а. Генрих и Христиан пробивают себе дорогу к выходу. Все бегут за ними. Слышен топот коней. Пение:

Шире степи, выше леса
Я тебя люблю.
Никому тебя, принцесса,
Я не уступлю.

К а м е р г е р (входит). Удрали. Легче сто оленей затравить, чем одну королевскую дочь довезти благополучно до ее жениха! *(Смотрит на министра.)* А этот дрыхнет: спи-спи, набирайся сил. Напрыгаешься еще с нашей тихой барышней. У-лю-лю.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Приемная комната, отделенная от опочивальни короля аркой с бархатным занавесом. Приемная полна народу. Возле самого занавеса стоит камердинер, дергающий веревку колокола. Самый колокол висит в опочивальне. Рядом с камердинером портные спешно дошивают наряд короля. Рядом с портными — главный повар, он сбивает сливки для шоколада короля. Далее стоят чистильщики сапог, они чистят королевскую обувь.
Колокол звонит. Стук в дверь.

Чистильщик сапог. Стучат в дверь королевской приемной, господин главный повар.

Повар. Стучат в дверь приемной, господа портные.

Портные. Стучат в дверь, господин камердинер.

Камердинер. Стучат? Скажите, чтобы вошли.

Стук все время усиливается.

Портные *(повару)*. Пусть войдут.

Повар *(чистильщикам)*. Можно.

Чистильщик. Войдите.

Входят Генрих и Христиан, переодетые ткачами. У них седые парики. Седые бороды. Генрих и Христиан оглядываются. Затем кланяются камердинеру.

Христиан и Генрих. Здравствуйте, господин звонарь.

Молчание. Генрих и Христиан переглядываются. Кланяются портным.

Здравствуйте, господа портные.

Молчание.

Здравствуйте, господин повар.

Молчание.

Здравствуйте, господа чистильщики сапог.

Чистильщик. Здравствуйте, ткачи.

Христиан. Ответили. Вот чудеса! А скажите, что остальные господа — глухие или немые?

Чистильщик. Ни то и ни другое, ткачи. Но согласно придворному этикету вы должны были обратиться сначала ко мне. Я доложу о вас по восходящей линии, когда узнаю, что вам угодно. Ну-с? Что вам угодно?

Генрих. Мы самые удивительные ткачи в мире. Ваш король — величайший в мире щеголь и франт. Мы хотим услужить его величеству.

Чистильщик. Ага. Господин главный повар, удивительные ткачи желают служить нашему всемилостивейшему государю.

Повар. Ага. Господа портные, там ткачи пришли.

Портные. Ага. Господин камердинер, ткачи.

Камердинер. Ага. Здравствуйте, ткачи.

Генрих и Христиан. Здравствуйте, господин камердинер.

Камердинер. Служить хотите? Ладно! Я доложу о вас прямо первому министру, а он королю. Для ткачей у нас сверхускоренный прием. Его величество женится. Ткачи ему очень нужны. Поэтому он вас примет в высшей степени скоро.

Генрих. Скоро! Мы потратили два часа, прежде чем добрались до вас. Ну и порядочки!

Камердинер и все остальные вздрагивают. Оглядываются.

Камердинер *(тихо)*. Господа ткачи! Вы люди почтенные, старые. Уважая ваши седины, предупреждаю вас: ни слова о наших национальных, многовековых, освященных самим создателем традициях. Наше государство — высшее в этом мире! Если вы будете сомневаться в этом, вас, невзирая на ваш возраст... *(Шепчет что-то Христиану на ухо.)*

Христиан. Не может быть.

Камердинер. Факт. Чтобы от вас не родились дети с наклонностями к критике. Вы арийцы?

Генрих. Давно.

Камердинер. Это приятно слышать. Садитесь. Однако я уже час звоню, а король не просыпается.

Повар *(дрожит)*. Сейчас я попробую в-в-вам п-п-п-по-мочь. *(Убегает.)*

Христиан. Скажите, господин камердинер, почему, несмотря на жару, господин главный повар дрожит как в лихорадке?

Камердинер. Господин главный повар короля почти никогда не отходит от печей и так привыкает к жару, что в прошлом году, например, он на солнце в июле отморозил себе нос.

Слышен страшный рев.

Что это такое?

Вбегает главный повар, за ним поварята с корытом. Из корыта несется рев.

Что это?

Повар *(дрожа)*. Это белуга, господин камердинер. Мы поставим ее в-в оп-п-почивальню короля, белуга б-б-б-удет р-р-е-веть б-б-б-елугой и р-разбудит г-г-госу-даря.

Камердинер. Нельзя.

Повар. Но почему?

Камердинер. Нельзя. Белуга все-таки, извините... вроде... красная рыба. А вы знаете, как относится король к этому... Уберите ее!

Поварята с белугой убегают.

Так-то лучше, господин главный повар. Эй! Вызвать взвод солдат, пусть они стреляют под окнами опочивальни залпами. Авось поможет.

Христиан. Неужели его величество всегда так крепко спит?

Камердинер. Лет пять назад он просыпался очень скоро. Я кашляну —

и король летит с кровати.

Генрих. Ну!

Камердинер. Честное слово! Тогда у него было много забот. Он все время нападал на соседей и воевал.

Христиан. А теперь?

Камердинер. А теперь у него никаких забот нет. Соседи у него забрали все земли, которые можно забрать. И вот король спит и во сне видит, как бы им отомстить.

Слышен гром барабанов. Входит взвод солдат.
Их ведет сержант.

Сержант *(командует)*. Сми-и-рно!

Солдаты замирают.

(Командует.) При входе в приемную короля преданно вздо-о-охни!

Солдаты разом вздыхают со стоном.

Представив себе его могущество, от благоговения тре-пе-щи!

Солдаты трепещут, широко расставив руки.

Эй ты, шляпа, как трепещешь? Трепещи аккуратно, по переднему! Пальцы! Пальцы! Не вижу трепета в животе! Хорошо. Сми-ирно! Слушай мою команду! Подумав о счастье быть королевским солдатом, от избытка чувств пля-а-ши!

Солдаты пляшут под барабан все, как один, не выходя из строя.

Смирно! Встать на цыпочки! На цыпочках — арш! Пр-а-авей! Еще чуть пра-а-а-авей! Равнение на портрет дедушки его величества. На нос. На нос дедушки. Прямо!

Скрываются.

Христиан. Неужели с такими вымуштрованными солдатами король терпел поражения?

Камердинер *(разводит руками)*. Ведь вот поди ж ты!

Входит первый министр. Суетливый человек с большой седой бородой.

Первый министр. Здравствуйте, низшие служащие.

Все хором. Здравствуйте, господин первый министр.

Первый министр. Ну что? Все в порядке, камердинер? А? Говори правду. Правду режь.

Камердинер. Вполне, ваше превосходительство.

Первый министр. Однако король спит! А? Отвечай грубо. Откровенно.

Камердинер. Спит, ваше превосходительство.

За сценой залп.

Первый министр. Ага! Говори прямо: стреляют. Значит, его величество скоро встанут. Портные! Как у вас? Правду валяйте! В лоб!

Первый портной. Кладем последние стежки, господин министр.

Первый министр. Покажи. *(Смотрит.)* Рассчитывайте. Знаете наше требование? Последний стежок кладется перед самым одеванием его величества. Король каждый день надевает платье новое с иголочки. Пройдет минута после последнего стежка — и он ваше платье, грубо говоря, не наденет. Известно вам это?

Первый портной. Так точно, известно.

Первый министр. Иголочки золотые?

Первый портной. Так точно, золотые.

Первый министр. Подать ему платье прямо с золотой иголочки. Прямо и откровенно! Повар! Сливки, грубо говоря, сбил? А? Говори без затей и без экивоков! Сбил сливки для королевского шоколада?

Повар. Д-да, ваше превосходительство.

Первый министр. Покажи. То-то. Однако... Камердинер! Кто это? Смело. Без затей. Говори.

Камердинер. Это ткачи пришли наниматься, ваше превосходительство.

Первый министр. Ткачи? Покажи. Ага! Здравствуйте, ткачи.

Генрих и Христиан. Здравия желаю, ваше превосходительство.

Первый министр. Королю, говоря без задних мыслей, попросту, нужны ткачи. Сегодня приезжает невеста. Эй! Повар! А завтрак для ее высочества? Готов? А?

Повар. Т-т-так точно, готов!

Первый министр. А какой? А? Покажи!

Повар. Эй! Принести пирожки, приготовленные для ее высочества!

Первый министр. Несут. А я пока взгляну, не открыл ли король, говоря без всяких там глупостей, глаза. *(Уходит в опочивальню.)*

Повар. Принцесса Генриетта ничего не ела целые три недели.

Генрих. Бедняжка! *(Быстро пишет что-то на клочке бумажки.)*

Повар. Но зато теперь она ест целыми днями.

Генрих. На здоровье.

Поварята вносят блюдо с пирожками.

Ах! Какие пирожки! Я бывал при многих дворах, но ни разу не видал ничего подобного! Какой аромат. Как подрумянены. Какая мягкость!

Повар *(польщенный, улыбаясь)*. Д-да. Они такие мягкие, что на них остается ямка даже от пристального взгляда.

Генрих. Вы гений.

Повар. В-возьмите один.

Генрих. Не смею.

Повар. Нет, возьмите! В-вы знаток. Это такая редкость.

Генрих *(берет, делает вид, что откусывает. Быстро прячет в пирожок записку)*. Ах! Я потрясен! Мастеров, равных вам, нет в мире.

Повар. Но мастерство мое, увы, погибнет вместе со мной.

Генрих *(делая вид, что жует)*. Но почему?

Повар. Книга моя “Вот как нужно готовить, господа” погибла.

Генрих. Как! Когда?

Повар *(шепотом)*. Когда пришла мода сжигать книги на площадях. В первые три дня сожгли все действительно опасные книги. А мода не прошла. Тогда начали жечь остальные книги без разбора. Теперь книг вовсе нет. Жгут солому.

Генрих *(свистящим шепотом)*. Но ведь это ужасно! Да?

Повар *(оглядываясь, свистящим шепотом)*. Только вам скажу. Да. Ужасно!

Во время этого короткого диалога Генрих успел положить пирожок с запиской обратно на самый верх.

Камердинер. Тише! Кажется, король чихнул.

Все прислушиваются.

Генрих *(Христиану, тихо)*. Я положил записку в пирожок, Христиан.

Христиан. Ладно, Генрих. Не волнуйся.

Генрих. Я боюсь, что записка промаслится.

Христиан. Генрих, уймись! Напишем вторую.

Первый министр вылезает из-за занавеса.

Первый министр. Государь открыл один глаз. Готовьсь! Зови камергеров! Где фрейлины? Эй, трубачи!

Входят трубачи, камергеры, придворные. Быстро выстраиваются веером по обе стороны занавеса в опочивальню. Камердинер, не сводя глаз с первого министра, держит кисти занавеса.

Первый министр *(отчаянным шепотом)*. Все готово? Правду говори.

Камердинер. Так точно!

Первый министр *(отчаянно)*. Валяй, в мою голову!

Камердинер тянет за шнуры. Распахивается занавес. За ним ничего не видно, кроме целой горы скрывающихся за сводами арки перин.

Христиан. Где же король?

Повар. Он спит на ста сорока восьми перинах — до того он благороден. Его не видно. Он под самым потолком.

Первый министр *(заглядывая)*. Тише. Готовьтесь! Он ворочается. Он

почесал бровь. Морщится. Сел. Труби!

Трубачи трубят. Все кричат трижды: “Ура, король! Ура, король! Ура, король!” Тишина. После паузы из-под потолка раздается капризный голос: “Ах! Ах! Ну что это? Ну зачем это? Зачем вы меня разбудили? Я видел во сне нимфу. Свинство какое!”

Камердинер. Осмелюсь напомнить вашему величеству, что сегодня приезжает принцесса, невеста вашего величества.

Король *(сверху, капризно)*. Ах, ну что это, издевательство какое-то. Где мой кинжал? Я сейчас тебя зарежу, нехороший ты человек, и все. Ну где он? Ну сколько раз я тебе говорил — клади кинжал прямо под подушку.

Камердинер. Но уже половина одиннадцатого, ваше величество.

Король. Что? И ты меня не разбудил! Вот тебе за это, осел!

Сверху летит кинжал. Вонзается у самых ног камердинера. Пауза.

Ну! Чего же ты не орешь? Разве я тебя не ранил?

Камердинер. Никак нет, ваше величество.

Король. Но, может быть, я тебя убил?

Камердинер. Никак нет, ваше величество.

Король. И не убил? Свинство какое! Я несчастный! Я потерял всякую меткость. Ну что это, ну что такое в самом деле! Отойди! Видишь, я встаю!

Первый министр. Готовься! Государь во весь рост встал на постели! Он делает шаг вперед! Открывает зонт. Труби!

Трубят трубы. Из-под свода показывается король. Он опускается на открытом зонте, как на парашюте. Придворные кричат “ура”. Король, достигнув пола, отбрасывает зонт, который сразу подхватывает камердинер. Король в роскошном халате и в короне, укрепленной на голове лентой. Лента пышным бантом завязана под подбородком. Королю лет пятьдесят. Он полный, здоровый. Он ни на кого не глядит, хотя приемная полна придворных. Он держится так, как будто он один в комнате.

Король *(камердинеру)*. Ну что такое! Ну что это! Ну зачем ты молчишь?

Видит, что государь не в духе, и ничего не может придумать. Подними кинжал. *(Некоторое время задумчиво разглядывает поданный камердинером кинжал, затем кладет его в карман халата.)* Лентяй! Ты не стоишь даже того, чтобы умереть от благородной руки. Я тебе дал вчера на чай золотой?

К а м е р д и н е р. Так точно, ваше величество!

К о р о л ь. Давай его обратно. Я тобой недоволен. *(Отбирает у камердинера деньги.)* Противно даже... *(Ходит взад и вперед, задевая застывших от благоговения придворных полами своего халата.)* Видел я во сне милую, благородную нимфу, необычайно хорошей породы и чистой крови. Мы с ней сначала разбили соседей, а затем были счастливы. Просыпаюсь — передо мной этот отвратительный лакей! Как я сказал нимфе? Кудесница! Чаровница! Влюбленный в вас не может не любить вас! *(Убежденно.)* Хорошо сказал. *(Капризно.)* Ну что это такое? Ну что это? Ну? Зачем я проснулся? Эй, ты! Зачем?

К а м е р д и н е р. Чтобы надеть новое с иголочки платье, ваше величество.

К о р о л ь. Чурбан! Не могу же я одеваться, когда я не в духе. Развесели меня сначала. Зови шута, шута скорей!

К а м е р д и н е р. Шута его величества!

От неподвижно стоящих придворных отделяется ш у т. Это солидный человек в пенсне. Он, подпрыгивая, приближается к королю.

К о р о л ь *(с официальной бодростью и лихостью. Громко.)* Здравствуй, шут!

Ш у т *(так же)*. Здравствуйте, ваше величество!

К о р о л ь *(опускаясь в кресло)*. Развесели меня. Да поскорее. *(Капризно и жалобно.)* Мне пора одеваться, а я все гневаюсь да гневаюсь. Ну! Начинай!

Ш у т *(солидно)*. Вот, ваше величество, очень смешная история. Один купец...

К о р о л ь *(придирчиво)*. Как фамилия?

Ш у т. Петерсен. Один купец, по фамилии Петерсен, вышел из лавки, да как споткнется — и ляп носом об мостовую!

К о р о л ь. Ха-ха-ха!

Ш у т. А тут шел маляр с краской, споткнулся об купца и облил краской проходившую мимо старушку.

Король. Правда? Ха-ха-ха!

Шут. А старушка испугалась и наступила собаке на хвост.

Король. Ха-ха-ха! Фу ты, боже мой! Ах-ах-ах! *(Вытирая слезы.)* На хвост?

Шут. На хвост, ваше величество. А собака укусила толстяка.

Король. Ох-ох-ох! Ха-ха-ха! Ой, довольно!..

Шут. А толстяк...

Король. Довольно, довольно! Не могу больше, лопну. Ступай, я развеселился. Начнем одеваться. *(Развязывает бант под подбородком.)* Возьми мою ночную корону. Давай утреннюю. Так! Зови первого министра.

Камердинер. Его превосходительство господин первый министр к его величеству!

Первый министр подбегает к королю.

Король *(лихо)*. Здравствуйте, первый министр!

Первый министр *(так же)*. Здравствуйте, ваше величество!

Король. Что скажешь, старик?.. Ха-ха-ха! Ну и шут у меня! Старушку за хвост! Ха-ха-ха! Что мне нравится в нем — это чистый юмор. Безо всяких там намеков, шпилек... Купец толстяка укусил! Ха-ха-ха! Ну что нового, старик? А?

Первый министр. Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут все время, видел, как вы, откровенно говоря, просыпаетесь, слышал, как вы, грубо говоря, смеетесь, и так далее. Позвольте вам сказать прямо, ваше величество...

Король. Говори, говори. Ты знаешь, что я на тебя никогда не сержусь.

Первый министр. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!

Король *(он очень доволен)*. Ну-ну. Зачем, зачем.

Первый министр. Нет, ваше величество, нет. Мне себя не перебороть. Я еще раз повторю — простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!

Король. Ах какой ты! Ах, ах!

Первый министр. Вы, ваше величество, приказали, чтобы придворный ученый составил, извините, родословную принцессы. Чтобы он разведал о ее предках, грубо говоря, то да се. Простите меня, ваше величество, за прямоту —

это была удивительная мысль.

Король. Ну вот еще! Ну чего там!

Первый министр. Придворный ученый, говоря без разных там штучек и украшений, пришел. Звать? Ох, король! *(Грозит пальцем.)* Ох, умница!

Король. Поди сюда, правдивый старик. *(Растроганно.)* Дай я тебя поцелую. И никогда не бойся говорить мне правду в глаза. Я не такой, как другие короли. Я люблю правду, даже когда она неприятна. Пришел придворный ученый? Ничего! Пожалуйста! Зови его сюда. Я буду одеваться и пить шоколад, а он пусть говорит. Командуй к одеванию с шоколадом, честный старик.

Первый министр. Слушаю-с! *(Лихо.)* Лакеи!

Лакеи под звуки труб вносят ширму. Король скрывается за ней, так что видна только его голова.

Портные!

Звуки труб еще торжественнее. Портные, делая на ходу последние стежки, останавливаются у ширмы.

Повар!

Повар под звуки труб марширует к ширме. Передает чашку с шоколадом камердинеру. Пятится назад. Скрывается за спинами придворных.

Ученый!

Придворный ученый с огромной книгой в руках становится перед ширмой.

Смирно! *(Оглядывается.)*

Все замерли.

(Командует.) Приготовились! Начали!

Звуки труб заменяются легкой, ритмичной музыкой. Похоже, что играет музыкальный ящик. Замершие перед ширмой портные скрываются за нею. Камердинер поит с ложечки короля шоколадом.

К о р о л ь *(сделав несколько глотков, кричит лихо)*. Здравствуйте, придворный ученый!

У ч е н ы й. Здравствуйте, ваше величество.

К о р о л ь. Говорите! Впрочем, нет, постойте! Первый министр! Пусть придворные слушают тоже.

П е р в ы й м и н и с т р. Господа придворные! Его величество заметил, что вы здесь.

П р и д в о р н ы е. Ура король! Ура король! Ура король!

К о р о л ь. И девушки здесь! Фрейлины. Ку-ку! *(Прячется за ширмой.)*

П е р в а я ф р е й л и н а *(пожилая энергичная женщина, баском)*. Ку-ку, ваше величество.

К о р о л ь *(вылезает)*. Ха-ха-ха! *(Лихо.)* Здравствуйте, шалунья!

П е р в а я ф р е й л и н а. Здравствуйте, ваше величество.

К о р о л ь *(игриво)*. Что вы видели во сне, резвунья?

П е р в а я ф р е й л и н а. Вас, ваше величество.

К о р о л ь. Меня? Молодец!

П е р в а я ф р е й л и н а. Рада стараться, ваше величество.

К о р о л ь. А вы, девушки, что видели во сне?

О с т а л ь н ы е ф р е й л и н ы. Вас, ваше величество.

К о р о л ь. Молодцы!

О с т а л ь н ы е ф р е й л и н ы. Рады стараться, ваше величество.

К о р о л ь. Прекрасно. Первая фрейлина! Милитаризация красоток вам удалась. Они очень залихватски отвечают сегодня. Изъявляю вам свое благоволение. В каком вы чине?

П е р в а я ф р е й л и н а. Полковника, ваше величество.

К о р о л ь. Произвожу вас в генералы.

П е р в а я ф р е й л и н а. Покорно благодарю, ваше величество.

К о р о л ь. Вы заслужили это. Вот уже тридцать лет, как вы у меня первая красавица. Каждую ночь вы меня, только меня видите во сне. Вы моя птичка, генерал!

Первая фрейлина. Рада стараться, ваше величество.

Король *(разнеженно)*. Ах вы, конфетки. Не уходите далеко, мои милочки. А то профессор меня засушит. Ну, придворный ученый, валяйте!

Ученый. Ваше величество. Я с помощью адъюнкта Брокгауза и приват-доцента Ефрона составил совершенно точно родословную нашей высокорожденной гостьи.

Король *(фрейлинам)*. Ку-ку! Хи-хи-хи.

Ученый. Сначала о ее гербе. Гербом, ваше величество, называется наследственно передаваемое символическое изображение, да, изображение, составленное на основании известных правил, да, правил.

Король. Я сам знаю, что такое герб, профессор.

Ученый. С незапамятных времен вошли в употребление символические знаки, да, знаки, которые вырезались на перстнях.

Король. Тю-тю!

Ученый. И рисовались на оружии, знаменах и прочем, да, и прочем.

Король. Цып-цып! Птички!

Ученый. Знаки эти явились результатом...

Король. Довольно о знаках, к делу... Ку-ку!

Ученый. ...Да, результатом желания выделить себя из массы, да, выделить. Придать себе резкое отличие, заметное иногда даже в разгаре битвы. Вот. Битвы.

Король выходит из-за ширмы. Одет блистательно.

Король. К делу, профессор!

Ученый. Гербы...

Король. К делу, говорят! Короче!

Ученый. Еще со времен крестовых походов...

Король *(замахивается на него кинжалом)*. Убью как собаку. Говори короче!

Ученый. В таком случае, ваше величество, я начну блазонировать.

Король. А? Чего ты начнешь?

Ученый. Блазонировать!

Король. Я запрещаю! Это что еще за гадость! Что значит это слово?

Ученый. Но блазонировать, ваше величество,— это значит описывать герб!

Король. Так и говорите!

Ученый. Я блазонирую. Герб принцессы. В золотом, усеянном червлеными сердцами щите три коронованные лазоревые куропатки, обремененные леопардом.

Король. Как, как? Обремененные?

Ученый. Да, ваше величество... Вокруг кайма из цветов королевства.

Король. Ну ладно... Не нравится мне это. Ну да уж пусть! Говорите родословную, но короче.

Ученый. Слушаю, ваше величество! Когда Адам...

Король. Какой ужас! Принцесса еврейка?

Ученый. Что вы, ваше величество!

Король. Но ведь Адам был еврей?

Ученый. Это спорный вопрос, ваше величество. У меня есть сведения, что он был караим.

Король. Ну то-то! Мне главное, чтобы принцесса была чистой крови. Это сейчас очень модно, а я франт. Я франт, птички?

Фрейлины. Так точно, ваше величество.

Ученый. Да, ваше величество. Вы, ваше величество, всегда были на уровне самых современных идей. Да, самых.

Король. Не правда ли? Одни мои брюки чего стоят! Продолжайте, профессор.

Ученый. Адам...

Король. Оставим этот щекотливый вопрос и перейдем к более поздним временам.

Ученый. Фараон Исаметих...

Король. И его оставим. Очень некрасивое имя. Дальше...

Ученый. Тогда разрешите, ваше величество, перейти непосредственно к династии ее высочества! Основатель династии — Георг I, прозванный за свои подвиги Великим. Да, прозванный.

Король. Очень хорошо.

Ученый. Ему унаследовал сын Георг II, прозванный за свои подвиги Обыкновенным. Да, Обыкновенным.

Король. Я очень спешу. Вы просто перечисляйте предков. Я пойму, за что именно они получали свои прозвища. А иначе я вас зарежу.

Ученый. Слушаю. Далее идут: Вильгельм I Веселый, Генрих I Кроткий,

Георг III Распущенный, Георг IV Хорошенький, Генрих II Черт Побери.

Король. За что его так прозвали?

Ученый. За его подвиги, ваше величество. Далее идет Филипп I Ненормальный, Георг V Потешный, Георг VI Отрицательный, Георг VII Босой, Георг VIII Малокровный, Георг IX Грубый, Георг X Тонконогий, Георг XI Храбрый, Георг XII Антипатичный, Георг XIII Наглый, Георг XIV Интересный и наконец ныне царствующий отец принцессы Георг XV, прозванный за свои подвиги Бородатым. Да, прозванный.

Король. Очень богатая и разнообразная коллекция предков.

Ученый. Да, ваше величество. Принцесса имеет восемнадцать предков, не считая гербов материнской линии... Да, имеет.

Король. Вполне достаточно... Ступайте! *(Смотрит на часы.)* Ах, как поздно! Позовите скорей придворного поэта.

Первый министр. Поэт к государю. Бегом!

Придворный поэт подбегает к королю.

Король. Здравствуйте, придворный поэт.

Поэт. Здравствуйте, ваше величество.

Король. Приготовили приветственную речь?

Поэт. Да, ваше величество. Мое вдохновение...

Король. А стихи на приезд принцессы?

Поэт. Моя муза помогла мне изыскать пятьсот восемь пар великолепнейших рифм, ваше величество.

Король. Что же, вы одни рифмы будете читать? А стихи где?

Поэт. Ваше величество! Моя муза едва успела кончить стихи на вашу разлуку с правофланговой фрейлиной...

Король. Ваша муза вечно отстает от событий. Вы с ней только и умеете что просить то дачу, то домик, то корову. Черт знает что! Зачем, например, поэту корова? А как писать, так опоздал, не успел... Все вы такие!

Поэт. Зато моя преданность вашему величеству...

Король. Мне нужна не преданность, а стихи!

Поэт. Но зато речь готова, ваше величество.

Король. Речь... На это вы все мастера! Ну давайте хоть речь.

Поэт. Это даже не речь, а разговор. Ваше величество говорит, а принцесса

отвечает. Копия ответов послана навстречу принцессе специальным нарочным. Разрешите огласить?

Король. Можете.

Поэт. Ваше величество говорит: "Принцесса! Я счастлив, что вы как солнце взошли на мой трон. Свет вашей красоты осветил все вокруг". На это принцесса отвечает: "Солнце — это вы, ваше величество. Блеск ваших подвигов затмил всех ваших соперников". Вы на это: "Я счастлив, что вы оценили меня по достоинству!" Принцесса на это: "Ваши достоинства — залог нашего будущего счастья!" Вы отвечаете: "Вы так хорошо меня поняли, что я могу сказать только одно: вы так же умны, как и прекрасны". Принцесса на это: "Я счастлива, что нравлюсь вашему величеству". Вы на это: "Я чувствую, что мы любим друг друга, позвольте вас поцеловать".

Король. Очень хорошо!

Поэт. Принцесса: "Я полна смущения... но..." Тут гремят пушки, войска кричат "ура" — и вы целуете принцессу.

Король. Целую? Ха-ха! Это ничего! В губы?

Поэт. Так точно, ваше величество.

Король. Это остроумно. Ступайте. Ха-ха! Старик, это приятно! Да! Ну-ну! Эх! *(Лихо обнимает за талию старшую фрейлину.)* Кто еще ждет приема? А? Говори, откровенный старик.

Первый министр. Ваше величество, я не скрою, что приема ждут еще ткачи.

Король. А! Что же их не пускают? Скорее, гоните их бегом ко мне.

Первый министр. Ткачи, к королю — галопом!

Генрих и Христиан лихо, вприпрыжку вылетают на середину сцены.

Король. Какие старые — значит, опытные. Какие бойкие — наверное, работящие. Здравствуйте, ткачи.

Генрих и Христиан. Здравия желаем, ваше величество!

Король. Что скажете? А? Ну! Чего вы молчите?

Христиан вздыхает со стоном.

Что ты говоришь?

Генрих вздыхает со стоном.

Как?

Христиан. Бедняга король! У-у!

Король. Чего вы меня пугаете, дураки? В чем дело? Почему я бедняга?

Христиан. Такой великий король — и так одет!

Король. Как я одет? А?

Генрих. Обыкновенно, ваше величество!

Христиан. Как все!

Генрих. Как соседние короли!

Христиан. Ох, ваше величество, ох!

Король. Ах, что это! Ну что они говорят? Да как же это можно! Отоприте шкаф! Дайте плащ номер четыре тысячи девятый от кружевного костюма. Смотрите, дураки. Чистый фай. По краям плетеный гипюр. Сверху шитые алансонские кружева. А понизу валансьен. Это к моему кружевному выходному костюму. А вы говорите — как все! Дайте сапоги! Смотрите, и сапоги обшиты кружевами брабантскими. Вы видели что-нибудь подобное?

Генрих. Видели!

Христиан. Сколько раз!

Король. Ну это черт знает что! Дайте тогда мой обеденный наряд. Да не тот, осел! Номер восемь тысяч четыреста девяносто восемь. Глядите, вы! Это что?

Генрих. Штаны.

Король. Из чего?

Христиан. Чего там спрашивать? Из гра-де-напля.

Король. Ах ты бессовестный! Что же, по-твоему, гра-де-напль — это пустяки? А камзол? Чистый гро-де-тур, и рукава — гро-грен. А воротник — пу-де-суа. А плащ — тюркуаз, на нем рипсовые продольные полоски. Да ты восхищайся! Почему ты отворачиваешься?

Генрих. Видали мы это.

Король. А чулки дра-де-суа?

Христиан. И это видали.

Король. Да ты, дурак, пощупай!

Генрих. Да зачем... Я знаю.

Король. Знаешь? Давайте сюда панталоны для свадебного бала! Это что?

Христиан. Коверкот.

Король. Правильно, но какой? Где еще на свете есть подобный? А камзол шевиот с воротником бостон! А плащ? Трико. Видал, дурак?

Генрих. Это, ваше величество, действительно каждый дурак видал.

Христиан. А мы можем сделать такую ткань... Ого! Которую только умный и увидит. Мы вам сделаем небывалый свадебный наряд, ваше величество.

Король. Да! Так все говорят! А рекомендации есть?

Христиан. Мы работали год у турецкого султана, он был так доволен, что это не поддается описанию. Поэтому он нам ничего и не написал.

Король. Подумаешь, турецкий султан!

Генрих. Индийский Великий Могол лично благодарил.

Король. Подумаешь, индийский могол! Вы не знаете разве, что наша нация — высшая в мире? Все другие никуда не годятся, а мы молодцы. Не слыхали, что ли?

Христиан. Кроме того, наша ткань обладает одним небывалым чудесным свойством.

Король. Воображаю... Каким?

Христиан. А я уже говорил, ваше величество. Ее только умный и увидит. Ткань эта невидима тем людям, которые непригодны для своей должности или непроходимые дураки.

Король *(заинтересованный)*. Ну-ка, ну-ка. Как это?

Христиан. Наша ткань невидима людям, которые непригодны для своей должности или глупы.

Король. Ха-ха-ха! Ох-ох-ох! Ой, уморили! Фу ты черт! Вот этот, значит, первый-то министр, если он непригоден для своей должности, так он этой ткани не увидит?

Христиан. Нет, ваше величество. Таково чудесное свойство этой ткани.

Король. Ах-ха-ха! *(Раскисает от смеха.)* Старик, слышишь? А, министр! Тебе говорю!

Первый министр. Ваше величество, я не верю в чудеса.

Король *(замахивается кинжалом)*. Что? Не веришь в чудеса? Возле самого трона человек, который не верит в чудеса? Да ты материалист! Да я тебя в подземелье! Нахал!

Первый министр. Ваше величество! Позвольте вам по-стариковски

попенять. Вы меня не дослушали. Я хотел сказать: я не верю в чудеса, говорит безумец в сердце своем. Это безумец не верит, а мы только чудом и держимся!

Король. Ах, так! Ну, тогда ничего. Подождите, ткачи. Какая замечательная ткань! Значит, с нею я увижу, кто у меня не на месте?

Христиан. Так точно, ваше величество.

Король. И сразу пойму, кто глупый, а кто умный?

Христиан. В один миг, ваше величество.

Король. Шелк?

Христиан. Чистый, ваше величество.

Король. Подождите. После приема принцессы я с вами поговорю.

Трубят трубы.

Что там такое? А? Узнай, старик!

Первый министр. Это прибыл министр нежных чувств нашего величества.

Король. Ага, ага, ага! Ну-ка, ну-ка! Скорее, министр нежных чувств! Да ну же, скорее!

Входит министр нежных чувств.

Хорошие вести? По лицу вижу, что хорошие. Здравствуйте, министр нежных чувств.

Министр нежных чувств. Здравствуйте, ваше величество.

Король. Ну, ну, дорогой. Я слушаю, мой милый.

Министр. Ваше величество. Увы! В смысле нравственности принцесса совершенно безукоризненна.

Король. Хе-хе! Почему же "увы"?

Министр. Чистота крови — увы, ваше величество. Принцесса не почувствовала горошины под двадцатью четырьмя перинами. Более того, всю дорогу в дальнейшем она спала на одной перине.

Король. Чего же ты улыбаешься? Осел! Значит, свадьбе не бывать! А я так настроился! Ну что это! Ну какая гадость! Иди сюда, я тебя зарежу!

Министр. Но, ваше величество, я себя не считал вправе скрыть от вас эту неприятную правду.

Король. Сейчас я тебе покажу неприятную правду! *(Гонится за ним с кинжалом.)*

Министр *(визжит)*. Ой! Ах! Я не буду больше! Пощадите! *(Убегает из комнаты.)*

Король. Вон! Все пошли вон! Расстроили! Обидели! Всех переколю! Заточу! Стерилизую! Вон!

Все, кроме первого министра, убегают из приемной.

(Подлетает к первому министру.) Гнать! Немедленно гнать принцессу! Может, она семитка? Может, она хамитка! Прочь! Вон!

Первый министр. Ваше величество! Выслушайте старика. Я прямо, грубо, как медведь. Погнать ее за то, что она, мол, не чистокровная, — обидится отец.

Король *(топает ногой)*. И пусть!

Первый министр. Вспыхнет война.

Король. И чихать!

Первый министр. А лучше вы с принцессой повидайтесь и заявите мягко, деликатно: мне, мол, фигура не нравится. Я грубо скажу, по-прямому: вы ведь, ваше величество, в этих делах знаток. Вам угодить трудно. Ну, мы принцессу потихонечку-полегонечку и спровадим. Вижу! Вижу! Ах, король, ах, умница! Он понял, что я прав! Он согласен!

Король. Я согласен, старик. Пойди приготовь все к приему, потом я ее спроважу. Принять ее во дворе!

Первый министр. Ох, король! Ох, гений! *(Уходит.)*

Король *(капризно)*. Ну это, ну это ужасно! Опять расстроили. Шута! Шута скорей! Говори, шут. Весели меня. Весели!

Шут вбегает вприпрыжку.

Шут. Один купец...

Король *(придирчиво)*. Как фамилия?

Шут. Людвигсен. Один купец шел через мостик — да ляп в воду.

Король. Ха-ха-ха!

Шут. А под мостом шла лодка. Он гребца каблуком по голове.

Король. Ха-ха-ха! По голове? Хо-хо-хо!

Шут. Гребец тоже — ляп в воду, а тут по берегу старушка шла. Он ее за платье — и туда же в воду.

Король. Ха-ха-ха! Уморил! Ох-ох-ох! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! *(Вытирает слезы, не сводя восторженного взгляда с шута.)* Ну?

Шут. А она...

Занавес

Королевский двор, вымощенный разноцветными плитами.
У задней стены — трон. Справа — загородка для публики.

Министр нежных чувств *(входит прихрамывая. Кричит)*. Ох! Сюда, господин камергер! Ох!

Камергер. Чего вы стонете? Ранили вас? А! Улю-лю!

Министр. А! Нет, не ранили! Убили! Сюда! Несите портшез с невестой сюда! Ох!

Камергер. Да что случилось? Уоу!

Министр. Увидите! *(Убегает.)*

Вносят портшез с принцессой. Гувернантка и камергер идут рядом с портшезом.

Камергер *(носильщикам)*. Ставьте портшез и бегите бегом. Не подходите к окошку, наглецы! Ату его!

Гувернантка *(камергеру)*. Скажит им: вынь руки фон карман. Не нос тереби. Стой прям!

Камергер. Ах, мне не до воспитабль. Того и гляди, что твоя-моя принцесса передадут записку гоголь-моголь! *(Носильщикам.)* Ну чего слушаете? Все равно ведь вы не понимаете иностранных языков. Вон!

Носильщики убегают.

(Гувернантке.) Ну прямо уна гора де плеч свалила себя айн, цвай, драй. Те-

перь сдадим дизе принцессу королю с одной руки на другую. И — уна дуна рес.

Гувёрнантка *(весело)*. Квинтер, баба, жес. И моя рада.

Камергер *(принцессе)*. Ваше высочество. Приготовьтесь. Сейчас я пойду доложу о нашем прибытии королю. Ваше высочество! Вы спите?

Принцесса. Нет, я задумалась.

Камергер. Ох! Ну ладно! *(Гувернантке.)* Станьте себя коло той калитки, лоби-тоби. И смотрите вовсю. Я смотаю себя авек король.

Гувернантка. Унд! *(Становится у входа во двор.)*

Принцесса. Здесь все чужое, все выложено камнями, нет ни одной травки. Стены смотрят, как волки на ягненка. Я бы испугалась, но записка славного, кудрявого, доброго моего, ласкового, родного, хорошенького Генриха так меня обрадовала, что я даже улыбаюсь. *(Целует записку.)* Ах, как она славно пахнет орехами. Ах, как она красиво промаслилась. *(Читает.)* “Мы здесь. Я с белыми волосами и белой бородой. Ругай короля. Скажи ему, что он плохо одет. Генрих”. Я ничего не понимаю. Ах, какой он умный! Но где он? Хотя бы на секундочку его увидеть.

Из-за стены пение. Тихо поют два мужских голоса:

Завоюем счастье с бою
И пойдем домой,
Ты да я, да мы с тобою,
Друг мой дорогой.

Принцесса. Ах, это его голос! Значит, он сейчас выйдет. Так было в прошлый раз — спел и показался!

Выходит первый министр и застывает, как бы пораженный красотой принцессы.

Это он! С белыми волосами, с белой бородой.

Первый министр. Позвольте, ваше высочество, мне по-грубому, по-стариковски, по-отцовски сказать вам: я вне себя от вашей красоты.

Принцесса *(подбегает к нему)*. Ну!

Первый министр *(недоумевая)*. Да, ваше высочество.

Принцесса. Почему ты не говоришь: дерни меня за бороду?

Первый министр *(в ужасе)*. За что, ваше высочество?

Принцесса *(хохочет)*. Ах, ты! Теперь ты меня не обманешь! Я тебя сразу узнала!

Первый министр. Боже мой!

Принцесса. Теперь я научилась дергать как следует! *(Дергает за бороду изо всей силы.)*

Первый министр *(визгливо)*. Ваше высочество!

Принцесса дергает его за волосы и срывает парик. Он лысый.

(Визгливо.) Помогите!

Гувернантка бежит к нему.

Гувернантка. Что он с ней делает, чужой старик! Ля! Па-де-труа!

Первый министр. Но моя — первая министра его величества.

Гувернантка. Зачем, принцесса, вы его битте-дритте?

Принцесса. А пусть он валится ко всем чертям на рога!

Гувернантка. Выпейте капли, вас ис дас.

Принцесса. А я их к дьяволу разбила, сволочь.

Первый министр *(радостно хохочет. В сторону.)* Да она совершенно сумасшедшая! Это очень хорошо! Мы ее очень просто отправим обратно. Пойду доложу королю. А впрочем, нет, он не любит неприятных докладов. Пусть сам увидит. *(Принцессе.)* Ваше высочество, позвольте сказать вам прямо, по-стариковски: вы такая шалунья, что сердце радуется. Фрейлины в вас влюбятся, ей-богу. Можно, я их позову? Они вас обчистят с дороги, покажут то, другое, а мы тем временем прготовимся здесь к встрече. Девочки!

Строем входят фрейлины.

Позвольте, принцесса, представить вам фрейлин. Они вам очень рады.

Принцесса. И я очень рада. Мне здесь так одиноко, а почти все вы так же молоды, как я. Вы мне действительно рады?

Первая фрейлина. Примите рапорт, ваше высочество.

Принцесса. Что?

Первая фрейлина. Ваше высочество! За время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Налицо четыре фрейлины. Одна в околотке. Одна в наряде. Две в истерике по случаю предстоящего бракосочетания. *(Козыряет.)*

Принцесса. Вы разве солдат, фрейлина?

Первая фрейлина. Никак нет, я генерал. Пройдите во дворец, принцесса. Девочки! Слушай мою команду! Ша-го-ом арш!

Идут.

Принцесса. Это ужасно!

Скрываются в дверях.

Первый министр. Эй, вы там! Введите солдат. Я иду за толпой. *(Уходит.)*

Входят солдаты с офицером.

Офицер. Предчувствуя встречу с королем, от волнения ослабей!

Солдаты приседают.

Вприсядку — арш!

Солдаты идут вприсядку.

Ле-вей! Пра-вей! К сте-е-не! Смирно!

Входит толпа. Ее ведет за загородку первый министр.

Первый министр *(толпе)*. Хоть я и знаю, что вы самые верноподданные, но напоминаю вам: во дворце его величества рот открывать можно только для того, чтобы крикнуть “ура” или исполнить гимн. Поняли?

Толпа. Поняли.

Первый министр. Плохо поняли. Вы уже в королевском дворце. Как же вы вместо "ура" говорите что-то другое?

Толпа *(сокрушенно)*. Ура.

Первый министр. Ведь король! Поймите: король — и вдруг так близко от вас. Он мудрый, он особенный! Не такой, как другие люди. И этакое чудо природы — вдруг в двух шагах от вас. Удивительно! А?

Толпа *(благоговейно)*. Ура.

Первый министр. Стойте молча, пока король не появится. Пойте гимн и кричите "ура", пока король не скажет "вольно". После этого молчите. Только когда по знаку его превосходительства закричит королевская гвардия, кричите и вы. Поняли?

Толпа *(рассудительно)*. Ура.

Приближающийся крик: "Король идет! Король идет! Король идет!"
Входит король со свитой.

Офицер *(командует)*. При виде короля от восторга в обморок — шлеп!

Солдаты падают.

Первый министр *(толпе)*. Пой гимн!

Толпа. Вот так король, ну и король, фу-ты, ну-ты, что за король! Ура-а! Вот так король, ну и король, фу-ты, ну-ты, что за король! Ура-а!

Король. Вольно!

Толпа замолкает.

Офицер. В себя прий-ди!

Содаты подымаются.

Король. Ну где же она? Ну что это! Какая тоска! Мне хочется поскорей позавтракать, а тут эта... полукровная. Где же она? Надо ее скорее спровадить.

Первый министр. Идет, ваше величество.

Выходит принцесса с фрейлинами.

Офицер *(командует)*. При виде молодой красавицы принцессы жизнерадостно пры-гай!

Солдаты прыгают.
С момента появления принцессы король начинает вести себя загадочно. Его лицо выражает растерянность. Он говорит глухо, как бы загипнотизированный. Смотрит на принцессу, нагнув голову, как бык. Принцесса всходит на возвышение.

Офицер *(командует)*. Успо-койсь!

Солдаты останавливаются.

Король *(сомнамбулически. Горловым тенором)*. Здравствуйте, принцесса.

Принцесса. Иди ты к чертовой бабушке.

Некоторое время король глядит на принцессу, как бы стараясь вникнуть в смысл ее слов. Затем, странно улыбнувшись, разворачивает приветствие и откашливается.

Офицер *(командует)*. От внимания обалдей!

Король *(тем же тоном)*. Принцесса. Я счастлив, что вы как солнце взошли на мой трон. Свет вашей красоты озарил все вокруг.

Принцесса. Заткнись, дырявый мешок.

Король *(так же)*. Я счастлив, принцесса, что вы оценили меня по достоинству.

Принцесса. Осел.

Король *(так же)*. Вы так хорошо меня поняли, принцесса, что я могу сказать только одно: вы так умны, как и прекрасны.

Принцесса. Дурак паршивый. Баран.

Король. Я чувствую, что мы любим друг друга, принцесса, позвольте вас поцеловать. *(Делает шаг вперед.)*

Принцесса. Пошел вон, сукин сын!

Пушечная пальба. Ликующее “ура”. Принцесса сходит с возвышения. Король странной походкой, не сгибая колен, идет на авансцену. Его окружают фрейлины. Первый министр поддерживает его за локоть.

Первая фрейлина. Ваше величество! Разрешите ущипнуть дерзкую?

Первый министр. Ваше величество, я доктора позову.

Король *(с трудом)*. Нет, не доктора... Нет... *(Кричит.)* Ткачей!

Первый министр. Они здесь, ваше величество.

Король *(кричит)*. Немедленно сшить мне свадебный наряд!

Первая фрейлина. Но вы слышали, ваше величество, как она нарушала дисциплину?

Король. Нет, не слышал! Я только видел! Я влюбился! Она чудная! Женюсь! Сейчас же женюсь! Как вы смеете удивленно смотреть? Да мне плевать на ее происхождение! Я все законы переменю — она хорошенькая! Нет! Запиши! Я жалую ей немедленно самое самое благородное происхождение, самое чистокровное! *(Ревет.)* Я женюсь, хотя бы весь свет был против меня!

Занавес

Коридор дворца. Дверь в комнату ткачей. Принцесса стоит, прижавшись к стене. Она очень грустна. За стеной гремит барабан.

Принцесса. Это очень тяжело — жить в чужой стране. Здесь все это... ну как его... мили... милитаризовано... Все под барабан. Деревья в саду выстроены взводными колоннами. Птицы летают побатальонно. И кроме того, эти ужасные, освященные веками традиции, от которых уже совершенно нельзя жить. За обедом подают котлеты, потом желе из апельсинов, потом суп. Так установлено с девятого века. Цветы в саду пудрят. Кошек бреют, оставляя только бакенбарды и кисточку на хвосте. И все это нельзя нарушить — иначе погибнет государство. Я была бы очень терпелива, если бы Генрих был со мной. Но Генрих пропал, пропал Генрих! Как мне его найти, когда фрейлины ходят следом за мной строем! Только и жизнь, когда их уводят на учение... Очень трудно было передергать всех бородачей. Поймаешь бородача в коридоре, дернешь—

но борода сидит, как пришитая, бородач визжит — никакой радости. Говорят, новые ткачи бородатые, а фрейлины как раз марширует по площади, готовятся к свадебному параду. Ткачи работают здесь. Войти, дернуть? Ах, как страшно! А вдруг и здесь Генриха нет! Вдруг его поймали и по традиции восьмого века под барабан отрубили ему на площади голову! Нет, чувствую я, чувствую — придется мне этого короля зарезать, а это так противно! Пойду к ткачам. Надену перчатки. У меня мозоли на пальцах от всех этих бород. *(Делает шаг к двери, но в коридор входят фрейлины строем.)*

Первая фрейлина. Разрешите доложить, ваше высочество?

Принцесса. Кру-у-гом!

Фрейлины поворачиваются.

Арш!

Фрейлины уходят. Скрываются. Принцесса делает шаг к двери. Фрейлины возвращаются.

Первая фрейлина. Подвенечный наряд...

Принцесса. Круго-ом — арш!

Фрейлины делают несколько шагов, возвращаются.

Первая фрейлина. Готов, ваше величество.

Принцесса. Круго-о-ом — арш!

Фрейлины поворачиваются, идут. Им навстречу король и первый министр.

Первая фрейлина. Сми-ирно!

Король. А-а, душечки. Ах! Она. И совершенно такая же, как я ее видел во сне, только гораздо более сердитая. Принцесса! Душечка. Влюбленный в вас не может не любить вас.

Принцесса. Катитесь к дьяволу. *(Убегает, сопровождаемая фрейлинами.)*

Король *(хохочет)*. Совершенно изнервничалась. Я ее так понимаю. Я

тоже совершенно изныл от нетерпения. Ничего. Завтра свадьба. Сейчас я увижу эту замечательную ткань. *(Идет к двери и останавливается.)*

Первый министр. Ваше величество, вы шли, как всегда, правильно. Сюда, сюда.

Король. Да погоди ты...

Первый министр. Ткачи-то, простите за грубость, именно здесь и работают.

Король. Знаю, знаю. *(Выходит на авансцену.)* Да... Ткань-то особенная... Конечно, мне нечего беспокоиться. Во-первых, я умен. Во-вторых, ни на какое другое место, кроме королевского, я совершенно не годен. Мне и на королевском месте вечно чего-то не хватает, я всегда сержусь, а на любом другом я был бы просто страшен. И все-таки... Лучше бы сначала к ткачам пошел кто-нибудь другой. Вот первый министр. Старик честный, умный, но все-таки глупей меня. Если он увидит ткань, то я и подавно. Министр! Подите сюда!

Первый министр. Я здесь, ваше величество.

Король. Я вспомнил, что мне еще надо сбегать в сокровищницу выбрать невесте бриллианты. Ступайте посмотрите эту ткань, а потом доложите мне.

Первый министр. Ваше величество, простите за грубость...

Король. Не прощу. Ступайте! Живо! *(Убегает.)*

Первый министр. Да-а. Все это ничего... Однако... *(Кричит.)* Министр нежных чувств!

Входит министр нежных чувств.

Министр нежных чувств. Здравствуйте.

Первый министр. Здравствуйте. Вот что — меня ждут в канцелярии. Ступайте к ткачам и доложите мне, что у них и как. *(В сторону.)* Если этот дурак увидит ткань, то я и подавно...

Министр. Но, господин первый министр, я должен пойти сейчас в казарму к фрейлинам и уговорить их не плакать на завтрашней свадьбе.

Первый министр. Успеете. Ступайте к ткачам. Живо! *(Убегает.)*

Министр. Да-а. Я, конечно... Однако... *(Кричит.)* Придворный поэт!

Входит придворный поэт.

Ступайте к ткачам и доложите, что у них и как. *(В сторону.)* Если этот дурак увидит ткань, то я и подавно.

Придворный поэт. Но я, ваше превосходительство, кончаю стихи на выезд принцессы из своего королевства в нашу родную страну.

Министр. Кому это теперь интересно? Принцесса уже две недели как приехала. Ступайте. Живо! *(Убегает.)*

Придворный поэт. Я, конечно, не дурак... Но... Э, была не была! В крайнем случае совру! Впервой ли мне! *(Стучит в дверь.)*

Занавес

Комната ткачей. Два больших ручных ткацких станка сдвинуты к стене. Две большие рамы стоят посреди комнаты. Рамы пустые. Большой стол. На столе — ножницы, подушечка с золотыми булавками, складной аршин.

Христиан. Генрих! Генрих, будь веселей! У нас тончайший шелк, который нам дали для тканья, вот он в мешке. Я сотку из него чудесное платье для твоей невесты. А в этой сумке золото. Мы поедем домой на самых лучших конях. Веселей, Генрих!

Генрих. Я очень веселый. Я молчу потому, что думаю.

Христиан. О чем?

Генрих. Как я с Генриеттой вечером буду гулять у реки, что возле нашего дома.

Стук в дверь. Христиан хватает ножницы, наклоняется над столом и делает вид, что режет. Генрих рисует мелком по столу.

Христиан. Войдите.

Входит придворный поэт.

Придворный поэт. Здравствуйте, придворные ткачи.

Христиан *(не оставляя работу)*. Здравствуйте, придворный поэт.

Придворный поэт. Вот что, ткачи, — меня прислали с очень важным поручением. Я должен посмотреть и описать вашу ткань.

Христиан. Пожалуйста, господин поэт. Генрих, как ты думаешь, цветы роз нам поставить кверху листьями или кверху лепестками?

Генрих *(прищуриваясь)*. Да. Пожалуй, да. Пожалуй, лепестками. На лепестках шелк отливает красивее. Король дышит, а лепестки шевелятся, как живые.

Придворный поэт. Я жду, ткачи!

Христиан. Чего именно, господин поэт?

Придворный поэт. То есть как чего именно? Жду, чтобы вы мне показали ткань, сделанную вами для костюма короля.

Генрих и Христиан бросили работу. Они смотрят на придворного поэта с крайним изумлением.

(Пугается.) Ну нечего, нечего! Слышите вы? Зачем таращите глаза? Если я в чем ошибся — укажите на мою ошибку, а сбивать меня с толку не к чему! У меня работа нервная! Меня надо беречь!

Христиан. Но мы крайне поражены, господин поэт!

Придворный поэт. Чем? Сейчас говорите, чем?

Христиан. Но ткани перед вами. Вот на этих двух рамах шелка натянуты для просушки. Вот они грудой лежат на столе. Какой цвет, какой рисунок!

Придворный поэт *(откашливается)*. Конечно, лежат. Вон они лежат. Такая груда. *(Оправляется.)* Но я приказывал вам показать мне шелк. Показать с объяснениями: что пойдет на камзол, что на плащ, что на кафтан.

Христиан. Пожалуйста, господин поэт. На этой раме — шелк трех сортов. *(Поэт записывает в книжечку.)* Один, тот, что украшен розами, пойдет на камзол короля. Это будет очень красиво. Король дышит, а лепестки шевелятся, как живые. На этом среднем — знаки королевского герба. Это на плащ. На этом мелкие незабудки — на панталоны короля. Чисто белый шелк этой рамы пойдет на королевское белье и на чулки. Этот атлас — на обшивку королевских туфель. На столе — отрезы всех сортов.

Придворный поэт. А скажите, мне интересно, как вы на вашем простом языке называете цвет этого первого куска? С розами.

Христиан. На нашем простом языке фон этого куска называется

зеленым. А на вашем?

Придворный поэт. Зеленым.

Генрих. Какой веселый цвет — правда, господин поэт?

Придворный поэт. Да. Ха-ха-ха! Очень веселый! Да. Спасибо, ткачи! Вы знаете — во всем дворце только и разговору, что о вашей изумительной ткани. Каждый так и дрожит от желания убедиться в глупости другого. Сейчас придет сюда министр нежных чувств. До свидания, ткачи.

Христиан и Генрих. До свидания, придворный поэт.

Поэт уходит.

Генрих. Ну, дело теперь идет на лад, Христиан.

Христиан. Теперь я заставлю прыгать министра нежных чувств, Генрих.

Генрих. Как прыгать, Христиан?

Христиан. Как мячик, Генрих.

Генрих. И ты думаешь, он послушается, Христиан?

Христиан. Я просто уверен в этом, Генрих.

Стук в дверь. Входит министр нежных чувств. В руках у него листки из записной книжки поэта. Самоуверенно идет к первой раме.

Министр нежных чувств. Какие дивные розы!

Христиан *(дико вскрикивает)*. А!

Министр *(подпрыгнув)*. В чем дело?

Христиан. Простите, господин министр, но разве вы не видите? *(Показывает ему под ноги.)*

Министр. Что я не вижу? Какого черта я тут должен увидеть?

Христиан. Вы стоите на шелке, из которого мы хотели кроить на полу камзол.

Министр. Ах, вижу, вижу! *(Шагает в сторону.)*

Генрих. Ах! Вы топчете королевский плащ!

Министр. Ах, проклятая рассеянность! *(Прыгает далеко вправо.)*

Христиан. А! Белье короля!

Министр прыгает далеко влево.

Генрих. А! Чулки короля!

Министр делает гигантский прыжок к двери.

Христиан. А! Башмаки короля!

Министр выпрыгивает в дверь. Просовывает голову в комнату.

Министр *(из-за двери)*. Ах, какая прекрасная работа! Мы, министры, по должности своей обязаны держать головы кверху. Поэтому то, что внизу, на полу, я с непривычки плохо вижу. Но то, что в раме, то, что на столе — розы, гербы, незабудки, — красота, красота! Продолжайте, господа ткачи, продолжайте. Сейчас к вам придет первый министр. *(Уходит, закрыв дверь.)*

Христиан. Кто был прав, Генрих?

Генрих. Ты был прав, Христиан.

Христиан. А первого министра я назову в глаза дураком, Генрих.

Генрих. Прямо в глаза, Христиан?

Христиан. Прямо в глаза, Генрих.

Первый министр открывает дверь, просовывает голову. Христиан, как бы не замечая его, идет за раму.

Первый министр. Эй, ткачи! Вы бы прибрали на полу. Такая дорогая ткань — валяется в пыли. Ай, ай, ай! Сейчас король сюда идет!

Генрих. Слушаю, ваше превосходительство. *(Делает вид, что убирает и складывает ткань на столы.)*

Первый министр входит. Осторожно становится у дверей. Христиан, отойдя за раму, достает из кармана бутылку. Пьет.

Первый министр. Эй ты, наглец, как ты смеешь пить водку за работой?

Христиан. Что это за дурак там орет?

Первый министр. А! Да ты ослеп, что ли? Это я, первый министр!

Христиан. Простите, ваше превосходительство, я из-за тканей вас не вижу, а голоса не узнал. А как вы меня увидели — вот что непонятно!

Первый министр. А я... по запаху. Не люблю эту водку проклятую. Я ее за версту чую.

Христиан выходит из-за рамы.

Христиан. Да разве это водка, — это вода, ваше превосходительство.

Первый министр. Что ты суешь в нос мне свою скверную фляжку! Стань на место! Сейчас король придет! *(Уходит.)*

Из-за кулис слышно пение: король идет и весело поет.

Король *(за кулисами)*. Сейчвас приду и погляжу, сейчас приду и погляжу, тру-ля-ля. Тру-ля-ля!

Весело входит в комнату. За ним придворные.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля! *(Упавшим голосом.)* Тру-ля-ля!

Пауза.

(С неопределенной улыбкой делает чрезвычайно широкий жест рукой.) Ну! Ну, как? А?

Придворные. Замечательно, чудно, какая ткань!

Министр. Ткань роскошна и благородна, ваше величество!

Придворные. Вот именно! Как похоже! Роскошна и благородна!

Король *(первому министру)*. А ты что скажешь, честный старик? А?

Король подавлен, но бодрится. Говорит с первым министром, а глядит на стол и рамы, видимо, надеясь наконец увидеть чудесную ткань. На лице все та же застывшая улыбка.

Первый министр. Ваше величество, на этот раз я скажу вам такую чистую правду, какой свет не видал. Может, вы удивитесь, ваше величество, может, я поражу вас, но я скажу!

Король. Так-так.

Первый министр. Вы простите меня, но подчас хочется быть действительно прямым. Никакой ткани, ваше величество, вы нигде не найдете, подобной этой. Это и пышно, и красочно.

Придворные. Ах как верно! Пышно и красочно. Очень точно сказано.

Король. Да, молодцы ткачи. Я вижу, у вас того... все уже довольно готово?..

Христиан. Да, ваше величество. Надеюсь, ваше величество не осудит нас за цвет этих роз?

Король. Нет, не осужу. Да, не осужу.

Христиан. Мы решили, что красные розы в достаточном количестве каждый видит на кустах.

Король. На кустах видит. Да. Прекрасно, прекрасно.

Христиан. Поэтому на шелку мы их сделали сире... *(кашляет)* сире... *(кашляет)*

Придворные. Сиреневыми, как остроумно! Как оригинально — сиреневыми! Роскошно и благородно.

Христиан. Серебряными, господа придворные.

Пауза.

Министр. Браво, браво! *(Аплодирует, придворные присоединяются.)*

Король. Я только что хотел поблагодарить вас за то, что серебряными, это мой любимый цвет. Буквально только что. Выражаю вам мою королевскую благодарность.

Христиан. А как вы находите, ваше величество, фасон этого камзола — не слишком смел?

Король. Да, не слишком. Нет. Довольно разговаривать, давайте примерять. Мне еще надо сделать очень много дел.

Христиан. Я попрошу господина министра нежных чувств подержать камзол короля.

Министр. Я не знаю, достоин ли я?

Король. Достоин. Да. Ну-с. *(Бодрится.)* Давайте ему этот красивый камзол... Разденьте меня, первый министр. *(Раздевается.)*

Христиан. Ах!

Министр *(подпрыгивает, глядя под ноги)*. Что такое?

Христиан. Как вы держите камзол, господин министр?

Министр. Как святыню... Что?

Христиан. Но вы держите его вверх ногами.

Министр. Залюбовался на рисунок. *(Вертит в руках несуществующий камзол.)*

Христиан. Не будет ли так добр господин первый министр подержать панталоны короля?

Первый министр. Я, дружок, из канцелярии, у меня руки в чернилах. *(Одному из придворных.)* Возьмите, барон!

Первый придворный. Я забыл очки, ваше превосходительство. Вот маркиз...

Второй придворный. Я слишком взволнован, у меня дрожат руки. Вот граф...

Третий придворный. У нас в семье плохая примета держать в руках королевские пантталоны...

Король. В чем там дело? Одевайте меня скорее. Я спешу.

Христиан. Слушаю, ваше величество. Генрих, сюда. Ножку, ваше величество. Левей! Правей! Я боюсь, что господа придворные одели бы вас более ловко. Мы смущаемся перед таким великим королем. Вот, панталоны надеты. Господин министр нежных чувств, камзол. Простите, но вы держите его спиной. Ах! Вы его уронили! Позвольте, тогда мы сами. Генрих, плащ. Все. Прелесть этой ткани — ее легкость. Она совершенно не чувствуется на плечах. Белье будет готово к утру.

Король. В плечах жмет. *(Поворачивается перед зеркалом.)* Плащ длинноват. Но, в общем, костюм мне идет.

Первый министр. Ваше величество, простите за грубость. Вы вообще красавец, а в этом костюме — вдвойне.

Король. Да? Ну, снимайте.

Ткачи раздевают короля и одевают его в костюм.

Спасибо, ткачи. Молодцы. *(Идет к двери.)*

Придворные. Молодцы, ткачи! Браво! Роскошно и благородно! Пышно и красочно! *(Хлопают ткачей по плечу.)* Ну, теперь мы вас не отпустим. Вы всех нас оденете!

Король (*останавливается в дверях*). Просите чего хотите. Я доволен.

Христиан. Разрешите нам сопровождать вас, ваше величество, в свадебном шествии. Это будет нам лучшая награда.

Король. Разрешаю. (*Уходит с придворными.*)

Генрих и Христиан (*поют*).

Мы сильнее всех придворных,
Мы смелей проныр проворных.
Вы боитесь за места —
Значит, совесть нечиста.
Мы не боимся ничего.

Мы недаром долго ткали,
Наши ткани крепче стали,
Крепче стали поразят
И свиней, и поросят.
Мы не боимся ничего.

Если мы врага повалим,
Мы себя потом похвалим.
Если враг не по плечу,
Попадем мы к палачу.
Мы не боимся ничего.

Занавес опускается на несколько секунд. Подымается.
Та же комната утром. За окнами слышен шум толпы.
Короля одевают за ширмами. Первый министр
стоит на авансцене.

Первый министр. Зачем я в первые министры пошел? Зачем? Мало ли других должностей? Я чувствую — худо кончится сегодняшнее дело. Дураки увидят короля голым. Это ужасно! Это ужасно! Вся наша национальная система, все традиции держатся на непоколебимых дураках. Что будет, если они дрогнут при виде нагого государя? Поколеблются устои, затрещат стены, дым пойдет над государством! Нет, нельзя выпускать короля голым. Пышность — великая опора трона! Был у меня друг, гвардейский полковник. Вышел он в

отставку, явился ко мне без мундира. И вдруг я вижу, что он не полковник, а дурак! Ужас! С блеском мундира исчез престиж, исчезло очарование. Нет! Пойду и прямо скажу государю: нельзя выходить! Нет! Нельзя!

Король. Честный старик!

Первый министр *(бежит)*. Грубо говоря, вот я.

Король. Идет мне это белье?

Первый министр. Говоря в лоб, это красота.

Король. Спасибо. Ступай!

Первый министр *(снова на авансцене)*. Нет! Не могу! Ничего не могу сказать, язык не поворачивается! Отвык за тридцать лет службы. Или сказать? Или не сказать? Что будет! Что будет!

Занавес

Площадь. На переднем плане — возвышение, крытое коврами. От возвышения по обе стороны — устланные коврами дороги. Левая дорога ведет к воротам королевского замка. Правая скрывается за кулисами. Загородка, украшенная роскошными тканями, отделяет от дороги и возвышения толпу. Толпа поет, шумит, свистит. Когда шум затихает, слышны отдельные разговоры.

Первая дама. Ах, меня так волнует новое платье короля! У меня от волнения вчера два раза был разрыв сердца!

Вторая дама. А я так волновалась, что мой муж упал в обморок.

Нищий. Помогите! Караул!

Голоса. Что такое? Что случилось?

Нищий. У меня украли кошелек!

Голос. Но там, наверное, были гроши?

Нищий. Гроши! Наглец! У самого искусного, старого, опытного нищего — гроши! Там было десять тысяч талеров! Ах! Вот он, кошелек, за подкладкой! Слава богу! Подайте, Христа ради.

Бритый господин. А вдруг король-отец опоздает?

Господин с бородой. Неужели вы не слышали пушек? Король-отец уже приехал. Он и принцесса-невеста придут на площадь из гавани. Король-

отец ехал морем. Его в карете укачивает.

Бритый господин. А в море нет?

Господин с бородой. В море не так обидно.

Пекарь с женой. Позвольте, господа, позвольте! Вам поглазеть, а мы по делу!

Голоса. У всех одинаковые дела!

Пекарь. Нет, не у всех! Пятнадцать лет мы спорим с женой. Она говорит, что я дурак, а я говорю, что она. Сегодня наконец наш спор разрешит королевское платье. Пропустите!

Голоса. Не пропустим! Мы все с женами, мы все спорим, мы все по делу!

Человек с ребенком на плечах. Дорогу ребенку! Дорогу ребенку! Ему шесть лет, а он умеет читать, писать и знает таблицу умножения. За это я обещал ему показать короля. Мальчик, сколько семью восемь?

Мальчик. Пятьдесят шесть.

Человек. Слышите? Дорогу ребенку, дорогу моему умному сыну! А сколько будет шестью восемь?

Мальчик. Сорок восемь.

Человек. Слышите, господа? А ему всего шесть лет. Дорогу умному мальчику, дорогу моему сыну!

Рассеянный Человек. Я забыл дома очки, и теперь мне не увидеть короля. Проклятая близорукость!

Карманник. Я могу вас очень легко вылечить от близорукости.

Рассеянный. Ну! Каким образом?

Карманник. Массажем. И сейчас же, здесь.

Рассеянный. Ах, пожалуйста. Мне жена велела посмотреть и все ей подробно описать, а я вот забыл очки.

Карманник. Откройте рот, закройте глаза и громко считайте до двадцати.

Рассеянный считает вслух, не закрывая рта. Карманник крадет у него часы, кошелек, бумажник и скрывается в толпе.

Рассеянный *(кончив счет)*. Где же он? Он убежал! А я стал видеть еще хуже. Я не вижу моих часов, моего бумажника, моего кошелька!

Человек. Дорогу моему мальчику! Дорогу моему умному сыну! Сколько

будет шестью шесть?

Мальчик. Тридцать шесть.

Человек. Вы слышите? Дорогу моему сыну! Дорогу гениальному ребенку!

Слышен бой барабанов. В толпе движение. Лезут на столбы, встают на тумбы, на плечи друг другу.

Голоса. Идет! Идет!

— Вон он!

— Красивый!

— И одет красиво!

— Вы раздавили мне часы!

— Вы сели мне на шею!

— Можете в собственных экипажах ездить, если вам тут тесно!

— А еще в шлеме!

— А еще в очках!

Показываются войска.

Генерал *(командует)*. Толпу, ожидающую короля, от ограды оттесни!

Солдаты *(хором)*. Пошли вон. Пошли вон. Пошли вон. Пошли вон. *(Оттесняют толпу.)*

Генерал. К толпе спи-и-иной!

Солдаты поворачиваются спиной к толпе, лицом к возвышению. Гремят трубы. Герольды шагают по дороге.

Герольды. Шапки долой, шапки долой, шапки долой перед его величеством!

Уходят во дворец. Из-за кулис справа выходит пышно одетый король-отец с принцессой в подвенечном наряде. Они поднимаются на возвышение. Толпа затихает.

Принцесса. Отец, ну хоть раз в жизни поверь мне. Я тебе даю честное

слово: жених — идиот!

Король-отец. Король не может быть идиотом, дочка. Король всегда мудр.

Принцесса. Но он толстый!

Король-отец. Дочка, король не может быть толстым. Это называется "величавый".

Принцесса. Он глухой, по-моему! Я ругаюсь, а он не слышит и ржет.

Король-отец. Король не может ржать. Это он милостиво улыбается. Что ты ко мне пристаешь? Что ты смотришь жалобными глазами? Я ничего не могу сделать! Отвернись! Вот я тебе котелок привез. Ведь не целый же день будет с тобою король. Ты послушаешь музыку, колокольчики. Когда никого не будет близко, можешь даже послушать песню. Нельзя же принцессе выходить замуж за свинопаса! Нельзя!

Принцесса. Он не свинопас, а Генрих!

Король-отец. Все равно! Не будь дурочкой, не подрывай уважения к королевской власти. Иначе соседние короли будут над тобой милостиво улыбаться.

Принцесса. Ты тиран!

Король-отец. Ничего подобного. Вон — смотри. Бежит министр нежных чувств. Развеселись, дочка. Смотри, какой он смешной!

Министр нежных чувств. Ваше величество и ваше высочество! Мой государь сейчас выйдет. Они изволят гоняться с кинжалом за вторым камергером, который усмехнулся, увидя новое платье нашего всемилостивейшего повелителя. Как только наглец будет наказан — государь придет.

Трубят трубы.

Камергер наказан!

Выходят герольды.

Герольды. Шапки долой, шапки долой, шапки долой перед его величеством!

Из дворца выходят трубачи, за ними строем фрейлины, за

фрейлинами придворные в расшитых мундирах
За ними первый министр.

Первый министр. Король идет! Король идет! Король идет!

Оглядывается. Короля нет.

Отставить! *(Бежит во дворец. Возвращается. Королю-отцу.)* Сейчас! Государь задержался, грубо говоря, у зеркала. *(Кричит.)* Король идет! Король идет! Король идет!

Оглядывается. Короля нет. Бежит во дворец. Возвращается.

(Королю-отцу.) Несут, несут! *(Громко.)* Король идет! Король идет! Король идет!

Выносят портшез с королем. Король, милостиво улыбаясь,
смотрит из окна. Портшез останавливается. Толпа кричит “ура”.
Солдаты падают ниц. Дверца портшеза открывается.
Оттуда выскакивает король. Он совершенно гол.
Приветственные крики разом обрываются.

Принцесса. Ах! *(Отворачивается.)*
Генерал. В себя прий-ди!

Солдаты встают, взглядывают на короля и снова
валятся ниц в ужасе.

В себя прий-ди!

Солдаты с трудом выпрямляются.

Отвер-нись!

Солдаты отворачиваются. Толпа молчит. Король медленно,

самодовольно улыбаясь, не сводя глаз с принцессы, двигается к возвышению. Подходит к принцессе.

Король *(галантно)*. Даже самая пышная одежда не может скрыть пламени, пылаещего в моем сердце.

Принцесса. Папа. Теперь-то ты видишь, что он идиот?

Король. Здравствуйте, кузен!

Король-отец. Здравствуйте, кузен. *(Шепотом.)* Что вы делаете, кузен? Зачем вы появляетесь перед подданными в таком виде?

Король *(шепотом)*. Что? Значит, и вы тоже? Ха-ха-ха!

Король-отец. Что я тоже?

Король. Либо не на месте, либо дурак! Тот, кто не видит эту ткань, либо не на месте, либо дурак!.

Король-отец. Дурак тот, кто видит эту ткань, бессовестный!

Король. Это кто же бессовестный?

Король-отец. Тише говорите! А то чернь услышит нас. Говорите тише и улыбайтесь. Вы бессовестный!

Король *(принужденно улыбаясь. Тихо)*. Я?

Король-отец. Да!

Король *(некоторое время молчит, полный негодования. Потом упавшим голосом спрашивает.)* Почему?

Король-отец *(шипит злобно, не переставая улыбаться)*. Потому что вылез на площадь, полную народа, без штанов!

Король *(хлопает себя по ноге)*. А это что?

Король-отец. Нога!

Король. Нога?

Король-отец. Да!

Король. Нет.

Король-отец. Голая нога!

Король. Зачем же врать-то? Даю честное королевское слово, что я одет как картинка!

Король-отец. Голый, голый, голый!

Король. Ну что это, ну какая гадость! Ну зачем это! Придворные! Я одет?

Придворные. Пышно и красочно! Роскошно и благородно!

Король. Съел? Первый министр! Я одет?

П е р в ы й м и н и с т р *(обычным тоном)*. Простите за грубость, ваше величество. *(Свирепо.)* Ты голый, старый дурак! Понимаешь? Голый, голый, голый!

Король издает странный вопль, похожий на икание. Вопль этот полон крайнего изумления.

Ты посмотри на народ! На народ посмотри! Они задумались. Задумались, несчастный шут! Традиции трещат! Дым идет над государством!

Король издает тот же вопль.

Молчи, скважина! Генерал! Сюда!

Генерал рысью бежит на возвышение.

Войска надежны? Они защитят короля в случае чего? Слышите, как народ безмолвствует?

Г е н е р а л. Погода подвела, господин первый министр!

К о р о л ь. А?

Г е н е р а л. Погода, ваше величество. С утра хмурилась, и многие из толпы на всякий случай взяли зонтики...

К о р о л ь. Зонтики?

Г е н е р а л. Да, ваше величество. Они вооружены зонтиками. Будь толпа безоружна, а тут зонтики.

К о р о л ь. Зонтики?

Г е н е р а л. Если пошло начистоту — не ручаюсь и за солдат. Отступят! *(Шепотом.)* Они у меня разложенные!

Король издает тот же вопль, похожий на икание.

Я сам удивляюсь, ваше величество. Книг нет, листовок нет, агитаторов нет, дисциплина роскошная, а они у меня с каждым днем все больше разлагаются. Пробовал командовать — разлагаться прекра-ати! Не берет!

М и н и с т р н е ж н ы х ч у в с т в. Ну я не знаю, ну так нельзя, я сам тоже

недоволен, я пойду туда, к народу!

Первый министр. Молчать!

Министр нежных чувств. Надо создать Временный комитет безопасности придворных.

Первый министр. Молчать! Нельзя терять времени! Надо толпу ошеломить наглостью. Надо как ни в чем не бывало продолжать брачную церемонию!

Принцесса. Я...

Первый министр *(с поклоном)*. Молчать!

Король-отец. Он прав! Давай, давай!

Министр нежных чувств. У меня фрейлины милитаризованные. Они защитят наш комитет.

Первый министр. Ерунда твои фрейлины! Бери принцессу за руку, король. *(Машет герольдам.)*

Герольды. Тишина! Тишина! Тишина!

Пауза.

Мальчик. Папа, а ведь он голый!

Молчание и взрыв криков.

Министр нежных чувств *(бежит во дворец и кричит на ходу)*. У меня мать кузнец, отец прачка! Долой самодержавие!

Мальчик. И голый, и толстый!

Крики. Слышите, что говорит ребенок? Он не может быть не на своем месте!

— Он не служащий!

— Он умный, он знает таблицу умножения!

— Король голый!

— На животе бородавка, а налоги берет!

— Живот арбузом, а говорит — повинуйся!

— Прыщик! Вон прыщик у него!

— А туда же, стерилизует!

Король. Молчать! Я нарочно. Да. Я все нарочно. Я повелеваю: отныне

все должны венчаться голыми. Вот!

Свист.

Дураки паршивые!

Свист. Король мчится во дворец. Первый министр, а за ним все придворные мчатся следом. На возвышении король-отец и принцесса.

Король-отец. Бежим! Смотри, какие глаза у этих людей за загородкой! Они видели короля голым. Они и меня раздевают глазами! Они сейчас бросятся на меня!

Генрих и Христиан *(прыгают на возвышение, кричат)*. У-у-у!

Король-отец. Ах, началось! *(Подобрав мантию, бежит по дороге направо.)*

Принцесса. Генрих!

Генрих. Генриетта!

Христиан *(толпе)*. Дорогие мои! Вы пришли на праздник, а жених сбежал. Но праздник все-таки состоялся! Разве не праздник? Молодая девушка встретила наконец своего милого Генриха! Хотели отдать ее за старика, но сила любви разбила все препятствия. Мы приветствуем ваш справедливый гнев против этих мрачных стен. Приветствуйте и вы нас, приветствуйте любовь, дружбу, смех, радость!

Принцесса.

Генрих, славный и кудрявый,
Генрих, милый, дорогой.
Левой — правой, левой — правой
Отведет меня домой.

Толпа.

Пусть ликует вся земля,
Мы прогнала короля!
Пусть ликует вся земля,
Мы прогнали короля!

Пляшут.

Г е н р и х.

У кого рассудок здравый,
Тот примчится, молодец,
Левой — правой, левой — правой
Прямо к счастью наконец!

В с е.

Пусть ликует вся земля,
Мы прогнали короля!
Пусть ликует вся земля,
Мы прогнали короля!

Занавес

1934 год

КЛАД

Пьеса в 3-х действиях

Действующие лица.

Грозный Иван Иванович — сторож в заповеднике.

Суворов — студент-геолог.

Мурзиков, Орлов, Птаха — школьники, юные разведчики народного хозяйства.

Дорошенко — председательница колхоза.

Али-бек богатырь — пастух.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Пропасть. На одной стороне пропасти — густые кусты. На другой — деревья. Среди деревьев идет Иван Иванович Грозный.

Грозный *(останавливается. Разглядывает деревья у края пропасти).* Ну, здравствуй. Ну, что... Стоишь? Это вижу. Ветками шелестишь? Это слышу. Две недели у тебя не был — какие мне можешь новости рассказать?.. Так... Новости есть, но все известные. Понятно... чесался об тебя медведь. Который? А, вижу... И когти он тут почистил. Это Вислоух... Это я знал, что он будет в наших местах не нынче-завтра. Дальше?.. Ничего не скажешь, что дальше-то? Ничего... Ну, тогда посидим, покурим. *(Садится, заглядывает в пропасть.)* Здорово, Старое Русло, здравствуй. Давно я на дне не бывал, полгода. Новости у тебя какие? Неизвестно, не видать дна. Ручей шумит — это я слышу, туман ползет — это я вижу, а кто там ходил, кто бегал — не узнать. Глубоко. Вот... Пятьдесят лет я в лесу. Все мне понятно. Куда птица летит, куда зверь бежит, куда змея ползет. А разговора птичьего, звериного не понимаю. Это обидно, пятьдесят лет в лесу, однако не понимаю. Вон — кричит птица на той стороне, а что она кричит?.. Хочет она спросить меня? Или рассказать что хочет? Ничего не понятно. Ишь ты, старается. Может, молодая какая, летает худо, от своих отбилась. Может, глядит на меня, тоскует, кричит по-своему: дед, где дорога?

Голос. Дед, где дорога?

Грозный. Это еще чего? Кто спрашивает?

Голос. Это я. Птаха.

Грозный *(откашливается).* Гм... Кха... Спокойно, Иван Иванович. Чего не бывает, того не бывает, а что бывает, то и есть. Что за птаха?.. Отвечай спокойно.

Голос. Я от своих отбилась, не знаю, как дорогу найти.

Грозный. Гм... Видите как... Спокойно, Иван Иванович Грозный... Чего не бывает, того...

Голос. Как мне к тебе пройти?

Грозный. Зачем?

Голос. Как это зачем? Я же тебе говорю — от своих отбилась. Третий день ничего не ем, кроме ягод.

Грозный. Ягод?

Голос. Ну да. Есть хочется. Во сне даже сегодня два раза видела, что молоко с хлебом ем. Очень есть хочется, молока.

Грозный. Молока?

Голос. Ну да.

Грозный. Птичьего?

Голос. Да что ты, дед, путаешь?

Грозный. Путаю?

Голос. Ну да, путаешь. Я с голода пропадаю, а он путает.

Грозный. В остатный раз тебе говорю — ты кто?

Голос. Птаха.

Грозный. Птаха? *(Топает ногами.)* Покажись тогда. Вылазь на свет, если ты птаха. Я еще, брат, не путаю, я еще кремень-старик. Я тебя враз из карабина уложу, коли не покажешься. Ну, вылазь. Стреляю!

Птаха *(плачущим голосом)*. И так ноги исколоты, а он — покажись... Тут кусты.

Грозный. А ты подлети.

Птаха. Подпрыгнуть, что ли?

Грозный. Ну, хоть подпрыгни...

Птаха *(подпрыгивает над кустами)*. Вот она я.

Грозный. Девочка...

Птаха *(подпрыгивает)*. Да, да — девочка...

Грозный. А ты говоришь — птаха.

Птаха *(подпрыгивает)*. Фамилия моя Птаха.

Грозный. Откуда ты взялась такая?

Птаха. Дед, можно мне не прыгать, у меня все ноги исколоты?

Грозный. Ну да, не прыгай. Кто же тебе велит!

Птаха. Стрелять не будешь?

Грозный. Ну вот, ну что ты... Зачем?

Птаха. Из карабина?

Грозный. Ну-ну-ну, чего в тебя стрелять?.. Что ты за зверь такой?

Птаха. Ну да, нет... Я вот она... Я лучше... *(Пробирается сквозь кусты.)* Я лучше продерусь. Видишь — вот она я...

Грозный. Стой!..

Птаха. Ой, пропасть какая. Ведь это же настоящая бездна.

Грозный. Это Старое Русло. Кто же ты такая, что Старого Русла не

знаешь? Откуда?

П т а х а. Мы, дед, из города. *(Садится.)* Вот глубина какая, даже все внизу синее. У меня даже все закачалось в глазах... Или это от голода? Дед, у тебя еда есть?

Г р о з н ы й. Это можно... Я сейчас тебе переброшу. Это мигом.

П т а х а. Ой, дед, нет, это не надо. Не бросай.

Г р о з н ы й. Это почему же не надо?.. Брошу.

П т а х а. Ой, пожалуйста, нет. Прошу. Дедушка...

Г р о з н ы й. Не серди меня, Птаха. Опять начинаешь что-то такое... Почему не бросать?..

П т а х а. Так ведь мне есть хочется. Не бросай...

Г р о з н ы й. Что она такое говорит?.. Почему же не бросать? Спокойно отвечай.

П т а х а. А ты бросишь и не добросишь, и еда вдруг полетит прямо в пропасть.

Г р о з н ы й. Как же это: я — и вдруг не доброшу? Я, друг ты мой, кремень-старик, казак. *(Снимает сумку.)* Лови скорей. *(Бросает.)*

П т а х а. Поймала. Ай да дед. Прямо богатырь Али-бек. *(Открывая сумку.)* Вот хорошо. Пахнет как хорошо... Это чего пахнет-то? Ветчина пахнет...

Г р о з н ы й. Солонина.

П т а х а. Все равно. Я съем.

Г р о з н ы й. Клюй, клюй.

П т а х а *(с набитым ртом).* Мн-е... и... с...

Г р о з н ы й. Непонятно говоришь.

П т а х а. Мне есть очень приятно, говорю.

Г р о з н ы й. Клюй, клюй.

П т а х а. Дед, ты кто? Как тебя зовут?

Г р о з н ы й. Грозный, Иван Иванович.

П т а х а. А что делаешь тут?

Г р о з н ы й. Служу.

П т а х а. Где?

Г р о з н ы й. В лесу...

П т а х а. Кем?

Г р о з н ы й. Зверей берегу.

П т а х а. Как бережешь?

Г р о з н ы й. Очень просто. Здесь, Птаха, заповедник. Зверя бить нельзя. Я обхожу, смотрю. А ты кто?

П т а х а. А я, дед, разведчик.

Грозный. Какой?

Птаха. Разведчик народного хозяйства. Мне до всего дело, что на земле, что под землей. Ох ты... чуть не подавилась.

Грозный. Кто же тебя сюда пустил разведывать?

Птаха. А никто. Я сама заблудилась.

Грозный. А как?.. Ну?.. С начала говори...

Птаха. А приехало нас из города четверо. Я, Лешка Орлов, Петька Мурзиков и Шура Суворов. Самый старший. Вузовец. Геолог.

Грозный. Кто?

Птаха. Ну, геолог. Которые ищут, что в земле лежит. Приехал он на практику. Пошел в горы на разведку, ребят в помощь взял, а я сама привязалась.

Грозный. Сама?

Птаха. Ну да, сама. Вперед забежала, и, здравствуйте, вот она я. Меня, дед, не прогонишь, я настойчивая.

Грозный. Так вместе и ходили?

Птаха. Две недели вместе ходили. А потом я в тумане, как дура, отстала.

Грозный. Как же это? В тумане за руки надо было идти.

Птаха. Мы и шли за руки. А только я волновалась. А я когда волнуюсь, у меня ноги чешутся. Терпела-терпела и остановилась на минутку почесаться.

Грозный. И руку бросила?

Птаха. На минутку. Потом кричу — вы где?.. А они справа — мы тут. Вправо бегу, а они слева — ау. Я назад, а они сбоку — здесь мы. Да все тише и тише и с разных сторон — и пропали. Очень я тогда расстроилась. Подул ветер, туман прогнал, а я туда-сюда бегала, а их нет. Что ты скажешь?

Грозный. Это, Птаха, в горном тумане всегда так бывает. В тумане на миг нельзя отстать, получается такое туманное эхо, что никак не разобрать, откуда тебе голос подают...

Звук, похожий на барабан.

Птаха. Ой, это наши идут. Нет, не наши: у них барабана нету.

Грозный. Спокойно.

Птаха. Что это там, дед? А?

Грозный. Слышишь ты, Птаха! Спокойна ты будь. Что бы ни увидела — не пугайся.

Птаха. А ты меня не пугай.

Грозный. Я не пугаю. Я говорю, напротив, спокойна будь. Выгляни из кустов — что видишь?

П т а х а. Ничего страшного, дед. Там человек.

Г р о з н ы й. Какой?

П т а х а. В шубе почему-то... Мехом наружу почему-то... Сейчас... У меня ноги чешутся.

Г р о з н ы й. Спокойно! А что он делает — тот человек?

П т а х а. Он у дерева стоит. Дергает там чего-то и гремит. Щепка большая от дерева отстала, он дергает, а она об ствол гремит.

Г р о з н ы й. С дуплом дерево.

П т а х а. Ой, дед! Человек на четвереньки встал. Ой, дед! Этот человек — медведь.

Г р о з н ы й. Спокойно!

П т а х а. Тебе-то там спокойно, а у меня тут медведь. Дед, он стал на дыбы, сюда заглядывает.

Г р о з н ы й. Спокойно. Он далеко. Ему к тебе напрямик не пройти.

П т а х а. Он лег, дед. На солнышке.

Г р о з н ы й. Ну и пусть лежит.

П т а х а. Да, пусть... Тебе хорошо... Ой, он кувыркается.

Г р о з н ы й. Сытый медведь... играет.

П т а х а. Да что ты мне все объясняешь. Ты сюда иди. Помоги.

Г р о з н ы й. Спокойно, Птаха, не пугайся, я тебе сейчас что-то скажу.

П т а х а. Ой... Ну, говори.

Г р о з н ы й. Нельзя мне к тебе прийти.

П т а х а. Почему?

Г р о з н ы й. От меня до тебя — две недели пути.

П т а х а. Как две недели?

Г р о з н ы й. Да, брат Птаха, — вот он Кавказ, вот они горы... Выходит, что ты со мной — и одна. Только говорить мы с тобой и можем. Хорошо, на узком месте встретились. А то и разговору не вышло бы. Только руками и помахали бы. Две недели до тебя пути!

П т а х а. Да ведь... от меня тут за две недели ничего не останется... Безобразие какое. Почему две недели?

Г р о з н ы й. Взгляни вниз... Стены. Не подняться, не спуститься. Давно-давно тут Черная речка текла, потом обвал завалил русло, она в сторону взяла. Слышь — ручеек один остался на дне. Видишь, как далеко... как тут пройти...

П т а х а. А если в обход?

Г р о з н ы й. В обход?.. А в обход и будет две недели. Влево пойдешь — там скалы — Гозыри называются. Совсем проходу нет. Вправо пойдешь — Чертов зуб. Обойдешь его, ступай мимо Черкесской свадьбы, через Аигбинский пере-

вал на Курдюковы луга. Тут только и будет переход. Это девять дней, да дней пять по твоей стороне. Вот тебе и две недели.

Птаха. Что ты так спокойно разговариваешь? Медведи тут.

Грозный. А из беспокойства, друг ты мой, никогда толку не будет. Одну я тебя не оставлю. Это раз. А у меня карабин... Медведю до тебя тоже часов пять ходу. Это два. Есть время подумать. Спокойно! Будь ты настоящая птаха— перелетела бы, и все. А ты Птаха только по фамилии.

Птаха. Говори, что делать.

Грозный. Думать.

Птаха. Да чего тут думать, я не знаю. Перелететь нельзя. Мост сделать нельзя.

Грозный. Молчи. Посиди тут одна, я вернусь сейчас.

Птаха. Куда?

Грозный. Спокойно. Сиди. Некогда объяснять. Вернусь, все поймешь. Сиди.

Птаха. Дед, а сумка?

Грозный. Молчи. Жди. *(Уходит.)*

Птаха. Ушел. А все, как нарочно, шумит. Деревья загудели. Чего это топочет за оврагом... Спокойно, Птаха. Спокойно! Кто в траве шелестит... Птаха дура. Что ты, маленькая, что ли? Зачем в горы шла? Освоить горы... Что в земле, что под землей — до всего тебе дело есть. Может, станет на этом месте завод. Может, здесь железо есть... *(Прислушивается, кричит.)* Здесь я. Что?.. Кто меня позвал? Никто не звал. Просто чего-то замяукало. Скалы высокие, воздух между ними гулкий, только и всего. Интересно это! Это интересно! А кто пугается, с того толку никакого никогда не выйдет. Где записная книжка? Сейчас все запишу. *(Кричит.)* Дед! Куда ты пропал?.. Кусты трещат, идет кто-то! Де-ед!

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Груды огромных камней. Положив ноги на камни, лежат Суворов, Орлов, Мурзиков. На костре чайник. На салфетке сало, хлеб, кружки.

Суворов. Да-с. Был такой богатырь Али-бек. Ну что же. Так, значит, и

запишем... Третий день поисков Птахи ни к чему не привел... И чтобы на сегодня об этом больше ни слова. Думать можно — болтать не сметь. Вот. Да... Был такой богатырь Али-бек.

Мурзиков. Кабы она не дура была, я бы не беспокоился. Дура она, жалко мне ее.

Орлов. Об этом на сегодня больше ни слова. Сказано тебе. *(Утирается платком.)* Ох... я, Шура, глотну воды.

Суворов. Зачем опустил ноги?

Орлов. Я, Шура, глотну воды. *(Тянет кусочек сала.)*

Суворов. Пока не закипит — ни одного глотка. Положи сало.

Орлов. Я кусочек.

Суворов. Положи.

Орлов *(вытирается платком).* Очень устал потому что...

Мурзиков. Вот дура! Сидит, небось, где-нибудь в пропасти. Голодает да чешется.

Орлов. Шура, скажи ему, чтобы он больше про нее не говорил. Сказано, кажется, было.

Суворов. Довольно, ребята. Молчите, ждите, думайте, отдыхайте... Да-с, был такой богатырь Али-бек.

Мурзиков. Шура!

Суворов. Чего тебе?

Мурзиков. Скажи мне, пожалуйста, что ты всегда это говоришь?.. К чему?.. Был такой богатырь Али-бек. Какой?

Суворов. Да-с. Был такой богатырь Али-бек.

Мурзиков. Черкеса вчера встретили — ты у него спрашиваешь: не слыхал ли он об Али-беке. О Птахе, а потом об Али-беке.

Орлов. Шура... Кажется, кипит.

Суворов. Нет.

Мурзиков. Колхозник едет — ты у него: что за Али-бек?

Суворов. Придет время — узнаешь.

Мурзиков. А зачем тебе нужен богатырь Али-бек?

Суворов. Мне он ни к чему.

Мурзиков. А зачем спрашиваешь?

Суворов. Он-то мне ни к чему. Мне клад его нужен...

Орлов. Клад?

Суворов. Факт. Кипит чайник. Разливай.

Орлов. Какой клад?

Суворов. Нападу на след — узнаешь.

Орлов. Где ты узнал про него?

С у в о р о в. Про кого?

О р л о в. Про клад, про Али-бека?

С у в о р о в. В Ленинграде, на Васильевском острове.

М у р з и к о в. А ищешь его здесь?

С у в о р о в. А ищу здесь, на Кавказе.

О р л о в. Почему?

С у в о р о в. Потому что он здесь жил, Али-бек.

О р л о в. Когда?

С у в о р о в. Лет двести назад.

М у р з и к о в. Что же у него за клад? Деньги?

С у в о р о в. Нет.

О р л о в. Бриллианты?

С у в о р о в. Нет.

О р л о в. А что?

С у в о р о в. Самоварное золото.

М у р з и к о в. Да ты не шути, Шура. Говори толком...

С у в о р о в. Я не шучу. Пейте чай. Ешьте.

М у р з и к о в. Птаха, дура такая...

О р л о в. Шура, ну чего он все ноет? Опять про нее...

М у р з и к о в. Я не про нее, а про ее кружку. Две недели таскала кружку на поясе. А как потеряться —сунула мне кружку в мешок. Она, говорит, о пояс брякает. Надоедает. А теперь, небось, трескает воду из своих дурацких ладошек. Гадина. А кружка ее здесь. Вон нацарапала на кружке: "Птаха". Криво-косо. Тьфу.

О р л о в. Шура, скажи ему.

С у в о р о в. Ладно.

О р л о в. Ты о чем все думаешь?

С у в о р о в. Жил такой богатырь Али-бек...

О р л о в. Все об одном?

С у в о р о в. Ладно, пожалуйста.

Входит Д о р о ш е н к о.

Д о р о ш е н к о. А-а! Это городские.

Ребята вскакивают.

М у р з и к о в. Откуда ты вынырнула?

Дорошенко. По тропке подошла.

Орлов. А почему же мы не слышали?

Дорошенко. А потому, что я не хотела.

Орлов. Как же так?

Дорошенко. Очень просто. С детства отец меня на охоту брал — сыновей не было, так он дочку. Приучилась ходить так, что зверь не услышит, не то что городской человек.

Орлов. А ты кто?

Дорошенко *(спокойно, с достоинством протягивает руку Суворову, потом ребятам)*. Я? Анна Дорошенко. А вы чьи?

Суворов. Свои собственные.

Дорошенко. Фамилия вам?

Суворов. Я — Суворов. А это — Мурзиков. А это — Орлов.

Дорошенко. Прогуливаете себя? Или комиссия?

Суворов. Да скорее, гражданка Дорошенко, комиссия.

Дорошенко. Чего проверяете?

Суворов. Горы.

Дорошенко. Все ли на месте, не унес ли кто?

Суворов. Вот-вот.

Дорошенко. А теперь, товарищ Суворов, пошутили — и лясы убрали. Я бывшей станицы Верхней, теперь колхоза, — я там председатель. По делу пришли — помогу, в чем моя возможность. Так идете — идите, не вредите. Вот мои документы.

Суворов. Мы верим. Мне в городе, в исполкоме, о вас говорил Сергей Яценко.

Дорошенко. Знаю. Человек твердый.

Суворов. И он о вас так говорил. Письмо к вам имеется от него. Мурзиков, дай-ка мешок. *(Роется в мешке.)* Вот оно... Товарищу Дорошенко.

Дорошенко. Так, хорошо встретились. *(Садится к костру. Расстегивает кобуру револьвера, который висит у нее на поясе. Достает очки.)*

Орлов *(тихо)*. Смотри — очки с револьвером носит.

Дорошенко. А я, малец, вижу не дюже хорошо. Слышу хорошо, а вижу не дюже. Как из револьвера стрелять — сейчас очки надеваю. Потому и ношу вместе. *(Читает.)* Так-так, понятно. Теперь понятно, кто вы. Чем могу — готова помочь.

Суворов. Чаю?

Дорошенко. Спасибо вам... Ну что, вы много нашли, насобирали?

Суворов. И нашли — и потеряли тоже.

Дорошенко. Кого? Чего?

Суворов. Спутница наша в тумане отстала.

Дорошенко. Худо. Большая?

Суворов. Двенадцать лет.

Дорошенко. Городская?

Суворов. Городская.

Дорошенко. Худо. Вернусь — весь колхоз на поиски подниму. Только отсюда до колхоза восемь дней ходу. Ах, это нехорошо. Как мне ее жалко. Небрежность! Разгильдяйство это! Мужик и есть мужик. Разве с ним дите отпустить можно? Шагает, верблюд, а девчонка в тумане, как в угаре, туда-сюда тычется. Халатность это ваша... Эх!.. Искали?

Суворов. Три дня ищем.

Дорошенко. Ох, плохо. А мать, небось, дома спит и сны не видит. Верблюды.

Мурзиков. А ты, тетка, не гавкай. Мы сами себя днем и ночью, наверное, может быть, кроем. Ты совет дай, а гавкать — это легко.

Орлов *(вытирает лоб платком)*. Мы из сил выбились... Вот что.

Дорошенко *(улыбается)*. Что-то по тебе не видно, чтобы ты из сил выбился. Ишь какой гладкий.

Орлов. Это у меня кость такая широкая. А сам я не толстый.

Дорошенко. Так-так. Вы меня, парни, простите, я по-прямому говорю — ведь правда, худо вышло. Теперь, конечно, надо думать, как эту ошибку наоборот выправить. Ругаться поздно.

Суворов. Конечно.

Дорошенко. Будем искать. Плохо, что до колхоза восемь дней ходу.

Суворов. А как это вы так далеко от колхоза ушли?

Дорошенко. У меня там все дела налажены, а я вроде в отпуску. Только не отдыхаю. Ищу. И у меня свои потери, борюсь с ними. Дела заместителю сдала, а сама, как скаженная, через горы, через балки, через камни, хуже дикой кошки или бешеной волчицы. Ищу. Потом скажу, чего ищу. Потеря моя большая, но как-то это некстати после человека об овцах говорить. А сама, выходит, и сказала. Да. Всякому свое. Пять овец, племенных, заграничных, на золото купленных, из колхоза пропали. Это он.

Суворов. Кто он?

Дорошенко. Не хочу сейчас говорить. Расстроюсь. Ну, вставай. Попили чаю.

Суворов. Да, да. Так, так. Жил такой богатырь Али-бек.

Дорошенко. Не так говоришь: атаман Алибеков, а не богатырь.

Суворов. Что?

Дорошенко. Атаман.

Суворов. Ты слыхала?

Дорошенко. Что?

Суворов. Про Али-бека.

Дорошенко. Слыхала. Только он не Али-бек, а Алибеков.

Суворов. Это все равно. Слыхала?

Дорошенко. Как не слыхать. У нас в станичном правлении бывшем, теперь в нашей конторе, до сих пор его кувшин стоит. Старинный.

Суворов. Кувшин его?

Дорошенко. Говорят — его.

Суворов. Золотой?

Дорошенко. Самоварного золота.

Мурзиков. Медный?

Дорошенко. Я ж говорю, медный. Да чего вы всполошились?

Суворов *(мечется)*. Говори, прошу тебя. Говори все, что знаешь. Стой, Суворов, успокойся. Не лазь за револьвером, тетка, я сейчас в себя приду.

Дорошенко. Я за очками. Посмотреть, что ты.

Суворов. Потом все поймешь. А сейчас говори все, что знаешь. Это огромное дело, тетка. Всесоюзное.

Дорошенко. Ага... Так... Ну, попробую тебе доложить все, что знаю. Знаю-то немного... Одну песню.

Суворов. Спой.

Дорошенко. Пела, пока молода была, не председательствовала. А теперь мне тридцать два года. Я так скажу. Идет?

Суворов. Как хочешь.

Дорошенко. Договорились... Ну, тогда слушай, коли не шутишь...

Атаман Алибеков — молодой молодец.
Он в плечах широк, а в поясе с вершок,
Он в гору идет, как пляшет,
Он под гору идет, как хочет.
Славный казак Алибеков-атаман
Черкесов, казаков на бой вызывал:
“Сделали мне дети одежу,
Крепку одежу, хорошу.
В сердце бей али бей по плечам,
Бей, дозволяет Алибеков-атаман”.

Первый ударил — кинжал потерял,
Турецкий кинжал пополам поломал.
Второй ударил — шашку сгубил.
Шашка об одежду тупится.
Пика гнется, раскалывается.
Пуля зазвенит — назад летит.
Ай, Алибеков, Алибеков-атаман!
Казаков, черкесов он похваливает,
Каждого подходит одаривает:
"Вот тебе блюдо за турецкий кинжал.
Вот тебе кувшин за шашку твою,
Вот тебе щит за пику твою,
Вот тебе чарку за пулю твою!
Ударь ты по чарке — гул пойдет,
Звенит она, гудит, разговаривает".
Новые подарки как солнце горят.
А сам, атаман, бел-невесел сидишь?
Чем недоволен, Алибеков-атаман?
"Тем недоволен, что ходил по горе,
Ходил по горе, по глубокой норе,
Добывал я подарки, выковывал,
Сам себе могилу выкапывал.
Подарки звенят, а я приутих...
Катится блюдо, а я прилег.
Щит, он от холода защитник худой.
Чарка звенит, хоронить меня велит
Буду прощаться, в гору собираться,
Чтобы, где я жил, там и кости сложил".

Все!

Суворов. Так я и знал. Я был прав. Али-бек богатырь, он же Алибеков-атаман, жил в этих местах. Его убила вредная работа на медных рудниках. Тетка! Товарищ Дорошенко, тут есть в окрестностях медные рудники... Откуда у вас эта песня?

Дорошенко. Слепец пел.

Суворов. Он ее у кабардинцев взял?

Дорошенко. Все возможно. Он у нас по всем аулам ездил.

Суворов. Тетка, ты пойми. Вот тебе подарок, ему подарок, всем, всей стране. Есть в Ленинграде Геолком — Геологический комитет. Я — здесь, дру-

гие — на Урале, третьи в пустынях жарятся, четвертые в тундре мерзнут, — все мы одно дело делаем: стране нужно железо, медь, уголь, нефть, апатиты, фосфориты, золото, ртуть...

Дорошенко. Это, парень, мне все известно. Ты об Али-беке...

Суворов. Постой! Страна растет. А я разведчик жадный. Слышала, нашли ребята богатейшую железную руду? Стрелка компаса над залежами плясала, портилась. Ребята заметили, сделали вывод — и пожалуйте наверх, руда!

Дорошенко. Слышала.

Суворов. Запомни. А я как раз изучал историю медного дела в России. И запало мне в голову: откуда так много старинной медной посуды было на Кавказе? Там не слишком богатые медные рудники и теперь, а раньше, когда медь вручную плавили...

Дорошенко. Так...

Суворов. Откуда? Должны быть брошенные рудники. Метался туда-сюда, того расспрошу, там пятьдесят страниц прочту из-за одной строчки. Кружу около — и натолкнулся на старинные кавказские песни разных народностей. И перевели мне пять песен товарищи-вузовцы из Института восточных языков. Компас помнишь? Стрелка указала на железо, а песня указала на забытые медные рудники, и что они примерно в этих местах, и что брошены на полном ходу во время старинной какой-то войны. Вот твоя песня — одна из этих пяти, только переделана на казачий лад.

Дорошенко. Ага, понятно.

Суворов. Три года я каждое лето приезжал сюда. Сговорился с Геолкомом. Геолком сказал — ищи. Найдешь — наметь дорогу. Разом двинем по твоей наметке большую экспедицию, с инженерами, учеными, экспертами. Три года кружил я, нашлись теперь следы: кувшин у вас в конторе, песня...

Дорошенко. Так. Я очень рада. Ты, может, сам не знаешь, как рада. Дикость кругом, горы... Ты путь наметишь, — значит, недалеко завод вырастет, железная дорога скорей пройдет, новая, электрическая, по плану намеченная. Ты, может, не знаешь, а я знаю — это по врагу страшный удар.

Суворов. Знаю. Все связано.

Дорошенко. Такой мой план. Слушайте, мужики. Веду я вас через аулы, через коши — пастушеские шалаши. И всюду мы опрашиваем о наших потерях и о нашем деле.

Мурзиков. И про Птаху будем спрашивать?

Дорошенко. Ее Птаха фамилия? Про нее первым делом.

Мурзиков. А что, опасно?

Дорошенко. Опасно. У нас ведь заповедник. Зверя — видимо-невидимо.

И человек не всякий хорош...

Орлов. Что? Бандиты?

Дорошенко. О бандитах давно не слышно. Но есть типы похуже бандитов... Счастье еще, что старик Иван Иванович Грозный по ту сторону Старого Русла ходит.

Орлов. А на что ему Птаха?

Дорошенко. Худой человек. Всякому зверю — первый друг. С деревьями разговаривает. Слыхали люди: стоит он у самой чащи, а оттуда тур башку выставил. Башка бородатая, ножки тонкие, рога в землю упер, слушает. Грозный говорит, а он башкой кивает — дескать, понимаю, договорились.

Мурзиков. Да ты, председательша, кажется, того...

Орлов. Меня толстым ругала, а сама суеверная...

Дорошенко. Я — суеверная? У меня, браток, за две декады до срока план по уборке выполнен. А горы — это, брат, горы! Идем. Только помяните мое слово: если попадет ваша Птаха к Ивану Ивановичу Грозному в лапы — плохо ее дело, пропало ее дело.

Занавес

Декорация первой картины.

Птаха *(кричит).* Де-ед! Где же ты? Де-ед! Идет кто-то. Ну, что мне делать? Мертвой притвориться? Говорят, медведи мертвых не едят... Или крикнуть? Говорят, медведи крику боятся. Главное, не струсь, не струсь... Чего трусить? Позор! Медведь — подумаешь! Млекопитающее — и больше ничего! Вроде коровы. Идет. *(Кричит в кусты.)* Пошел вон! Брысь! Вон! Вон! Вон!

Из кустов выходит человек.

Человек. Постой. Зачем сердишься?

Птаха. Я думала, ты медведь...

Человек. Я не медведь, я молодой человек. Здравствуй.

Птаха. Здравствуй.

Человек. Ты что делаешь здесь?

Птаха. Блуждаю. От своих отбилась. А ты?

Человек. Хожу. Как тебя зовут?

Птаха. Птаха. А тебя?

Человек. Али-бек богатырь.

Птаха. Почему?

Человек. Я сильный очень. Что за сумка у тебя?

Птаха. Деда сумка, Ивана Ивановича.

Али-бек. Какого Ивана Ивановича?

Птаха. Грозного.

Али-бек. Я грамотный, хорошо по-русски говорю, зимой учиться поеду... Зачем обманываешь меня?

Птаха. Я не обманываю.

Али-бек. Обманываешь... Грозный по той стороне ходит. Мы знаем... Он там, а сумка здесь?

Птаха. Ну да. Я есть хотела — он бросил. Он добрый.

Али-бек. Он добрый? Земля белая... Небо черное... Листья синие... Что говоришь? Ты не здешняя, не знаешь... Он...

Птаха. Да вот он идет.

Али-бек. Уйдем.

Птаха. Куда уходить? Что за глупость!

Али-бек. Я его не люблю...

Грозный *(подходит к краю пропасти)*. Это ты с кем же, Птаха?

Птаха. Чего спрятался, Али-бек?

Грозный. А-а! Да это Али-бек богатырь.

Али-бек. Зачем топор в руках? Говори...

Грозный. Ты что сердитый такой сегодня?

Али-бек. Умней стал.

Грозный. Умней стал — радоваться надо, а ты сердишься. *(Начинает рубить дерево, растущее у края пропасти.)*

Али-бек. Что делаешь?

Грозный. Дерево рублю.

Али-бек. Зачем?

Грозный. Увидишь.

Али-бек. Я тебя не люблю.

Грозный. Не любишь? Эх-хе-хе... Да-а. Встревоженный народ в горах живет, Птаха. Сегодня ничего, завтра сердит. Ну говори, чего меня не любишь? Что за темный разговор по горам пошел?

Али-бек. Я не темный, я грамотный. Я книжки читал. Я молодой человек, ты — старый.

Грозный. Ну, так что?

Али-бек. Старый казак обижал горцев...

Г р о з н ы й. Ну... ты думаешь, это я обижал?

А л и - б е к. Идешь лесом — яблоня растет. Садовая яблоня. Яблоки с кулак, белые... в лесу... Откуда?

Г р о з н ы й. Известно откуда.

А л и - б е к. Не руби, слушай.

Г р о з н ы й. Я и так слушаю.

А л и - б е к. Откуда в лесу яблоня, знаешь? Сто лет назад через горы до самого Черного моря сады шли. Сто тысяч миллионов яблонь, вишен, черешен... Что осталось? Десять яблонь, две черешни... Дорога шла, мосты шли — где они?

Г р о з н ы й. Могу тебе спокойно ответить: сады лесами поросли, мосты погнили, дороги обвалами позавалило.

А л и - б е к. Почему?

Г р о з н ы й. Сам знаешь... Царь Николай Первый Кавказ покорил, все разорил. Которые горцы дальше в горы убегли, которые в Турцию подались, все бросили. Лет шестьдесят только лес тут рос да зверь бродил.

А л и - б е к. Живая была земля. Ты ее дикой сделал, зверю отдал.

Г р о з н ы й. Не я, а в старые времена это было.

А л и - б е к. Я думал, все старые казаки и русские — враги, давно они убиты, убежали, поумирали. Я думал, все новые казаки и русские — друзья.

Г р о з н ы й. Правильно.

А л и - б е к. Товарищи.

Г р о з н ы й. Спокойно, спокойно.

А л и - б е к. По-русски занимался, старался... Говорю, как русский. Книги читаю. Учиться зимой поеду.

Г р о з н ы й. Ну, так за что ты на нас сердишься?

А л и - б е к. Ни на кого, только на тебя я сердит. Все мы из мертвой земли опять живую делаем, а ты нет. Ты вредный старик, старый казак, заговорщик.

Г р о з н ы й. Чего болтаешь? Спокойно отвечай. С кем у меня заговор?

А л и - б е к. Со зверями.

Г р о з н ы й. Эх, ты, а еще грамотный.

А л и - б е к. А почему скот пропадает?

Г р о з н ы й. Медведь режет.

А л и - б е к. А кровь где, кости где?

Г р о з н ы й. Не знаю. *(Оглядывает дерево.)* Ну, кажись, готово. Поберегитесь, товарищи, маленько. *(Наваливается на дерево плечом.)*

Подрубленное дерево трещит, накреняется, валится сначала

медленно, а потом все быстрей, быстрей. Падает верхушкой на ту сторону Старого Русла.

Али-бек. Зачем дерево повалил?

Грозный. Мост сделал. *(Идет по дереву спокойно, как по земле.)*

Али-бек бежит ему навстречу. Встречаются над пропастью.

Али-бек. Не пущу. Нет.

Птаха. Что вы? Ненормальные! Как же вы разойдетесь?

Али-бек. Здесь наш скот пасется, бывшего аула, колхоза "Красный кабардинец"...

Птаха. Повернитесь. Стали, как бараны.

Грозный. Спокойно, Птаха. Не бойся. Он сейчас меня пустит.

Али-бек. Не пущу. Нет.

Грозный. Зачем не пустишь?

Али-бек. Дорошенко про тебя мне все сказала.

Грозный. Она? Вот откуда ветер тучи пригнал...

Али-бек. Она большой человек, муллу переспорила, богачей услала; в станице первая, в ауле почетный гость. Она все видит.

Грозный. Пусти, Али-бек.

Али-бек. Знаешь, за что меня богатырь Али-бек прозвали?

Грозный. Знаю... За силу.

Али-бек. Возьму тебя на руки, вниз брошу.

Грозный. Птаха, назад!

Птаха побежала по дереву к ним. Зашаталась. Села.

Птаха *(грозит кулаком Али-беку)*. Нельзя вниз бросать.

Али-бек. Ложись на дерево.

Грозный. Глаза закрой. Поворачивайся, глупый, идем ей поможем.

Птаха. Я не боюсь... Это интересно... Това... товарищи...

Грозный. Бери ее за плечи. Тихонько... Держи...

Птаха. Пожалуйста, оставь. Ерунда! *(Встает. Довольно уверенно уходит обратно.)*

Грозный и Али-бек за ней.

Я этого старика давно знаю... Это кремень-старик. Вот. Ты, не знаю отчего,

поглупел, и больше ничего. Идем, товарищ Грозный.

Али-бек. Девочка, ты прохожая, ты ничего в горах не понимаешь. Что в городе верно, в горах глупо... Не ходи с ним. Я могу тебя в кош проводить, будешь с пастухами, стариками сидеть, своих ждать...

Грозный. Иди, коли хочешь, он человек верный.

Птаха. Нет, дед, я тебя давно знаю, с тобой пойду.

Али-бек. Я у стариков отпрошусь. Я за вами следом. Мне жалко ее.

Грозный. Хочешь — так, а лучше помоги, поищи, где ее товарищи. Мы пойдем на Атаманово гульбище, а ты правее, на Абаго. Может, ты раньше встретишь, скажешь им, что, мол, жива Птаха.

Птаха. Скажешь — мне стыдно, что я им работу срываю.

Грозный. Скажешь, куда ушли. Прощай! Идем, Птаха.

Уходят.

Али-бек *(один)*. Вернись, девочка. Не знаешь, с кем ушла. Разве он тебе товарищ? Он зверю, дереву, камню товарищ. Пропала девочка! Беги назад, пока не поздно! Это вредный старик. Старый казак. Заговорщик...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Темно. Горит костер.

Орлов. У меня с шапки льет... прямо на спину.

Мурзиков. Сними.

Орлов. Снять — волосам холодно.

Мурзиков. Ближе к костру сядь...

Орлов. Не высохнуть все равно... никогда. Мокро.

Мурзиков. Так бы и спихнул тебя с горы.

Орлов. Почему?

Мурзиков. А мне не мокро? А у меня по спине не льет? Штаны к ногам не липнут? В башмаках не хлюпает? Мне тоже кажется, что в жизни во веки веков не обсохнуть, не согреться, однако же я молчу. Подтверждаю, что интересно.

Орлов. А что интересно-то?

Мурзиков. Все.

Орлов. И дождик?

Мурзиков. Дождик мы обошли.

Орлов. Ничего себе — обошли! Льет, льет, льет...

Мурзиков. Льет... А костер мы не развели? А?

Орлов. Ну развели...

Мурзиков. Сколько раз я в школе читал, что понизу в горах идет лиственный пояс, где похолодней — хвойный. Еще выше — травы, мхи, лишайники...

Орлов. Не учи ты меня! И без того нехорошо.

Мурзиков. Где нас дождик захватил? В лиственном поясе. Дубы кругом. Надо костер развести? Надо. Горит мокрый дуб? Не горит. Что делать?

Орлов. Задается, будто сам придумал, что делать...

Мурзиков. Ну, Шура придумал. Так что? Интересно... Дуб мокрый не горит, хвоя мокрая горит... Значит, надо лезть из лиственного леса в хвойный. Прямо вверх на гору. Интересно. Лезем, а я не верю, что правда пояса бывают. Неужели, думаю, правда? И вдруг прилезли в хвойный пояс. Интересно!

Орлов. Очень интересно. Лезем, ветки прямо по морде лупят, камни из-под ног катятся, змеи в кустах шуршат.

Мурзиков. Где ты видел змей?

Орлов. Ну не видел, зато слышал.

Мурзиков. А костер развели?

Орлов. Ну развели...

Мурзиков. А больше всего я удивляюсь, что, как в книжке написано, так и вышло. Лиственный пояс, хвойный пояс — чудеса!

Орлов. Как будто у меня один бок уже согрелся... Пар из меня идет, как из бани... *(Смеется.)*

Мурзиков. Чего смеешься?

Орлов. Смешно... Вода кругом льет, а чаю не из чего вскипятить...

Мурзиков. Сейчас принесут. Дорошенко знает — рядом ключ. Вода, говорит, сладкая, пьешь и радуешься.

Громкий вздох откуда-то сверху.

Орлов. Что такое?

Мурзиков. Ни... не... не ври...

Орлов. Чего не врать?

Мурзиков. Ничего не было...

Орлов. Кто-то охнул...

Мурзиков. Это мне показалось...

Орлов. А мне?

Мурзиков. А ты известный трус. Ничего не было... Ну, слушай. Видишь, как тихо. Только вода по соснам шумит. *(Прислушивается.)* Все спокойно.

Сверху Голос. Ой-ой-ой-ой-ой! Отвяжите, я не виноват.

Орлов и Мурзиков схватывают друг друга за руки.

Орлов. Покричать?

Мурзиков. Молчи.

Орлов. Я покричу.

Мурзиков. Молчи.

Голос. Ибрагим-бек, отпусти, друг. Я свой.

Орлов. Ты кто?

Тишина.

М у р з и к о в. Какой осел на дерево залез?

Тишина.

О р л о в. Зачем? Кто?.. Кто сверху нас пугает?

Тишина.

М у р з и к о в. Молчишь?.. Я... я... я достаю пистолет... из... из ножен. Я стреляю.

Из темноты выходят Д о р о ш е н к о и С у в о р о в, несут на палке ведро.

С у в о р о в. В кого же вы стреляете, орлы?

О р л о в. Шура, с дерева человек разговаривает.

С у в о р о в. Ишь ты? Ну, ставьте воду на костер. Живей! Согреться надо. Находка есть, ребята. Сейчас рассмотрим находку.

М у р з и к о в. Да погоди ты с находкой... Тут голос.

С у в о р о в. Какой?

М у р з и к о в. Голос жаловался сверху, вздыхал.

Д о р о ш е н к о. Ветер, должно.

О р л о в. Ветер слова говорил.

Д о р о ш е н к о. Какие?

О р л о в. Мы не поняли.

С у в о р о в. Это, ребята, горная болезнь. Здесь наверху давление воздуха меньше, от этого отлив крови от головы... в ушах звон. *(Рассматривает при свете костра какие-то листочки.)*

М у р з и к о в *(Орлову)*. Видишь? Я же тебе говорил... Это явление природы и больше ничего. Болезнь.

О р л о в. Чего брешешь?.. Сам, небось, сдрейфил. Когда люди пришли, я тоже думал, что явление природы... А тогда ясно я слышал... Шура, а от горной болезни слова разве могут слышаться?

С у в о р о в *(орет)*. Ура! Тетка, ура! Ребята, ура! *(Пляшет.)*

Д о р о ш е н к о *(достает очки)*. Взбесился!..

С у в о р о в. Обрадовался...

О р л о в. У тебя горная болезнь...

С у в о р о в. Какое там! Птаха нашлась. Ай, умница! Ай, разумница!

Д о р о ш е н к о. Как нашлась?.. Где она?.. Чего буровишь?

С у в о р о в. Получены от нее письма.

Д о р о ш е н к о. Какою почтою?

С у в о р о в. Горною. Ты ворчала, что я в сторону отхожу, когда мы за водой шли. Помнишь?

Д о р о ш е н к о. Продолжай... кратенько, кратенько.

С у в о р о в. Я отходил, потому что белеет что-то в темноте. На деревьях, гляжу, бумажки, булавками приколотые. Я их забрал.

М у р з и к о в. Верно. У нее, у дурищи, полная коробочка жестяная булавок. С цветочком коробочка.

С у в о р о в. Разглядел при свете — это от нее записки.

Д о р о ш е н к о. Ну и прекрасно. А где она? Где идет?

С у в о р о в. Сейчас. Дождь смыл много слов. Вот подпись. Ее?

М у р з и к о в. Ее. Ее окаянные буквы. Вроде комаров подыхающих ее буквы. Лапки в одну сторону, ножки в другую.

О р л о в. Не мешай. Читай, Шура.

С у в о р о в. Сейчас... Вот... "Отставши в тумане..." Дальше смыто. "На третий день погнался за мной медведь... Я от него, он за мной... На повороте медведь поскользнулся и упал..."

О р л о в. Наверно, врет.

М у р з и к о в. Я тебе в ухо дам.

С у в о р о в. "А я через кусты, все ноги исколола."

Д о р о ш е н к о. Ах ты родимая моя, бедная.

С у в о р о в. "На четвертый день..." Дальше все смыл дождик. Одна подпись осталась — "Птах".

О р л о в. Ишь ты! Как мальчишка подписывается — Птах.

М у р з и к о в. Для "а" у нее места на листке не хватило, балда.

С у в о р о в. Дальше вторая записка. Все смыто. Вот ясно: "...даже нес меня на плече... получно..." Видимо, "благополучно". На обороте все ясно: "Я прикалываю на каждом привале десять записок. Одна пропадет — другие найдутся". Умница.

Д о р о ш е н к о. У сладкой воды отдыхала, значит. Кого она встретила? Кто ее, Птаху, на плече нес?

С у в о р о в. Дальше третья записка. "Идем на Атаманово гульбище".

Д о р о ш е н к о. Ага!

С у в о р о в. Что-то такое... "...бирается на колхоз Верхний".

Д о р о ш е н к о. Вон что... Попался ей здешний человек. Немолодой человек. Это старая дорога, забытая дорога.

М у р з и к о в. Почему забыли?

Д о р о ш е н к о. Обвалом ее лет двадцать назад завалило. Низом ходят теперь. А так это дорога самая короткая.

С у в о р о в. "Гроз..." Что такое? "Гроз..." Потом все смыто, потом опять "Гроз..."

О р л о в. Гроза, наверное...

Д о р о ш е н к о. Хорошо, если так.

С у в о р о в. А почему все время "Гроз" с большой буквы? Гроза с маленькой пишется.

О р л о в. А она не дюже грамотная.

С у в о р о в. Последняя записка... "Страшно". Потом все смыто. Опять — "Страшно".

Д о р о ш е н к о. Ах ты родная моя, родимая.

С у в о р о в. Постой... Нет, ничего не понять. Подпись "Птаха" в конце и закорючка.

Д о р о ш е н к о. Страшно ей, пишет?

С у в о р о в. Ну, не очень, коли подпись с закорючкой. Ишь как лихо расчеркнулась. Ну... Здорово?.. Правильно я сказал "ура"?

Д о р о ш е н к о. Пока-то правильно... Есть у меня соображение, к ночи говорить не буду.

М у р з и к о в. Знаю твои соображения. Ха-ха. Думаешь — она твоего страшного старика встретила.

Д о р о ш е н к о. Молчи, парень. Молчи, слышишь?

Г о л о с. Охо-хо-хо-хо! Развяжите меня.

С у в о р о в. Что это?

Г о л о с. Отпустите меня!

О р л о в. Это же горная болезнь.

С у в о р о в. Какая там горная болезнь?

Г о л о с. Птаха пропала! Девочка погибла!

С у в о р о в. Кто там каркает?

Тишина.

Тебе говорю — кто там?

Тишина.

Д о р о ш е н к о. Подбрось хвои. Живей шевелись. Дуйте, ребята. Ну, во всю силу.

Мурзиков. Дуем.

Дорошенко. Шибче.

Орлов. Я тебе не насос. Дую сколько могу.

Дорошенко *(надевает очки. Вглядывается вверх)*. Не разберу. Прыгает пламя. Еще хвои.

Суворов. Человек там как будто.

Дорошенко. Да, похоже.

Суворов. Он привязан к дереву. Эй! Ты там! Кто ты? Кто тебя привязал? Эй!..

Голос. Что такое? Кто такой?

Суворов. А ты кто?

Голос. Я?

Суворов. Ну да.

Голос. Али-бек богатырь.

Суворов. Брось шутки шутить.

Голос. Правду говорю.

Дорошенко. Ах, вот это кто. Здорово, знаком.

Голос. Товарищ Дорошенко. Ты что тут делаешь?

Дорошенко. Я-то у костра греюсь. А ты что там делаешь?

Голос. Я сплю.

Дорошенко. Спишь?

Голос. Сейчас уже проснулся, разгулялся. А то спал.

Дорошенко. Это ты, значит, во сне кричал?

Голос. Наверно. Я поясом к дереву привязался, неудобно спал, голова затекла. Сейчас слезу.

Треск веток наверху.

Дорошенко. Это он от зверья забрался повыше, ветку поудобней выбрал, поясом прикрутился и спал себе, как дите в люльке. Многие так в лесу ночуют, когда в одиночку идут.

Али-бек слезает сверху.

Али-бек. Здравствуйте. Вы кто?

Мурзиков. Ты зачем кричал: “Птаха погибла”?

Али-бек. Постой-постой. Ты ее товарищ?

Суворов. Да, да, все мы. Ты ее встретил? Ты ее вел?

Али-бек. Ах, товарищ дорогой. Я ее встретил, да не я ее вел.

Дорошенко. А кто?

Али-бек. Грозный.

Суворов. Слушайте, вы говорите прямо, что вы плохого знаете об этом Грозном. Что он такое? Бандит?

Дорошенко. Хуже.

Суворов *(Мурзикову)*. Что ты хнычешь?

Мурзиков *(всхлипывает)*. Вот дура! Ведет ее дурак какой-то, а она, как тот Мальчик-с-пальчик, записочки кидает.

Орлов. Тот камушки бросал.

Мурзиков. Все равно противно. Дура какая.

Суворов. Что такое Грозный? Говорите толком.

Дорошенко. Что, что? Должность у него — сторож, лесник, заповедник сторожит... А на самом деле... Землю ты знаешь? А что внизу под землей — не сразу понятно... Темно там... А как зверь ходит, о чем говорит — понятно?.. Это еще темнее... Слушай. Я сама этого старика даже уважала и любила, но вот был вечер в клубе, живая газета... Помню хорошо: ревет ветер, прямо ураган, валит по станице людей, деревья скрипят, лист летит, собаки попрятались, коровы мычат — тревожатся. А в клубе чисто, светло, рояль играет. Исполнялось так: артистка одна танцует новую дорогу, железную, электрическую, что по плану намечена через горы, а другая танцует дикую природу — то нападает на дорогу, то прячется. А классовый враг с другого боку. И так мне захотелось скорее дорогу. Чтобы ушла эта дикость. Ураган свистит...

Али-бек. Грязь летит — очень плохо...

Дорошенко. И вижу я — мрачен сидит наш Иван Иванович Грозный и не смеется, когда природа удирает, прячется.

Али-бек. Жалеет ее.

Дорошенко. Я прямо и спросила: что, тебе ее жаль? А он: зверя мне жаль. Образовать, говорит, его нельзя, грамоте не обучить. Ему приходит конец и гибель... Проговорился. Стала я примечать, да по халатности запустила я его. И так кругом врагов хватало: и бывшие враги, прямые, в новой шкуре, и лень собственная, и дикость... Как, может быть, бешеная волчица, дралась я за план. Победили мы. Хочу отдохнуть — и новая беда. Скот пропадает. Давно пропадает. Где он? Ясно где. Старик его к друзьям отводит.

Орлов. Куда, куда?

Дорошенко. Зверям скармливает.

Али-бек. Зверям, понимаешь?

Суворов. Ай, спасибо за сказку.

Дорошенко. Какую сказку?

Суворов. Эх, тетка, тетка, и ты еще не вполне освоена. Что ж тут удивительного? Старик всю жизнь заповедник берег, лесником служил — ясно, он зверя жалеет.

Орлов. Бежит кто-то.

Мурзиков. Сюда бежит.

Вбегает Грозный.

Грозный. Братцы, товарищи.

Али-бек закрывается руками.

Дорошенко. Ваня, ох, Ваня.

Грозный. Это вы? Городские? Птахины?

Дорошенко. Они.

Грозный. Я вашу девочку нашел.

Суворов. Где она?

Грозный. Спокойно. Она... Веревки нужны. Веревки есть у вас?

Суворов. Нет.

Грозный. Бегите бегом к Золотому провалу. Говорите с ней, успокаивайте. Спокойно говорите. Она жива, цела, только земля под ней осела.

Дорошенко. Куда бежишь?

Грозный. К тайнику за веревкой.

Дорошенко. Не пущу.

Грозный. Не дури. *(Отталкивает ее, убегает.)*

Дорошенко. Ах я дура! Баба закрепощенная. Не посмела мужика удержать. Ну, идем, шляпы.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

У провала.

Дорошенко. Птаха! Ты живая? Птаха! Молчит!.. Может, это не тут? Да нет, он это. Золотой провал. Птаха! Нету ее. Вот оно, дело проклятое. Вот он, окаянный старый саботажник, что сделал, как подвел. Бросил дите на камни

вниз. Идите, волки, пожалуйте, медведи, — вот вам пай за мою безопасную охоту. Вредитель. Хоть бы задержали его, так нет. Пустили... Птаха...

Птаха *(глубоко снизу)*. Идите, идите себе мимо.

Дорошенко. Кто говорит?

Птаха. Ничего, ничего. Этого не бывает. Не испугаете.

Дорошенко. Да разве же я пугаю. Это ты, Птаха? А? Чего молчишь? Птаха!

Птаха. Как же вы не пугаете, когда незнакомым голосом меня по имени зовете.

Дорошенко. Птаха! Живая ты? Вот чудеса-то!

Птаха. Никаких нет чудес. Я лежу на камнях совершенно спокойно. Вон даже светает. Никаких нету чудес.

Дорошенко. Птаха!

Птаха. Довольно, довольно. Еще ночью, когда шуршало чего-то, я, может быть, боялась. А теперь вижу — обыкновенная елочка, с одного бока ободранная, вместе со мной съехала, стоит возле и шуршит иголками. И вас я хоть и не вижу, а понимаю, что все очень просто. Вы или мираж, или какое-нибудь горное эхо. Мы проходили в школе.

Дорошенко. Совершенно верно, умница.

Птаха. Вы, значит, мираж?

Дорошенко. Не то, а все очень просто. Я колхоза председательница, Дорошенко, ребят твоих встретила и Грозного. Узнала, что в опасности, и бегом сюда.

Птаха. А они, а наши?

Дорошенко. Они люди городские, тише идут, их Али-бек ведет.

Птаха. Встретились! Ай да я! Я хоть и пропаду, да найдусь. А, тетка?

Дорошенко. Лежи, лежи тихо.

Птаха. А меня они не заругают? А?

Дорошенко. За что? Обрадуются.

Птаха. Ну да, обрадуются. А Грозный?

Дорошенко. Убежал.

Птаха. Куда?

Дорошенко. Говорит, веревку искать.

Птаха. Меня вынимать?

Дорошенко. Может быть, так, а может, и не так... Старик хитрый...

Птаха. Что вы все на него... Я его давно знаю — он добрый.

Дорошенко. Добрый... У нас в горах говорят: кто тридцать лет охотник и все жив-здоров, тот человек недобрый. Он зверям скот скармливает за свою

безопасную охоту...

Далекий грохот.

Птаха. Это еще что? Гром?

Дорошенко. Нет, не гром.

Птаха. А что?

Дорошенко. Обвал. После дождя земля размякла. Катятся камни, другие за собой сбивают.

Птаха. Знаю, мы в школе проходили...

Дорошенко. Да не вертись ты, того и гляди, дальше сползешь.

Птаха. Не сползу, тетка. Я очень живая, не могу так лежать. Скоро меня вынимать будут?

Дорошенко. Скоро, скоро.

Вбегает Али-бек.

Али-бек. Живая?

Дорошенко. Даже, пожалуй, что и слишком. Так и крутится, как тот волчок. Герой! Где все?

Али-бек. Толстый мальчик башмак переобувает. Муравей ему залез, кусает палец. Сейчас будут.

Птаха. Али-бек!

Али-бек. Сейчас все тут будут.

Птаха. Здравствуй!

Али-бек. Здравствуй! Сейчас они идут.

Птаха. Покажись, где ты?

Али-бек. Не могу.

Птаха. Почему?

Али-бек. Стыдно... Ой, вот! Суворов пришел! *(Убегает.)*

Суворов. Ну что?

Дорошенко. Молодец девочка. Лежит, не скулит, не ноет.

Суворов *(заглядывает вниз)*. Ну, Птаха! Эх, Птаха!

Птаха. Ты, Шура, не ругайся. Ты радуйся.

Суворов. Я радуюсь... Я только... Ну, Птаха! *(Тихо Дорошенко.)* Ну и высота!

Вбегают бегом Орлов и Мурзиков.

Мурзиков. Где она?
Суворов. Сейчас увидишь.
Орлов. Доставать будем?
Суворов. Подождем веревок.
Мурзиков. Неужто без этого нельзя?
Суворов. Подите взгляните, только без глупостей — поняли?

Мурзиков и Орлов заглядывают в провал.

Мурзиков. Тю!
Птаха. Тю на тебя...
Мурзиков. Валяется на камнях над пропастью — смотреть противно.
Птаха. Шура, чего он дразнится?
Мурзиков. Почему это я не сверзился, Орлов не сверзился, а ты не можешь без фокусов? Тогда заблудилась, а теперь новое безобразие.
Птаха. Шура, чего он лезет? Что я, виновата? Шла, а земля подо мной осела. Еще похвалите, что я жива.
Орлов. Эх, гадость какая! Как глубоко... Меня даже затошнило... А тебя тошнит, Птаха?
Птаха. А меня нет. Съел?
Суворов *(ребятам)*. Подите сюда. *(Орлову.)* Что вы ее, головы дурацкие, пугаете? Высота... Затошнило... Поймите, что она чудом на уступе держится... Лежит над пропастью, не жалуется, не боится. Ее развлекать надо, пока веревки принесут, а вы тут... Умники!
Мурзиков. Не будем. Птаха!
Птаха. Чего?
Мурзиков. Хочешь монпансье?
Птаха. Шура, он опять...
Мурзиков. Я не опять, дурочка... Я тебе на ниточке спущу. Ладно?
Птаха. Давай, Шура, погляди, чтоб он мне соль не спустил или гадости какой-нибудь.
Суворов. Ладно. Где Али-бек?
Дорошенко. Прячется.
Суворов. Почему?
Дорошенко. Говорит, стыдно ему.
Суворов. Чего стыдно?
Али-бек *(из-за скалы)*. Старика испугался.
Суворов. Что?

Али-бек. Старика Грозного испугался. Стыдно мне. Зверя не боялся, буйвола бешеного не боялся — от старика рукой закрылся, как маленький. Надо было взять...

Дорошенко. Это он сам... старик-то, навел... Его штуки, дикие его штуки... Ты ни при чем.

Птаха. Ох, позор, позор, позор...

Али-бек. Меня ругаешь?

Птаха. Да больше тетку.

Дорошенко. Меня? За что же это?

Птаха. Солнце светит. Все освещает. Кругом тепло. Жучки повылезли, бегают, работают. А вы такие глупости говорите, как будто ночь.

Дорошенко. Это, Птаха ты моя дорогая... хитрый старик, скрытный... Это и днем и ночью скажу.

Суворов. Довольно сказок. Старик сейчас придет.

Дорошенко. Дождешься!

Суворов. Дождусь! Не достать Птаху без веревок. Я, болван, виноват. Думал, иду с ребятами, буду ходить легкими дорогами, и кинул веревки. А того, что вышло, не предвидел. Ну, хорошо, хоть так дело кончается. Али-бек, ты мне нужен. Хотел по дороге с тобой говорить, а ты все вперед, в глаза не глядишь.

Али-бек. Стыдно.

Суворов. А стыдно, так заглаживай вину. Отвечай на вопросы. Почему тебя Али-бек богатырь прозвали? Только за силу?

Али-бек. Нет, не только... Еще за то, что... Только я сейчас рассказывать не могу...

Суворов. Ничего, ничего. Птаха, лежи спокойно, чтобы я о тебе не беспокоился. Жди старика. Веревку принесет.

Птаха. Подожду, ничего! Я монпансье грызу.

Суворов. Ну и ладно. Ну, Али-бек, говори... Напугаешь ты меня или обрадуешь?..

Али-бек. Я... Только я рассказываю не очень хорошо.

Суворов. Говори, не томи...

Али-бек. Прадедушка моего дедушки Али-бека хорошо знал.

Суворов. Самого Али-бека?

Али-бек. Его самого. Как я Дорошенко знаю, как я тебя вижу, он его каждый день видел. Али-бек высокий был, седой. Одна рука, пальцы — зеленые от работы. Сильный был. Ударит быка между рог — бык перед ним на колени и кланяется. Возьмет березку, из земли дернет, ножом обстругает — на медведя

идет. Прадедушка моего дедушки у него на руднике работал.

Суворов. Где?

Али-бек. У него на руднике.

Суворов. Где рудник?

Али-бек. Там, внизу... Золотой провал — это дорога была.

Грохот слышней, ближе.

Птаха. Опять обвал!

Суворов. Ничего, Птаха, это далеко. Тут дорога была, говоришь? Прямо боюсь верить...

Али-бек. Почему не верите? Я нехорошо говорю, но только я правду говорю. Нету старых дорог. Слыхал обвал? Может быть, он, наверное, тоже какую-нибудь дорогу завалил. А мало ли их за двести лет было! Прадедушка моего дедушки у Али-бека работал. А дедушка сам вниз ходил. Шапку нашел железную, круг нашел медный, на круге — полумесяц и звезда. Вот гляди вниз. Глядишь? Вон внизу чернеет. Это поворот. Обойдешь его и вверх. Там рудники.

Суворов. Спуститься можно?

Али-бек. Веревки будут — сойдем.

Суворов. Слышишь, тетка? Дело сделано.

Дорошенко. Никогда так о горах не говори. Надо еще Птаху поднять, самим сойти... Хватит еще дела.

Суворов. Дальше. Говори все, что знаешь. Почему рудники брошены? Сразу говори.

Али-бек. Пришла война, за войной беда. Понял? Война была двести лет назад. Племя на племя пошло. Али-бек перед войной помер, сына убили. Болезни пришли, непогоды, ливни, обвалы. Речка из берегов вышла. А потом — кому рудник? Обеднел народ, разучился. Песня такая есть...

Суворов. Ну?

Дорошенко. Только пой тише. Камень сейчас от голоса и то свалится, обвала не накличь!

Али-бек. Я тихо.

Болезни пришли, непогоды пришли.

За что, почему?

В лесу темно, на душе темно.

А-лай-да-ла-лай.

Вбегает Грозный.

Грозный. Почему воешь?.. Беда?

Суворов. Нет, старичок, наоборот. Где пропадал?

Грозный. Вот веревка. У меня по всему лесу тайники, порох зарыт, пули, топоры, ножи, веревки. В первом тайнике, думал, веревка. Не было. Далеко бегал.

Суворов. А мы, дед, нашли клад.

Грозный. Спокойно. Потом шутить будем. Птаха!

Птаха. Дедушка, доброе утро. А я-то и не слышу, что ты пришел. Пригрелась на солнышке, задремала...

Грозный. Птаха, сейчас тебе веревку опустим, с петлей. Ты петлю под мышки продень и затяни. Осторожно, спокойно, мы тебя вытянем. Держи конец, Али-бек.

Али-бек. Держу.

Грозный. Бросаю, Птаха.

Птаха. Ладно.

Мурзиков. Сейчас подымут, сейчас подымут. Вот я ей покажу.

Суворов. Ну, Птаха, в путь.

Грозный. Тяни, Али-бек. Постой. Тихо-тихо тяни, чтобы камни не покатились. Никто не помогай. Он опытный, у него силы хватит. Главное, не дергай.

Али-бек. Мы сами знаем.

Грозный *(Суворову)*. А ты с ней говори, чтобы она не пугалась.

Суворов. Ладно.

Грозный. Готова, Птаха?

Птаха. Готова... Только мне веревка под мышками щекочет... *(Хихикает)*.

Грозный. Спокойно... Ну тяни, Али-бек. Говори с ней, товарищ.

Али-бек осторожно тянет.

Суворов. Ну, Птаха, во все разведки беру тебя с собой.

Птаха. Что я нашлась — за это?

Суворов. За это. Что не боялась, что записки оставила, что под горой не хныкала. Ты разведчик любопытный, смелый. Мы с тобой целый рудник нашли.

Птаха. Ну да! Я Али-бека этого давно знаю. Кабы я не заблудилась...

Суворов. А ты знаешь, что это значит — нашли рудник? Да еще наполовину только разработанный? Это всесоюзное дело.

Птаха. Ну да, всесоюзное... Чего тихо тянете? Надоело ехать.

Суворов. Скоро, скоро приедешь. Уж больше половины пути проехала...

Резкий удар. Тучи пыли. Грохот, который нарастает и нарастает.

Следите за веревкой.

В тучах пыли, с грохотом между провалом и людьми проносится обвал. Гул замирает.

Али-бек. Братцы, братцы. Веревка стала легкая! Стала. *(Заглядывает.)* Пусто там.

Мурзиков. Шура!

Дорошенко. Так я и знала — быть беде. Уж очень все хорошо сходилось: и девочка нашлась было... я рудники... Вот и пришла беда.

Суворов. Ничего не видно. Пыль вьется. Ну что вы все на меня? Ничего я не знаю, ничего... Вниз надо идти, вниз...

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

У Медного провала.

Суворов. Значит, все ясно. На первой площадке — нет Птахи.

Али-бек. Нету.

Суворов. А земля осела дальше?

Али-бек. Далеко дальше. Оползень, оползень до низа горы.

Суворов. Прямо вниз не сойти.

Али-бек. Всегда было круто, теперь стена. Камни торчат. Голые скалы.

Суворов. Значит, пойдем в обход туда, вниз.

Грозный. Туда дорог нет.

Мурзиков. Почему?

Грозный. Никто туда не ходил.

Мурзиков. Почему не ходил?

Грозный. Не нужно было. Каждый своими путями ходит: путник одним, пастух другим, охотник так, а лесник иначе. А это место было в стороне. Забытое место.

Али-бек. Я думаю, надо скорее идти. Если девочка еще жива, наверное, она внизу скучает очень. Может, поранилась, помощи ждет. Скорей, скорей!..

Мурзиков. А если она погибла, что мы будем делать?

Суворов. Не хныкать, не ныть. Что даром дается?! Пустяк даром дается. Война есть война. Вперед!

Грозный. Как пойдем?

Суворов. Я поведу.

Грозный. Дорогу знаешь?

Суворов. Знаю, как без дороги идти. Вот компас, карта, топорик во льду ступени прорубать, веревки — держать друг друга. Гляди на карту. Здесь мы?

Грозный. Это Абаго-гора? Здесь.

Суворов. Так прямо и пойдем.

Грозный. Речка впереди.

Суворов. Перейдем речку.

Грозный. Ледник по пути.

Суворов. Возьмем ледник.

Грозный. Перевал будет тяжелый.

Суворов. Перевалим через перевал.

Али-бек. Конечно, перевалим.

Грозный. Ну, веди тогда... Если все будет гладко, дня через три-четыре дойдем донизу.

Суворов. Все готовы? Идем!

Дорошенко. А если?..

Суворов. А если что случится, вот эту карту кто уцелеет — спешным, воздушной почтой в Ленинград, в Геолком. Рудник звездочкой помечен. За мной!

Занавес

На леднике.

Суворов. Ноги выше! *(Хлопает в ладоши.)* Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Бей в ладоши! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Что не прыгаешь?

Мурзиков. Мне к вечеру, Шура, всегда невесело.

Орлов. Дурак! Что, мы для веселья пляшем? Чтобы не простудиться, пляшем. Раз, два, три, четыре. А отчего вода была такая ледяная?

Суворов. Оттого, что текла та вода из ледника. Ну что, не ломит больше ноги? Раз, два, три, четыре!

Орлов. Отошли.

Суворов. Прыгай, пока совсем не запыхаешься. Эй, Али-бек!

Али-бек *(издалека)*. Здесь!

Суворов. Что у тебя?

Али-бек. Лед стеной.

Суворов. Эй, Грозный!

Грозный *(издалека)*. Здесь я.

Суворов. Что нашел?

Грозный. Лед. Нет прохода.

Суворов. Дорошенко!

Дорошенко. Сейчас иду.

Суворов. Нашла выход?

Дорошенко. Выход не выход, а Чертов мостик.

Суворов. Ну и на том спасибо. Собирайтесь все сюда. Сейчас пойдем. Согрелись, ребята?

Орлов. Да. А долго еще нам по леднику идти?

Суворов. Может, до заката выберемся, может, всю ночь будем ползти. Ширина ледника — всего полкилометра, надо его взять разом. На льду не заночуешь.

Мурзиков. Шура!

Суворов. Что?

Мурзиков. Почему я по утрам думаю — наверное, Птаха жива, а по вечерам мне кажется - ничего подобного?

Суворов. Устаешь ты к вечеру.

Мурзиков. А ты как думаешь, что она?

Суворов. А я думаю, как бы скорей вас туда привести... вниз. Понял?

Сходятся Али-бек, Дорошенко, Грозный.

Идем.

Дорошенко. Не знаю — возьмем, не знаю — нет.

Суворов. Возьмем.

Дорошенко. Идет тот мостик над ледяной воронкой. Дна у той воронки нету.

Суворов. Дна нам и не нужно.

Дорошенко. Мостик тонкий. Выдержит, нет ли — непонятно.

Суворов. Пойдем! Вперед, товарищи!

Занавес

У Чертова мостика.

Дорошенко. Вот она, моя находка.

Суворов. Действительно, мостик — чертов!

Орлов. А кто его, Шура, строил?

Суворов. Вода да ветер.

Орлов. А кто по нему, Шура, ходил?

Суворов. Мы пойдем первые.

Орлов. А если он, Шура, провалится? Он ледяной.

Суворов. Сейчас увидим. *(Делает шаг к мостику.)*

Грозный. Стой, сынок, дай слово сказать.

Суворов. Говори.

Грозный. Оттуда скажу. *(Как кошка, быстро и ловко карабкается по мостику.)* Хорош мост. Пока что держит. Только перил не хватает. Бросьте мне живее веревки.

Али-бек. Держи.

Грозный. Сейчас обвяжу веревкой.

Суворов. А дальше какой путь?

Грозный. Обыкновенный, ледяной.

Суворов. Пройдем легко.

Грозный. Разве ледник сразу себя покажет? Подойдем — увидим. Ну, вот и перила есть. Карабкайтесь, ребята.

Мурзиков, а за ним Орлов ползут, цепляясь за веревку.

Вершина перевала.

Мурзиков. Шура! Орлов спит.

Суворов. Орлов! Проснись! Вставай, Орлов. Нет, это не спит он.

Мурзиков. А что?

Суворов. Дурно ему. Дорошенко, воды дай.

Дорошенко. Да... *(Встает.)* Ой, и меня закачало.

Али-бек. И у меня, как пчелы, в ушах з-з-з... звенит.

Мурзиков. Открыл глаза.

Суворов. Ноги ему повыше.

Грозный. Хорошо, что дальше вниз идти.

Орлов *(приподнимается)*. Шура, что-то у меня в голове так пусто.

Суворов. Лежи спокойно. Это горная болезнь. Вот когда с ней встретились.

Али-бек. Я родился в горах, а так высоко в жизни не был.

Грозный. Тут человек ни один не был ни разу. Не надо было. И зверь сюда не заходил, наверное. Какие у зверя тут дела? Может, змея заползала погреться на солнышке. Орел бывал.

Орлов *(чихает)*. Шура, я уже совершенно здоров.

Суворов. Лежи.

Грозный. Эй, куда?

Суворов. Оглядеться. Дальше путь наметить. *(Уходит.)*

Орлов. Очень красивая природа.

Мурзиков. Балбес.

Орлов. Почему?

Мурзиков. Ну чего ты про красоту говоришь? Зачем?

Орлов. А что?

Мурзиков. Это что же получается? Разве об этом надо говорить? А если Птаха погибла, это что же выходит? Я погибну — все будут о своем говорить. Шура погибнет — тоже будут хвалить все красивую природу... Да?

Грозный *(срывает карабин)*. Козел.

Орлов. Где?

Грозный. Вон стоит на камне, ноги вместе составил. *(Целится.)*

Дорошенко. Долго целишь.

Грозный. А ты все свое да свое...

Дорошенко. Я человек внимательный. Ну что же не стреляешь?

Грозный *(опускает ружье)*. Ни к чему.

Дорошенко. Ага.

Грозный. Вот тебе и ага. Чего стрелять? Упадет он — и не поднять: вниз покатится.

Дорошенко. А зачем целился?

Грозный. А затем, что из заповедника мы вышли. Зверя тут бить разрешается. Увидел зверя — рука сама за карабин ухватилась.

Дорошенко. Ага.

Мурзиков. Опять она про свое.

Дорошенко. Я, дорогой, все примечаю. По Чертову мостику он первым прошел — это его меняет в одну сторону. А не выстрелил — это опять новое. Я за дело отвечаю. Я должна все видеть. Все. Ясно?

Али-бек. Конечно, ясно. Ты говоришь — все ясно. Он говорит — все неясно. В заповеднике он зверя жалеет, а здесь он его бьет. Это что такое? Это туман. Это грязное дело. У, старый черт, шайтан.

Суворов *(входит)*. Ну что, отдохнули? Сейчас в путь... связывайтесь веревками. Спуск очень крутой.

Грозный. Товарищ Суворов, пойдем, конечно, мы дальше. Самое, может быть, трудное впереди... В горах, сам знаешь, подъем легче спуска. Позволь мне тебе одно дело спокойно сказать.

Суворов. Конечно, говори.

Грозный. На спуске один может всех удержать, один же может всех погубить. Один всех держит — все его... Тут уже не разные люди вниз идут, а одно, одна цепь. Нельзя идти вниз, если враг в цепи есть.

Суворов. К чему это ты так говоришь, не понимаю?

Грозный. Каждый в себе и в других должен уверенность иметь. Позволь

мне в одиночку идти.

Суворов. Почему?

Грозный. Вы одной цепью идите, а я около. Нету в Дорошенко уверенности.

Дорошенко. Может быть, я и сама не рада, но пока я своими глазами не увижу, где наши овцы, где животные, какие такие звери съели их с костями и с копытами, — нету во мне доверия и не будет. Я за все отвечаю? Я. Могу я верить? Нет. Суди меня, пожалуйста.

Суворов. Суд будет короткий. Ты, Дорошенко, по-своему права. Не верь. Лучше лишний раз не поверить. На тебе, верно, ответственность.

Грозный. Ветеринара у нас нет. Раз в полгода приезжает. Кто животных лечил? Я. Кого ветеринар хвалил? Меня. А теперь болеет скотина, а она меня уже месяц лечить не пускает. То ругала, что в заповедник часто хожу, а теперь— чего не в свое дело мешаюсь.

Суворов. Стой. В недоверии она права. А в том, что к скотине не допускала, — не права. И конечно. Воздух наверху разреженный, кровь от головы ушла, вот вы и не в себе. Жалуетесь, как маленькие. Будет. Ты, Дорошенко, себя, как и эти горы, только частью знаешь. Не было случая — не все дороги узнала. Есть в тебе дикость. Подумай.

Дорошенко. Найду в себе дикость — откажусь от нее при всех.

Суворов. Ладно. Ну, ребята, еще немного — и мы пришли. Два дня мы в пути. Природа, дура, нам ледник под ноги — а мы его топором. Она нам гору— а мы на гору. Она нам пропасть — а мы цепью вниз. Один другого поддержит. Грозный, в цепь.

Дорошенко. Он...

Суворов. Здесь я отвечаю. Я вас вел?

Дорошенко. Ты!..

Суворов. Новой дорогой?

Дорошенко. Новой.

Суворов. Наметил ее верно?

Дорошенко. Верно.

Суворов. Самое трудное впереди. Эй, Мурзиков! Нос выше! Может, еще жива Птаха. Рудники нас внизу ждут. Все отлично, все правильно. Ну, ходу, ребята, дружно.

Занавес

Туман.

Мурзиков. Ну вот... Этого нам только не хватало. Как проклятые — через реку, через ледник, через гору. Ноги сбиты... А теперь, здравствуйте, туман. Вот ты все хвалил — красивая природа... Сколько мы уже идем?

Орлов. Три дня.

Мурзиков. А мне кажется — три года. Когда это было, что Птаха в таком же тумане от нас отбилась?

Суворов. Не бросать веревку.

Али-бек. Крепко держим.

Орлов. Где мы?

Суворов. Должно быть, близко.

Орлов. Откуда?

Суворов. От рудников.

Мурзиков. Значит, это то место?.. То самое, над которым-то уступ был... Птаха где лежала... Сюда вниз и села земля и с нею вместе...

Грозный. Должно, сюда.

Мурзиков. Может, она здесь близко? Птаха... наша... Чего молчите?

Суворов. Не бросать веревку.

Дорошенко. Держим, держим.

Мурзиков. Я покричу.

Дорошенко. Нельзя.

Мурзиков. Почему?

Дорошенко. Знаешь сам... Обманное эхо в тумане. Ее с толку собьешь, если она здесь.

Суворов. Стоп! Что-то впереди неясное.

Дорошенко. Гора?

Суворов. Наоборот. Провал какой-то. Попробую правее. Возьмитесь за руки, потихоньку травите веревку.

Али-бек. Ладно.

Суворов. Нет конца. В другую сторону попробую. Нету дна. Садись.

Мурзиков. Ждать будем?

Суворов. Да, будем ждать. Кто устал — спи.

Дорошенко. Ветра нет.

Суворов. Тихо.

Грозный. Долго будем ждать, может быть. Тут котлован.

Мурзиков. Ой, Шура! Что-то железное под рукой, зажги спичку.

Суворов *(зажигает).* Кинжал.

Орлов. Длинный какой.

А л и - б е к. Старый. Весь черный, зеленый.

С у в о р о в. Должно быть, близко мы.

О р л о в. Стой, стой! Дай-ка еще спичку. Честное слово — это он! Вот вам и я! Вот и ругали, и ругали, и крыли. Это он. Дай еще спичку, сравню с образцом. Он у меня в куртке. Ну да, он. Дай поем — сладкий в корню. Он!

С у в о р о в. Что ты нашел?

М у р з и к о в. Помешался от усталости.

О р л о в. Ты сам. А я нашел. Нашел!

С у в о р о в. Ну, говори толком — что?

А л и - б е к. Травинку нашел.

О р л о в. Туссек. Вы в растениях ничего не понимаете. А я знаю. Мне говорил Павел Федорович из Ботанического: найдешь туссек — герой будешь. Вы растения не любите, а я люблю.

М у р з и к о в. Травоядный.

О р л о в. Ты сам... Небось, не знаешь, как он по-латыни называется, а я знаю.

М у р з и к о в. Ох, нужно мне.

О р л о в. "Дактилис цеспитоза" называется. Съел?

Д о р о ш е н к о. А в чем этой травы редкость? Польза в чем?

О р л о в. Польза в чем? Это для барана любимая еда.

М у р з и к о в. Чего ты так обрадовался?

О р л о в. Ты сам. Самая полезная. Только в одном месте и растет эта трава. Так считали. На Фолклендских островах. На самом юге Южной Америки. Там всегда сыро, всегда дождь, а туссек это любит. Там самые вкусные, самые большие бараны в мире.

М у р з и к о в. Потеха.

Д о р о ш е н к о. Это, паренек, не смешно. Это меня касается.

Г р о з н ы й. Стойте!

Д о р о ш е н к о. Чего?

Г р о з н ы й. Шагает кто-то легко-легко.

Д о р о ш е н к о. Где?

Г р о з н ы й. Разве в тумане поймешь?.. Тише, слушайте... Легкие шаги... Зверь или нет? Как будто дети ходят.

М у р з и к о в *(во весь голос)*. Птаха!

Неожиданно крик "Птаха" повторяется десять раз, сначала замирая, к концу усиливаясь. Последний раз крик повторяется как будто смутным хором.

Суворов. Это...

Дорошенко. Это эхо.

Мурзиков. Туманное.

Грозный. Какое туманное? Горное!

Мурзиков. Я читал... Я знаю... Такое эхо только в пещерах у изрытых гор... Звук отражается... Мы около рудников.

Суворов. Жди. Увидим.

Мурзиков. А ходит кто?

Суворов. Увидим. Жди.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

У рудников Али-бека.

Али-бек *(один ходит взад и вперед)*. Обидно. Обидно очень мне. Обидно это. Три дня шли. Три дня! Что нашли? Оползень. Обидно мне... Обидно. Где рудники? Нету рудников. Гора осела, их в землю вдавила. Может быть, на версту их в землю вдавила. Радовались ночью — к рудникам пришли. А днем что увидали? Камни. Острые камни, голые. Ой, как обидно мне — даже холодно стало, холодно.

Суворов *(входит)*. Ну что, Али-бек?

Али-бек. Ничего, хозяин, ничего. Острые камни, голые камни. Как будто я сон вижу худой. Бежал бегом, смотрел, смотрел — ничего.

Суворов. Все хорошо осмотрел?

Али-бек. Очень хорошо. Как ястреб. Когда дед мой здесь был — он рудники видел. Мы пришли — одни камни видим. Мы ходим, ищем, а горы давят, прячут. Не любят вас.

Суворов. Чего там не любят. Заставим, так полюбят.

Али-бек. Глупые они. Стоят. Очень тяжелые, каменные.

Суворов. Да, да. Неужто ничего не нашел?

Али-бек. Нет, холодно мне, хозяин.

Суворов. Хоть бы чашечку найти медную, хоть бы палочку в Ленинграде показать. Чтобы доказательства были, что под оползнем рудники.

Али-бек. А кинжал лежал ночью?

Суворов. Очистил я его — обыкновенный стальной кинжал.

Али-бек. А рукоятка?

Суворов. Костяная.

А л и - б е к. Теперешний. Холодно мне, хозяин. Эх, что наши не идут? Холодно.

С у в о р о в. Да ты не заболел ли?

А л и - б е к. Нет. Девочка пропала без следа. Рудники под землю ушли на версту. Что делать? Песни петь? Из ружья стрелять? Нельзя так стоять, товарищи. Пожалуйста.

С у в о р о в. Подождем, соберутся наши. Твой дед здесь блюдо нашел — где оно? Дома?

А л и - б е к. Украли давно.

С у в о р о в. Али-бек, конечно, здесь руду переплавлял. Здесь посуду лил, выковывал. По горным дорогам руду возить невыгодно. Он готовые медные вещи вывозил. Неужели ничего не найдется?

А л и - б е к. Все оползень в землю вдавил. Эх...

М у р з и к о в входит.

С у в о р о в. Ну, разведчик, что разведал?

М у р з и к о в. Одни пустяки. Хоть бы ремешок найти. Хоть бы лоскуток... Нет, Шура, не говори ничего, — она пропала.

С у в о р о в. Я ничего не говорю.

М у р з и к о в. Я даже не думаю больше. Кричал — одно эхо проклятое дразнит. Каждое слово десять раз повторяет... Грозный идет. И он больше не думает. Смотри, лицо какое невеселое.

Г р о з н ы й входит.

С у в о р о в. Ты, старик, ничего не нашел?

Г р о з н ы й. Ничего.

А л и - б е к. Нет, не могу стоять, надо что-то делать. Они в ту сторону ушли? Орлов и Дорошенко?

С у в о р о в. Туда.

А л и - б е к. Побегу к ним, посмотрю. Когда бегом бегу — легче.

С у в о р о в. Беги, мы подождем.

Али-бек убегает.

Да, да. Так, так. Видишь, старик, дерево?

Г р о з н ы й. Вижу.

С у в о р о в. Узнаешь?

Г р о з н ы й. Узнаю.

С у в о р о в. По перьям узнал?

Г р о з н ы й. По перьям.

С у в о р о в. Как дерево сюда попало?

Г р о з н ы й. Прямым путем.

С у в о р о в. А она где?

Г р о з н ы й. Не спрашивай, брат.

М у р з и к о в. О чем вы? А? Скажите.

Г р о з н ы й. Сказать?

С у в о р о в. Говори...

Г р о з н ы й. Когда лежала она...

М у р з и к о в. Кто?

Г р о з н ы й. Птаха... Когда лежала она на уступе, оба мы заметили, я и Суворов, — маленькая елочка приметная, с одного бока ободранная, около уступа стояла. Тоже осела с ней рядом... С Птахой. Перья на ветках, — видно, орел птицу когтил. Искали ее, нашу Птаху, мы на верхней площадке. Туда весь ее уступ осел. А ее нету, не нашли. Ну, пропала-пропала, а все надеялись. Часть оползня через первую площадку дальше пошла. Дерево тоже дальше пошло, — может, и она по прямой дороге вниз. Птаха...

С у в о р о в. И вот видишь — нету ее.

Г р о з н ы й. Три дня мы шли, а она сразу сюда. Вот...

С у в о р о в. Следов, словом, нету, брат.

М у р з и к о в. Шура, Шура, смотри — наши идут. Они радостные. Шура, честное слово, радостные. Они нашли что-то. Что?

Быстро входят Д о р о ш е н к о, А л и - б е к, О р л о в.

С у в о р о в. Ну, ну?

Д о р о ш е н к о. Нашлись они. Все целы. Это они в тумане ходили.

О р л о в. Толко потолстели от туссека.

С у в о р о в. Что нашлось?

О р л о в. Бараны заграничные, пять штук. Мне говорил Павел Федорович из Ботанического: баран эту траву за сто верст чует.

С у в о р о в. Природа дура, черт.

Дорошенко кланяется Грозному в пояс.

Г р о з н ы й. Что ты делаешь?

Дорошенко. Осознаю.

Грозный. Что?

Дорошенко. Свои ошибки. Друг ты мой, Иван Иванович Грозный. Перед лицом нашей находки, перед лицом всех товарищей прямо и откровенно заявляю — отказываюсь я от своих ошибок.

Грозный. Э, матушка, что говорить. Горы наши такие.

Дорошенко. Мать во все чудеса верила, бабушка верила, идешь горами — горы гудят, ветер свистит, зверь кричит, невольно покажется.

Грозный. Дорошенко, не обижаюсь. Я сам охотник, а охотники во все чудеса легко верят. Молод был — и я верил. Кончим это дело, больше не говори.

Али-бек. И меня прости, не обижайся. Ты хороший казак, новый казак, товарищ.

Грозный. Довольно. Замолчать. Я как та собака устал, не жалобь меня. Я кремень-старик, к ласке не привыкший. Хожу, сторожу, как пес, и работаю... Чего вы меня, дураки, тревожите? Вот... Да... Заткнись.

Суворов. Ладно, ладно. Все ясно. Больше, конечно, ждать нечего. Сыро здесь. Ну так вот — слушайте тогда мое решение. Рудников там, где мы ждали, нет.

Грозный. Видно, что так.

Суворов. Я верю, что их завалил оползень, но мне нужны точные доказательства. Путь отсюда до колхоза легкий?

Дорошенко. Надо думать. Бараны мои толстые, ходоки не дюже смелые— а вот пришли.

Суворов. Здесь сыро. Ребята устали.

Мурзиков. Ничего подобного.

Суворов. Молчи. Ребята устали, тебя ждут дела, да и у Грозного, и у Алибека свои нагрузки. Вы все уйдете, я останусь.

Мурзиков. Ну да, еще чего.

Суворов. Молчи, Мурзиков. Никаких споров. Сразу в путь. Колхоз в той стороне?

Дорошенко. Да.

Суворов. Идем. Я вас провожу чуть и вернусь.

Мурзиков. Шура, мы еще останемся, поищем. Это не по-товарищески уходить.

Суворов. Довольно мы искали. Там ты ходил, там Али-бек бегал. Там Грозный. Помогли — и хватит. Я останусь еще, обшарю каждый закоулочек, а потом к вам.

Орлов. Заблудишься.

Суворов. Ни за что. Ну, марш. Баранов по дороге захватите — и в путь. Ты чего захныкал?

Мурзиков. Шура, Али-бек, тетка, тетка, а Птаха пропала? Уже теперь совсем?

Дорошенко. Эх, брат... идем. Стойте. *(Оборачивается к горам.)* Эх, Птаха, Птаха, прощай!

Эхо.

Ну вот, товарищи, как будто и все, что я хотела сказать. Точка. Идем.

Вдруг в горах поднимается звон, усиленный эхом. Он громче и громче, потом обрывается.

Мурзиков. Ну вот. Спасибо. Это что же такое?

Али-бек. Я там бегал — ничего не видал. Почему?

Суворов *(кричит)*. Кто звонил?

Эхо, потом полная тишина.

(Грозному.) Что скажешь, старик?

Грозный. Не пойму.

Мурзиков. Надо искать.

Суворов. Что искать?

Мурзиков бежит по тому направлению, где был звон.

(Ему вслед.) Куда? Что, ты думаешь — это Птаха в колокол звонит? *(Машет рукой. Грозному.)* Знаешь это что? Это фокусы, какие-нибудь курьезы науки, любопытные явления природы, черт бы их побрал. Не ищи, Мурзиков, беги назад. Где ты там?

Мурзиков бежит обратно с тазом в руках.

Медный таз. *(Али-беку.)* Ведь ты ходил там?

Али-бек. Я там, дурак, бегом бегал.

Мурзиков *(задыхаясь)*. Ну вот... Она осипла... Я спокоен... Подумаешь, чудо...

Грозный бежит наверх.

Орлов. Кто осип? А? Рева-корова. Говори.

Грозный *(наверху)*. Жива, здорова, только осипла и ногу она свихнула.

Суворов. Кто?

Грозный. Птаха!

Общий крик, подхваченный эхом. Грозный спускается с Птахой на руках, все окружают его.

(Осторожно сажает ее на камень.) Говори, спокойно говори. Как же это? Почему все это? Ну?

Птаха *(сипло)*. Здравствуйте, товарищи.

Грозный. Почему нас не окликнула?

Суворов. Откуда таз? Таз?

Орлов. Чего ты сипишь?

Мурзиков. Чего ты звонила?

Птаха *(сипло)*. Я вчера вечером последний кусок солонины съела. Ночь плохо спала, боялась с голоду помереть. Под утро разоспалась. Все понятно?

Мурзиков. Ничего не понятно.

Птаха. Неумный ты, потому и непонятно. Разоспалась я и не видела, как вы пришли. Просыпаюсь, а тетка кричит: “Прощай!” Что такое? Я вам во всю глотку: “Стойте, стойте!” — а вы уходите. С ума сошли, что ли?

Мурзиков. Такую сиплую глотку, конечно, не услышишь.

Птаха. Глухой тетерев. Ясно, мне стало неприятно. Голоса нет. Провиант весь съела. Бежать за вами не могу — нога поврежденная. Схватила я таз и давай стучать.

Суворов. Откуда ты таз взяла? А?

Птаха. Таз? А я как ногу растянула, так сейчас повыше от зверья заползла, выставила ногу на солнышко лечиться, а сама от тоски этот таз чищу. А как вы ушли — я в него камнем дзинь-бом.

Суворов. Да где ты его нашла? Говори толком.

Птаха. Постой. А как я, братишечки, с горы съехала. Обвал трах! Веревка треск! Гора бу-бу-бу — и поехала. Я за деревцо, деревцо за землю, едем, едем, остановиться не можем. Я хотела на первой площадке соскочить, куда там. Так до рудников и доехала.

Суворов. До каких рудников?

Птаха. Тю на вас. Да рудники — вон за тем уступчиком. Дырки, дырки, дырки, а пролезешь в них — коридорчики, коридорчики, ямки.

Суворов. Не может быть. Ты там была?

Птаха. А где же я ногу повредила? Бегала, шарила да вдруг сухожилие как растяну! Там же я и осипла. Сыро там. Готовой посуды там — горы.

Суворов. Птаха — герой! *(Бежит наверх, все за ним, кроме Али-бека и Птахи.)*

Птаха. Пожалуйста, я покажу.

Али-бек хватает Птаху и бежит наверх. Все выходят навстречу.

Ну что?

Мурзиков. Нечего задаваться. Шура оставался — все равно нашел бы и без тебя.

Орлов. Я туссек сам нашел и то не задаюсь.

Дорошенко. Как я рада, как я рада! На сто процентов.

Али-бек. Все молодцы. Все!

Грозный. Большое тебе счастье, товарищ.

Суворов. Счастье? Три года ходил. Три года искал. Здесь, дед, счастье ни при чем... Это... братцы, победа.

Эхо.

Конец

1934 г.

Красная

Шапочка

Сказка в 3-х действиях.

Действующие лица.

Красная Шапочка.
Мама Красной Шапочки.
Бабушка Красной Шапочки.
Заяц Белоух.
Медведь.
Уж.
Лиса.
Волк.
Лесник.
Птицы.
Птенцы.
Зайцы.
Кролик.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Маленький домик в лесу. Из домика выходят Красная Шапочка и ее мама. У Красной Шапочки через плечо сумка. В руках корзинка с бутылкой молока и большим куском пирога.

Мама. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.

Мама. Смотри, девочка, когда пойдешь мимо болота, не споткнись, не поскользнись, не оступись и не упади в воду.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, когда будешь кроить папе рубашку, не задумывайся, не оглядывайся, не беспокойся обо мне, а то порежешь себе палец.

Мама. Хорошо. А ты, дочка, если пойдет дождик и подует холодный ветер, дыши носом и, пожалуйста, не разговаривай.

Красная Шапочка. Хорошо. А ты, мамочка, ножницы, игольник, катушку и все ключи положи в карман и, пожалуйста, не теряй.

Мама. Хорошо. Ну, до свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка.

Мама. Ох-хо-хо!

Красная Шапочка. Мама, почему ты вздыхаешь?

Мама. Потому, что я буду беспокоиться, пока ты не вернешься.

Красная Шапочка. Мама, кто меня может обидеть в лесу? Все звери — мои друзья.

Мама. А волк?

Красная Шапочка. Он не посмеет меня тронуть. Он знает, что друзья не дадут меня в обиду. Ну, до свиданья, мамочка.

Мама. До свиданья, девочка. Раз бабушка нездорова, надо идти. Пирог для нее тут? Тут. Бутылка с молоком здесь? Здесь. Ну, иди. До свиданья, девочка.

Красная Шапочка *(поет).*

До свиданья, мамочка.
Ничего, что я одна, —
Волк силен, а я умна
До свиданья, мамочка.

Мать.

До свиданья, девочка.
Если попадешь в беду,
Позови, и я приду.
До свиданья, девочка.

Красная Шапочка.

До свиданья, мамочка.
Если правда — волк в лесу,
Я сама себя спасу.
До свиданья, мамочка.

Мать.

До свиданья, девочка.
Скучно будет мне одной, —
Поскорей вернись домой.
До свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, мамочка. *(Идет.)*

Мать, вздохнув, уходит в дом. Когда Красная Шапочка поравнялась с кустами, ее робко окликает заяц.

Заяц. Красная Шапочка.

Красная Шапочка. Кто меня зовет?

Заяц. Это я, заяц Белоух.

Красная Шапочка. Здравствуй, Белоух.

Заяц. Здравствуй, дорогая, милая, умная, добрая Красная Шапочка. Мне надо с тобой поговорить по очень-очень важному делу.

Красная Шапочка. Ну, поди сюда.

Заяц. Я боюсь.

Красная Шапочка. Как тебе не стыдно!

Заяц. Прости.

Красная Шапочка. Я вас, зайцев, собирала?

Заяц. Собирала.

Красная Шапочка. Я вам книжки читала?

Заяц. Читала.

Красная Шапочка. Я вас, зайцев, учила?

Заяц. Учила.

Красная Шапочка. Чему?

Заяц. Храбрости. Мы теперь знаем волка, лисицу, всех. Мы не пугаемся, а храбро прячемся. Мы молодцы.

Красная Шапочка. А ко мне боишься подойти.

Заяц. Ах, прости меня, но твои новые башмачки очень уж страшно скрипят.

Красная Шапочка. Значит, напрасно я вас учила храбрости?

Заяц. Про башмачки мы еще не проходили.

Красная Шапочка. Прощай.

Заяц. Ах, нет, нет! Если ты уйдешь, я сейчас же, извини, умру.

Красная Шапочка. Ну, тогда иди сюда. Ну! Зайка, выбегай-ка. Вылезай-ка, зайка. *(Поет.)*

Заяц то приближается, то отскакивает. К концу песни он стоит возле Красной Шапочки.

Красная Шапочка.

Подойди-ка, подойди,
Погляди-ка, погляди
Это я, это я,
Я — знакомая твоя.
Чем тебя я испугала,
Чем обидела тебя?
Если я тебя ругала,
То ругала я любя.
Никогда не называла:
“Заяц куцый и косой”.
Сколько раз тебя спасала,
Как встречался ты с лисой.
Подойди ка, подойди.

Погляди-ка, погляди.
Это я, это я,
Я — знакомая твоя.

Ну? Что ты хотел мне сказать?

Заяц. Умоляю тебя: беги скорей домой и запри все двери.

Красная Шапочка. Почему?

Заяц. Волк тебя ищет!

Красная Шапочка. Т-с-с. Мама может услышать.

Заяц *(сильно понизив голос)*. Волк прибежал из далеких лесов. Он бродит вокруг и грозится: “Я съем Красную Шапочку. Пусть только она выйдет из дому”. Беги скорее обратно. Чего ты смеешься?

Красная Шапочка. Я его не боюсь. Никогда ему не съесть меня. До свиданья, зайчик.

Заяц *(пытается удержать ее)*. Ой! Не надо. Я тебя, прости за грубость, не пущу.

Красная Шапочка. До свиданья, зайчик. *(Идет.)*

Заяц. Ах! Ах! Бедная девочка. Бедные мы. *(Плача, скрывается.)*

Голова ужа высовывается из кустов.

Уж. Здрас-с-сте, Кра-с-с-сная Ш-ш-ш-апочка.

Красная Шапочка *(испуганно)*. Здравствуйте, гадюка.

Уж. Я вовсе не гадюка. Я уж-ж-ж. Это не с-с с-траш-ш-ш-но.

Красная Шапочка. Я не боюсь... *(Вскрикивает.)* Только не трогайте меня.

Уж. С-с-стойте. Я приполз-з с-с-сказать: с-с-сидите с-с-с сегодня дома.

Красная Шапочка. Почему?

Уж. В-с-с-с-с с-сюду, вс-с-с-сюду рыщ-щ щ-щет волк.

Красная Шапочка. Т-с-с с. Мама может услышать.

Уж. Прос-с-с-стите. *(Понизив голос.)* Выс-с-с-слушайте меня. Я друж-ж-жу с коровами. Я страш ш-шно люблю молоч-ч-чко. Волк с-с-ска-з-зал з-з-знакомой моей корове: с-с-съел бы тебя, да нель з-з-зя. Надо, ч-ч-чтобы в животе было мес-с-сто для Крас-сной Ш-ш-шапоч ч-ч-ки. Слыш-ш-ш-ите?

Красная Шапочка. Слышу. Но я его не боюсь.

Уж. Съес-ст. Съе-е-с-ст. Съес-ст.

Красная Шапочка. Никогда этого не будет. До свиданья. *(Идет.)*

Уж исчезает. Навстречу Красной Шапочке выходит из лесу медведь.

Медведь. Здорово!

Красная Шапочка. Здравствуй, медведь.

Медведь. Ты, этого, стой... У меня к тебе дело.

Красная Шапочка. Хорошо, Мишенька, но только я спешу.

Медведь. Ничего. Два дела у меня к тебе. Первое — ты мне мордочку помажь.

Красная Шапочка. Что?

Медведь. Мордочка у меня пухнет. Пчелы, бессовестные, покусали. Помажь йодом.

Красная Шапочка. Это можно. Садись.

Медведь. Сяду. *(Садится.)*

Красная Шапочка достает из сумки, что висит у нее через плечо, пузырек с йодом. Мажет медведю йодом щеки.

Медведь. Так... Ох-ох-ох! Щиплет. Ну, а пока ты мажешь, мы и второе дело... того... Ты иди домой, вот что...

Красная Шапочка. Это еще почему?

Медведь. Волк.

Красная Шапочка. Тише. Мама может услышать.

Медведь. Ничего. Беги скорей домой, говорят тебе.

Красная Шапочка. Я волка не боюсь.

Медведь. А что ты, брат, можешь сделать? Нос у тебя человеческий, ты волка издали не учуешь, не спрячешься. А если бежать, то ног у тебя маловато: две всего, — волк на четырех догонит. Зубы у тебя недавно падали и выросли еще не того, не вполне. Разве ты справишься с ним? Съест он тебя, как теленочка *(всхлипывает басом)*. Жалко. Волк мне сам сказал нынче утром: "Я, — говорит, — ее, — говорит, — съем, — говорит, — непременно". Убил бы я его, да нельзя — не полагается: родственник. Двоюродный волк.

Красная Шапочка. Я ничего не боюсь. До свиданья, медведь.

(Уходит.)

Медведь *(всхлипывает)*. Жалко.

Уж *(поднимается над кустами)*. Съ-е-е-с-с-с-т.

Заяц *(высовывается из-за кулис)*. Умоляю вас: давайте спасем ее, давайте.

Медведь. Этого... того... А как?

Заяц. Умоляю вас: побежим за нею следом.

Уж. Да, попол-з-з-зем.

Заяц. И будем охранять ее. Я один не могу, я трус, а с вами не так страшно. Ведь вы меня не съедите, медведь?

Медведь. Нет. Ты заяц знакомый.

Заяц. Большое вам спасибо. Идемте, идемте скорее за нею следом.

Медведь. Ну, ладно. Хоть волк мне и двоюродный, а Красную Шапочку я ему не уступлю. Идем.

Идут. Едва они успевают скрыться, как из-за дерева выбегает лиса.

Лиса. Хи-хи-хи! Вот глупый народ, ах, глупый народ! Кричат во все горло: побежим, попол-з-з-зем, будем охранять, а я стою за деревом и слушаю себе. Тихо-тихо, шито-крыто, и все знаю. *(Задумывается.)* Нет, не все я знаю. Красная Шапочка девчонка хитрая. Она что-то придумала, иначе не шла бы она так смело против волка. Побегу следом, узнаю, а потом все расскажу моему куму волку. Он девчонку, конечно, съест, а люди, конечно, рассердятся и убьют волка. И тогда весь лес мой. Ни волка, ни этой девчонки. Я буду хозяйка. Я, лиса. Хи-хи-хи! *(Поет.)*

Путь мой — чаща темная,
Канавка придорожная.
Я лисичка скромная,
Лисичка осторожная,
Я, лиса, не пышная,
Я, лиса, неслышная,
Я, лиса, невидная,
Ни в чем не повинная.
Отчего судьба такая,
Я сама не ведаю:

Никого не убивая,
Каждый день обедаю.
Путь мой — чаща темная,
Канавка придорожная,
Я лисичка скромная,
Лисичка осторожная.

(Убегает)

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Прогалина в лесу. Поют птицы. Переговариваются.

Птичьи голоса.
— Я на веточке сижу.
А ты?
— Я на листики гляжу.
А ты?
— Рада я, что так светло.
А ты?
— Рада я, что так тепло.
А ты?
— Слышу я в лесу шаги.
А ты?
— Слышу я — идут враги.
А ты?
— Спрячусь я и замолчу.
А ты?
— Я взовьюсь и улечу.
А ты?
— А я нет, а я нет, а я нет, а я нет. Я вижу, кто идет. Это она. Это лучший наш друг. Это Красная Шапочка.

Птицы радостно щебечут. Входит Красная Шапочка.

Красная Шапочка. Здравствуйте, птицы.

Птицы. Здравствуй, Красная Шапочка! Здравствуй, девочка. Здравствуй, здравствуй...

Красная Шапочка. Как вы поживаете?

Птицы. Очень хорошо, очень хорошо.

Первая птица. У меня вывелись птенцы.

Красная Шапочка. Да?

Птенцы *(хором)*. Да, мы вывелись, мы вывелись, мы тебя видим. А ты нас видишь?

Первая птица. Дети, не приставайте к старшим. Красная Шапочка, умные у меня птенцы? Им всего две недели, а они уже все говорят, все, все, все.

Красная Шапочка. Да, они очень умные. *(Снимает с плеча сумочку, кладет ее в траву. Ставит рядом корзинку.)* Птицы, вы меня любите?

Птицы. Ах, ах! Конечно, конечно. Как можно спрашивать об этом.

Красная Шапочка. Вы помните — сын лесника обижал вас, гнезда разорял.

Птицы. Помним, помним, конечно, помним.

Красная Шапочка. Я вам помогла?

Птицы. Да, да. Ты так на него напала, что у него перышки на голове стали дыбом. Он не обижает нас теперь. Спасибо. Ты спасла нас. Ты нам помогла.

Красная Шапочка. Ну, а теперь вы мне помогите.

Птицы. Тебе помочь? Очень хорошо, очень хорошо. Кто тебя обижает?

Красная Шапочка. Волк.

Птицы замолкают. Лиса выглядывает из за дерева.

Красная Шапочка. Что же вы все замолчали, птицы?

Первая птица. Нам стало страшно.

Вторая птица. Его не заклюешь.

Третья птица. У него шерсть густая.

Четвертая птица. Ты влезь повыше на дерево.

Птенцы. Мама, иди сюда. Мы боимся, мама.

Красная Шапочка. Не бойтесь, птицы. Я знаю, как с ним справиться, если он не нападет на меня вдруг.

Птицы. Как ты с ним справишься? Как? Расскажи — как?

Лиса подкралась поближе. Слушает

Красная Шапочка. Я все обдумала. Я взяла с собой пачку нюхательного табаку.

Первая птица. Зачем?

Красная Шапочка. Я брошу ему в нос табаку.

Вторая птица. А он?

Красная Шапочка. А он начнет чихать.

Третья птица. А ты?

Красная Шапочка. А я тем временем схвачу сухую ветку и зажгу ее.

Четвертая птица. А он?

Красная Шапочка. А он отчихается и бросится на меня.

Первая птица. А ты?

Красная Шапочка. А я пойду, размахивая веткой.

Вторая птица. А он?

Красная Шапочка. А он побежит следом, но тронуть меня не посмеет, потому что боится огня. И вот — понимаете — я иду, а он следом. Злой, чихает от табаку, за дымом ничего не видит. И тут он попадается.

Птицы. Как?

Красная Шапочка. Я приведу его к Дикому болоту под Старый дуб. А там охотники поставили капкан. Я перешагну через капкан, а волк следом. Капкан — щелк. Волк — ах. Попался.

Птицы. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо!

Птенцы. Мама. пусть она еще раз это расскажет, мама. Нам очень это понравилось.

Первая птица. Тише, дети.

Красная Шапочка. Словом — я буду с волком воевать.

Птицы. Очень хорошо. Очень хорошо.

Красная Шапочка. А что за война без разведки? И тут вы мне помогите.

Птицы. Поможем, поможем.

П т е н ц ы. Мама, а что такое разведка?

П е р в а я п т и ц а. Тише. Я сама не знаю. Она сейчас объяснит.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Если волк на меня нападет вдруг, я не успею в него бросить табаком. А вы сверху очень хорошо все видите. Вы заметите, если волк захочет на меня броситься, вы закричите мне: "берегись". Вы будете моей воздушной разведкой. Ладно?

П т и ц ы. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо!

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Спасибо. Ну, летите. Осмотрите хорошенько все кругом и расскажите мне.

П т е н ц ы. Мама, не улетай. Мы боимся.

П е р в а я п т и ц а. Как вам не стыдно, ведь вам уже две недели.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну, летите.

П т и ц ы. Летим.

Птицы взлетают. Красная Шапочка смотрит вверх.
Лиса выползает из-за дерева.

Л и с а. Хи-хи-хи! Очень хорошо. Пока она смотрит вверх, я помогу моему дорогому волку. *(Подползает к сумке и открывает ее.)*

П т е н ц ы *(заметив лису)*. Ой! Мама!

Л и с а *(шепотом)*. Молчите, или я сейчас же перегрызу дерево зубами, и вы шлепнетесь вместе с гнездом на землю. *(Птенцы прячутся в гнездо.)* То-то.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну, птицы, видите вы что-нибудь?

П т и ц ы. Сейчас, сейчас, сейчас.

Л и с а. Сначала табак *(вытаскивает из сумки табак)* — и все. Тихо-тихо. Шито-крыто. Вот волк и не расчихается. *(Бросает табак в кусты.)*

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну, птицы, что же вы?

П т и ц ы. Погоди, погоди, погоди.

Л и с а. Потом спички — и туда же. Вот ветку и нечем будет зажечь. Тишь да гладь, и ничего не видать. *(Птенцам.)* А вы молчите. Тсс. Дерево перегрызу. Ни-ни. Я вам! *(Уползает.)*

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну? Увидели вы что-нибудь?

Птицы опускаются, с шумом садятся на ветки.

Первая птица. Дикую кошку видела.

Вторая птица. Барсука видела.

Третья птица. Дикого кабана видела. А волка не видать.

Четвертая птица. А я видела зайца, ужа, медведя. Куда это они, думаю, торопятся? Подлетела, подслушала и очень обрадовалась. Они, девочка, за тобой следом идут, чтобы охранять.

Птицы. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо.

Красная Шапочка. Вот еще. Что — я маленькая, что ли? Мне вашей помощи довольно. *(Надевает сумку.)* Ну, птицы. Проводите вы меня до бабушкиного дома? Будете моей воздушной разведкой?

Птицы. Хорошо. Очень хорошо. Мы выследим волка. Летим.

Птенцы. Мама!

Первая птица. Ну что вам?

Птенцы. Иди сюда, нам надо тебе что-то сказать.

Первая птица. Говорите.

Птенцы. Нет, иди сюда. Это надо очень тихо сказать. А то дерево упадет.

Первая птица. Дети, не говорите глупости. Летим.

Птенцы. Красная Шапочка, иди хоть ты сюда.

Красная Шапочка *(уходя)*. Хорошо, дети, на обратном пути я с вами поговорю.

Птенцы. Ушла...

— Улетели...

— Что делать?

— Ой, медведь идет!

— И заяц.

— И уж.

— Они бегут за Красной Шапочкой.

— Мы им все расскажем.

Лиса *(высовывает голову из кустов)*. Я вам! Ишь вы! Ни-ни! Кыш на место!

Птенцы. Ай! Ой!

Прячутся. Появляются заяц, медведь, уж.

Уж. С-с-стойте. Я ус-стал, с-с-с-ядьте.

Медведь. Сяду.

Заяц. Умоляю вас: идемте. Ведь она там, простите за грубость, одна.

Медведь. Отойди, братец. Ел я, того, давно, а ты этого... вкусно пахнешь. Ты заяц хороший, конечно, но все-таки съедобный.

Заяц. Как вы можете думать о еде, когда Красная Шапочка в опасности.

Медведь. Ничего...

Заяц. Как же, извините, ничего, когда...

Из кустов раздается: "Ох! ох!"

Медведь. Кто охает?

Голос лисы. Ох! Ох!

Медведь. Кто охает? Вылезай!

Из кустов выползает лиса.

Лиса. Ох-ох-хо! Здравствуйте, голубчики. До чего же это грустно, родненькие. Солнышко светит, листочки шелестят, а мне помирать.

Медведь. Ничего. Ну, проходи, проходи, а то еще надуешь меня. Я тебя знаю.

Лиса. Да что ты, Мишенька. До того ли мне... Он мне, Мишенька, все ноги поломал.

Медведь. Кто это?

Лиса. Волк. Он, зверь такой-сякой, неладный, сказал мне, что Красную Шапочку съест.

Медведь. Это мы еще посмотрим.

Лиса. Вот и я ему так сказала. Это мы еще посмотрим, говорю. А он как бросится на меня! "Смотри, — кричит, — смотри!" И укусил.

Заяц. Ох!

Лиса. Вот и я ему так сказала. "Ох", говорю. А он отвечает: "Охай, охай". И опять укусил. Ну, тут я, бедная, не стерпела. Я хоть и слаба, да зубы-то у меня острые. Я после драки плоха, но и волку досталось. Побежал в логово отлеживаться.

Медведь. Ну? Хо-хо-хо!

Лиса. С недельку полежит. А мне помирать. Прощай, Мишенька.

Медведь. Прощай, лиса.

Лиса. Чтобы ты меня добрым словом вспомнил, порадую я тебя. Беличий орешник знаешь? Отсюда до него всего один часик ходу.

Медведь. Ну, знаю. Так что?

Лиса. А за орешником, ох, старая липа стоит. В этой липе дупло. Ох! В дупле меду видимо-невидимо, пчел нет. Ох!

Медведь. Как пчел нет?

Лиса. Они роем летели, а тут гроза, буря, ураган. Все потопли.

Медведь. Хо-хо-хо! Приятно.

Лиса. Ступай туда, Мишенька, и кушай на здоровье, меня вспоминай. Только надолго не откладывай, как бы другие медведи не съели.

Медведь. Ну? Это верно, — могут.

Лиса. Вот я и говорю. Прощай, ужик.

Уж. Вс-с-с-его хорош-ш-ш-шего.

Лиса. И тебя я хочу порадовать. Ты мост через Щучью речку знаешь? Туда всего полчасика ходу. Дед Савелий вез на рынок молоко. Бидон с воза упал, а дед и не услышал. Молоко разлилось, свежее.

Уж. Вкус-с-сно.

Лиса. Блестит на солнышке...

Уж. Скиснет.

Лиса. А ты поторопись. Ох! Прощайте, братцы... Кушайте мед, пейте молочко, а мне помирать... Хи-хи-хи!

Заяц. Чего вы, простите, смеетесь?

Лиса. А это я кашляю, дружок, кашляю. Прощайте. Ох!.. Хи-хи-хи! *(Уползает.)*

Медведь. Вот что, братцы. Волк того... В логово ушел... Я думаю — надо бы меду поесть...

Уж. Молоч-ч-чка попить-ть-ть.

Заяц. Ах, что вы делаете? Кому верите? Неужто вы не увидели, да как же вы не услышали — она обманывает вас!

Медведь. Не дерзи. Я голодный.

Заяц. Лучше меня съешьте, но только идите следом, бегом бегите за девочкой. Хватайте меня, глотайте!

Медведь. Не стану. Ты заяц знакомый. Прощай. Я есть хочу.

Уж. Вс-сего хорош-шего. Я пить-ть хоч-ч-ч-у.

Уходят.

З а я ц. Ушли. Поверили лисе. Что делать? Как мне быть?

П т е н ц ы. Зайчик, а зайчик.

З а я ц. Ой! Кто это меня зовет?

П т е н ц ы. Не бойся нас, заинька. Мы еще ходить не умеем. Мы птенцы. Обеги, зайчик, вокруг дерева.

З а я ц. Зачем?

П т е н ц ы. Погляди, вправду ли ушла лисица. Если ушла, мы тебе что-то скажем.

З а я ц *(обегает вокруг дерева)*. Нет ее. Говорите.

П т е н ц ы. Ох, зайчик, лиса у Красной Шапочки из сумочки табак украла и спички унесла. Девочка хотела табаком в волка бросить, а теперь...

З а я ц. А теперь пропала она. Что делать? Как быть? *(Зовет.)* Медведь! Уж! Их и след простыл. Бежать за ними? Волк тем временем девочку съест. Бежать за нею, а что я могу сделать один? Эх, птенцы, чего вы молчали, пока медведь и уж тут были?

П т е н ц ы. Лиса грозила, что дерево перегрызет.

З а я ц. И вы ей поверили? Что делать? Я не отступлю. Я ее не выдам. Я за ней побегу. Пусть только волк покажется. *(Поет.)*

К волку брошусь я навстречу
И, подпрыгнув, закричу:
"Стой, зубастый, искалечу,
Изувечу, растопчу.
Чтоб отсюда ты убрался,
Честью я тебя прошу.
Никогда я не кусался.
Но тебя я укушу.
Головы не пожалею
Пусть в отчаянном бою.
Я со славой околею
За подругу за мою.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Болото, чаща, густые кусты. У кустов стоит волк, огромный, мрачный зверь. Шерсть его всклокочена. Он точит зубы на точильном станке и поет. Станок шипит — ш-ш-ш, ш ш-ш.

Волк.

Зубы, зубы я точу.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Я девчонку съесть хочу.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Ненавижу я девчонок.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Ножки тонки, голос тонок.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
А повсюду нос суют.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Жить мне просто не дают.
Ш-ш-ш. Ш-ш ш.
Я девчонку съесть хочу.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.
Зубы острые точу.
Ш-ш-ш. Ш-ш-ш.

Лиса *(вбегает)*. Кум! Куманек! Брось скорей зубы точить! Прячься скорее в кусты!

Волк. Что? Во-оу. Кому это ты говоришь?

Лиса. Тебе, дружок.

Волк. Не смей меня собачьим именем называть. Я не дружок, я волк.

Лиса. Хи-хи-хи. Куда завернул. Я к тебе по-дружески...

Волк. Что? Воу. По-дружески. И ты у этой девчонки научилась? По-

дружески... От этой дружбы житья в лесу не стало. Зайцы дружат с белками, птицы с зайцами. Воу. Мне дружба ни к чему. Я все сам. все один.

Лиса. А я с тобой. Прячься в кусты, говорю.

Волк. Не учи меня. Зачем прятаться?

Лиса. А затем, что Красную Шапочку птицы провожают. Увидят тебя сверху — скажут ей. Разумнее на девчонку вдруг напасть, когда она не видит.

Волк. Сам знаю.

Лиса. Хотела она в тебя табаком бросить.

Волк. Воу.

Лиса. Хотела она ветку зажечь, огнем тебя напугать.

Волк. Воу.

Лиса. А я табак выкрала, спички вытащила, помогла тебе.

Волк. Не говори этого слова. Помогла... Помни, кто я и кто ты. Мне твоя помощь ни к чему.

Лиса. Да иди же ты в кусты, волчок.

Волк. Не смей меня собачьим именем называть. Я не волчок, я волк.

Лиса. Ох, да иди же ты, все дело погубишь.

Волк *(идет к кустам)*. Это я сам иду.

Лиса. Сам, сам.

Волк. Я сам знаю — разумнее напасть вдруг.

Лиса. Да, да. Тише, слушай.

Волк. Без тебя знаю, что надо слушать.

Лиса. Молчи!

Волк. Сам знаю, что надо молчать.

Лиса. Ох, ну и зверь.

Волк. Да уж, другого такого поищешь... Ага! Идет она. Отойди, дай мне место для разгона. Идет. Воу.

Слышен птичий щебет, который переходит в песню.
Красная Шапочка поет вместе с птицами. Пение все ближе.

Красная Шапочка.

Как мне весело идти!
Я в лесу моем как дома.

Птицы.

С каждой веткой на пути,
С каждой веткой ты знакома.

Красная Шапочка.

Колокольчик не звенит,
Но кивает головою.

Птицы.

А шиповник не шипит,
А танцует над травою.

Красная Шапочка.

Если бы могли они
Говорить по-человечьи...

Птицы.

То сказали бы, взгляни,
Как мы рады этой встрече.

Волк. И я рад. Воу, как я рад.

Красная Шапочка осторожно выглядывает из чащи.

Красная Шапочка. Это самое опасное место.

Птицы. Почему, почему? Мы смотрим.

Красная Шапочка. Здесь, у Дикого болота, такая густая чаща, что сверху вам ничего не увидеть. Но мне бы хотелось встретить волка тут.

Птицы. Почему, почему?

Красная Шапочка. Видите — вон Старый дуб? Как раз под ним и есть тот капкан, в который я хочу заманить волка.

Отчаянный вопль зайца.

Заяц. Стой! Красная Шапочка, стой!

Птицы. Заяц бежит, заяц.

Заяц *(влетает)*. Стой! Лиса выбросила из твоей сумочки...

Лиса. Вперед!

Волк. Сам знаю. *(Бросается вперед.)*

Заяц *(бросается на волка)*. Я вас, простите, укушу.

Волк молча, одним движением лапы отбрасывает зайца. Тот летит без чувств в кусты. Красная Шапочка выхватывает из сумочки сверток. Волк прыгает, девочка отскакивает. Птицы кричат:

"На помощь! На помощь!" Девочка бросает прямо в пасть волку щепотку нюхательного табака.

Волк. Что это? Ап-чхи. *(Чихает.)*

Красная Шапочка. Это нюхательный табак. На здоровье!

Волк. Все равно я тебя съем. Ап-чхи!

Красная Шапочка. На здоровье! Нет, не съешь.

Волк. Я сильней.

Красная Шапочка *(отступая к дубу)*. А я умней.

Лиса *(вскакивая)*. Осторожней! Там капкан!

Волк. Сам знаю!

Красная Шапочка. Ах, и лиса здесь!

Лиса. Да, я за тебя! Это я тебе кричала: осторожней, там капкан. Держись, девочка, я за тебя. *(Бежит к ней.)*

Красная Шапочка. Не подходи, или я и в тебя брошу табаком.

Лиса. У тебя его так много?

Красная Шапочка. Да. Кто-то украл одну пачку...

Лиса. Это не я.

Красная Шапочка. Но у меня еще много запасу. *(Бросает в лису табаком.)*

Лиса. Ап-чхи!

Волк. Ап-чхи!

Красная Шапочка. На здоровье!

Волк. Запомни: бой наш еще не кончился! Запомни!

Красная Шапочка. Помню, помню!

Волк. Воу. *(Злобно воя, уползает в кусты.)*

Лиса. Чхи! Ничего не поделаешь! Твоя взяла... Молодец... Чхи! Победила... Чхи! *(Уползает в кусты вслед за волком.)*

Птицы. Победа! Победа!

Красная Шапочка. Ничего подобного! Это она нарочно говорит, чтобы потом опять исподтишка напасть!

Птицы. Нет, нет! Волк убежал! Лиса тоже убежала!

Красная Шапочка. Они вернутся. Вам там наверху легко радовать ся, а мне внизу страшно.

Птицы. Но ведь мы с тобой, мы с тобой!

Красная Шапочка. Я знаю... И все-таки... Когда я с волком дралась, то ни о чем я не думала. А сейчас как вспомню я его, очень хочется мне убежать домой и запереть двери на замок, на крючок, на щеколду и еще стол к двери придвинуть и шкаф тоже... *(всхлипывает)* и комод...

Птицы. Плачет! Ах! Красная Шапочка плачет.

Красная Шапочка. Могу я поплакать, раз он убежал.

Птицы. Конечно, конечно!

Красная Шапочка. Я ведь девочка, а не камень.

Птицы. Нет, нет, не камень.

Красная Шапочка. Ах! Что мы наделали! *(Бросается в кусты.)* Зайчик! Заяц!

Птицы. Он спит! Он уснул!

Красная Шапочка. Нет, это он в обмороке. *(Бежит к болоту.)* Надо его побрызгать водой! *(Возвращается.)* Заяц! Ах ты мой серый! Очнись! Я прогнала волка, как щенка маленького! *(Роется в сумке.)* Где-то у меня тут был нашатырный спирт. Вот он. Ну? Зайка! Заинька! Зайчик! Зайчонок!

Заяц *(вскакивает)*. Я загрызу их всех, а тебя не дам в обиду! Ты мой друг единственный! Я твой друг.

Красная Шапочка. Все хорошо! Я, зайчик, всех прогнала! Успокойся!

Заяц. Ты победила! Ура! Ого!

Красная Шапочка. Лучше тебе?

Заяц. Теперь-то? Теперь я силен, как ты. *(Пошатывается.)* Только голова кружится и ужасно дрожит хвост. *(Садится.)*

Красная Шапочка. Ты ложись, полежи.

Заяц. Нет! А кто тебя проводит?

Красная Шапочка. Лежи, заинька, лежи, зайчик, спокойно. Волк теперь меня не тронет.

Заяц. Не тронет?

Красная Шапочка. Никогда! Ты поспишь и станешь опять умным зайцем, добрым зайцем, веселым зайцем, храбрецом!

Заяц. Я на волка бросался!

Красная Шапочка. Да, да. А я пойду, а то бабушка рассердится. Спи. Мне очень весело. Все хорошо. *(Встает и идет с песней.)*

Как мне весело идти!
Я в лесу моем как дома.

Птицы.

С каждой травкой на пути,
С каждой веткой ты знакома.

Красная Шапочка.

Колокольчик не звенит,
Но кивает головою.

Птицы.

И горошек не гремит,
Тихо вьется над травою.

Красная Шапочка.

Если бы могли они
Говорить по человечьи...

Птицы.

То сказали бы: взгляни,
Как мы рады нашей встрече.

(Уходят)

Заяц. Нет, я никак не могу уснуть. Как это замечательно, что я посмел на волка броситься. Ведь у меня зубы длинные. Ведь кору на дереве я прокусываю, а волк хоть и страшный, да небось куда мягче дерева. Ай да я! *(Прыгает.)* Ай да заяц! *(Прыгает.)* Да я совсем поправился! Побегу-ка за Красной Шапочкой! Ой! *(Бросается в кусты.)* Опять! Опять они! Веточки, спрячьте меня! Листики, не выдавайте! *(Прячется.)*

Волк *(выглядывает из чащи)*. Воу! Ушла? Иду следом.

Лиса *(выглядывает из чащи с другой стороны)*. Тебя птицы увидят!

Волк. Молчи!

Лиса. Дальше место открытое!

Волк. Сам знаю, не учи меня.

Лиса. Поди ка на тот вон белый камень и поваляйся.

Волк. Ах ты дерзкая! Это еще зачем?

Лиса. Это камень меловой, — вымажешься ты мелом, станешь похож на белую собаку. Девчонка тебя не узнает и...

Волк. Молчи! *(Идет к белому камню, скрывается за ним.)* Это я сам иду!

Лиса. Сам, сам!

Волк. Я сам знаю — надо перекраситься.

Лиса. Сам, сам!

В о л к. Молчи! *(Поет.)*

Две рябины, три осины
Воу!
Стали около трясины
Воу!
А под ними камень белый
Воу!
А на камне воин смелый
Воу!
Он прекрасен, этот воин
Воу!
Он четвероног и строен
Воу!
Он, герой, ни с кем не дружен.
Воу!
И никто ему не нужен
Воу!
Он стоит, свирепо воя
Воу!
Имя этого героя — Волк!

С последним словом волк прыгает иэ-за камня.
Он бел с головы до ног.

Л и с а. Хорошо, куманек. Теперь беги следом за девчонкой.

В о л к. Сам знаю. Стой! Это кто шевелится в кустах? Кто? Воу!

З а я ц *(пошатываясь, идет навстречу волку)*. Я... я вас, простите, сейчас загрызу.

В о л к. Что?

З а я ц *(отступая)*. Укушу! Не рычите — я не виноват. Я не могу оставить девочку в беде. Я побежал бы, чтобы рассказать ей все, но у меня ноги почти не идут от страха. И мне придется. *(Делает шаг вперед и сейчас же отступает)*. Мне придется подраться с вами. Да не рычите же, я сам этому не рад! *(Подпрыгивает.)* Вы, простите, довели меня до этого! Вы злобный зверь!

Л и с а. К дубу гони его, к дубу.

Волк. Не учи меня!

Заяц. Что? Что вы? А? *(Подпрыгивает.)* Я ничего не понимаю, но я ненавижу вас. Глупый зверь. Длиннохвостый, простите, урод! Бросайтесь скорей! Ах!

Резкое щелканье. Заяц попадает в капкан.

Заяц. Что это?

Лиса. Капкан! В который твоя подруга хотела волка поймать! Хи-хи-хи!

Волк. Уходи вон!

Лиса. Что ты, куманек! Что ты?

Волк. Прочь ступай! Загрызу!

Лиса. Погоди,родненький...

Волк. У меня родни нет. Вон! Слышишь ты? *(Бросается на лису. Та убегает в чащу.)* То-то! *(Зайцу.)* Сиди тут. А я пойду и съем твою Красную Шапочку. Съем! Я один. Конечно! Все в лесу пойдет по-старому, по-хорошему. Заяц на волка лапу поднял до чего дошло дело. Да как же ты посмел?

Заяц. Я верный друг!

Волк. Не смей этого слова говорить! Твое счастье, что меня ждет добыча поважней. Поживи еще часок, я вернусь к тебе. Вернусь! Конец дружбе! Конец Красной Шапочке! Один в лесу будет хозяин — это я! Воу! *(Убегает.)*

Лиса *(вылезает из кустов)*. Хи-хи-хи! Посиди, зайчик, я еще вернусь к тебе. Одна в лесу будет хозяйка — это я. Хи-хи-хи! *(Убегает.)*

Заяц. Что делать? Как спасти девочку? Помогите! *(Кричит.)* Помогите! Никто меня не слышит. *(К зрителям.)* Что же, пусть она так и погибнет? Нет! Надо кричать, звать, — может быть, услышит кто-нибудь в лесу. *(Кричит.)* Помогите! *(Громче.)* Я теперь ничего не боюсь. Помогите! Нет никого. Это самое глухое место во всем лесу. Но я, пока жив, не сдамся. Буду звать и звать и барабанить. Сыграю заячий боевой марш. Мы еще подеремся. *(Барабанит передними лапами по капкану и поет.)*

Зайцы братцы,
Время собираться!
Раз в опасности друзья,
Значит, трусить нам нельзя!
Братцы, братцы,

Время собираться!
Брось капусту, брось морковь,
Зубы к бою приготовь!
Братцы, братцы,
Время собираться,
Верны заячьи сердца,
Будем биться до конца!
Братцы, братцы,
Время собираться — драться!

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Поляна, поросшая цветами.

Волк. Молодец я! Очень я умен! Прогнал прочь лису. Я знаю, зачем она следом за мной ходила. Надеялась лиса, что я девчонку съем, а люди меня убьют. Ну, нет. Я старый волк, меня не надуешь. Девчонку-то я съем, да только потихоньку. Узнаю у нее, где ее бабушка живет... Воу! Идет! Идет!

Слышен птичий щебет и песня Красной Шапочки.

Волк. Только бы не завыть при ней! Повою тихонько, пока ее нет.

Воет под песню. С концом песни Красная Шапочка выходит на поляну.

Волк *(нежным голосом)*. Здравствуй, дорогая Красная Шапочка.

Красная Шапочка. Здравствуй, белая собака.

Волк *(басом свирепо)*. Я тебе не со... *(Спохватывается.)* Да, да, я собака... Меня зовут Дружок.

Красная Шапочка. Дружок? Здравствуй, Дружок. *(Хочет погладить*

волка. Волк отскакивает.)

Красная Шапочка. Что с тобой, Дружок?

Волк. Прости меня, я одичал. Я потерялся, от охотника отбился. Мне так скучно без него. Очень-очень.

Красная Шапочка. И давно ты потерялся?

Волк. Три дня.

Красная Шапочка. Бедный пес! Значит, ты хочешь есть?

Волк. Нет, спасибо, я сыт. Меня накормила твоя бабушка.

Красная Шапочка. Бабушка?

Волк. Да! Ведь это она живет возле... *(кашляет)* возле...

Красная Шапочка. Возле Старых берез, за Мельничным ручьем.

Волк. Ага, ага! Она меня и накормила.

Красная Шапочка. Как ее здоровье?

Волк. Плохо. Лежит в постели.

Красная Шапочка. Надо скорей бежать к ней.

Волк. Ах, нет, нет! Она попросила тебе передать, если я тебя встречу, чтобы ты набрала ей букет цветов.

Красная Шапочка. Цветов? Хорошо. А может быть, все-таки дать тебе поесть? Почему ты облизываешься, когда смотришь на меня?

Волк. Нет, это я так. До свиданья, девочка.

Красная Шапочка. До свиданья, Дружок.

Волк *(басом).* Я тебе не Др... *(спохватывается.)* До свиданья, девочка, до свиданья, милая. *(Убегает.)*

Красная Шапочка. Птицы, отчего вы замолчали?

Птицы. Нам не понравилась эта собака. Она виляет хвостом так, будто не умеет этого делать. Странная собака. Злая собака. Огромная собака.

Красная Шапочка. Глупости! Просто она за три дня отвыкла от людей. Не надо меня пугать. Давайте лучше петь.

С пением, собирая цветы, уходит. Изнемогая от смеха, из-за кустов вылезает лиса.

Лиса. Хи-хи-хи! Вот что волк задумал, значит! Побежит сейчас к бабушке, съест сначала ее, а потом девочку. Думает — никто не увидит. А я на что? Хи-хи-хи! *(Поет.)*

Волк — он лезет в лоб да в лоб.
Люди волка хлоп да хлоп.
А я потихонечку,
А я полегонечку —
И, смотри, жива, цела
И, как цветочек, расцвела!
Ай да лисонька!
Ай да умница!

(Убегает.)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Дом бабушки Красной Шапочки. Бабушка сидит у окна, вяжет.

Бабушка. Выдумали! Тридцать семь и два, даже полтора, так изволь в кровати лежать. Ха! Не на таковскую напали. Горло, так и быть, завязала, а в кровать — нет! Скорее лопну, а в кровать не лягу. Я уже сегодня и на речку сбегала, и за грибами сбегала, и пыль обмела, и чай вскипятила, и даже на гитаре поиграла. Старинный романс. *(Поет.)* "Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять". Хе-хе-хе! Красной Шапочке об этом не скажу все-таки. Боюсь — заругает. Она строгая у нас. Она...

Вдали раздается крик: "Помогите!" Бабушка вскакивает.

Бабушка. Что такое? Никак, на помощь зовут? *(Выглядывает из окна. В руках ее — ружье.)* Кто там кричит?

Волк *(вбегает)*. Ой, помогите, ой!

Бабушка. Что такое? Почему такое?

Волк. За мною волк гонится...

Бабушка. Ничего! Сейчас я его застрелю.

Волк. Ах, нет, нет! Вы сами как хотите, а я очень боюсь! Спрячьте меня под кровать. Прошу.

Бабушка. Экий ты какой! Ну, иди в дом!

Видна комната. Волк входит в комнату.

Бабушка. Ну, лезь под кровать.

Волк *(басом)*. Брось ружье!

Бабушка. Что такое?

Волк. А то! *(Выбивает у бабушки ружье лапой. Открывает гигантскую свою пасть. Проглатывает бабушку.)*

Бабушка *(из волчьего живота)*. Да ты, никак, меня надул. Ты волк?

Волк. А ты думала? Ха-ха-ха! Где твои очки? Вот они. Где чепчик? Вот он. Очень хорошо! Ха-ха-ха!

Бабушка. Не смейся, ты меня трясешь.

Волк. Ладно!

Бабушка. Я знаю, что ты задумал! Ты задумал Красную Шапочку съесть!

Волк. Обязательно.

Бабушка. Только попробуй! Я ей крикну: уходи, съест!

Волк. А я сейчас тремя одеялами укроюсь — она и не услышит.

Бабушка. Не смей!

Волк укрывается двумя одеялами.

Бабушка. Не смей!

Волк укрывается еще одним одеялом. Бабушку не слышно.

Волк. То-то, замолкла. Ну и жарко же под тремя одеялами. Эй, ты там, бабушка! Не смей меня бить кулаком в живот. Что? И каблуком не смей. Никак идет! Идет! Воу!

Красная Шапочка вбегает. Видна под окном.
В руках у нее букет цветов.

Красная Шапочка. Ну, птицы, до свиданья, дорогие. Спасибо вам за помощь, друзья.

Птицы. Мы подождем! Мы боимся! Нам кажется...

Красная Шапочка. Нет, нет, улетайте! *(Вбегает в дом и останавливается, пораженная.)*

Птицы. Смотрите на окна. Она испугалась! Подождем, подождем! Посмотрим, посмотрим...

Красная Шапочка. Бабушка, отчего ты такая белая?

Волк. Оттого, что больная.

Красная Шапочка. Бабушка, отчего у тебя такой странный голос?

Волк. Оттого, что горло болит.

Красная Шапочка. Бабушка, а отчего у тебя сегодня такие большие глаза?

Волк. Чтобы тебя получше видеть.

Красная Шапочка. Бабушка! А отчего у тебя такие большие руки?

Волк. Чтобы тебя покрепче обнять. Подойди сюда.

Красная Шапочка. Бабушка! А отчего у тебя такие большие зубы?

Волк *(ревет)*. Чтобы съесть тебя! *(Проглатывает девочку. Укладывается на постели, сбросив с себя все одеяла.)*

Птицы отчаянно кричат.

Волк. А-ха-ха! Наконец-то! Молодец! Съел! Победил!

Красная Шапочка. А кто здесь еще у волка в животе?

Бабушка. Кто же, как не бабушка!

Красная Шапочка. Он и тебя съел? Ты, бабушка, не бойся, — мы спасемся.

Бабушка. Учи меня... Будто я не знаю.

Волк. Тише вы там1 Не мешайте мне спать!

Бабушка. Отстань! Что это? Он тебя с корзинкой проглотил? Дай-ка мне кусочек пирога. Спасибо. Внучка! Да ты, никак, плачешь?

Красная Шапочка. Это я не от страху, бабушка, а мне обидно, что он меня перехитрил.

Бабушка. Сейчас он тебя, а потом мы его. Ты не плачь, ты думай, как нам спастись.

Красная Шапочка. Я знаю, как нам спастись! Птицы, сюда! Скорее!

Птицы. Ты жива? Девочка! Ты жива?

Красная Шапочка. Да, птицы. Как можно скорее летите все на восток и на восток. На перекрестке двух дорожек стоит человек. Расскажите ему все. Летите! Скорей!

Птицы. Летим. *(Улетают.)*

Бабушка. Красная Шапочка, ты на меня не сердишься?

Красная Шапочка. За что?

Бабушка. Я компресс сняла. Уж очень тут жарко.

Красная Шапочка. Давай я завяжу. Сейчас же. Нас очень скоро спасут, а ты простудишься. Нас очень скоро спасут. Слышишь?

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

М а т ь идет по лесу, встревоженно оглядывается.

М а т ь *(кричит)*. А-у! А-у-у-у! Нет ее. Красная Шапочка! Пропала. Ждала я ее, ждала и пошла к ней навстречу. У окна я стояла-стояла, у калитки стояла-стояла, на дорожке стояла-стояла — и не могу больше стоять. Иду. Ау! *(Поет.)*

Как приятно жить на свете,
Если дома наши дети.
А когда их дома нет,
То не мил нам белый свет.
Девочка моя — ау!
За тобой иду — ау!
Беспокоюсь я — ау!
Не попала ль ты в беду?

Занавес

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Перекресток двух дорожек в лесу. На сосне плакат: “Соблюдайте правила лесного движения”. На перекрестке стоит л е с н и к.

Л е с н и к *(поет)*.

Здесь недавно жабы жили,
Змей вползал в нору свою,
Здесь недавно волки выли,
А теперь тут я стою.
Я стою, сторожу,
За порядком я слежу.
Все я вижу, все я слышу,

Во все стороны гляжу.
Без хлопот и без тревоги
Проползай, беги, лети,
Если сбился ты с дороги,
Покажу я, как пройти.
Я стою, сторожу,
За порядком я слежу,
Все я вижу, все я слышу,
Во все стороны гляжу.
Волк, едва меня увидит,
С воем прячется в лесу.
Если кто тебя обидит,
Завизжи — и я спасу.
Я стою, сторожу,
За порядком я слежу.
Все я вижу, все я слышу,
Во все стороны гляжу.
Здесь недавно жабы жили,
Змей вползал в нору свою,
Здесь недавно волки выли,
А теперь тут я стою!

Бежит медведь, за ним летит пчела. Лесник пропускает медведя, задерживает пчел. Медведь облегченно вздыхает, хохочет, бежит дальше, но лесник свистит. Подходит к медведю и, сняв перчатку, разглядывает его лапу.

Лесник. В меду!

Медведь. Этого того... Лиса говорила, что пчел там нет, а их там видимо-невидимо.

Лесник. В отделение!

Медведь. Того этого...

Лесник свистит. Из-за кустов выходит собака. Лесник делает ей знак. Она берет медведя за ухо, уводит его. Раздается металлический лязг. Лесник вглядывается, лязг все приближается, и вот на дорожку выезжает большой бидон из-под молока.

Лесник поднимает руку. приказывает бидону остановиться. Тот едет дальше. Лесник свистит. Бидон останавливается.

Лесник. Чья машина?

Голос ужа *(из бидона)*. Деда С-с-савелия.

Лесник. А как вы туда попали?

Уж. Я зале-з-з-з в бидон молоч-ч-ч-чка попить-ть-ть, а лис-с-с-с-ица захлопнула крыш-ш-ш-ш-шку. Я в бидоне верчусь-сь-сь-сь и качусь-сь-сь.

Лесник. Залез в бидон? В отделение!

Уж. Лис-с-с-сица...

Лесник. До нее очередь тоже дойдет. *(Свистит. Появляется собака. Лесник приказывает ей.)* В отделение.

Собака катит бидон лапами. Уходит. По дорожке летит перепуганный кролик. Лесник пропускает его. За ним гонится лиса. Лесник знаком останавливает ее.

Лиса. Я как раз к вам, товарищ милиционер.

Лесник. Вот как? А мне показалось, что вы гонитесь за кроликом.

Лиса. Что вы! Хи-хи-хи! Это просто знакомый. Я хотела сказать ему, чтобы он поклонился маме и папе.

Лесник *(суховато)*. Да?

Лиса. У меня к вам важное дело. Волк...

Птицы *(вбегают)*. Не верьте ей, ах, не верьте, выслушайте нас.

Лесник. В чем дело?

Птицы. Волк съел Красную Шапочку, а лиса была с ним заодно. Красная Шапочка жива. Она говорила с нами из волчьего живота.

Лиса. Как жива? *(Делает шаг назад.)*

Лесник *(хватает ее за шиворот. Свистит. Приказывает прибежавшей на свист собаке)*. В отделение! *(Подходит к дереву, достает из дупла телефон. Говорит по телефону.)* Пришлите смену. Я еду по срочному делу.

Мать Красной Шапочки выходит на дорожку. Слушает.

Лесник. Да, с Красной Шапочкой. Откуда вы знаете? Уж и медведь

сказали? Ага! Смена уже вышла? Прекрасно. *(Вешает трубку.)*

М а т ь. Товарищ лесник, что с моей девочкой? Не скрывайте от меня. Смотрите, я не дрожу, не плачу. Вы мне скажете?

Л е с н и к. Красная Шапочка в большой опасности, но я уверен, что мы спасем ее. *(Птицам.)* Показывайте дорогу. Вперед!

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Музыка. Дом бабушки. М а т ь и л е с н и к подбегают к кровати. В о л к по-прежнему спит там. Лесник бросается к комоду, ищет там что-то. Мать достает из кармана фартука и протягивает леснику ножницы. В это время просыпается и вскакивает волк. Лесник выхватывает из кобуры револьвер, целится в волка. Тот, воя, ложится снова. Мать связывает волку лапы веревками и разрезает живот волка. Из живота зверя живые и невредимые выскакивают К р а с н а я Ш а п о ч к а и б а б у ш к а. Обнимаются с матерью. Музыка, которая гремела все громче и громче, обрывается.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Мамочка, ты не сердишься на меня, что меня волк съел?

М а т ь. Нет, девочка, не сержусь. Но смотри, чтобы это было в последний раз.

Б а б у ш к а *(строго, грозя маме Красной Шапочки пальцем)*. Дочка, что надо сказать?

М а т ь. Ах, прости мамочка. *(Кланяется леснику.)* Спасибо.

Л е с н и к. Что вы! Это вам спасибо, гражданка. Вы мне помогли.

Б а б у ш к а *(леснику)*. Кофе выпейте. Чаю.

М а т ь. Пирога с вишнями.

Л е с н и к. Благодарю, гражданки, некогда. Нет ли у вас иголки и толстой нитки?

Б а б у ш к а. А что — у вас пуговица оторвалась? Я пришью.

Л е с н и к. Нет. Надо волку живот зашить и в отделение.

Б а б у ш к а. Зачем зашить? Я заштопаю так, что и незаметно будет. Где мои очки? Куда девались мои очки? Ах, этот негодный волк лежит в моих очках. Вот иголка. Вот серая нитка. Я мигом заштопаю. Я быстрая.

Красная Шапочка, лесник и мать подходят к окну.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну, птицы, до свиданья.

П т и ц ы. До свиданья, девочка! До свиданья. Красная Шапочка.

Л е с н и к. Спасибо вам за быстрое сообщение.

П т и ц ы. Не за что, не за что, мы так рады, так рады. *(Улетают.)*

Б а б у ш к а. Ну вот и все. Заштопала так, что сама не могу найти, где было разрезано. Ай да я! Быстро?

К р а с н а я Ш а п о ч к а *(подходит к бабушке)*. Да. Очень. Ах, да, бабушка, я впопыхах забыла с тобой поздороваться... Здравствуй, бабушка.

Б а б у ш к а. Здравствуй, внученька.

К р а с н а я Ш а п о ч к а *(поет)*.

Страшно в волчьем животе

Б а б у ш к а *(поет)*.

В тесноте да в темноте...

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Здравствуй, бабушка!

Б а б у ш к а. Здравствуй, внученька!

М а т ь. Хорошо зато теперь.

Б а б у ш к а. Крепко связан страшный зверь.

М а т ь. Здравствуй, мамочка.

Б а б у ш к а. Здравствуй, доченька.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Как все кончилось легко!

М а т ь. Все невзгоды далеко!

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Здравствуй, мамочка!

М а т ь. Здравствуй, доченька.

Л е с н и к. Простите, что я перебиваю вас, гражданка, но мне надо ехать. Дела! Запомни, девочка, раз навсегда: перекрашенный волк — тоже волк! Волк! Волк!

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Да уж теперь я запомню это очень хорошо.

Лесник оборачивается к кровати. Волка на кровати нет.

Лесник. Волк убежал!

Бабушка. Караул!

Лесник. Лапы мы ему связали, а пасть забыли! Он перегрыз зубами веревки и ушел черным ходом. *(Бросается вон.)*

Красная Шапочка. И мы с вами.

Лесник. Все равно он попадется.

Под звуки марша убегает.

Занавес

КАРТИНА ПЯТАЯ

Белоух сидит в капкане. Вокруг несколько зайцев. Они барабанят и поют заячий марш.

Белоух. А ну тише! Послушаем — не идет ли волк?

Зайцы. Дуб шуршит, в болоте вода плещет, а волка не слыхать.

Старый заяц. Он, братцы, очень тихо ходит! Может быть, он уже здесь в кустах.

Зайцы. Ах! Ох!

Белоух. Позор! Кто клялся не трусить? Уши выше, зайцы. Когда волк придет, бросайтесь на него, тащите к людям на суд и расправу! Кому будет уже слишком страшно смотреть — закрывай глаза, хватай его с закрытыми глазами. Кто рева его испугался — затыкай уши!

Волк *(выходит из кустов. Негромко)*. А кто тихого его голоса испугается, тому что делать? А?

Зайцы, дрожа, окружают Белоуха.

Волк *(идет на зайцев)*. Разойдись!

Старый заяц. Не разойдусь! Нипочем! Бей его, братцы!

Град сосновых шишек летит в волка.

В о л к. Воу! Да что же это! Да вы вспомните, кто я! Всех проглочу. Расходитесь! Считаю до трех: раз! два!..

М е д в е д ь *(выходит из кустов)*. Три! Что, братец двоюродный, не ждал?

В о л к. Я тебе не братец! У меня братьев нет! Я сам по себе!

М е д в е д ь. Брось зайцев, а то озлюсь!

В о л к. Я сегодня не боюсь никого! Я льва разорву, воу-у, а не то что косолапого медведя.

М е д в е д ь. Что? Хо-хо хо! А ну, того... Разойдись, зайцы, дайте мне место.

Зайцы прячутся. Волк и Медведь дерутся.

У ж *(поднявшись в кустах, шипит)*. С-с-сюда! С-с-с-сюда!

Появляются л е с н и к, б а б у ш к а, м а т ь. К р а с н а я Ш а п о ч к а.

Л е с н и к *(свистит)*. Прекратить драку!

В о л к *(бросается на лесника)*. Не лезь — убью!

Л е с н и к *(направляет на волка револьвер)*. Лапы вверх!

Волк падает, подымает вверх лапы. Мать связывает ему лапы веревкой.

Л е с н и к *(медведю и ужу)*. А вы как сюда попали?

М е д в е д ь. Нас этого... Отпустили.

Л е с н и к. Оштрафовали?

М е д в е д ь. Ничего.

Пока шел этот разговор, Красная Шапочка освободила Белоуха. Выводит его вперед.

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Ну, зайчик, на этот раз волку уже совсем конец.

В о л к. Воу! Девчонка меня перехитрила!

М е д в е д ь. Ничего.

М а т ь. Красная Шапочка, а ты знаешь, который час?

К р а с н а я Ш а п о ч к а. Да, мамочка, пора домой! До свиданья, заяц!

Б е л о у х. Я тебя провожу!
К р а с н а я Ш а п о ч к а. До свиданья, медведь!
М е д в е д ь. Я, брат, иду тоже с тобой.
К р а с н а я Ш а п о ч к а. До свиданья, уж!
У ж. Я с-с вами пополз-з-зу.
К р а с н а я Ш а п о ч к а. До свиданья, товарищ лесник!
Л е с н и к. Нам по дороге, Красная Шапочка!

Маршируют по сцене и поют.

Мы окончили войну.
Раз-два! Раз два!
Волк в плену, лиса в плену!
Раз-два! Раз два!
Мы победу заслужили.
Раз-два! Раз два!
Потому что мы дружили.
Раз-два! Раз два!
Смело бросились мы в бой.
Раз-два! Раз-два!
А теперь идем домой!
Раз-два! Раз два!
Но, друзья, смотрите в оба.
Раз-два! Раз-два!
Бесконечна волчья злоба.
Раз-два! Раз-два!
Забывать врага нельзя!
Раз-два! Раз-два!
До свидания, друзья.
Раз-два! Раз два!

К о н е ц

Новые приключения Кота в сапогах

Однажды Кот в сапогах пришел к своему хозяину, которого звали Карабас, и говорит ему:

— Я уезжаю!

— Это почему же? — спрашивает Карабас.

— Я стал очень толстый, — отвечает Кот в сапогах. — Мне по утрам даже трудно сапоги надевать. Живот мешает. Это оттого, что я ничего не делаю.

— А ты делай что-нибудь, Котик, — говорит ему Карабас.

— Да ведь нечего, — отвечает Кот в сапогах. — Мышей я всех переловил, птиц ты трогать не позволяешь. До свиданья!

— Ну что ж, — сказал Карабас. — Ну, тогда до свиданья, дай лапку. Ты вернешься?

— Вернусь, — ответил Кот в сапогах и пошел в прихожую.

В прихожей он нашел коробочку гуталина, выкатил ее из под шкафа, открыл, почистил сапоги и отправился в путь.

Шел он день, шел два и дошел до самого моря. И видит Кот — стоит у берега большой красивый корабль.

"Хороший корабль, — подумал Кот. — Не корабль, — подумал Кот, — а картинка! Если на этом корабле еще и крысы есть, то это просто прелесть что такое!"

Вошел Кот на корабль, отыскал на капитанском мостике капитана и говорит ему:

— Здравствуй, капитан!

Капитан посмотрел на Кота и ахнул:

— Ах! Да это никак знаменитый Кот в сапогах?

— Да, это я, — говорит Кот. — Я хочу на вашем корабле пожить немного. У вас крысы есть?

— Конечно, — говорит капитан. — Если корабль плохой, то крысы с корабля бегут. А если корабль хороший, крепкий, они так и лезут — спасенья нет.

Услышав это, Кот снял поскорее сапоги, чтобы потише ступать, отдал их капитану и побежал вниз. Капитан за ним. Кот вбежал в капитанскую каюту, постоял, послушал — и вдруг как прыгнет в буфет! Буфет затрясся, загрохотал, задребезжал.

— Батюшки, да он всю мою посуду перебьет! — закричал капитан. Не

успел он после этих слов и глазом моргнуть, как вылезает Кот обратно из буфета и тащит за хвосты четырнадцать штук крыс.

Уложил он их рядом и говорит капитану:

— Видал? А всего только одно блюдечко и разбил.

И с этого дня началась у Кота с капитаном дружба. И не только с капитаном— стал Кот для всего корабля самым дорогим гостем. Очень полюбили его все моряки — так он замечательно крыс ловил. Прошло дней пять — и почти перевелись на корабле крысы.

Вот однажды сидел капитан у себя в каюте и угощал Кота сбитыми сливками. Вдруг зовут капитана наверх. Капитан побежал на капитанский мостик. Кот следом спешит, сапогами грохочет. И видит Кот — идет по морю навстречу большой красивый корабль. Все ближе подходит корабль, все ближе, и видит Кот, что там на капитанском мостике стоит женщина. На плечах у нее белая куртка, а на голове капитанская фуражка.

— Что это на встречном корабле женщина делает? — спрашивает Кот у своего друга-капитана.

А капитан и не слышит, схватил из ящичка маленькие флажки и стал их то опускать, то подымать... То правую руку вытянет, а левую опустит, то левую подымет, а правую вытянет, то скрестит руки. Флажки так и мелькают. А женщина в капитанской фуражке тоже взяла флажки и отвечает капитану. Так они и переговаривались флажками, пока не разошлись корабли.

И увидел вдруг Кот, что лицо у капитана стало очень грустное.

— Капитан, а капитан, кто эта женщина в белой курточке и капитанской фуражке?

— А эта женщина — моя жена, — отвечает капитан.

— Что же она делает на встречном корабле? — удивился Кот.

— Как что? — отвечает капитан. — Она этим кораблем командует.

— Разве женщины бывают капитанами?

— У нас бывают, — отвечает капитан. — Чего ты удивляешься? Она — очень хороший капитан.

— Это видно, — сказал Кот. Корабль у нее красивый, чистый.

Тут капитан чуть поморщился и говорит Коту:

— У меня, между прочим, тоже все в порядке. Если бы ты наш корабль в море встретил, то увидел бы, что он тоже весь так и сияет.

— Да я знаю, — говорит Кот. — Но отчего же ты все-таки такой грустный?

Капитан поморщился еще больше, хотел ответить, но вдруг на мостик поднялся моряк и говорит:

— Капитан! Там вся команда собралась, вас ждет.

— По какому поводу собрание? — спрашивает капитан.

— А мы видели ваш разговор с женой, очень за вас огорчились и хотим обсудить, как вам помочь.

Вздохнул капитан и пошел с капитанского мостика вниз. Кот следом бежит, сапогами грохочет.

Стоит внизу вся команда, ждет капитана. Объявил капитан собрание открытым и говорит:

— Да, товарищи, пришлось мне сегодня узнать грустные вещи: передала мне жена, что сын мой до того себя плохо ведет, что просто ужас. Бабушку из-за него пришлось в дом отдыха отправить, дедушку в санаторий, а тетя чуть с ума не сошла. Живет он сейчас на даче в детском саду и ведет себя с каждым днем все хуже. Что такое, почему — непонятно. Я — хороший человек, моя жена тоже, а мальчик — видите какой. Расве приятно посреди моря такие новости узнавать?

— Конечно, неприятно, — ответили моряки.

И начали обсуждать, как тут быть, как помочь капитану. Любой согласен поехать узнать, в чем же дело с мальчиком, но у каждого на корабле своя работа. Нельзя же ее оставить. И вдруг Кот в сапогах вскочил на мачту и говорит:

— Я поеду.

Сначала его моряки стали отговаривать. Но Кот настоял на своем.

— Крыс, — говорит он, — я уничтожил, давайте мне другое дело — потруднее. Увидите, я все там рассмотрю и налажу.

Делать нечего.

Спустили шлюпку, стали прощаться с Котом, лапку ему пожимать.

— Осторожнее, — говорит Кот, — не давите мне так лапку. Всего вам хорошего. Спасибо.

Спрыгнул Кот в шлюпку, сел на весла, гребет к берегу.

Моряки выстроились вдоль борта, и оркестр выстроился рядом. Оркестр гремит, моряки кричат:

— До свиданья Котик!

А он им лапкой машет.

— Не забудь, что моего сына зовут Сере-е-е-ж-а-а! — кричит капитан...

— У меня записано-о! — отвечает Кот в сапогах.

— Через месяц наши корабли дома буду-у-ут! Мы с женой приедем узнать, что и ка-а-ак! — кричит капитан.

— Ла-адн-о-о! — отвечает Кот.

Вот все тише музыка, все тише, вот уже и не видно корабля. Пристал Кот в сапогах к берегу, сдал шлюпку сторожу на пристани, пошел на вокзал, сел в

поезд и поехал к Сереже на дачу.

Приехал он к Сереже на дачу. Пожил там день, пожил два, и все его очень там полюбили. С простым котом и то интересно: и поиграть с ним можно, и погладить его приятно. А тут вдруг приехал Кот в сапогах! Говорит по-человечьи. Сказки рассказывает. Наперегонки бегает. В прятки играет. Воды не боится, плавает и на боку, и на спине, и по-собачьи, и по-лягушачьи. Все подружились с Котом в сапогах.

А Сережа, сын капитана, — нет. Начнет, например, Кот сказку рассказывать, а Сережа его за хвост дергает и все дело этим портит. Что за сказка, если через каждые два слова приходится мяукать.

— Жил-был... мяу... один мальчик... мяу...

И так все время. Чуть что наладится, Сережа уже тут — и все дело губит.

На вид мальчик хороший, здоровый, румяный, глаза отцовские — ясные, нос материнский — аккуратный, волосы густые, вьются. А ведет себя, как разбойник.

Уже скоро месяц пройдет, скоро приедут Сережины родители, а дело все не идет на лад. И вот что заметил Кот в сапогах.

Начнет, скажем, Сережа его за хвост дергать. Некоторые ребята смеются, а сам Сережа нет, и лицо у него невеселое. Смотрит на Сережу Кот в сапогах, и кажется ему, что бросил бы Сережа это глупое занятие, но не может. Сидит в нем какое-то упрямство.

“Нет,—думает Кот,—здесь дело неладное. Об этом подумать надо”

И вот однажды ночью отправился Кот на крышу думать.

Занимал детский сад очень большую дачу — комнат, наверное, в сорок. И крыша была огромная, с поворотами, с закоулками: ходишь по крыше, как по горам. Сел Кот возле трубы, лапки поджал, глаза у него светятся, думает. А ночь темная, луны нет, только звезды горят. Тихо, тихо кругом. Деревья в саду стоят и листиком не шелохнут, как будто тоже думают. Долго сидел так Кот в сапогах. Заведующая Лидия Ивановна уж на что поздно спать ложится, но и та уснула, свет у нее погас в окне, а Кот все думает.

Стоит дача большая, темная, только на крыше два огонька горят. Это светятся у Кота глаза.

И вдруг вскочил Кот в сапогах и насторожился. Даже зарычал он, как будто собаку почуял. Человеку бы ни за что не услышать, а Кот слышит: внизу тихо-тихо кто-то ворчит, ворчит, бормочет, бормочет. Снял Кот сапоги, положил их возле трубы, прыгнул с крыши на высокий тополь, с тополя на землю и пополз неслышно кругом дома.

И вот видит Кот под окном той комнаты, где стоит Сережина кровать, жабу.

И какую жабу — ростом с хорошее ведро.

Глазищи жаба выпучила, рот распялила и бормочет, бормочет, ворчит, ворчит...

“Вот оно что! Ну, я так и знал!” — подумал Кот.

Подкрался к жабе и слушает.

А жаба бормочет:

— Направо — болота, налево — лужа, а ты, Сережа, веди себя похуже.

— Здравствуй, старуха, — сказал Кот жабе.

Та даже и не вздрогнула. Ответила спокойно:

— Здравствуй, Кот, — и снова забормотала: — Когда все молчат, ты, Сережа, кричи, а когда все кричат, ты, Сережа, молчи.

— Ты что же это, старуха, делаешь? — спросил Кот.

— А тебе что? — ответила жаба и опять заворчала, забормотала: — Когда все стоят, ты, Сережа, иди, а когда все идут, ты, Сережа, сиди.

— Злая волшебница! — говорит Кот в сапогах жабе. — Я тебе запрещаю хорошего мальчика превращать в разбойника! Слышишь?

А жаба в ответ только хихикнула и опять заворчала, забормотала:

— Заговорит с тобою Кот, а ты ему, Сережа, дай камнем в живот. Болота, трясины, лужи, — веди себя, Сережа, похуже.

— Жаба, — говорит Кот, — да ты никак забыла, что я за кот! Перестань сейчас же, а то я тебя оцарапаю.

— Ну ладно, — ответила жаба. — На сегодня, пожалуй, хватит.

Отвернулась она от окна, подпрыгнула, поймала на лету большую бабочку, проглотила ее и уселась в траве. Глядит на Кота, выпучив глазищи, и улыбается.

— Зачем тебе Сережа понадобился? — спрашивает Кот.

Тут жаба раздулась, как теленок, и засветилась зеленым светом.

— Ладно, ладно, не напугаешь, — говорит Кот. — Отвечай, зачем ты к мальчику привязалась.

— А очень просто, — говорит жаба. — Терпеть не могу, когда ребята дружно живут. Вот я и ворчу, бормочу себе тут потихоньку. Сережа мой, наслушавшись, десять скандалов в день устраивает! Хи-хи!

— Чего ты этим добьешься? — спрашивает Кот.

Тут жаба раздулась, как стол, и засветилась синим светом.

— Чего надо, того и добьюсь, — зашипела она. — Двадцать лет назад на этой даче в сорока комнатах два человека жили. Хозяин и хозяйка. Хозяйка была красивая, глаза выпученные, рот до ушей, зеленая, — настоящая жаба. Просто прелесть, какая милая. Полный день ворчит, кричит, квакает. Никого она на порог не пускала. Все сорок комнат им двоим. А сам хозяин еще лучше

был. Худой как палка, а злой как я. Он и в сад заглянуть никому не позволял, кулак показывал всякому, кто только глянет через забор. Хорошо было, уютно. И вдруг — на тебе: двадцать лет назад пришли люди, выгнали хозяев! И с тех пор не жизнь пошла, а одно беспокойство. Лужи возле забора были прелестные, старинные, — взяли их да осушили. Грязь была мягкая, роскошная, а они мостовую проложили, смотреть не хочется. А в наши сорок комнат ребят привезли. Поют ребята, веселятся, танцуют, читают, и все так дружно. Гадость какая! Ведь если у них так дружно пойдет, то мои хозяева никогда не вернутся. Нет, я на это не согласна!

— Ну ладно, — сказал Кот в сапогах. — Хорошо же, злая волшебница. Недол-го тебе тут колдовать.

— Посмотрим! — ответила жаба, перестала светиться, сделалась ростом с ведро и уползла в подполье.

Полез Кот в сапогах обратно на крышу, надел сапоги и до самого утра просидел возле трубы. Все думал: что же делать?

После завтрака вышел Сережа в сад. Кот слез с крыши — и к нему. Сережа схватил камень и запустил прямо Коту в живот. Хорошо, что Кот этого ждал, — увернулся и вскочил на дерево.

Уселся Кот на ветке и говорит Сереже:

— Слушай, брат, что я тебе расскажу. Ты ведь сам не понимаешь, кому ты служишь.

И рассказал он Сереже все, что ночью видел и слышал. Рассказал и говорит:

— Сережа, ты сам подумай, что же это получается? Выходит, что ты вместе с жабой за старых хозяев. Мы живем дружно, а ты безобразничаешь. Как же это так? Это хорошо?

И видит Кот по Сережиным глазам, что он хочет спросить: "Котик, как же мне быть?"

Вот уже открывает Сережа рот, чтобы это сказать... Вот сейчас скажет. И вдруг как заорет:

— Хорошо, хорошо!

Побежал Сережа после этого в дом, схватил планер, который ребята вместе с Котом склеили, и поломал его.

Тогда Кот подумал и говорит:

— Да, жаба-то, оказывается, довольно сильная волшебница.

Слез он с дерева, умыл как следует мордочку лапкой, усы пригладил, почистил сапоги и прицепил к ним шпоры.

— Война так война, — сказал Кот в сапогах.

После мертвого часа позвал он всех ребят на озеро. На озере рассказал Кот

ребятам все, что ночью видел и слышал.

Ребята загудели, зашумели, один мальчик даже заплакал.

— Плакать тут нечего, — сказал Кот в сапогах. — Тут не плакать надо, а сражаться! Нужно спасти товарища. Мы должны дружно, как один, ударить по врагу. — И тут Кот ударил ногой о землю, и шпоры на его сапогах зазвенели.

— Правильно, правильно! — закричали ребята.

— Ночью я объявляю жабе войну, — сказал Кот. — Вы не спите, все, все со мной пойдете.

Одна девочка — ее звали Маруся — говорит:

— Я темноты боюсь, но, конечно, от всех не отстану.

А мальчик Миша сказал:

— Это хорошо, что сегодня спать не надо. Я терпеть не могу спать ложиться.

— Тише! — сказал Кот в сапогах. — Сейчас я научу вас, как нужно сражаться с этой злой волшебницей.

И стал Кот в сапогах учить ребят. Целый час они то шептались с Котом, то становились парами, то становились в круг, то опять шептались.

И наконец Кот в сапогах сказал:

— Хорошо! Идите отдыхайте пока.

И вот пришла ночь. Темная, еще темнее прошлой.

Выполз Кот из дома. Ждал он ждал, и, наконец, под окном заворчала, забормотала жаба. Кот к ней подкрался и ударил ее по голове. Раздулась жаба, засветилась лиловым светом, прыгнула на Кота, а Кот бежать. А жаба за ним. А Кот на пожарную лестницу. А жаба следом.

А Кот на крышу. А жаба туда же. Бросился Кот к трубе, остановился и крикнул:

— Вперед, товарищи!

Крикнул он это, и над гребнем крыши показались головы, много голов — весь детский сад.

В полном порядке, пара за парой, поднялись ребята на гребень крыши, спустились вниз и опять поднялись на другой гребень к трубе. Все они были без башмаков, в носках, чтобы не поднимать шума, чтобы от грохота железа не проснулась Лидия Ивановна.

— Молодцы! — сказал Кот ребятам.

А они взялись за руки и окружили Кота и жабу.

— Так! Правильно, — сказал Кот. — Очень хорошо!

А жаба смотрела на ребят, тяжло дышала и хлопала глазами. И все росла, росла. Вот она стала большой, как стол, и засветилась синим светом. Вот она стала, как шкаф, и засветилась желтым светом.

— Спокойно, ребята! — сказал Кот. — Все идет как следует.

А Маруся на это ответила Коту:

— Это даже хорошо, что она светится, а то я темноты боюсь.

И Миша сказал:

— Да, хорошо, что светло, а то я чуть не уснул, пока ждали ее.

И все ребята сказали:

— Ничего, ничего, мы не боимся!

— Не боитесь? — спросила жаба тихонько.

Тут жаба бросилась на них

— Держитесь! — приказал Кот и, гремя шпорами, прыгнул вслед за жабой. Ребята вскрикнули, но не расцепили рук. Туда и сюда бросалась жаба, и все напрасно. Не разорвался круг, устояли ребята. Жаба прыгнет — они поднимут руки, жаба поползет — они опустят. Двигается круг ребят по крыше вверх — вниз, вниз — вверх, как по горам, но крепко сцеплены руки — нет жабе выхода.

— Петя! — командует Кот. — Держитесь! Она сейчас к тебе прыгнет! Так! Варя! Чего ты глазами моргаешь? Держитесь все, как один, как один! Пусть видит жаба, какие вы дружные ребята!

— Дружные! — шипит жаба. — Да я сама сегодня видела, как этот вот Миша дрался с этим вот Шурой!

И бросилась жаба вперед, хотела проскочить между Мишей и Шурой, но не проскочила. Подняли они вверх крепко сцепленные руки, и отступила жаба.

— Держитесь! — шепчет Кот. — Я на крыше, как у себя дома, а она свежего воздуха не переносит. Она вот-вот лопнет от злости, и — готово дело — мы победим.

А жаба уже стала ростом с автобус, светится белым светом.

Совсем светло стало на крыше. И вдруг видит Кот: Сережа сидит возле чердачного окна.

— Сережа! — закричал Кот. — Иди к нам в круг!

Встал Сережа, сделал шаг к ребятам и остановился. Жаба засмеялась.

— Сережа! — зовет Кот. — К нам скорее! Ведь мы же ради тебя сражаемся.

Пошел было Сережа к ребятам, но вдруг жаба громко свистнула, и в ответ на ее свист что-то застучало, забилось под крышей по всему чердаку.

— Вам нравится в кошки-мышки играть! — закричала жаба. — Так нате же вам еще мышек! Получайте!

И тут из чердачного окна вдруг полетели летучие мыши. И прямо к ребятам.

Огромная стая летучих мышей закружилась над головами. Ребята отворачиваются, а мыши пищат, бьют их крыльями по лицу. Кот старается — машет лапками, но куда там! Будь он летучим котом, он мог бы ловить летучих

мышей, но он был Кот в сапогах.

Сережа постоял, постоял, прыгнул в чердачное окно и исчез.

Дрогнули ребята, расцепили руки. Побежали они в разные стороны, а летучие мыши полетели за ними. Ну что тут делать? А жаба стала, как шкаф, потом — как бочонок, потом — как ведро. И бросилась она бежать от Кота через всю крышу огромными прыжками. Вот уйдет совсем. Коту нельзя от жабы отойти, а ребята зовут его, кричат:

— Котик, кот, помоги!

— Что будет? Что будет?

И вдруг яркий свет ударил из слухового окна. Загрохотало железо. На крышу выскочила заведующая Лидия Ивановна с лампой в руках, а за нею Сережа. Бросилась она к ребятам.

— Ко мне! — кричит она. — Летучие мыши света боятся!

Не успели ребята опомниться — снова грохот, и на крышу выскакивают капитан — Сережин отец и капитан — Сережина мать. В руках у них электрические фонарики.

— Сюда! — кричат они. — К нам!

Летучие мыши испугались, поднялись высоко вверх и исчезли. А ребята бросились к жабе и снова окружили ее кольцом, не дают ей бежать.

— Молодцы! — кричит Кот. — Правильно!

Стала жаба расти, сделалась она большая, как стол, потом — как шкаф, потом — как автобус, потом — как дом, и тут она наконец-таки — бах! — и лопнула. Лопнула, как мяч или воздушный шарик, ничего от нее не осталось. Кусочек только зеленой шкурки, маленький, как тряпочка.

После этого побежали все вниз, в столовую, зажгли там свет, радуются, кричат.

Лидия Ивановна говорит:

— Ах, Кот в сапогах! Почему же вы мне ничего не сказали! Я вам так верила, а вы потащили ребят на крышу.

Кот сконфузился и закрыл морду лапками.

Тут капитан вступился:

— Ну ладно! — говорит он. Жабу он все-таки первый открыл. Представьте себе наше удивление. Как только корабли прибыли на родину, мы сели в машину и поскорей сюда. Смотрим, а тут на крыше целый бой. Нет, вы только подумайте! А где Сережа?

— Он под столом сидит, — отвечает Лидия Ивановна. — Он стесняется. Ведь это он меня на крышу вызвал. Молодец!

Сережа сначала крикнул из-под стола:

— Молодец-холодец! — но потом вылез оттуда и говорит: — Здравствуй, мама, здравствуй, папа! Да, это верно, это я Лидию Ивановну позвал.

Тут все еще больше обрадовались. Никто никогда не слышал, чтобы Сережа так мирно и спокойно разговаривал.

— Батюшки! Я и забыл! — вскричал капитан. Убежал он и вернулся с двумя свертками. Развернул один сверток, а там сапоги высокие, красивые, начищенные, так и сияют, как солнце. — Это вся наша команда посылает тебе, Кот, подарок за твою хорошую работу.

А капитанша развернула второй сверток. Там широкая красная лента и шляпа.

— А это от нашего корабля, — говорит капитанша. — Команда просила передать, что ждет тебя в гости к нам.

Поглядел Кот на подарки и говорит:

— Ну, это уж лишнее.

Потом надел шляпу, сапоги, повязал ленточку на шею и час, наверное, стоял у зеркала, все смотрел на себя и улыбался.

Ну, а потом все пошло хорошо и благополучно. Прожил Кот на даче с детским садом до самой осени, а осенью приехал со всеми ребятами в город и в Октябрьские дни ехал с ними мимо трибуны на грузовике. С трибуны кричат:

— Смотрите, смотрите, какая маска хорошая!

А Кот отвечает:

— Я не маска, я — настоящий Кот в сапогах.

— Ну, а если настоящий, так это еще лучше.

1937 г.

Стихи и письма



* * * * *

Я не пишу больших полотен —
Для этого я слишком плотен,
Я не пишу больших поэм,
Когда я выпью и поем.

[20-е годы]

Стихи о Серапионовых братьях, сочиненные в 1924 году[1]

Серапионовы братья —
Непорочного зачатья.
Родил их "Дом искусств"
От эстетических чувств.
Михаил Слонимский:
Рост исполинский, —
Одна нога в Госиздате
И не знает, с какой стати,
А другая в "Ленинграде"
И не знает, чего ради.
Голова на том свете,
На дальней планете,
На чужой звезде.
Прочие части неизвестно где.
Константин Федин
Красив и бледен.
Пишет всерьез
Задом наперед[2].
Целуется взасос.
И баритоном поет.
Зощенко Михаил
Всех дам покорил —

Скажет слово сказом[3],
И готово разом*.
Любит радио,
Пишет в "Ленинграде" о
Разных предметах
Полонская Елизавета.
Вениамин Каверин
Был строг и неумерен.
Вне себя от гнева
Так и гнул налево.
Бил быт,
Был бит[4].
А теперь Вениамин
Образцовый семьянин,
Вся семья Серапионова
Ныне служит у Ионова[5].

15/III — 1928.

Приятно

Приятно быть поэтом
И служить в Госиздате при этом.
Служебное положение
Развивает воображение.

19.II.27.

Авторы и Леногиз

Сочинение Е. Шварца.

Все у нас идет гладко,
Только авторы ведут себя гадко.
Прямо сказать неприятно —
Не желают работать бесплатно.
Все время предъявляют претензии:
Плати им и за рукописи, и за рецензии,

*Есть вариант более удачный, но менее приличный.

И за отзывы, и за иллюстрации,
Так и тают, так и тают ассигнации.
Невольно являются думы:
Для чего им такие суммы?
Может, они пьют пиво?
Может, ведут себя игриво?
Может, занимаются азартной игрой?
Может, едят бутерброды с икрой?
Нельзя допускать разврата
Среди сотрудников Госиздата.

1927 г.

. . . . .

Один зоил
Коров доил
И рассуждал над молоком угрюмо:
Я детскую литературу не люблю,
Я детскую литературу погублю
Без криков и без шума.
Но вдруг корова дерзкого — в висок,
И пал, бедняга, как свинца кусок.
Зоил восстановил против себя натуру,
Ругая детскую литературу.
Читатель, осторожен будь
И день рождения Любарской не забудь.

[Конец 20-х годов]

Песенка клоуна

Шел по дорожке
Хорошенький щенок,
Нес в правой ножке
Песочный пирожок
Своей невесте,
Возлюбленной своей,

Чтоб с нею вместе
Сожрать его скорей.
Вдруг выползает
Наган Наганыч Гад
И приказает
Ступать ему назад.
И отбирает
Подарок дорогой,
И ударяет
Счастливчика ногой.
Нет, невозможен
Такой худой конец.
Выну из ножен
Я меч-кладенец!
Раз! И умирает
Наган Наганыч Гад,
А щенок визжает:
"Спасибо, очень рад!"

[Начало 30-х годов]

Случай

Был случай ужасный — запомни его:
По городу шел гражданин Дурнаво.
Он всех презирал, никого не любил.
Старуху он встретил и тростью побил.
Ребенка увидел — толкнул, обругал.
Котенка заметил — лягнул, напугал.
За бабочкой бегал, грозя кулаком,
Потом воробья обозвал дураком.
Он шествовал долго, ругаясь и злясь,
Но вдруг поскользнулся и шлепнулся в грязь.
Он хочет подняться — и слышит: "Постой,
Позволь мне, товарищ, обняться с тобой,
Из ила ты вышел когда-то —
Вернись же в объятия брата.
Тебе, Дурнаво, приключился конец.

Ты был Дурнаво, а теперь ты мертвец.
Лежи, Дурнаво, не ругайся,
Лежи на земле — разлагайся".
Тут всех полюбил Дурнаво — но увы!
Крыжовник растет из его головы,
Тюльпаны растут из его языка,
Орешник растет из его кулака.
Все это прекрасно, но страшно молчать,
Когда от любви ты желаешь кричать.
Не вымолвить доброго слова
Из вечного сна гробового!
Явление это ужасно, друзья:
Ругаться опасно, ругаться нельзя!

[Начало 30-х годов]

Басня

Один развратник*
Попал в курятник.
Его петух
Обидел вдрух.
Пусть тот из вас, кто без греха,
Швырнет камнями в петуха.

1924

. . . . .

Кто приехал на съезд?
Во-первых, Б. Реет,
Во-вторых,
Г. Белых,
Шишков,
Козаков,

---

*Е.Шварц.

К. Чуковский
(Украшение Большой Московской.)
Лебеденко,
Черненко,
Миттельман
(Который о съезде напишет роман),
Моргулис
(Которые еще, в сущности, не проснулись),
И, наконец, я сам:
Который от счастья близок к небесам!
Академик*.

15.VIII.1934.
Столовая (Бывшая Филиппова).

Перчень расходов на одного депутата

Руп
На суп,
Трешку
На картошку**,
Пятерку
На тетерку,
Десятку
На куропатку***,
Сотку
На водку
И тысячу рублей
На удовлетворение страстей.

1934

* Е.Шварц после обеда.
** Вариант - на тешку.
*** Вариант - на шоколадку (мармеладку).

1.

Н. К. Чуковскому (Петроград)

(Бахмут)

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Так близко масло, простокваша,
Яичница и молоко,
Сметана, гречневая каша,
А ты, Чуковский, далеко.

Прославленные шевриеры[1]
Пасутся скромно под окном.
Котенок деревенский серый
Играет с медленным котом.

Цыплята говорят о зернах,
Слонимский говорит о снах —
И крошки на его позорных
Давно невыбритых устах.

Мы утопаем в изобильном,
Густом и медленном быту,
На солнце щуримся бессильно
И тихо хвалим теплоту.

И каждый палец, каждый волос
Доволен, благодарен, тих,
Как наливающийся колос
Среди товарищей своих.

Да, уважаемый Радищев,[2]
Веселый, изобильный край
Вернул с теплом, с забытой пищей
Знакомый, величавый рай.

И стали снова многоплодны
Мои досуги. И опять
Стал М. Слонимский благородный
Сюжеты разные рожать.

....

Пиши. Мы радостно ответим.
Пусть осенью, в родном чаду
Посланья о веселом лете
С улыбкой вялою найду.

Июнь 1923. Числа здесь никто не знает.
Величка (местность).

Дорогой Коля!

1. Ответь немедленно по адресу: станция Деконская, Донецкой губернии. Рудник Либкнехта. Мне.

2. Передай Корнею Ивановичу мой привет. Если бы не почерк и не скромность — я написал бы ему лично.

3. Передай Марии Борисовне,[3] что я и Миша Слонимский низко ей кланяемся и часто вспоминаем.

4. Скажи сестре своей Лиде, что она не любит лето оттого, что никогда не была здесь. Скажи, что письма наши адресованы в такой же мере как и тебе — ей.

5. Живем как во сне.

Шварц

2.

(Сентябрь 1923)

Николай Чуковский!

На такой бумаге пишут в редакциях.[1] Как только приедет Слонимский, выясню дела с твоим гонораром.[2] Если он не выслан вчера почтой, передам сегодня Лиде.[3]

С ней также постараюсь передать тебе папирос.

Жара. Пыль. Очень похоже на июль. Говорят, что такая погода продержится до января.

Если бы ты написал письмо бескорыстно! Если бы ты вдруг описал точ-

но, какой сейчас в Петербурге воздух, и прочее о нем, колыхающееся и так далее, и вообще. Взгляд и нечто!

Но ты так корыстолюбив. Ты жаден. Я уверен, что до следующей задержки гонорара — писем от тебя не будет. И поэтому, если ты пришлешь стихи еще, я гонорар задержу.

Привет сестре твоей Лиде, которая тебя умнее и которая симпатичнее. Империалистические страны Европы в своем безумии дошли до абсурда. Возможен катаклизм.

Передай привет Лене Мессу.[4] Передай ему, что я не острю больше. Никогда. Некогда. Пусть он не жалеет японских гейш. У них маленькие ноги. Они не монументальны.

Если пошлю тебе папирос — не откажи в любезности угостить Леню Месса.

Без точного знания тарификации невозможен никакой учет неквалифицированной рабочей силы. Тарификация — необходима.

Я был бы очень рад увидеть Месса, Арнштама[5] и близких вам. Миша вчера сравнил себя с Брет-Гартом в Калифорнии. Брет-Гарт редактировал там журнал. Мне не с кем сравнить себя. Я не знаю, кто был секретарем у Брет-Гарта.[6] Слонимский утешается сравнением. Я грущу.

Пиши бескорыстно.

Е. Шварц, секретарь Брет-Гарта

P. S. Женись на Марине.[7]

P. P. S. С гонораром выяснил. Его привезет Миша.[8]

3.

Л. Н. Лунцу (Германия)

(Ленинград, начало февраля 1924)

Левушка, милый! Только по подлости я не написал тебе до сих пор длинно. Твой рассказ произвел впечатление бомбы, начиненной свежей... как бы это сказать? атмосферой, допустим. Короче — частью ржали, частью задумывались. Напишу тебе длинно. Пока — полон почтения твоей уважаемой голове.

Почтительный

Шварц

4.

В. А. Зандберг (Мисхор)

Ленинград, (кон. июня — нач. июля 1927)

Милая Верочка, друг детства, отрочества и юности! Вы сейчас думаете идти к морю, а я думаю только о вас, о том, что стыдно мне, старику, так быстро привыкать к людям, а вам стыдно уезжать от людей, которые привыкли, в какой-то там чужой Крым.

Как вы живете, дружок? По-прежнему худеете и поздно ложитесь спать! По-прежнему, до трех часов ночи у вас сидят глупые гости? Кто строил дачу, в которой вы живете? Уж не Гваренги[1] ли? А если Гваренги, то много ли на этой даче скорпионов? Напишите мне обо всем. Зачем вы уехали? Я уверен, что эти антипатичные крымские комары мучают вас и кусают и не дают покоя, да еще жужжат при этом, как какие-нибудь гости. Стоило ли уезжать?

Я скучаю, Верочка. Вы уехали только вчера, а я скучаю, как не скучал даже на лекциях, когда был студентом юридического факультета. Мне некуда идти. Каким образом за один день в городе образовалось такое количество никому не нужных людей? Никого мне не надо. Здесь тихо, мирно, благополучно. Идут дождики. Вы увезли с собой даже хорошую погоду — это уж совсем нехорошо.

Милая Верочка, я думал сначала дождаться вашего письма, а потом ответить так или иначе, в зависимости от того, до какой степени вы позабыли меня. Как видите — я не дождался письма. Я и без письма вашего знаю, что еще в дороге я исчез из вашей памяти, как мышь, — бесследно и тихо. Еще в дороге блистательные моряки заставили забыть всех ленинградских друзей. А Крым... Ну, словом, как видите, я не дождался вашего письма и пишу глупости, потому что мне без вас скучно. Может, я чем-нибудь обидел вас? Может быть, вам еще что-нибудь подарить? Берите все, мне не жалко. Берите Неву.

Я глупо провожал вас. Я на вокзале говорил вам глупости. Я нечаянно сказал: “вы меня уже не любите, Верочка”. При чем тут любовь? Я хотел сказать — вы уже забыли меня — вот, что я хотел сказать, гражданочка. А впрочем — все это опять глупости, которые я пишу, потому что без вас скучно, и я перебираю в памяти каждую секунду последних дней моей жизни.

Не гордитесь и не браните меня. Тень от ваших ресниц (это кажется из “Разбойников”) — тень от ваших ресниц легла на весь мир. (Шиллер — Гак-

кель.)

Сегодня — это уже я пишу второй день — сегодня нисколько не веселей. Пишу я в Госиздате, в той самой комнате, где вы сидели на диване. Здесь опять много народу, и меня опять отрывают каждую секунду, а я упорно возвращаюсь к этому глупому письму. К моему единственному утешению.

Артамонова[2] деньги за "Управдома" получила. Тридцать шесть рублей. За "Петрушку" тоже скоро получит, вероятно.

Куда я поеду? В Мисхоре вы, окруженная новыми друзьями, вы встретите меня презрительным смехом, а потом начнете бросать в меня камушками. Вот вы какая, Верочка. А в любом другом месте — вас нет. Две эти простые истины меня огорчают. Куда ехать?

Осенью вы приедете веселая, вежливая, на меня — никакого внимания, на Гаккеля — тоже. Вы будете полны крымскими воспоминаниями. Только проклятому Петрову[3] вы слегка улыбнетесь — и сейчас же задумаетесь о Крыме, и о тех новых друзьях, которых вы сейчас еще не знаете, но которые завтра-послезавтра познакомятся с вами (чтоб их солнце всех пожгло дочиста, негодяев).

Ну вот и все, что я хотел вам сказать, друг мой Верочка. Напишите мне хоть о погоде. Номер Дома книги — 28.

Я хотел вас попросить, чтоб вы поклонились всем, но не стоит. Не надо, чтоб все знали, что я пишу вам, а потом дразнили бы меня осенью. Я не хочу, чтоб все знали, как мне скучно, когда вас нет дома. Мне скучно, очень скучно. Даже испытанные в нашей семье молитвы к святой Цецилии[4] — не помогают. Что делать?

Целую вас, Верочка. Поклонитесь Черному морю. Оно не выдаст. Не гордитесь. Не забывайте. До свиданья.

Ваш старый друг, полный удивления перед собственной глупостью. Ваш верный друг

Е. Шварц.

5.

12 июля (1927 г.)

Милая Верочка, самый мой любимый друг, — как Вы решили? Вы едете в Киев? Или остаетесь в Мисхоре еще на две недели?..

Я с женой и Петр Иванович Соколов с женой [...] выезжаем 22-го июля в Судак. Оттуда через две недели я уйду бродить по Крыму и зайду в Мисхор,

где мне скажут: “а Макарьевы уехали!”

Мне скучно, Верочка. Здесь жарко, как в Крыму, а надо работать. Это, собственно говоря, не трудно, но очень, до крайности скучно. Невозможно себе представить, что это кому-нибудь нужно: корректуры там разные, книжки, разговоры.

Где Вы, Верочка? Заходил я к Вам в Аптекарский переулок. Ремонт на улице кончается, в окнах у Вас темно, в казарме напротив беспризорные поют “Светит месяц”. Ваша квартира на Фонтанке — не кажется мне Вашей.[1] Я не привык. По-моему (так по крайней мере я чувствую, когда вспоминаю), по-моему, живете Вы в Аптекарском, а с Фонтанки только уезжаете в Крым загорать, играть в мяч, ломать палец. Верочка! Как Вы себя чувствуете, дружок? [...]

Есть тысячи вещей, которые до зарезу необходимо Вам рассказать — и невозможно. В письме это не выйдет. Я не гений какой-нибудь, чтоб описывать все, что нужно сказать Вам. Вот. Имейте это в виду. Я не гений.

Я бы с удовольствием пошел сейчас в актеры. Тогда я имел бы право поехать в дом отдыха ЦК Рабиса.[2] Это единственный дом отдыха, в который я поехал бы с восторгом.

Приехал Маршак. Около часа он строго расспрашивал меня о Елагиной.[3] Я получил от нее, от Елены Владимировны, открытку, что она едет в Коктебель, а Маршак приревновал. Видите, какое дело! Теперь, наверное, начнет он меня притеснять по службе.

Верочка милая, вы любите осень? По-моему, это отличное время года. Вдруг случится обида, вдруг действительно я приду в Мисхор, а Вы в Киеве! Если это случится, позвольте мне думать, что осенью, здесь в Ленинграде, мы останемся по-прежнему друзьями. Правда, я буду занят, как лошадь, и вы будете здорово заняты, но мы останемся друзьями, увидимся, поговорим. Верочка? Верно я говорю, Верочка? Не забывайте меня. Если Вы сразу ответите на это письмо, я еще получу ответ до отъезда. Ответьте, миленькая, будьте другом.

Те три книжки, что я сочинил при Вас для “Радуги”, уже в наборе и скоро выйдут.[4] Клячко обещал послезавтра дать денег. Если не даст, может сорваться моя поездка и пропадут деньги, что я дал за билеты. Если это случится, то я действительно рассержусь. Даже ногой топну.

Я здорово приготовился к путешествию пешком (это, кстати, о ноге). У меня есть подробнейшие карты Крыма, а кроме того я бросил хромать*. До этих пор я написал вчера, когда получил письмо от Вас и от Гаккеля. Сегодня я получил еще одно письмо! Милая Верочка Зандберг, Верочка, друг мой —

это Вы бесчувственная! Я Ваш самый верный и вечный друг. По целому ряду причин я еду в Судак — и сделаю все, что будет в моих силах, чтобы уйти оттуда в Мисхор. Я сейчас с ужасом понял, что неверно считал. Я почему-то воображал, что Вы пробудете в Мисхоре до 15 августа, — и вдруг Вы пишете, что 5-го вы уедете! Я присчитывал две недели к первому августа! У меня бывают такие припадки рассеянности, будь я трижды рыжий.[5] Теперь надо вести дела так, чтоб к первому августа зайти к Вам.

Если бы Вы знали, дружок, как я жду Ваших писем. В субботу девятого я почему-то особенно ждал от Вас ответа на мое общее письмо. Я ничего не получил в субботу и огорчился, и подумал даже: в последний раз в жизни я затеваю переписку с друзьями — одни огорчения от этого. Сегодня я не жалею, что затеял переписку с друзьями, мой самый главный, самый важный, самый лучший друг! Мой единственный друг.

Спасибо Вам, Верочка, за Ваше ласковое и доброе письмо. Вы поправились в Крыму? Как Ваши отношения с Зонами? Пишите все о себе. Пишите подробно — ведь может случиться так, что это будет Ваше последнее письмо ко мне. Кто знает, как в Судаке устроена почта? Понимаете?

Целую Вас крепко, дружок. Обязательно пишите! Сейчас же пишите.

Е. Шварц.

6.

Е. И. Зильбер (Шварц)

(Ленинград, 1928)

Милый мой Катарин Иванович, мой песик, мой курносенький. Мне больше всего на свете хочется, чтобы ты была счастливой. Очень счастливой. Хорошо?

Я всю жизнь плыл по течению. Меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что больше ничего интересного мне на этом свете не увидеть. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо.

Что будет дальше — не знаю и знать не хочу. До самой смерти мне будет тепло, когда я вспомню, что ты мне говоришь, твою рубашечку, тебя в рубашечке. Я тебя буду любить всегда. Я всегда буду с тобой.

Когда я на тебя смотрю, ты начинаешь жмуриться, прятаться, сгонять мой взгляд глазами, губами. Ты у меня чудак.

Е. Ш.

7.

Екатерина Ивановна!

Из девяти писем одно было сердитое.[1] И сейчас тоже одно письмо я напишу тебе сердитое.

Во-первых — ты не обедаешь! Это безобразие! Если я еще раз услышу, что ты не обедала — я тебя ударю по руке!

Во-вторых — не смей мне изменять.

В-третьих — запомни. Мрачные мысли запрещены. Запрещены навсегда и на всю жизнь. Если ты вздумаешь хоть что-нибудь, так я тебе... Я в следующую же секунду. Понимаешь?

В-четвертых — зачем ты ешь спички?

В-пятых — я тебя люблю.

Е. Ш.

8.

4 января 1929 года.

I

Служу я в Госиздате,
А думаю я о Кате.
Думаю целый день —
И как это мне не лень?

Обдумаю каждое слово,
Отдохну — и думаю снова.

II

Барышне нашей Кате
Идет ее новое платье.
Барышне нашей хорошей
Хорошо бы купить калоши.
Надо бы бедному Котику
На каждую ножку по ботику.
И надо бы теплые... Эти... —
Ведь холодно нынче на свете!

На свете зима-зимище,
Ветер на улице свищет.

III

Холодно нынче на свете,
Но тепло и светло в буфете.

Люди сидят и едят
Шницель, филе и салат.
Лакеи, вьются, стараются,
Между столиками пробираются.

А я говорю: “Катюша,
Послушай меня, послушай.
Послушай меня, родимая,
Родимая, необходимая!”

Катюша и слышит и нет,
Шумит, мешает Буфет.
Лотерея кружит, как волчок,
Скрипач подымает смычок —
И ах! — музыканты в слезы,
Приняв музыкальные позы.

IV

Извозчик бежит домой,
А моя Катюша со мной.
А на улице ночь и зима,
И пьяные сходят с ума,
И сердито свистят мильтоны,
И несутся пустые вагоны.

И вдруг, далеко, на Садовой —
Трамвай появляется новый.
На нем футляр из огня,
Просверкал он гремя и звеня.

А я говорю: “Катюша,
Послушай меня, послушай,
Не ссорься со мной, говорю,
Ты мой родной, говорю”.

V

Я прощаюсь потише, потише,
Чгобы не было слышно Ирише.[1]
Я шагаю один, одинокий
Дворник дремлет овчинный, широкий.

Посмотрел Катюше в окно —
А Катюше-то скучно одной.
Занавески, радио, свет —
А Катюша-то — смотрит вслед!

VI

До свидания, маленький мой.
Когда мы пойдем домой?
На улице ветер, ветер,
Холодно нынче на свете.

А дома тепло, темно,
Соседи уснули цавно,
А я с тобою, курносый,
Даю тебе папиросы,
Пою вишневой водой,
Удивляюсь, что ты не худой.

Я тебя укрываю любя,
Я любя обнимаю тебя.
Катюша, Кагюша, Катюша,
Послушай меня, послушай!

9.

10 января 1929 года

Пожалуйста, не сердись на меня, Катюша. Я сегодня целый день один, а я от этого отвык. Поэтому я и пишу.

Отчего у тебя по телефону такой сердитый голос? Отчего ты обо мне не вспоминала ни разу за весь день? Отчего я дурак?

Я ездил сегодня в Детское Село.[1] Это, Катюша, отвратительно. В вагоне пахло карболкой, молочницы ругали евреев, за окошками снег. Думал я все время о тебе. Обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить. Я мог бы написать пятьсот вариаций на тему — Екатерина Ивановна.

Я тебя люблю.

В Детском Селе все знакомо и враждебно с давних пор. А теперь враждебно особенно.

Катюша, по телефону ты меня всегда ненавидишь. Почему так трудно говорить по телефону? Я тоже не умею.

Маршак живет в голубом доме на Московском шоссе. Во всех детскосельских квартирах ужасно тонкие стены. Кажется, что обои наклеены на картон или на фанеру. Живут люди там временно, кровати какие-то детские, столы какие-то кухонные.

Разговоры у нас бьлл деловые и до крайности утомительные. Маршак очень живой и энергичный человек. Но, по непонятным причинам, живость его действует на меня усыпляюще. Его стремление расшевелить меня, заставить меня работать вызывает во мне бессознательный протест. Воображение начинает цепляться за что угодно: за фотографию на столе, за пятно на стене, за шум во дворе. Он говорит, а я пропускаю мимо ушей. Наконец он кричит:

— Женя! Женя!

Как будто будит меня. (Он знает мою способность засыпать во время дел.) Я отрываюсь от мыслей о том, как выпилена ножка стола, или о том, как хорошо на юге. И мы работаем.

Катюша, мне надоело делать не то, что хочется! Мне хочется с тобой поговорить. Писать. Пойти к Аничке.[2] Поцеловать тебя. А беспокоиться о “Еже”, я не хочу! Но Маршак будит, окликает. толкает, и я с трудом переключаюсь на “Еж”.

Так проходит день.

Маршак провожает меня на вокзал. По бокам шоссе в тоненьких домах живут люди. У одних стирка — на кухне висит белье. У других еще не убрана

елка. У третьих на стене картины Штука.[3] А мы с Маршаком идем, а ветер дует, а собаки обижаются. Маршак дает мне последние наставления, а я думаю — вот если бы я в этом доме жил, что бы было, или в этом, или в том. Я слышу Маршака, как ветер или шум автомобиля, но он в темноте не замечает и не будит меня.

На поезд я едва успел. В вагонах пахнет карболкой. Молочниц нет. За окном чернота, снегу не видно. Я сажусь у окна — и начинаю обдумывать тебя, Катюша. Я тебя люблю.

Прости, что я все это пишу тебе. Но от того, что я сегодня один, меня преследуют мрачные мысли. Если нельзя поговорить с тобой, я хоть напишу. Если день пропал — то пусть хоть здесь останется от него что-то.

Сейчас очень поздно. Я не знаю, — что ты делаешь? Ты спишь? Ты читаешь? Ты разговариваешь? Катюша — ты не знаешь, что я пишу тебе письмо? А я пишу. У меня сейчас очень тихо. Еще тише, чем в Детском Селе на улице. Пока я пишу, я все время думаю о тебе, и мне, наконец, начинает казаться, что я не один.

А ты, может быть, мне изменяешь?

Со мной в трамвае ехал полный господин, в путейском пальто. Он все беспокоился. Он кричал:

— Нина? Ты две станции взяла?

— Две, две.

— А билеты у тебя?

— У меня, у меня.

— Нина! Нина! Иди сюда, стань рядом со мной.

Я смотрел и думал: вот судьба неизвестно зачем столкнула меня с неизвестным, черноглазым, полным господином, и я его запомню. Я еду и скучаю и беспокоюсь без тебя, а он едет, озирается своими сумасшедшими глазами и беспокоится вообще. И это 10 января 1929 года. И где-то образовываются какие-то события. А у тебя новое платье. А я тебя люблю. Вот какие у меня глубокие мысли бывают в трамваях.

Катюша, милая, я написал длиннейшее письмо, и все о себе. Это потому, что я избаловался. Я привык говорить с тобой.

Не забывай меня, пожалуйста, никогда. Мне без тебя невозможно. Я целый день чувствовал — что ничего хорошего сегодня не будет, что тебя я не увижу, что зачем-то пропадает очень хороший четверг.

Ведь еще ничего? Еще все хорошо? Еще мы будем вместе? Это просто сейчас, пока, сегодня, десятого, в четверг — я один. А мы еще увидимся?

Целую тебя крепко, моя девочка. Мы еще увидимся.

Е. Ш.

10.

3 августа 1935

Дорогой мои Кот!

Вчера мы выехали из Тифлиса. Остановились на один день в городе Гори, где родился Сталин.

Город хороший — южный. В 19-м году он был разрушен землетрясением. Теперь восстановлен. Видели мы школу, где учился Сталин. Показывали нам старую желтую фотографию, где он снят в группе учеников школы, четырнадцатилетним мальчиком.

Дом, где он родился, производит сильное и своеобразное впечатление. В темном полуподвале стоят в жестяных баках деревянные угли. Курица, привязанная за лапку, клюет кукурузу. У задней стены стояла кровать, на которой Сталин родился.

Затем мы смотрели консервный завод, который выпускает 7 миллионов банок в год (фрукты, икра, перец). Затем — сад, совхоз, где 50 000 деревьев.

Вечером нам дали обед. Тамадой был председатель горсовета. Угощали прекрасным местным вином. Все пили мало.

Сегодня 3-го едем дальше.

С нами едет молодой грузинский поэт Карло Каладзе.[1] Он наш, так сказать, проводник. Кроме того ЦК Грузии разослало всюду телеграммы о том, что мы едем.

Сегодня будем в Боржоме.

Все ничего — но я не знаю, что с тобой, и узнаю не скоро.

Прилагаю вырезку. Попробуй меня узнать на фото.[2]

Я тебя очень люблю и без тебя погибну. Помни это.

Твой старый *Женя.*

11.

К. И. Чуковскому (Ленинград)

(Приписка к письму Л. М. Квитко,[1] 17 октября 1936)

Дорогой Корней Иванович!

Привет от Вашего бывшего секретаря и старого друга. Часто вспоминаю Вас вместе с Квиткою и, накажи меня господь, хвалили Вас. Я начал писать стихи по-украински. Вот они:

Квитко —
швидко,
А Шварц Женя
Лежить на берегу без усякого движения.[2]

Целуем Вас.Низкий поклон Марии Борисовне.[3] Квитко просит добавить, что уезжаем мы отсюда числа 31.

Ваш *Е. Шварц.*

1918

Вечеръ Сценическихъ Опытовъ
(Открытіе Театральной Мастерской)

Постановки П. К. Вейсбрема.
...и Димитрія Федорова.
...лександра Филова.
...С. В. Клячко. Начало въ 8 час.

...iй постановочной частью С. М. Горьликъ.

...ноября 1918 г. ... Нач. стража Кротовичъ. ...и С. И. Файншмидтъ Б. Садовая 28.

I.

Прологъ „Опьяненные сценой“

Пушкинъ „Пиръ во время чумы“. Эскизъ представленія. Исполнители: Предсѣдатель - Боратынскій; Молодой человѣкъ - Остеръ; Мери - Халаджіева; Луиза - Черкесова; Остальные пирующіе - А. Шварцъ, Е. Шварцъ, Михалевъ, Магбаліева, ... Цеймахъ, Рыссъ; ...

...ма...

II.

Лермонтовъ. Сцена изъ „Маскарада“ Этюдъ.

Исполнители: Арбенинъ - А. Шварцъ; Князь Звѣздичъ - Михалевъ; Маска - Бунимовичъ; Шприхъ - Костомолоцкій; Прочія маски - Черкесова, Воловикова, Цеймахъ, Е. Шварцъ, Халаджіева; Неизвѣстный - Остеръ.

III.

Уайльдъ „La sainte courtisane или женщина, увѣшанная драгоцѣнностями“. Представленіе незаконченной драмы Исполнители: Первый Человѣкъ Е. Шварцъ; Второй Человѣкъ А. Шварцъ; Миррина - Миллеръ; Гонорій - Шацманъ.

Программа открытия Театральной мастерской. Ростов. 1918 г.

Сцены из спектакля "Гондла". 1922 г.

Слева вверху: Е.Шварц в роли Сноррe.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСК

1922

ПРОГРАММА

ГОНДЛА

Драматическая поэма в 4-х действиях Николая Гумилева.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Старый Конунг	А. И. Шварц или Н. А. Николаев.
Снорре	Е. А. Шварц.
Груббе	А. М. Натолин.
Ларе	Марк Эго.
Ахти	Р. М. Холодов.
Гондла Ирландский Королевич	Д. П. Любимов или А. И. Шварц.
Лера	Г. Н. Халайджиева.
Вожль	П. О. Боратынский.

Ирландские воины.

Действие происходит в Исландии в IX веке.

Постановка А. Б. Надеждова.

Декорации и костюмы по эскизам худ. А. А. Аранова.

Музыка Н. З. Хейфеца.

Декорации исполнены худ. А. И. Божеряновым.

Костюмы и бутафория Собственных Мастерских театра.

Заведующий Технической частью Я. Н. Резников.

Главный Режиссер Д. П. ЛЮБИМОВ.

Начало в 8 часов вечера.

Директор театра С. М. Горелик. Администратор М. П. Петров.

„Р. В. Ц." Птгр. 500 экз. 26-я Гос. тип., Михайловский, 20.

ГОНДЛА

Драматическая поэма в четырех действиях.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

1.

«В Исландии, на этом северном острове, принадле
рее Новому, чем Старому свету, столкнулись в IX ве
гинальных, но одинаково чуждых культуры — нор
кельтская. Там, почти под северным полярным круго
лись скандинавские воины — викинги и ирландские мона
ники, одни вооруженные мечем и боевым топором, дру
шеским посохом и священною книгою. Эта случайн
предопределила, казалось, всю дальнейшую историю острова, историю духовной борьбы меча с Евангелием, которое переродило могучих морских королей IX века в мирных собирателей гагачьего пуха, рыболовов и пастухов наших дней».

2.

«Первобытный германец возмущает нас своею беспредметной грубостью, этой любовью ко злу, которая делает его умным и сильным только для ненависти и вреда. Богатырь кельтский, напротив, в своих странных уклонениях всегда руководился привычками благоволения и живого сочувствия к слабым. Это чувство — одно из самых глубоких у народов кельтских; они имели жалость даже к самому Іуде.»

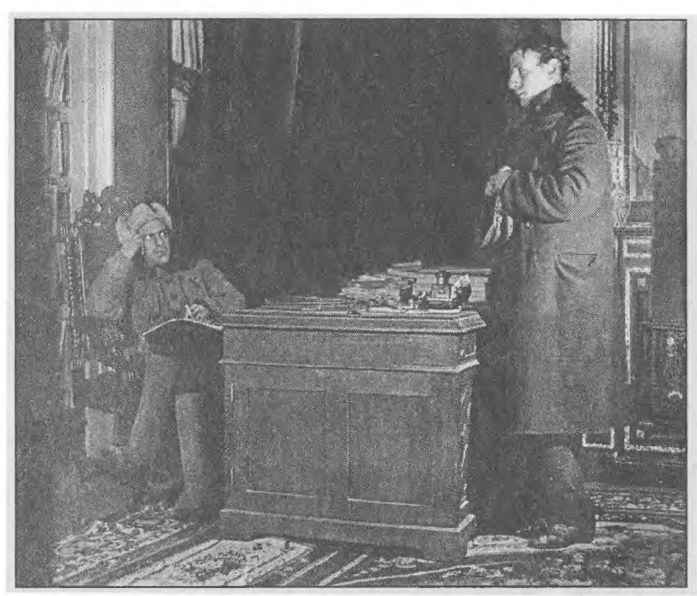
Программа спектакля "Гондла". Петроград. 1922 г.



Гаянэ Халайджиева (Холодова). Нач. 20-х (?)



Эскизы Сергея Юткевича к спектаклю Театра Новой драмы.
30-е годы.



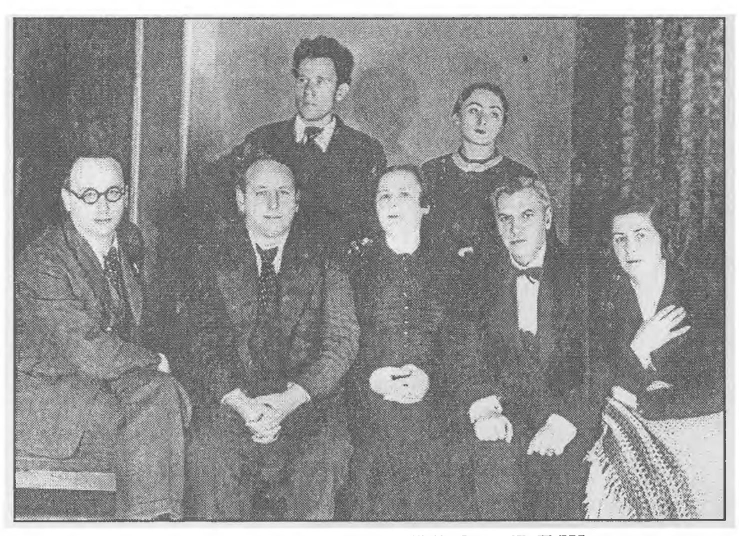
Е.Шварц (справа) и директор музея Революции М.Б.Каплан.
Начало 20-х годов.

В редакции детской литературы Ленинградского отделения Госиздата.
Слева направо: Н.М.Олейников, В.В. Лебедев, З.И.Лилина, С.Я.Маршак,
Е.Л.Шварц, Б.С.Житков

Сцена из спектакля “Ундервуд” в постановке ЛенТЮЗа. 1929 г. (?).

“Красная Шапочка” в постановке Московского ТЮЗа. 30-е годы.

Сцена из спектакля “Клад”. Новый ТЮЗ. 30-е годы.

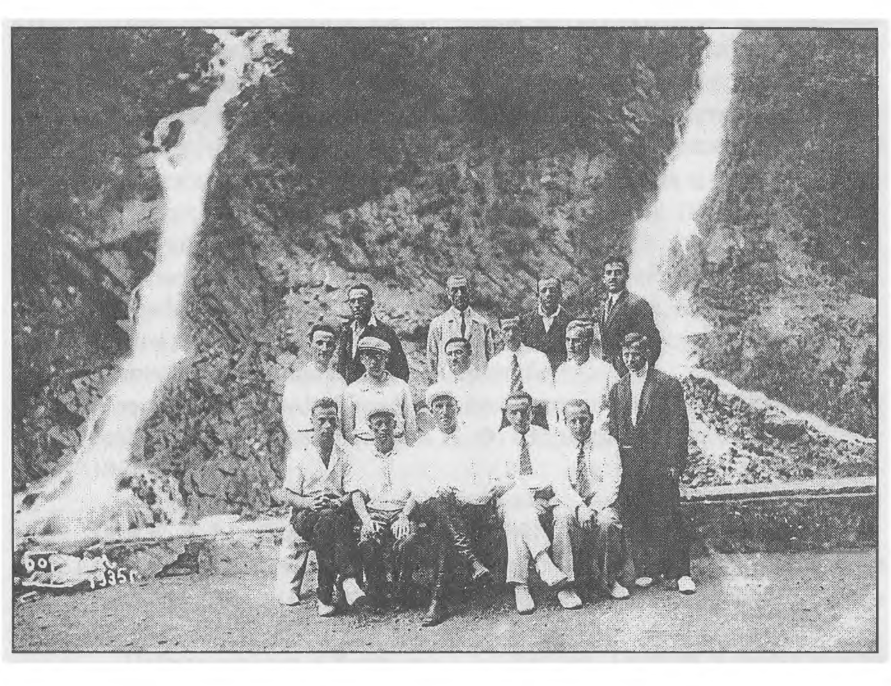


Слева направо: режиссер Б.В.Зон, Е.Л.Шварц,
и артисты Нового ТЮЗа



Екатерина Ивановна Шварц.
20-е годы.

В.А.Зандберг
в спектакле
“Разбойники” Шиллера.
1928 г. (?)



Е.Л.Шварц (крайний справа, сидит) и группа ленинградских и грузинских писателей. Боржоми. 1935 г.

стр. 9 *... Тоня, Лида Фельдман и я ...* — Тоня — Антон Шварц, двоюродный брат Е.Шварца. Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года не позволили братьям продолжать занятия в Московском университете, где оба учились на юридическом факультете. В 1918 году Е. Шварц и А. Шварц отправились в Ростовский университет, чтобы продолжить обучение, но вскоре оставили занятия и полностью посвятили себя работе в Театральной мастерской. А. Шварц стал впоследствии известным чтецом.

Стр. 12 *... репетировал в Териоках Стриндберга ...* — летом 1912 г. в Териоках работало Товарищество артистов, художников, писателей и музыкантов под руководством В. Э. Мейерхольда. Там и ставил Мейерхольд «Виновны — невиновны?» А. Стриндберга.

... вышедший из недр Передвижного театра ... — Передвижной театр создан П. П. Гайдебуровым и И. Ф. Скарской в Петербурге (1905 — 1928).

... кажется, называли его «Свободный» ... — «Свободный театр» создан К. А. Марджановым в Москве(1913 — 1914).

Стр. 13 *... Антон Шварц и Холодова читали стихи ...* — Гаянэ Николаевна Халайджиева (по сцене Холодова) (1898 — 1983), первая жена Е. Шварца, актриса

... Чабров уезжал в Воронеж ... — Чабров Алексей Александрович (ок.1888— ок.1935), артист, режиссер, пианист, постановщик танцев в ряде спектаклей Камерного театра, впоследствии католический священник на Корсике.

Стр. 14 *... шли мы с Юркой по морю ...* — Е. Шварц вспоминает о путешествии из Майкопа в Красную поляну, которое он совершил со своим другом Юрием Соколовым в 1914 г. (см. Е. Шварц «...я буду писателем»)

... Мчедлов поставил «Зеленое кольцо» ... — премьера спектакля «Зеленое кольцо» по пьесе 3. Н. Гиппиус состоялась во Второй студии МХТ 24 ноября 1916 г. Пьеса была посвящена молодежи, организовавшей общество «Зеленое кольцо» и вступившей в конфликт с «отцами». Спектакль имел большой успех и входил в репертуар студии до ее закрытия.

Стр. 16 ... *входит в репетиционную комнату Костомолоцкий* ... — Костомолоцкий Александр Иосифович (1897 — 1971), артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, затем Театра им. Вс. Мейерхольда, театральный художник.

... *адвокат Тусузов* ... — Тусузов Георгий (Егор) Баронович (1891 — 1986), артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, с 1934 г. до конца жизни — Театра сатиры.

Стр. 22 ... *Читал ... свою статью о цифрах* ... — очевидно, имеется в виду отрывок из работы В. В. Хлебникова «Доски судьбы» (1922), в которой автор, по его мнению, открывал путь к овладению числовыми «законами времени».

Стр. 23 ... *Примыкал к школе ничевоков ... стоял во главе ее* ... — литературная группа ничевоков существовала с 1920 по 1923 г. В ее творческое бюро входили: С. Г. Мар, Е. А. Николаева, А. И. Ранов, Р. Ю. Рок, Д. Уманский, О. Е. Эрберг, Б. Земенков, С. В. Садиков. В своем декрете о ничевоках поэзии они выдвинули следующие лозунги: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите! Ничего не печатайте! В поэзии ничего нет; только ничевоки».

Стр. 25 ... *прославился на всю Москву* ... — Премьера пантомимы Э. Донаньи — А. Шницлера «Покрывало Пьеретты» в Камерном театре состоялось 6 октября 1916 г. Режиссер — А. Я. Таиров.

... *Успех «Принцессы Брамбиллы» приписывали ему* ... — Премьера «Принцессы Брамбиллы» по Э.-Т.-А Гофману в Камерном театре состоялась 4 мая 1920 г. В этом спектакле были соединены балет и пантомима, комедия и трагедия, цирк и оперетта.

Стр. 30 ... *посмотрели «Саломею»* ... — премьера «Саломеи» О. Уайльда в постановке А. Я. Таирова состоялась в Камерном театре 9 октября 1917 г.

... *увидел «Мистерию-Буфф»* ... — пьеса «Мистерия-Буфф» В. В. Маяковского была поставлена В. Э. Мейерхольдом и В. М. Бебутовым в Театре РСФСР I (премьера — 1 мая 1921 г).

... *увидав «Великодушного рогоносца»*... — спектакль «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка был поставлен в Театре им. Вс. Мейерхольда в 1922 г. (премьера — 25 апреля). Режиссер В Э. Мейерхольд.

Стр. 31 ... *в «Стойле Пегаса» состоялся вечер* ... — кафе «Стойло Пегаса» открылось в Москве на Тверской улице, д. 37 в 1920 г. Вечер в «Стойле Пегаса», посвященный памяти А. А. Блока, назывался «Чистосердечно о Блоке».

Стр. 37 ... *статья ... под названием «Прекрасная отвага»* ... — Е. Л. Шварц

ошибся: статья «Прекрасная отвага» принадлежала М. А. Кузмину, статья М. С. Шагинян называлась «Театральная мастерская». В ней был дан анализ трех первых спектаклей.

... *нападала на Льва Васильевича Пумпянского* — Пумпянский Л. В. (1894 — 1940), литературовед.

Стр. 39 ... *я ... читал стихи* ... — рассказ Ионушки «О двух великих грешниках» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

... *один из авторов «Иванова Павла»* ... — «Иванов Павел» — фантастическая опера с превращениями, провалами и апофеозом написана С. М. Надеждиным и В. Р. Раппопортом.

Стр. 42 ... *Халайджиеву изругали* ... — о Г. Н. Холодовой (Халайджиевой) в своей рецензии «Иуда» М. А. Кузмин писал: «К сожалению, женский персонал был гораздо хуже. Г. Н. Халайджиева повторила Леру из «Гондлы» да вряд ли и могла сделать что-нибудь другое, так как отчетливая, но холодная декламация, однообразные жесты и очень заметный южный акцент совершенно недостаточны для таких ролей, как Ункрада» (Жизнь искусства, 1922, 14 февр.); Н. Розенталь в рецензии на тот же спектакль писал: «Значительно слабее исполнительницы главных женских ролей, особенно Ункрада — Халайджиева, и страсть, и гнев, и отчаяние выражавшая одним и тем же искусственным повышением голоса» (Вестник театра и искусства, 1922, 7 — 9 февр.)

Стр. 44 ... *жила за шесть лет до этого Милочка* ... — Милочка Крачковская, юношеская любовь Е. Шварца, в студенческие годы жила в Петербурге.

Стр. 49 ... *Приехала Искуги Романовна и Федя* ... — Искуги Романовна Халайджиева (урожд. Хачатурова) (1870 — 1958), теща Е. Шварца, племянница М. Налбандяна — известного армянского просветителя, друга А. И. Герцена. Халайджиев Федор Николаевич, брат Г. Н. Холодовой, покончил жизнь самоубийством в 1925.

... *Театр новой драмы объединял молодых режиссеров* ... — Театр новой драмы существовал в Петербурге в 1922 — 1923 гг.

Стр. 50 ... *Соловьев ставил «Восстание ангелов»* ... — перечисленные спектакли шли в Театре новой драмы в сезоне 1922 — 23 г.

...*«Смерть Тарелкина», поставленная самостоятельно* ... — спектакль «Смерть Тарелкина» был показан А. Л. Грипичем в Театре новой драмы 11 ноября 1922 г, а В. Э. Мейерхольдом — в Театре ГИТИСа 24 ноября 1922 г.

Стр. 51 ... *И Театр новой драмы поставил эту пьесу* ... — премьера состоя-

лась 31 марта 1923 г. Режиссер А. Л. Грипич, художник М. 3. Левин.

Стр. 54 ... *исчез Тверской, исчез Пиотровский* ... — Тверской Константин Константинович (1890 — 1944?), режиссер, педагог, критик — был незаконно репрессирован. Пиотровский Адриан Иванович (1898 — 1938), театровед, драматург, переводчик — был незаконно репрессирован. Погиб в заключении.

Стр. 55 ... *мы с Мишей Слонимским поехали гостить* ... — Слонимский Михаил Леонидович (1897 — 1972), писатель. Под Бахмутом в это время работал отец Е. Шварца, врач Л. Б. Шварц. В Бахмуте их пригласили сотрудничать газете «Всероссийская кочегарка». Вскоре здесь при их участии был создан журнал «Забой» (ныне — «Донбасс»).

Стр. 59 ... *пел в хоре тети Моти* ... — коллектив эстрадных артистов.

... *по просьбе Иеронима Ясинского* ... — Иероним Ясинский (1850 — 1931), писатель, журналист.

Стр. 61 ... *вечерами в доме Бударного притворялся, что работаю* ... — см. дневники-воспоминания Е. Шварца о детстве в кн. «... я буду писателем».

Стр. 65 ... *Успех «Летучей мыши» и «Бродячей собаки» еще не был забыт* ... — «Летучая мышь» — первый русский театр миниатюр, возникший из артистического кружка-кабаре Московского художественного театра в 1908 г. Руководителем театра и постоянным конферансье был Н. Ф. Балиев. «Бродячая собака» — литературно-артистическое кабаре, существовавшее в Петербурге в 1912 — 1915 гг. Организатором его был Б. К. Пронин.

... *Играя в живой газете РОСТа* ... — Живая газета — агитколлектив, ставивший представления, основанные на газетном материале или злободневных событиях жизни. В ее репертуар входили монологи, коллективная декламация, частушки, фельетоны и т. п. Такие коллективы возникли в начале 1920-х гг. В 1924 г. Шварц играл в живой газете РОСТа в Петрограде.

... *познакомился я с ... Флитом* ... — Флит Александр Матвеевич (1891—1954), поэт, драматург, пародист.

... *в «Балаганчике» у Петрова* ... — «Балаганчик» — театр малых форм в Петрограде, при театре «Вольная комедия» (1921 — 1925).

... *В «Карусели» работали Курихин и жена его, Неверова* ... — Курихин Федор Николаевич (1881 — 1951), артист, играл в театрах миниатюр в Петербурге — в «Веселом театре», «Кривом зеркале», «Карусели». Неверова Елена Николаевна (1897 — 1979), артистка.

... красавица Казико ... — Казико Ольга Георгиевна (1900 — 1963), артистка, педагог. В 1922 г. играла в Школе-студии при академическом театре драмы, в театре «Карусель», позднее — в театре «Вольная комедия» (Ленинград), в театрах Витебска, Смоленска. С 1927 г. — в труппе БДТ.

Стр. 68. *... ее лихо оформил Акимов ...* — Акимов Николай Павлович (1901— 1968), режиссер, художник. С 1935 по 1949 и с 1955 г. до конца жизни — главный режиссер Ленинградского театра комедии. Многие пьесы Е. Шварца ставились в этом театре

Стр. 69 *...«Рассказ старой балалайки» был ... принят в журнал «Воробей»...*— Журнал «Воробей» выходил с 1923 г. по июль 1924 г., с августа 1924 г. стал выходить под названием «Новый Робинзон».

... я пошел по его рекомендации туда же в секретари ... — секретарем редакции журнала «Ленинград» Е Шварц работал со второй половины 1924 г. по октябрь 1925 г.

... А в «Радуге» поручили мне подписи ... — В издательстве «Радуга» вышли следующие книжки для детей со стихотворными подписями Е. Шварца к рисункам В. М. Конашевича, А. Ф. Пахомова, А. А. Радакова и др.: в 1925 г. — «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки», в 1926 г. — «Шарики» и «Рынок», в 1927 г. — «Прятки», в 1929 г.— «Петька-петух — деревенский пастух».

Стр. 71 *... вот статья для «Всемирной литературы» ...* — К.И.Чуковский был членом ученой коллегии экспертов, руководившей работой издательства «Всемирная литература». Оно было основано в просветительских целях М. Горьким в 1918 г. в Петрограде. Чуковский переводил (здесь указана пьеса «Герой» ирландского драматурга Д. М. Синга), занимался редакторской и литературоведческой работой («Воспоминания» А. Я. Панаевой).

Стр. 72 *... и письмо Толстой напечатал ...* — 4 июня 1922 г. в газете «Накануне» (Берлин) А. Н. Толстой опубликовал без ведома К. И. Чуковского его частное письмо, не рассчитанное на появление в печати, чем вызвал недовольство тех лиц,которые в нем упоминались (см. главу «Алексей Толстой» в книге К. И. Чуковского «Современники». Собр.соч. Т.2. М., 1965. С. 317 — 345).

... И Андреев жаловался, и Арцыбашев вызывал его на дуэль ... — Л. Н. Андреев и М. П Арцыбашев испытали на себе яд критических статей К. И. Чуковского, что нередко приводило к острым конфликтам между критиком и писателями.

Стр. 73 ... *стихи «Корней Белинский»* ... — стихотворение Саши Черного «Корней Белинский» впервые опубликовано в журн. «Сатирикон» (1911, № 11) с подзаголовком: «Опыт критического шаржа».

... *пародия на него Измайлова* ... — имеется в виду пародия А. А. Измайлова на стихи С. Г. Скитальца «Не похож я на певца. А похож на кузнеца» (Измайлов А. Кривое зеркало. Спб., 1912. с. 29).

Стр. 74 ... *я побывал у Лернера* ... — Лернер Николай Осипович (1877 — 1934), литературовед.

... *попытался достучаться к Замирайло* ... — Замирайло Виктор Дмитриевич (1868 — 1939), художник.

... *существует ли Давыдов* ... — Давыдов Владимир Николаевич (1849 — 1925), артист. С 1880 по 1924 г. — в труппе Александринского театра.

... *Таков ли был Радаков* ... — Радаков Алексей Александрович (1877—1942), художник-карикатурист, график; был редактором журнала «Новый сатирикон»; после Октябрьской революции — соредактор журналов «Лапоть», «Крокодил».

... *Я дружил с Колей Чуковским*... — Чуковский Николай Корнеевич (1904 — 1965), писатель.

... *знаменитая «Чукоккала»* ... — рукописный альманах К. И. Чуковского «Чукоккала» издан. (М., 1979) с факсимильным воспроизведением записей и рисунков писателей, художников, артистов.

Стр. 75 ... *Молодой Лева Лунц* ... — Лунц Лев Натанович (1901 — 1924), писатель, публицист.

... *«Серапионовы братья» собрались проводить его* ... — «Серапионовы братья» (по названию кружка друзей в одноименном романе Э.-Т.-А. Гофмана), литературная группа, основанная 1 февраля 1921 г. в Петрограде при Доме искусств. В нее входили И. А. Груздев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин.

... *Среди них — Замятин* ... — Замятин Евгений Иванович (1884 — 1937), писатель.

... *Они остались на даче в Куоккале* ... — в 1925 г. К. И. Чуковский ездил в Куоккалу и получил остававшуюся там часть своего архива.

Стр. 76 ... *ведь это Ангел Иванович Богданович*... — Богданович Ангел Иванович (1860 — 1907), литературный критик, публицист. В 1894 — 1906 гг. — редактор журнала «Мир Божий».

Стр. 77 ... *Вместо этого было сказано* ... — имеется в виду абзац, который в последующих переизданиях был снят: «...я решительный враг той ска-

зовой, разговорной дикции, которую вводили в свои детские книги даровитый Евгений Шварц, автор «Шариков», «Рынка» и других прибауточных раешных стихов, Софья Федорченко и др.» (Чуковский К. От двух до пяти. Л., 1939. С. 228). «Экикики», по определению К. И. Чуковского, свойственная детям стихотворная форма — экспромты, порожденные радостью, не столько песни, сколько краткие звонкие выкрики, повторяющиеся несколько раз.

... Любопытный разговор имел Корней Иванович с Хармсом ... — Хармс (наст. фам. Ювачев.) Даниил Иванович (1905 — 1942), поэт, принадлежал к литературной группе «Обэриуты». Незаконно рапрессирован, погиб в заключении.

... я привез письмо Марины Чуковской ... — Чуковская Марина Николаевна (р. 1905), переводчица, жена Н. К. Чуковского.

Стр. 79 *... Читают ... Шкловский ...* — Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), писатель, литературовед, критик.

Стр. 83 *... Председательствует Аким Волынский ...* — Волынский Аким. (Наст. имя и фам. Аким Львович Флексер) (1863 — 1926), литературный критик, искусствовед.

... друг Блока ... поэт Пяст ... — (наст. фам. Пестовский) Владимир Алексеевич (1886 — 1940), поэт, переводчик.

Стр. 84 *... успела уехать на юг Муся Алонкина ...* — Алонкина М. С. — секретарь Дома искусств в Петрограде.

... Вова Познер, тоже ушедший в мои дни в историю ... — имеется в виду Познер Владимир (р. 1905), ставший впоследствии известным французским писателем.

Стр. 96 *... помещался Герасимов, директор типографии ...* — Герасимов Павел Федорович (1878 —1949), позже директор Ленинградского отделения Госиздата.

Стр. 100 *... Когда работа в детском отделе Госиздата ... наладилась ...* — В детском отделе Госиздата Шварц работал с 23 октября 1925 г. по 1931 г., с 1925 по 1928 г. работал также редактором издательства «Радуга», а с 1928 по 1931 г. — редактором детского журнала «Еж».

Стр. 108 *... Я переживал кризис своей дружбы-вражды с Олейниковым ...* — Олейников Николай Макарович (1898 — 1942), поэт, писатель, редактор детских журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок». Незаконно репрессирован, погиб в заключении.

... я познакомился с ... Макарьевым и Зандберг, его женой ... — Макарьев Леонид Федорович (1892 — 1975) артист, режиссер, педагог, дра-

матург. Зандберг Вера Алексеевна (1897 — 1975). С 1921 оба работали в труппе ЛенТЮЗа.

Стр. 109 ... *Во главе ТЮЗа стоял Брянцев* ... — Ленинградский Театр юных зрителей (ЛенТЮЗ) был основан в 1921 г., открылся в феврале 1922 г. в помещении концертного зала бывшего Тенишевского училища. Художественным руководителем театра был А. А. Брянцев. В ТЮЗе были поставлены следующие пьесы Е. Л. Шварца «Ундервуд» (1929), «Клад» (1933), «Два клена» (1954). В 1935 г. из филиала ЛенТЮЗа выделился коллектив, образовавший Новый ТЮЗ. Главным его режиссером был Б. В. Зон. Театр работал до 1945 г.

Стр. 112 ... *Лиля Шик, по сцене Елагина* ... — Елагина Елена Владимировна (1895 — 1931), артистка, ученица Е. Б. Вахтангова. Педагог, преподавала в студиях ЛенТЮЗа и Театра драмы.

Стр. 116 ... *В «Сумасшедшем корабле» Форш вывела меня под именем Геня Чорн* ... — Книга О. Форш, посвященная жизни Дома писателей (бывший дом Елисеева), вышла в 1931 г. в Издательстве писателей в Ленинграде.

Стр.122 ... *уехал я с Катей в Липецк* ... — Екатерина Ивановна Шварц (урожд. Обух, по первому муж у Зильбер) (1904 — 1963) — вторая жена Е. Шварца.

Стр. 124 ... *просит* ... *написать о Борисе воспоминания* ... — В сборник «Жизнь и творчество Б. С. Житкова» (М., 1955) воспоминания Е. Шварца не вошли. Были опубликованы: Вопросы литературы, 1987, № 2.

Стр. 142 ... *Ганя запротестовала* ... — Ганя — Гаянэ Николаевна Холодова, первая жена Е.Шварца.

... *Петр Иванович Соколов, ехавший с нами* ... — Соколов Петр Иванович (1892-1938?), художник, с которым часто общался Шварц, отдыхая летом 1927 г. в Судаке.

Стр. 150 ... *около мечети жили Уварова и Гаккель* ... — Уварова Елизавета Александровна (1902 — 1977), артистка ЛенТЮЗа с 1922 по 1935, с 1935 по 1945 — Нового ТЮЗа. С 1945 до конца жизни в Театре комедии. Исполнительница ролей в пьесах Е. Шварца. Гаккель Евгений Густавович (1892 — 1953), артист, режиссер.

Стр. 160. ... *собралось там несколько знакомых* ... — Степанов Николай Леонидович (1902 — 1972), литературовед. Гофман Виктор Абрамович (1899 — 1942), литературовед. Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), литературовед.

Стр. 169 ...*внезапно грянул гром над его операми*... — 28 января 1936 г. в

газете «Правда» была опубликована редакционная статья «Сумбур вместо музыки» об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». 5-я симфония была написана Д. Д. Шостаковичем в 1937 г. Автор писал о ней: «...Тема моей симфонии — становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения» (Вечерняя Москва, 1938, 25 янв.) Д. Д. Шостакович выступил в дневном концерте в Большом зале Филармонии 14 сентября 1941 г. Это был первый концерт, сбор с которого поступил в Фонд обороны. Среди участников концерта был и Е. Шварц.

Стр. 170 ... *просмотрел фильм о Линкольне* ... — Фильм «Юный мистер Линкольн» режиссера Дж. Форда (1939), роль Авраама Линкольна исполнял Г. Фонда.

... *терпеть не мог ... Авлова* ... — Авлов Григорий Александрович (1885—1960), театральный деятель, режиссер, критик и педагог, один из организаторов художественной самодеятельности.

Стр. 195 ... *Съезд — праздничный* ... — Е. Шварц рассказывает о Первом съезде писателей, состоявшемся в 1934 году.

Стр. 219 ... *услышав Наташин голос* ... — Наташа — дочь Е. Шварца, родилась в 1929 г.

Стр. 221 ...*Мне интересен Андрюша, очень нравится Машенька*... — Андрей и Мария Крыжановские, внуки Е. Шварца.

Стр. 222 ... *пробыл несколько дней у Анечки* ... — Лепорская Анна Александровна (1900 — 1982), художник-прикладник. Была близкой подругой Екатерины Ивановны Шварц.

Стр. 245 ... *Приехал Юра*... — Герман Юрий Павлович (1910 — 1967), писатель.

Стр. 253 ... *шли авторские за несчастные мои киносценарии* ... — В 1935 — 1936 гг. Е. Шварц написал киносценарии «Разбудите Леночку», «Леночка и виноград» и «На отдыхе». Снятые по ним фильмы остро критиковались в печати.

Стр. 257 ... *В [19]35 году я, Герман, Лева Левин, Саянов, Штейн, Горев поехали бригадой в Грузию* ... — Левин Лев Ильич (р. 1911), литературный критик. Саянов Виссарион Михайлович (1903 — 1959), писатель. Штейн Александр Петрович (1906 — 1993), драматург.

Стр. 261 ... *Вспомнил рассказ Марии Александровны Истамановой* ... — М. А. Истаманова — жена директора майкопского реального училища В. С. Истаманова. Е. Шварц учился в этом училище и дружил с сыном Истамановых Жоржиком. (см. Е. Шварц «...я буду писателем.»)

Стр. 266 ... *Паоло Яшвили ... и Тициан Табидзе ...* — Паоло Джибраэлович Яшвили (1895 — 1937), грузинский поэт. Тициан Юстинович Табидзе (1895 — 1937), грузинский поэт.

Стр. 267 ... *мы впервые встретились с Вильдраком и Люк Дюртеном ...* — Вильдрак, Шарль (наст. фам. Шарль Мессаже) (р. 1882 — ?), французский писатель, критик, основатель содружества «Аббатство». Люк Дюртен (наст. фам. Андре Невё) (1881 — 1959), французский писатель.

Стр 268 ... *Жена его, сестра Дюамеля ...* — Дюамель, Жорж (1884 — 1966), французский писатель.

Стр. 283 ... *О Селине — с раздражением ...* — Селин (наст. фам. Детуш, Луи Фердинанд) (1894 — 1961) французский писатель.

Стр. 286 ... *В том же вагоне ... Томашевский Борис Викторович...* — Томашевский Б. В. (1890 — 1957), литературовед, текстолог, по образованию инженер-электрик.

Стр. 288 ... *показали мне стихи Даниила Ивановича ...* — имеется в виду Д. И. Хармс.

Стр. 293. Рассказ старой балалайки.

Впервые опубликован в журнале «Воробей» с иллюстрациями П. Соколова (Л. 1924. № 7). Отдельным изданием «Рассказ» вышел в ГИЗе в 1925 г.

Стр. 301. Два друга — Хомут и Подпруга.

Сказка была опубликована в журнале «Новый Робинзон» с иллюстрациями А. Пахомова (Л. 1925. № 6 и 9).

Стр. 304. Война Петрушки и Степки-Ратрепки.

Впервые опубликовано в издательстве «Радуга» (Л.; М. 1925) с рисунками А. Радакова.

Стр. 309. Ундервуд.

Пьеса впервые опубликована стеклографическим способом в 1930 г. В том же году она вышла в ГИЗе отдельным изданием. В сентябре 1929 г. в ленинградском ТЮЗе состоялась премьера. Режиссерами спектакля были А.А. Брянцев и Б.В. Зон. Художник В. Бейер. Композитор Н. Стрельников. В спектакле были заняты актеры: А Охитина, К. Пугачева, Е. Уварова, Б. Чирков, О. Черкассова, Е. Ваккерова, В. Полицеймако, Л. Любашевский и др.

Стр. 351. Приключения Гогенштауфена.

Пьеса опубликована в журнале «Звезда» № 11, 1934. Впервые пьеса поставлена в ленинградском Учебном театре актерским курсом М. Г.

Шмойлова в 1988 г. Оформление А. Липовских, режиссер по пластике К. Черноземов, хореограф Н. Соловьева, музыкальное оформление О. Бессмельцева.

Стр. 425. Голый король.

Впервые пьеса опубликована в книге: Евгений Шварц. Пьесы — М.; Л. 1960. В 1960 г. московский «Современник» сыграл премьеру во время гастролей в Ленинграде. Постановка М. Микаэлян и О. Ефремова, художник В. Дорер. В спектакле были заняты Е. Евстигнеев, О. Табаков, Н. Дорошина, И. Кваша и др.

Стр. 503. Клад.

Пьеса впервые опубликована в 1933 г. стеклографическим способом. В 1934 г. вышла отдельным изданием (Л.; М. Цедрам). В 1933 г. пьесу почти одновременно сыграли ленинградский ТЮЗ и Центральный детский театр. Тюзовский спектакль режиссировал Б. Зон (художник М. Григорьев, композитор Н. Стрельников.) В нем были заняты актеры: А. Охитина, Б. Блинов, О. Беюл, Л. Лукин и др. Спектакль Центрального детского театра поставил Г. Дебрие, художник М. Варпех, композитор И. Ковнер.

Стр. 553. Красная Шапочка.

Впервые пьеса опубликована издательством «Искусство» в 1937 г. Впервые поставлена в марте 1937 г. в Новом ТЮЗе В. Чесноковым (художник А. Анушина, композитор В. Дешевов).

Стр. 591. Новые приключения Кота в сапогах.

Впервые сказка опубликована в журнале «Чиж» с иллюстрациями Е. Сафоновой в 1937 г. № 10, 11.

Стр. 603. «Стихи о серапионовых братьях»

Стихотворение «Стихи о серапионовых братьях» записано в рукописный альманах К. И. Чуковского «Чукоккала». Альманах был опубликован в 1979 г. К стихотворениям из «Чукоккалы» здесь и далее использован комментарий К. И. Чуковского. Сноски, помеченные звездочкой, принадлежат Е. Л. Шварцу.

1. К 1924 году «серапионы» вынуждены были поступить на государственную службу.
2. Намек на композицию романа К.Федина «Города и годы».
3. В то время критики считали, что Зощенко пишет «сказом».
4. Самые молодые из «серапионов», Лунц и Каверин, восставали в то время против бытовой литературы. Им казалось, что нужна литература «бури и натиска», бешеных страстей и трагедий.

5. Ионов (Берштейн) Илья Ионович (1887 — 1942), заведующий Госиздатом РСФСР. Впоследствии незаконно репрессирован.

Стр. 604.«Приятно» и «Авторы и Леногиз»

Стихотворения «Приятно» и «Авторы и Леногиз» записаны Е.Шварцем в «Чукоккалу». Стихотворение «Авторы и Леногиз» впервые опубликовано в альманахе «Прометей». Вып. 1. М., 1966. Оба стихотворения написаны по поводу того, что некий администратор отказался уплатить авторам (в том числе Ю. Тынянову) гонорар.

Стр.605. «Один зоил...»

Стихотворение «Один зоил...» впервые не полностью опубликовано в кн.: Л. Чуковская «В лаборатории редактора», М., 1963 г. Впервые полностью — в ж. «В мире книг»,1976, № 10.

1. Любарская Александра Исааковна (р. 1908), прозаик, переводчик, редактор Детского отдела ГИЗа.

Стр. 605. «Песенка клоуна»

Стихотворение «Песенка клоуна» впервые опубликовано в «Литературной газете», 1983, 18 мая.

Стр. 606. «Случай»

Стихотворение «Случай» опубликовано впервые в журнале «В мире книг», 1976, №10.

Стр. 607. «Басня»

Стихотворение «Басня» записано в «Чукоккалу».

Стр. 607. «Кто приехал на съезд?»

Стихотворение «Кто приехал на съезд?» написано по поводу поездки делегации ленинградских писателей в Москву на Первый Всесоюзный съезд писателей в августе 1934 года. Записано в «Чукокклау».

Стр. 608. «Перечень расходов на одного делегата»

Стихотворение «Перечень расходов на одного делегата» написано совместно с Н.М.Олейниковым и его рукой записано в «Чукоккалу».

1.

Стр. 609. Письмо к Н. К. Чуковскому.

В июне 1923 года Шварц вместе с М.Слонимским поехал к своим родителям в Донбасс (под Бахмут), где его отец, Л. Б. Шварц, работал в то время врачом.

1. Шевриеры (от фр. здесь) — козочки
2. Первоначальный псевдоним Н.Чуковского
3. Мать Н.Чуковского.

2.

Стр. 610. Письмо к Н. К. Чуковскому.

В это время Е. Шварц и М. Слонимский работали в редакции газеты «Всероссийская кочегарка» и журнала «Забой».

1. В редакции была серая неширокая рулонная бумага, и Е. Шварц отрывал для письма длинные узкие ленты.

2. В «Забое» было напечатано стихотворение Н.Чуковского «Выше».

3. Точно установить, кто это, не удалось. Возможно, Лидия Харитон, петроградская знакомая Шварца и Чуковского.

4. Месс Леонид Абрамович (р.1907), ленинградский скульптор.

5. Арнштам Лев Оскаров (1905—1979), кинорежиссер.

6. В приписке к этому письму М.Слонимский писал: «Шварц — Марк Твен, ибо с Марком мы издавали журнал в Южной Америке.

7. Чуковская Марина Николаевна (р.1905), переводчик, вскоре стала женой Н.Чуковского.

8. М.Слонимский возвращался в Петроград, Шварц оставался в Донбассе.

3.

Стр. 611. Письмо к Л. Лунцу.

Единственное сохранившееся письмо Е. Шварца Льву Лунцу опубликовано в книге В.Каверина «Вечерний день».М., 1982.

«К третьей годовщине Серапионов (1 февраля 1924 г.), — пишет В.Каверин, — Лунц прислал «Хождения» — шуточное послание, в котором предсказывал печальное будущее «братьев».

«Длинное» письмо Лунцу то ли не сохранилось, то ли Шварц не успел выполнить своего обещания. Лунц умер 8 мая 1924 г.

4.

Стр. 612. Письмо к В. Зандберг.

1. Гваренги (Кваренги) Джакомо (1744 — 1817), архитектор, работавший в Петербурге.

2. Артамонова Ольга (1898 — 1928), артистка театра кукол и ЛенТЮЗа, детская писательница. «Управдом» и «Петрушка» — ее книжки для детей.

3. Речь, вероятно, идет о режиссере Петрове Владимире Михайловиче (1896 — 1966)

4. Цецилия Аскинази (Зандберг) — жена брата Веры Алексеевны.

5.

Стр. 613. Письмо к В. Зандберг.

1. Макарьевы переехали из Аптекарского пер. на Фонтанку.

2. Дом отдыха работников искусств, где отдыхала В.Зандберг.

3 Елагина Елена Владимировна — Леля Шик

4. Три книжки — «Прятки», «Нос», «Петька-петух деревенский пастух». Все иллюстрированы В.Конашевичем.

5. Хромать — в письме после этого слова крестик

6.

Стр 615. Письмо к Е. И. Шварц.

Екатерина Ивановна, урожд. Обух, в первом замужестве Зильбер (1904—1963) вскоре стала женой Е. Шварца.

7.

Стр 616. Письмо к Е. И. Шварц.

Однажды, поссорившись с Е. Шварцем, Екатерина Ивановна разорвала все его письма — их к тому времени было 9.

8.

Стр 616. Письмо к Е. И. Шварц.

1. Кого имеет в виду Е. Шварц, установить не удалось.

9.

Стр 619. Письмо к Е. И. Шварц.

1. Детское Село — бывшее Царское Село, ныне г. Пушкин.

2. Аничка — Анна Александровна Лепорская. См. прим. к стр. 222.

3. Штук Франц фон Теттенвейс (1863 — 1928), немецкий художник.

10.

Стр 621. Письмо к Е. И. Шварц.

1. Каладзе Карло Ражденович (р. 1904). Поэт и драматург. Печататься начал в 20 г.

2. Очевидно, Е. Шварц послал жене вырезку из местной газеты с групповой фотографией делегации писателей, совершающих поездку по Грузии.

11.

Стр 621. Письмо к К. И. Чуковскому..

1. Квитко Лев Моисеевич (1890 — 1952), еврейский поэт. Незаконно репрессирован.

2. Е. Л. Шварц отдыхал в это время вместе с Квитко в Сухуми.

3. Жена К. И. Чуковского.

Оглавление:

Шварц Е. Л.
84. Р7Ш 33 Предчувствие счастья / Сост. Крыжановская М. О., Шершнева И. Л.; Худ. Войцеховская. Е. В. — М.: "Корона-принт", 1999. — 656 с., ил., фот.

ISBN 5 — 85030 — 059 — 7

5 — 85030 — 060 — 0

5 — 85030 — 061 — 9

5 — 85030 — 062 — 7

Литературно-художественное издание

Евгений Львович Шварц

Предчувствие счастья

Редактор: Л. Дмитриева
Дизайн и верстка: К. Шершнев.
Верстка: Т. Муравьева.
Корректор: Л. Титова.

Издательская лицензия ЛР № 060019 от 15.11.96.
Формат 60×84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 41. Тираж 5 000 экз. Зак. № 5442.
Издательство ТОО «Корона-принт».
Отпечатано в ППО «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



